



ИЗ РАФАЭЛЬ САБАТИНИ

РАФАЭЛЬ САБАТИНИ
ЗАБЛУДШИЙ
СВЯТОЙ
⊕
ЭНТОНИ
УЙЛДИНГ





ՐԱՓԱԶԼՅ
ՏԱԲԱՏԻՆԻ

ԻՅ ՐԱՓԱԶԼՅ ՏԱԲԱՏԻՆԻ







РАФАЭЛЬ САБАТИНИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



RAFAEL SABATINI

THE STROLLING
SAINT



ANTHONY
WILDING



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ ТРИНАДЦАТЫЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)

РАФАЭЛЬ САБАТИНИ

ЗАБЛУДШИЙ
СВЯТОЙ

Роман

ЭНТОНИ
УЙЛДИНГ

Роман



Санкт-Петербург — Москва
Акционерное общество «Прибой»
Журнал «Вокруг света»
1995

Рафаэль САБАТИНИ

**ЗАБЛУДШИЙ СВЯТОЙ
ЭНТОНИ УАЙЛДИНГ**

Перевод с английского

Редакционный совет:

Полещук А. А.

(председатель)

Костюкова Л. В.

Лебедев В. А.

Москвин А. Г.

Непомнящий Н. Н.

Семенов Ю. Л.

С $\frac{4703010100 - 40}{В 38(03) - 95}$ Без объявл.

ISBN 5-87260-024-0

© Журнал
«Вокруг света»,
АО «Прибой» — состав.
1995 г.

© Наталья Маникало —
художественное
оформление серии

ЗАБЛУДШИЙ СВЯТОЙ

Роман







Книга первая ПОДАРЕННЫЙ ЦЕРКВИ

Глава первая ИМЕНА И СУДЬБЫ

В поисках причины моих невзгод — как это свойственно человеку, я искал ее не в самом себе — я часто склонялся к тому, чтобы возложить вину за все несчастья, выпавшие на мою долю, а также за все зло, которое я причинил другим, на тех, кто, стоя у купели моей матери, решил дать ей имя Моника.

В жизни есть много вещей, которые человеку грубому и невнимательному кажутся неважными и незначительными, но которые на самом деле чреватые самыми ужасными последствиями. По существу они являются движущей силой самой судьбы. К таким зловещим пустякам я бы отнес имена, которыми нас так бездумно одаряют.

Меня удивляет, что ни один из знаменитых ученых древности в своих философских сочинениях не коснулся вопроса об именах, не говоря уже о том, что никто не говорит о великом значении, которое, с моей точки зрения, имеет этот предмет. Возможно, это объясняется тем, что ни одному из них не пришлось, как мне, страдать от последствий, проистекающих от имени. Вот

если бы так случилось, они бы, конечно, преподали нам урок на этот предмет со знанием дела и таким образом избавили бы меня, который отлично сознает свою некомпетентность в этом деле, от необходимости исправить эту оплошность на основании моего собственного опыта. Давайте же рассмотрим хотя бы сейчас, с таким опозданием, какое коварное влияние оказывает имя в смысле predisposition к добру и злу, как оно способствует становлению характера человека.

Для какого-нибудь деревенского тупицы или же, напротив, для поистине сильной натуры — такие не подвержены подобного рода влияниям — не имеет значения, зовется ли человек Александром или Ахиллом; и в то же время жил однажды человек, который назывался Иудой, так вот он до такой степени не оправдывал благородных ассоциаций, связанных с этим именем, что само звучание и значение его изменилось на все времена.

Но для того, кто одарен воображением — этим величайшим даром и величайшим бедствием человечества, — или для того, чья натура жаждет назидательного примера, имя, которое он носит, может приобрести невероятно важное значение под влиянием образа давно почившего великого человека, носившего это имя до него, чья жизнь становится предметом подражания.

Я надеюсь доказать, что это общее вступление является справедливым по крайней мере в том, что касается моей матери.

Ее назвали Моникой. Почему было выбрано это имя, мне узнать не довелось; однако я не думаю, что при выборе имени ее родители руководствовались какими-либо соображениями, кроме звучания. Это приятное имя, достаточно благозвучное, и, как это случается достаточно часто, никакие посторонние обстоятельства на его выбор не повлияли.

Однако для моей матери, которая обладала впечатлительной и в то же время слабой и зависимой натурой, ее имя оказалось судьбоносным. Начиная с самых юных лет святая Моника стала предметом ее особого поклонения и осталась таковым после того, как она вышла замуж. Самой захватанной и зачитанной частью старого манускрипта — любимейшей ее книги, — содержащего жизнеописания нескольких святых, было «Житие святой Моника». Сделаться достойной имени, которое она носит, уподобить свою жизнь жизни этой святой женщины, которой столь много радости и столько же печали принес

ее знаменитый отпрыск, стало навязчивой идеей моей матери. И я очень сомневаюсь, что моя мать решилась бы когда-нибудь связать себя узами брака, если бы святая Моника не была замужем и не родила сына.

Как часто в бурные накалинные часы моей столь несчастной юности я сожалел, что она не предпочла жизнь девственницы в монастыре и не избавила меня от тяжелого бремени моего существования, которое она в своей нечестивой святости едва не превратила в бесплодную пустыню!

Мне хочется думать, что в те дни, когда мой отец сватался к ней, добивался ее расположения, в крепких объятиях этого неистового гибеллина* она хоть на время забывала о том, как дальше собирается ткать узор своей жизни, что на всем ее пути по мрачной засушливой пустыне встретился хотя бы один уголок сада, цветущего, благоуханного, прохладного.

Мне хочется так думать, ибо даже в лучшем случае этот период был, должно быть, достаточно коротким. И поэтому я ее жалею, я, который в свое время так горько ее порицал. Все это, наверное, прекратилось еще до того, как я родился; она все еще носила меня в своем чреве, когда отстранила от своих уст чашу с теплым живительным вином жизни и снова обратилась к постам, размышлениям и молитвам.

Это было в тот год, когда состоялась битва при Павии, выигранная Императором**. Мой отец, который добился кондотты*** и собрал войско, чтобы помочь изгнать французов, остался на этом славном поле боя как один из павших. Впоследствии, однако, выяснилось, что он еще жив, но находится на самом пороге вечности; и когда весть об этом донеслась до моей матери, я ничуть не сомневаюсь, что она сочла это карой Божией, наказанием за то, что на краткий миг своей юности она отклонилась от пути, ранее выбранного ею, за то, что отказалась идти по стопам святой Моника.

* Гвельфы и гибеллины — две противоборствующие партии в Италии XII — XVI веков. Гвельфы — сторонники папской власти; гибеллины — в основном представители феодальной знати, видели в испанском императоре защитника своих привилегий. (Здесь и далее прим. перев.)

** Испанский король Карл I, он же император Священной Римской империи германской нации Карл V. В битве при Павии (1525 г.) разбил французов.

*** Кондотта (итал.) — договор, по которому платили наемным солдатам. Отсюда — кондотьер.

Я не знаю, в какой степени ею руководила любовь к моему отцу. Однако мне кажется, что в том, что она делала дальше, было больше долга, раскаяния, платы за грех, за то, что она была женщиной, которой сотворил ее Бог, чем любви. Я, собственно, почти уверен в том, что это так и было. Пренебрегая своим болезненным состоянием, она приказала приготовить носилки и велела нести себя в Пьяченцу, в собор святого Августина. Там, исповедавшись и причастившись, стоя на коленях перед малым алтарем, посвященным святой Моники, она дала торжественную клятву, что, если моему отцу будет дарована жизнь, она отдаст дитя, которое носит, Святой Церкви.

Два месяца спустя ей принесли весть, что мой отец, чье выздоровление почти завершилось, держит путь домой.

В тот самый день родился я — отданный Церкви согласно обету, обреченный на монашескую жизнь еще до первого моего вздоха в этой жизни.

Я частенько думал, улыбаясь про себя, что было бы, если бы я родился девочкой — ведь в этом случае она была бы лишена возможности осуществить соответствующие параллели. В том, что я родился мальчиком, — я нисколько не сомневаюсь, — она увидела знамение, ибо ей свойственно было видеть знамения в самых обыкновенных событиях. Все было так, как тому следовало быть, все то же самое происходило со святой Моникой, по стопам которой она, бедняжка, старалась идти. Моника родила сына, и его назвали Августином. Прекрасно. Меня тоже следовало назвать Августином, чтобы я мог идти по стопам того, другого Августина, великого теолога, мать которого звали Моникой*.

И так же, как влияние имени моей матери руководило всей ее жизнью, так же и мое имя должно было управлять моей. Так было суждено. Еще раньше, чем я научился читать, жизнь этого великого святого — с теми купюрами, которых требовал мой нежный возраст, — снова и снова рассказывалась мне, пока я не выучил наизусть все события этой жизни, все деяния святого. Впоследствии его писания сделались моим учебником. Его «*De Civitate Dei*»** и «*De Vita Beata*»*** были теми сосками, к которым

* Августин (Блаженный Августин, 354—430) — христианский теолог, один из отцов католической церкви.

** Царство Божие (лат.).

*** О жизни блаженной (лат.).

я припадал, чтобы добыть себе самое первое умственное пропитание.

И даже ныне, после всех трагедий, всех грехов и превратностей моей жизни, которая должна была быть столь отличной, именно в его «Исповеди» я черпаю вдохновение для написания моей собственной, хотя вряд ли в них найдется что-нибудь пригодное для сравнения.

Не успел я родиться, как меня уже отдали Богу ради спасения жизни моего отца, для того чтобы он был возвращен матери целым и невредимым. Это возвращение состоялось, как мы видели; и тем не менее, если бы моя мать была другой, она бы поняла, что сделка в конце концов оказалась для нее невыгодной. Дело в том, что с самого раннего возраста я сделался для матери и отца предметом нескончаемого спора, который отдалял их все дальше друг от друга и в конце концов сделал врагами.

Я был единственный сын, наследник благородного имени Мондольфо-и-Кармина. Можно ли было допустить, что отец добровольно пожертвует мною, отдав меня в монастырь, при том, что наш титул в этом случае перейдет к нашему двоюродному брату и врагу, гвельфу и изменнику Козимо д'Ангвиссола из Кодоньо! Я представляю себе, как он бушевал при одной мысли об этом; слышу его уговоры, брань, бешеные крики. Но он был подобен океану энергии, волны которого бурлят вокруг неприступной стены упрямства и разбиваются об нее. Моя мать дала клятву отдать меня на службу Святой Церкви и согласна была вытерпеть любую муку, готова была идти и на смерть ради того чтобы ее клятва была исполнена. У нее была своя манера, против которой этот сильный человек, мой отец, ничего не мог поделать. Она стояла перед ним бледная, не говоря ни слова, не вступая с ним в споры, ничего не отвечая на его мольбы.

— Я дала клятву, — сказала она только один раз; и после этого она только кротко склоняла голову, избегая его гневных взглядов, и складывала руки, как воплощение долготерпения и мученичества. А потом, когда буря отцовского гнева обрушивалась на нее, на ее бледном лице появлялись две блестящие дорожки, и ее слезы — страшные молчаливые слезы, при которых лицо ее оставалось спокойным и бесстрастным, градом катились по щекам. Это вызывало новый взрыв брани с его стороны, и он уходил прочь, проклиная тот день, когда сочетался браком с глупой женщиной.

Его ненависть к этим ее настроениям, к клятве, которую она дала и которая грозила лишить его сына, вскоре довела его до того, что он стал ненавидеть самую причину всего этого. Гибеллин по рождению, он довольно скоро стал настоящим отступником, врагом Рима и папской власти. Он был не таков, чтобы довольствоваться пассивной враждой. Он должен был действовать, попытаться уничтожить то, что так ненавидел. Так случилось, что после смерти папы Клемента (второго Медичи на папском престоле), используя ослабленное положение, от которого папская власть не успела оправиться после того, как Рим был завоеван и разграблен Императором, мой отец собрал армию и попытался сбросить давнее ярмо, которое Юлий Второй* наложил на Парму и Пьяченцу, отобрав их у Милана.

Я был в то время семилетним ребенком и отлично помню суету и беспорядок, которые царили в нашей цитадели Мондольфо в связи с военными приготовлениями; толпы вооруженных людей, заполнявшие дворы и дворики крепости, которая была нашим домом, или маневры и строевые учения, происходившие в зеленой долине за рекой.

Зрелище это очаровало и поразило меня. Кровь быстрее текла в жилах при звуках медных труб, а когда я взял в руки пику, пытаюсь удержать ее в равновесии, все тело мое пронзила сладостная дрожь, незнакомая мне доселе. Но моя мать, почувствовав с тревогой тот восторг, который вызывали во мне все эти военные приготовления, уводила меня, чтобы я видел их как можно меньше.

Засим последовали сцены между ней и моим отцом, о которых в моей памяти осталось лишь весьма смутное воспоминание. Прошло то время, когда она стояла словно безмолвная статуя, перенося с поразительным спокойствием его жестокие нападки. Теперь она просила, умоляла, порою со страстью, порою со слезами; своими молитвами, своими пророчествами о том, сколько зла принесут его богопротивные намерения, она пыталась изо всех своих слабых сил отвлечь его от задуманного, помешать ему встать на путь мятежа и бунта.

А он слушал в молчании, сохраняя на лице непреклонное сардоническое выражение; а когда поток ее

* Юлий Второй (1443 — 1513) — папа римский (1503—1513). Основным содержанием его политики была борьба за усиление папского государства.

вдохновенного красноречия начинал иссякать от усталости, он неизменно давал ей один и тот же ответ:

— Вы сами довели меня до этого; и это только начало, не более. Вы дали клятву, чудовищную клятву, обещая принести в дар то, что не имели права дарить. Вы не можете нарушить клятву, как вы говорите. Пусть б'дет так. Но я должен исправить положение другим способом. Для того чтобы спасти моего сына от Церкви, в жертву которой вы его обрекли, я смету с лица земли саму эту Церковь, уничтожу ее власть в Италии.

При этих словах стон ужаса вырывался из ее груди, она сникала перед ним, закрывая свое бледное несчастное лицо руками.

— Богохульник! — восклицала она с ужасом, смешанным с отвращением, и с этим словом, которым, словно «аминь» в конце молитвы, неизменно заканчивались все их беседы в те последние дни, которые они провели вместе, она поворачивалась и, ведя меня за собой, ошеломленного и сбитого с толку тем, что было выше моего понимания, спешила в часовню нашей крепости и там, перед высоким алтарем, простиралась ниц и проводила таким образом долгие часы, со слезами вымаливая прощение.

Итак, пропасть между ними делалась все шире до того самого дня, когда он оставил Мондольфо.

Я не присутствовал при их расставании. Какие слова прощания говорили они друг другу, какие предчувствия мучили того или другого, думали ли они о том, что больше никогда не увидятся, — я ничего этого не знаю.

Помню, как ранним темным утром в начале года меня бесцеремонно схватили из кровати и подняли вверх руки, прикосновение которых всегда вызывало во мне приятную дрожь. Рядом с моим оказалось горячее смуглое лицо, выбритые щеки, орлиный нос; огромные глаза, влажные от слез, глядели на меня со страстной любовью. Затем раздался звенящий голос, этот властный голос, принадлежащий моему отцу, обращенный к Фальконе, оруженосцу, который служил у него, отправляя должность конюшего.

— Возьмем его с собой на войну, Фальконе?

Мои маленькие ручки обвились вокруг его шеи и судорожно сжимали ее, так что острый край его латного воротника едва не врезался в них.

— Возьмите меня с собой! — рыдал я. — Возьмите меня!

Он засмеялся в ответ, в этом смехе слышалось

торжество. Вскинув меня на плечо и поддерживая руками, он смотрел на меня снизу вверх. А потом снова засмеялся.

— Послушай-ка, что говорит этот щенок! — воскликнул он, обращаясь к Фальконе. — Молоко на губах не обсохло, а туда же, твякает, просится на войну.

Потом он снова взглянул на меня и крепко выругался, произнеся одно из своих излюбленных проклятий.

— Я могу на тебя положиться, сын мой, — смеялся он. — Им не удастся сделать из тебя бритоголового. Надеюсь, что, когда ты отрастишь мускулы, ты не будешь их тратить на то, чтобы размахивать кадилом. Потерпи немного, и мы еще поскачем вместе, никогда в этом не сомневайся.

С этими словами он снял меня с плеча, чтобы поцеловать, и прижал меня к груди с такой силой, что моя нежная кожа хранила отпечатки его dospехов еще долгое время после его ухода.

В следующее мгновение он удалился, а я остался лежать в слезах, одинокий маленький ребенок.

Однако, восстав против Церкви, мой отец недооценил силы и энергии нового понтифекса* из рода Фарнезе. Он, по-видимому, решил, что новый папа столь же ленив и бездеятелен, как и предыдущий, что Павел Третий окажется не более опасным, чем Клемент Седьмой. Дорого стоила ему его ошибка. По ту сторону По его неожиданно атаковала папская армия под предводительством Ферранте Орсини, и он был наголову разбит.

Отцу удалось спастись, и вместе с ним спасся и некий джентльмен из Пьяченцы, один из отпрысков знаменитого дома Паллавичини, который получил рану в ногу, оставившую его хромым на всю жизнь, так что впоследствии он был известен как Pallavicini il Zoppo**.

Все они были преданы анафеме и объявлены вне закона, за голову каждого была обещана награда, папские эмиссары охотились за ними, так что им пришлось бежать из провинции в провинцию. В результате мой отец не смел показаться в Мондольфо, да и вообще в провинции Пьяченца, которая была сурово наказана за неповиновение, зародившееся на ее земле.

* Один из титулов папы римского (латинское pontifex буквально означает «жрец, священник»; римский папа назывался «суверенный понтифекс» или «римский понтифекс»).

** Паллавичини Хромым.

Само имение Мондольфо едва избежало конфискации. Это, несомненно, случилось бы, если бы брат моей матери, могущественный кардинал из Сан-Паоло в Карчере, не употребил свое влияние в пользу своей сестры и мою и если бы к его просьбе не присоединился тот наш родственник, кузен моего отца Козимо д'Ангвиссола, который был следующим после меня наследником Мондольфо и поэтому имел все основания не желать, чтобы имение было конфисковано Святым Папским Престолом.

Так случилось, что нас оставили в покое, и мы не пострадали в результате восстания, поднятого отцом. Пострадать должен был отец, когда его схватят. Однако его так никогда и не поймали. Время от времени мы получали вести о нем. То он был в Венеции, то в Неаполе, то в Милане; однако в целях безопасности он нигде не оставался подолгу. А потом однажды ночью, шесть лет спустя, израненный седой ветеран, явившийся невесть откуда, упал от истощения во внутреннем двореке нашей цитадели, куда ему удалось дотащиться. Подошли люди, чтобы оказать ему помощь, и среди них был один, который его узнал.

— Это мессер* Фальконе! — вскричал он и помчался сообщить эту весть моей матери, возле которой я в это время сидел за столом. Тут же находился и фра** Джервазио, наш капеллан***.

Печальную весть принес нам старик Фальконе. Все эти долгие шесть лет непрерывных странствий Фальконе не разлучался с моим отцом до того самого момента, когда отец перестал нуждаться в его, и вообще в чьих бы то ни было, услугах.

В Перудже вспыхнуло восстание, повлекшее за собой кровавую битву, сообщил нам Фальконе. Была сделана попытка свергнуть власть Пьерлуиджи Фарнезе, герцога Кастро, славившегося своей подлостью, сына самого папы. Отец несколько месяцев пользовался убежищем, представленным ему перуджанцами, и оплатил за их гостеприимство тем, что присоединился к восстанию и сражался в этой обреченной на неудачу борьбе за независимость бок о бок с ними. Они были разбиты в

* Мессер (*итал.*) — господин (обращение).

** Фра (от *итал. frate*) — брат (перед именами монахов, начинающимися с согласных).

*** Капеллан — здесь: замковый священник.

сражении с войсками Пьерлуиджи, и в числе павших был мой отец.

Для него оказалось благом то, что он погиб столь славной и легкой смертью, думал я, когда услышал об ужасах, вынесенных несчастными, которые попали в лапы к Фарнезе.

Моя мать выслушала Фальконе до конца, не проявив ни малейших признаков чувств. Она сидела перед ним, холодная и бесстрастная, словно изваянная из мрамора, в то время как фра Джервазио — который был молочным братом моего отца, как вы со временем узнаете подробнее, — склонил голову на руки и рыдал, как дитя, слушая печальную повесть о его кончине. В силу ли примера или оттого, что в этот момент мне с необычайной остротой вспомнился этот прекрасный сильный человек, его смуглое бритое лицо, громкий веселый голос, то, как он обещал мне, что когда-нибудь мы вместе сядем на коней, но только я тоже разразился рыданиями.

Когда рассказ был окончен, моя мать холодно распорядилась, чтобы о Фальконе позаботились, и удалилась к себе, чтобы помолиться, и взяла меня с собой.

Впоследствии я часто задавал себе вопрос: о чем она молилась в ту ночь? Была ли это молитва за упокой души славного и мятежного воина, который покинул этот мир во грехе, сражаясь с оружием в руках против Святой Церкви, был предан анафеме и обречен на вечный ад? Или она благодарила Бога за то, что теперь она — полноправная хозяйка моей судьбы, ибо теперь ей нечего бояться, теперь никто не будет препятствовать ее планам относительно моего будущего? Я не знаю, и мне не хотелось бы совершать по отношению к ней несправедливость, высказывая возможные предположения.

Глава вторая

ДЖИНО ФАЛЬКОНЕ

Когда я теперь думаю о моей матери, я не могу себе представить, какая она была, как выглядела в тех обстоятельствах, о которых я рассказал. Но есть одна картина, один ее образ — он горит в моей памяти, словно выжженный кислотой, и встает, словно призрак, всякий раз, стоит только мне подумать о ней или услышать,

как кто-то называет ее имя. Я всегда вижу ее такой, какой она была в тот вечер, когда неожиданно, без всякого предупреждения вошла в оружейную нашей крепости и застала там меня вместе с Фальконе.

Я вижу ее как сейчас: стройная высокая фигура; бледное овальное лицо с прозрачной, словно воск, кожей в рамке белого монашеского плата, поверх него накинута черная вуаль, доходящая до пояса, где она терялась в складках черной мантии, которую она неизменно носила.

Сколько я себя помню, она всегда была одета именно так: черная траурная мантия, свободными складками ниспадающая до самого пола. Снова я вижу эти складки и бледное лицо с запавшими глазами, обведенными темными кругами, от которых глаза казались еще более глубокими и которые подчеркивали их мягкий блеск в тех редких случаях, когда она их поднимала; тонкие восковые руки, четки с серебряным распятием на конце, свисающие с левой кисти.

Двигалась она почти бесшумно, словно призрак, как другие женщины, проходя, оставляют за собой аромат духов, за ней тянулся неуловимый след скорби и печали.

Так она выглядела, когда застала нас в тот вечер в оружейной, и такой осталась в моей памяти навеки, ибо в тот день я впервые восстал против ее ига, против рабства, на которое она меня обрекла; в первый раз столкнулись две наших воли, ее и моя; и, как следствие, я в тот день, возможно, в первый раз посмотрел на нее осмысленно и определил для себя.

Это произошло примерно через три месяца после возвращения Фальконе в Мондольфо.

То, что старый оруженосец обладал невероятной привлекательностью для моей юной души, понять нетрудно. Его тесная связь с полузабытым отцом, который тайно занимал в моем воображении то место, которое, как желала моя мать, должен был занимать святой Августин, притягивала меня к нему, его конюшему, с такой же силой, как металл тянется к магниту.

Тяготение было взаимным. Старик Фальконе постоянно искал случая находиться поблизости от меня, все время попадался мне на глаза, словно собака, ожидающая ласкового слова. Каждый день мы встречались и разговаривали, и день ото дня эти свидания продолжались все дольше и дольше; это были украденные часы, о которых я ни слова не говорил моей матери, да и никому другому

тоже, так что до поры до времени все обстояло благополучно.

Говорили мы, естественно, о моем отце, и именно благодаря Фальконе я многое узнал об этом великодушном и благородном человеке, доблестном воине, который, по словам старого слуги, сочетал в себе храбрость льва с хитростью и коварством лисицы.

Он рассказывал о военных подвигах, в которых они оба принимали участие; он описывал конную атаку так живо, что у меня все дрожало внутри, когда я мысленно слышал рев медных труб и оглушительный топот копыт по земле. Он рассказывал о штурме крепостных стен, о том, как карабкались по лестницам и врывались в проломы, о ночных атаках и засадах; о черной измене и великом героизме вел он речь, воспламеняя мое воображение и наполняя мою душу восторгом, который сменялся яростью, когда я думал о том, что это не для меня, что этим подвигам нет места в моей жизни, что мне предназначен другой путь — серая скучная тропа, в конце которой маячит награда, не имеющая для меня никакого интереса.

А потом, в один прекрасный день, от разговоров о сражении как о военном деле, когда сила борется против силы и хитрость против хитрости, он перешел к искусству боя — фехтованию.

Именно от Фальконе я впервые услышал о Мароццо, чудо-оружейнике и учителе, который в своей Академии в Болонье обучал мастерству владения шпагой, так чтобы боец, сражаясь изготовленным им клинком, как зверь бьется с помощью зубов и когтей, приобретал практические навыки и умения, дающие ему преимущества, против которых обычная сила — ничто.

То, что он мне рассказал, поразило меня до глубины души, я никогда ничего подобного не слышал даже от него самого, к тому же он сопровождал свой рассказ демонстрацией, принимая различные позиции, преподанные Мароццо, для того чтобы я мог оценить науку, лежащую в их основе.

Так я впервые познакомился — в те времена мало кто знал такие вещи — с удивительнейшими оборонительными позициями, изобретенными Мароццо; Фальконе объяснил мне разницу между *mandritto** и *verso***, между ложным

* Удар справа налево (*итал.*).

** Удар наотмашь (*итал.*)

выпадом и действительной атакой, между *stamazone** и *tondo***. Я пришел в полное восхищение, когда он познакомил меня с великолепной защитой, которой Мароццо дал весьма удачное название «железный пояс» — низкое положение, примерно на уровне талии, при котором боец парирует и в то же время получает возможность колоть, так что одним движением он и обороняется, и отвечает.

В конце концов, уступая моим расспросам, он рассказал, что во время своих скитаний мой отец, повинувшись безрассудному порыву — способность к таким порывам самым странным образом сочеталась у него с осторожностью, — отважился проникнуть в Болонью, несмотря на то, что она была ленным владением*** папы, с единственной целью поучиться у Мароццо; что сам Фальконе ежедневно сопровождал его, присутствовал на уроках и после этого помогал отцу закрепить узнанное на практике, выступая в качестве противника, так что ему были знакомы все секреты, которым обучал Мароццо.

И наконец однажды, очень робко, как человек, хотя и уверенный в собственном ничтожестве, просит тем не менее о милости, на которую, как он знает, не имеет никакого права рассчитывать, я попросил Фальконе показать мне какие-нибудь элементы искусства Мароццо с настоящим оружием.

Я боялся, что получу отказ. Мне казалось, что даже старик Фальконе рассмеется над желанием того, кому судьбою определено изучать теологию, приобщиться к таинствам искусства фехтования. Однако для моих страхов, как выяснилось, не было никаких оснований. В серых глазах конюшего не было и тени насмешки, в то время как улыбка, появившаяся на его губах, когда он узнал о моем намерении, была улыбкой радости, энтузиазма и даже благодарности.

Так и получилось, что после этого мы каждый день практиковались в оружейной с час или около того со шпагой и кинжалом, и с каждым разом моя ловкость в обращении с клинком возрастала так стремительно, что Фальконе именовал мои успехи поразительными и клялся,

* Падение на землю (*итал.*).

**оборот крutom (*итал.*).

*** Феодальная земельная собственность, которой распоряжается непосредственно монарх.

что я просто рожден для клинка, что умение им владеть у меня в крови.

Возможно, его привязанность ко мне заставляла его преувеличивать успехи, которые я делал, и умение, которое я приобретал; возможно, что его слова были не чем иным, как доброжелательной лестью того, кто любил меня и желал доставить мне удовольствие, давая мне возможность порадоваться моими успехами. И тем не менее, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю, каким ребенком я в то время был, я склоняюсь к мысли, что его слова были чистой правдой.

Я упоминал о странном, почти необъяснимом восторге, который меня охватил, когда я впервые взял в руки копьё, пытаюсь удержать его в равновесии. Не берусь описать, что я испытал, когда мои пальцы впервые сомкнулись на рукоятке шпаги, а указательный палец по-новому прижался к ее нарезкам, как учил меня Фальконе. Но нет слов, чтобы все это описать. Сладкое ощущение равновесия, холодный блеск клинка — все это вызывало во мне трепет наподобие того, что испытывает юноша от первого страстного поцелуя. Я понимаю, что это не совсем одно и то же; и тем не менее не могу придумать никакого более достойного сравнения.

Я был в ту пору подростком, мне исполнилось тринадцать лет, но я был рослым и сильным не по возрасту, несмотря на то, что моя мать всячески ограничивала мои упражнения с оружием, занятия борьбой и верховой ездой — словом, все то, что способствует физическому развитию юноши. Я был почти такого же роста, как сам Фальконе, который считался человеком высоким, и если мой выпад был короче, чем его, я компенсировал это быстротой движения, свойственной молодости, так что в скором времени — если только он по своему добродушию не сдерживался, не позволяя себе действовать в полную силу, — я оказался достойным противником Фальконе.

У фра Джервазио, который был в то время моим наставником и с которым я проводил утренние часы, совершенствуясь в латыни и постигая основы греческого языка, вскоре возникли подозрения по поводу того, чем именно я занимаюсь наедине с Фальконе в часы сиесты, отведенные для отдыха.

Однако этот святой добрый человек хранил молчание, какое-то обстоятельство в то время приводило меня в недоумение. Нашлись, однако, другие, которые сочли

нужным уведомить о наших занятиях мою мать, и так случилось, что в тот день в оружейной она застала нас врасплох — оба мы были одеты только в рубашки и панталоны и занимались тем, что кололи мишени.

Когда она вошла, мы отскочили друг от друга, как дети, которых поймали в чужом саду, хотя Фальконе сохранил свою гордую осанку; он стоял прямо, гордо откинув голову, и смотрел твердым, холодным взглядом.

Прошло какое-то время, показавшееся мне нестерпимо долгим, прежде чем она заговорила; раз или два я украдкой бросил на нее взгляд и увидел ее такой, какой она сохранилась в моей памяти, такой, какой я буду видеть ее до смертного своего часа.

Ее глаза были устремлены на меня. Мне кажется, что поначалу она даже не взглянула на Фальконе. Только на меня она смотрела, и столько печали было в ее взоре при виде сильного здорового юноши, что, право же, даже мой хладный труп не мог бы вызвать большей скорби. Поначалу она только беззвучно шевелила губами; молилась ли она или просто не могла произнести ни слова от волнения, я сказать не могу. Наконец к ней вернулся дар речи.

— Агостино, — произнесла она голосом, исполненным холодного негодования, и остановилась, ожидая от меня ответа.

И тут в душе моей проснулся мятежный дух. Ее появление обдало меня холодом, при всем при том, что я был разгорячен движением и обливался потом. В этот момент, при звуке ее голоса, моему внутреннему взору впервые отчетливо представилась некая несправедливость, которая надо мною тяготела, фанатизм, сковавший меня по рукам и ногам. Меня снова бросило в жар, жар угрюмого протеста и негодования. Я ничего не сказал в ответ, если не считать короткого почтительного приглашения сообщить то, что она имела мне сказать, облеченного — так же как и ее упрек — в одно-единственное обращение.

— Мадонна? — с вызовом проговорил я и, подражая старому Фальконе, выпрямился, откинул голову и посмотрел ей прямо в глаза, собирая в кулак всю свою волю, так, как мне никогда еще не доводилось делать.

Это был, как я полагаю, самый отважный поступок в моей жизни. Совершая его, я испытывал те же чувства,

* Госпожа (итал.).

что и человек, который решился войти в бушующее пламя. И когда дело было сделано, меня удивило, насколько это было легко. Не произошло ничего ужасного, никакой катастрофы, которой я мог бы ожидать. Под моим взглядом, неожиданно преисполненным смелости, она по своему обыкновению отвела и опустила глаза. Все, что она потом сказала, было произнесено тем холодным, бесстрастным тоном, который был ей свойствен, голосом той, в чьей груди навсегда застыл источник ласки, нежности и понимания.

— Что ты делаешь с этой шпагой, Агостино? — спросила она меня.

— Как видите, госпожа моя матушка, я упражняюсь, — ответил я и уголком глаза увидел суровую одобрительную улыбку, шевельнувшую губы старого Фальконе.

— Упражняешься? — механически повторила она, словно не понимая. Затем очень медленно и печально она подняла голову. — Человек упражняется в том, что он впоследствии собирается делать, Агостино. Возвращайся, следовательно, к своим книгам и предоставь шпаги кровожадным людям. Если у тебя есть ко мне уважение, постарайся, чтобы я больше никогда не видела оружия у тебя в руках.

— Если бы вы не пришли сюда, госпожа моя матушка, вы были бы избавлены от этого зрелища, — отвечал я, не давая угаснуть искре мятежного огня, который еще теплился в моей груди.

— Богу угодно было, чтобы я пришла и положила конец этому суетному занятию, прежде чем оно пустит слишком глубокие корни, — сказала она в ответ. — Положи на место это оружие.

Если бы она рассердилась, мне кажется, я бы сумел ей противостоять. Ее гнев в эту минуту действовал бы на меня, вероятно, так же, как сталь действует на камень. Но при виде этой воплощенной скорби и печали моя воля, сама сила моего характера обращались в воду. Подобными средствами она брала верх и над моим бедным отцом. А у меня к тому же была привычка к подчинению, преодолеть которую оказалось не так легко, как я поначалу предполагал.

Угрюмо и неохотно я положил свою шпагу на скамью, стоявшую у стены. Когда я обернулся, чтобы это сделать, ее мрачный взгляд остановился на минуту на Фальконе, который хранил мрачное молчание. Затем она снова опустила глаза и только после этого обратилась к нему.

— Ты поступил очень дурно, Фальконе, — сказала она. — Ты злоупотребил моим доверием и пытался свратить моего сына, направить его на путь зла.

Он вздрогнул, услышав эти упреки, как вздрагивает горячий жеребец, когда в него вонзают шпоры. Краска бросилась ему в лицо. Возможно, привычка к повиновению была в нем так же сильна, но это было повиновение мужчине; ему, старому солдату, никогда не приходилось иметь дело с женщиной. Более того, здесь он почувствовал оскорбление, нанесенное памяти Джованни д'Ангвиссола, моего отца, который был для Фальконе чуть ли не богом. И это ясно показал его ответ.

— Путь, на который я направил вашего сына, мадонна, — сказал он своим низким голосом, отозвавшимся гулким эхом под сводами потолка, — это путь, по которому шел его благородный отец. И тот, кто говорит, что путь Джованни д'Ангвиссола — это путь зла, гнусный лжец, кто бы он ни был — мужчина или женщина, знатный аристократ или простой виллан*, папа или сам дьявол.

После чего он замолчал и застыл в величественной позе, сверкая глазами.

Эта грубая речь заставила ее задрожать. Но потом она ответила, не поднимая глаз, без тени гнева в голосе:

— Твое здоровье и силы вернулись к тебе, мессер Фальконе. Сенешаль** отдаст приказание заплатить тебе десять золотых дукатов вознаграждения в счет того, что тебе следует еще от нас получить. Позаботься о том, чтобы к ночи тебя не было в Мондольфо.

После чего, не сделав ни малейшей паузы и не изменив своей убийственной интонации, она скомандовала:

— Идем, Агостино.

Однако я не сдвинулся с места. Ее слова поразили меня ужасом. С того места, где стоял Фальконе, я услышал звук — среднее между рыком и стоном. Я не смел взглянуть на него, однако видел мысленным взором, как он стоит там, бледный, замкнутый и непреклонный.

Что он теперь будет делать, что скажет? О, какая

* Виллан (итал. villano) — мужик; крестьянин.

** Сенешаль (фр.) — буквально — «старший слуга», — лицо, осуществлявшее руководство над всеми служащими феодального замка, поместья.

жестокость, какая ужасная жестокость! Выгнать старого воина, который едва оправился от ран, полученных на службе моего отца, выгнать его на старости лет, как не выгоняют и собаку! Это было чудовишно. Мондольфо — это его дом. Ангвиссола — его семья; их честь — это его честь, поскольку он виллан, а виллану не полагается иметь собственной. И выгнать его отсюда, лишив всего этого!

В одно короткое мгновение все это промелькнуло в моем воспаленном мозгу, пока я стоял в полном изумлении, ожидая, что он будет делать, что скажет в ответ на приказание моей матери.

Просить он не будет, я слишком хорошо его знал, чтобы это допустить; я был в этом уверен, даже не зная, что были и другие причины, которые делали невозможным для Фальконе просить милости у моей матери.

Некоторое время он стоял неподвижно, пораженный неожиданностью. А затем, когда он наконец обрел способность двигаться, он сделал то, чего я меньше всего ожидал. Не к ней обратился он, а ко мне, припав на одно колено.

— Мессер! — вскричал он, и, прежде чем он успел произнести следующее слово, я уже знал, что он собирается сказать. Ибо до этого времени ни разу никто не обращался ко мне как к господину, владельцу Мондольфо. Я был для всех просто сыном своей матери, Мадоннино. Но для Фальконе в этот час его великой нужды во мне я стал его господином.

— Мессер, — сказал он наконец. — Это тебе угодно, чтобы я удалился?

Я отпрянул назад, все еще во власти изумления, а затем услышал голос моей матери, холодный и язвительный:

— Желания Мадоннино не имеют к этому никакого отношения, мессер Фальконе. Это я приказываю вам удалиться.

Фальконе ей не ответил; он сделал вид, что не слышит ее, и продолжал, обращаясь ко мне.

— Ты здесь господин, мессер, — настойчиво продолжал он. — Ты творишь суд в Мондольфо. В твоей деснице жизнь и смерть твоих подданных. Ни один человек, находящийся в твоих владениях, будь то мужчина или женщина, не может противиться твоей воле.

Он говорил правду, истинную правду, все эти месяцы

она, словно гора, стояла перед моим взором, но я тем не менее ее не видел.

— Уйти мне или остаться, зависит от твоего решения, мессер, — сказал он, а затем добавил голосом, больше похожим на угрожающее рычание: — Я не повинуюсь здесь никому другому, ни папе, ни самому дьяволу.

— Агостино, я жду тебя, — раздался из дверей голос моей матери.

Что-то сдавило мне горло. Это было искушение, а искусителем был старик Фальконе. Он был больше чем искусителем, хотя в какой степени, я никак не мог вообразить, как не мог себе представить, от чьего имени и по чьему повелению он действует. Это был наставник, который указывал мне путь к свободе и возмужанию; он указывал мне, как одним ударом я могу разбить оковы, которые меня держат, и сбросить их, словно паутину, каковой они на самом деле и были. К тому же он меня испытывал, испытывал мое мужество и волю; и, на мою погибель, вышло так, что у меня не оказалось ни того, ни другого. Моя жалость к нему едва не придала мне решимости, которой мне не хватало. Однако и ее оказалось недостаточно.

Видит Бог, как я жалею, что не внял его совету, видит Бог, я должен был гордо вскинуть голову и заявить моей матери — как он мне подсказывал, — что в Мондольфо господин я и что Фальконе остается, ибо такова моя воля.

Я пытался это сделать скорее из любви к нему, чем повинувшись благородной силе духа, которую он пытался в меня вселить. Если бы я в этом успел, если бы утвердился в своей власти, я бы стал вершителем своей судьбы, и от скольких бед и невзгод, от скольких грехов и напрасных страданий это бы меня избавило в будущем!

Это был решающий час, хотя я этого и не знал. Я стоял на распутье; и тем не менее я колебался, не мог принять решение: недостаток храбрости помешал мне избрать тот путь, который он мне указывал и который манил, соблазнял меня с такой силой.

И вот, прежде чем я успел ответить, как мне хотелось, дать тот ответ, который я стремился дать, моя мать заговорила снова и своим дрожащим голосом, в котором звучали слезы — по своему прежнему обыкновению, так же, как она властвовала над моим отцом, — она снова

сковала на мне оковы, которые я пытался сбросить всеми силами моей юной души.

— Скажи ему, Агостино, что твоя воля — это воля твоей матери. Скажи ему это, и пойдем. Я жду тебя.

Я подавил стон и бессильно опустил руки. Я был слаб душой и достоин всяческого презрения. Я это понимал. И все-таки сегодня, когда оглядываюсь назад, я понимаю, какая невероятная сила требовалась от меня тогда. Мне было всего тринадцать лет, я был подчинен и запуган той, которая держала меня в рабстве.

— Я... Мне очень жаль, Фальконе, — лепетал я, и в глазах у меня стояли слезы.

Я снова пожал плечами — пожал плечами в знак моего отчаяния, горя и бессилия — и медленно пошел по большой комнате к двери, возле которой меня ждала моя мать.

Я не смел бросить прощальный взгляд на сокрушенного горем старого воина, верного слугу, прослужившего нам всю жизнь и столь безжалостно выгнанного женщиной, которую иссушил фанатизм, лишив всякого человеческого чувства, и мальчиком, под громким именем которого скрывалась самая обыкновенная трусость.

Я услышал прерывистое рыдание, и этот звук поразил меня в самое сердце, причинив такую боль, словно это было настоящее железо. Я изменил ему. И, наверное, еще большее страдание причинило ему то, что я оказался недостойным сыном боготворимого им господина, чем то, что его ожидали нужда и лишения.

— Мессер! Мессер! — раздался его отчаянный крик. На самом пороге я замялся, остановленный этим душераздирающим криком. Я повернул голову.

— Фальконе... — начал я.

И тут бледная рука моей матери опустилась на мое плечо.

— Пойдем, сын мой, — произнесла она голосом, к которому вернулось прежнее бесстрастное выражение.

Как бы там ни было, я снова покорился ей и, выходя, слышал голос Фальконе. Старик кричал:

— Мессер, мессер! Помогите мне, Господь, и помогите, Господь, тебе тоже.

Часом позже он покинул цитадель, и на каменных плитах внутреннего дворика остались лежать десять золотых дукатов, которые он там бросил и подобрать которые не хватило смелости ни у конюхов, ни у алчных слуг, так боялись они проклятия, которому он предал эти деньги.

ПИЕТИЧЕСКОЕ РАБСТВО

В тот вечер моя мать говорила со мною дольше, чем когда-либо. Возможно, она опасалась, как бы Джино Фальконе не разбудил во мне мысли, которым лучше было бы снова погрузиться в сон. Возможно и то, что она почувствовала какую-то особую значительность того момента в оружейной, так же, как она, наверное, почувяла, что я в первый раз в жизни заколебался, не подчинившись немедленно малейшему ее слову, и приняла решение сразу же подавить мой бунт, прежде чем он разрастется до такой степени, что она уже не сможет с ним сладить.

Мы сидели в комнате, которая носила название малой столовой, но которая, по существу, исполняла и все остальные функции — только для сна были отведены особые покои.

Роскошные палаты, через которые я проходил ребенком во времена моего отца, полные драгоценной резной мебели; высокие залы, где потолки были расписаны фресками, а стены увешаны драгоценными гобеленами, многие из которых были вытканы мастерами Фландрии; где полы были выложены мозаичным паркетом, эти апартаменты много лет стояли закрытыми.

Для затворнических потребностей моей матери достаточно было алькова, где она спала, часовни в замке, в которой она проводила многие часы, и этой ее столовой, где мы теперь сидели. В обширные сады, находящиеся в пределах замка, она выходила редко и никогда не бывала в нашем городке Мондольфо. Ни одного раза, с того самого дня, как мой отец отправился в свой мятежный поход, она не ступила на подъемный мост, охраняющий наш замок. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты», — гласит пословица. «Покажи мне свое жилище, и я определю твой характер», — говорю я.

Не было другой комнаты, на которой бы до такой степени отпечатался характер ее обитательницы, как эта личная столовая моей матери.

Это была узкая комната в форме небольшого прямоугольника с окнами, расположенными под самым потолком, обшитым деревом и побеленным, так что невозможно

* Пиетический — ложноблагочестивый, ханжеский.

было ни заглянуть внутрь комнаты, ни выглянуть наружу — такие окна бывают иногда в часовнях.

На белой стене напротив двери висело огромное распятие, грубо вырезанное из дерева человеком, который либо не имел никакого понятия об анатомии, либо — что более вероятно — не сумел передать свои знания резцу. Грубо раскрашенная фигура была сделана примерно в половину натуральной величины человека; это было самое отталкивающее, самое отвратительное изображение трагедии Голгофы, которое мне когда-либо приходилось видеть. Оно наполняло человека ужасом, не имеющим ничего общего с благоговейным трепетом, который этот символ должен вызывать у каждого истинно верующего. Оно подчеркивало всю отвратительную неприглядность смерти на этом варварском подобии виселицы, без малейшего намека на красоту и безмерность божественного мученичества Того, кто в облинии грешной плоти был единственным безгрешным. Самым же отвратительным и жалким для меня в этом распятии было изобретение, которое придумал его создатель, для того чтобы дать понятие о сверхъестественной природе этого уродливого, непохожего на человека изображения. Внутри раны, нанесенной копьем Лонгина, он поместил кусочек хрусталя, на который, если смотреть под определенным углом, в особенности когда в комнате горели свечи, падал свет и, отражаясь, создавал впечатление исходящего из тела сияния.

Было удивительно, что моя мать, которая смотрела на это распятие иными глазами, чем я, старалась, когда по вечерам приносили в комнату свет, поставить свечу таким образом, чтобы эффект, задуманный скульптором, осуществлялся наилучшим образом. Какое она могла испытывать удовлетворение, глядя на свет, отраженный от этой покрытой стеклом раны, оранжировке которого она сама способствовала, я понять не в состоянии. И тем не менее меня уверяли, что она подолгу смотрела на это сияние в благоговейном экстазе, считая, что если это и не чудо, то нечто очень близкое к нему.

Под распятием висел сосуд из алебаstra для святой воды. В одно из его отделений была поставлена желтая увядшая пальмовая ветвь, которая менялась раз в году в Пальмовое воскресенье*. Перед ним стояла простая

* Воскресенье перед Пасхой, в которое празднуется вход Христа в Иерусалим. Процессии верующих несут в руках пальмовые ветви, приветствуя Спасителя. (Православные называют этот день Вербным воскресеньем.)

дубовая скамеечка для коленопреклоненной молитвы, ничем не покрытая, так что ничто не защищало колени от жесткого дерева.

В углу комнаты стоял высокий квадратный шкаф, вместительный, но очень простой, в котором размещалось все необходимое для трапезы. В противоположном углу стоял еще один шкаф, поменьше, с небольшим пюпитром для письма. Здесь моя мать вела счета хозяйственных расходов, держала книгу кулинарных рецептов и простейшие лекарства; здесь же хранились божественные книги — в основном рукописи, — из которых она черпала утешение для своей жаждущей души.

Среди них были «Трактат о душевных страданиях Христа» — труд блаженной Батисты де Варано, принцессы Камерино, той, что основала в этом городе монастырь, обитель нищенствующих монахинь-кларисс*, — книга, которая даже в моем юном возрасте казалась мне богохульственно-самонадеянной, составив одно из первых звеньев в цепи моих сомнений.

Второй была «Духовная борьба», странная, но талантливая книга клирика Скуполи, которую именовали «*aurea libra*»** и которая была посвящена «*Al Supremo Capitano e Gloriosissimo Trionfatore Gesu Cristo, Figliuolo di Maria*»***, и это посвящение, написанное в форме письма к нашему Спасителю, было подписано: «Твой покорнейший слуга, за которого было заплачено ценой твоей крови»****.

В середине комнаты располагался длинный прямоугольный дубовый стол, очень скромный, как и вся остальная скудная меблировка этой комнаты. Во главе стола стояло кресло для моей матери, деревянное, без всякой обивки или подушек, долженствующих сделать его более мягким и удобным, а вдоль каждой длинной стороны его стояли стулья поменьше, предназначенные для тех, кто обычно обедал за этим столом. Это были, кроме меня, фра Джервазио, мой воспитатель; мессер Джорджо, кастелян†,

* Клариссы — женский монашеский орден, основанный в XIII веке последовательницей Франциска Ассизского Кларой Шефи (отсюда название).

** Золотая книга (*лат.*).

*** «Высшему Главе, Всемилоостивейшему Триумфатору, Иисусу Христу, Сыну Марии».

**** Это произведение, бывшее в большой моде, было впервые напечатано в 1589 году. Однако рукописные копии существовали, естественно, еще ранее того, одну из них Агостино и имеет в виду. (*Прим. автора*)

† Здесь: управляющий замком.

лысый старик, который давно уже вышел из того возраста, когда мужчина берет в руки оружие, и который, если придет нужда защищать Мондольфо от врагов, мог бы принести не больше пользы, чем Лоренца, престарелая служанка моей матери, сидевшая за столом на следующем месте после него; он был дряхл, беззуб и согбен годами, но в высшей степени предан — могло ли быть иначе, принимая во внимание, что он стоял одной ногой в могиле, — каковое достоинство, с точки зрения моей матери, намного превышало все остальные.

Что же касается наших трапез, не говоря о том, что ели мы только постную пищу, а вино пили разбавленным, я могу сказать только одно: за столом моей матери не соблюдалась строгая иерархия размещения трапезующих по степени их сана. Не было того, что кто-то обязательно сидел выше или ниже центра, обозначенного солонкой, стоящей в середине стола, как было принято испокон веков в других феодальных домах. Нет никакого сомнения, что она рассматривала отказ от этого обычая как акт смирения, однако она никогда ничего по этому поводу не говорила, по крайней мере в моем присутствии.

Стены в комнате были побелены и голы. Каменный пол устлан тростником, который менялся не чаще раза в неделю. Из того, что я рассказал, вы можете составить некоторое представление о том, каким холодным и безрадостным было это жилище, об атмосфере ханжества, пропитавшей сам воздух этой комнаты, в которой я провел значительную часть своей юности. Кроме того, там стоял запах, характерный запах, составляющий неприменную принадлежность ризницы и редко присутствующий в обыкновенных покоях; запах, который трудно определить — неуловимый и в то же время всепроникающий, не похожий ни на один из известных мне запахов в мире. Эту затхлость, запах плесени, мог бы несколько развеять свежий воздух, если бы открыть окно, однако уничтожить его было невозможно; и к нему примешивался, так что невозможно было определить, который из них преобладает, легкий сладковатый запах воска.

В тот вечер мы обедали там в молчании, в то самое время, как Джино Фальконе готовился покинуть замок.

* Агостино употребляет слово *virtù*, которое имеет более широкое значение, чем дает его английский перевод, включая в себя мужество и умение обращаться с оружием. Вполне возможно, что Агостино иронизирует, используя второе значение этого слова. (Прим. автора)

Молчание не было необычным во время трапезы, поскольку принятие пищи — как и все остальное в этом скучном доме — рассматривалось как акт благочестия. Иногда молчание нарушалось чтением вслух из какого-нибудь божественного сочинения, которое читал один из ее секретарей.

Но в описываемый вечер в столовой царило обычное молчание, нарушаемое лишь беззубым чавканьем кастеляна, склонившегося над какой-нибудь мягкой пищей, которую готовили специально для него. В этом молчании было что-то мрачное; дело в том, что никто — и менее всего фра Джервазио — не одобрял нехристианского поступка, который от избытка христианских чувств совершила моя мать, прогнав прочь старого Фальконе.

Что касается меня, то я совсем не мог есть. Мое страдание душило меня. Мысль о том, что старый слуга, которого я любил, обречен на жизнь бесприютного бродяги, и все из-за моей слабости, из-за того, что я предал его в час, когда он во мне нуждался, была мне непереносима. У меня начинали дрожать губы, стоило мне об этом подумать, и я едва сдерживал слезы.

Наконец эта ужасная трапеза подошла к концу, закончившись благодарственной молитвой, чрезмерно длинной по сравнению со скромной пищей, которая была нам предложена.

Кастелян, шаркая ногами, вышел, опираясь на руку сенешаля; за ним последовала Лоренца, повинувшись знаку моей матери, и мы трое — Джервазио, моя мать и я — остались одни.

Теперь позвольте мне сказать два слова о фра Джервазио. Он был, как я уже упоминал, молочным братом моего отца. Это означает, что он был сыном крепкой здоровой крестьянки из Валь-ди-Таро, щедрая грудь которой вскормила отца, став источником силы и мощи, которыми он славился впоследствии.

Он был старше моего отца примерно на месяц и, как это часто бывает в таких случаях, был привезен в Мондольфо для того, чтобы стать сначала первым товарищем его игр, а впоследствии, несомненно, следовать за ним в качестве оруженосца. Однако простуда, приключившаяся с ним на десятом году жизни в результате того, что он среди зимы очутился в ледяной воде Таро, в коей пробыл довольно долго, приковала его к постели на многие недели, значительно ослабив его здоровье. Но он был умным и сообразительным ребенком, поэтому ему было разрешено присутствовать на уроках моего отца, и

это привило ему вкус к учению. Принимая во внимание то, что из-за его слабого здоровья он не сможет переносить тяготы и лишения, связанные с жизнью солдата, его склонность к ученым занятиям всячески поощрялась, и было решено, что ему придется сделаться священником. Он вступил в орден святого Франциска; однако после нескольких лет, проведенных в монастыре в Аквилоне, поскольку правила в этой обители были слишком суровыми, а его здоровье по-прежнему недостаточно крепким, ему было позволено стать капелланом в Мондольфо. Здесь он встретил самое доброжелательное отношение со стороны моего отца, который сохранил к товарищу своих детских игр настоящую привязанность.

Это был высокий сухопарый человек с добрым ласковым лицом, отражавшим его добрый характер; у него были глубоко посаженные темные глаза и мягкий рот, окруженный морщинами страданий; лоб его прорезала глубокая складка, которая шла вверх, начинаясь от длинного тонкого носа.

Это он нарушил молчание, которое продолжалось даже после того, как все остальные удалились. Сначала он говорил так, словно разговаривал сам с собой, как человек, выражающий вслух свои мысли; своими длинными пальцами, как я заметил, большим и указательным, он мял кусочек хлеба, не отрывая от него глаз.

— Джино Фальконе старый человек, он был любимейшим и самым верным его слугой. Он бы отдал свою жизнь ради спасения жизни молодого господина, и сделал бы это с удовольствием; а теперь, неизвестно почему, его выгнали из дома, оставив на произвол судьбы. Ах, да что там говорить! — он испустил глубокий вздох и умолк, в то время как во мне долго сдерживаемые чувства вырвались наружу при этих словах, выражавших собственные мои мысли, и я разразился беззвучными рыданиями.

— Ты упрекаешь меня, Джервазио? — спросила она без всякого выражения.

Прежде чем ответить, монах отодвинул свой стул и встал с места.

— Я должен это сделать, — ответил он, — в противном случае я недостоин одежды монаха, которую ношу. Я обязан осудить этот нехристианский поступок, иначе я уже не могу оставаться верным служителем моего Господа.

Она перекрестилась, приложив ноготь большого пальца ко лбу и к губам, дабы воздержаться от дурных мыслей и не дать вырваться гневным словам, — верный знак того, что в ней закипал гнев и она старалась подавить это

греховное чувство. После этого она заговорила, довольно кратко, тем же холодным ровным голосом.

— Мне кажется, упрека заслуживаешь ты, а не я, — сказала она ему, — когда ты называешь нехристианским поступок, необходимый для того, чтобы это дитя посвятило себя служению Христу.

Он улыбнулся слабой печальной улыбкой.

— И тем не менее вам следовало действовать осторожно, употребляя свое влияние, тогда как в этом случае вы не сделали ни того, ни другого.

Здесь настала ее очередь улыбнуться, что она и сделала, хотя было видно, что даже эта едва заметная, бледная улыбка стоила ей больших трудов.

— А мне кажется, что именно так я и поступила, — сказала она и добавила: — Если твоя правая рука соблазняет тебя, отсеки ее.

Я видел, как вспыхнул фра Джервазио, как его высокие скулы залила краска. По существу это был очень человечный человек, несмотря на его монашеское одеяние, и ему были свойственны быстрые вспышки гнева, способность к которому он сохранил, несмотря на многолетнюю привычку к сдержанности. Он возвел глаза к потолку с таким выражением отчаяния, что я невольно задумался. Он призывал небо обратить взор на эту упрямую, невежественную, неразумную женщину, которая считала себя мудрой и не гнушалась использовать Священное Писание для того, чтобы самодовольно богохульствовать.

Теперь я это понимаю, тогда же я был еще недостаточно проницателен, чтобы оценить все значение этого взгляда.

Ее решительность была решительностью, свойственной глупцам. Там, где разумный, зрелый человек остановился бы, дрожа, она очертя голову рвалась вперед. Вот перед ней стоит этот монах, учитель и толкователь, человек святой жизни, глубоко образованный как в гуманитарном, так и в богословском отношении, и говорит ей, что она совершила дурной поступок. А она, опираясь на ничтожные крохи своих знаний, на скудный свой умишко — могла ли она не быть при этом слепой, — уверенно заявляет ему, что виноват он.

Никакой спор между ними был невозможен. Я это видел и опасался взрыва гнева, признаки которого заметил на его лице. Но он сдержался. И тем не менее в голосе его слышались громовые раскаты, когда он произнес следующие слова:

— Мне кажется, очень важно, чтобы Джини Фальконе не пришлось голодать.

— Но еще более важно, чтобы мой сын не был предан проклятию, — ответила она ему и тем самым выбила у него из рук оружие, ибо нет такого оружия, которым можно было бы бороться с невежеством столь глубоким и единонаправленным. — Послушайте, — сказала она, подняв на секунду глаза и окинув взглядом нас обоих. — Я должна вам кое-что сказать, чтобы вы раз и навсегда поняли, насколько крепко мое решение относительно Агостино. Мессер его отец был человеком, любившим проливать кровь на поле брани.

— Таковыми же были и многие из тех, чьи имена стоят сейчас в ряду святых и являются его украшением, — резко возразил монах.

— Но они не поднимали оружия против Святой Церкви и против самого наместника Бога на земле, как это сделал он, — напомнила она ему с глубокой печалью. Меч — это скверная штука, если его обнажают не ради святого дела. А мессер обнажил меч ради самого нечестивого дела и поэтому был проклят. Но Божий гнев поразил его, и он пал под Перуджей в расцвете сил и могущества, которые делали его надменным, как Люцифер. Может быть, для нас оказалось благом, что его не стало.

— Мадонна! — в ужасе вскричал Джервазио.

Но она продолжала, не обращая на него никакого внимания:

— Лучше всех это было для меня, поскольку я была избавлена от исполнения тягчайшего долга, который только может выпасть на долю женщины и супруги. Необходимо было, чтобы он искупил то зло, которое причинил; более того, его жизнь превратилась в препятствие, мешающее спасению моего сына. Его желанием было сделать из Агостино такого же, как он, солдата, повести своего единственного сына по пути, ведущему прямо в ад. Долгом моим моему Богу и моему сыну было защитить этого ребенка. И для того, чтобы это исполнить, я готова была предать его отца в руки папских эmissаров, которые его разыскивали.

— Не может этого быть! — воскликнул монах. — Вы не могли этого сделать!

— Да неужели? Говорю вам, это едва не осуществилось, все было уже подготовлено. Я совещалась с моим духовником, и он указал мне, в чем состоит мой долг.

Она замолкла на мгновение, а мы смотрели на нее,

не отрывая глаз. Фра Джервазио был бледен как полотно, у него от ужаса открылся рот.

— Много лет он скрывался, длинная рука святого правосудия никак не могла его настигнуть, — снова заговорила она. — И все эти годы он не переставал устраивать заговоры и строить планы, направленные к подрыву суверенного права понтификата*. В ослеплении от своего высокомерия он считал, что может противостоять небесному воинству. Упорство в грехе лишило его разума. *Quem Deus vult perdere*... — Она махнула рукой, оставив изречение незаконченным. — Небо указало мне путь, выбрав меня своим орудием. Я послала к нему верного человека, предлагая убежище здесь, в Мондольфо, где никто не будет его искать, считая, что это последнее место, где он отважится показаться. Он должен был приехать и приехал бы, если бы в Перудже его не поразила смерть.

Во всем этом было что-то, чего я никак не мог понять. В таком же положении, по-видимому, находился и Джервазио, ибо он провел рукой по лбу, словно снимая завесу, которая препятствовала его пониманию.

— Он должен был приехать сюда? — повторил он. — Чтобы найти убежище?

— Нет, — спокойно проговорила она. — Смерть. Папские эмиссары были осведомлены об этом и находились бы здесь, ожидая его.

— И вы бы предали его? — Голос фра Джервазио стал хриплым, глаза мрачно сверкали. — Своего мужа?

— Я спасла своего сына, — сказала она со спокойным удовлетворением, тоном, который показывал, до какой степени она считала себя неоспоримо правой.

Он стоял там и казался еще выше и еще более исхудалым, чем всегда, ибо он вытянулся во весь свой рост, тогда как обычно ходил сгорбившись. Руки были сжаты в кулаки, так что косточки суставов побелели, напоминая синевато-белые мраморные шарики. Лицо его было бледно, на виске пульсировала жилка. Он слегка покачивался на носках, вид его был страшен. Мне казалось, что он способен на ужасные поступки.

Когда я думаю о мести, я представляю себе фра Джервазио, каким я видел его в тот час. Что бы он тогда ни совершил, меня это нисколько не удивило бы.

* Понтификат — власть и время правления папы римского.

** Кого Бог хочет погубить... (лат.).

Судя по его виду, он вполне способен был наброситься на мою мать и разорвать ее в клочки. Я сказал, что бы он ни сделал, это меня нисколько не удивило бы. Однако следовало сказать иначе: меня ничто не удивило бы, кроме того, что он сделал на самом деле.

Он стоял так столько времени, сколько понадобилось бы, чтобы сосчитать до десяти, — она даже не заметила, как странно изменился весь его облик, так как сидела по своему обыкновению опустив глаза. Затем, медленно, кулаки его разжались, руки опустились и голова упала на грудь; он весь сторбился еще сильнее, чем обычно. Затем, совершенно неожиданно и мягко, как человек, который падает в обморок, он снова опустился на стул, на котором сидел прежде.

Он поставил локти на стол и обхватил голову руками. Из груди его вырвался стон. Она услышала и бросила на него мимолетный взгляд.

— Тебя взволновало то, что ты услышал, Джервазио? — сказала она и вздохнула. — Я рассказала тебе об этом — и тебе тоже, Агостино, — чтобы вы знали, насколько глубоко и непоколебимо мое решение. Ты был моим приношением Богу, Агостино. Много лет тому назад, еще до того, как ты родился, я дала клятву, что, если Господь сохранит жизнь твоему отцу, я отдам тебя Ему, чтобы ты посвятил себя служению Ему. Находясь на пороге смерти, твой отец вернулся к жизни и вновь обрел свою прежнюю силу. Но эту жизнь и эту силу он употребил на то, чтобы украсть у Бога подаренное Ему взамен оказанной мне милости.

— А что, если, — спросил фра Джервазио голосом, прозвучавшим чуть ли не свирепо, — Агостино не почувствует призвания, если у него не будет склонности к такой жизни?

Она посмотрела на него задумчиво, почти с сожалением.

— Как это может быть? Ведь он обещан Богу. И Бог принял этот дар. Он показал это, вернув Джованни жизнь. Как же может случиться, что Агостино не почувствует призвания? Неужели Бог отвергнет то, что он уже принял?

Фра Джервазио снова поднялся.

— Ваша мысль слишком глубока для меня, мадонна, — с горечью сказал он. — Мне не пристало самому говорить о моих достоинствах, кроме как с благоговением, с глубокой и смиренной благодарностью за ту милость, которую Бог даровал мне. Но меня считают хорошим

казуистом. Я доктор теологии и канонического права*, и, если бы не мое слабое здоровье, я занимал бы сейчас кафедру канонического права в университете в Павии. И, несмотря на все это, мадонна, все, что вы мне говорите с такой уверенностью, является не чем иным, как насмешкой над тем, что я когда-либо изучал.

Даже я, несмотря на то, что был совсем ребенком, уловил горькую иронию, которой была наполнена его речь. Но она этого не поняла. Клянусь, она покраснела оттого, что посчитала эти слова похвалой своей мудрости, своему божественному прозрению; ибо тщеславие — это недостаток, от которого труднее всего отделаться. Затем она как будто опомнилась и почтительно склонила голову.

— Только благодаря Божьей милости мне была открыта правда, — сказала она.

Он отступил на шаг, изумленный тем, что его столь превратно поняли. Затем отошел от стола. У него был такой вид, словно он хотел заговорить, однако передумал и не сказал ни слова. Он повернулся и вышел из комнаты, так ничего и не сказав, и оставил нас вдвоем.

Именно тогда и состоялся наш разговор, впрочем, говорила только она, а я слушал. И по мере того, как я слушал, я снова постепенно оказался под обаянием тех чар, от которых несколько раз в течение этого дня пытался освободиться.

Ведь в том, что я пишу, вы должны понять разницу между моими тогдашними чувствами и тем критическим к ним отношением, к которому я пришел сейчас, в свете жизненного опыта и зрелых размышлений. Как я уже говорил, упражнения со шпагой вызвали во мне странное возбуждение. И тем не менее я был готов поверить, что это удовольствие, как уверяла моя мать, не что иное, как искушение сатаны. Возможно, что в других, более глубоких вещах она и ошибалась, иронический тон фра Джервазио показал мне, что он думает именно так. Однако в тот вечер мы в такие дебри не углублялись.

Она потратила около часа на неопределенные рассуждения о радостях райской жизни, доказывая мне, как неразумно подвергаться риску лишиться их ради быстротечной суеты этого преходящего мира. Она подробно остановилась на любви Бога к нам и на том, как мы должны любить Его, читая мне отрывки из книг блаженных Варано и Скиполо, для того чтобы придать больше

* Церковного права.

веса своим поучениям по поводу того, сколь прекрасна и благородна жизнь, посвященная служению Богу, — единственный вид служения, в котором еще сохранилось благородство.

К этому она добавила еще несколько рассказов о мучениках, пострадавших за веру, о счастье, которое принесло им это страдание, и о той радости, что они испытывали во время самих мучений, перенести которые им помогала вера и сила их любви к Господу Богу.

Во всем этом для меня не было ничего нового; ничего такого, чего я не принял бы, чему бы не поверил, не позволяя себе судить или подвергать критике. И несмотря на это, с ее стороны было весьма разумно подвергнуть меня подобному воздействию; ибо таким образом она уничтожила в самом зародыше те сомнения, к которым меня побуждали события того дня, и она снова подчинила меня себе более твердо, чем когда-либо, и заставила устремить взор мимо этого мира на тот, другой, на его красоту и сияние, которые отныне должны были составлять мою единственную цель и стремление.

Итак, я снова возвратился к трудам, желание избежать которые у меня возникло в тот день; более того, доведенный рассказами о святых мучениках до некоторого экстаза, я вернулся в это пиетическое рабство охотно и по собственной воле, подчинившись ему крепче, чем когда-либо.

Мы расстались так же, как расставались всегда, и, поцеловав ее холодную руку, я отправился спать. И когда я в ту ночь преклонил колена и просил Господа не оставить бедного заблудшего Фальконе, это было сказано в том смысле, чтобы он осознал свои грехи и заблуждения и чтобы ему была дарована милость легкой смерти, когда настанет его час.

Глава четвертая

ЛУИЗИНА

Четыре года, которые за этим последовали, не заслуживают особого упоминания на этих страницах, если не считать одного эпизода, важность которого определилась исключительно тем, что произошло впоследствии, ибо в то время я не придавал ему никакого значения. И тем не менее, поскольку ему суждено было сыграть

такую важную роль, я считаю, что вполне уместно о нем рассказать.

Случилось так, что примерно через месяц после того, как старик Фальконе покинул нас, во внешний дворик замка забрели два монаха-пилигрима, которые, как они сообщили, шли из Милана, собираясь навестить святое братство в Лоретто.

У моей матери был обычай два раза в неделю принимать всех странников-пилигримов и нищих в этом дворике, наделяя их пищей и раздавая милостыню. Сама она редко принимала участие в раздаче милостыни; еще реже при этом присутствовал я. От имени графини Мондольфо этим ведал фра Джервазио.

Иногда жалобы и угрозы пестрой толпы, которая собиралась во дворе замка — там частенько случались ссоры и драки — долетали и до башни, где находились наши покои. Но в тот день, о котором я говорю, мне случилось стоять на украшенной колоннами галерее над этим двориком, наблюдая бурлящую человеческую массу внизу, ибо в тот день народу собралось больше, чем обычно.

Там были калеки, одетые в лохмотья и демонстрирующие самые разнообразные увечья; у одних были скрюченные высохшие руки, у других вместо отсеченной руки или ноги торчал только обрубок; у третьих — и таких было много — тело было сплошь покрыто ужасными гноящимися язвами, иные из которых были вызваны искусственно, как мне теперь известно, с помощью припарок из соли, для того чтобы возбудить сострадание у сердобольных благодетелей. Все они были оборваны, нечесаны, грязны и покрыты насекомыми. Большинство из них были жадны и прожорливы, они отталкивали друг друга, чтобы пробиться к фра Джервазио, опасаясь, что источник милостыни и пищи иссякнет, прежде чем настанет их черед. Среди них обычно бывало некоторое количество нищенствующих монахов, причем вполне возможно, что в их числе находились и просто обманщики и лицемеры, как я впоследствии неоднократно убеждался, хотя в те времена всякий, кто носил монашеские наплечники, был в моих глазах святым человеком. Большинство из них направлялись — или только делали вид — в отдаленные места, питаясь по пути милостыней, которую удавалось получить.

Фра Джервазио, изможденный и бесстрастный, стоял обычно на ступенях часовни с целым отрядом помощников.

У одного из них, стоящего ближе всего к нему, был в руках большой мешок, наполненный ломтями хлеба; другой держал в руках деревянный, похожий на корыто, поднос с кусками мяса, а третий раздавал сделанные из рога чаши, наполненные жидким и довольно кислым, однако весьма полезным вином, которое он наливал из мехов, находящихся в его распоряжении. Фра Джервазио следил, чтобы нищие подходили по очереди ко всем трем, а потом возвращались к нему, чтобы получить из его рук монету — медный гроссо*, — которые он доставал из своего мешка.

В тот день, о котором я пишу, когда я стоял там, глядя вниз на эту массу нищеты и страдания, возможно, слегка удивляясь несправедливости судьбы и задавая себе вопрос, с какой целью Бог обрек некоторых людей на такие муки, почему одни рождаются в пурпуре, а другие в отрешках, я вдруг заметил двух монахов, стоявших позади толпы, прислонившись к стене, которые смотрели на меня с пристальным вниманием.

Оба были высокого роста, одеты в сутаны с капюшоном и стояли в подобающей позе, спрятав руки в широкие рукава коричневого одеяния. Один из них был более широк в плечах, чем его товарищ, и держался очень прямо, что было необычно для монаха. Его рот и вся нижняя половина лица были скрыты большой каштановой бородой, а поперек лица от левого глаза через нос и щеку тянулся огромный синевато-багровый шрам, теряясь в бороде с правой стороны у подбородка. Его глубоко посаженные глаза смотрели на меня так настойчиво и внимательно, что я смутился и покраснел под этим взглядом; я ведь привык к затворнической жизни и легко конфузился. Я повернулся и медленно пошел к концу галереи, но все равно у меня было такое чувство, что эти глаза следят за мною, и действительно, бросив украдкой взгляд через плечо, прежде чем войти в комнаты, я убедился, что это действительно так.

В тот вечер за ужином я между прочим рассказал об этом фра Джервазио.

— Сегодня во дворе во время раздачи милостыни два высоких бородатых капуцина, — начал я, и в тот же момент нож фра Джервазио выпал у него из рук, краска сбежала с лица, и он посмотрел на меня с самым

* Гроссо (итал.) — грош; средневековая монета, которую чеканили в некоторых крупных городах Италии.

настоящим страхом. При виде его расстроенного лица я тут же замолчал, отказавшись от расспросов, в то время как моя мать, которая, как обычно, ни на что не обращала внимания, отпустила довольно глупое замечание:

— У нас никогда нет недостатка в этих малых братьях, Агостино.

— Но это были большие братья, — возразил я.

— Неприлично шутить, когда говоришь о святых отцах, — выговорила она мне ледяным тоном.

— Я и не думал шутить, — серьезно сказал я. — Я бы никогда не заметил этого монаха, если бы он не смотрел на меня так пристально, что я не мог этого вынести.

Теперь настала ее очередь взволноваться. Она посмотрела мне прямо в лицо, и ее испытующий взгляд против обыкновения задержался на мне довольно долго. Она изменилась в лице, тоже стала еще бледнее обычного.

— Агостино, о чем ты говоришь? — проговорила она, и голос ее задрожал.

Сколько волнения из-за того, что какой-то капуцин посмотрел на Мадоннино д'Ангвиссола! Дело само не стоило того внимания, которое ему уделялось, и в следующих моих словах я высказался именно в этом духе.

Однако моя мать задумчиво смотрела на меня.

— Не думай так, Агостино, — обратилась она ко мне. — Ты и не подозреваешь, какое это может иметь значение. — Затем она повернулась к фра Джервазио. — Кто был этот монах? — спросила она у него.

Он уже оправился от своего замешательства, однако был по-прежнему бледен, и я заметил, что руки у него дрожат.

— Это, вероятно, один из двух малых братьев ордена святого Франциска, что совершают паломничество, направляясь из Милана в Лоретто.

— Не те ли; о которых ты говорил, что они остановились здесь на отдых до утра?

Я видел по его лицу, что он охотно дал бы отрицательный ответ, если бы вообще был способен произнести заведомую неправду.

— Они самые, — ответил он глухим голосом.

Она встала.

— Я должна видеть этого монаха, — объявила она, и никогда в жизни я не видел на ее лице такого смятения.

— Значит, утром, — сказал фра Джервазио. — Солнце давно уже село, — объяснил он. — Они удалились на

покой, и по их правилам... — Он не закончил фразы, но сказанного было достаточно, чтобы она поняла.

Она снова опустилась на стул, сложила руки на коленях и предалась размышлениям. Легчайший румянец окрасил ее восковые щеки.

— О, если бы мне было дано знамение, — прошептала она, занятая одной мыслью, и затем снова обратилась к фра Джервазио. — Ты слышал, Агостино сказал, что не мог выдержать взгляда этого монаха. Ты помнишь, отче, как однажды возле Сан-Руфино одной сестре из францисканского монастыря явился святой Франциск и взял у нее из рук младенца, дабы благословить его, а потом снова исчез. О, если бы мне было дано знамение вроде этого!

Она в волнении заломила руки.

— Я должна видеть этого странника, прежде чем он снова отправится в путь, — обратилась она к фра Джервазио, который смотрел на нее в полном недоумении.

Наконец-то я понял причину ее волнения. Всю свою жизнь она ожидала какого-нибудь знака, указующего на милость Всевышнего, снизошедшую на нее или на меня, и она уверовала, что сейчас наконец, если как следует расспросить, может открыться нечто, что послужит ответом на ее молитвы. Этот капуцин, который стоял во дворе замка и смотрел на меня, сделался в ее сознании — столь неуравновешенном, когда дело касалось таких вещей, — неким посланцем свыше, провозвестником, так сказать, моей грядущей святости и славы.

Однако, несмотря на то, что на следующее утро она поднялась ни свет ни заря, чтобы увидеть святого отца, прежде чем он пустится в дорогу, она опоздала. Во дворе, куда она спустилась, чтобы направиться в то крыло замка, куда путников поместили на ночь, она встретила фра Джервазио, который встал еще раньше, чем она.

— Где странник? — воскликнула она, предчувствуя недоброе. — Где этот святой отец?

Джервазио стоял перед ней бледный и дрожащий.

— Вы пришли слишком поздно, мадонна. Он уже ушел.

Она заметила его волнение и сочла его отражением ее собственного, думая, что оно проистекает из того же самого источника.

— О, это было знамение! — воскликнула она. — Я вижу, что ты тоже это понял. — И затем, в порыве благодарности, для которой было так мало оснований,

что на это было жалко смотреть: — О, счастливый Агостино! На тебя снизошло благословение!

Вскоре, однако, недолгая экзальтация оставила эту женщину, созданную для печали.

— Но это лишь делает мою ношу еще тяжелее, а мою ответственность еще больше, — причитала она. — Господи, помоги мне нести мое время!

Так завершился этот эпизод, столь незначительный сам по себе и столь ложно понятый моей матерью. Но он не был забыт, и время от времени она ссылалась на него как на знамение, которого я был удостоен и по поводу которого я должен был испытывать величайшую радость и благодарность.

Если не считать этого эпизода, наша жизнь в течение следующих четырех лет текла незаметно, не отмеченная никакими особыми событиями, в четырех стенах нашей огромной цитадели, ибо выходить за пределы этих четырех стен мне никогда не разрешалось; хотя время от времени до меня доходили слухи о том, что делается в самом городе, о делах провинции, правителем которой я был по праву и рождению, и о более серьезных событиях в широком мире, простирающемся за ее пределами. Я был так воспитан, что у меня не было никакого желания познакомиться с этим миром.

Правда, порой меня одолевало любопытство, однако оно было вызвано не столько тем немногим, что я слышал, сколько тем, о чем я узнавал из исторических книг, прочтение которых от меня требовалось. Ибо даже жития святых и само Священное Писание дают возможность изучающему их заглянуть одним глазком в этот мир.

Но это любопытство я привык рассматривать как соблазны плоти и противиться ему. Блаженны те, кто отказался от всяческой связи с этим миром, ибо они легче всего достигают спасения; в это я верил безоговорочно, как учили меня моя мать и фра Джервазио, который говорил то же самое по ее велению.

И по мере того как шли годы, под влиянием, оказываемым на меня с самой колыбели, ничем не ограниченным, если не считать краткой попытки, предпринятой Джино Фальконе, я в результате сделался набожным и благочестивым.

Я испытывал радостное волнение, изучая житие святого Луиджи из благородного мантуанского рода Гонзаго — я видел в нем идеал, достойный подражания, поскольку мне казалось, что у меня с ним много общего и по

обстоятельствам, и по моему положению — который считал, что величие этого мира иллюзорно и что от него следует отказаться ради того, чтобы искать райского блаженства. Подобный же восторг я испытывал, читая житие, написанное Томмазо да Челано, блаженного сына Пьетро Бернардоне, купца из Ассизи, этого Франциска, который сделался трубадуром Господним и так сладко пел хвалы Его творению. Сердце мое разрывалось в груди, и я рыдал, проливая горячие слезы, когда читал описание раннего, исполненного греха, периода его жизни, как только можно рыдать при виде возлюбленного брата, которому грозит смертельная опасность. Тем большей была радость, восторг и, наконец, блаженный мир и покой, которые я черпал из рассказа о его беседах, о его удивительных трудах, о трех его соратниках.

На этих страницах — так живо было мое воображение и в такое возбуждение меня приводило то, что я читал, — я снова переживал вместе с ним его мучительные надежды, дрожал от радости, приобщаясь к его изумительным восторгам, завидовал чудному знамению небесной милости, которое оставило свой знак на его живом теле.

Я прочел также все, что было с ним связано: его «Цветочки», его «Завет, зеркало совершенства», но в наибольший восторг меня приводили его «Песни Божьих тварей», которые я выучил наизусть.

Впоследствии я часто размышлял и пытался понять, испытывал ли я духовное блаженство от божественной сущности этих похвал, или же самая красота этих строк, те образы, которые ассизианин использовал в своих писаниях, действовали на мои чувства.

Равным образом я не берусь определить, не было ли удовольствие, которое я получал, читая описание радостной, благоуханной жизни другой святой, отмеченной божественным знаком — блаженной Катарины из Сиены, — вызвано чувственным наслаждением, а не экстазом души, как я в то время полагал.

Рыдая над юношескими грехами святого Франциска, я в то время проливал слезы и над «Исповедью» святого Августина, этого великого богослова, в честь которого я получил свое имя и чьи труды — после тех, которые были посвящены святому Франциску, — оказали на меня огромное влияние в дни моей юности.

Так я рос в милости Божией, и наконец фра Джервазио, который внимательно и тревожно наблюдал за мною, по-видимому, успокоился, отбросив в сторону

сомнения, которые одолевали его прежде, когда он опасался, что меня силой обрекут на жизнь, к которой у меня нет призвания. Он стал обращаться со мною еще более нежно и ласково, словно теперь к его горячей привязанности добавилась жалость.

А между тем, в то время как развивался и мужал мой дух, развивалось и мужало мое тело, и я превратился в высокого и крепкого юношу, что было бы не удивительно, если бы не то обстоятельство, что такое воспитание, которое я получил, обычно не способствует нормальному росту и здоровью. Ум, который питается за счет растущего тела, обычно высасывает из него силы и энергию; кроме того, нужно принять во внимание, что все эти годы я вел почти затворническую жизнь, лишенную каких бы то ни было физических упражнений, благодаря которым в теле юноши расцветают прекрасные силы.

Когда я приближался к восемнадцатому году своей жизни, произошел один случай, незначительный сам по себе, который тем не менее сыграл определенную роль в моем развитии и поэтому заслуживает места на этих страницах. Я-то в то время не считал его ничтожным — нельзя было считать неважным и то, что за ним последовало, хотя сейчас, когда я обращаю свой взор в то далекое прошлое, я понимаю, что ничего особенного в этом случае не было.

У Джойозо, сенешаля, о котором я уже упоминал, был сын, высоченный тощий верзила, которого он прочил в личные секретари моей матери, но который был настолько туп, что оказался непригодным ни на что путное. В то же время он был достаточно силен и исполнял в замке разнообразные поручения. Впрочем, везде, где только возможно, он старался увильнуть от работы, так же как в свое время увильнул от уроков.

Однажды ранним весенним утром — это было в мае — я прогуливался по верхней из трех обширных террас, составляющих замковый сад. Содержался он достаточно небрежно, но, может быть, именно поэтому был особенно хорош, ибо природе было дозволено хозяйничать в нем беспрепятственно, со всей ее роскошной щедростью. Справедливо, что обширные самшитовые боскеты* следовало бы подстричь и что между камнями, образующими

* Боскет — посаженная в декоративных целях густая группа деревьев или кустов.

ступени лестниц, ведущих с террасы на террасу, пробивалась сорная трава; но там было радостно и приятно, весь сад был напоен благоуханием полевых цветов, ветвистые деревья отбрасывали щедрую тень, а густая высокая трава могла служить приятным ложем, когда хотелось отдохнуть в жаркий летний день. Следующая терраса содержалась гораздо лучше. Это был ухоженный фруктовый сад с большим количеством деревьев, которому я обязан многочисленными желудочными коликами, терзавшими меня в дни моего детства, ибо я постоянно общедлся персиками и фигами, не имея терпения дожидаться, когда они созреют.

Итак, однажды, очень ранним утром я прогуливался по этой верхней террасе, непосредственно примыкавшей к крепостной стене, то читая принесенную с собой книгу «De Civitate Dei», то размышляя над прочитанным. Внезапно я был потревожен звуками голосов, доносившихся снизу.

Говорящие были скрыты от меня самшитовым боскетом, который был вдвое выше моего роста и составлял не менее двух футов в ширину.

Голосов было два, один из них, злобный и угрожающий, я узнал, это был голос Ринольфо, этого дрянного сына мессера Джойозо; другой же, свежий молодой женский голос был мне совершенно неизвестен; в сущности, это был первый женский голос, который, насколько мне помнится, я слышал в продолжение всех моих восемнадцати лет, и звук его был так же приятно нов для моего слуха, как и по-новому приятен.

Я стоял не двигаясь, прислушиваясь к увещеваниям девушки.

— Ты жестокий человек, мессер Ринольфо, и графиня узнает об этом.

Послышался треск сучьев и топот тяжелых ног.

— Сейчас ты у меня получишь еще кое-что, будет о чем жаловаться милостивой госпоже, — грозил грубый голос Ринольфо.

В ответ на эти слова и его приближение раздался громкий крик, звук его двинулся в правую сторону. Снова затрещали сучья, послышались быстрые легкие шаги и, наконец, тяжелое дыхание и топот ног, бегущих по ступенькам, которые вели на террасу, где я находился.

Я быстро пошел вперед, к выходу из боскета, возле которого начинались ступеньки, и не успел я там появиться, как на меня налетела мягкая, гибкая фигурка,

да так внезапно, что мои руки невольно ее обхватили, при том, что в правой руке я держал «De Civitate Dei», заложив указательным пальцем страницу, на которой остановился.

На меня смотрели влажные, испуганные глаза.

— О, Мадоннино, — задышавшись обратилась она ко мне. — Спаси меня! Защити меня!

Внизу на лестнице стоял Ринольфо, остановившись на полдороге в своем преследовании. Его широкое лицо покраснело от гнева, вдруг потеряв уверенность, он бросал на меня злые взгляды.

Ситуация была не просто экстраординарна сама по себе, меня она привела в полное смятение. Глядя на эту девушку, я никак не мог определить, кто она такая и каким образом здесь очутилась. Она, должно быть, была одного со мною возраста, возможно, несколько моложе и, судя по одежде, принадлежала к крестьянскому сословию. На ней был безукоризненно чистый корсаж из белого полотна, который не слишком плотно прикрывал ее молодую зреющую грудь. Ее домотканая темно-красная юбка едва доходила до середины голени, оставляя открытыми загорелые щиколотки и маленькие босые ножки. Каштановые волосы, едва скрепленные на затылке над нежной тонкой шеей, рассыпались по плечам, выбившись из прически в результате ее борьбы с Ринольфо. Алые губки маленького ротика открывали здоровые молодые зубы, белые как молоко.

Впоследствии я часто думал, была ли она на самом деле такой красивой, какой показалась мне в тот момент. Ведь не следует забывать, что мое положение ничем не отличалось от положения Филиппо Бальдуччи, — о нем рассказал мессер Боккаччо в веселых историях своего «Декамерона», — который достиг возраста юноши, ни разу не бывав в женском обществе, так что, когда он впервые увидел женщин на улицах Флоренции, это было для него так странно, что он без конца донимал своего родителя глупыми вопросами и еще более глупыми просьбами.

То же самое было и со мной. За все свои восемнадцать лет — об этом особо позаботилась моя мать — я ни разу не видел ни одной женщины, которая была бы моложе ее. И — считайте меня дураком, если вам угодно, но это было так — мне просто не приходило в голову, что они существуют, и я считал, что если и есть на свете

* Во введении к четвертому дню. (Прим. автора.)

молодые женщины, то они ничем не отличаются от тех немолодых, с которыми мне приходилось иметь дело. Поэтому все они были для меня на одно лицо: слабые, робкие создания, обожающие сплетни, которые постоянно хнычут и жалуются и от которых я не видел для себя решительно никакой пользы.

Я не мог понять, по какой причине Сан-Луиджи Гонзаго, едва выйдя из детского возраста, уже не позволяя себе взглянуть на женщину; непонятно мне было и то, какая в этом особая заслуга. А некоторые пассажи из «Исповеди» святого Августина и описание ранних лет жизни святого Франциска Ассизского приводили меня в недоумение, попросту ставили в тупик.

И вот, совершенно неожиданно, на меня словно нашло озарение. Как будто бы открылась наконец Книга Жизни, и я, едва взглянув на нее, прочел одну из самых ослепительных ее страниц. Итак, независимо от того, была ли эта смуглая поселючка красавицей или нет, для меня она блистала красотой, которую доселе я приписывал лишь райским ангелам. Не было никакого сомнения, что она обладала такой же святостью, ибо не только древним грекам было свойственно видеть в красоте знак божественной милости.

И вот, в силу влечения к этой красоте — настоящей или мнимой, — я выразил полную готовность оказать покровительство, тем более что я чувствовал: защита и покровительство влекут за собой известные права собственности, весьма приятные и, несомненно, желательные.

Вследствие этого, держа ее в своих объятиях, где она, в своей невинности, искала убежища, и чисто интуитивно догадавшись, что нужно погладить эту темную головку, чтобы развеять бушевавшие ее страхи, я, впервые почувствовав себя мужчиной, приобрел и необходимую мужчине грубость и решительность и повелительным тоном обратился к ее обидчику.

— Что это значит, Ринольфо? — спросил я. — Почему ты ее преследуешь?

— Она разломала мои ловушки, — злобно ответил он, — и выпустила птиц.

— Какие ловушки? Каких птиц? — спросил я.

— Он злой, он жестокий! — воскликнула она. — И он будет лгать тебе, Мадоннино.

— Если он это делает, я переломаю ему кости, — пригрозил я совершенно новым для себя тоном, а затем обратился к нему: — Говори правду, трус!

Наконец, слушая попеременно то одного, то другую, я узнал, как было дело: на небольшой полянке в саду Ринольфо насыпал зернышек и наткал веток, густо смазанных птичьим клеем. Каждый день он находил там множество птичек, которых он относил своей матери, свернув им предварительно шею; а эта глупая женщина готовила из них для своего сына вкусное блюдо с рисом. Девушка говорила, что и вообще-то грешно ловить птичек таким предательским образом, на который способны только трусы, но что, поскольку среди этих птишек попадались малиновки, жаворонки, черные дрозды и другие сладкогласные небесные певуны, которые никому не причиняют зла и проводят всю жизнь в том, что поют славу Господу, его грех — это уже не просто грех, а прямо святотатство.

Наконец я узнал, что, придя в то утро на поляну и обнаружив на ней десяток бьющих крылышками испуганных птичек, попавшихся в ловушки Ринольфо, девочка выпустила их на свободу и стала ломать его ловушки. За этим занятием он ее и застал и несомненно жестоко бы с ней расправился, если бы не защита, которую она обрела в моем лице.

И когда я об этом услышал — вы только послушайте, как я впервые в жизни воспользовался прерогативами, дарованными мне в силу моего права и рождения, как я вершил правосудие в Мондольфо, где был господином, вольным распоряжаться жизнью и смертью.

— Ты, Ринольфо, — сказал я, — никогда больше не будешь ставить ловушки в Мондольфо и никогда больше не войдешь в эти сады под страхом вызвать мое неудовольствие со всеми его последствиями. А что этой девочки, если ты осмелишься ей досаждать из-за того, что здесь сейчас произошло, если ты посмеешь хотя бы тронуть ее пальцем и я об этом услышу, я разделаюсь с тобой, как с преступником. А теперь пошел прочь!

Он ушел, отправившись без промедления к своему отцу сенешалю, с жалобой, разумеется, лживой — на то, что я грозил ему расправой и запретил показываться в саду, потому что он застал меня там в то время, как я обнимал Луизину — так звали эту девушку. А мессер Джойозо, исполненный родительского негодования по поводу жестокого обращения с его чадом и оскорбленного целомудрия, вызванного мыслью о том, что молодой человек, предназначенный для служения Богу, предается

развратному времяпрепровождению с простой мужичкой, направил свои стопы напрямик к моей матери, чтобы доложить ей о случившемся, и я больше чем уверен, что его доклад ничего не потерял при повторении.

Тем временем я остался в саду с Луизиной. Я не спешил отпустить ее от себя. Ее присутствие радовало меня, доставляло мне какое-то странное, необъяснимое удовольствие. И чувство красоты, которое до той поры — хотя оно всегда было мне свойственно — дремало во мне, теперь наконец пробудилось и нашло пищу в прелести этой девушки.

Я сел на верхнюю ступеньку террасы и посадил ее возле себя. Она покорилась после некоторого колебания, говоря, что она недостойна этой чести, каковые возражения я решительно отmel.

Итак, мы сидели там в это майское утро, тесно прижавшись друг к другу, в чем не было никакой надобности, принимая во внимание, что ступени были достаточно широки. У наших ног простирался сад, спускаясь террасами до самой серой стены, укрепленной контрфорсами. Но с того места, где мы сидели, мы видели еще дальше — на целую милю тянулась долина, сверкали на солнце воды Таро, а завершали этот ландшафт подернутые дымкой Апеннины.

Я взял ее за руку, которую она подала мне свободно и открыто, — ее невинность была так же велика, как и моя; я спросил ее, кто она и откуда и как попала в Мондольфо. Тогда я и узнал, что ее зовут Луизина, что ее мать — одна из тех женщин, которые работали у нас на кухне, и что мать взяла ее к себе, чтобы она ей помогала, а до этого она жила у тетки в Борго-Таро.

Сегодня мысль о том, что правитель Мондольфо сидит — почти что *согат рорло**, держа за руку дочь одной из кухонных прислужниц, показалась бы нелепой и оскорбительной. В то время, однако, я об этом просто не думал, а если бы и подумал, меня это нисколько бы не смутило. Для меня впервые открылся мир юной женственности, я был исполнен приятнейшего интереса и желал поближе познакомиться с этим явлением. Дальше этого я не шел.

Я прямо и открыто сказал ей, что она красива, после чего она вдруг посмотрела на меня настороженными

* Борго (итал.) — поселок, местечко, городок.

** Открыто, при всем народе (лат.).

глазами, вопросительно и тревожно, и попыталась отнять руку. Не понимая ее страхов и пытаясь успокоить ее, уверить в том, что во мне она имеет друга, который всегда защитит ее от всех ринольфо на свете, я обнял ее за плечи и привлек к себе, нежно и покровительственно.

Она окаменела, словно несчастный замороженный зверек, неспособный от страха сопротивляться грозящей ему беде.

— Ах, Мадоннино, — прошептала она и вздохнула. — Нет-нет, не надо. Это... это нехорошо.

— Нехорошо? — спросил я, и, наверное, именно так же удивился этот глупец, сын, Бальдуччи из рассказа, когда отец сказал ему, что нехорошо глазеть на женщин. — Отчего же? Мне очень хорошо.

— Но ведь говорят, что ты собираешься стать священником, — сказала она, но в этом замечании я не уловил решительно никакого смысла.

— Ну и что? Что из этого? — осведомился я.

Она снова бросила на меня робкий взгляд.

— Тебе бы следовало сидеть за уроками, — сказала она.

— Я и так на уроке, — возразил я и улыбнулся. — Я изучаю новый предмет.

— Мадоннино, это не тот предмет, который изучают, чтобы стать хорошим священником, — заметила она, снова поставив меня в тупик своей глупостью, ибо я не видел никакого смысла в том, что она сказала.

Я уже начал испытывать в ней разочарование. Если не считать моей матери, о которой я вообще не смел судить и которая стояла особняком по отношению к маленькому человеческому миру, известному мне до той поры, я полагал, что глупость свойственна всем женщинам, так же неотделима от них, как бляение от овцы или гоготанье от гусыни; и эту уверенность горячо поддерживал во мне фра Джервазио. Сейчас, увидев Луизину, я поначалу вообразил, что открыл в женской породе нечто новое, доселе неведомое и неожиданное. Ее поведение, однако, заставило меня заключить, что я ошибся и что передо мною всего лишь красивая оболочка, заключающая в себе самую заурядную душу, общение с которой окажется достаточно скучным, когда притупится первое впечатление от ее юной красоты и свежести.

Сейчас мне ясно, что я был к ней несправедлив, ибо ее слова были не такими бессмысленными, как я тогда предполагал. Вина была целиком на мне и определялась

полным невежеством в той области, которая касалась мужчин и женщин, что никак не компенсировалось моими глубокими и никому не нужными познаниями, касающимися жизни святых.

Однако нашему приятному времяпрепровождению не было суждено продлиться долго. Ибо в то время, как я ломал голову над ее словами и пытался найти в них какой-то разумный смысл, у нас за спиной раздался отчаянный крик, заставивший нас отпрянуть друг от друга так испуганно, словно мы действительно совершили нечто непозволительное.

Мы оглянулись и увидели, что этот крик исходит от моей матери. Она стояла едва в десяти шагах от нас на сером фоне покрытой лишайником стены в сопровождении Джойозо, из-за спины которого выглядывала ухмыляющаяся физиономия Ринольфо.

Глава пятая

БУНТ

Вид моей матери испугал меня больше, чем я могу выразить. Он наполнил меня страхом перед чем-то непонятным. Никогда в жизни я не видел это спокойное холодное лицо до такой степени искаженным, и это произвело на меня сильнейшее впечатление.

Передо мною стояла уже не та, похожая на призрак, женщина, бледная, с потупленным взором и почти безжизненным голосом. Щеки ее горели неестественным румянцем, губы дрожали, в глубоко посаженных глазах сверкали гневные искры.

Она мгновенно очутилась около нас, словно перелетела по воздуху. И не ко мне обратила она свою речь, а к бедняжке Луизине.

— Кто ты такая, девица? — спросила она хриплым от страшного гнева голосом. — Что ты делаешь здесь, в Мондольфо?

Луизина поднялась со ступеней и стояла, нетвердо держась на ногах, очень бледная, глядя в землю и сжимая и разжимая руки. Губы ее шевелились, но она была слишком испугана, чтобы говорить. Тут вперед выступил Джойозо и сообщил моей матери, как зовут эту девушку и почему она здесь находится. Эти сведения, казалось, еще усилили ее гнев.

— Кухонная девка! — воскликнула она — Какой ужас! Совершенно неожиданно, словно по вдохновению, плохо понимая, что я говорю, я ответил, почерпнув мой ответ из того вороха теологической премудрости, которой был напичкан.

— Все мы равны перед Богом, госпожа моя матушка. Она метнула на меня негодующий взгляд, взгляд праведного гнева, ужаснее которого нет ничего на свете.

— Богохульник! — крикнула она. — Какое это имеет отношение к Богу?

Она не стала ждать ответа, справедливо полагая, что ответить мне нечего.

— Что до этой распутницы, — обратилась она к Джой-озе, — ее выгонят отсюда плетью — отсюда и вообще из Мондольфо. Вели конюхам, чтобы они это сделали.

Услышав ее распоряжение, я мгновенно вскочил на ноги, чувствуя стеснение в сердце и невозможность вздохнуть, отчего лицо мое страшно побледнело.

Здесь, по-видимому, снова должно было повториться — хотя в тысячу раз более жестоким и варварским образом — то зло, которое несколько лет тому назад было причинено несчастному Джино Фальконе. И о причинах, которые вызвали эту жестокость в данном случае, я не имел даже отдаленного понятия. Фальконе я любил; это, по существу, был единственный человек, который встал на пороге моей души и постучался, прося разрешения туда войти. Они его выгнали. А теперь эта девочка — самое прелестное из Божьих созданий, которые мне приходилось видеть, — чье общество было мне столь приятно и желанно, и которую, как мне казалось, я мог полюбить так же, как я любил Фальконе. Ее они тоже прогонят с такой отвратительной грубостью и жестокостью.

Позже мне суждено было лучше узнать эти причины, и я получил обильную пищу для размышлений, когда понял, что нет на свете более дикого и мстительного, свирепого и неукротимого чувства, чем праведный гнев благочестивого христианина. Все сладостные учения о милосердии и терпимости отбрасываются прочь, и мы наблюдаем самый удивительный парадокс христианства: католики предают огню еретиков, еретики убивают католиков, и все это делается из любви к Христу, причем каждый искренне гордится своими деяниями, не видя никакого богохульства в том, что именно таким образом

они следуют заветам нашего Спасителя, который учил их доброте и кротости.

Вот так и моя мать отдала это чудовищное приказание, не испытывая в своем фарисейском благочестии ни малейших угрызений совести.

Однако на сей раз я не намерен стоять в стороне, как я это сделал в истории с Фальконе, и не допущу, чтобы свершилась ее жестокая ханжеская воля. Я с тех пор стал старше и повзрослел больше, чем сам мог предположить. Потребовалось это испытание, чтобы я это как следует понял. Помимо всего прочего, неувловимое влияние пола — хотя я этого и не осознавал — побуждало меня к тому, чтобы утвердиться в новообретенном мужестве.

— Остановись! — приказал я Джойозо, произнося это приказание холодно и твердо, поскольку я вновь обрел способность свободно дышать.

Уже повернувшись, чтобы отправиться исполнять чудовищное распоряжение моей матери, он замер на месте.

— В чем дело? — вскричала она, интуитивно догадываясь о моем намерении. — Ты отменяешь мое приказание?

— Ни в коем случае, — ответил я. — Разумеется, ты передашь конюхам приказание госпожи, мессер Джойозо, как тебе было велено. Но ты добавишь от меня, что, если хоть один из них тронет пальцем Луизину, я убью его вот этими руками.

Все они замерли на месте, оцепенев от изумления. Джойозо вдруг затрясся всем телом, Ринольфо, виновник всей этой сцены, стоял выпучив глаза, в то время как моя мать, вся дрожа, схватилась руками за грудь и смотрела на меня со страхом, не произнося, однако, ни слова.

Я смотрел на них с улыбкой, возвышаясь над ними, впервые в жизни почувствовав, как я высок ростом, и радуясь этому.

— Итак, — обратился я к сенешалю. — Чего ты ждешь? Отправляйся, мессер, и делай то, что тебе велела моя мать.

Он повернулся к ней, подобострастно изогнувшись, и развел руками в нелепом недоумении, всей своей фигурой выражая просьбу о руководстве на пути, который внезапно оказался столь тернистым.

— Ма... мадонна! — заикаясь пробормотал он.

Она с трудом сглотнула слюну, обретая наконец дар речи.

— Ты противишься моей воле, Агостино?

— Напротив, госпожа моя матушка, вы только что слышали, что я ее выполняю. Ваша воля будет исполнена, ваше приказание будет передано. Я настаиваю на этом. Теперь от ваших лакеев зависит, будет оно выполнено или нет. Моя ли это вина, если они окажутся трусами?

О, наконец-то я себя нашел, и с какой безумной радостью воспользовался я этим открытием!

— Но это... это же насмешка надо мной и над моим достоинством, — возразила моя мать.

Она все еще чувствовала свою беспомощность, ничего не могла понять и задыхалась, как человек, которого внезапно бросили в холодную воду.

— Если вы этого опасаетесь, сударыня, может быть, вы предпочтете отменить свое приказание?

— Так что же, эта девица останется в Мондольфо вопреки моему желанию? Ты... ты совсем потерял стыд, Агостино?

Нотки раздражения, появившиеся в ее голосе, дали мне понять, что она собирается с силами, чтобы вновь овладеть ситуацией.

— Нет, — ответил я и посмотрел в бледное, залитое слезами лицо стоявшей рядом со мною Луизины. — Я думаю, что ради ее собственного блага бедной девушке лучше отсюда уйти, поскольку вы этого желаете. Но никто не посмеет бить ее плетью, словно бродячую собаку.

— Иди же, дитя, — сказал я ей как можно ласковее. — Иди, собери свои вещи и оставь эту обитель печали. И будь спокойна, ибо, если хоть один человек в Мондольфо осмелится поторопить тебя, он будет иметь дело со мной. Я на секунду положил руку ей на плечо.

— Бедняжка Луизина, — сказал я, вздыхая. Но она отпрянула и задрожала при моем прикосновении. — Пожалей меня хоть немножко. Мне не разрешено иметь друзей, а тот, у кого нет друга, достоин сожаления.

И тогда, оттого ли, что ее простая душа проснулась и сбросила с себя смирение, к которому ее всю жизнь приучали, или она поняла, что, находясь под моей защитой, она может, не боясь, проявить перед всеми свои чувства, она схватила мою руку и, нагнувшись, поцеловала ее.

— О, Мадоннино! — промолвила она дрожащим голосом, и поток слез омочил мою руку. — Господь да вознаградит тебя за твою доброту ко мне. Я буду молиться за тебя, Мадоннино.

— Молись, Луизина, — сказал я. — Я начинаю думать, что это мне не помешает.

— Несомненно, не помешает, — мрачно подтвердила моя мать.

При этих словах Луизина, к которой вернулись все ее страхи, повернулась и быстро пошла прочь, мимо Ринольфо, который злобно ухмыльнулся, когда она с ним поравнялась и скрылась за углом.

— Что... что вы прикажете мне делать, мадонна? — промямлил несчастный сенешаль, напоминая ей о том, что ничего еще не решено.

Она опустила глаза в землю и сложила руки. Она снова была совершенно спокойна, снова стала самой собой — сдержанной и печальной.

— Пусть ее, — сказала она. — Пусть эта девица уходит. Мы должны почесть за счастье, что избавляемся от нее.

— А мне кажется, что счастлива она, — заметил я. — Ей посчастливилось, что она возвращается в широкий мир, который лежит за стенами всего этого — в мир, где царят любовь и жизнь, который был создан Господом Богом и которому пел хвалу святой Франциск. Сомневаюсь, принимал ли Бог участие в его создании в том виде, в котором он сейчас существует. В нем... в нем слишком мало жизни.

О, в это майское утро мною владел поистине мятежный дух.

— Не сошел ли ты с ума, Агостино? — задыхнулась моя мать.

— А мне кажется, что, напротив, ко мне возвращается разум, — печально сказал я в ответ.

Она бросила на меня один из редких взглядов, и я заметил, как она сжала губы.

— Я должна с тобой поговорить, — сказала она. — Эта девица... — Тут она замолкла. — Следуй за мной, — приказала она.

Но в этот момент я кое-что вспомнил и обернулся, чтобы посмотреть на моего друга Ринольфо. Он втихомолку двинулся вслед за Луизиной. При мысли о том, что он отправился мучить ее и терзать, издеваться над тем, что ее выгнали из Мондольфо, мой гнев вспыхнул с новой силой.

— Остановись! Эй ты, Ринольфо! — крикнул я ему.

Он остановился и обернулся, нахально глядя мне в лицо.

Мне и раньше никогда не оказывали почтения, на

которое я мог рассчитывать по праву моего положения. Мне даже кажется, что среди лакеев и прочей прислуги в Мондольфо на меня смотрели с некоторой долей презрения, как на того, кто, достигнув зрелого возраста, сделается всего-навсего священником и никем иным.

— Поди сюда, — велел я ему и, поскольку он замешкался, повторил приказание более властным тоном. Наконец он повернулся и пошел ко мне.

— Что ты задумал, Агостино? — воскликнула моя мать, кладя свою бледную руку мне на рукав.

Но все мое внимание было обращено на этого наглеца, который стоял передо мной, переминаясь с ноги на ногу с угрюмым вызывающим видом. Из-за его плеча мелькнуло желтое лицо его отца с широко открытыми от страха глазами.

— Мне кажется, ты сейчас улыбался, — сказал я.

— Ха! Реч Вассо!* — нагло отвечал он, словно желая сказать: «А как тут можно было не улыбаться?»

— Изволь объяснить, чему ты улыбался! — потребовал я.

— Ха! Реч Вассо! — снова сказал он и пожал плечами, словно подчеркивая оскорбительность своего тона.

— Изволь отвечать! — взревел я, и при виде моего гнева он имел дерзость ответить мне враждебным взглядом, и мое терпение окончательно истощилось.

— Агостино! — услышался предостерегающий возглас моей матери, и это на какое-то мгновение остановило меня, умирив мою ярость.

Тем не менее я продолжил:

— Ты улыбнулся тому, что твоя гнусная затея удалась. Ты улыбался, видя, что бедную девушку прогнали отсюда благодаря твоим проискам; ты улыбался, видя, что твои сломанные ловушки отомщены. И ты, конечно, пошел следом за ней, чтобы сообщить ей об этом и снова смеяться. Так или нет?

— Ха! Реч Вассо! — в третий раз повторил он.

Прежде чем кто-нибудь успел меня остановить, я схватил его за горло и за пояс и с силой тряхнул.

— Ты будешь мне отвечать, безмозглый чурбан? — вскричал я. — Или мне придется научить тебя уму-разуму, вбить тебе в башку должное уважение ко мне?

— Агостино, Агостино, — стенала моя мать. — На помощь, мессер Джойозо! Разве ты не видишь, что он сошел с ума?

* Черт поberi! (итал.; выражение раздражения или изумления).

Мне кажется, что в мои намерения не входило причинить этому негодяю серьезные увечья. Но в тот момент он совершил роковую ошибку, попытавшись защититься. Он ударил меня по руке, которой я держал его за горло, и это привело меня в неукротимое бешенство.

— Грязный пес! — прошипел я сквозь стиснутые зубы. — Ты осмелился поднять на меня руку? На меня, своего господина! Или ты думаешь, что я из той же грязи, что и ты? Так вот тебе, это научит послушанию! — И я швырнул его так, что он кубарем покатился вниз по ступеням лестницы.

Их было двенадцать, все они были из камня, и хотя их края местами сгладились от времени, однако они все еще были достаточно острыми. Этот дуралей не подозревал во мне такой силы, да я и сам до этого времени не знал о ней. Иначе он не стал бы столь нахально пожимать плечами, давать такие дурацкие ответы и, наконец, не стал бы оказывать сопротивления.

Он пронзительно завизжал, когда я его толкнул; закричала моя мать; завопил Джойозо.

Потом все смолкло. Охваченные ужасом, они молча наблюдали, как он катился с лестницы, ударяясь о ступени. Меня не особенно занимало, убил я его или нет. Однако ему повезло, он отделался одним-единственным переломом, который на какое-то время помешает ему делать людям гадости и научит уважению ко мне на всю оставшуюся жизнь.

Его отец помчался вниз по лестнице на помощь своему драгоценному сыночку, который лежал и стонал, неестественно подогнув ногу под таким углом, который ясно указывал на характер понесенного им наказания.

Моя мать повела меня в комнаты, осыпая по дороге упреками. Кого-то из слуг она послала на помощь Джойозо, других отправила на поиски фра Джервазио, меня же потянула за собой в свою личную столовую. Я шел очень послушно и даже с некоторым страхом, теперь, когда возбуждение мое несколько утихло.

Там, в этой безрадостной комнате, которую не могли оживить даже яркие пятна солнечного света, падавшие из расположенных под самым потолком окон на беленую стену, я стоял довольно мрачно, пока она сначала бранила меня, а потом горько плакала, сидя на своем обычном месте во главе стола.

Наконец появился Джервазио, сильно встревоженный,

поскольку до него уже дошли слухи о происшедшем. Его острый взгляд остановился на мне, потом он посмотрел на мою мать, потом снова на меня.

— Что случилось? — спросил он.

— Что случилось? — стенала моя мать. — Агостино помешался.

Он нахмурился.

— Помешался? — переспросил он.

— Да, помешался. В него вселился бес. Он избил Ринольфо, сломал ему ногу.

— Ах, вот оно что, — сказал Джервазио и обратился ко мне со всей строгостью сурового наставника. — Что ты на это скажешь, Агостино?

— Скажу, что очень сожалею, — отвечал я, вновь охваченный мятежным духом. — Я надеялся свернуть ему его мерзкую шею.

— Ты слышишь, что он говорит? — вскричала моя мать. — Наступил конец света, Джервазио. Я же говорила, что в мальчика вселился бес.

— Что было причиной вашей ссоры? — спросил монах еще более суровым голосом.

— Ссоры? — повторил я, надменно вскинув голову и повысив голос. — С такими, как Ринольфо, я не ссорюсь, я их наказываю, когда они ведут себя дерзко и вызывают мое неудовольствие. В данном случае было и то и другое.

Он остановился передо мною, прямой и строгий, чуть ли не с угрожающим видом. И я почувствовал страх; ведь я любил Джервазио и совсем не хотел с ним ссориться. И все-таки я решил довести дело до конца.

Спасла положение моя мать.

— Увы, — причитала она. — В его жилах течет дурная кровь. Им владеет отвратительная гордость, гордость, которая погубила его отца.

Нет, не таким способом нужно было искать сочувствия у фра Джервазио. Ее слова произвели как раз обратное действие. Он сразу же перешел на мою сторону, почувствовав внезапную вражду к той, что оскорбила память моего отца, память, которую бедняга все еще чтит тайком от всех.

Строгость оставила его. Он посмотрел на нее и вздохнул. Затем, склонив голову и сцепив руки за спиной, он слегка отодвинулся от меня.

— Не будем судить опрометчиво, — сказал он. — Возможно, Агостино был спровоцирован. Выслушаем...

— О, чего только ты не услышишь, — со слезами посулила она, всячески желая показать ему, что он не прав. — Ты узнаешь кое-что и похуже, мерзости, из-за которых все и началось.

И она изложила ему историю, преподнесенную ей Ринольфо и его папашей, — о том, как я набросился на этого парня, потому что тот увидел, как я обнимаю Луизину.

Лицо монаха, по мере того как он слушал, потемнело и приобрело суровое выражение. Но прежде, чем она закончила свой рассказ, я прервал ее, не в силах более сдерживать свое негодование.

— Все это ложь, этот гнусный червь все выдумал! — вскричал я. — И я все больше сожалею, что не свернул ему шею, как собирался.

— Он солгал? — спросила она, широко раскрыв глаза от удивления, не по поводу самого факта, а оттого, что ее поразила моя, как ей казалось, лживость.

— А разве это так уж невероятно? — спросил фра Джервазио. — Расскажи ты, как было дело, Агостино.

Я все рассказал: как эта девочка из христианского милосердия выпустила на свободу бедных птишек, которые попались в предательские ловушки Ринольфо, и как, разозлившись, он пытался ее поколотить, а она бросилась ко мне искать защиты и покровительства; как после этого я выгнал его из сада и сказал, чтобы он никогда больше не смел там появляться.

— Теперь ты знаешь, — заключил я, — что я с ним сделал и знаешь почему. И если ты мне скажешь, что я поступил неправильно, предупреждаю: я тебе не поверю.

— Действительно... — начал он, незаметно послав мне дружескую улыбку.

Однако моя мать перебила его.

— Он лжет, Джервазио, — сказала она тоном, в котором гнев сочетался со скорбью. — Он бесстыдно лжет. О, в какую бездну греха он ввергнут, и с каждой минутой погружается все глубже! Разве я не говорила, что в него вселился дьявол? Придется искать способ, чтобы его изгнать.

— Нам придется искать способ изгнать вашу глупость, госпожа моя матушка, — отвечал я с горячностью, уязв-

ленивый до глубины души тем, что меня называют лжецом и что поверили не мне, а этому олуху Ринольфо.

Она поднялась, исполненная сурового негодования.

— Агостино, я твоя мать! — напомнила она мне.

— Возблагодарим же за это Господа Бога. Это, по крайней мере, значит, что не вам меня обвинять, — выпалил я, окончательно перестав владеть собой.

Мой ответ заставил ее снова рухнуть в кресло. Она бросила умоляющий взгляд на фра Джервазио, на лице которого сохранялось хмурое и мрачное выражение.

— Может быть, он... может быть, на него напустили порчу? — спросила она моего наставника совершенно серьезно. — Как ты думаешь, может быть, какие-нибудь злые чары...

Он остановил ее, махнув рукой и раздраженно хмыкнув.

— Мы напрасно спорим, — сказал он. — Агостино не лжет, я за это ручаюсь.

— Но, фра Джервазио, говорю тебе, что я их видела, видела своими собственными глазами: они сидели рядом на ступеньках террасы, и он обнимал ее за плечи. А теперь он бессовестно лжет мне в лицо, что этого не было.

— Разве я сказал об этом хоть слово? — воззвал я к монаху. — Это было уже после того, как Ринольфо ушел из сада. В моем рассказе я до этого места еще не дошел. Совершенно верно, я сидел подле нее. Девочка была расстроена. Я ее утешал. Что в этом дурного?

— Дурного? — строго спросил он. — Ты обнимал ее за плечи. А ведь ты собираешься стать священником.

— Но почему же нельзя этого делать, позволь тебя спросить? — требовал я ответа. — Это что, новый грех, который ты вдруг обнаружил? Дать утешение страждущему — не в этом ли назначение нашей святой матери Церкви? Любить ближнего заповедал нам сам милосердный Господь. Я повинен и в том и в другом. Неужели из-за этого я достоин осуждения?

Он испытующе смотрел на меня, пытаюсь отыскать в выражении моего лица — теперь-то мне это понятно — признаки иронии или насмешки. Не обнаружив ни того, ни другого, он обернулся к моей матери. Вид у него был торжественный.

— Мадонна, — спокойно сказал он, — мне кажется, что если Агостино и не святой, то он подошел к святости

ближе, чем вы или я. Мы не смели и надеяться на такое к ней приближение.

Она посмотрела на него сначала с удивлением, а потом с печалью и медленно покачала головой.

— К несчастью для него, существует и другой арбитр святости, который видит глубже, чем ты, Джервазио.

Он склонил голову, но возразил:

— Лучше не пытаться заглядывать в самую глубину, мадонна, иначе, боюсь, можно увидеть такое, чего нет на самом деле.

— Ах, ты будешь защищать его даже вопреки здравому смыслу, — жалобно проговорила она. — Разве ты не видишь, он полон злобы, его обуревают жажда убить, заклеить тебя печатью Каина — он сам в этом признается. То, что он проявляет неповиновение моему родительской воле, ты видел сам, а это тоже грех, ибо в одной из заповедей сказано: чти отца своего и мать свою. О, — стонала она, — моя воля для него ничего не значит, он отказывается мне подчиняться, он отбрасывает поводья, с помощью которых я пыталась направить его по верному пути.

— Жаль, что вы не последовали моему совету год тому назад, мадонна. Но даже сейчас еще не поздно это сделать. Пошлите его учиться в Павию или в Сapiенцу*, пусть изучает богословские науки.

— Отпустить его в мир! — в ужасе вскричала она. — О нет, нет! Я так старательно его оберегала!

— Но вы не можете вечно держать его взаперти, — возразил он. — Когда-нибудь он должен покинуть дом и соприкоснуться с миром.

— В этом нет нужды, — нерешительно проговорила она. — Если его призвание окажется достаточно твердым, монастырь... Она не договорила и посмотрела на меня. — Выйди, Агостино, — велела она мне. — Нам с фра Джервазио нужно поговорить.

Я неохотно вышел, поскольку ничто в целом мире не могло интересовать меня больше, чем предмет их разговора, ведь от этого зависела моя судьба. Однако я тем не менее подчинился, и ее последними словами, когда я покинул комнату, было напутствие: то время, которое у меня осталось до урока с фра Джервазио, употребить на молитву, моля Господа о прощении за совершенные мною грехи, прося его наставить меня на путь истинный.

* Университет в Риме.

ФРА ДЖЕРВАЗИО

Я больше не видел мою мать в тот день, не было ее и за столом во время ужина. Фра Джервазио сообщил мне, что она уединилась в своей спальне и молится за меня, прося Господа просветить и направить ее в том, что следует предпринять в отношении меня.

Я рано удалился в свою маленькую спальню, выходящую окнами в сад. Комнатка эта более напоминала монастырскую келью, чем покой, достойные положения господина и правителя Мондольфо. Стены ее были выбелены известкой, и единственным ее украшением, не считая распятия, висевшего над изголовьем кровати, было изображение святого Августина, беседующего с мальчиком на берегу моря.

Постелью мне служил простой соломенный тюфяк, а в комнате, кроме кровати, было еще деревянное кресло, табурет, на котором стояли чаша и кувшин для умывания, и шкаф, где хранилась моя скромная одежда. Я никогда не испытывал суетного желания красиво одеться, свойственного юному возрасту, и постоянно носил только строгое черное платье. В этом смысле мне не с кого было брать пример.

Я лег на кровать, погасил свечу и приготовился уснуть. Но сон бежал от меня. Долго лежал, обдумывая события этого дня, дня, когда я впервые открыл самого себя; самого тревожного и беспокойного дня из всех, что мне пришлось до этого пережить; дня, в течение которого, хотя вряд ли я это признавал, мне довелось вкусить от двух самых острых блюд, даруемых нам жизнью: я изведал любовь и наслаждение от битвы.

Так я лежал несколько часов, размышляя и пытаюсь сложить в единую картину отдельные кусочки загадки бытия, как вдруг моя дверь внезапно открылась, и я вскочил с постели, увидев фра Джервазио со свечой, которую он держал, заслонив ладонью, так что она освещала только его бледное, изможденное лицо.

Видя, что я бодрствую, он вошел в комнату и притворил за собой дверь.

— В чем дело? — спросил я.

— Ш-ш! — он приложил палец к губам. Потом подошел ко мне, поставил свечу на кресло и присел на краешек

моей кровати. — Ложись-ка снова в постель, сын мой, — велел он. — Я должен тебе кое-что сказать.

Он помолчал, дождавшись, пока я улегся и натянул покрывало до подбородка, не без мысли о том, что предстоит какое-то важное сообщение.

— Мадонна приняла решение, — сказал он. — Она опасается, что теперь, после того как ты однажды восстал против ее воли, она уже никогда не сможет подчинить тебя себе; если она по-прежнему будет держать тебя при своей особе, будет плохо и тебе, и ей. Поэтому она решила, что завтра утром ты покинешь Мондольфо.

Легкое волнение охватило меня. Покинуть Мондольфо — оказаться на свободе, в мире, о котором я столько читал; встречаться с людьми, с другими юношами, такими же, как я, а может быть, и с девицами, подобными Луизине, побывать в городах, посмотреть, как там живут люди. Тут было от чего прийти в волнение. И все-таки в этом возбуждении была не только радость, ибо к естественному любопытству, к желанию его удовлетворить примешивались некоторые опасения, порожденные единственным видом чтения, которое было мне доступно.

Мир — это скопище зла, он таит в себе многие соблазны, в нем трудно остаться невредимым. Поэтому я боялся мира, боялся выйти из-под защиты замковых стен Мондольфо; и в то же время мне хотелось своими глазами взглянуть на этот мир, в греховности которого я иногда позволял себе сомневаться.

Ход моих мыслей определялся следующим силлогизмом: Бог — это добро, и, поскольку мир — его создание, он не может быть дурным. Пусть говорят, что там хозяйничает сатана. Это же не значит, что сатана его создал, и, прежде чем утверждать, нужно еще доказать, что мир плох сам по себе, как это делают некоторые наши богословы, и что следует его избегать.

Этот вопрос я часто задавал себе, но, в конечном счете, гнал его прочь, считая обольщением сатаны с целью погубить мою бедную душу. И вот он снова терзал мою душу.

— Куда я должен направиться? — спросил я. — В Падую или в университет в Болонье?

— Если бы послушались моего совета, — сказал он, —

* Силлогизм — здесь: умозаключение.

вы бы направились в одно из этих мест. Но твоя мать держала совет с мессером Арколано.

Он пожал плечами, и на лице его появилось презрительное выражение. Он не доверял Арколано, который принадлежал к черному духовенству и был духовником моей матери, ее советником, и имел на нее значительное влияние. Она сама признала, что именно Арколано толкнул ее на эту чудовищную сделку, на попытку продать жизнь моего отца, от осуществления которой ее спасло милосердное провидение.

— У мессера Арколано, — снова заговорил он, — есть друг в Пьяченце, педагог, доктор гражданского и канонического права, человек, по его словам, весьма сведущий в этих науках и к тому же благочестивый, по имени Асторре Фифанти. Я слышал о нем, и я не согласен с мессером Арколано. Я об этом сказал. Но твоя мать... — Он снова помолчал. — Решено, что ты отправишься туда немедленно, будешь под его руководством изучать гуманитарные науки и будешь у него жить до тех пор, пока не наступит для тебя время принять сан, что, как надеется твоя мать, произойдет очень скоро. Согласно ее желанию осенью ты должен вступить в монастырь в качестве поддьякона, а в следующем году принять послух, дабы подготовить себя достойным образом к вступлению в братство святого Августина.

Он замолчал, не добавив больше никаких комментариев, словно ожидая моих расспросов. Однако мой ум не способен был двинуться за пределы того факта, что завтра мне предстоит покинуть Мондольфо и вступить в широкий мир.

То обстоятельство, что я должен сделаться монахом, не было для меня новостью, я уже давно был приучен к этой мысли, хотя определенно об этом не говорилось, речь шла лишь о том, что я буду священником. И вот я лежал, не в состоянии придумать ни слова для того, чтобы ответить фра Джервазио.

Он внимательно смотрел на меня некоторое время, наконец вздохнул и сказал:

— Агостино, ты находишься на пороге великих перемен. Тебе предстоит сделать решительный шаг, над значением которого ты до сих пор не задумывался. Я был твоим наставником, на мне лежала ответственность за твоё воспитание. Этот долг я честно выполнял, как мне было приказано, но не так, как я стал бы его выполнять, если бы я следовал в этом деле велению своей совести. Мысль

о том, что ты в конечном счете сделаешься священником, с такой настойчивостью воспитывалась в тебе, что ты поверил, будто это твое собственное желание. Теперь, когда приближается время принять решение, сделать, возможно, бесповоротный шаг, ты должен серьезно подумать.

То, как он это говорил, поразило меня ничуть не меньше, чем смысл сказанного.

— Как? — вскричал я. — Ты говоришь, что мне, может быть, не следует стремиться к тому, чтобы принять духовный сан? Разве может быть что-нибудь лучше, чем жизнь священника? Разве ты сам не учил меня, что это самое благородное занятие для мужчин?

— Быть хорошим священником, выполнять все то, чему учил нас Господь, стать, в свою очередь, глашатаем его учения, вести жизнь самоотречения, самопожертвования и чистоты, — медленно ответил он, — нет ничего благороднее, ничего лучше этого. Но быть плохим священником... есть на свете и другие пути заслужить проклятье, менее вредоносные для Церкви.

— Быть плохим священником! — воскликнул я. — Разве можно быть плохим священником?

— Это не только возможно, сын мой; в наши дни это случается достаточно часто. Многие люди, Агостино, посвящают себя служению Церкви из соображений своекорыстных. Из-за таких, как они, Рим стали называть некрополем* живых. Другие же, Агостино, — и они достойны всяческого сожаления — вступают в лоно Церкви в юности по воле неразумных родителей. Я бы не хотел, чтобы ты стал одним из них, мой сын.

Я глядел на него во все глаза, удивляясь все более и более.

— Ты думаешь... ты думаешь, что мне грозит такая опасность? — спросил я.

— Это вопрос, на который ты должен ответить сам. Ни один человек не может знать, что находится в сердце другого. Я воспитывал тебя так, как мне было велено. Я видел, что ты благочестив, видел, что ты становишься все более набожным, и все-таки... — Он замолчал и снова посмотрел на меня. — Вполне возможно, что все это — не более чем плоды твоего воспитания; вполне возможно, что твоя набожность, твое благочестие идут исключительно

* Некрополь — «город мертвых». (лат.). Большие кладбища на окраине древних городов.

от ума. Люди знакомятся с догмами религии так же, как законник изучает свои законы. Отсюда ни в коей мере не следует, что они религиозны — хоть они и считают себя таковыми — так же, как человек, знающий законы, совсем не обязательно является законопослушным. Только по их поступкам, по их жизни можно судить об их истинной натуре, и пока еще ни один поступок в твоей жизни, Агостино, не говорит о наличии призвания в твоём сердце.

Сегодня, например, при первом же соприкосновении с миром ты дал волю своим чувствам и совершил акт насилия; то, что ты не убил Ринольфо, в такой же степени случайность, как и то, что ты сломал ему ногу. Я не говорю, что этот поступок — грех. Среди светских юношей твоих лет провокация, с которой ты столкнулся, более чем оправдала бы твои действия. Но это никак нельзя отнести к человеку, который готовит себя к смирению и самоотречению, требуемым от священника.

— Но ведь ты же говорил, — возразил я, — я слышал, как ты говорил внизу моей матери, что я ближе к святости, чем ты или она.

Он печально улыбнулся.

— Это были опрометчивые слова, Агостино. Я принял невежество за чистоту и непорочность, это обычная ошибка. Позже я все как следует обдумал, и мои размышления вынуждают меня сказать тебе то, что в этом доме равносильно предательству.

— Я не понимаю, — признался я.

— Возможно, что я исполнял мой долг по отношению к твоей матери более добросовестно, чем имел на это право. Мой долг по отношению к моему Богу я исполняю сейчас, хотя тебе может показаться, что я выступаю скорее как *advocatus diaboli**. Долг мой заключается в том, чтобы предупредить тебя; попросить тебя как следует обдумать тот шаг, который ты собираешься совершить. Послушай, Агостино. Я говорю с тобой на основании горького опыта одной несчастной жизни, полной страданий. Я бы не хотел, чтобы ты вступил на путь, по которому пришлось пройти мне. Он редко приводит к счастью в этом мире, впрочем, так же, как и в следующем; чаще всего он приводит пряমেхонько в ад.

* Советник дьявола (*лат.*).

Он замолчал, а я смотрел на его измученное лицо в полном изумлении. Казалось невероятным, что эти слова исходят от человека, которого я считал воплощением добра.

— Если бы я не знал, что в один прекрасный день мне придется говорить с тобой так, как я разговариваю сейчас, я бы уже давно отказался делать то дело, которое не одобряю. Но я боялся тебя оставить. Я боялся, что, если я уйду, мое место займет какой-нибудь временщик, который ради хлеба насущного будет учить тебя так, как этого хочется твоей матери, и толкнет тебя, без предупреждения, на ту жизнь, которая уготована тебе по обету.

Однажды, несколько лет тому назад, я был на грани того, чтобы оказать неповиновение твоей матери. — Он устало провел рукой по лбу. — Это было в ту ночь, когда Джино Фальконе покинул нас. Она его выгнала, считая это своим долгом. Ты помнишь, Агостино?

— О, я помню, — ответил я.

— В ту ночь, — продолжил фра Джервазио, — я был рассержен, я испытывал праведный гнев, глядя на то, как дурной, нехристианский поступок совершается в святотатственном самодовольстве. Я был готов осудить этот поступок и осудить твою мать, сказать ей в лицо, что она поступает дурно. Но потом я вспомнил о тебе. Я вспомнил любовь, которую питал к твоему отцу, вспомнил о долге, который он мне завещал: позаботиться о том, чтобы тебе не было причинено то зло, которого я опасался. Я понял, что, если я произнесу слова, которые жгли мне язык, мне придется уйти, так же как ушел Джино Фальконе. Но дело было не в том, что меня прогонят. Мне было бы легче спасти свою душу в каком-нибудь другом месте, а не в этом доме, где царит дух ложно понятого христианства; и кроме того, всюду есть монастыри моего ордена, где я могу найти приют. Но я не мог оставить тебя; я понимал, что, если я уйду, ты целиком окажешься во власти влияния, которое лепило и ломало тебя вопреки твоей натуре, не принимая во внимание твои склонности. Поэтому я остался, поэтому не встал на защиту Фальконе. Впоследствии я узнал, что он нашел друга, что о нем... что о нем позаботились.

— Кто позаботился? — спросил я, в высшей степени заинтересованный.

— Один из друзей твоего отца, — сказал он после

секундного колебания. — Кондотьер по имени Галеотто — предводитель наемников, известный по имени *Ti Gran Galeotto**. Но это неважно. Я хочу рассказать о себе, чтобы ты понял, на каком основании я все это говорю. Мне была уготована судьба солдата, я должен был следовать за своим доблестным молочным братом, твоим отцом. Если бы я сохранил силы моей ранней юности, на мне вместо монашеской рясы были бы сейчас солдатские доспехи. Однако случилось так, что тяжелый недуг лишил меня здоровья и сделал непригодным для такой жизни. Равным образом я был не в состоянии работать в поле, и мне грозила опасность сделаться обузой для моих родителей-хлебопашцев. Для того чтобы этого избежать, они решили сделать из меня монаха; отдали меня Богу, увидев, что я непригоден для служения человеку. Бедные простаки, они считали, что, поступая таким образом, совершают доброе, богоугодное дело. Я проявил способности к учению; меня заинтересовали предметы, которым меня учили; я, действительно, увлекся ими и не задумывался о будущем; не задаваясь лишними вопросами, я подчинился воле своих родителей, и, прежде чем я успел сообразить, что и кто я есть, я уже был духовным лицом.

Он значительно понизил голос, заключая свой рассказ: — В течение десяти лет после этого, Агостино, я носил власяницу, не снимая ее ни днем, ни ночью; поясом мне служило узловатое вервие, в которое были воткнуты шипы, терзавшие мое тело. Десять лет я не знал телесного покоя, не знал, что значит ночной сон. Только таким способом удалось мне смирить мою бунтующую плоть и уберечь себя от того, что для простого человека — обычное дело, а для меня — святотатство и грех. Я был набожен. Если бы я не был набожен и силен в моей вере, я никогда бы не вынес того, что был вынужден выносить, чтобы не быть обреченным на вечные муки, и все потому, что меня сделали священником, не приняв во внимание моей натуры. Подумай об этом, Агостино, подумай хорошенько. Я бы не хотел, чтобы ты пошел по этому пути, не хотел бы, чтобы тебе пришлось бороться с искушениями таким образом. Ибо я знаю — надеюсь, что говорю это со всем смирением, Агостино, благодаря Бога за великую милость, которую оказал он мне, — на одного священника без

* Великий Галеотто (итал.).

призвания, который может побороть искушение с помощью таких мучительных средств, приходится сотня таких, которые устоять не могут, и это очень плохо: своим скандальным примером они многих отвращают от Церкви и дают оружие в руки ее врагов, за что приходится дорого расплачиваться впоследствии.

Наступило молчание. Я был неожиданно тронут его рассказом, на меня произвело впечатление предостережение, которое я уловил в его исповеди. И тем не менее моя самоуверенность не была поколеблена.

И когда наконец он поднялся, взял свою свечу и, встав у моей кровати, спросил меня еще раз, чувствую ли я в себе призвание, я продемонстрировал свою самонадеянность ответом:

— Я молюсь и надеюсь, что я действительно чувствую в себе призвание, — сказал я. — Я буду следовать по жизненному пути, который наилучшим образом подготовит меня к жизни будущей.

Он смерил меня долгим печальным взглядом.

— Ты должен поступать так, как подсказывает тебе твое сердце, — вздохнул он. — И когда ты увидишь мир, познакомишься с ним, твое сердце научится говорить более понятным языком.

С этим он меня оставил.

На следующий день я отправился в путь.

Прощание мое было недолгим. Моя мать, провожая меня, коротко всплакнула и долго-долго молилась. Не могу сказать, чтобы она испытывала особую грусть, расставаясь со мною. К этой грусти я бы отнесся с уважением, память о ней берег бы, как святыню. Но нет, ее слезы были вызваны страхом, она боялась, что я не сумею противостоять опасностям, которые окружают человека в мире, поддамся искушению и обману ее надежды на исполнение обета.

Она сама в этом призналась в своем прощальном напутствии, с которым она ко мне обратилась. После ее слов у меня сложилось твердое убеждение: единственное, что ее интересовало в отношении меня и моей жизни, — это исполнение ее обета. О том, какую цену за это, возможно, придется заплатить, она не думала ни минуты.

Слезы стояли и в глазах фра Джервазио. Моя мать позволила мне только поцеловать ее руку — так у нас было принято. Что же касается святого отца, он обнял

меня и долго не отпускал, прижимая к груди своими длинными руками.

— Помни! — прошептал он хриплым от волнения голосом. А потом, выпустив меня из своих объятий, добавил: — Да поможет тебе Бог, да наставит он тебя на путь истинный, сын мой.

Это были его последние слова.

Я спустился по ступенькам во двор, где собрались почти все наши слуги, чтобы проводить своего господина, в то время как мессер Арколано задержался наверху, чтобы еще раз уверить мою мать, что он будет обо мне заботиться, и чтобы выслушать ее последние наставления касательно меня.

Четверо слуг, верхом и при оружии, ожидали, чтобы меня сопроводить, а с ними — три мула, один для меня, другой для Арколано и третий для моего багажа, который и был на него навьючен.

Один из слуг держал стремя, и я вскочил в седло, с которым был знаком весьма относительно. Затем сел на своего мула и Арколано, пыхтя и отдуваясь, ибо это был тучный краснолицый человек, обладавший самыми толстыми руками, которые мне когда-либо приходилось видеть.

Я тронул мула кнутом, и мы двинулись в путь. Арколано трусил рядом со мной, а позади ехали в ряд всадники, составлявшие наш эскорт. Таким образом мы проследовали к воротам, и слуги, когда мы проезжали мимо, шептали нам прощальные приветствия.

— Счастливого пути, Мадоннино!

— Счастливого возвратиться, Мадоннино!

Я оборачивался и улыбался им в ответ; глядя на них, я заметил, что многие смотрят на меня с сочувствием и сожалением.

Перед тем как завернуть за угол, я обернулся и помахал шляпой моей матери и фра Джервазио, которые стояли на верхней ступеньке лестницы, где я их оставил. Святой отец помахал мне в ответ. Что же касается моей матери, она даже не шевельнулась. Она, скорее всего, уже снова опустила глаза долу.

Ее бесчувственность даже рассердила меня. Мне казалось, что человек имеет право хотя бы на мимолетное проявление нежности со стороны женщины, которая его родила. Ее холодность обидела меня. Обидела тем более, что я сравнивал ее поведение с тем, как нежно обнял меня на прощание старик Джервазио. Чувствуя комок в

горле, я свернул с солнечного света, заливавшего двор, в сумрак арки ворот, а потом снова выехал наружу, на подъемный мост. Копыта наших мулов простучали по деревянному настилу моста, а потом, более звонко, по камням мостовой.

Я впервые в жизни оказался за пределами стен нашего замка. Передо мною тянулась плохо вымощенная улица предместья, которая спускалась по склону, направляясь к рыночной площади городка Мондольфо. А дальше, за его пределами, простирался целый мир, который, как мне казалось, лежал у моих ног.

Комок у меня в горле постепенно рассосался, сердце забилось быстрее в предвкушении чего-то необыкновенного. Я дал шпоры своему мулу и поехал быстрее в сопровождении тучного пастыря, который ехал рядом со мною.

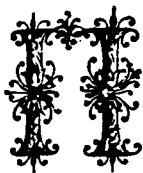
Так я покинул свой дом и вышел из-под мрачного безрадостного влияния моей вечно печальной матери.

Книга вторая

ДЖУЛИАНА

Глава первая

ДОМ АСТОРРЕ ФИФАНТИ



озвольте мне не останавливаться слишком подробно на тех событиях, которые произошли во время нашего путешествия, дабы не наскучить читателю. Сами по себе они достаточно забавны, однако если о них рассказывать, они могут показаться совсем неинтересными.

По всему предместью, опережая нас, разнесся слух, что здесь находится Мадоннино из Мондольфо, и волнение, вызванное этим известием, носило такой характер, что я не знал, чувствовать ли себя польщенным или оскорбленным.

Все дома опустели, а их обитатели стояли, раскрыв рот, у дороги, по которой мы следовали, чтобы в первый раз в жизни посмотреть на своего господина, о котором они слышали Бог весть какие рассказы, ибо там, где есть хоть намек на тайну, человеческое воображение работает вовсю.

Поначалу такое количество устремленных на меня глаз смутило меня; так что мои собственные глаза были устремлены на блестящую шею моего мула. Вскоре, однако, привыкнув к тому, что на меня смотрят, я освободился от своей застенчивости, каковое обстоятельство незамедлительно сделалось предметом забот и неприятностей для мессера Арколано. Ибо едва я успел осмотреться, как тут же сотни разнообразных вещей привлекли мое внимание, потребовав расспросов и более пристального рассмотрения.

К тому времени мы добрались до рыночной площади; день к тому же был базарный, и вся площадь была заполнена крестьянами из Валь-ди-Таро, которые прибыли в город, чтобы продать плоды своих трудов и купить все то, чего не может дать земля.

Мне хотелось задержаться у каждой лавки и рассмотреть предлагаемые товары, и каждый раз, когда я

намеревался это сделать, крестьяне подобострастно расступались, давая мне дорогу и приглашая подойти поближе. Однако мессер Арколано понуждал меня двигаться вперед, говоря, что нам предстоит еще долгий путь и что в Пьяченце лавки гораздо лучше, к тому же у меня будет больше времени, чтобы их осмотреть.

Затем нам встретился фонтан, увенчанный статуей, которая привлекла мое внимание, — это был Лаокоон* работы Дюфрено, — и я приостановил своего мула, издав восхищенный возглас при виде этого великолепного произведения, и засыпал Арколано бесчисленными вопросами: кто он такой и почему подвергся нападению этой чудовищной змеи, и удалось ли ей в конце концов его задушить.

Арколано, терпение которого истощилось, коротко отвечал, что в виде змеи набожный скульптор символически изобразил греховность, которую побеждает святой Геракл.

Я совершенно уверен, что именно так он интерпретировал значение этой скульптуры и что благодаря известной путанице в мозгах он причислил языческого полубога к христианским святым. Ибо это был неуч, простой, необразованный мужик, и то, что моя мать нашла в нем какие-то достоинства, позволившие предпочесть его высокообразованному фра Джервазио и избрать в качестве своего духовного пастыря и советника по религиозным вопросам, представляет лишь одну из многочисленных загадок, встретившихся мне в моих попытках понять ее характер.

Кроме того, на площади было множество молодых крестьянских девушек, отчаянно красневших под моим взглядом, который Арколано тщетно приказывал мне опустить долу. Мне часто казалось, что одна из этих стройных пригожих девиц — моя маленькая Луизина; и я не раз был готов обратиться то к одной, то к другой только для того, чтобы моя ошибка тут же обнаружилась, а мессер Арколано начинал брюзжать, возмущенный моим легкомыслием.

И когда я раз или два рассмеялся в ответ на их дружелюбные шутки, ухмыляющиеся слуги, которые меня сопровождали, толкали друг друга в бок и подмигивали

* Лаокоон — персонаж «Илиады»; житель Трои, предупреждавший сограждан не верить коварным врагам — ахейцам и не ввозить в город оставленного ими деревянного коня; боги наслали на него и двух его сыновей змей, задушивших Лаокоона.

при виде того, как далеко я, по их мнению, отклонился от пути, ведущему к духовному сану, тогда как из уст моего тучного клирика сыпались жаркие проклятья, и он грубо тащил меня прочь, заставляя ехать быстрее.

Муки его прекратились, только когда мы выехали из города. Некоторое время мы проехали в молчании, ибо в голове у меня теснились мысли о том, что я увидел, а душа была полна волнением, которым я заразился, проезжая по этим оживленным местам. Помню, как я обернулся к Арколано, который следовал за мною, чуть приотстав, так что уши его мула находились на уровне луки его седла, и попросил его указать, где кончаются мои владения.

Этот мой скромный вопрос вызвал, непонятно почему, весьма грубый ответ. Мне было строго приказано направить свои мысли в другое русло, отвратившись от мирской суеты; это послужило поводом для нудной проповеди, которая тянулась весьма долго, о тщете всего земного и прелестях райской жизни, скучнейшей и банальнейшей, на эту тему я сам мог говорить в десять раз лучше, чем его тупоголовое невежество.

Расстояние от Мондольфо до Пьяченцы составляет добрых восемь лиг*, и, хотя мы выехали очень рано, было уже далеко за полдень, когда нашему взору открылся этот город на реке По, который притаился, так сказать, в просторной долине, и Арколано стал мне называть одну за другой церкви, шпили которых выступали на фоне яркого синего неба.

Примерно через час после того, как на горизонте показался город, мы подъехали к воротам Сен-Ладзаро. Однако мы не стали заезжать в город, как я надеялся. Мессер Арколано считал, что с него довольно вопросов, которыми я засыпал его в Мондольфо, и не собирался терпеть еще большего неумения себя вести с моей стороны, которое, несомненно, проявится при виде разнообразных чудес большого города.

Итак, мы миновали ворота и поехали под самыми стенами города по аллее цветущих каштанов, огибая город к северу, пока нашему взору не открылись песчаные отмели По, и я впервые увидел вблизи эту могучую реку, неспешно несущую свои воды меж островов, густо

* Лига — 4,83 километра (речь идет о британской мере длины; в Италии такой единицы длины не существовало).

заросших ивняком, которые, казалось, плыли в ее сверкающих водах.

Посреди реки виднелась лодка рыбаков, которые тянули невод под звуки мелодии, непривычной для моего слуха, и мне очень хотелось задержаться, чтобы посмотреть на их труды. Однако Арколано понуждал меня ехать дальше, не обращая никакого внимания на мое естественное любопытство. Но вскоре я снова натянул поводья с криком восторга и удивления при виде наплавного моста, перекинутого через реку на некотором расстоянии от нас.

Однако мы уже достигли цели нашего путешествия. Арколано остановился у ворот виллы, стоявшей несколько поодаль от дороги на небольшом холме возле ворот Фодеста. Он велел одному из слуг спешиться и открыть ворота, и вот мы уже устало плелись по короткой аллее, между боскетами из лавровых кустов, к самой вилле.

Это был дом хороших пропорций, однако мне, привыкшему к просторным помещениям Мондольфо, вилла тогда показалась жалкой хижинкой. Зеленые венецианские ставни на фоне беленых стен придавали ей прохладный приятный вид; из одного окна до нас доносились веселые голоса и женский смех.

Двойные двери виллы были открыты, и через минуту после нашего появления на пороге показался высокий, тощий человек, чьи беспокойные глазки быстро оглядели нас, а тонкие губы раздвинулись в приветственной улыбке, предназначенной для мессера Арколано, прежде чем он торопливо спустился вниз по ступенькам, шаркая башмаками, которые были ему велики.

Это был мессер Асторре Фифанти, педагог, у которого я должен был обучаться и под кровом которого мне предстояло провести следующие несколько месяцев.

Видя в нем человека, которому мне придется подчиниться, я разглядывал его с величайшим интересом и с самого начала невзлюбил его.

Это был, как я уже говорил, высокий, худощавый человек; у него были длинные руки с огромными, мослатыми кистями. Они напоминали руки скелета, обтянутые перчатками из кожи. Он был лыс, если не считать полосы седых курчавых волос, окаймлявших затылок вровень с огромными ушами, а лоб у него продолжался до самой макушки яйцеобразной головы. У него был висячий нос и близко посаженные глаза, в которых таилось слишком много хитрости и коварства,

для того, чтобы они могли принадлежать честному человеку. Бороды он не носил, и кожа на щеках приобрела синеватый оттенок от постоянного бритья. Лет ему было около пятидесяти, а лицо носило выражение угодливого подобострастия. И, наконец, одет он был в длиннополый кафтан из грубого сукна, доходивший ему до колен, из-под которого торчали самые тощие икры и самые громадные ступни, какие только можно себе вообразить.

Приветствуя нас, он лебезил и полоскал в воздухе костлявыми руками, словно моя их.

— Я вижу, вы добрались благополучно, — ворковал он. — *Benedicamus Dominum!**

— *Deo Gratias!*** — пророкотал дородный священник, тяжело стаскивая свое тучное тело с мула при помощи одного из слуг.

Они пожали друг другу руки, и Фифанти обернулся, чтобы как следует рассмотреть меня еще раз.

— Это и есть мой благородный подопечный? — осведомился он. — *Salve!**** Добро пожаловать в мой дом, мессер Агостино!

Я спешился, пожал протянутую руку и поблагодарил его.

Между тем слуги развязали мой багаж, а из дома прибежал немолодой слуга, чтобы внести его в комнаты.

Я стоял возле своего мула несколько смущенно, переминаясь с ноги на ногу, в то время, как доктор Фифанти уговаривал Арколано зайти в дом и отдохнуть; он, кроме того, упомянул какое-то везувийское вино, которое ему прислали с юга и по поводу которого ему хотелось услышать просвещенное мнение священника.

Арколано колебался; губы его прожорливого рта подрагивали и подергивались. Но он тем не менее отказался, извинившись и сославшись на то, что ему нужно ехать. У него есть еще дела в городе, и он должен как можно скорее вернуться в Мондольфо, чтобы отдать отчет графине о нашем благополучном прибытии. Если он задержится, станет совсем темно, а ему совсем не хочется путешествовать в темноте. Что же до того, что кости у него ноют, а плоть уязвлена от слишком долгого нахождения

* Возблагодарим Господа (*лат.*).

** Слава Богу (*лат.*).

*** Здравствуй! (*лат.*).

в седле, пусть Господь примет это как наказание за его грехи.

После того как любезный Фифанти рассыпался в уверениях по поводу того, как невелика в этом нужда, когда дело касается человека столь святого, как мессер Арколано, священник стал прощаться. Он дал мне свое благословение, наказал мне, чтобы я повиновался тому, кто будет мне на это время *in loco parentis*^{*}, снова взгромоздился на своего мула и отбыл в сопровождении слуг.

Доктор Фифанти положил свою костлявую руку мне на плечо и высказал предположение, что после такого путешествия мне необходимо подкрепиться. С этими словами он повел меня в комнаты, уверяя, что в его доме потребностям телесным оказывается столь же неу-коснительное внимание, как и потребностям духовным.

— Ибо, не напав на тело, — заключил он в своей отвратительной любезно-подобострастной манере, — можем ли мы напитать ум, а также сердце?

Мы прошли через холл с великолепным мозаичным полом и оказались в просторной комнате, которая показала мне нарядной и веселой после той мрачной обстановки, которая окружала меня дома.

Там был голубой потолок с разбросанными по нему золотыми звездами, тогда как на стенах висели гобелены более сочного синего цвета. На них, в серых и красновато-коричневых тонах, были изображены сцены из, как я впоследствии узнал, метаморфоз Актеона^{**}. В тот момент я не мог их как следует рассмотреть. Фигуры Дианы, принимающей ванну, и ее пухленьких прислужниц-нимф заставили меня быстро отвести смущенный взор.

В середине комнаты стоял большой стол, на котором поверх вышитой скатерти ослепительно белого полотна стояли сверкающие хрустальные и серебряные кувшины с вином и вазы с различными фруктами. За столом расположилось благородное общество, состоявшее из полудюжины мужчин и двух роскошно одетых женщин. У одной из них, маленькой и изящной, были темные живые глаза, полные язвительного юмора. Другая была высока и стройна, как молодая ива; ее волосы, завитые в крутые

* Вместо родителей (лат.).

** Актеон — персонаж древнегреческого мифа, превращенный богиней-охотницей Артемидой (Дианой) в оленя — в наказание за то, что увидел богиню купающейся.

локоны, были рассыпаны по плечам; что же до их цвета — я никогда и не думал, что на свете могут быть такие волосы. Они были медно-красные и блестели, как металлические. Ее лицо и шея — весьма и весьма открытые — напоминали своим теплым цветом старую слоновую кость. У нее были большие глаза, чуть прикрытые полуопущенными веками, которые придавали ее лицу томное выражение. Лоб был низкий и широкий, а губы необычайно яркие на фоне общей бледности.

При моем появлении она тотчас же встала и подошла ко мне с медленной улыбкой, протягивая руку и произнося слова самого любезного приветствия.

— Это, мессер Агостино, — обратился ко мне Фифанти, — моя жена.

Если бы он представил ее как свою дочь, этому скорее можно было бы поверить, принимая во внимание разницу в возрасте, хотя это было бы столь же невероятно, если учесть, как мало они были друг на друга похожи.

Пораженный ее видом, я уставился на нее в полном изумлении, ослепленный к тому же сиянием ее глаз, которые теперь смотрели прямо на меня. В полном смущении я потупил взор, отвечая ей со всей учтивостью, на которую только был способен. Затем она подвела меня к столу и представила обществу, называя каждого гостя по имени.

Первым из них был худощавый и очень изысканный молодой синьор в алом костюме для прогулок, поверх которого была наброшена мантия, тоже алого цвета. На груди у него висел золотой крест на золотой цепочке. У него было тонкое женственное лицо, обрамленное светлыми волосами, заостренная бородка и крошечные усики. Руки у него были белые-белые, с еле заметными синими жилками, причем, как я вскоре заметил, он старался не опускать их вниз, чтобы к ним не прилиwała кровь, нарушая тем самым их красоту. На левой руке, прикрепленный к кисти тонкой цепочкой, висел круглый золотой футлярчик с благовониями, размером с небольшое яблоко, покрытый великолепной резьбой. На пальце — кольцо с огромным сапфиром, знак его сана.

То, что он один из церковных сановников, я увидел сам. Но я никак не ожидал, что он занимает такое высокое положение — я не мог себе представить, что в скромном доме доктора Фифанти может оказаться столь высокопоставленный гость.

Это был, ни мало ни много, его высокопреосвященство

Эгидио Оберто Гамбара, кардинал Брешии, губернатор Пьяченцы и папский легат в Цезальпинской Галлии.

Когда я узнал, кто этот элегантный надушенный женственный господин, я был просто потрясен, ибо совсем не таким видел я в своем воображении представителя папы.

Он улыбнулся мне любезной и несколько утомленной улыбкой, пресыщенной улыбкой светского человека, и протянул руку с кольцом. Я встал на колено, чтобы поцеловать перстень, пораженный сверх всякой меры рангом этого человека, тогда как сам он не внушил мне никакого почтения.

Когда я снова поднялся с колен, он смерил меня взглядом, удивленный моим высоким ростом.

— Посмотрите-ка, — сказал он. — Вот вам отличный солдат, потерянный для славы.

Говоря это, он полуобернулся к молодому человеку, сидевшему рядом с ним, которого мне очень хотелось рассмотреть, потому что его лицо было мне странным образом знакомо.

Это был высокий, стройный человек, роскошно одетый в пурпур и золото; его иссиня-черные волосы были собраны в сетку из тончайших золотых нитей. Платье его прилегалo к нему так плотно и гладко, словно составляло с ним одно целое — в сущности, так оно и было. Но больше всего меня заинтересовало его лицо. Это было загорелое бритое орлиное лицо с прямыми черными бровями, черными глазами и решительным подбородком, несомненно, красивое, если не считать, что какие-то еле заметные складочки вокруг рта придавали ему неприятное выражение: сардонически-гордое и презрительное.

Кардинал обратился к нему.

— Ваша порода дает великолепные экземпляры, Козимо, — сказал он.

Его слова поразили меня, ибо теперь я знал, где я его видел — в моем собственном зеркале.

Его лицо до такой степени напоминало мое — только волосы у него были темнее, и он был не так высок — словно он был моим родным братом, а не просто родственником, и я сразу же все понял. Ибо это был не кто иной, как гвельфский Ангвиссола, ренегат, который служил папе и был в большой чести у Фарнезе; в Пьяченце он исполнял должность капитана стражи порядка. По годам он был, должно быть, лет на семь старше меня.

Я смотрел на него с интересом и обнаружил, в нем некоторую привлекательность, главным образом, потому, что он был похож на моего отца. Именно так, наверное, выглядел мой отец, когда он был в возрасте этого человека. Он, в свою очередь, смотрел на меня с улыбкой, которая его не красила, — слишком она была презрительно-ленивая и высокомерная.

— Смотри, смотри, кузен, — сказал он, — ибо я считаю, что делаю тебе честь тем, что похожу на тебя.

— Вы увидите, — проговорил кардинал, — что это наиболее самонадеянный человек в Италии. Находя в вас сходство с собой, он отчаянно себе льстит, что, как вы впоследствии убедитесь, когда познакомитесь с ним поближе, вообще является его отличительной чертой. Он сам себе самый ревностный льстец. — И мессер Гамбара снова погрузился в кресло, томно поднеся к носу свой шарик с благовониями.

Все засмеялись, а вместе со всеми и мессер Козимо, который продолжал смотреть на меня.

Однако супруга мессера Фифанти должна была познакомить меня с остальными гостями, сидящими возле маленькой волоокой дамы. Ее звали донья Леокадия дельи Аллогати, она приходилась хозяйке кузиной, и в тот день я видел ее в первый и последний раз в своей жизни.

Три оставшихся синьора не представляют особого интереса, кроме одного, чье имя стало впоследствии широко известным — нет, оно уже было известно, только не тому, кто вел такую уединенную жизнь, как я.

Это был очень хороший поэт, Аннибале Каро, про которого, как я слышал, говорили, что он может сравняться с самим великим Петраркой. Трудно представить себе человека, который менее походил бы на поэта, чем он. Это был немолодой и весьма дородный человек лет около сорока. Он был бородат, румян, имел мелкие черты лица и самодовольно-преуспевающий вид; одет он был тщательно, однако без той роскоши, которой отличалась одежда кардинала и моего кузена. Позвольте добавить, что он состоял секретарем Пьерлуиджи Фарнезе и что в Пьяченцу он прибыл с поручением к губернатору, которое касалось интересов его принцепса*.

Двое других господ, завершающих список гостей, не имеют никакого значения, и, право же, я не могу припомнить их имен, хотя одного из них звали, кажется,

* Принцепс (лат.) — повелитель, властелин, владыка.

Пачини, и про него говорили, что это довольно известный философ.

Когда меня пригласили к столу, я сел в кресло, указанное мне мессером Фифанти, рядом с его супругой, и вскоре появился старый слуга, которого я уже видел, и принес мне еду. Я был голоден и принялся есть с большим аппетитом, в то время как за столом продолжалась приятная беседа. Напротив меня сидел мой кузен, и, занятый едой, я поначалу не заметил, как пристально он меня разглядывает. Однако в конце концов наши взгляды встретились. Он улыбнулся своей неприятной кривой улыбкой.

— Итак, мессер Агостино, из вас хотят сделать священника? — осведомился он.

— Если будет угодно Богу, — спокойно ответил я, возможно, чересчур кратко.

— И если его голова хоть сколько-нибудь напоминает его лицо и телосложение, — томно проговорил кардинал-легат, — мы еще, возможно, увидим папу из рода Ангвиссола, мой Козимо.

Мой взгляд, должно быть, выдал изумление, вызванное этими словами.

— Вы ошибаетесь, ваше великолепие, — отозвался я. — Мне уготована монашеская жизнь.

— Монашеская! — воскликнул он как будто бы с ужасом, так, словно почувствовав неприятный запах. Он пожал плечами и капризно надул губы, снова прибегнув к своему шарiku с благовониями. — Ну что же, и святые отцы, случалось, становились папами.

— Я иду в монастырь отшельнического ордена святого Августина, — снова поправил я его.

— Ах, — сказал Каро своим звучным голосом, — цель, к которой он стремится, совсем не Рим, а само небо, милорд.

— Тогда за каким дьяволом он находится в вашем доме, Фифанти? — спросил кардинал. — Не вы ли собираетесь учить его святости?

И все находившиеся за столом громко рассмеялись шутке, которую я не понял, так же как я отказывался понимать милорда кардинала.

Мессер Фифанти со своего места во главе стола бросил в мою сторону вопросительно-тревожный взгляд и снова помахал в воздухе руками в поисках ответа, который отразил бы эту ядовитую шутку. Но его предупредил мой кузен Козимо.

— Обучение скорее должно исходить от монны Джулианы, — сказал он и дерзко улыбнулся через стол супруге мессера Фифанти, отчего широкий лоб педагога собрался в сердитые складки.

— Конечно, конечно, — подтвердил кардинал, рассматривая ее сквозь полузакрытые веки. — Разве кто-нибудь может отказаться отправиться в рай, если она об этом попросит? — И он испустил глубокий вздох, в то время как она стала бранить его за дерзость. И хотя я не всегда понимал, о чем идет речь, словно они разговаривали на другом языке, я все-таки не мог не удивляться тому, что можно позволять себе такие вольности по отношению к прелату. Она обернулась ко мне, и взгляд ее прекрасных глаз озарил мою душу сиянием.

— Не слушайте их, мессер Агостино. Это нечестивые, скверные люди, — сказала она, — и если вы стремитесь к святости, то чем меньше вы будете с ними встречаться, тем лучше.

Я в этом нисколько не сомневался, однако у меня не хватало смелости в этом признаться, и мне было непонятно, почему они рассмеялись, слушая, как она их бранит таким серьезным тоном.

— Путь к святости усыпан терниями, — сказал кардинал, вздыхая.

— Вашей светлости, я полагаю, не раз об этом говорили, — сказал Каро, у которого был весьма острый язык для такого холеного и довольного жизнью человека.

— Я мог бы обнаружить это и сам, однако согласно жребию мне выпало на долю жить среди грешников, — ответил кардинал, охватывая взглядом и жестом собравшееся общество. — И я делаю, что могу, для того, чтобы их исправить. *Non ignara mali, miseris succurrere disco*.*

— Для этого требуется храбрость особого рода, не так ли? — со смехом воскликнула маленькая Леокадия.

— О, что до этого, — отозвался Козимо, открывая в улыбке свои прекрасные зубы, — то есть даже пословица касательно храбрости священнослужителей. Она похожа на любовь женщины, которая, в свою очередь, напоминает воду в решете: только нальешь, а ее уж и нет!

Его взор задержался на Джулиане.

— Если решето — это вы, то можно ли винить женщин? — парировала она с ленивой дерзостью.

— Клянусь телом Христовым! — воскликнул кардинал

* Не игнорирую зло, но, напротив, изучаю его (*лат.*).

и от души расхохотался, в то время как мой кузен сердито хмурился. — Это святая правда, а правда лучше всяких пословиц.

— Не нужно за столом говорить о покойниках, это плохая примета, — вставил Каро.

— А кто здесь говорит о покойниках, мессер Аннибале? — спросила Леокадия.

— А разве мессер кардинал не упомянул о правде? — спросил жестокий поэт.

— Вы насмешник, а это великий грех, — лениво отозвался кардинал. — Пишите себе стихи, а правду оставьте в покое.

— Согласен, при условии, что ваша милость будет придерживаться правды и не будет писать стихов. Предлагаю заключить этот договор в интересах человечества.

Это был меткий удар, и все покатались со смеху. Однако на мессера Гамбару это, по-видимому, не произвело ни малейшего впечатления. Я начал думать, что он очень приятный человек, отличающийся исключительной терпимостью.

Он отпил глоток из своего бокала и поднял его к свету, так что темно-рубиновая жидкость засверкала в венецианском хрустале.

— Вы напомнили мне, что я написал новую песню, — сказал он.

— Значит, я действительно согрешил, — застонал Каро.

Однако Гамбара, не обращая внимания на эти слова и устремив задумчивый взор на поднятый бокал, начал декламировать:

Bacchus saepe visitans
Mulierum genus
Facit eas subditas
Tibi, o tu Venus!

Не поняв до конца смысла, я был тем не менее шокирован сверх всякой меры, услышав выражение подобных эмоций — настолько я все-таки понял — из уст священнослужителя, и уставился на него в откровенном ужасе.

Но тут он остановился. Каро ударил по столу кулаком.

— Когда вы написали это, мессер? — вскричал он.

* Вакх, посещая женщин, делает их подвластными тебе, о, Венера! (лат.) (Одна из строф, присочиненных к средневековому студенческому гимну «Гаудеамус»).

— Когда? — спросил кардинал, недовольный тем, что его прервали. — Да только вчера.

— Ха! — вырвалось у мессера Каро. Это было нечто среднее между рыком и смехом. — В таком случае, мессер, ваша память узурпировала место творчества. Эту песню пели в Павии, когда я был студентом, и прошло тому гораздо больше лет, чем хочется вспоминать.

Кардинал улыбнулся, нимало не смущенный.

— Ну и что из этого, позвольте вас спросить? Разве этого можно избежать? Да ведь сам Вергилий*, у которого вы так бессовестно крадете, тоже был плагиатором.

Эти слова, как вы можете предположить, вызвали за столом дискуссию, в которой приняли участие все, не исключая супруги Фифанти и донны Леокадии.

Я слушал с изумлением и глубоким интересом их спор о вещах, которые были мне абсолютно неизвестны, но казались удивительно привлекательными.

Вскоре к спору присоединился Фифанти, и я заметил, что как только он начинал говорить, все другие замолкали. Все слушали его, как слушают учителя, когда он высказывал свое мнение или критиковал Вергилия с силой, яростью и красноречием, которые свидетельствовали о глубоких знаниях, так что даже такому невежде, как я, все становилось ясным.

Его слушали с большим вниманием все, кроме, возможно, мессера Гамбары, который не проявлял уважения ни к чему и предпочитал шептаться с Леокадией, глядя на нее влюбленными глазами, тогда как она жеманно улыбалась в ответ на это. Раз или два монна Джулиана бросала на него сердитые взгляды, и мне казалось естественным, что ей не нравится отсутствие внимания к тому, что говорил ее ученый супруг.

Что касается других, то они слушали с почтением, как я уже говорил, и даже мессер Каро, который в это время — как я впоследствии узнал — занимался переводом Вергилия на тосканское наречие и которого, следовательно, можно было считать авторитетом, молча слушал, как ученый доктор излагает свои мысли, приводя те или иные доводы в их подтверждение.

Льстивая, подобострастная манера себя вести слетела с Фифанти как по волшебству. Вдохновленный собствен-

* Вергилий (70—19 до н. э.) — выдающийся римский поэт, автор эпической поэмы «Энеида» о странствиях и приключениях троянского царевича Энея.

ным энтузиазмом, он приобрел благородный вид и стал казаться мне более симпатичным; я начал видеть в нем нечто, достойное восхищения, превосходные качества, которыми может быть наделен только человек, обладающий глубокими знаниями и настоящей культурой.

Теперь мне стало понятно, почему в его доме, за его столом собирается столь избранное общество.

Меня уже больше не удивляло то обстоятельство, что такая прекрасная, восхитительная женщина, как монна Джулиана, вышла за него замуж. Мне показалось, что мне удалось разглядеть, каким образом этот немолодой человек сумел очаровать утонченную молодую душу, которая искала в жизни чего-то возвышенного.

Глава вторая

КЛАССИЧЕСКИЕ НАУКИ

По мере того как дни превращались в недели, а недели, в свою очередь, складывались в месяцы, я начал разбираться в житейских обстоятельствах дома доктора Фифанти.

Моя нынешняя программа столь разительно отличалась от той, которую, по настоянию моей матери, составил для меня фра Джервазио, и мое знакомство со светскими авторами, как только я приступил к их изучению, продвигалось столь быстрыми темпами, что я усваивал знания так же быстро и беспорядочно, как растет сорная трава.

Фифанти пришел в неистовство, когда обнаружил степень моего невежества и то поразительное обстоятельство, что фра Джервазио научил меня бегло разговаривать по-латыни и в то же время держал в полном неведении в отношении классических авторов и почти в таком же невежестве относительно самой истории. Педагог сразу же принялся за исправление этих недочетов, и в качестве самых ранних трудов, которые он дал мне для предварительного ознакомления, были латинские переводы Фукидида и Геродота*, которые я проглотил — в особенности пламенные страницы последнего — со скоростью, напугавшей моего наставника.

* Знаменитые древнегреческие историки; «История» Геродота считалась образцовой для произведений исторического жанра.

Однако меня подстегивало не только прилежание, как он воображал. Я был захвачен новизной тех предметов, с которыми знакомился, столь отличных от всего того, с чем мне было разрешено знакомиться до этих пор.

Затем последовали Тацит, а после него Цицерон и Ливий — двух последних я нашел менее увлекательными; затем Лукреций* — его «*De Rerum Naturae*»** оказалось весьма соблазнительным блюдом для аппетита моей любознательности.

Однако мне предстояло еще вкусить от того, что составляет славу и величие древних. Мое первое знакомство с поэтами состоялось через переводы Вергилия, над которыми работал мессер Каро. Он окончательно поселился в Пьяченце, куда, как говорили, вскоре должен был прибыть его принципал Фарнезе, ожидавший герцогского титула. И в свободное время от обязанностей, которые он исполнял на службе у Фарнезе, он трудился над своими переводами, и время от времени приносил в дом доктора вороха своих манускриптов для того, чтобы прочесть то, что было уже сделано.

Мне вспоминается, как он пришел туда в один из знойных августовских дней, когда я находился в доме мессера. Фифанти уже около двух месяцев, в течение которых мой ум постепенно, однако довольно быстро раскрывался, подобно бутону, под солнцем новых знаний. Мы сидели в прекрасном саду позади дома на лужайке, под сенью тутовых деревьев, сгибавшихся под тяжестью желтых прозрачных плодов, возле пруда, в котором плавали водяные лилии.

Там стояла полукруглая скамья резного мрамора, и мессер Гамбара, находившийся у доктора в гостях, небрежно бросил на нее свою алую кардинальскую мантию, которую снял из-за жары. Он, как обычно, был в простом платье для прогулок, и если бы не перстень на пальце и не крест на груди, вы бы никогда не подумали, что перед вами священнослужитель. Он сидел подле своей мантии на мраморной скамье, а рядом с ним оказалась монна Джулиана, одетая во все белое, если не считать золотого пояса на талии.

Сам Каро читал стоя, держа в руках свой манускрипт.

* Тацит, Тит Ливий — знаменитые древнеримские историки; Цицерон — знаменитый древнеримский оратор и писатель; Лукреций Карр — древнеримский ученый.

** «О природе вещей» (лат.).

Напротив поэта стоял, прислонившись к солнечным часам, мессер Фифанти; его лысина блестела от пота, а глаза то и дело обращались в сторону красавицы жены, которая с таким скромным видом сидела на скамье возле прелата.

Что же касается меня, то я лежал, растянувшись на траве возле пруда, лениво водя пальцем по воде и поначалу не проявляя особого интереса. Жаркий день, плюс то обстоятельство, что мы только что сытно пообедали, в сочетании с гулким и несколько монотонным голосом поэта, оказывали на меня усыпляющее действие, и я опасался, как бы мне не заснуть. Однако через некоторое время, по мере того как голос чтеца окреп и декламация приобрела более живой характер, от этих страхов не осталось и следа. Сон слетел с меня окончательно, сердце учащенно билось, голова была в огне. Я уже не лежал, я сидел, заворуженно слушая, никого и ничего не замечая, не слыша даже голоса чтеца, всецело захваченный удивительной, полной трагизма историей, о которой он повествовал.

Ибо то, что он читал, была четвертая книга «Энеиды», самая печальная из всех, душераздирающий рассказ о любви Дидоны к Энею, о том, как он ее покинул, о ее страданиях и смерти на погребальном костре.

Я слушал как зачарованный. Эта печальная история казалась мне более реальной, чем все, о чем я читал или слышал до этого времени; и судьба несчастной Дидоны растрогала меня так, словно я знал и любил ее сам; и задолго до того как мессер Каро дошел до конца, я безудержно рыдал, охваченный глубокой скорбью.

После этого я стал походить на человека, который отведал крепкого вина и чувствует, что душа его горит огнем, погасить который можно лишь упиваясь им вновь и вновь. В течение недели я прочел всю «Энеиду» от начала до конца и перечитывал ее снова. Затем последовали комедии Теренция, «Метаморфозы» Овидия и сатиры Ювенала. После того великолепия, которое открылось моему взору и моей душе в сочинениях светских авторов, меня уже не удовлетворяли писания отцов церкви и размышления над жизнеописаниями святых.

Я никак не могу понять, знала ли моя мать о том, какие инструкции получил Фифанти от Арколано по поводу моей особы. Но несомненно одно: она никак не могла себе вообразить, под каким влиянием я окажусь в скором времени; и еще менее могла она предполагать,

какие разрушения вызовет это влияние во всем том, что я до той поры усвоил, и в тех решениях, которые принял я и которые она приняла за меня — по поводу моего будущего.

Чтение странным образом смутило и взволновало меня; так, наверное, чувствует себя человек, долго находившийся в темноте, а потом вдруг оказавшийся в ярком солнечном свете, который слепит его, так что, несмотря на свет, он чувствует себя еще более слепым, чем был прежде. Ибо процесс, который должен был быть постепенным, начинаясь с самого раннего возраста, занял не более нескольких недель.

Мессер Гамбара чувствовал ко мне какой-то странный интерес. Он представлял собой нечто вроде доморощенного философа, занимавшегося изучением человеческой натуры; на меня он смотрел как на диковинный человеческий экземпляр, над которым производится необыкновенный эксперимент. Я думаю, ему доставляло удовольствие способствовать этому эксперименту; и несомненно, он больше, чем кто-либо другой, и даже больше, чем чтение, способствовал освобождению моего ума.

Дело не в том, что от него я узнал больше, чем из других источников; а в том, в какую циничную форму облакал он свою информацию. Он имел обыкновение рассказывать мне о самых чудовищных вещах, причем с таким видом, как будто для нормального человека они не представляют ничего особенного, и, если они меня шокировали, это следовало отнести исключительно за счет моих понятий.

Так, именно от него я узнал некоторые неожиданные сведения, касающиеся Пьерлуиджи Фарнезе, который, как говорили, должен был стать нашим герцогом; на Императора уже давно со всех сторон оказывали давление, чтобы он отдал ему герцогскую корону Пармы и Пьяченцы.

Однажды, когда мы гуляли вместе в саду — синьор Гамбара и я, — я прямо спросил у него, какие основания у мессера Фарнезе для того, чтобы претендовать на герцогство.

— Основания? — спросил он и остановился, смерив меня холодным взглядом. Он коротко рассмеялся и снова двинулся вперед по аллее, а я пошел вслед за ним. — А разве он не сын папы и разве это не достаточное основание?

— Сын папы! — воскликнул я. — Но разве это возможно?

— Разве это возможно? — насмешливо повторил он. — Ну что же, я вам расскажу, синьор. Когда наш нынешний Святой Отец был кардиналом и находился в качестве легата в Анконе, он встретился там с некоей дамой по имени Лола, которая ему приглянулась. Он, в свою очередь, понравился ей — Алессандро Фарнезе был красивый мужчина, мессер Агостино. Она родила ему троих детей, из которых один умер, вторая — это мадонна Констанца, она теперь замужем за Сфорца из Сантафьоре, и третий — в сущности, это как раз первенец — и есть мессер Пьерлуиджи, нынешний герцог Кастро и будущий герцог Пьяченцы.

Прошло довольно много времени, прежде чем я был в состоянии заговорить.

— А как же его обеты? — воскликнул я наконец.

— Ха! Его обеты! — усмехнулся кардинал-легат. — Да, обеты, я про них и забыл. Уверен, что папа сделал то же самое. — И он саркастически улыбнулся, понюхав свой шарик с благовониями.

Начиная с этого дня мои знания пополнялись довольно быстро. Подстрекаемый моими расспросами, мессер Гамбара очень охотно познакомил меня — глаз у него был беспощадный — с помойной ямой, которая именовалась Римской курией*. Ужас мой возрастал, а иллюзии рушились с каждым словом, которое он произносил.

От него я узнал, что папа Павел Третий не был исключением из этого правила, не был таким святым, каким я его себе представлял; что кардинальской мантией он был обязан исключительно той симпатии, которую его сестра, прекрасная Джулия, внушила тогдашнему папе из рода Борджа лет пятьдесят тому назад. От него я узнал, что в сущности представляет собой Священная коллегия — не источник и вместилище христианства, как я это себе воображал, направляемая и управляемая мужами высочайшей святости поведения, но сборищем честолюбцев, обуреваемых мирскими заботами, которые настолько потеряли всякий стыд в погоне за мирской властью, что даже не трудились накинуть покров приличия на грех и порок, в которых постоянно пребывали; в их душах было так же мало священного огня, воодушевлявшего на подвиги моих любимых святых, о которых я с

* Совокупность центральных учреждений папской власти.

таким восторгом читал в юности, как в душе какой-нибудь блудницы.

Я однажды, набравшись смелости, сказал ему об этом.

Он выслушал меня совершенно спокойно, без тени гнева, улыбаясь своей привычной, насмешливой улыбкой и пощипывая свою золотисто-каштановую бородку.

— Я думаю, ты не прав, — сказал он. — Ты говоришь, что Церковь пала жертвой своекорыстных честолюбцев, которые заполонили ее под покровом священнослужения. Ну и что из этого? В их руках Церковь стала богаче. Она приобрела могущество, которое обязана сохранить. И это все идет на пользу Церкви.

— А как же быть со всей этой мерзостью? — бушевал я.

— Ах, это, — послушай, мальчик, а ты читал когда-нибудь Боккаччо?

— Никогда, — отвечал я.

— А ты почитай, — посоветовал он мне. — Он научит тебя многому, что тебе необходимо усвоить. В особенности прочитай рассказ об Аврааме, это еврей, который, побывав в Риме, был настолько шокирован распущенностью и роскошью, в которых пребывало духовенство, что тут же крестился и сделался христианином, полагая, что религия, которая сумела устоять перед такими происками сатаны, стремившегося ее уничтожить, — это истинная религия, благословенная свыше. — Он рассмеялся своим циничным смехом, видя, что этот маленький парадокс только усилил мое смущение.

Неудивительно, что я был в полной растерянности, похож на несчастного мореплавателя, оказавшегося в незнакомых водах при беззвездном небе и без компаса, который мог бы указать путь.

Так неспешно шло лето; приближалось время первой стадии моего рукоположения. Визиты мессера Гамбары в дом доктора Фифанти становились все более частыми, так что теперь он бывал у нас почти ежедневно; частенько приходил и мой кузен Козимо. Но они появлялись обычно днем, в часы моих уроков с Фифанти. И я часто замечал, что внимание моего учителя как-то странно рассеивается и что он то и дело подходит к окну, сплошь затянутому ломоносом, и пытается разглядеть сквозь покрытую альми цветами зелень, что делается в саду, где его преподобие и Козимо прогуливались с монной Джулианой.

Когда в сад являлись оба гостя, он, казалось, беспокоился меньше. Но если там был только один из них, он не находил себе места. И когда однажды мессер

Гамбара вошел в дом вместе с его женой, он вдруг прервал наш урок, сказав, что на сегодня довольно, и пошел вниз, чтобы к ним присоединиться.

С полгода тому назад я никак не мог бы объяснить себе это странное поведение. Но теперь я уже достаточно знал о том, что делается в мире, для того чтобы понять, что в этой яйцеобразной голове зашевелился червь сомнения. И тем не менее я краснел за него, за его грязные, недостойные подозрения. Я бы скорее заподозрил мадонну, написанную кистью Рафаэля Санти, которую я видел над высоким алтарем церкви святого Сикста, чем стал бы думать о том, что прекрасная и благородная Джулиана может дать этому старому педанту повод для подозрений. И тем не менее я понимал: такова плата за то, что этот престарелый экземпляр рода человеческого взял себе в жены женщину молодую и прекрасную.

В эти дни мы много времени проводили вместе, монна Джулиана и я. Наша дружба выросла из небольшого инцидента, о котором я считаю необходимым рассказать.

В то лето в Пьяченцу прибыл молодой художник Джанантонио Реджилло, более известный как Иль Порденоне*, для того чтобы украсить росписью церковь Санта-Мария делла Кампанья. При нем было письмо к губернатору, и Гамбара привел его на виллу Фифанти. Молодой художник узнал от монны Джулианы мою любопытную историю; она рассказала ему о том, что еще до моего рождения моя мать дала обет, согласно которому я должен был идти в монастырь; он подробно о ней расспрашивал, узнал, как она выглядит, как ее зовут, узнал также о ее чаяниях и надеждах на то, что я пойду по стопам святого Августина, в честь которого я был назван.

Случилось так, что на фреске церкви, о которой я говорил, он собирался изобразить святого Августина как одного из волхвов. После того как он увидел меня и узнал мою историю, у него возникла любопытная идея использовать меня в качестве натурщика для этого святого. Я согласился, и он стал приходить к нам каждый день, чтобы писать мой портрет; и все это время монна

* В итальянском искусстве под именем Иль-Порденоне известен художник из этого маленького городка Джованни Антонио де'Саккис (1484 — ок. 1539).

Джулиана находилась вместе с нами, глубоко заинтересовавшись его работой.

Портрет он в конце концов перенес на фреску, и там — о, какая горькая ирония! — вы и по сей день можете видеть меня в образе святого, по стопам которого я должен был следовать.

После ухода художника мы с монной Джулианой еще оставались в саду и беседовали; все это происходило примерно в то самое время, когда мессер Гамбара преподавал мне свои первые уроки касательно нравов Римской курии. Вы помните, что он сказал мне о Боккаччо, и я спросил ее, нет ли у них в библиотеке книги рассказов этого автора.

— Не иначе как этот безнравственный священник посоветовал тебе их почитать? — спросила она полусерьезно-полунасмешливо, глядя на меня своими темными глазами, отчего я всегда чувствовал себе неловко.

Я рассказал ей, как все это было; вздохнув и заметив, что у меня сделается несварение от того количества умственной пищи, которую я поглощаю, она повела меня в небольшую библиотеку, чтобы найти там книгу.

У мессера Фифанти было редкостное собрание произведений, исключительно рукописных, ибо почтенный доктор был в своем роде идеалистом и решительным противником печатного станка, считая, что изобретение его привело к чрезмерному распространению книг. Из неприязни к машине выросла и неприязнь к ее продукции, которую он считал вульгарной; и даже сравнительная дешевизна печатных книг в сочетании с тем обстоятельством, что он был человеком не слишком богатым, не могла заставить его приобрести хотя бы одну книгу, напечатанную на станке.

Джулиана поискала на полках и наконец достала четыре тяжелых тома. Полистав страницы первого тома, она нашла довольно быстро — это говорило о том, что она была хорошо знакома с этим произведением, — рассказ о еврее Аврааме, который мне хотелось прочесть. Она попросила, чтобы я прочел его вслух, что я и сделал, а она слушала, усевшись в оконной нише.

Вначале я читал стесненно, с некоторой робостью, но потом, заинтересовавшись, воодушевился, голос мой зазвучал живо и взволнованно, так что, когда я кончил читать, я увидел, что она сидит, обхватив руками одно колено и устремив взор на мое лицо; губы ее были

слегка полуоткрыты — одним словом, по всему было видно, что она слушает с большим вниманием.

Это положило начало нашим регулярным встречам; очень часто, почти каждый день после обеда, мы удалялись в библиотеку, и я, которому до этого не приходилось читать ничего, кроме написанного по-латыни, начал знакомиться и быстро расширять свои знания в этой области — с нашими тосканскими авторами. Мы упивались нашими поэтами. Мы прочли Данте и Петрарку и обоих полюбили, однако больше, чем произведения этих двух поэтов — очевидно, за быстроту движения и действенность повествования, хотя мелодия стиха, я это понимал, была не столь чиста, — «Орландо» Ариосто*.

Иногда к нам присоединялся сам Фифанти. Однако он никогда не оставался подолгу. Он испытывал старомодное презрение к произведениям, написанным, как он это называл, на «*dialetto*»**, ему нравилась торжественная многоречивость латыни. Немного послушав, он, бывало, зевнет, потом начинает ворчать, потом поднимается и уходит, бросив презрительное слово по поводу того, что я читаю; порою он даже говорил мне, что я мог бы найти себе более полезный способ развлекаться.

Однако я продолжал эти занятия под постоянным руководством его супруги. И, что бы мы ни читали, мы то и дело возвращались к возвышенным, светлым и живым страницам Боккаччо.

Однажды я наткнулся на трагическую историю, которая называлась: «Изабетта и горшок с базиликом», и, в то время как я читал, я почувствовал, как она поднялась со своего места и встала за моим креслом. И когда я дошел до того момента, когда убитая горем Изабетта несет голову своего убитого возлюбленного в комнату, на мою руку вдруг упала слеза.

Я остановился и, подняв глаза, взглянул на Джулиану. Она улыбнулась мне сквозь непроливишиеся слезы, от которых ее несравненные глаза стали казаться еще более прекрасными.

— Я не буду больше читать, — сказал я. — Это так печально.

— О нет, — просила она. — Продолжай читать, Агостино, я люблю грустные истории.

Итак, я дочитал рассказ до самого его жестокого конца

* «Неистовый Роланд» — поэма Лудовико Ариосто.

** Диалект (итал.).

и сидел, не двигаясь, взволнованный этим трагическим повествованием, в то время как Джулиана продолжала стоять, облокотившись о мое кресло. Я был взволнован еще и по другой причине; непонятно и непривычно; я даже не мог бы определить, что именно меня взволновало.

Я пытался разрушить чары и начал перелистывать страницы книги.

— Давайте я почитаю что-нибудь другое, — предложил я. — Что-нибудь веселое, чтобы развеять грусть.

Но ее рука внезапно оказалась в моей, крепко сжимая ее.

— Ах нет, — нежно попросила она. — Дай мне книгу. Не будем сегодня больше читать.

Я весь дрожал от ее прикосновения, каждый мой нерв был натянут до предела, мне было трудно дышать, и вдруг в моем мозгу мелькнула строчка из Дантовой поэмы о Паоло и Франческе:

«*Quel giorno più non vi leggemmo avanti*»*.

Слова Джулианы «не будем сегодня больше читать», казалось, повторяли эту строчку словно эхо, и мне внезапно пришло в голову неожиданное сравнение: наше положение показалось мне до странности схожим с тем, в котором находились эти злополучные любовники из Римини.

Но уже в следующее мгновение ко мне возвратилась трезвость. Она отняла свою руку и взяла книгу, чтобы поставить ее на место.

Ах нет! В Римини было двое безумцев. Здесь же был только один. Я приведу его в чувство, указав ему на его безумие.

Однако Джулиана не сделала ничего, чтобы помочь мне справиться с этой задачей. Возвращаясь назад от книжной полки, она легонько провела пальцами по моим волосам.

— Пойдем, Агостино, — сказала она. — Давай погуляем в саду.

Мы отправились гулять, и мое волнение прошло. Я снова был трезв и сдержан, как обычно. И вскоре после этого явился мессер Гамбара, что было довольно необычно, поскольку он не имел обыкновения приходить днем.

Некоторое время мы гуляли все вместе по аллеям, разговаривая о незначительных предметах, но потом Джулиана вступила с ним в спор по поводу какой-то

* В этот день не будем больше читать (*итал.*).

вещицы, которую написал Каро и рукопись которой находилась у нее. В конце концов она попросила меня пойти к ней в комнату и принести эту рукопись. Я пошел и искал там, где она сказала, и в разных других местах, потратив на это добрых десять минут. Огорченный тем, что не могу выполнить поручение, я зашел в библиотеку, думая, что листок может находиться там.

Доктор Фифанти быстро писал что-то за столом, когда я вошел в комнату. Он посмотрел на меня, сдвинув очки на самый лоб.

— Какого дьявола! — раздраженно воскликнул он. — Я думал, что ты в саду с монной Джулианой.

— Там мессер Гамбара, — сказал я.

Он густо покраснел и стукнул по столу своим костлявым кулаком.

— Будто я этого не знаю, — зарычал он, хотя я никак не мог понять причины такого яростного гнева. — А почему ты не там, не с ними?

Вы не должны думать, что я был прежним деревенским дурачком, который приехал в Пьяченцу три месяца тому назад. Я недаром изучал классические науки, открывая для себя Человека.

— Я бы хотел, чтобы мне объяснили, — сказал я, — почему я обязан находиться не там, где мне угодно, а в каком-то другом месте. Это первое. И второе, значительно менее важное обстоятельство: монна Джулиана послала меня за рукописью мессера Каро «Gigli d'Oro»*.

Не знаю, действовал ли на него мой спокойный холодный тон или что-нибудь другое, но только он успокоился.

— Я... я был раздосадован тем, что мне помешали, — неловко оправдывался он. — Вот эта рукопись. Я нашел ее здесь, когда пришел. Мессер Каро мог бы найти лучшее занятие, чтобы заполнить свой досуг. Ну ладно, ладно. Отнеси ей, ради Бога, эту рукопись. Она ведь ждет с нетерпением. — Мне показалось, что он усмехнулся. — Она, несомненно, оценит твоё старание, — добавил он, и на сей раз я был уверен, что он именно усмехнулся.

Я взял листок, поблагодарил его и удалился, заинтригованный.

Но когда я подошел к ним и протянул ей рукопись, то, как это ни странно, они говорили уже о другом, предмет их прежнего спора перестал ее интересовать, и

* «Золотые лилии» (итал.).

она даже не взглянула на листок, который ей так не терпелось получить, что она послала за ним меня.

Это тоже было странно даже для человека, который уже начал познавать мир.

Загадки, однако, на этом не кончились. Ибо вскоре появился Фифанти собственной персоной, еще более желтый, кислый и тощий, чем когда-либо. Он был одет в длинную, ржавого цвета мантию, а на ногах его, как обычно, были старые туфли. Этот человек был в высшей степени равнодушен к жизненным удобствам.

— А, Асторре, — приветствовала его жена. — Мессер Гамбара принес тебе хорошие вести.

— Правда? — спросил Фифанти довольно кисло, как мне показалось, и посмотрел на легата так, словно его преподобие уж никак не походил на доброго вестника.

— Мне кажется, что вам будет приятно услышать, — улыбаясь сказал прелат, — что я получил письмо от милорда Пьерлуиджи с приказом о вашем назначении секретарем герцога. А затем, я нисколько в этом не сомневаюсь, вы получите пост его советника. Между прочим, жалованье составляет триста дукатов, а работа не слишком обременительна.

Последовало долгое и крайне неловкое молчание, во время которого доктор покраснел, потом побледнел, а потом снова покраснел, в то время как мессер Гамбара стоял перед ним, облаченный в свою алую мантию, поднося к носу шарик с благовониями и устремив на Фифанти оскорбительный взгляд; мне показалось, что на бледном спокойном лице Джулианы можно было прочесть отражение этого оскорбительного взгляда.

Наконец Фифанти заговорил, прищулив свои маленькие глазки.

— Этого слишком много, не по моим заслугам, — коротко сказал он.

— Вы слишком скромны, — возразил прелат. — Ваша преданность дому Фарнезе, гостеприимство, которое вы оказываете мне, его посланнику...

— Гостеприимство! — буркнул Фифанти, бросив странный взгляд на Джулиану, настолько странный, что на ее щеках проступил легкий румянец. — За это вы и платите? — насмешливо спросил он. — О, за это жалованье в три сотни дукатов далеко не достаточно.

Все это время он не спускал глаз со своей жены, и я видел, что она напряглась, словно ее ударили.

Однако кардинал только засмеялся.

— Послушайте, вы очень откровенны, и мне это нравится, — сказал он. — Ваше жалованье будет удвоено, когда вы станете членом Совета.

— Удвоено? — сказал Фифанти. — Шестьсот дука-тов... — Он не договорил. Сумма была огромна. Я видел, как в его глазах мелькнула алчность. Но даже и сейчас я не мог догадаться, что так беспокоило его до этого. Он помахал в воздухе руками и снова посмотрел на жену. — Это сходная цена, мессер, — сказал он, и в голосе его сквозило презрение.

— Герцогу будет сообщено, какую ценность представляет ваша ученость, — томно проговорил кардинал.

Фифанти нахмурил брови.

— Моя ученость? — повторил он, словно его удивили эти слова. — Моя ученость? А что, разве дело именно в этом?

— Что же еще может явиться причиной вашего назначения? — улыбнулся кардинал улыбкой, полной скрытого значения.

— Я не сомневаюсь, что именно этот вопрос будет задавать себе каждый человек в городе, — сказал мессер Фифанти. — Я надеюсь, что вы сможете удовлетворить их любопытство, мессер.

С этими словами он повернулся и зашагал прочь, весь побелев и дрожа от волнения, насколько я мог видеть.

Мессер Гамбара снова беспечно рассмеялся, а на лице монны Джулианы скользнула легкая улыбка, воспоминание о которой только усилило мое полнейшее недоумение.

Глава третья

РЫЦАРЬ

Впоследующие дни я заметил, что настроение мессера Фифанти становится все более странным. Он никогда не отличался терпением, а сейчас то и дело начинал сердиться, и дня не проходило, чтобы он не обрушился на меня и не разбил во время наших уроков. Теперь я изучал под его руководством греческий язык.

По отношению к Джулиане его поведение было более чем странным; временами он смеялся над ней, передразнивая ее, как обезьяна; иногда в его манерах проскальзывало что-то змеиное; однако чаще всего он сохранял свою обычную повадку и был похож на хищную птицу.

Он наблюдал за ней исподтишка, постоянно находясь на грани между гневом и насмешкой, на что она реагировала совершенно спокойно, демонстрируя поистине ангельское терпение. Он был похож на человека, вынужденного нести на себе тяжелое бремя, который еще не решил, продолжать его нести или сбросить.

Ее терпение вызывало во мне жалость к ней, а жалость к такой красивой женщине есть самая коварная ловушка сатаны, в особенности если принять во внимание ту власть, которую приобрела надо мною ее красота, в чем я убедился, к своему великому ужасу. В эти дни она рассказала мне кое-что о себе, однако это было сделано с ангельской покорностью и смирением. Брак ее был всего-навсего сделкой, то есть ее попросту продали человеку, который годился ей в отцы, и она призналась мне, что жизнь обошлась с ней жестоко; однако это признание было сделано с видом кротким и покорным, так что было ясно: она собирается и дальше нести свой крест со всей возможной твердостью.

А потом, в один прекрасный день, я сделал весьма глупую вещь. Мы читали вместе, она и я, что вошло у нас в привычку. Она принесла мне том Панормитано*, и мы сидели рядом на мраморной скамье в саду, так что наши плечи соприкасались, и я читал ей эти сладострастные стихи, остро ощущая аромат, витавший вокруг ее прелестной фигуры.

На ней, как я помню, было облегающее платье золотисто-коричневого шелка, редкостным образом оттенявшее ее великолепную красоту, а тяжелая масса огненно-рыжих волос была заключена в золотую сетку с драгоценными камнями — подарок мессера Гамбары. По поводу этой сетки между Джулианой и ее мужем состоялся неприятный разговор, и я считал, что гнев почтенного доктора является порождением его низкой натуры.

Я читал, охваченный странным возбуждением — в то время я не мог бы сказать, было ли оно вызвано красотой стиха или красотой женщины, сидевшей подле меня.

Внезапно она меня прервала.

— Оставь на время Панормитано, — сказала она. — Тут у меня есть кое-что другое, и я хотела бы узнать твое

* Видимо, имеется в виду Панормита («Происходящий из Палермо») — под этим именем был известен писатель-гуманист Антонио Беккаделли (1394—1471), являвшийся — в числе прочего — автором книги сатирических стихов и эпиграмм «Гермафродит» (1425).

мнение. — Она положила передо мною листок бумаги, на котором был сонет, переписанный ее собственной рукой, — почерк у нее был прекрасный, не хуже, чем у самого лучшего переписчика.

Я прочел стихотворение. Это был сладчайший и печальнейший зов души, жаждущей идеальной любви; и, как ни хороша была форма, меня больше всего взволновало содержание. Когда я сказал ей об этом, добавив, как оно меня тронуло, ее белая рука крепко пожала мою, совсем так же, как тогда, когда мы читали рассказ об Изабелле и горшке с базиликом. Ручка у нее была горячая, однако не до такой степени, если принять во внимание, как она меня воспламенила.

— Ах, благодарю тебя, Агостино, — прошептала она. — Твоя похвала так дорога мне. Ведь это стихотворение написала я сама.

Я был поражен этой новой интимной чертой, которая мне открылась в ней. Красота ее тела была открыта для всех, каждый мог видеть ее и любоваться ею, но сейчас я в первый раз имел возможность заглянуть в ее внутренний мир и оценить его красоту. Не знаю, в каких словах я мог бы ей ответить, потому что в этот момент нас прервали.

Сзади нас послышался сухой и резкий, словно хруст засохшего сучка, голос мессера Фифанти.

— Что это вы здесь читаете?

Мы отскочили в разные стороны и обернулись.

Он ли подкрался так незаметно, что мы не услышали его приближения, или же мы сами были так поглощены разговором, что не обращали никакого внимания на окружающее, только мы и не подозревали о его приближении. Он стоял перед нами в своей неряшливой мантии, с выражением злобной насмешки на длинном бледном лице. Он медленно просунул между нами свою тощую руку и взял листок костлявыми пальцами.

Поднеся его близко к лицу, ибо он был без очков, Фифанти сощурился, так что глаз почти не было видно.

Так он и стоял, медленно читая стихи, а я смотрел на него, испытывая некоторую неловкость, в то время как на лице Джулианы можно было прочесть выражение страха, а грудь ее, затянутая в золотисто-коричневый шелк, взволнованно вздымалась и опускалась.

Прочитав, он презрительно фыркнул и посмотрел на меня.

— Разве я не просил тебя предоставить вульгарные

диалекты вульгарным людям? — осведомился он. — Разве тебе мало написанного на латыни, что ты теряешь время и засоряешь душу такой жалкой стряпней, как эта? А это что у тебя? — Он взял у меня книгу. — Панормитано! — зарычал он. — Ничего себе, подходящий автор для будущего святого! Хорошенькая подготовка для монастыря!

Он обернулся к Джулиане. Протянул руку и коснулся ее голого плеча своим безобразным пальцем. Она отпрянула при этом прикосновении, словно ее кольнули иголкой.

— Нет никакой необходимости в том, чтобы вы взяли на себя обязанности его наставницы, — сказал он со своей убийственной улыбкой.

— Я этого и не делаю, — с негодованием возразила она. — Агостино понимает толк в литературе, и...

— Тс, тс! — перебил он, продолжая тыкать пальцем в ее плечо. — Я думаю совсем не о литературе. На это есть мессер Гамбара, мессер Козимо д'Ангвиссола, мессер Каро. Даже Порденоне, живописец. — Губы его кривились, когда он произносил эти имена. — Мне кажется, у вас достаточно друзей. И оставьте в покое мессера Агостино. Не оспаривайте его у Бога, которому он обещан.

Она поднялась и стояла перед ним, дрожа от гнева, величественная, высокая; мне кажется, что так, как она смотрела на меня, должна была смотреть на поэтов Юнона*.

— Это слишком! — воскликнула она.

— Совершенно верно, сударыня, — ответил он. — Я с вами вполне согласен.

Она смерила его взором, в котором сочетались отвращение и невыразимое презрение. Затем взглянула на меня и пожала плечами, словно желая сказать: «Ты видишь, как со мною обращаются!» И наконец повернулась и пошла через лужайку по направлению к дому.

Мы немного помолчали, после того как она удалилась. Я кипел от негодования и в то же время не мог найти слов, чтобы его выразить, понимая, что не имею ни малейшего права сердиться на то, как муж обходится со своей женой.

Наконец, серьезно посмотрев на меня, он заговорил.

— Я считаю, что будет лучше, если ты перестанешь

* Верховная богиня римского пантеона; супруга верховного бога римлян Юпитера.

заниматься чтением с мадонной Джулианой, — медленно сказал он. — У нее не те вкусы, которые подобает иметь человеку, готовящемуся принять духовный сан. — Он сердито захлопнул книгу, которую до того времени держал открытой, и протянул ее мне.

— Положи ее на место, на полку, — велел он.

Я взял книгу и послушно направился выполнять приказание. Но для того, чтобы попасть в библиотеку, мне нужно было пройти мимо двери в комнату Джулианы. Она была открыта, и Джулиана стояла на пороге. Мы посмотрели друг на друга, и, видя, как она огорчена, заметив слезы на ее глазах, я сделал шаг по направлению к ней, чтобы что-то сказать, выразить глубокое сочувствие, которым было полно мое сердце.

Она протянула мне руку. Я схватил ее и крепко сжал, глядя ей в глаза.

— Дорогой Агостино, — прошептала она, благодаря меня за сочувствие; а я, окончательно потеряв голову, воспламененный ее взглядом и тоном, ответил тем, что произнес — в первый раз в жизни! — ее имя:

— Джулиана!

После этого, не смея взглянуть на нее, я нагнулся и поцеловал руку, которая все еще находилась в моей руке. Поцеловав ее, я выпрямился и хотел было приблизиться к ней, но она вырвала руку и сделала мне знак уходить так повелительно и в то же время умоляюще, что я повернулся и отправился в библиотеку, чтобы там затвориться, окончательно перестав что-либо понимать.

Целых два дня после этого я избегал ее, сам не зная почему, и мы ни разу не были вместе, только за столом и в присутствии мужа.

Трапезы проходили в мрачном молчании, за столом почти ничего не говорилось. Монна держалась холодно и неприступно, а доктор, который и так не отличался говорливостью, хранил полное и довольно угрожающее молчание.

Но однажды с нами ужинал мессер Гамбара; он держался со своим обычным легкомыслием — воплощенная фривольность — отпускал двусмысленные шуточки и, очевидно, совершенно не замечал ледяной сдержанности Фифанти и его презрительных усмешек. Меня очень удивляло, как этот человек, занимающий такое положение, как мессер Гамбара, губернатор Пьяченцы, с таким добродушием сносит грубости этого педанта.

Объяснение вскоре было мне представлено.

На третий день Джулия заявила, что она собирается в город пешком, и просила меня ее сопровождать. Это была честь, которой раньше меня не утомляли. Я отчаянно покраснел, однако выразил согласие, и вскоре мы отправились вдвоем: она и я.

Мы прошли через ворота Фодесты и миновали замок Сан-Антонио, который стоял в развалинах — Гамбара разбирал стены, чтобы построить бараки для папских отрядов, расквартированных в Пьяченце. Вскоре мы подошли к месту строительства нового здания, вышли на середину дороги, чтобы обойти леса, и продолжали наш путь по направлению к главной площади города — пьятца дель Коммуне, посредине которой высилась громада дворца, в котором был расположен городской совет. Это величественное здание в сарацинском стиле, несколько напоминающее крепость из-за своих островерхих башен.

Возле собора нам встретилось большое скопление народа; все взоры людей были направлены вверх, на железную клетку, укрепленную на колокольной башне, почти у самой ее вершины. В клетке находилось то, что поначалу казалось грудой тряпья, но при ближайшем рассмотрении приняло очертания человеческого тела, скорчившегося в этом жестком узком пространстве, палимого безжалостным солнцем, терзаемого невыразимыми муками. В толпе слышался ропот, в котором страх сочетался с сочувствием.

Он находился так со вчерашнего вечера, как сообщила нам деревенская девушка, и помещен туда по приказу кардинала-легата за тяжелый грех: святотатство.

— Что? — вскричал я с таким удивлением и возмущением, что монна Джулиана схватила меня за руку и крепко ее сжала, призывая к благоразумию.

Только после того, как она закончила свои покупки в лавке под собором, и мы возвращались домой, я снова заговорил об этом. Она бранила меня за отсутствие осторожности, которое могло окончиться плохо, если бы она меня не остановила.

— Но подумать только, такой человек, как мессер Гамбара, подвергает кого-то пытке за святотатство! — возмущался я. — Это же смешно! Нелепо! Низко!

— Не так громко, пожалуйста, — смеялась она. — На тебя смотрят. — И она прочитала мне лекцию — великолепнейший образец казуистики. — Если человек, будучи

грешником, уклонится по этой причине от вынесения наказания другому грешнику, он согрешит вдвойне.

— Этому вас научил мессер Гамбара, — сказал я с невольной усмешкой.

Она смерила меня очень внимательным взглядом.

— Что ты, собственно, хочешь сказать, Агостино?

— Ну как же, ведь именно такими софизмами* кардинал-легат пытается прикрыть беспорядочность своего поведения. «Video meliora proboque, deteriora sequor»** — вот его философия. Если он хочет посадить в клетку самого кощунственного человека в Пьяченце, пусть садится туда сам.

— Ты его не любишь, — сказала она.

— Ах, какое это имеет значение? Как человек, он вполне приятен, а как священнослужитель... Впрочем, довольно о нем. Пусть дьявол забирает мессера Гамбару!

Она улыбнулась.

— Боюсь, что это вполне может случиться.

Однако в тот день не так-то легко было отделаться от мессера Гамбары. Когда мы проходили через Порто-Фодеста***, небольшая группа крестьян, которые там собрались, расступилась перед нами; все взоры были устремлены на Джулиану, на ее ослепительную красоту — впрочем, с того момента, как мы вступили в город, это повторялось неизменно, так что я безумно гордился ролью ее телохранителя. Я замечал завистливые взгляды, которые бросали в мою сторону, хотя в конце концов эта зависть была завистью Феба**** к Адонису†.

Где бы мы ни проходили, все — и мужчины, и женщины — начинали шептаться и указывать на нас пальцами. То же самое было и сейчас, у ворот Фодесты, с той только разницей, что я наконец услышал, что говорят, поскольку нашелся один человек, который не шептал, а говорил громко.

— Вот идет милашка нашего губернатора, — раздался грубый издевательский голос. — Светоч любви безгрешного

* Софизм — умышленно ложно построенное умозаключение, формально кажущееся правильным.

** Вижу лучшее, но считаю нужным следовать худшему (*лат.*).

*** Порто — ворота (*итал.*).

**** Феб (*греч.* блистающий) — другое имя бога Аполлона, сына верховного эллинского бога Зевса; почитался как бог-целитель и прорицатель, а также как покровитель искусств.

† Адонис — в греческой мифологии: возлюбленный Афродиты.

легата, который посадил в клетку Доменико за святотатство и собирается уморить его голодом.

Он несомненно добавил бы что-нибудь еще, но в этот момент пронзительный женский голос заглушил его слова.

— Замолчи, ДжуфFRE, — со страхом уговаривала она его. — Замолчи, иначе это будет стоить тебе жизни.

Я остановился на месте, внезапно похолодев с головы до ног, совсем как в тот день, когда сбросил Ринольфо со ступеней каменной лестницы на террасе в Мондольфо. Так случилось, что при мне была шпага — в первый раз в моей жизни, — каковое обстоятельство наполняло меня чувством удовлетворения, поскольку меня сочли достойным сопровождать монну Джулиану в качестве ее эскорта. Я немедленно схватился за эфес и непременно убил бы на месте подлого клеветника, но меня остановила Джулиана, в глазах которой я увидел отчаянное волнение и страх.

— Пойдем, — прошептала она задыхаясь. — Пойдем отсюда!

Она говорила таким повелительным тоном и тянула меня так решительно, что я наконец осознал, какой глупостью с моей стороны было бы ослушаться ее. Я понял, что, если бы я проучил этого гнусного сплетника, на следующий же день о ней стал бы говорить весь этот ужасный город. И я пошел дальше, но лицо мое было покрыто смертельной бледностью, а двигался я с большим трудом и тяжело дыша, поскольку сдерживаемое бешенство скверно действует на душу.

Таким образом мы вышли из города и очутились на тенистых берегах сверкающей реки. Тут наконец, когда мы остались совсем одни и находились в двух сотнях шагов от дома Фифанти, я нарушил молчание.

Я лихорадочно размышлял, и слова крестьянина раскрыли для меня смысл множества доселе мне непонятных вещей, объяснили мне странные высказывания Фифанти, которые я слышал начиная с того момента, когда кардинал-легат объявил ему о его назначении секретарем герцога. Я остановился и обернулся к ней.

— Это правда? — спросил я с жестокой прямоотой, проистекавшей от непонятной боли, которую я испытывал в результате моих размышлений.

Она посмотрела на меня так печально и задумчиво, что все мои подозрения тут же рассеялись как дым, и я покраснел от стыда за то, что они у меня возникли.

— Агостино! — воскликнула она с такой болью, что я крепко сжал зубы и склонил голову от презрения к себе.

Затем я снова посмотрел на нее.

— Но ведь ваш муж разделяет гнусные подозрения этого мужлана, — сказал я.

— Гнусные подозрения, да, — ответила она, опустив глаза и слегка порозовев. А потом, совершенно неожиданно, она двинулась вперед. — Пойдем же, — позвала она. — Ты ведешь себя глупо.

— Я сойду с ума, — сказал я, — если все это не прекратится. — И я пошел к дому рядом с ней. — Если мне не удалось отомстить за вас там, я могу сделать это здесь. — И я указал на дом. — Я вырву с корнем эту сплетню, уничтожу самый ее источник.

Она просунула руку мне под локоть.

— Что же ты сделаешь? — живо спросила она.

— Потребую, чтобы ваш муж отказался от своих слов и умолял вас о прощении, в противном случае я растерзаю его лживую глотку, — отвечал я, вновь охваченный яростью.

Она внезапно застыла на месте.

— Вы слишком прытки, мессер Агостино, — сказала она. — И собираетесь вмешаться не в свое дело. Я не давала вам к этому повода, не понимаю, почему вы чувствуете себя вправе требовать от мужа объяснения в том, как он со мною обращается. Это абсолютно никого не касается, это дело исключительно мое и моего мужа.

Я был сконфужен; я чувствовал себя униженным; я готов был расплакаться. Я подавил в себе все эти чувства, проглотил слезы и пошел рядом с ней, внутренне кипя от гнева. К тому времени, как мы дошли до дома, не произнеся ни слова, гнев мой снова готов был вырваться наружу. Она прошла к себе в комнату, не взглянув на меня, а я направился на поиски Фифанти.

Я нашел его в библиотеке. Он сидел там запершись, как всегда это делал, когда работал, однако открыл дверь, когда я постучал. Я решительно вошел в библиотеку, отстегнул шпагу и поставил ее в угол. Затем обернулся к нему.

— Вы проявляете по отношению к вашей жене чудовищную несправедливость, господин доктор, — заявил я со всем максимализмом юности.

Он уставился на меня так, словно я его ударил, — так он мог бы посмотреть на ударившего его ребенка,

не зная, как реагировать: то ли ударить в ответ для его же блага, то ли позабавиться и рассмеяться.

— А, — произнес он наконец. — Она с тобой говорила? — При этом он встал и стоял, глядя на меня, широко расставив ноги, сцепив за спиной руки и наклонив голову; его длинная мантия едва прикрывала щиколотки.

— Нет, — ответил я. — Просто я размышлял.

— В таком случае меня ничто не удивляет, — сказал он в своей обычной угрюмо-презрительной манере. — И ты пришел к заключению...

— Что вы питаете постыдные подозрения.

— Твоя уверенность в том, что они постыдны, оскорбила бы меня, если бы не послужила к моему утешению, — насмешливо продолжал он. — А в чем, если можно узнать, состоят эти подозрения?

— Вы подозреваете, что... что... О Боже, я просто не могу выговорить это.

— Смелее, смелее, — насмешливо подзадоривал он меня. При этом он еще больше наклонил голову вперед, очень напоминая в этот момент хищную птицу.

— Вы подозреваете, что мессер Гамбара... что мессер Гамбара и ваша жена... что... — Я сжал кулаки, глядя в его ухмыляющуюся физиономию. — Вы прекрасно меня понимаете! — сердито воскликнул я.

Теперь он смотрел на меня серьезно, и в глазах его появился холодный блеск.

— Хотел бы я знать, понимаешь ли ты это сам, — сказал он. — Мне кажется, что нет. Поскольку Бог создал тебя дураком, то для того, чтобы сделать тебя священником и завершить таким образом то, что сделано Богом, нужны еще и человеческие усилия.

— Вы не собьете меня с толку своими насмешками, — заявил я. — У вас грязные мысли, мессер Фифанти.

Он медленно приблизился ко мне, шаркая старыми туфлями по деревянному полу.

— Потому что, — сказал он, — я подозреваю, что мессер Гамбара... что мессер Гамбара и монна... что... Вы понимаете меня, — повторил он мои слова, передразнивая мою смущенную, запинаящуюся речь. — А какое тебе, собственно, дело, кого я подозреваю и что я подозреваю, когда речь идет о моих собственных делах?

— Это и мое дело, дело любого человека, который считает себя благородным, защищать честь чистой и святой женщины от грязных вымыслов клеветников.

— Настоящий рыцарь, клянусь Святым Духом! — вос-

кликнул он, и его брови поползли вверх на покатый лоб. Затем они снова опустились, и он нахмурился. — Нет никакого сомнения, мой доблестный рыцарь, что ты располагаешь точными сведениями касательно беспочвенности этих клеветнических измышлений, — сказал он, отходя от меня и двигаясь по направлению к двери, причем его шаги не сопровождались теперь никакими звуками, хотя я этого не заметил, как не заметил и того, что он вообще сдвинулся с места.

— Доказательства? — закричал я на него. — Какие вам еще нужны доказательства помимо тех, которые написаны на ее лице? Посмотрите на него, мессер Фифанти, и вы найдете там чистоту, невинность, целомудрие. Посмотрите на него!

— Очень хорошо, — сказал он. — Давайте посмотрим.

И он совершенно неожиданно распахнул дверь, и я увидел, что за ней стоит Джулиана; несмотря на то, что она стояла прямо, было ясно, что она подслушивала.

— Посмотрите на ее лицо, — издевался он, махнув костлявой рукой.

На лице были написаны стыд и замешательство и, кроме того, гнев. Но она повернулась, не сказав ни слова, и быстро пошла по коридору, провожаемая его злобным кудахтающим смехом.

Потом он серьезно посмотрел на меня.

— Возвращайся-ка ты к своим учебникам, — сказал он. — Это для тебя самое подходящее занятие. А мои дела предоставь решать мне самому, мой мальчик.

В его словах прозвучала плохо скрытая угроза, но после того, что произошло, продолжать разговор на эту тему было невозможно.

Чувствуя себя отчаянно глупо, не зная, куда деваться от смущения, я вышел из библиотеки — доблестный рыцарь, с которого сбили шлем.

Глава четвертая

МЕССЕР ГАМБАРА РАСЧИЩАЕТ ТЕРРИТОРИЮ

Ярассердил ее! Хуже того, я выставил ее напоказ, сделав жертвой унижения со стороны этого гнусного животного, который замарал ее липкой грязью своих подозрений. Это из-за меня она была вынуждена прибегнуть к постыдному подслушиванию у дверей, терпеть

позор из-за того, что ее на этом поймали. Из-за меня над ней смеялись и оскорбляли ее.

Для меня это было мукой. Не было такого стыда, унижения и боли, которых я бы не претерпел, испытывая радость от страданий при мысли о том, что все это ради нее. Но обречь на страдания ее, эту прекрасную святую женщину, этого ангела, вызвать ее справедливый гнев! О, горе мне!

В тот вечер я пришел в столовую, испытывая страшную неловкость, очень несчастный, чувствуя, что мне стоит больших усилий находиться в ее присутствии, независимо от того, обратит она на меня внимание или сделает вид, что меня не существует. К моему облегчению, она прислала сказать, что ей нездоровится и она к столу не выйдет; Фифанти улыбнулся странной улыбкой, потирая синий от бритья подбородок, и бросил на меня взгляд исподтишка. Трапеза прошла в полном молчании, и, когда она закончилась, я удалился, не сказав ни слова своему наставнику, в свою комнату, где и просидел запершись до самой ночи.

Я плохо спал в эту ночь и проснулся рано поутру. Я спустился в сад как раз в то время, когда должно было взойти солнце, и пошел по траве, сверкающей от росы. Я бросился на мраморную скамью возле пруда с водяными лилиями, которые все увяли и уже начали гнить, и там полчаса спустя меня нашла Джулиана.

Она осторожно подкралась ко мне и стояла у меня за спиной так, что я, погруженный в свои мысли, не замечал ее присутствия до тех пор, пока ее звонкий мальчишеский голос не вывел меня из задумчивости.

— О чем это мы мечтаем в такой ранний час, господин святой? — спросила она.

Я обернулся и встретил смеющийся взгляд Джулианы.

— Вы... вы можете меня простить? — проговорил я, заикаясь, как дурак.

Она слегка надула губки.

— Могу ли я не простить того, кто наделал глупостей из любви ко мне?

— Так оно и было, так оно и было, — вскричал я и тут же осекся, охваченный смущением, чувствуя, что заливаюсь краской под ее томным взглядом.

— Я это знаю, — сказала она. Она поставила локти на высокую спинку скамьи, так что я чувствовал ее свежее дыхание на своем лбу. — Неужели я должна на тебя сердиться? Мой бедный Агостино, неужели у меня

нет сердца? Ничего, кроме расчетливого, холодного ума, как у моего мужа? О, Боже! Быть супругой этого бездушного педанта! Я была принесена в жертву! Меня просто продали, заставили выйти за него замуж! О, я несчастная!

— Джулиана! — пробормотал я, пытаюсь ее утешить и сам испытывая жестокие муки.

— Неужели никто не мог мне сказать, что когда-нибудь появишься ты?

— Тише! — умолял я ее. — Что вы говорите?

Но хотя я умолял ее молчать, душа моя жаждала еще таких же слов от нее — от нее, самой совершенной и прекрасной из женщин.

— А почему я должна молчать? — сказала она. — Неужели правду нужно скрывать вечно? Вечно?

Я потерял голову — совершенно обезумел. В это состояние меня привели ее слова. И когда, задавая мне этот вопрос, она приблизила свое лицо к моему, я сбросил узду с моего безрассудства и помчался вскачь по дерзостному пути. Короче говоря, я тоже наклонился вперед. Я наклонился вперед и поцеловал ее алые, раскрывшиеся мне навстречу губы.

Я поцеловал ее и отпрянул, испустив крик, в котором звучала почти что мука — такой сладкой, пронзительной болью отозвался этот поцелуй в каждом нерве моего тела. Я закричал, и то же самое сделала она, отступив назад и прижав руки к лицу. В следующий момент она взглянула вверх, на окна дома — на эти непроницаемые глаза, которые были свидетелями того, что мы сделали; которые взирали на нас, не давая возможности понять, сколько они видели.

— Что, если он нас видел? — воскликнула она; и у меня появилось неприятное чувство, что именно это было первой мыслью, которую вызвал в ней этот поцелуй. — Что, если он нас видел! О, Боже, неужели я еще недостаточно вынесла?

— Мне это безразлично, — сказал я. — Пусть он видит. Я не мессер Гамбара. Ни один человек не посмеет оскорбить вас из-за меня — недолго он после этого проживет.

Я становился самым преданным ее любовником, готовым кричать о своей любви, готовым изрубить в куски целый мир, ради того чтобы доставить удовольствие своей возлюбленной или избавить ее от страданий, и это я...

я... Агостино д'Ангвиссола, который через месяц должен принять духовный сан и идти по стопам святого Августина!

Смейтесь вы, читающие эти строки, смейтесь, ради всего святого!

— Нет, нет, — успокаивала она себя. — Он все еще в постели. Он храпел, когда я оставила его.

И она отбросила свои страхи, посмотрела снова на меня и вернулась к нашему прежнему занятию.

— Что ты со мною сделал, Агостино?

Я опустил глаза под ее томным взглядом.

— То, чего я еще не сделал ни с одной другой женщиной, — ответил я, чувствуя, что восторг, во власти которого я еще находился, чуть померк, подернувшись легкой пеленой уныния.

— О, Джулиана, что ты со мною сделала? Ты околдовала меня, ты сводишь меня с ума! — Я сидел, поставив локти на колени, обхватив голову руками, потрясенный сознанием непоправимости того, что я совершил, считая, что из-за моего поступка душа моя будет обречена на вечные мучения.

Если бы я поцеловал девушку, это и тогда было бы достаточно скверно для человека, имеющего планы, подобные моим. Но поцеловать чужую жену, сделаться чичисбеем*! Эта мысль приобрела в моем мозгу невероятные размеры, значительно превышающие их истинное дурное значение.

— Ты жесток, Агостино, — прошептала она, стоя позади меня. Она снова возвратилась на старое место и встала у спинки скамьи. — Разве я одна виновата? Разве может железо устоять перед магнитом? Разве может дождь не падать с неба, а ручей, может ли он не течь вниз по холму? — Она вздохнула. — О, горе мне! Это я должна сердиться за то, что ты так вольно обошелся с моими губами. А я вот стою перед тобой и прошу простить меня за грех, который совершил ты сам.

Эти слова заставили меня испустить отчаянный крик и обернуться к ней — я знал, что был бледен как смерть.

— Ты меня соблазнила! — воскликнул я, как настоящий трус.

— То же самое однажды сказал Адам. Однако Бог рассудил иначе, ибо Адам был наказан так же, как и

* Чичисбей (итал.) — постоянный спутник богатой дамы, с которым она выходила на прогулку.

Ева. — Она задумчиво улыбулась, глядя мне в глаза, и голова у меня снова закружилась.

А потом неожиданно появился старик Бузио, слуга, которого послали за чем-то к Джулиане, и это положило конец неловкой ситуации.

Весь остаток дня я жил воспоминаниями об этом утре, повторяя про себя каждое слово, произнесенное ею, восстанавливая в памяти ее лицо, каждый ее взгляд. Моя рассеянность была замечена Фифанти, когда я в положенное время явился к нему на урок. Он брюзжал больше, чем обычно, называя меня тупицей и дубиной, и превозносил мудрость тех, кто предназначил меня для монашеской жизни, добавив, что моих знаний латыни вполне достаточно для того, чтобы отправлять церковную службу не хуже любого другого, не задумываясь о том, что я бормочу. Все это было несправедливо, ведь ему было прекрасно известно, что мои знания в области латыни, умение бегло говорить на этом языке значительно превышали знания других студентов. Когда я сказал ему об этом, он разразился тирадой относительно студентов вообще со всем ехидством своей раздражительной натуры.

— Я могу написать оду на любую тему, которую вы мне предложите, — вызвался я.

— Тогда напиши на тему о наглости, — сказал он. — Этот предмет должен тебе быть хорошо знаком. — С этими словами он вскочил и в раздражении вылетел из комнаты, прежде чем я успел ему ответить.

Оставшись один, я начал писать оду, которая должна была доказать ему его несправедливость. Однако я не продвинулся дальше второй строчки. Долгое время я сидел, грызя перо, — все мои мысли, вся душа моя и внутренний взор — все было полно Джулианой.

Потом я снова начал писать. Однако это была не ода, это была молитва, и она была на итальянском языке, на «диалетто», вызывавшем такие насмешки со стороны Фифанти. В чем она состояла, я теперь уже не помню — ведь прошло столько лет. Помню только, что в ней я сравнивал себя с мореплавателем, находящимся в опасных водах и молящим, чтобы светоч прекрасных глаз Джулианы указал мне путь к спасению; я молил о том, чтобы она омыла меня своим взором и придала бы мне силы для преодоления опасностей, таящихся в этом бурном море.

Поначалу я прочел написанное с удовлетворением, но

потом со страхом, поняв, что моя молитва исполнена любовного смысла. И наконец разорвал ее и спустился вниз к обеду.

Мы все еще сидели за столом, когда появился мессер Гамбара. Он приехал верхом в сопровождении слуг, которых он оставил дожидаться. Он был весь в черном бархате, включая высокие сапоги, зашнурованные с боков золотыми шнурами, а на груди его сверкал медальон, усыпанный брильянтами. Его высокий сан выдавали, как обычно, только алая мантия и перстень с сапфиром.

Фифанти встал и предложил ему кресло, улыбаясь кривой улыбкой, в которой было больше враждебности, чем гостеприимства. Невзирая на это, его преподобие, усаживаясь за стол, рассыпался в комплиментах Джулиане, спокойно и непринужденно, как всегда. Я пристально наблюдал за ним, исполненный непривычного беспокойства, смотрел я и на Джулиану.

Разговор шел обычный, главным образом о казармах, которые строил легат, и о великолепной новой дороге, от центра города к церкви Санта-Кьяра, которую он хотел назвать Виа-Гамбара, но которая, вопреки его намерениям, известна сегодня как Страдоне-Фарнезе*.

Вскоре появился и мой кузен, в полном вооружении и с весьма воинственным видом в отличие от бархатного кардинала. При виде мессера Гамбары он нахмурился, однако сразу же прогнал с лица мрачное выражение и стал здороваться со всеми нами. Ко мне он обратился в последнюю очередь.

— Ну, как поживаете, наша святость? — спросил он.

— По совести говоря, не слишком свято, — отозвался я.

Он рассмеялся.

— В таком случае, чем скорее мы наденем сутану, тем скорее это можно будет исправить. Не правда ли, мессер Фифанти?

— Это обстоятельство, несомненно, принесет вам немалую пользу, — сказал Фифанти со своей обычной язвительностью и отсутствием любезности. — Неудивительно, что вы так стремитесь это ускорить.

Этот ответ привел моего кузена в полное замешательство. Он живо напомнил мне о том, что Козимо — следующий после меня наследник Мондольфо и что он

* Виа (итал.) — улица; страдоне (итал.) — широкая дорога, шоссе.

весьма заинтересован в том, чтобы я поскорее надел монашеские наплечники.

Я взглянул на высокомерное лицо и жестокий рот Козимо и подумал в этот момент: а был ли бы он так вежлив и приятен со мною, если бы обстоятельства сложились иначе?

О, каким хитрым змеем был мессер Фифанти; с той поры я часто задавал себе вопрос: а не нарочно ли он старается посеять в моем сердце ненависть к моему гвельфскому кузену, для того чтобы сделать меня орудием достижения его собственных целей — вскорости вы все это сами поймете.

Между тем Козимо, оправившись от смущения, отмахнулся от брошенного ему обвинения и спокойно улыбнулся.

— Нет, вы меня неправильно поняли. Ангвиссола потеряет больше, чем приобрету я, если Агостино удалится от мира. И я об этом сожалею. Ты веришь мне, кузен?

На его любезные слова я отвечал так, как они того заслуживали, столь же вежливо и любезно, и это сделало атмосферу за столом чуть более приятной для всех. И все-таки напряжение не вполне исчезло. Все были настороже. Мой кузен ловил каждый взгляд Гамбары, устремленный на Джулиану; кардинал-легат делал то же самое по отношению к Козимо; мессер Фифанти наблюдал за обоими.

А Джулиана тем временем слушала то одного, то другого, ее алые губы раскрывались в томной улыбке — те самые губы, которые я целовал только сегодня утром!

А потом пришел мессер Аннибале Каро, которого так и распирало от желания прочесть нам свои очередные переводы. И когда Джулиана захлопала в ладоши в восторге от каких-то особенно удачных строчек и попросила их повторить, он поклялся всеми богами, которых упоминает Вергилий в своих произведениях, что посвятит свой труд ей, как только он будет завершен.

При этом они все снова помрачнели, и мессер Гамбара высказал мнение — в его медовом голосе оно прозвучало как обещание, как угроза, — что герцог вскоре потребует присутствия мессера Каро в Парме; после чего мессер Каро разразился проклятиями по адресу герцога, осыпая его бранью.

Они оставались у нас довольно долго, стараясь, не-

сомненно, пересидеть один другого. Но, поскольку ни один не уступал, им пришлось удалиться всем вместе.

И пока мессер Фифанти, как подобает хозяину дома, провожал их до того места, где были привязаны их лошади, я оставался наедине с Джулианой.

— Почему вы терпите этих людей? — прямо спросил я ее.

Ее тонкие брови поползли вверх.

— А что тут такого? Они приятные господа, Агостино.

— Слишком приятные, — сказал я и пошел на другой конец комнаты к окну, из которого мог наблюдать, как они садятся в седло, все, кроме Каро, который пришел пешком. — Слишком, слишком приятные. Этот прелат, которому место в аду...

— Ш-ш-ш! — остановила она меня, подняв руку и улыбаясь. — Если он тебя услышит, сможет посадить в клетку за святотатство. О, Агостино! — воскликнула она, и улыбка исчезла с ее лица. — Неужели ты тоже станешь жестоким и подозрительным?

Я был обезоружен. Я осознал всю свою низость, понял, что я недостоин ее.

— О, будьте со мною терпеливы, — умолял я ее. — Я... Я сегодня сам не свой. — Я тяжело вздохнул и замолк, наблюдая за тем, как они отъезжали. И все-таки я их всех ненавидел; и больше всех я ненавидел этого изысканного златокудрого кардинала-легата.

Он снова явился наутро, и мы узнали — в числе других новостей, которые он нам принес, — что он исполнил свою угрозу в отношении мессера Каро. Поэт находился на пути в Парму, к герцогу Пьерлуиджи, посланный туда кардиналом с важным поручением. Кроме того, он сказал, что собирается послать моего кузена в Перуджу, где нужна была сильная рука, поскольку в городе возникла угроза бунта.

Когда он уехал, мессер Фифанти позволил себе одно из своих язвительных замечаний.

— Он хочет избавиться от соперников, — сказал он, улыбаясь Джулиане своей холодной улыбкой. — Остается только одно: вскоре мы узнаем, что у герцога появилась настоящая потребность и в моем присутствии тоже.

Он говорил об этом как о возможном обстоятельстве, однако с известным сарказмом, как говорят о вещах, слишком маловероятных для того, чтобы думать о них всерьез. Он еще вспомнит эти слова два дня спустя, когда именно это самое и случится.

Мы сидели за завтраком, когда на него обрушился этот удар.

Под нашими окнами, которые стояли открытыми в это теплое сентябрьское утро, раздался цокот копыт, и вскоре старик Бузио доложил о прибытии офицера понтификальной* службы с пергаментным свитком, обвязанным шелковым шнуром и запечатанным печатью с гербом Пьяченцы.

Мессер Фифанти взял свиток и, нахмурившись, взвесил его в руке. Возможно, в его душе зародилось предчувствие относительно того, что именно содержалось в этом послании. Джулиана между тем налила офицеру бокал вина, и Бузио подал его ему на подносе.

Фифанти сорвал печать и шнур и начал читать. Я как сейчас вижу, как он стоит перед окном, к которому подошел, потому что там было светлее, и читает это послание, поднеся пергамент к самому носу и прищурив близорукие глаза. Потом я увидел, как лицо его покрылось свинцовой бледностью. Взгляд его на секунду задержался на офицере, а потом обратился на Джулиану. Однако мне кажется, что он не видел ни того, ни другую. Это был взгляд человека, мысли которого витают где-то совсем в другом месте.

Он заложил руки за спину, нагнул голову и, сделавшись похожим на хищную птицу, медленно вернулся к своему месту во главе стола. Его щеки постепенно приобрели свою обычную окраску.

— Прекрасно, синьор, — сказал он, обращаясь к офицеру. — Уведомьте его сиятельство, что я повинуюсь приказанию и явлюсь безотлагательно.

Офицер поклонился в сторону Джулианы и отбыл, сопровождаемый Бузио.

— Приглашение от герцога? — воскликнула Джулиана, и тут разразилась буря.

— Да, — ответил он с угрюмым спокойствием. — Приглашение от герцога. — И он бросил ей пергамент через стол.

Я видел, как этот роковой документ секунду парил в воздухе, а потом, под тяжестью восковой печати, стал снижаться и упал ей на колени.

— Для вас оно, без сомнения, явилось полной неожиданностью, — бормотал он, и в этот момент его долго сдерживаемая ярость вырвалась наконец наружу. Он

* Папской.

грохнул кулаком по столу, смахнул драгоценный графин венецианского стекла, который полетел на пол и разлетелся в мелкие дребезги, а вино растеклось по паркету, образовав на полу кроваво-красную лужу.

— Разве я не говорил, что этот негодяй кардинал станет избавляться от соперников? Разве не говорил? — Он засмеялся резким пронзительным смехом. — Он отсылает вашего мужа так же, как он разослал по разным местам остальных. О, меня ожидает жалованье — триста дукатов в год, которые скоро превратятся в шестьсот, и все только за мою уступчивость, только за то, чтобы я согласился сделаться веселым и жизнерадостным *cornuto**.

Он прошел к окну, отчаянно ругаясь, тогда как Джулиана сидела бледная как смерть, сжав губы, тяжело дыша и устремив глаза в тарелку.

— Милорд кардинал вместе с его герцогом могут отправляться в ад, прежде чем я подчинюсь приказу, который послан одним по желанию другого. Я остаюсь здесь, чтобы охранять то, что мне принадлежит.

— Вы дурак, — сказала наконец Джулиана, — и к тому же еще и негодяй, потому что вы оскорбляете меня без всяких оснований.

— Без оснований? Ах, так значит, без всяких оснований? Силы небесные! И вы тем не менее не желаете, чтобы я остался дома?

— Я не желаю, чтобы вас посадили в тюрьму, что непременно случится, если выслушаетесь приказаania его сиятельства герцога, — сказала она.

— В тюрьму? — воскликнул он, дрожа от все усиливающейся ярости. — А может быть, и в клетку? Чтобы я там умер от голода, жажды и жары, как этот несчастный Доменико, который скончался наконец вчера, за то, что осмелился сказать правду. О, творец! О, горе мне! — И он упал в кресло.

Но в следующий момент он снова вскочил, дико размахивая руками.

— Клянусь Господом Богом! У них будут основания посадить меня в клетку. Если они хотят снабдить меня рогами, как буйвола, я пушу в ход эти рога. Я пропору им брюхо. О, мадам, если ваша распушенность привела к тому, что вы желаете превратиться в шлюху, вам следовало выбрать в качестве мужа другого человека, а не Асторре Фифанти.

* Рогоносец (*итал.*).

Это было слишком. Я вскочил на ноги.

— Мессер Фифанти! — накинулся я на него. — Я не намерен выслушивать подобные слова, обращенные к этой прекрасной даме.

— Ах да, — зарычал он, мгновенно оборачиваясь ко мне, словно намереваясь нанести мне удар. — Я и забыл про защитника, про доблестного рыцаря, будущего святого. Так вы не желаете слышать правду, синьор? — И он крупными шагами направился к двери и распахнул ее с такой силой, что она ударилась о стену. — Могу вас от этого избавить. Убирайтесь отсюда! Уходите. То, что здесь происходит, вас совершенно не касается. Уходите! — рычал он, как бешеный зверь, так, что страшно было смотреть на его ярость.

Я взглянул на него, потом на Джулиану, спрашивая ее взглядом, как мне поступить.

— Мне кажется, тебе лучше уйти, — печально сказала она. — Мне будет легче переносить оскорбления, если при этом не будет свидетелей. Да, уходи.

— Если вы этого желаете, мадонна. — Я поклонился ей и очень прямо, с вызывающей миной на лице, проследовал мимо мертвенно-бледного Фифанти и вышел из комнаты. Я слышал, как за мною захлопнулась дверь, и в маленькой прихожей наткнулся на Бузио, который стоял, ломая в отчаянии руки, тоже бледный как смерть. Он подбежал ко мне.

— Он убьет ее, мессер Агостино, — стenal старый слуга. — В гневе он превращается в самого дьявола.

— Он и есть дьявол, в гневе он или нет, — сказал я. — Его одолевают бесы, ему нужен заклинатель, который может их изгонять. Я бы с удовольствием оказал ему эту услугу. Отколотил бы его так, что бесы выскочили бы из него без памяти, Бузио, если бы только она мне разрешила. А пока подождем здесь, на случай, если ей понадобится наша помощь. Мы будем наготове.

Я опустился на одну из резных скамей, которые находились в этой прихожей, а старик Бузио стоял возле меня, несколько успокоившись насчет того, что, если мадонне понадобится помощь, она будет ей оказана. А из-за дверей нам было слышно, как он там бушует. Снова раздался звон разбитого стекла, когда он грохнул кулаком по столу. С полчаса, наверное, продолжалась эта буря, причем ее голоса мы почти не слышали. Один раз только она рассмеялась, это был холодный пронзи-

тельный смех, резкий, как острие ножа, и я вздрогнул, ибо слышать его было неприятно.

Наконец дверь открылась, и он вышел из столовой. Лицо его пылало, он дико поводил вокруг налитыми кровью глазами. На мгновение он задержался на пороге, однако мне кажется, что поначалу он нас не заметил. Он обернулся через плечо, чтобы бросить еще один взгляд на жену, которая по-прежнему сидела за столом, отчетливо выделяясь своим белым платьем на фоне темно-голубой обивки стен.

— Я вас предупредил, — сказал он. — Прошу этого не забывать. — И он пошел прочь.

Заметив наконец меня, он оскалил свои порченные зубы в саркастической усмешке. Однако обратился он не ко мне, а к Бузио.

— Вели оседлать моего мула, так чтобы через час он был готов, — сказал он и пошел вверх, чтобы приготовиться к отъезду. Похоже было на то, что Джулиане удалось рассеять его подозрения.

Я вошел в столовую, чтобы ее утешить, так как она рыдала, расстроенная этой жестокой сценой. Но она показала мне знаком, чтобы я уходил.

Я не был бы ее другом, если бы не повиновался ей без дальнейших расспросов.

Глава пятая

PAVULUM ACHERONTIS*

Время близилось к вечеру, когда Асторре Фифанти тронулся в путь. Он обратился ко мне с несколькими словами, уведомив меня о том, что вернется через четыре дня, что бы там ни случилось, дав мне задание на это время и попросив, чтобы я не отлучался из дома и соблюдал благоразумие в его отсутствие.

Из окна моей комнаты я видел, как доктор взгромоздился на своего мула. На поясе у него висела шпага, но одет он был по-прежнему в свою нелепую старую мантию, а на ногах у него были все те же, слишком большие для него туфли, так что было ясно: не успеет

* Пицца для Ахеронта (лат.). Ахеронт — мифологическая река в подземном царстве, через которую должны были переправляться души умерших.

он отъехать, как у него начнутся неприятности со стремениами.

Я видел, как он прищипорил пятками мула и поехал не спеша по короткой аллее, которая вела от ворот. Выхав на дорогу, он остановил мула и постоял, разговаривая с мальчишкой, который вертелся поодаль, — тот обычно исполнял разные поручения по дому и в саду, словом, там, где было нужно.

Все это видела и Джулиана, она наблюдала за его отъездом из своей комнаты, которая находилась ниже этажом. Она придала этому мелкому эпизоду гораздо большее значение, чем я, но мне это стало ясно только значительно позже.

Наконец Фифанти снова тронулся в путь, и я видел, как он ехал по длинной серой дороге, которая вилась вдоль реки, пока наконец не скрылся из вида. Я надеялся, что навсегда. Какое это было бы для меня счастье, если бы эта глупая надежда осуществилась!

В тот вечер я ужинал в одиночестве, если не считать старика Бузио, который мне прислуживал.

Монна прислала сказать, что будет ужинать у себя в комнате.

После того как я поужинал и наступила ночь, я поднялся в библиотеку и, заперев дверь, попытался читать при свете трех тоненьких фитильков высокой бронзовой лампы, стоявшей на столе. Мне досаждали ночные бабочки и мошки, так что я плотно задвинул занавеси на открытом окне и приготовился корпеть над начальными строками Эсхилова «Прометей».

Мои мысли, однако, были далеко от того, что происходило с сыном Иапета, и наконец я отбросил книгу и предался собственным размышлениям, сомнениям и предположениям. Я серьезно пытался разобраться в себе самом. Я исследовал не только мою совесть, но и сердце и душу и обнаружил, что я самым прискорбным образом удалился от тропы, которая была мне уготована. Так я сидел до ночи, пытаясь решить, что мне следует делать.

Внезапно, подобно манне с небес для моей алчущей души, пришло воспоминание о последнем моем разговоре с фра Джервазио, о его предостережении. Это воспоминание подсказало мне, что нужно делать. Завтра, несмотря на приказание мессера Фифанти, я сяду на лошадь и поеду в Мондольфо для того, чтобы исповедаться фра Джервазио и спросить его совета. Я увидел в правильном свете обет моей матери касательно меня. Я не могу быть

связанным этим обетом, я причину себе непоправимое зло, если подчинюсь ему, не чувствуя к этому призвания. Я не должен губить свою душу, обрекая ее на проклятие, ради того, в чем моя мать поклялась еще до того, как я появился на свет, хотя бы она считала, что мой сыновний долг обязывает меня этому подчиниться.

У меня стало легче на душе после того, как я принял это решение, и я позволил своим мыслям течь по тому руслу, в которое им так хотелось устремиться. Я стал думать о Джулиане — о Джулиане, к которой я стремился со всей страстной мукой моей души, хотя я все еще пытался скрыть от себя истинную причину моих страданий. Было бы в тысячу раз лучше, если бы я тогда же прямо посмотрел в лицо прискорбному факту и попытался бы побороть это греховное чувство. Тогда у меня еще была возможность победить себя и с честью выйти из того ужаса, который мне предстояло пережить.

То, что в такой момент, когда я больше всего нуждался в силе духа, я оказался слабым и нерешительным, — теперь, когда я спокойно могу все это обдумать, я уверен в этом более, чем когда-либо, — я целиком отношу за счет чудовищного воспитания, которое я получил. Меня так лелеяли в Мондольфо, так укрывали от сурового ветра, который мог повеять на меня со стороны внешнего мира, что я в результате представлял собой сочный зрелый плод, весьма привлекательный на вкус, вполне пригодный для самого дьявола. Если человеку, получившему нормальное воспитание, легче было противостоять соблазнам, поскольку они встречались ему и раньше, и у него постепенно выработался иммунитет, то я, воспитанный таким диким образом, был к ним абсолютно не подготовлен.

Пусть человек встретится с грехом в юности, дабы, встретившись с ним в зрелом возрасте, он не пленился бы красивыми одеждами, в которые рядится грех по хитрому дьявольскому наущению.

И все-таки делать вид, что я был совсем уж невинен и не представлял себе, какой опасности подвергаюсь, было бы лицемерием. В основном я это понимал; так же как понимал, что, если не хватает сил сопротивляться, нужно искать спасения в бегстве. И завтра же я уеду. Итак, решение принято, и можно перевернуть страницу. Что же до сегодняшней ночи, то я готовился провести ее, смакуя свои страдания, терзаемый неведомым мне голодом.

И вдруг, часу в третьем ночи, когда я все еще сидел в библиотеке, дверь осторожно приоткрылась, и я увидел на пороге Джулиану. Она вышла из темноты коридора, и свет от трех фитильков моей лампы падал на ее золотистые волосы, превращая их в яркий сияющий нимб вокруг головы. На мгновение мне показалось, что ожили, воплотились в жизнь мои видения, порожденные слишком интенсивной работой мысли. Бледное ее лицо казалось прозрачным, белые одежды словно бы просвечивали насквозь, огромные темные глаза смотрели так скорбно, так печально. Только ярко-красные губы говорили о жизни, о том, что в жилах ее течет теплая кровь.

— Джулиана! — прошептал я, не отрывая глаз от видения.

— Почему ты не ложишься? Уже поздно, — сказала она и закрыла дверь.

— Я все думаю, Джулиана, что мне делать, — ответил я и, проведя рукой по лбу, обнаружил, что он покрыт липким потом. — Завтра я уеду отсюда.

Она вздрогнула, глаза ее расширились, она приложила правую руку к груди.

— Уедешь отсюда? — воскликнула она, и в ее голосе мне слышались нотки страха. — Отсюда? Куда же?

— Назад, в Мондольфо, сообщить моей матери, что ее мечтам пришел конец.

Она медленно приблизилась ко мне.

— А... а... а что же дальше? — спросила она.

— Дальше? Я не знаю. На то будет Божья воля. Но я понял, что монашеская ряса не для меня. Я недостойн ее. У меня нет призвания. Теперь я это знаю. Вместо того чтобы быть таким священником, как мессер Гамбара, — у Церкви слишком много подобных священнослужителей — я найду другой способ служить Богу.

— Когда... с какого времени ты начал так думать?

— С сегодняшнего утра, когда я поцеловал вас, — с жаром отвечал я.

Она опустила руку в кресло по другую сторону стола и протянула руку, приглашая меня пожать ее.

— Но если это так, зачем же уезжать от нас?

— Потому что я боюсь, — отвечал я. — Потому что... О Боже, Джулиана, неужели вы не понимаете? — И я уронил голову на руки.

В коридоре слышались шаркающие шаги. Я быстро

поднял голову. В дверь постучали, и в комнату вошел старик Бузио.

— Мадонна, — объявил он, — там, внизу, находится мессер кардинал-легат, он спрашивает вас.

Я вздрогнул, словно от резкого удара. Вот оно что! В такой час! Так, значит, подозрения мессера Фифанти были не так уж беспочвенны.

Джулиана метнула быстрый взгляд в мою сторону, прежде чем ответить.

— Передайте мессеру Гамбаре, что я удалилась на покой к себе в комнаты и что... Но постойте! — Она схватила перо, обмакнула его в чернильницу, сделанную из рога, и, придвинув к себе листок бумаги, быстро написала несколько строк; затем посыпала листок песком, чтобы просохли чернила, и протянула его слуге.

— Передайте это мессеру.

Бузио взял записку, поклонился и вышел.

После того как дверь за ним затворилась, наступило молчание, во время которого я крупными шагами мерил пол в библиотеке, охваченный пламенем всепоглощающей ревности. Мне кажется, что сатана вызвал из ада целый легион своих подручных, чтобы завершить в ту ночь мое падение. Единственное, чего не хватало для того, чтобы меня уничтожить, — это ревности. Именно ревность заставила меня остановиться около Джулианы. Я стоял, глядя на нее сверху вниз, разрываясь между нежностью и злобой, тогда как в ее взгляде, обращенном на меня, можно было прочесть покорность жертвы, ведомой на заклание.

— Как он смел сюда явиться?

— Возможно... возможно, это связано с каким-нибудь делом, касающимся Асторре, — пробормотала она запинаясь.

Я саркастически усмехнулся.

— Вполне правдоподобно, в особенности если принять во внимание, что он отослал Асторре в Парму.

— Если тут есть что-нибудь другое, я не имею к этому никакого отношения, — уверила она меня.

Как мог я ей не поверить? Как мог постигнуть всю низость души этой красавицы, я, незнакомый с уловками, которыми сатана так щедро наделяет женщин? Как мог я догадаться, что, когда она увидела, как Фифанти разговаривает с мальчишкой у ворот, она заподозрила, что он оставил у дома шпиона, и, опасаясь этого, велела

кардиналу удалиться? Я узнал об этом только позднее. В тот же момент мне это было неизвестно.

— Вы можете поклясться, что это правда? — спросил я ее, бледнея от страсти.

Как я уже сказал, я стоял очень близко, склонившись над нею. Вместо ответа она быстро поднялась с кресла. Как змея скользнула она в мои объятия, так что голова ее через секунду уже покоилась у меня на груди, лицо было обращено ко мне, глаза томно прикрыты, а губы сложены в капризную гримаску.

— Разве ты причиняешь мне зло, думая, что любишь меня, когда знаешь, что и я тебя люблю? — спросила она меня.

С минуту мы так и стояли, слегка покачиваясь в неловком объятии. Отчаянная внутренняя борьба полностью лишила меня сил. Я дрожал с головы до ног. Из груди моей вырвался один-единственный вскрик — мне кажется, это была мольба о помощи — а потом я погрузился в бездну на целую вечность, до того самого момента, когда мои губы встретились с ее губами. Восторг, живое пламя, сладкая мука этого мгновения оставили неизгладимый след в моей памяти. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я ощущаю всю мучительную сладость, все блаженство того мгновения, столь ненавистного для меня теперь.

Итак, слепо и безрассудно я отдался в рабство этому неодолимому искушению. Но потом, через некоторое время, у меня в мозгу вспыхнула искра совести: искра, которая мгновенно превратилась в яркое пламя, в свете которого передо мною предстала вся низость моего поведения. Я оторвался от нее в эту минуту отвращения и отбросил ее от себя грубо и яростно, так что она пошатнулась и скорее упала, чем села, в кресло, с которого встала перед этим.

И в то время как она, тяжело дыша и раскрыв губы, смотрела на меня с каким-то даже ужасом, я бегал по комнате, бушевал, осыпал себя бранью и упреками и кончил тем, что упал перед нею на колени, умоляя простить меня за то, что я наделал, считая — несчастный безумец, — что это сделал именно я, — заклиная ее с не меньшей страстью, чтобы она оставила меня и удалилась.

Она положила дружашую руку мне на голову; другой рукой взяла меня за подбородок и приподняла мое лицо, так что теперь она могла посмотреть мне в глаза.

— Если ты этого хочешь, если это принесет тебе душевный покой и счастье, я уйду и ты никогда больше меня не увидишь. Но не обманываешь ли ты себя, мой Агостино?

И в этот момент, словно она не могла больше сдерживаться, она разразилась рыданиями.

— А что будет со мною, если ты уйдешь? Что будет со мною, несчастной женой этого чудовища, этого жестокого, бездушного педанта, который мучает и оскорбляет меня, как ты много раз имел возможность видеть?

— Любимая, неужели еще один дурной поступок излечит уже содеянное зло? — молил я. — О, если ты меня любишь, уйди... уйди, оставь меня. Слишком поздно... теперь уже слишком поздно.

Я отпрянул от ее прикосновения, побежал на другой конец комнаты и бросился на сиденье в оконной нише. Так мы и сидели в разных концах, оторвавшись друг от друга. И наконец...

— Послушай, Джулиана, — сказал я более спокойно. — Если бы я повиновался тебе, если бы я следовал своим собственным желаниям, я бы позвал тебя за собой, и мы вместе уехали отсюда завтра же утром.

— О, если бы ты это сделал! — вздохнула она. — Ты бы вызволил меня из ада.

— Только бросив в еще худший, — быстро возразил я. — Я причинил бы тебе такое зло, которое уже никогда нельзя было бы исправить.

Некоторое время она смотрела на меня, не произнося ни слова. Она сидела спиной к свету, так что лицо ее было в тени, и я не мог видеть его выражения. Потом, очень медленно, она поднялась.

— Я сделаю так, как ты хочешь, мой любимый; но я делаю это не из страха за себя, не потому, что боюсь расплаты за грех — ибо я не считаю это грехом, но дабы не причинить зла тебе.

Она помолчала, словно ожидая ответа. Мне нечего было ей сказать. Я поднял руки, затем снова их уронил и склонил голову. Я услышал слабый шелест ее платья, увидел, как она идет к двери неверным шагом, протянув перед собой руки, словно слепая. Она подошла к двери, открыла ее и с порога бросила на меня последний взгляд своих невыразимо прекрасных глаз, наполненных слезами. Дверь закрылась, и я остался один.

Из глубины моей души поднялась горячая волна благодарности. Я упал на колени и стал молиться.

Вероятно, я находился в этом положении по крайней мере в течение часа, моля Бога о милости, о том, чтобы он даровал мне силы. Успокоенный и утешенный, я поднялся наконец с колен и подошел к окну. Я раздвинул занавеси и высунулся из окна, чтобы ощутить покой теплой сентябрьской ночи.

И вдруг из мрака возникла огромная серая тень; она приблизилась, и вот уже у самого окна слышался шелест тяжелых крыльев. Это была сова, привлеченная светом, лившимся из комнаты. При виде этой зловещей птицы, этого провозвестника смерти, я отступил от окна и осенил себя крестным знамением. Я успел рассмотреть маску сфинкса, два огромных круглых бесстрастных глаза, а потом она сделала круг и снова исчезла в темноте, испуганная каким-то внезапным движением. Я закрыл окно и вышел из библиотеки.

Очень тихо я шел по коридору в направлении своей комнаты, оставив в библиотеке свет, ибо у меня не было привычки его гасить, и я, кроме того, совсем не думал о том, который теперь час.

Дойдя до середины коридора, я остановился. Я находился у двери, ведущей в комнату Джулианы, и из-под этой двери виднелась тонкая полоска света. Однако меня остановило не это. Она пела. Это была грустная песенка.

Я прислонился к стене, и из груди моей вырвалось рыдание. И вдруг, в одно мгновение, широкий поток света залил коридор, на пороге открытой двери передо мною появилась Джулиана, протягивая ко мне руки.

Глава шестая

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОЯС

Вдали послышался, звонко раздаваясь в безмолвии ночи, цокот копыт, который быстро приближался. Этот звук, однако, не регистрировался сознанием, на него попросту не обращалось внимания, пока он не прозвучал под окном и не заглох у двери.

Джулиана в страхе схватила меня за руку.

— Кто это приехал? — спросила она дрожащим от ужаса голосом.

Я вскочил с кровати и, пригнувшись, подбежал к окну, прислушиваясь и потеряв таким образом драгоценное время.

Из темноты послышался голос Джулианы, хриплый и дрожащий.

— Это, наверное, Асторре, — уверенно сказала она. — Когда я увидела сегодня днем, как он разговаривает с этим мальчишкой у ворот, я сразу поняла, что он приставил ко мне шпиона, чтобы тот следил за мною и предупредил его, когда будет нужно.

— Но откуда этот мальчик мог знать?.. — начал я, однако она перебила меня почти что с раздражением.

— Мальчик увидел, как подъехал мессер Гамбара. Он не стал ничего больше дожидаться и сразу же отправился предупредить Асторре. Долго же он собирался, — добавила она тоном человека, который пытается найти точное объяснение того, что происходит. Но потом внезапно обратилась ко мне: — Уходи же, — потребовала она. — Уходи поскорее.

Пробираясь в потемках ощупью к двери, я снова услышал ее голос:

— Почему он не стучит? Чего дожидается?

И тут же со стороны лестницы послышался ужасный ответ на ее вопрос: шарканье ног доктора, которое не оставляло никаких сомнений.

Я замер на месте, и в течение какого-то времени был не в силах двинуться с места. Каким образом он проник в дом, я не мог понять, не узнал я этого и впоследствии. Важно и ужасно было только одно: он находился в доме.

Я похолодел, покрывшись липким потом с головы до ног. Потом меня бросило в жар, и я снова стал ощупью пробираться вперед, в то время как его шаги, зловещие и ужасные, словно шаги самого рока, все приближались и приближались.

Наконец я нащупал дверь и распахнул ее. Я приостановился, чтобы закрыть ее за собой, но в конце коридора уже виднелось отражение от света фонаря, который нес с собой Фифанти. Секунду я стоял в нерешительности, не зная, куда мне повернуть: первой моей мыслью было искать спасения в своей комнате. Но это было невозможно, я сразу же попадал в его объятия. Поэтому я повернул в другую сторону и побежал со всей возможной быстротой и осторожностью к библиотеке.

Я уже почти достиг своей цели, когда он показался из-за угла коридора и увидел меня, прежде чем я успел закрыть дверь.

Я стоял в библиотеке, где все еще горела лампа, обливаясь потом и тяжело дыша, дрожа крупной дрожью.

Ибо если он увидел меня, то я тоже успел его заметить, и это зрелище привело меня в совершенный ужас.

Я увидел высокого сухопарого человека, который, нагнув голову, несясь вперед по коридору. В одной руке у него был фонарь, в другой обнаженная шпага. Лицо было мертвенно-бледно и страшно, лысый яйцевидный череп блестел, отражая желтый свет фонаря. Когда он заметил меня, из груди его вырвался ужасный звук, нечто среднее между ревом и рычанием, и он, ускорив шаги, побежал по коридору, шлепая слишком большими туфлями.

Мне кажется, что поначалу я собирался пуститься на хитрость: сесть за стол, положив перед собой книгу, и сделать вид, что я дремлю; изобразить человека, утомленного долгими трудами. Но сейчас об этом нечего было и думать. Меня увидели, и было ясно, что я пытался скрыться. Отпираться было бесполезно.

То, что я сделал, было подсказано скорее инстинктом, чем здравым смыслом; но в то время это не принесло особой пользы. Я захлопнул дверь и повернул ключ, загородившись хотя бы этим жалким барьером от человека, которому я причинил такое страшное зло и который имел право меня убить. Секундой позже дверь затрещала, словно в нее ударил ураган. Фифанти ухватился за ручку и потянул ее с бешеной силой.

— Открывай! — заревел он, но потом злобный рев сменился леденящим душу жалобным воем, который страшно было слышать. — Открывай!

И вдруг, совершенно неожиданно, он успокоился. Было такое впечатление, что его ярость обрела реальную цель; и его следующие слова действовали на меня так, словно меня ударили кинжалом, выведя меня из состояния ошолбенения.

— Не воображаешь ли ты, что эти жалкие запоры спасут тебя от моей мести, мессер Гамбара? — спросил он с ужасным смехом.

Мессер Гамбара! Он принял меня за легата!

В то же мгновение я понял причину этой ошибки. Все было так, как объясняла Джулиана. Мальчишка побежал его предупредить туда, где он находился, вероятно, это было в Ронкалье, на расстоянии мили по дороге в Парму. Мальчик сообщил ему, что губернатор направился к дому Фифанти. Посланец не стал дожидаться того, что будет дальше, и не знал, что легат снова уехал; мальчик исполнил поручение точно, и Фифанти вернулся

домой, чтобы захватить Гамбару на месте преступления и убить, на что у него было полное право.

Когда он заметил убегающего человека, меня, нас разделял длинный коридор, и, поскольку он ожидал увидеть Гамбару, он сразу решил, что от него убегает именно Гамбара.

Не было, наверное, такой подлости, которую я не был способен совершить в ту ночь. Как только я понял, что произошла ошибка, я тут же стал соображать, каким образом можно обратить ее себе на пользу. Пусть Гамбара расплачивается вместо меня, если только можно это как-нибудь устроить. Ведь если кардинал-легат и не согрешил, то уж во всяком случае он собирался это сделать. И если он не оказался сейчас на моем месте, то только потому, что судьба уж очень к нему благоволила. Кроме того, Гамбаре гораздо легче будет защититься от последствий этого дела и от гнева Фифанти.

Так рассуждал я, жалкий трус. Следуя этим рассуждениям, я подошел к окну. Если бы я мог спуститься в сад, а потом вскарабкаться каким-нибудь образом по стене и влезть в окно моей комнаты, я мог бы лечь в постель, пока Фифанти барабанит в дверь. Тем временем его голос доносился до меня сквозь тонкие филенки двери; он продолжал осыпать насмешками кардинала, принимая меня за него.

— Вы не желали меня слушать, хотя я вас достаточно ясно предупреждал. Вам хотелось украсить меня рогами. Так не посетуйте, если эти рога пропорют вам брюхо. — Он захохотал ужасным смехом. — Этот несчастный Асторе Фифанти слеп и глух. Его нужно отправить отсюда, послать его к герцогу, придумав поручение, отвечающее интересам мессера кардинала. Однако вам бы следовало сообразить, что подозрительный муж может кое-кого перехитрить: сделать вид, что уехал, и остаться на месте.

Затем его голос обрел прежнюю гневную силу, и дверь снова затрещала.

— Откроешь ты или нет, или мне придется выламывать дверь? Нет такой преграды, которая укрыла бы тебя от меня, нет такой силы, которая способна была бы тебя спасти. Я имею право тебя убить по всем законам, божеским и человеческим. Неужели я откажусь от этого права?

Он презрительно рассмеялся.

— Триста дукатов в год за то гостеприимство, которое

я тебе предоставлял, а впоследствии, по прибытии герцога, даже шестьсот, — издевался он. — Такова цена моего гостеприимства, синьор, и распутства моей жены. Три сотни дукатов! Ха-ха! Триста миллионов лет в аду! Такова плата, мессер, которую вам придется платить, ибо я предъявляю счет и позабочусь, чтобы он был оплачен. С помощью железа. Сначала заплатите вы, а после вас эта распутница. Как вы думаете, посадят меня в клетку за то, что я пролил священную кровь прелата? За то, что послал душу прелата в ад вместе со всей грязью, со всеми грехами, наполняющими ее? Отвечайте, ваше преподобие, просветите меня от всей полноты ваших теологических познаний.

Я замер, слушая, словно замороженный, эту тираду, исполненную злобной насмешки. Но потом очнулся, подошел к окну и открыл его. Я выглянул в темноту и остановился в нерешительности. Стена была покрыта вьющимися растениями вплоть до самого окна. Но я опасался, что хрупкие плети клематиса не выдержат тяжести моего тела. Я колебался. Затем решил все-таки прыгнуть. До земли было не более двенадцати футов, совершенный пустык для человека моего возраста и сложения, тем более что земля под окном была покрыта мягкой травой. Надо было бы действовать не раздумывая, ибо это минутное колебание привело меня к гибели.

Фифанти услышал, как открывается окно, и, опасаясь, что жертва все-таки ускользнет от него, внезапно бросился на штурм двери, словно разъяренный буйвол, — ярость придала ему нечеловеческую силу — и под этим напором непрочная дверь подалась и распахнулась.

Доктор влетел в комнату, осмотрелся и остолбенел. Он был настолько ошеломлен, что не сразу сообразил, в чем, собственно, дело.

Когда он наконец понял, ярости его не было границ.

— Ты! — выдохнул он почти беззвучно, но потом голос его снова окреп. — Гнусный пес! — завопил он. — Так, значит, это ты! Ты!

Он пригнулся, и его маленькие глазки, налитые кровью, сверлили меня с ужасающей злобой. Справившись со своим удивлением, он немного успокоился.

— Ты! — повторил он. — Как же я был слеп! Ты! Идешь по стопам святого Августина, подражаешь подвигам его ранней молодости. Будущий святой, без пяти минут монах, готовый принять духовный сан. Я тебе покажу духовный сан, ты у меня примешь посвящение с помощью

вот этой штуки! — И он поднял шпагу, так что по ее лезвию пробежал желтый отсвет от фонаря.

— Я отправлю тебя напрямик в ад, собака! — И с этими словами он прыгнул в мою сторону.

Я отскочил от окна — от страха перед ним ко мне вернулись силы и способность действовать. Перебегая через комнату, я заметил в коридоре белую фигуру Джулианы; она стояла там и наблюдала.

Он бросился за мною, оскалив зубы. Я схватил табурет и швырнул в него. Он ловко увернулся, и снаряд угодил в створку окна, вдребезги разбив стекло.

Брошенный мною табурет научил его осмотрительности, и он попятился к двери, преградив мне таким образом путь к отступлению на случай, если я задумаю обежать вокруг стола.

Мы стояли и смотрели друг на друга, разделенные всего лишь маленькой комнаткой с низким потолком; оба тяжело дышали.

Потом я осмотрелся вокруг в поисках какого-нибудь орудия защиты, так как было ясно, что ему нужна была моя жизнь. К великому несчастью, случилось так, что шпага, которая была на мне в тот день, когда я сопровождал Джулиану в Пьяченцу, стояла в том самом углу, где я ее оставил. Я инстинктивно прыгнул, чтобы ее схватить, и Фифанти, не подозревая о моем намерении, до того самого момента, когда увидел меня с обнаженным клинком в руке, ничего не сделал для того, чтобы мне помешать.

Увидев меня вооруженным, он засмеялся.

— Хо-хо! Святоша со шпагой в руке! — издевался он. — Я уверен, что с оружием ты обращаешься так же ловко, как и со своей святостью! — И он двинулся на меня большими осторожными шагами.

Мы стояли по разные стороны стола, и он сделал выпад, пытаясь поразить меня, невзирая на это препятствие. Я парировал и нанес ответный удар, так как теперь, когда у меня в руках было оружие, он внушал мне не больше страха, чем малый ребенок. Он и не подозревал, насколько я был искусен в фехтовании благодаря старику Фальконе — ведь то, чему мы научились, никогда не забывается, хотя отсутствие практики несколько замедляет наши движения.

Он снова напал на меня, едва не задев при этом лампу. Теперь я могу торжественно поклясться: в том, что произошло после этого, не было с моей стороны злого

умысла. Все было кончено прежде, чем я успел сообразить, что происходит. Я действовал, руководствуясь исключительно инстинктом, как обычно действует человек, продельвая то, чему его учили.

Парируя его удар, я бессознательно принял защитную позицию Мароццо, известную под названием «Железный пояс». Я парировал и тем же движением нанес удар, которого этот несчастный никак не ожидал, так что моя шпага вошла ему в грудь наполовину, прежде чем он или я опомнились и сообразили, что произошло.

Я увидел, как его маленькие глазки широко раскрылись, а на лице появилось выражение крайнего изумления. Он шевельнул губами, словно пытаясь что-то сказать, а затем шпага со звоном выпала из его руки, фонарь — из другой, и он стал медленно падать лицом вперед, продолжая смотреть на меня удивленными глазами, так что моя собственная шпага, которую я крепко держал в руке, все глубже входила в его тело, пока грудь его не коснулась крестовины. Несколько мгновений он оставался в этом положении, поддерживаемый моей рукой и столом, на который облакачивался. Потом я выдернул шпагу, сразу же отбросив ее от себя. И, прежде чем она со звоном упала на пол, его тело рухнуло по другую сторону стола, так что мне была видна только верхушка его яйцевидного черепа.

Некоторое время я стоял неподвижно, глядя на него, исполненный удивления и какого-то непонятного почтительного ужаса. Очень медленно в голове у меня начало проясняться, пришло понимание того, что я сотворил. Ведь я, может быть, убил Фифанти. Вполне возможно. Медленно и постепенно холод сковал все мои члены при мысли о том, что я наделал и к каким последствиям это может привести.

Затем из коридора послышался сдавленный вопль, и в комнату, шатаясь, вошла Джулиана, одной рукой придерживая на груди прозрачные одежды, а другую прижимая ко рту, безобразно разинутому в произвольном крике. Ее волосы, сверкающие медью, не стесненные прической, рассыпались по плечам, накрывая ее словно мантией.

Позади нее стоял бледный как смерть и дрожащий всеми своими членами старик Бузио. Он стонал и ломал руки. Я видел, как оба они осторожно приблизились к Фифанти, который не произнес ни звука с того момента, как его пронзила моя шпага.

Но там уже не было Фифанти, который мог бы их видеть — верного слугу и неверную жену. Около стола лежала лишь бесформенная груда кровоточащей плоти, облаченной в старую одежду.

Это Джулиана сообщила мне о том, как обстояло дело. С мужеством, почти невообразимым, она посмотрела на него, а потом перевела взгляд на мое лицо, несомненно такое же мертвенно-бледное, как и лицо Фифанти.

— Ты убил его, — прошептала она. — Он мертв.

— Он мертв, и я убил его! — шевелились мои губы. — Он хотел меня убить, — отвечал я сдавленным голосом, зная, что мои слова — ложь, направленная на то, чтобы оправдать чудовищность моего деяния.

Из груди Бузио вырвался долгий хриплый стон, старик упал на колени возле своего господина, которому служил так долго, господина, которому уже никогда не потребуются ничьи услуги.

Именно этот жалобный крик донес до моей души полное значение того, что я сотворил. Я опустил голову и закрыл лицо руками. В этот момент я увидел себя таким, каков я был на самом деле. Я понял, что осужден на вечное, безвозвратное проклятие. Господь милостив, это верно, но даже его бесконечное милосердие не может найти оправдание тому, что сейчас произошло.

Я пришел в дом к Фифанти, чтобы изучать гуманитарные и теологические науки, но единственное, что я усвоил, — это науку дьявольскую, она-то и привела меня к настоящему преступлению. И все это без малейшей вины со стороны этого несчастного, жалкого и некрасивого педанта, который стал моей жертвой.

Никогда еще человек не испытывал такого ужаса перед самим собой, такого отвращения и презрения к себе. И вдруг, когда я изнывал под бременем этих мыслей, под бременем свалившегося на меня ужаса, мягкая ручка тронула меня за плечо и нежный голос настойчиво прошептал мне на ухо:

— Агостино, нужно бежать. Мы должны бежать.

Я стремительно отдернул руку и обратил к ней лицо, при виде которого она в ужасе отпрянула назад.

— Мы? — зарычал я. — Мы? — повторил я еще более яростно и оттолкнул ее от себя, словно желая причинить ей боль.

О, я, наверное, воображал — если у меня вообще было время на то, чтобы что-нибудь воображать, — что я уже опустился на самое дно бездны позора и бесчестья. Однако

оставалась еще одна ступень, и я ступил на нее. И не действием, даже и не словом, а только одной мыслью.

Не имея мужества взять на себя всю вину за это преступление, я вместо этого возложил душою и разумом всю вину на нее. Подобно Адаму, нашему прародителю, я свалил все на женщину, обвинив ее в том, что она меня соблазнила. Обвинив, я ее возненавидел, считая источником грехов, в которых я погряз. В тот момент я ненавидел ее как нечто нечистое и отвратительное; ненавидел со всей полнотой ненависти, которой прежде не испытывал ни к одному человеческому существу.

Вместо того чтобы подумать о себе, о том, что я увлек ее в бездну греха и что поэтому мой долг, как мужчины, состоит в том, чтобы охранить и защитить ее от последствий моего чудовищного проступка, я возложил вину за все, что произошло, на нее.

Сегодня я знаю, что, поступая так, я следовал только принципу справедливости. Но в то время это не было справедливо. Тогда я не знал, как знаю сейчас, чем мне нужно было руководствоваться. В то время я имел право думать только одно: какова бы ни была ее вина, она была меньше моей. И, думая иначе, я сделал последний шаг, опустил на последнюю ступень адской бездны, которую сам для себя создал в ту страшную ночь.

По сравнению с этим все остальное было неважно. Я говорил, что ни словом, ни делом не увеличил сумму моих чудовищных прегрешений, на самом же деле я сделал и то и другое.

Во-первых, тем, что я яростно повторил это «мы» и грубо оттолкнул ее от себя; и во-вторых, тем, что поспешно бежал из этого дома один.

Я едва помню, как выбрался из библиотеки. События, последовавшие непосредственно за смертью Фифанти, смешались в моей памяти, подобно видениям, толпящимся в мозгу больного, находящегося в бреду.

Я смутно помню, как она пятилась от меня, пока ее плечи не коснулись стены, как она стояла там, бледная и прекрасная, как искушение, созданное сатаной на погибель мужчине, глядя на меня молящими глазами, а я пробирался к двери, стараясь не смотреть на страшную груду, лежащую на полу, над которой рыдал Бузио.

В какой-то момент, ступив на пол, я ощутил под ногой липкую влажность. В тот же момент я инстин-

ктивно понял, что это такое, и это наполнило меня таким ужасом, что я с громким криком бросился вон из комнаты.

Слома голову мчался я по коридору и по темной лестнице и наконец добежал до входной двери. Она была открыта, и я беспрепятственно выбрался наружу. Сверху до меня донесся полный отчаяния крик Джулианы, которая звала меня. Однако это не заставило меня задержаться ни на минуту.

Мул доктора, как я потом сообразил, был привязан неподалеку от ступеней, ведущих к входной двери. Я видел его, но его значение не отложилось в моем мозгу, который находился в состоянии оцепенения. Я пробежал мимо, потом проскочил через ворота, свернул на дорогу по берегу По, мимо городских стен и наконец выбрался в открытое поле.

Без шляпы, без камзола, даже без туфель, только в рубашке и панталонах, я бежал, инстинктивно направляясь к дому, как бежит к своей норе животное, застигнутое опасностью. Никогда, я думаю, со времен Фидипида, афинского скорохода, ни один человек не бежал так отчаянно и упорно, как бежал в эту ночь я.

На рассвете, покрыв к тому времени около двадцати миль, отделявших меня от Пьяченцы, измученный, с кровотокающими ногами, я переступил, шатаясь, порог какого-то крестьянского дома.

Я ввалился в комнату с каменным полом, где за завтраком сидела вся семья. Встретив удивленные взгляды, я замер.

— Я — владетель Мондольфо, — выговорил я хриплым голосом, — и мне нужна лошадь, которая доставила бы меня домой.

Глава этого большого семейства, крестьянин с загорелым лицом и седеющими волосами, поднялся со своего места и смерил меня взглядом, всем своим видом выражая недоверие.

— Владетель Мондольфо, ты? В таком виде? — воскликнул он. — Тогда, реч Вассо, я — папа римский!

Однако жена его, у которой было более мягкое сердце, нашла, что мое положение заслуживает скорее жалости, чем иронии.

— Бедный мальчик! — прошептала она, когда я, шатаясь от слабости, добрался до кресла и упал в него, не в силах больше держаться на ногах. Она немедленно встала и поспешила ко мне с чашкой козьего молока в

руках. Питье подкрепило мое тело, в то время как ласковые слова успокоили мою мятежную душу. Сидя так в этом кресле, склонив голову на ее внушительную материнскую грудь и чувствуя ее руку, обнимающую меня за плечи, я чуть было не расплакался, почувствовав после такого страшного напряжения ее ласковое сочувственное прикосновение. Да вознаградит ее за это Бог!

Я немного отдохнул в этом доме. Три часа я проспал в маленькой пристройке на охапке соломы. Это восстановило мои силы, и я снова стал их уверять, что я правитель Мондольфо, и требовал лошадь, которая доставила бы меня в мой замок.

Все еще сомневаясь в моих словах и не решаясь доверить мне одно из своих животных, крестьянин все-таки привел двух мулов и отправился со мною вместе в Мондольфо.

Книга третья

ПУСТЫНЯ

Глава первая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ



Было еще раннее утро, когда мы въехали в Мондольфо — я и сопровождавший меня крестьянин.

Поскольку было воскресенье, на улицах в этот час незаметно было никакого движения, и город представлял собою совсем другую картину по сравнению с тем, что я видел в прошлый раз. Однако разница состояла не только в отсутствии оживленной суеты базарного дня и толпы, через которую мне приходилось пробираться в день отъезда. Теперь я смотрел на него глазами, способными сравнивать, и после широких улиц и внушительных зданий Пьяченцы мой родной город показался мне жалким и провинциальным.

Мы миновали церковь, посвященную Богоматери Мондольфо. Ее широкие двери были распахнуты настежь и завешены тяжелой алой занавесью, на которой был вышит золотом огромный крест, отчего вся она стала похожей на хоругвь. На ступенях гнусавыми голосами просили милостыню нищие калёки; несколько богомольных горожан спешили к ранней мессе.

Дальше и дальше, вверх по плохо вымощенной улице ехали мы в направлении огромной серой цитадели, высившейся на вершине холма, подобно гигантскому стражу, охраняющему город. Мы беспрепятственно миновали подъемный мост, проехали под аркой ворот и оказались в никем не охраняемом внутреннем дворе крепости.

Я осмотрелся вокруг, хлопнул в ладоши и крикнул: — Оля, оля!

В ответ на мой зов дверь караульного помещения сразу же отворилась и оттуда выглянул человек. Он грозно нахмурился, но через мгновение брови у него поползли вверх, а рот разинулся от удивления.

— Это же Мадоннино! — крикнул он через плечо и поспешил принять у меня повод моего мула, бормоча

приветственные слова, рассеявшие страхи и сомнения моего крестьянина, который давеча так и не поверил мне, когда я назвал себя.

В караульном помещении поднялась суматоха, и на пороге показались двое или трое стражей из того смешотворного гарнизона, который содержала моя мать, в то время как, расталкивая их, из дверей вышел дородный детина, одетый в кожу, с мечом на поясе, и, слегка прихрамывая, направился к нам. Взглянув на его мрачную, обветренную физиономию, я тут же признал в нем моего старого приятеля Ринольфо и подивился, увидев его в таком облачении.

Он остановился передо мной и приветствовал меня холодно и недружелюбно; затем он велел своим подчиненным помочь мне спешиться, поддержав мое стремя.

— Какую должность ты отправляешь здесь, Ринольфо? — коротко осведомился я у него.

— Я кастелян, — сообщил он.

— Кастелян? А где же мессер Джорджо?

— Он умер месяц тому назад.

— Кто назначил тебя на эту должность?

— Мадонна графиня, чтобы вознаградить меня за то зло, которое вы мне причинили, — ответил он, протягивая вперед свою хромую ногу.

Тон у него был грубый и враждебный, однако теперь это не вызывало во мне раздражения. Я заслужил его нелюбовь. Я сделал его калекой. На минуту я забыл, что он сам меня на это вызвал — забыл, что, поскольку он поднял руку на своего господина, он не имел права жаловаться, даже если бы его за это повесили. Я видел в нем лишь очередную жертву моей греховности, пострадавшего от моей руки человека. И я склонил голову, приняв упрек, столь явно выраженный в его тоне и взгляде.

— Я не хотел, Ринольфо, нанести тебе столь серьезное увечье, — сказал я и прикусил язык, поняв, что солгал. Разве я не выразил в тот день сожаления, что не свернул ему шею?

Медленно, с большим трудом я спешился, ибо все мои члены одеревенели, а ноги были покрыты ранами. Ринольфо мрачно усмехнулся моим словам, а еще более тому, что я осекся; однако я сделал вид, что этого не заметил.

— Где мадонна? — спросил я.

— К этому времени она обычно возвращается из часовни, — ответил он.

Я обернулся к стражу.

— Тогда ступай, доложи обо мне, — приказал я. — А ты, Ринольфо, позаботься о животных и об этом добром человеке. Пусть его накормят, дадут ему вина и всего, что требуется. Я еще повидаяюсь с ним, прежде чем он тронется в обратный путь.

Ринольфо пробурчал, что все будет сделано, как я приказал, и я дал знак стражу идти впереди меня и доложить о моем прибытии.

Мы поднялись по ступеням и очутились в прохладном огромном холле. Здесь мой солдат, которого, конечно, до глубины души возмутило поведение Ринольфо по отношению к его господину, осмелился выразить свое сочувствие и негодование.

— Ринольфо — грязное животное, Мадоннино, — пробормотал он.

— Все мы грязные животные, Эудженио, — сурово отозвался я, и его так поразили мои слова и тон, которым они были сказаны, что он не осмелился продолжать, но прямо проводил меня до столовой моей матери, открыл дверь и спокойно доложил обо мне.

— Мадонна, прибыл мессер Агостино.

Я услышал, как она вскрикнула, еще прежде чем увидел ее. Она сидела во главе стола на своем обычном месте в большом деревянном кресле, а фра Джервазио, заложив руки за спину и склонив голову вперед, расхаживал по устланному тростником полу. Они беседовали.

Услышав мое имя, он мгновенно выпрямился и резко обернулся, устремив вопросительный взгляд на дверь. Моя мать поднялась с кресла, да так и осталась в этом положении, глядя на меня с величайшим изумлением, которое все возрастало по мере того, как могла разглядеть, в каком виде я нахожусь.

Эудженио затворил дверь и удалился, оставив меня стоять с внутренней ее стороны, в комнате. Некоторое время никто из нас не произносил ни слова.

Знакомая мрачная комната, которая показалась мне еще более мрачной, чем раньше, с ее высоко расположенными окнами и отвратительным распятием, подействовала на меня необычайно. В этой комнате я знал мир и покой, которые являются достоянием каждого ребенка, чем бы ни омрачалось его детство. Сейчас я

пришел сюда с адом в душе, черный грешник перед Богом и людьми, беглец, ищущий безопасного убежища.

В горле у меня стоял ком, из-за которого я был не в силах говорить. Но потом, разразившись рыданиями, я бросился к ней, не обращая внимания на боль в израненных ногах. Я упал перед ней на колени, зарылся лицом в ее платье, и единственное, на что я был способен в этот момент, был отчаянный крик:

— Матушка! Матушка!

Оттого ли, что она увидела, в каком состоянии я нахожусь, и поняла мои безумные страдания, но только то, что осталось в ней от женщины, исполнилось жалостью; может быть, мой вскрик был подобен жезлу Моисееву — прикоснувшись к скале ее сердца, иссушенного чрезмерной набожностью, он возвратил к жизни источник, так давно иссякший, и напомнил ей о тех узах, которые нас связывали. Во всяком случае, голос ее, когда она ко мне обратилась, звучал более нежно и ласково, чем мне когда-либо приходилось слышать.

— Агостино, дитя мое! Что привело тебя сюда? — И ее восковые пальцы нежно коснулись моей головы. — Почему ты здесь и в таком виде? Что с тобой случилось?

— О, я несчастный! — стenal я.

— В чем дело? — продолжала спрашивать она со все возрастающим беспокойством.

Наконец я набрался смелости для того, чтобы сказать ей что-то, что подготовило бы ее к дальнейшему.

— Матушка, я великий грешник, — с трудом вымолвил я.

Я почувствовал, как она отпрянула от меня, как от чего-то нечистого и заразного, ибо в ее мозгу каким-то неуловимым образом зародилось предчувствие — она начала догадываться о том, что я сделал. Но потом заговорил Джервазио, и его спокойный тон оказал такое же действие, как масло, пролитое на бурные волны.

— Все мы грешны, Агостино. Однако раскаяние очищает грех. Не предавайся отчаянию, сын мой.

Однако мать, которая родила меня на свет, не разделяла этой христианской точки зрения.

— Что случилось? Что ты сделал, несчастный? — И холодная враждебность, прозвучавшая в ее голосе, снова лишила меня смелости, которую я только-только начал обретать.

— О, Господи, помоги мне! Помоги мне, Господи! — в отчаянии стenal я.

Джервазио, видя, в каком состоянии я нахожусь, с

его всегдашней способностью проявить сочувствие, быстро подошел ко мне и положил руку мне на плечо.

— Дорогой Агостино, — сказал он. — Может быть, тебе легче будет все рассказать сначала мне? Не хочешь ли исповедаться, сын мой? Позволь мне снять это тяжкое бремя с твоей души.

Все еще стоя на коленях, я поднял голову и посмотрел в его доброе бледное лицо. Я схватил его тонкую руку и поцеловал ее, прежде чем он успел ее отдернуть.

— Если бы на свете было побольше таких священников, как ты, то было бы меньше таких грешников, как я! — воскликнул я.

Тень пробежала по его лицу; он улыбнулся слабой улыбкой, которая напоминала бледный луч солнца, проглянувший с обложенного облаками неба, и обратился ко мне с кроткими утешительными словами божественного милосердия.

Я поднялся на ноги, преодолевая боль.

— Я исповедуюсь тебе, фра Джервазио, — сказал я, — а потом мы все расскажем моей матери.

Она взглянула на нас, словно желая возразить, однако фра Джервазио пресек эту ее попытку.

— Так будет лучше, мадонна, — серьезно сказал он. — Больше всего он нуждается в утешении, которое может дать только одна Церковь.

Он взял меня за руку и осторожно повел к двери. Мы прошли в его скромную келью с ее наваленным полом, где стояла узкая кровать с жестким соломенным тюфяком — жалкое ложе, на котором он спал; на стене висело изображение Пресвятой Девы, исполненное в синих и золотых тонах, а возле кровати стояла конторка с лежащей на ней открытой рукописью, которую он украшал цветными рисунками, ибо он был очень искусен в этом занятии, вышедшем к тому времени из моды.

За этой конторкой, стоящей у окна, он и сел в свое кресло, а мне сделал знак стать на колени. Я прочитал «Верую». Затем, закрыв лицо руками, терзаемый муками раскаяния и стыда, я исповедался, рассказав ему все о совершенном мною гнусном злодеянии.

Он почти не прерывал меня во время моего рассказа, только иногда, когда я останавливался или колебался, он вставлял одно-два слова сочувствия или утешения, которые падали, словно благословенный бальзам, на мои душевные раны и давали мне силы продолжать мой ужасный рассказ.

Когда я закончил, ему стало известно все, он знал, что я совершил два страшных греха: прелюбодеяние и убийство, и наступило продолжительное молчание, во время которого я ждал, что он мне скажет, словно преступник в суде, ожидающий своего приговора. Однако приговора не последовало. Вместо этого он принялся меня расспрашивать, как бы желая поглубже вникнуть в то, что я ему рассказал. Он пытался разобраться в отдельных моментах, задавая мне тот или иной вопрос, причем все это делалось с умом и тактом, показывающими недюжинное знание человеческой природы, а также доброту и сочувствие, проистекающие из этой печальной осведомленности.

Он заставил меня вернуться к самому началу, к первому дню моего пребывания в доме Фифанти; а потом, шаг за шагом, провел меня по тому пути, который я проделал за последние четыре месяца, пока не добрался до самого первоисточника зла и не проследил, как крохотный ручеек постепенно рос, набирая силу, и наконец превратился в мощный бушующий поток, который и разрушил свое узкое русло.

— Тот, кто знает, как родился грех, смеет ли осудить грешника? — воскликнул он наконец, так что я поднял голову и взглянул на него с удивлением, чувствуя, как сквозь мрак пробивается робкий луч надежды и утешения. Ответный его взгляд был полон бесконечной жалости.

— Это все из-за женщины. На нее падает основная вина, — сказал он наконец.

Я стал горячо возражать в ответ, добавив, что должен покаяться еще в одном мерзком поступке, ибо только сейчас, в первый раз, я это по-настоящему понял. И я рассказал ему, как вчера ночью я оттолкнул ее от себя, отрекся от нее и бежал, предоставив ей расплачиваться за все в одиночестве.

Он не стал осуждать меня за этот поступок.

— Это ее грех, — повторил он. — Она — жена своего мужа, и она совершила прелюбодеяние. Более того, она соблазнительница. Именно она развратила твой ум чтением непристойных произведений, разрушила фундамент добродетели в твоей душе. Если разразилась буря, в результате которой она может погибнуть, то виновата в этом только она сама, и никто больше.

Я продолжал возражать, сказав, что эта точка зрения слишком щадит меня, что она проистекает исключительно из его любви ко мне и что это несправедливо. Тогда

он стал разъяснять мне многие вещи, которые вы, знакомые со светом, прекрасно поняли сами, прочитав мое подробное добросовестное повествование, но которые для меня в ту пору были окутаны мраком неизвестности.

Он как будто бы показал мне зеркало — умное и всеведущее зеркало, в котором отражались мои поступки, освещенные светом его глубокой мудрости. Он показал мне весь процесс постепенного обольщения, которому я подвергался; показал мне Джулиану в ее истинном свете на основании того, что я ему рассказал; напомнил, что она была десятью годами старше меня, весьма искушена во всех житейских делах и в особенности в том, что касалось мужчин; что там, где я брел вслепую, не подозревая, к какому концу ведет меня дорога, по которой я иду, она сознательно вела меня по ней, точно зная конечную цель и стремясь к ней.

Что же до убийства Фифанти, то тут дело обстоит значительно серьезнее, однако это произошло в пылу борьбы, и вряд ли я действительно желал лишить жизни этого несчастного человека. Нельзя также сказать, что во всей этой истории Фифанти уж совсем не виноват. Он сам во многом способствовал этой трагедии. В его сердце было много злобы. Хороший человек не оставил бы жену в таком окружении, которое, как он прекрасно понимал, было для нее вредно и опасно, не стал бы использовать ее в качестве приманки для того, чтобы захватить и уничтожить своего врага.

Но больше всего он винил этого мессера Арколано, который рекомендовал моей матери Фифанти в качестве наставника, прекрасно зная — по крайней мере он должен был бы об этом знать, — что собой представляет дом, в котором он живет, и какая распутница у него жена. Арколано искал случая услужить Фифанти, отнюдь не думая об интересах моей матери и моих, и ей следовало наконец узнать, что собой представляет этот скверный человек.

— Однако, — заключил он, — все это совсем не означает, Агостино, что ты не должен считать себя грешником. Ты согрешил, совершил ужасный грех, даже принимая во внимание все, о чем мы говорили.

— Я знаю это! Знаю! — стонал я.

— Но не было еще такого грешника, который не заслуживал бы прощения, и это относится к тебе тоже. Поскольку твое раскаяние глубоко и истинно, я наложу на тебя епитимью, с помощью которой ты очистишься

от скверны, приставшей к твоей несчастной душе, а после этого ты получишь от меня отпущение грехов.

— Налож, наложи на меня епитимью! — страстно воскликнул я. — Нет такой кары, которую я не согласился бы нести, чтобы заслужить прощение и обрести душевный покой.

— Я обдумаю это, — серьезно проговорил он. — А теперь пойдем к твоей матушке. Нужно все ей рассказать, ибо от этого зависит очень многое, Агостино. Карьера, для которой ты был предназначен, теперь закрыта для тебя, сын мой.

Душа моя содрогнулась при этих словах, и в то же время я почувствовал невероятное облегчение, словно какая-то огромная тяжесть свалилась с моих плеч.

— Конечно, я недостоин, — сказал я.

— Я думаю не об этом, сын мой. Дело не в том, что ты недостоин, дело в твоей натуре. Зов мира слишком силен в тебе. Недаром ты сын Джованни д'Ангвиссола. В твоих жилах течет его кровь, это горячая красная кровь живого человека. Таким, как ты, нет места в монастыре. Необходимо, чтобы твоя матушка это поняла и рассталась со своими мечтами касательно твоего будущего. Это нанесет ей глубокую рану. Однако это лучше, чем... — Он пожал плечами и встал. — Пойдем, Агостино.

Я тоже встал, безмерно успокоенный и умиротворенный, хотя нельзя сказать, чтобы в душе моей царили мир и покой. Когда мы вышли из комнаты, он положил руку мне на плечо.

— Погоди, — сказал он. — Мы в какой-то мере позаботились о твоей несчастной душе. Давай теперь подумаем и о теле. Тебе нужна одежда и много чего другого. Пойдем со мной.

Он повел меня наверх, в мою собственную крошечную комнатку, достал из шкафа чистое платье, позвал Лоренцу и велел ей принести хлеба, вина, теплой воды и уксусу.

В очень слабом растворе уксуса он велел мне обмыть мои израненные ноги, а потом, разорвав на полосы кусок тонкого полотна, перевязал их, прежде чем я стал надевать панталоны и сапоги. И в то время как я поглощал хлеб с солью, запивая его крупными глотками немного кисловатого вина, мой душевный покой укреплялся, по мере того как насыщалось тело.

Наконец я поднялся — впервые за эти ужасные двенадцать часов я стал хоть сколько-нибудь похожим на

себя, — ибо уже настал полдень, и в эти двенадцать часов вместилось столько событий, что их могло хватить на целую жизнь.

Фра Джервазио обнял меня за плечи так ласково, как мог бы это сделать отец, и снова повел меня вниз, где я должен был предстать перед моей матерью.

Мы нашли ее коленопреклоненной перед распятием, она молилась, перебирая четки; и мы несколько минут молча стояли в ожидании; наконец она вздохнула, медленно поднялась с колен, шелестя грубой тканью своего черного платья, и обратилась в нашу сторону.

Сердце мое бешено колотилось в момент, когда я увидел это бледное, скорбное лицо. Затем фра Джервазио заговорил тихим, вкрадчивым голосом.

— Ваш сын, мадонна, был введен в грех распутной женщиной, — начал он, но она тут же прервала его, издав жалобный крик.

— Только не это! О, только не это! — воскликнула она, протянув вперед дрожащие руки.

— Именно это, но еще и другое, мадонна, — сурово продолжал он. — Мужайтесь и выслушайте до конца. То, что с ним произошло, весьма прискорбно. Однако источник божественного милосердия неистощим, и Агостино припадет к нему, как только очистит свои уста покаянием.

Она стояла перед нами прямая, безмолвная, похожая на призрак; лицо ее казалось прозрачным на фоне черных складок вуали, его обрамлявших, а глаза напоминали две огромные чаши, до краев наполненные скорбью. Бедная, бедная матушка! Такой сохранилась ты в моих воспоминаниях; ибо с того дня мы больше ни разу не встречались, и я готов десять лет оставаться в чистилище, только бы мне вспомнить последние слова, которыми мы обменялись.

Как можно более кратко, все время выставляя на первый план искушения, которыми меня окружали, силки, расставляемые для того, чтобы меня заманить, Джервазио рассказал историю моего грехопадения.

Она выслушала его до конца, все в той же неподвижной позе, прижав одну руку к сердцу, шевеля губами, но не произнося ни слова; лицо — бледная маска, воплощение страдания и ужаса.

Когда он закончил, меня настолько потрясло это выражение скорби, что я снова рванулся к ней и упал перед ней на колени.

— Матушка, простите меня! — молил я. Не получив

ответа, я протянул руку, чтобы дотронуться до ее руки. — Матушка! — взывал я к ней, и слезы ручьем катились по моему лицу.

Но она отпрянула от меня.

— И это мое дитя? — вопрошала она голосом, полным ужаса. — Неужели это то, что выросло из младенца, которого я обещала отдать Богу чистым и целомудренным? Вот она расплата за мой собственный грех — я согрешила, родив сына Джованни д'Ангвиссола, этому богоотступнику!

— О, матушка, матушка, — вскричал я снова, надеясь, возможно, этим всемогущим словом пробудить в ней жалость и мягкосердечие.

— Мадонна! — взывал к ней Джервазио. — Если вы ищете милосердия, будьте милосердны сами.

— Он осквернил мою клятву, — проговорила она каменным голосом. — Он был искупительной жертвой, которую я обещала в обмен на жизнь его недостойного отца. Вот кара мне за столь недостойное приношение и столь же недостойную цель, во имя которой была принесена жертва. Проклят плод моего чрева! — простенала она, и голова ее упала на грудь.

— Я все это искуплю! — воскликнул я, потрясенный ее горем.

— Искупить! — отозвалась она дрожащим голосом, ломая бледные руки. — Иди же, искупай. Но никогда больше не показывайся мне на глаза. Я не желаю ничего знать о грешнике, которому дала жизнь. Уходи! Прочь с глаз моих! — И она подняла руку трагическим жестом, изгоняя меня от себя.

Я отодвинулся от нее, медленно поднимаясь на ноги. И тут заговорил Джервазио — голос его обрел необычайную силу от справедливого негодования.

— Мадонна, это бесчеловечно! — гремел он. — Посмеете ли вы взывать о милосердии, будучи столь немилосердной?

— Я буду молить Создателя о том, чтобы он даровал мне силы простить. Однако его вид может ввести меня во искушение: я могу вспомнить о том, что он сотворил, — отвечала она, и к ней снова вернулась ее ужасная холодная сдержанность.

И в этот момент то, что фра Джервазио хранил в себе столько лет, мощным потоком вырвалось наружу.

— Он ваш сын, и он таков, каким вы его сделали.

— Как это я его сделала? — спросила она, спокойно встречая взгляд монаха.

— По какому праву сделали вы из него искупительную

жертву? По какому праву вы решили обречь еще не рожденного дитя на жизнь затворника, не задумываясь о его характере, о том, каковы могут быть его желания в будущем? По какому праву вы позволили себе решать судьбу еще не рожденного человека?

— По какому праву? — спросила она. — Какой же вы священник, если спрашиваете меня, по какому праву я дала обет, что он будет служить Богу?

— А вы думаете, что нет другого способа служить Богу, кроме как затворившись в монашеской келье? — требовал он ответа. — Ведь если ни один человек не должен быть осужден на проклятие с самого рождения и если, по вашему мнению, все мирское заслуживает проклятия, то значит, что все люди должны запереться в монастырях, и, таким образом, со временем человечеству наступит конец. Вы слишком самонадеянны, мадонна, если берете на себя решить, что угодно Богу. Берегитесь, как бы вам не впасть в грех фарисейства, я часто замечал, что вам грозит эта опасность.

Она покачнулась, словно силы оставили ее, и снова ее бледные губы зашевелились.

— Довольно, фра Джервазио, я уйду! — вскричал я.

— Нет, еще не довольно, — возразил он и большими шагами пересек комнату, остановившись возле нее и меня. — Он такой, каким вы его сделали, — повторил он осуждающим тоном. — Если бы вы дали себе труд изучить его характер, его наклонности, если бы вы предоставили ему свободу и дали возможность развиваться в обычных условиях, в которые Господь помещает обыкновенных людей, вы бы имели возможность определить, годится он для монастыря или нет. И тогда можно было бы принять окончательное решение. Но вы не желали понять, что он оказался не таким, каким вам хотелось бы его видеть, и вы, по всей вероятности, обрекли бы его на проклятие, сделав из него дурного священника. В своем фарисейском высокомерии вы в отношении этого мальчика пытались противопоставить свою волю воле Божией, вы подменили Его волю своей. И поэтому грехи вашего сына падут на вашу голову, и за них придется расплачиваться не кому-нибудь другому, а вам. Остерегитесь, мадонна. Держитесь более скромных взглядов, если хотите, чтобы Господь взглянул на вас. Научитесь прощать, ибо, говорю я вам, сегодня вы нуждаетесь в прощении за то, что совершил Агостино, ничуть не меньше, чем он сам.

Он наконец замолчал и стоял перед ней, весь дрожа; глаза его сверкали, легкий румянец покрывал щеки. Она же смотрела на него холодно и бесстрастно, мрачное выражение ее лица ничуть не изменилось.

— Разве ты священник? — спросила она со спокойной насмешкой. — Неужели ты действительно священник? — И тут сдержанность изменила ей, гнев ее вырвался наружу, и она разразилась потоком хриплой брани. — Какую змею пригрела я на своей груди! — вопила она, раскачиваясь от злости. — Богохульник! Теперь я понимаю, из какого источника родилось безбожие и неверие Джованни д'Ангвиссола. Он всосал их с молоком твоей матери!

Рыдание вырвалось из его груди.

— Моей матери уже нет в живых, мадонна, — упрекнул он ее.

— Значит, она счастливее, чем я, поскольку она не дожила до того, чтобы увидеть, каких грешников она вскормила. Уходи же отсюда, презренный монах. Оба уходите. Вы стоите один другого. Уходите из Мондольфо, и чтобы я больше никогда не видела ни того, ни другого.

Она с трудом добралась до своего кресла и упала в него, в то время как мы стояли на месте, молча глядя на нее. Что касается меня, то я с трудом сдерживался, чтобы не высказать все язвительные слова, которые просились мне на уста. Если бы мне дали волю, мой язык был бы подобен жалу скорпиона. Гнев мой был рожден совсем не тем, что она сказала мне, но тем, что она говорила этому святому человеку, который протянул руку, чтобы помочь мне выбраться из трясины греха, в которую я погружался. То, что его, прекрасного и милосердного последователя Господа, оскорбляли, называли богохульником, а священную для него память его матери оскверняли ханжескими поношениями, — вот что возмутило мою душу, наполнило ее негодованием.

Но он положил руку мне на плечо.

— Пойдем, Агостино, — сказал он очень ласково. — Мы уйдем отсюда, раз нас выгоняют. Уйдем вместе, ты и я.

А потом, исключительно по доброте своей натуры, он, сам того не желая, нашел оружие, которое должно было поразить ее в самое сердце.

— Прости ее, сын мой. Прости, ибо ты и сам нуждаешься в прощении. Она не ведает, что творит. Пойдем. Будем молиться за нее. Да научит ее Господь,

в своем бесконечном милосердии, смирению и истинному пониманию Его воли.

Я видел, как она вздрогнула, словно ее что-то кольнуло.

— Богохульник! Изыди! — снова закричала она хриплым от ярости голосом.

И вдруг дверь распахнулась, и в комнату, бряцая оружием, вошел Ринольфо с воинственным и важным видом, держа за спиной шпагу острием вверх.

— Мадонна, — объявил он, — здесь находится капитан стражи порядка, он прибыл к нам из Пьяченцы.

Глава вторая

КАПИТАН СТРАЖИ ПОРЯДКА

Воцарилось недолгое молчание, после того как Ринольфо выпалил свое сообщение.

— Капитан стражи порядка? — переспросила моя мать испуганным голосом. — Что ему нужно?

— Ему нужен мессер Агостино д'Ангвиссола собственной персоной, — твердым голосом доложил Ринольфо.

Моя мать глубоко вздохнула.

— Достойный конец всякого преступника, — прошептала она и обернулась ко мне. — Если таким образом ты искупишь свои грехи, — сказала она мне, и голос ее звучал несколько мягче, — то пусть свершится воля Божия. Введи капитана, Ринольфо.

Он поклонился и повернулся кругом, чтобы идти.

— Остановись! — крикнул я, и он замер на месте, повинувшись моему повелительному тону.

Фра Джервазио был более чем прав, говоря, что по своей натуре я не гожусь для монастырской кельи. В тот момент я, вероятно, полностью это осознал по той готовности, с которой я тут же приветствовал мысль о предстоящей драке, а также по тому жару, который наполнил все мое существо от одного только ее предвкушения. Я был истинным сыном Джованни д'Ангвиссола.

— Сколько человек сопровождают капитана? — спросил я.

— При нем находится шесть всадников, — ответил Ринольфо.

— В таком случае ты передашь ему от моего имени, чтобы он убирался вон.

— А если он не уйдет? — последовал дерзкий вопрос Ринольфо.

— Ты ему скажешь, что я его отсюда выгоню вместе с его храбрыми воинами. Наш гарнизон состоит по крайней мере из двух десятков человек — вполне достаточно для того, чтобы заставить их удалиться.

— Но он снова вернется с подкреплением, — сказал Ринольфо.

— Какое тебе до этого дело? — оборвал я его. — Пусть приводит с собой кого хочет. Я сегодня соберу достаточно людей из города и окрестных деревень, мы поднимем мост и зарядим пушки. Это мое родовое гнездо, моя крепость, и я буду защищаться, как подобает мне по рождению и по тому имени, которое я ношу. Здесь я господин и повелитель, и пусть капитан стражи порядка не рассчитывает на то, что владетель Мондольфо позволит себя отсюда увести. Ты получил мое приказание. Выполняй же его. Живо!

Обстоятельства указали мне путь, по которому мне следовало идти, и я понял, как глупо было бы послушаться приказания моей матери и покинуть Мондольфо, сделавшись бродягой и изгнанником. Я был владетелем Мондольфо, и с этого часа они должны были это почувствовать — все, как один, не исключая моей матери.

Но моей ошибкой было то, что я, не приняв во внимание ту ненависть, которую питал ко мне Ринольфо. Вместо того чтобы сразу же подчиниться, как я рассчитывал, он снова повернулся к моей матери.

— Вы этого желаете, мадонна? — спросил он.

— Здесь должны подчиняться моим желаниям, ты, негодяй! — прорычал я и двинулся к нему.

Однако он повернулся ко мне без всякого страха.

— Я исполняю свою должность по поручению моей госпожи графини. Я не подчиняюсь здесь никому другому.

— Клянусь телом Христовым! Ты смеешь мне перечить? — вскричал я. — Господин я или лакей в своем собственном доме? Делай то, что тебе говорят, Ринольфо, а не то я тебя просто уничтожу. Посмотрим, кому будут подчиняться наши люди, — добавил я самоуверенно.

Легкая улыбка появилась на его физиономии.

— Наши люди и пальцем не шевельнут, если им будет приказывать кто-то помимо мадонны или меня, — дерзко заявил он.

Мне стоило больших усилий не наброситься на него и не отколотить. Но в эту минуту снова заговорила моя мать.

— Все именно так, как говорит Ринольфо, — сообщила

она мне, — так что прекрати это бессмысленное сопротивление, сын мой, и прими искупление, которое тебе предлагается.

Я посмотрел на нее, однако она избегала моего взгляда.

— Мадонна, я не могу себе представить, чтобы это было так, — сказал я. — Эти люди знают меня с детства. Многие из них участвовали в кампаниях моего отца. Они не отвернутся от его сына в трудную минуту. Они не столь бесчеловечны, как моя мать.

— Вы ошибаетесь, сэр, — сказал Ринольфо. — Из старых солдат, что знали вас, не осталось почти никого. Большинство из тех, кто составляют гарнизон, набраны мною в течение последних нескольких месяцев.

Это было поражение, полное и окончательное. Он говорил уверенным тоном, он знал, насколько твердо его позиция, не оставляя мне ни малейшего сомнения в том, что именно произойдет, если я обращусь к его подлым приспешникам. Руки мои бессильно опустились, и я посмотрел на Джервазио. Он сразу осунулся, и в глазах его, обращенных ко мне, проглянула глубокая печаль.

— Это правда, Агостино, — сказал он.

В то время как он это говорил, Ринольфо, хромая, вышел из комнаты, чтобы ввести капитана стражи порядка, как велела ему моя мать; на губах его играла жестокая улыбка.

— Госпожа моя матушка, — с горечью обратился я к ней. — То, что вы сделаете, чудовищно. Вы узурпировали власть, которая мне принадлежит, и вы отправляете меня, своего сына, на виселицу. Я надеюсь, что впоследствии, когда вы до конца поймете то, что вы совершаете, вы сможете продолжать жить со спокойной совестью.

— Мой первый долг — это долг Господу Богу, — отвечала она, и на это жалкое, ничтожное заявление нечего было возразить.

И я отвернулся от нее и стал ждать; фра Джервазио стоял возле меня, сжимая кулаки от бессилия и немного отчаяния. А потом послышался звон доспехов, возвещающих о приближении капитана, начальника стражи порядка.

Ринольфо придержал дверь, и в комнату твердо и уверенно вошел Козимо д'Ангвиссола в сопровождении двух своих подчиненных.

На нем был камзол из буйволового кожи, под которым он, несомненно, носил кольчугу; шею и руки защищали латный воротник и запястники из сверкающей стали, а

на голове был стальной шлем, прикрытый бархатом персикового цвета. Ноги были обуты в невысокие сапоги, а на поясе висели шпага и кинжал в серебряной оправе. На его красивом лице с орлиным носом застыло торжественное выражение.

Он низко поклонился моей матери, которая поднялась с места, чтобы ответить на приветствие, а потом бросил в мою сторону быстрый взгляд своих пронзительных глаз.

— Я сожалею о возложенном на меня поручении, — коротко объявил он. — Я не сомневаюсь, что вам уже известно, в чем оно состоит.

И он снова посмотрел на меня, позволяя себе задержаться взглядом на моем лице.

— Я готов, сэр, — отвечал я.

— В таком случае не будем медлить, ибо я понимаю, насколько нежелательно мое присутствие здесь. И тем не менее, мадонна, позвольте вас уверить, что для меня в этом нет ничего личного. Я лишь выполняю свои функции.

— Такие пространные объяснения, несмотря на то, что не было выражено никаких сомнений, — заметил фра Джервазио, — сами по себе уже внушают подозрения относительно вашей искренности и честности. Разве вы не Козимо д'Ангвиссола, кузен и наследник моего господина?

— Да, это верно. Однако это не имеет ни малейшего отношения к существу дела, господин монах.

— А почему, собственно, не имеет? Пусть имеет то отношение, которое оно должно иметь. Вы собираетесь препроводить человека одной с вами крови на виселицу, не так ли? А что скажут об этом люди, в особенности когда они узнают, насколько это вам выгодно?

Козимо смотрел прямо на него, однако не в глаза, а между глаз. Его орлиное лицо сильно побледнело.

— Господин священник, я не знаю, по какому праву вы обращаете ко мне свою речь. Но вы ко мне несправедливы. Я исполняю должность подесты* в Пьяченце и связан клятвой, нарушить которую было бы для меня равносильно бесчестьем, и я должен либо нарушить свою клятву, либо выполнить мой долг. Но довольно! — добавил он высокомерным, безапелляционным тоном. —

* Подеста (*ит. podesta, лат. potestas* — власть) — мэр итальянского города.

Мессер Агостино, я жду, когда вам будет угодно за мною последовать.

— Я обращусь с жалобой в Рим! — вскричал фра Джервазио, вне себя от горя.

Козимо улыбнулся, мрачно и с сожалением.

— Неужели вы воображаете, что Рим будет слушать жалобы, касающиеся сына Джованни д'Ангвиссола?

С этими словами он сделал мне знак следовать за ним, не оглянувшись в сторону моей матери, которая сидела на своем месте молчаливым свидетелем сцены, которую одобряла.

Стражники двинулись за мной, по одному с каждой стороны, и таким образом мы вышли во двор, где ожидали остальные люди Козимо и где собрались все обитатели замка — небольшая, испуганная толпа, безмолвно созерцающая эту сцену.

Мне привели мула, и я сел в седло. Потом я снова неожиданно увидел возле себя фра Джервазио.

— Я тоже уйду отсюда, — сказал он. — Не теряя мужества, Агостино. Я сделаю все возможное и невозможное ради твоего спасения. — Дрожащим голосом он добавил какие-то прощальные слова, но потом капитан строго велел ему отойти, что он и сделал. Небольшой отряд окружил меня, и таким образом, через два часа после возвращения домой, я снова покинул Мондольфо, отданный в руки палачу благочестивыми руками моей матери, которая, вне всякого сомнения, на коленях будет благодарить Создателя за то, что он оказал ей великую милость, позволив совершить столь праведный поступок.

Только раз мой кузен обратился ко мне, это было вскоре после того, как мы оставили наш город позади. Он знаком велел своим стражам отъехать в сторону, приблизился ко мне, и мы поехали рядом. Он посмотрел на меня презрительным, ненавидящим взглядом.

— Мне кажется, ты зря бросил играть в святость, но вот грешник из тебя получился великолепный, — сказал он.

Я ничего ему не ответил, и он некоторое время продолжал ехать рядом со мной.

— Ну что же, — выдохнул он наконец. — Твой путь по этой тропе был недолог, зато полон событий. Кто бы мог подумать, какой свирепый волк скрывается под этой овечьей шкурой! Клянусь телом Христовым! Ты одурачил нас всех. Ты и твоя белоликая шлюха.

Он проговорил эти слова сквозь крепко сжатые губы

и с такой яростью в голосе, что было ясно, как он беснуется.

Я мрачно смотрел на него.

— Как тебе кажется, пристало ли насмехаться над человеком, который является твоим пленником?

— А разве ты не насмеялся надо мной, когда у тебя была эта возможность? — с бешенством отозвался он. — Разве вы с ней вместе не смеялись над бедным дурачком Козимо, чьи деньги она брала с такой охотой, а ведь он был единственным, кому она не дарила своего расположения.

— Ты лжешь, собака! — обрушился я на него с такой яростью, что солдаты обернулись в нашу сторону. Он побледнел и поднял одетую в перчатку руку, в которой у него был хлыст. Однако он взял себя в руки и обратил свой гнев на солдат.

— Пошли вперед, чего стали! — рявкнул он.

Когда они немного отъехали и мы снова оказались одни, он продолжил:

— Я не лгу, синьор Агостино, — сказал он, — я предоставляю это соплякам и святошам всех мастей.

— Если ты говоришь, что она брала что-то от тебя, ты лжешь, — повторил я.

Он внимательно, как бы изучая, посмотрел на меня.

— А откуда, по-твоему, брались все эти бриллианты и драгоценные наряды? Уж не Фифанти ли ей их покупал, этот нищий педант? Или ты думаешь, что это делал Гамбара? Со временем этот скупердяй, возможно, заставил бы заплатить герцога. Но платить самому? Клянусь кровью Христовой, не было еще такого случая, чтобы он за что-нибудь заплатил. Или ты полагаешь, что всю эту роскошь ей предоставил Каро? Мессер Аннибале Каро, который сидит в таких долгах, что боится нос показать в Пьяченце, разве что какому-нибудь болвану-патрону вздумается вознаградить его за его поэтические труды. Нет, господин святоша. Это я платил, это я был таким дураком, что платил. Боже правый! Я почти что подозревал их всех. Но тебя, святошу... Тебя!

Он вскинул голову и рассмеялся горьким, весьма неприятным смехом.

— Ну ладно, — заключил он. — Теперь заплатишь ты, хотя и другой монетой. Как видишь, все останется в семье. — И он крикнул солдатам, приказывая им подождать.

После этого ехал впереди, мрачно и одиноко, в то

время как я ехал в сопровождении моих стражей. То, что он мне рассказал, сорвало пелену с моих глупых глаз. Мне стали понятны сотни мелочей, которые прежде приводили меня в недоумение. И я увидел, как бесконечно глуп и слеп я был, не понимая вещей, которые сразу же разглядел фра Джервазио на основании только моего рассказа.

Когда мы въезжали в Пьяченцу, через ворота Сан-Ладзаро, я снова попросил моего кузена подъехать ко мне.

— Господин капитан, — позвал я его, ибо не мог себя заставить назвать его кузеном. Он подъехал, вопросительно глядя на меня.

— Где она сейчас? — спросил я.

Он смотрел на меня несколько мгновений, так, словно моя наглость удивила его.

— Я и сам хотел бы это знать, — со злостью ответил он. — Очень хотел бы. Тогда вы оба были бы в моих руках. — И я увидел по выражению его лица, как он меня ненавидит, ненавистью, не знающей прощения, какая жестокая ревность терзает его. — Я думаю, об этом мог бы сообщить мессер Гамбара. Я в этом почти не сомневаюсь. Если бы я был в этом уверен, чего бы я только с ним не сделал! Что из того, что он губернатор Пьяченцы? Да пусть он будет губернатором хоть в самом аду, он и тогда от меня не уйдет. — И с этими словами он снова поехал вперед, оставив меня одного.

Слух о нашем прибытии разнесся по городу с невероятной быстротой, и горожане высыпали из домов и толпились на улицах; они указывали на меня пальцем, шептались между собой и неодобрительно качали головами. И чем дальше мы продвигались, тем больше становилось людей, так что, когда мы достигли площади перед дворцом-ратушей, обнаружили, что там собралась огромная толпа, ожидавшая нашего прибытия.

Мои стражи окружили меня, словно для того, чтобы защитить от этих людей. Но, как это ни странно, я не испытывал никакого страха, и вскоре мне пришлось убедиться, как мало было для него оснований, и понять, что действия стражей определялись совсем другими мотивами.

Люди стояли неподвижно, и на каждом обращенном ко мне лице, которое мне удавалось разглядеть, я замечал выражение, очень близкое к жалости. А потом, по мере того как мы приближались к дворцу, в толпе поднялся

ропот. Он все разрастался, приобретая зловеющий характер. И вдруг раздался крик, отчетливый и неистовый:

— Свободу ему! Свободу!

— Он владетель Мондольфо, — кричал какой-то высокий человек, — а кардинал-легат заставил его таскать для себя каштаны из огня! Он расплачивается за злодея, совершенные мессером Гамбарой!

В ответ ему снова раздались крики:

— Свободу ему! Свободу! — в то время как другие голоса гневно требовали: — Смерть легату!

Я ломал себе голову над тем, что здесь происходит, тогда как Козимо смотрел на меня, обернувшись через плечо, и, хотя губы его были неподвижны, глаза, казалось, улыбались насмешливой улыбкой. Кроме насмешки, однако, в этой улыбке чувствовалось еще и нечто другое, что было мне непонятно. Затем я услышал его повелительный голос.

— Назад, трусливые собаки! Убирайтесь в свои конуры! Прочь с дороги, не то мы раздавим вас.

Он обнажил свою шпагу, и его бледное лицо выражало такую жестокость и решительность, что толпа расступилась перед ним и крики стихли. Мы въехали во дворик дворца, огромные ворота захлопнулись перед лицом толпы и были заложены на засов.

Я слез со своего мула, и по указанию Козимо меня провели в одну из темниц, расположенных в подземельях дворца, где и оставили, сообщив, что на завтра я должен предстать перед трибуналом руоты*.

Я бросился на охапку сухой соломы, сваленной в углу, которая должна была служить мне постелью, и отдался своим горьким мыслям. В частности я размышлял о странном поведении толпы. Не то чтобы эту загадку трудно было разгадать. Было очевидно, что, поскольку они считали Гамбару любовником Джулианы и им стало известно — да еще в приукрашенном виде, как это обычно случается, — что кардинал-легат ночью явился в дом Фифанти, то они и заключили, что это гнусное убийство было делом рук мессера Гамбары.

Таким образом, легат пожинал плоды ненависти, порожденной тиранством и постоянными вымогательствами, столь характерными для его жестокого правления в Пьяченце. Поэтому, охотно веря всему мерзкому относительно человека, которого они ненавидели, они не

* Руота — высший суд католической церкви.

только обвинили его в смерти Фифанти, но пошли еще дальше, считая, что он сделал меня козлом отпущения, заставляя отвечать за его преступления; что меня приносят в жертву ради спасения жизни и репутации легата. Возможно, они вспомнили, в какой немилости мы, Ангвиссола из Мондольфо, были в Риме из-за нашей принадлежности к гибеллинам и из-за восстания, которое мой отец поднял против папской власти; вот таким образом, на основании этих обстоятельств, они и вывели свое заключение.

Население Пьяченцы уже давно находилось на грани бунта и мятежа против несправедливости Гамбары, и нужна была последняя капля вроде этой, которая переполнила чашу, для того, чтобы ненависть выплеснулась наружу.

Все это было ясно и очевидно, и мне казалось, что завтрашний суд может стать весьма интересным. Все, что мне нужно было сделать, — это отпираться; мне достаточно было стать рупором слухов, которые ходили по городу, — и только Богу известно, чем все это могло обернуться.

Однако потом я лишь горько улыбнулся этим мыслям. Отпираться? О нет! Это была бы окончательная низость, я не мог на нее согласиться. Руота должна выслушать правду, а Гамбару нужно оставить в покое, пусть позаботится о Джулиане, которая — Козимо был в этом уверен — бежала к нему, нуждаясь, естественно, в защитнике.

Это была горькая мысль. Степень этой горечи заставила меня осознать, как обстояло дело со мной, и это меня встревожило. И, размышляя об этом, я уснул, измученный душой и телом всеми ужасными событиями этого дня.

Глава третья

ИНТЕРЕСЫ ГАМБАРЫ

Япроснулся оттого, что надо мною стоял человек. Он был закутан в черный плащ, в руках у него был фонарь. Находившаяся за его спиной дверь была открыта — входя, он не закрыл ее.

Я мгновенно сел, вспомнив все то, что со мною происходило и где я нахожусь. Увидев, что я проснулся, посетитель заговорил.

— Ты очень крепко спишь для человека в твоих обстоятельствах, — сказал он, и я узнал голос мессера Гамбары, в котором слышалось холодное неодобрение.

Он поставил фонарь на табурет, так что от него падало круглое пятно света, пересеченное черными полосами. Плащ распахнулся, и я увидел, что Гамбара одет по-дорожному, в простое темное платье, и вооружен.

Он стоял немного в стороне, так чтобы мое лицо было освещено, тогда как его собственное оставалось в тени; таким образом он рассматривал меня в течение некоторого времени. Наконец, очень медленно, очень горько качая головой, он заговорил.

— Какой глупец! Какой безнадежный глупец! — сказал он.

Как вы знаете, я вывел свои заключения из поведения толпы и поэтому не вполне мог понять истинное значение его слов.

— Как было бы хорошо, — от всей души отвечал я, — если бы моя вина заключалась только в глупости.

Он раздраженно фыркнул.

— Ханжа всегда остается ханжой, — презрительно бросил он. — Ну же, вставай и будь, наконец, мужчиной. Ты уже сбросил свою тогу святости. Полно же притворяться.

— Я не притворяюсь, — ответил я ему. — А что до того, чтобы вести себя как мужчина, я, во всяком случае, сумею мужественно принять наказание, которое наложит на меня закон. Если только я смогу искупить...

— Плевать мне на твое искупление, — оборвал он меня. — Как ты думаешь, для чего я здесь нахожусь?

— Я жду, что вы мне это объясните.

— Я нахожусь здесь потому, что ты по своей глупости погубил нас всех. Зачем тебе понадобилось, — кричал он голосом, звенящим от гнева, — зачем тебе понадобилось убивать этого осла Фифанти?

— Иначе он убил бы меня, — ответил я. — Я заколол его в порядке самозащиты.

— Ха! И ты надеешься спасти свою шкуру подобными заявлениями?

— Нет. Я не собираюсь никого в этом убеждать. Говорю это только вам.

— Мне ничего не нужно говорить, — отрезал он. — Я прекрасно знаю, как было дело. Лучше я тебе кое-что скажу. Понимаешь ли ты, что из-за тебя я не могу оставаться в Пьяченце ни одного дня?

— Мне очень жаль... — неловко начал я.

— Прибереги свои сожаления для сатаны, — оборвал он меня. — Мне они ни к чему. Я поставлен перед необходимостью оставить свою должность губернатора и бежать среди ночи, словно вор, за которым гонятся. И за это я должен благодарить тебя. Ты видишь меня накануне отъезда. Лошади ждут меня наверху. Ко всем остальным подвигам, которые ты вчера совершил, можешь добавить и мою погибель. Ты отлично поработал для святого.

Он отвернулся и зашагал по моей темнице, до стены, а потом назад, так что я увидел его лицо, искаженное злобой. От его обычной изнеженности не осталось и следа; шарик с благоговениями был забыт, изящные пальцы отчаянно тербели острую бородку, огромный сапфир поблескивал в темноте.

— Послушайте-ка, господин Агостино, я мог бы вас убить, и сделал бы это с превеликим удовольствием. Ей-Богу! — Пристально глядя на меня, он достал из-за пазухи сложенный лист бумаги. — А вместо этого я приношу тебе свободу. Покажешь это офицеру у ворот Фодесты. Он тебя пропустит. А потом убирайся, чтобы тебя не видели на территории Пьяченцы.

На какое-то мгновение сердце мое замерло от изумления. Я быстро сбросил ноги на пол и привстал. Но потом снова опустился на свое ложе. Решение было принято... Мне надоел этот мир; надоела эта жизнь, — я отпил всего один-единственный глоток напитка, и он так жестоко обжег мне горло. Если я могу искупить мои грехи смертью и получить прощение, проявив покорность и смирение, большего я и не желаю. Я с радостью приму освобождение от всех горестей и скорбей, для которых я был рожден.

В нескольких словах я сообщил ему мое решение.

— Вы желаете мне добра, милорд, — заключил я. — Но...

— Клянусь всеми святыми! — вскричал он. — Я и не думаю желать тебе добра. Желаю тебе всего, чего угодно, только не добра. Разве я не сказал, что с удовольствием убил бы тебя? Каковы бы ни были грехи Эгидио Гамбары, он не лицемер и предстает перед своими врагами без маски.

— Но почему же тогда вы предлагаете мне свободу? — с удивлением воскликнул я.

— Да потому, что это проклятое население так на-

строено, что, если тебя начнут судить, неизвестно, что может произойти. Вполне возможно, что будет восстание, прямой мятеж против власти папы и кровопролитная война на улицах. А сейчас не время для этого. Святой Отец требует покорности. Со дня на день герцог Пьерлуиджи явится сюда, чтобы вступить во владение своими новыми землями, и очень важно, чтобы его любящие подданные оказали ему соответствующее гостеприимство. А если, напротив, его встретит мятежный непокорный люд, станут доискиваться причины, и вина падет на меня. Твой кузен Козимо уж позаботится об этом. Он очень хитрый господин, этот твой кузен, и он умеет блюсти свои интересы. Так что теперь ты понимаешь, как обстоят дела. Я не имею ни малейшего желания быть раздавленным этой историей. Достаточно того, что я пострадал из-за тебя, потеряв пост губернатора. А это выход из положения. Завтрашний суд не должен состояться. Будет известно, что ты сбежал. Таким образом, они успокоятся, и все затихнет. Итак, господин Агостино, теперь мы друг друга понимаем. Ты должен исчезнуть.

— Но куда мне идти? — воскликнул я, вспомнив свою мать и то, что Мондольфо — единственное безопасное место, было закрыто для меня ее жестокими благочестивыми руками.

— Куда? — повторил он. — Какое мне до этого дело? К дьяволу — куда угодно, лишь бы тебя не было здесь.

— Предпочитаю отправиться на виселицу, — сказал я совершенно серьезно.

— Отправляйся себе на здоровье, меня это совершенно не беспокоит, — ответил он со все возрастающим раздражением. — Но если тебя повесят, прольется кровь, погибнут невинные люди, и я сам могу пострадать.

— До вас, синьор, мне нет никакого дела, — ответил я ему, принимая его собственный тон и возвращая ему грубую откровенность, с которой он разговаривал со мной. — Я не сомневаюсь, что вы заслужили страдание. Но, поскольку может пролиться и другая кровь, могут пострадать невинные люди... Давайте мне бумагу.

Он нахмурил брови, и в то же время на губах его появилась змеиная улыбка.

— Твоя откровенность нравится мне больше, чем твое ханжество, — сказал он. — Итак, теперь мы понимаем друг друга, и никто ни у кого не остался в долгу. Отныне берегись Эгидио Гамбары. Это мое последнее

честное предупреждение. Смотри, никогда больше не попадайся на моем пути.

Я встал и посмотрел на него сверху вниз, с высоты моего роста. Я хорошо понял источник этого последнего проявления ненависти. Так же, как у Козимо, она происходила от ревности. Ведь ничто не порождает столько зла, как это чувство.

Некоторое время он выдерживал мой взгляд, потом повернулся и взял свой фонарь.

— Пошли, — сказал он, и я покорно пошел за ним по винтовой каменной лестнице и дальше, до самых ворот дворца.

Мы никого не встретили. Не имею представления, куда девалась стража; думаю, что Гамбара позаботился о том, чтобы ее убрали. Он открыл для меня калитку и, когда я выходил, вручил мне бумагу и тихо свистнул. Почти в тот же момент я услышал приглушенный стук копыт под колоннадой, и тут же возникла фигура человека с мулом на поводу, еле различимые в жемчужных сумерках рассвета, ибо рассвет уже наступил.

Гамбара вышел вслед за мной и закрыл калитку.

— Этот мул для тебя, — коротко сказал он. — С его помощью ты сможешь быстрее скрыться.

Так же коротко я поблагодарил его и сел в седло с помощью слуги, который держал мое стремя.

О, это была самая странная сделка, какую только можно себе представить! Мессер Гамбара, сгорая желанием меня убить, дарует мне жизнь, которая мне совсем не нужна.

Я тронул пятками бока своего мула и двинулся в путь сначала через пустую безмолвную площадь, а потом по узким улицам, где царила почти полуночная тьма.

Я выехал на открытое место перед Порто-Фодеста и подъехал к самым воротам. Одно из окон караульного помещения светилось желтым светом, и, как только я позвал, из дверей тотчас же вышел офицер с двумя солдатами, один из которых нес фонарь, прикрепленный к пике. Он высоко поднял его, чтобы офицер мог меня рассмотреть.

— В чем дело? — окликнул он меня. — Никого не велено выпускать сегодня ночью.

Вместо ответа я сунул ему под нос бумагу.

— Приказ мессера Гамбары, — сказал я.

Но он даже не посмотрел на бумагу.

— Сегодня ночью никого не велено выпускать, —

невозмутимо повторил он. — Таков полученный мною приказ.

— Чей это приказ? — спросил я, удивленный его тоном и манерой держаться.

— Приказ капитана стражи порядка, если тебе так хочется знать. Так что поворачивай и отправляйся, откуда пришел, и дожидайся утра.

— Нет, постой, — настаивал я. — Мне кажется, ты меня не расслышал. Со мною приказ милорда губернатора. Капитан стражи порядка не может препятствовать его выполнению. — И я снова помахал перед ним бумагой.

— Мне приказано никого не пропускать, даже самого губернатора, — твердо заявил он.

Это было очень смело со стороны Козимо, и я ясно видел его цель. Он, как правильно заметил Гамбара, был весьма хитер. Он тоже держал руку на пульсе состояния умов жителей Пьяченцы и понимал, чего можно от них ожидать. Он жаждал мести, это было ясно по его поведению, и был полон решимости не выпускать ни меня, ни Гамбару. Сначала нужно было, чтобы судили, приговорили и повесили меня, а потом, несомненно, горожане разорвут на части Гамбару; и вполне возможно, что сам мессер Козимо найдет тайные способы возбудить негодование толпы против легата и побудить ее к действиям. И, по всей вероятности, все нужные карты были у него на руках, ибо решительное поведение офицера показывало, насколько беспрекословно исполнялись его приказания.

Вскоре я смог еще раз убедиться в том, насколько точно они исполнялись. Я все еще стоял, тщетно пытаюсь протестовать, когда на улице, у меня за спиной, показался сам Гамбара верхом на крупной высокой лошади, в сопровождении конных носилок и эскорта, состоящего из десятка вооруженных всадников.

Он издал удивленное восклицание, увидев, что я все еще в городе, ворота закрыты, а я разговариваю с офицером. Он пришпорил коня и быстро подъехал к нам.

— В чем дело? — спросил он гневно и высокомерно. — Этот человек едет по государственному делу. Почему ты медлишь и не открываешь ворота?

— У меня приказ, — отвечал лейтенант вежливо, но твердо, — в котором говорится, что сегодня нет никаких пропусков.

— Вы меня знаете? — спросил Гамбара.

— Да, мессер.

— И вы смеете говорить о каких-то приказах? В Пьяченце не существует никаких приказов, кроме моих. Открывайте немедленно ворота.

— Мессер, я не смею.

— Обвиняю тебя в неповиновении, — объявил легат голосом, в котором слышались ледяные нотки.

Ему не нужно было спрашивать, чей это был приказ. Он сразу разглядел сети, раскинутые для того, чтобы его схватить. Но если мессер Козимо был хитер, то мессеру Гамбаре тоже нельзя было отказать в хитрости. Ни словом, ни жестом не показал он, что подвергает сомнению свою власть над этим офицером.

— Обвиняю тебя в неповиновении. — Больше он ничего ему не сказал, но обратился к солдатам, стоявшим позади лейтенанта. — Эй, вы там! — позвал он. — Вызовите стражу. Я Эгидио Гамбара, ваш губернатор.

Он был так спокоен и тверд, столько уверенности такого неоспоримого права командовать ими было в его тоне, что солдаты тут же бросились выполнять его распоряжение.

— Что вы хотите делать? — спросил офицер, который казался обескураженным.

— Болван! — прошипел Гамбара сквозь зубы. — Сейчас ты увидишь.

Из караульного помещения поспешно вышли шестеро солдат, и Гамбара обратился к ним.

— Пусть выйдет вперед капрал, — сказал он.

Из ряда, в который они поспешно выстроились, вышел один из них и салютовал губернатору.

— Посадите вашего офицера под арест, — холодно распорядился легат. — Он должен находиться в караульном помещении под замком до моего возвращения. А ты, капрал, примешь на это время командование.

Испуганный капрал снова салютовал и двинулся по направлению к своему офицеру. В глазах лейтенанта появилось выражение беспокойства. Он зашел слишком далеко. Он никак не ожидал, что с ним так обойдутся. Он чувствовал себя в своем праве, пока выполнял всего-навсего приказания Козимо, за которые должен был отвечать Козимо. А вместо этого оказалось, что губернатор собирается сделать ответственным его самого. Что бы он ни сделал сам, он прекрасно знал — так же, как знал это и Гамбара, — что его солдаты никогда не осмелятся ослушаться губернатора, который представлял здесь высшую власть, был первым после папы.

— Милорд, — воскликнул он. — У меня был приказ от капитана стражи порядка.

— И вы смеее утверждать, что этот приказ включал и моих посланников, и меня самого? — возмутился утонченный прелат.

— Совершенно определенно, мессер, — отвечал лейтенант.

— Это мы выясним по моем возвращении, и, если окажется, что ты говорил правду, капитан ответит за измену вместе с тобой, ибо это есть преступление. Уведите его, и пусть кто-нибудь откроет мне ворота.

Таким образом послушанию был положен конец, и минуту спустя мы уже были за пределами города, на берегу реки, которая с тихим журчанием спокойно несла свои воды в туманном свете наступающего дня между рядами мощных тополей, что стояли словно часовые, охраняя ее.

— А теперъ уходи, — коротко приказал мне Гамбара; и, повернув своего мула, я поехал к понтонному мосту, пересек по нему реку и направился в сторону холмов, лежащих на том берегу.

Однако на полпути я остановился, обернулся и посмотрел назад, на другую сторону реки. Стало заметно светлее, и на востоке появились розовые блики, провозвестники приближающегося восхода солнца. Там, вдали, можно было еще разглядеть небольшую кавалькаду легата, которая направлялась к югу. И тут, в первый раз за все это время, я подумал о носилках с кожаными занавесками, которые были плотно задернуты. Кто в них находился? Неужели это была Джулиана? Неужели Козимо говорил правду, уверяя меня, что она будет искать приюта у Гамбары?

Еще совсем недавно я призывал смерть, с восторгом думая о возможности искупления, о том, что я смогу очистить себя от скверны своих грехов. А сейчас, когда мне пришла в голову эта мысль, я стал жертвой невыносимой ревности по отношению к женщине, которую я еще так недавно ненавидел за то, что она была причиной моего падения. О, непостоянство человеческого сердца, вечная борьба жалкой натуры, подобной моей, между сознанием того, что хорошо, и желанием того, что дурно!

Напрасно я стремился обратить мои помыслы в другое русло; напрасно обращался к недавним событиям и недавним решениям; напрасно вспоминал покаянные мысли

вчерашнего утра, исповедь у колен фра Джервазио и твердое решение искупить свой грех и загладить свою вину чистой всей своей дальнейшей жизни. Все было напрасно.

Я повернул мула и, все еще борясь со своей совестью, снова пересек реку и направился на юг, чтобы догнать мессера Гамбару и положить конец сомнениям.

Я должен знать! Должен! Я не желал слушаться голоса разума, который говорил мне, что все это меня не касается, что Джулиана принадлежит прошлому, с которым я порвал, прошлому, которое я должен искупить, за которое должен молить о прощении. Я должен знать. Итак, я ехал по пыльной дороге следом за мессером Гамбарой, который, как я полагал, собирался присоединиться к герцогу в Парме.

Для меня не составляло никакого труда следовать за ними. Вопрос там, вопрос здесь, сопровождаемые описанием этой группы, — этого было достаточно, чтобы я мог идти по их следам. И, судя по ответам, мне казалось, что расстояние, разделяющее нас, все время уменьшается.

Я ослабел от голода, так как в последний раз ел накануне в полдень, в Мондольфо, да и то немного. Единственное, чем мне удалось утолить голод с тех пор, были несколько кистей винограда, которые я украл на винограднике и съел, продолжая трястись в седле по бесконечной Виа-Эмилия.

Было уже около полудня, когда наконец хозяин таверны в Кастель-Гвельфо сказал мне, что интересующая меня группа проехала через город всего за полчаса до меня. Услышав это, я прищипил усталое животное и поехал дальше, ибо было ясно, что, если я не потороплюсь, вполне может случиться так, что Гамбара со своими спутниками затеряются в Парме, прежде чем мне удастся их настигнуть. И вот, десять минут спустя, я заметил впереди, примерно в полумиле от меня, что среди деревьев что-то мелькает. Я свернул с дороги и углубился в лес. Некоторое время я еще ехал верхом; потом спешился, привязал мула к дереву и осторожно пошел дальше пешком.

Я нашел их в небольшой лесной ложинке возле ручья. Лежа на животе в высокой траве, я смотрел на них сверху, и черная ненависть наполняла мое сердце.

Они возлежали в этом прохладном благоуханном уголке, в тени огромного бука. Перед ними на земле была разостлана скатерть, на которой стояли блюда с жареным мясом, белым

хлебом и фруктами, а также бутылъ с вином, тогда как вторая бутылъ студилась в ручье.

Мессер Гамбара говорил, а она смотрела на него, полуприкрыв глаза, на ее несравненном лице блуждала ленивая, дерзкая улыбка. Вдруг, очевидно в ответ на какое-то его замечание, она рассмеялась, и этот смех был настолько неуместным, настолько беспечно-веселым, что я подумал: а уж не снится ли мне все то, что передо мною происходит? Это был вполне искренний и невинный смех ребенка, но еще никогда в жизни не слышал я звуков, наполнявших меня таким ужасом. Гамбара потянулся к ней и погладил ее по щеке своими изящными пальцами, и она спокойно приняла его ласку в своей обычной лениво-насмешливой манере.

Больше я не мог там оставаться. Я немного отполз назад, до зарослей орешника, которые позволяли мне встать, оставаясь незамеченным. Отсюда я бежал бегом. Сердце мое готово было разорваться, а губы способны были произнести только одно слово, которое вырвалось из моей груди, словно проклятие, и это слово было: «Шлюха!»

То, что случилось два дня назад, должно было бы наполнить ее душу скорбью и отчаянием. А она могла сидеть вот так, смеяться, наслаждаться изысканной пищей и предаваться разврату с этим кардиналом.

То небольшое, что оставалось от моих иллюзий, было разбито в прах в этот ужасный час. Нет больше добра на этом свете, твердил я себе, ибо, даже если к нему стремиться, оно искажается, принимая уродливую форму, как это случилось с моей матерью. И все-таки, несмотря на все свое ханжество, она была права. Покой и счастье можно найти только в монастыре. Горечь отчаяния и сожаления охватила меня со всей силой, когда я наконец понял, что не смею искать этого милосердного убежища, ибо мое собственное поведение сделало меня навеки недостойным.

Глава четвертая

АНАХОРЕТ С МОНТЕ-ОРСАРО

Словно слепой, пробирался я сквозь густые заросли, спотыкаясь на каждом шагу и даже не замечая, что спотыкаюсь, и наконец добрался до своего мула.

Я вскочил в седло и помчался сломя голову, но не тем путем, каким приехал, а на запад; не по дороге,

а по тропинке, вьющейся по лесам и лугам, вверх по холму и вниз в долину, словно одержимый, не зная, куда и зачем, и не думая об этом.

Да и куда мне было идти? Так же, как и мой отец, я стал изгоем, беглецом вне закона. Однако это меня покуда не тревожило. Моя душа — вся моя измученная израненная душа — была наполнена прошлым. Только о Джулиане думал я в этот теплый сентябрьский день, погоняя свое измученное животное. Никогда еще человек не предавался столь противоречивым раздумьям.

Во мне не осталось и следа от того настроения, которое охватило меня в тот час, когда я отвернулся от нее после убийства Фифанти. Я выслушал приговор, который тогда вынес ей фра Джервазио; в то время я сомневался в его справедливости, мне казалось, что он судит ее без всякого милосердия. Теперь мои собственные глаза убедили меня в том, что он говорил правду; но в то же время, когда я увидел, что она принадлежит другому, во мне проснулась бешеная ревность и не менее бешеное желание.

Эта тоска, это страстное желание охватило меня после того, как я обвинил ее, и как же скоро это случилось! Человеку свойственно, как я впоследствии убедился, желать чего-то с особенной силой, когда убеждаешься в том, что желанное для тебя потеряно. Как горько казнил я себя за то, что не увез ее с собой два дня тому назад, когда бежал из дома Фифанти, когда она сама просила меня об этом. Я презирал себя за то, что отрекся от нее, в тысячу раз более горько, чем презирал себя тогда, когда считал, что совершаю подлость, отрекаясь от нее.

Только сейчас я понял, как бесконечно я ее люблю, как глубоко корни нашей страсти проросли в моем сердце и укрепились в нем так прочно, что вырвать их можно разве только вместе с самой жизнью. Так я думал в тот момент; и эта мысль заставила меня звать ее, громко кричать, называя ее имя, взывать к ней через благоухание соснового леса, выражая этим криком свою тоску по ней, свое отчаяние.

Но вскоре это настроение сменилось другим. Меня охватило сознание греховности всего этого, настойчивое желание очиститься, изгнать из своего сердца память о ней, ибо она не может там оставаться, не толкая меня вновь на грех плотского желания. Я пытался это сделать изо всех моих слабых сил. Снова и снова я обвинял ее,

называя бездушной распутницей; винил ее во всех бедах, которые со мною приключились; приписывал ей даже то, что она использовала меня как орудие, которое помогло ей избавиться от докучливого мужа.

Однако потом я понял, что это всего лишь хитрая уловка, самообман, совсем как в басне о лисе, которая не может дотянуться до спелых, сочных гроздьев винограда, висящих у нее над головой. С тем же успехом можно ожидать от голодного человека, что он усилием воли утолит голод, терзающий его изнутри.

Так желание и совесть сцепились между собой в неразрешимом конфликте, и каждое чувство по очереди одерживало верх, в то время как я беспечно двигался вперед, пока не оказался на берегу реки.

Широкая серая полоса высушенных солнцем камней доходила до ручья, в который превратилась река в результате долгой засухи. По другую сторону этой сверкающей ленты воды простиралась вторая каменная полоса, дальше шли зеленые луга, а за ними поднималась серая громада города.

Этим городом был Форново, а обмелевшая река называлась Таро — старинная граница, разделявшая два народа: галлов и лигурийцев. Я стоял на историческом месте: именно здесь Карл Восьмой с боями пробивался назад во Францию, после того как захватил Неаполь. Однако не этот ничтожный король, уже четверть века назад превратившийся в прах, занимал в этот момент мои мысли. При виде Таро я думал не о битвах, а о доме. Для того чтобы добраться до Мондольфо, мне достаточно было следовать вверх по речной долине по направлению к длинному горному хребту, который возвышался передо мною со своими высокими, покрытыми снегом вершинами Монте-Гизо и Монте-Орсаро, сверкающими на солнце. Два, от силы три часа пути вдоль этого прохладного сверкающего потока, и я увижу серую цитадель Мондольфо.

Эти мысли заставили меня задуматься над своим положением, спросить себя, куда мне следует повернуть. Денег у меня не было — даже медного гроссо. Продать мне было нечего, кроме платья, которое было на мне — это было черное монашеское одеяние, — я надел его вчера в Мондольфо. Не было у меня и оружия, за которое я мог бы получить несколько монет. Единственное, что у меня было, — это мул, за него можно было выручить дукат или даже два. А что будет после того, как деньги

будут истрачены? Обращаться с просьбами к этому благочестивому осколку льда, моей матери, было более чем бесполезно.

Куда мне было идти? Мне, владельцу Мондольфо и Кармины, одному из самых богатых и могущественных властителей долины Таро? При этой мысли я чуть было не засмеялся горьким смехом отчаяния. Возможно, какой-нибудь крестьянин из *contado** пожалеет своего господина и даст ему приют и пищу в обмен на то, что могут заработать сильные руки его господина на земле, ему, господину, принадлежащей.

Вполне возможно, что мне придется испробовать этот путь. Это единственное, что мне остается. Ибо для того, чтобы бороться с моей матерью и отстаивать свои права, я не могу прибегнуть к помощи закона, который обрек меня на изгнание и был бы применен ко мне со всей строгостью, если бы я только себя обнаружил.

Потом я стал думать о том, чтобы искать убежища в каком-нибудь монастыре, предложить себя в качестве работника для выполнения самой тяжелой работы. Таким образом я, может быть, мог бы найти покой и, хотя и в меньше степени, чем предполагалось вначале, утешение в религии, которой я так бессовестно изменил. Эта мысль постепенно крепла и наконец превратилась в твердое решение. Она принесла мне утешение, сделалась страстным желанием.

Я пришпорил мула и поехал дальше по тропе, которая становилась все круче. Я понимал, что так или иначе мне придется скоро где-нибудь остановиться, ибо мой мул начал уставать.

Проехав еще три мили через зеленые заросли у подножия горы, я оказался возле небольшой деревушки, которая носила название Поджетта. Она состояла всего лишь из одной улицы, от которой отходили два-три узеньких переулка; там была жалкая маленькая церквушка и еще болсе жалкая таверна. Единственной вывеской этой последней служила ветка розмарина, прикрепленная над грязной дверью.

Я остановил своего мула, измученный не меньше, чем он сам, ослабевший от голода и жажды. Я спешил под подозрительным взглядом хозяина таверны, мощный подбородок которого напоминал фонарь; несмотря на мое

* *Contado* (итал.) — округа, окрестности города (в данном случае города Мондольфо).

скромное одеяние, он, по-видимому, счел меня слишком изысканной особой для своего заведения.

— Позаботься о моем муле, — велел я ему. — Я пробуду здесь час-другой.

Он угрюмо кивнул и увел мула, а я вошел в единственную комнату таверны. После яркого солнечного света я поначалу ничего не мог разглядеть, настолько там было темно. Свет проникал туда только через открытую дверь, поскольку единственное окошко давным-давно покрылось толстым слоем грязи и паутины и почти не пропускало света. Это была довольно обширная комната с низким беленым потолком, который держался на прокопченных параллельных балках.

Скользкий от грязи и остатков пищи пол был устлан тростником, таким грязным, что было ясно: его не меняли месяцами. Всюду валялись кости, их, по-видимому, бросали вежливые гости, которых принимал у себя хозяин. Стоял густой запах прогорклого масла, пригоревшего мяса и еще чего-то непонятного, словом, все было пропитано едкой тошнотворной вонью.

В дальнем конце комнаты был очаг, там, над огнем, висел котелок с каким-то варевом, над ним хлопотала молодая девушка. Когда я вошел, она обернулась. Это была высокая черноволосая девица, по-своему миловидная, несмотря на грубоватые черты лица и загорелую кожу, и обладающая недюжинной силой, судя по ее мускулистым рукам, обнаженным до локтей.

При виде столь необычного посетителя лицо ее оживилось. Она отошла от очага, вытирая на ходу руки о платье, и придвинула для меня табурет к простому длинному деревянному столу, занимающему всю середину комнаты.

В верхнем конце стола сидели четыре человека. Это были крестьяне, загорелые бородатые мужики в свободных крестьянских куртках и обмотках, переkreпленных ремешками.

При моем появлении воцарилось молчание — они в свою очередь разглядывали меня с откровенным любопытством, которое в своем простодушии они и не думали скрывать.

Я устало опустился на свой табурет, не обращая на них никакого внимания, и в ответ на вопросительный взгляд девушки попросил подать себе хлеба, мяса и вина. В то время как она все это готовила, один из мужиков вежливо обратился ко мне с каким-то вопросом. Я ответил

ему так же вежливо, однако несколько рассеянно, поскольку мои мысли были заняты совсем другими вещами. Потом другой крестьянин дружелюбным тоном осведомился, откуда я приехал. Я инстинктивно скрыл правду, ответив неопределенно, что следую из Кастель-Гвельфо — это то селение, возле которого я нагнал мессера Гамбару и Джулиану.

— А что говорят в Кастель-Гвельфо о том, что случилось в Пьяченце? — спросил кто-то из них.

— В Пьяченце? — переспросил я. — А что там могло случиться?

Тут они наперебой стали мне рассказывать, желая показать, как это свойственно сельским жителям, свою осведомленность в делах горожан, то, что, как я понял, было распространенной версией событий, связанных со смертью Фифанти. Говорили они оживленно, каждый старался вставить словечко, едва другой замолчит, а иногда говорили все наперебой, настолько каждому не терпелось высказать свое суждение.

Версия эта заключалась, конечно, в том, что Гамбара, будучи любовником жены Фифанти, отослал под каким-то предлогом доктора, а сам явился ночью ее навестить. Но что подозрительный Фифанти никуда не уехал, а затаился поблизости и, увидев, что кардинал вошел в дом, последовал за ним и напал на него; завязалась схватка, и Гамбара убил мужа. А потом этот коварный злодей-прелат пытался переложить вину за это убийство на юного правителя Мондольфо, который состоял в учениках доктора и жил в его доме, в результате чего молодого человека подвергли аресту. Однако жители Пьяченцы не пожелали мириться с такой несправедливостью. Они восстали, угрожая жизни губернатора, и ему пришлось бежать в Рим или в Парму, в то время как власти, желая избежать скандала, помогли мессеру д'Ангвиссола бежать, так что он тоже скрылся неизвестно куда.

Просто удивительно, с какой быстротой эта весть достигла отдаленного горного селения. Однако версия была ложной изначально. Жители Пьяченцы считали, что у них есть доказательство справедливости их предположения: показания мальчишки, которого Фифанти оставил шпионить за своим домом и который сказал, что видел, как кардинал вошел в дом. А бегство легата было для них лишним доказательством его виновности.

Так создается история. Нет сомнения в том, что

какой-нибудь усердный летописец в Пьяченце, имеющий зуб против Гамбары, перенесет на бумагу эти слухи, циркулирующие в Пьяченце, и отныне убийство Асторре Фифанти, осуществленное с самыми гнусными целями, несомненно, войдет в число преступлений Эгидио Гамбары, дабы потомки могли проклинать его имя с еще большим пылом, чем он на самом деле того заслуживает.

Я выслушал их молча и безучастно, лишь иногда задавая вопрос, чтобы узнать, какими еще подробностями обросла эта глупая история. И в то время как они поносили легата — с отвращением еврея, говорящего о свинине, — явился хозяин с блюдом жареной козлятины, хлебом и кувшином вина. Все это он поставил передо мной и включился в беседу о мерзостях мессера кардинала.

Я с жадностью набросился на еду, и при том, что мясо было жесткое и пригорелое, эта жареная козлятина на грязном столе казалась мне самой вкусной пищей, какую мне приходилось есть.

Увидев, что я неразговорчив и что от меня нельзя узнать ничего нового и интересного, крестьяне стали говорить между собой, и к ним вскоре присоединилась девушка, которую звали, кажется, Джованотца. Она рассказала им о новом чуде, которое сотворил отшельник с Монте-Орсаро.

Я посмотрел в ее сторону, потому что ее рассказ заинтересовал меня больше, чем все предыдущие, и спросил, кто этот анахорет.

— Пресвятая Дева! — воскликнула девушка, уперев руки в мощные бока и глядя на меня с великим удивлением. — Откуда вы явились, синьор, что ничего на свете не знаете? Не знаете о том, что творится в Пьяченце, а это уже известно всем и каждому, и никогда не слышали об анахорете с Монте-Орсаро! — И она возвела глаза к небу.

— Это очень святой человек, — сказал один из крестьян.

— И он живет совсем один в хижине, высоко в горах, — добавил другой.

— В хижине, которую он построил своими собственными руками, — пояснил третий.

— И питается орехами и травами и тем, что оставляют ему добросердечные путники, — ввернул четвертый, желая показать, что он осведомлен не менее остальных.

Однако теперь разговором завладела Джованотца, решительно и бесповоротно, и, поскольку она была жен-

щиной, ее язык работал безостановочно, и она с легкостью забила остальных собеседников, так что они не могли и слова вставить до тех пор, пока рассказ не был закончен. От нее я узнал, что у анахорета, некоего фра Себастьяно, было чудотворное изображение блаженного мученика святого Себастьяна, чьи раны чудесным образом кровоточили во все время Страстной недели, и что не было на свете такой болезни, которую нельзя было бы излечить с помощью этой крови, при условии, что у того, кого ею пользуют, не было бы смертных грехов и чтобы он был исполнен духа милосердия и веры.

Каждый набожный путник, следующий через перевал Чиза, непременно делал крюк, чтобы завернуть к его убогой хижине, приложиться к чудотворному изображению и испросить благословения отшельника. И каждый год, в то время как свершалось это чудо, к его жилищу совершалось настоящее паломничество со всей долины Таро и долины Баньянцы и даже из мест по ту сторону Апеннин. Так что фра Себастьяно собирал огромное количество милостыни, часть которой он снова раздавал бедным, а другую копил, чтобы построить мост через бурные потоки Баньянцы, переправа через которую стоила жизни многим бедным людям.

Я внимательно слушал рассказ о все новых чудесах. Теперь к девушке снова присоединились крестьяне; каждый из них поведал о каком-нибудь чудесном исцелении, о котором он знал не иначе как из первых рук. Множество удивительных подробностей сообщили они мне об этом святом — ибо они уже называли его святым, — так что у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это действительно святой человек.

Джованонца рассказала мне, как один пастух, проходя однажды ночью через перевал, вдруг услышал пение; это были самые удивительные, самые сладкие звуки из всех, что когда-либо раздавались на земле; они привели этого человека в такой необычайный экстаз, что было совершенно ясно: он слышал не что иное, как ангельский хор. А потом один из крестьян, самый высокий и темноволосый из всех, поклялся великой клятвой, что однажды, находясь в горах, он видел, как хижина отшельника светилась небесным светом на фоне темной массы горы.

Все это заставило меня задуматься, наполнив душу удивлением. Однако потом направление беседы изменилось, они заговорили о винограде, о том, как он прекрасно уродился на виноградниках Фонтана-Фредда, и о том, что

нынче следует ожидать хорошего урожая маслин. А потом гул голосов мало-помалу стих, а для меня исчез вовсе, и я уснул, положив голову на руки.

Проснулся я приблизительно час спустя, чувствуя, что руки у меня затекли, а все тело одеревенело от неудобного положения, в котором я спал. Крестьяне все разошлись, а угрюмый хозяин стоял возле стола надо мной.

— Вам следует продолжать свой путь, — сказал он, видя, что я проснулся. — До заката осталось не более двух часов, и, если вы собираетесь ехать через перевал, не следует медлить, иначе вас в пути застанет ночь.

— Мой путь? — вслух спросил я и вопросительно посмотрел на него.

В какие края лежал мой путь, кто бы мог ответить?

Потом я вспомнил о принятом раньше решении искать приюта в каком-нибудь монастыре, и его слова о перевале заставили меня подумать о том, что для меня было бы разумнее оказаться по ту сторону гор, в Тоскане. Там меня не достанут когти Фарнезе, тогда как сейчас, пока я нахожусь на территории, подвластной папе, меня в любую минуту могут схватить.

Я тяжело поднялся с места и вдруг вспомнил о том, что у меня совсем нет денег. На мгновение это привело меня в отчаяние. Но потом я вспомнил о муле и решил, что дальше я буду двигаться пешком.

— Я хочу продать мула, — сказал я хозяину. — Он находится у тебя в конюшне.

Он почесал за ухом, соображая, очевидно, что у меня на уме.

— Да? — спросил он с сомнением. — А на какой рынок вы собираетесь его вести?

— Я предлагаю его тебе, — сказал я.

— Мне? — воскликнул он, и мгновенно в его хитрых глазах вспыхнуло подозрение, отразившееся и на грозных морщинах лба. — А где вы взяли этого мула? — спросил он, крепко сжав губы.

Девушка, которая вошла в этот момент в комнату, смотрела на нас и слушала.

— Где я его взял? — как эхо повторил я. — А какое тебе до этого дело?

Он улыбнулся неприятной улыбкой.

— А вот какое: если сюда явятся барджелли* и найдут у меня в конюшне краденого мула, мне не поздоровится.

* Bargelli (итал.) — стражники.

Я покраснел от гнева.

— Ты хочешь сказать, что я его украл? — вскричал я с такой яростью, что он изменил тон.

— Нет, нет, нет, что вы, — успокаивал он меня. — Но дело в том, что мул мне не нужен, у меня уже есть один, я человек бедный...

— Полно причитать, — остановил я его. — Дело в том, что у меня нет денег. Ни грессо, за обед я могу заплатить только продав мула. Назначь цену — и покончим с этим делом.

— Ха! — закричал он. — Так, значит, я должен купить твоего краденного мула? Думаешь, ты меня напугал и воображаешь, что я так сразу и куплю его? Убирайся отсюда, негодяй, а не то я подниму на ноги всю деревню, и тебе тогда не поздоровится. Убирайся, тебе говорят!

Выкрикивая эти слова, он пятился назад, по направлению к очагу, и там, пошарив в углу, достал толстое дубовое полено. Хозяин — подлец, отъявленный мерзавец и вор, это было ясно. Однако не менее ясно было и то, что я должен подчиниться и оставить ему моего мула или же быть готовым к чему-то весьма неприятному.

Если бы давешние честные крестьяне все еще находились здесь, он не посмел бы так себя вести. Но при существующем положении, при отсутствии свидетелей, которые могли бы подтвердить, как все это было, можно ли было поверить такому человеку, который не может заплатить за съеденный обед? Мне пришлось бы плохо.

Если бы нужно было помериться силами, я бы в два счета его утихомирил, несмотря на его полено. Но нельзя было забывать о девушке, которая поднимет тревогу, и тогда к обману с моей стороны прибавится драка, и меня сочтут попросту за обыкновенного бандита.

— Прекрасно, — сказал я. — Ты гнусный вор и негодяй, самым подлым образом ты воспользовался моим положением. Я еще когда-нибудь вернусь за своим мулом, а пока прими его в качестве залога за то, что я тебе должен. Но смотри, будь готов к расплате, когда я предъявлю тебе счет.

С этими словами я повернулся на каблуках, прошел мимо большеглазой девицы и вышел вон из этой вонючей дыры на свет Божий, сопровождаемый грозными ругательствами этого мерзавца.

Я свернул на улицу, которая круто поднималась вверх, и быстро зашагал в сторону гор.

Вскоре я оставил деревню и по крутой дороге направился к перевалу Чиза, по которому можно переправиться через Апеннины в Понтремоли. Этим путем следовал Ганнибал, когда он вторгся в Этрурию две тысячи лет тому назад. Я свернул с дороги на верховую тропу и зашагал по склону величественной Монте-Принцера. Я шел все время вверх между серо-зелеными оливами и яркой зеленью фитовых деревьев, наконец достиг узкого ущелья между двумя огромными утесами, где царили папоротники и влажная прохлада и все было окутано густой тенью.

Надо мною к синему небу вздымались горы; их зеленые склоны местами были тронуты золотом, там, где пальцы осени прикоснулись к их вершинам; в других же местах зияли серые и пурпурные раны — там, где сквозь зелень пробивались голые скалы.

Я бесцельно двигался вперед, пока не наткнулся на хвойные заросли, через которые стал пробираться, услышав звуки падающей воды. В конце концов я остановился на скале, над бурным потоком, с ревом стремившимся по глубокому ущелью, которое он пробил между горами. Отсюда открывался вид на длинную извилистую долину, освещенную лучами заходящего солнца, а вдали красноватым пятном виднелся город Форново, через который я проходил днем. Это и была река Баньянца, мощный поток, преградивший мне путь. Я стал подниматься вверх по ее руслу, карабкаясь по покрытым лишайниками скалам или погружаясь по самую щиколотку в мягкий, податливый мох.

Наконец, утомленный и неуверенный в правильности выбранного пути, я опустился на землю, чтобы отдохнуть и подумать о том, что делать дальше. Мысли мои постоянно обращались к отшельнику, живущему где-то поблизости, в этих горах, о том, как прекрасна и счастлива такая жизнь, вдали от мира, который человек наполнил таким злом. Но потом, вместе с мыслями о мире, явилась мысль о Джулиане. Две ночи тому назад я держал ее в своих объятиях. Две ночи тому назад! А казалось, что прошла уже целая вечность, так далеко отодвинулась вся моя прошлая жизнь, частицей которой она была. Ибо с убийством Фифанти в жизни моей наступил перелом, и за последние два дня я пережил

и перечувствовал больше, чем за все предыдущие восемнадцать лет.

Думая о Джулиане, я вызвал в памяти ее образ: пылающую медь волос, таинственный блеск ее загадочных глаз, полуприкрытых веками, ее томную улыбку. Вот она стоит передо мною, вся в белом, пленительная, как прежде, и опаляющая страсть снова терзает сердце невыразимой мукой.

Я отчаянно боролся. Я пытался изгнать этот образ. Но он оставался на месте, смеясь надо мною. И вдруг издалека, со стороны долины, легкий ветерок, шелестящий в ветвях хвойных деревьев, донес до меня еле слышный звон колокольчиков. Я узнал звуки «Ангелуса»^{*}.

Я пал на колени и стал молить Пресвятую Деву, чтобы она даровала мне силы и в душе моей снова воцарились мир и покой. После этого я забрался под выступающую скалу, завернулся поплотнее в свой плащ и улегся на твердой земле, сломленный усталостью.

Лежа там, я наблюдал за тем, как меркнут краски на небе. Я видел, как пурпур, окрасивший облака на востоке, сменился оранжевым оттенком, оранжевый, в свою очередь, постепенно бледнея, превратился в бледно-желтый, а на смену ему пришел бирюзовый. Тени подбирались к самым вершинам. В небе зажглась звезда, потом другая, и вот уже десятки звездочек заблестали в глубокой синеве небесного свода.

Я повернулся на бок и закрыл глаза, призывая сон; и вдруг неожиданно до ушей моих донеслись невыразимо сладостные звуки; они были едва слышны, в них не было ни мелодии, ни ритма, присущих земной музыке. Я сел, затаив дыхание, и стал прислушиваться. Едва слышные звуки по-прежнему доносились откуда-то издалека. Они напоминали звон колокольчиков, и все-таки это было не то. Я припомнил рассказы, которые услышал в тот день в Поджетте, когда сидел в таверне, о таинственной музыке, привлекавшей путников к жилищу отшельника. Заметив направление звука, я решил, руководствуясь им, броситься к ногам этого святого человека и умолять того, кто способен исцелять недуги тела, совершить чудо: исцелив мою душу, избавить меня от мучений.

* Католическое церковное песнопение. Исполняется во время утреннего, дневного и вечернего богослужения в сопровождении колокольчиков. Название по начальным словам: *Angelus domini* (лат.) — Ангел Господень.

Итак, я двинулся вперед при свете звезд, стараясь идти по открытому месту, — в тени деревьев невозможно было разглядеть разные мелкие препятствия. По мере того как я продвигался вперед, придерживаясь русла Баньянды, мелодия становилась все слышнее, приближаясь к своему источнику; и шум потока, уже не столь бурного, не заглушал этого другого звука.

Это была мелодия, состоящая из долгих певучих нот, — мне казалось, что в основном это были две ноты, в которые иногда вплетались третья и четвертая и в редких интервалах — пятая. Она была необыкновенно гармонична, и в то же время в ней было нечто таинственное, даже сверхъестественное, неземное; но теперь еще более отчетливо слышались колокольчики, их мелодичный серебряный звон.

И вдруг, совершенно неожиданно, я услышал крик, даже не крик, а жалобный стон, говорящий о беспомощности и страдании. Ускорив шаги, я двинулся в том направлении, откуда раздался этот крик, обогнул густые ореховые заросли и внезапно очутился перед примитивной убогой хижинкой, сложенной из сосновых бревен, прилепившейся к краю скалы. Сквозь маленькое оконце, в котором не было стекла, виднелся слабый огонек.

Я замер на месте, едва переводя дыхание, охваченный страхом. Это, должно быть, и есть жилище отшельника. Я находился в святом месте.

Затем крик повторился. Он доносился из хижины. Я приблизился к окну и, набравшись храбрости, заглянул внутрь. При свете единственного фитилька медной масляной лампы мне с трудом удалось разглядеть внутренность хижины.

Дальней стеной ей служила сама скала, в которой была выдолблена ниша широкая и глубокая; в глубине этой ниши неясно вырисовывалась небольшая, примерно в два фута высотой, фигура. Это, несомненно, и было то самое чудотворное изображение святого Себастьяна. Перед статуей находился грубо сколоченный невысокий аналой, на котором лежали огромная книга с медными застешками и желтый ухмыляющийся череп.

Все это я заметил с одного взгляда. В хижине не было никакой другой мебели, ни стола, ни стула; медная лампа стояла прямо на полу, возле ложа, состоящего из охапки тростника и соломы, на котором можно было разглядеть самого отшельника. Он лежал на спине, это

был сильный, здоровый мужчина, по всей видимости, довольно высокий.

На нем была свободная коричневая ряса, подпоясанная грубой веревкой, с которой свисали длинные четки. Волосы и борода у него были черные, а лицо покрывала мертвенная бледность; когда я взглянул на него, он снова испустил стон и заметался на своем ложе, словно испытывая невыносимые страдания.

— О, Господи Боже мой, Господи Боже мой! — стenal он. — Неужели я так и умру в одиночестве? Смилуйся! Я раскаиваюсь! — И он продолжал корчиться и стонать, потом повернулся на бок, и я увидел, что его бледное лицо все покрыто потом.

Я подошел к двери и поднял щеколду.

— Ты страдаешь, святой отец? — спросил я, чувствуя, что мне становится жутко.

При звуке моего голоса он внезапно сел на своей постели, обратив ко мне лицо, искаженное ужасом.

— Благодарю тебя, Господи, благодарю тебя!

Я вошел в комнату, приблизился к ложу и опустился перед ним на колени.

Не дав мне выговорить ни слова, он вцепился в мою руку своими влажными пальцами и с трудом приподнялся на локте, устремив на меня глаза, пылающие лихорадочным огнем.

— Священника! — выдохнул он. — Приведи священника, чтобы я мог исповедаться! О, приведи его, и ты будешь спасен от вечных мук в геенне огненной. Я умираю, но я не могу покинуть этот мир с таким бременем грехов, тяготящих мою душу.

Даже сквозь ткань моей одежды я чувствовал, какие у него горячие руки. Положение было ясно: жестокая лихорадка сжигала его тело.

— Успокойся, — сказал я. — Я отправлюсь немедленно. — И я поднялся, чтобы идти, в то время как он осыпал меня благословениями.

У двери я остановился, чтобы спросить, где найти ближайшего священника.

— В Кази, — хрипло ответил он. — Поверни направо и увидишь тропинку, ведущую вниз по склону холма. Ее нельзя не заметить. Через полчаса будешь на месте. И возвращайся немедленно, мне уже недолго осталось жить. Я чувствую это.

Пробормотав какие-то слова успокоения и утешения,

я закрыл дверь и отправился в путь, погрузившись в густой мрак ночи.

Глава пятая

ОТРЕЧЕНИЕ

Я нашел тропинку, о которой говорил отшельник, и, следуя ее извилистым путем, побежал вниз; впрочем, бежать можно было только тогда, когда она шла по открытой местности, если же на пути встречались деревья, двигаться приходилось более осторожно, хотя и по-прежнему быстро.

Примерно через полчаса я заметил внизу мерцающие огоньки деревушки, прилепившейся к склону холма, и спустя несколько минут шел уже между домишками Кази. Найти священника, который жил в маленьком домике возле церкви, не составляло особого труда; сообщить ему о цели моего прихода и уговорить его пойти со мной, чтобы помочь святому человеку, который лежит один далеко в горах и, может быть, умирает, тоже было достаточно просто. Значительно труднее, однако, было возвращение назад, в хижину отшельника, ибо тропинка была достаточно крута, священник стар и немощен, ему требовалась помощь, а я был настолько измучен, что не всегда мог ему эту помощь оказать. К счастью, у него был фонарь — он настоял на том, чтобы захватить его с собой, — и мы двигались вперед со всей возможной скоростью. И тем не менее прошло не менее двух часов с того момента, как я тронулся в путь, прежде чем мы добрались до той небольшой площадки, где стояла его хижина.

В хижине царила полная темнота. Масло в маленькой лампочке все выгорело, и она погасла. И когда мы вошли, человек, лежащий на убогом ложе из ветвей акации, распевал непристойную кабацкую песню. Эта песня, исходящая из святых уст, привела меня в ужас и недоумение.

Что до священника, которому достаточно часто приходилось исполнять эту печальную обязанность — присутствовать при последнем вздохе умирающего, — то он быстро понял причину столь странного поведения. Огонь, сжигавший тело несчастного, разгорался все жарче, прежде

чем совсем погаснуть, и умирающий сам не знал, что делает.

Не менее часа сидели мы возле него в ожидании. Священник был уверен, что перед концом обязательно должно наступить некоторое улучшение и к умирающему вернется сознание.

В течение всего этого печального часа я сидел на корточках возле постели, в первый раз в жизни наблюдая жуткий процесс угасания человеческой жизни.

Если не считать Фифанти, мне никогда еще не приходилось сталкиваться со смертью; впрочем, нельзя сказать, что в тот раз я действительно мог ее наблюдать. Тогда смерть наступила внезапно — мгновенно была перерезана нить жизни, и я понял, что он мертв, еще до того, как у меня могла возникнуть мысль о смерти вообще, возможно, потому, что в тот момент я был слишком возбужден и взволнован.

А теперь, когда умирал фра Себастьяно, мне не мешали мои собственные мысли. Я был невольным посторонним свидетелем, оказавшимся здесь по воле случая. Впечатление, оставшееся в моей душе от этого зрелища, изгладилось не скоро, и именно им, этим впечатлением, отчасти объясняется то, что произошло впоследствии.

Ближе к рассвету бессвязное бормотание больного — а оно было столь же непристойно и богохульственно, как и песни, которые он то и дело принимался петь, — немного утихло. Блеск его невидящих глаз, взгляд которых время от времени обращался в нашу сторону, сделался тусклым и осознанным, и он попытался приподняться, однако его члены отказывались ему повиноваться.

Священник склонился над ним, шепча слова утешения, а потом обернулся ко мне и сделал знак выйти из комнаты. Я встал и двинулся к двери. Но не успел я дойти до порога, как за спиной у меня раздался хриплый вскрик, а затем горестное восклицание священника. Я резко обернулся и увидел, что отшельник лежит опрокинувшись навзничь, рот у него открыт, а глаза еще более потускнели.

— В чем дело? — невольно воскликнул я.

— Он скончался, сын мой, — печально ответил старик священник. — Но он покался, а жизнь его была жизнью святого. — И, достав из-за пазухи маленький серебряный ковчезек со святыми дарами, он совершил последний обряд над телом, душа от которого уже отлетела.

Я медленно вернулся назад, встал возле него на колени, и мы долго молились за упокой души этого святого человека. А пока мы молились, снаружи поднялся ветер, и в лоне этой ночи, такой ясной и спокойной сначала, родилась буря. Сверкала молния, освещая внутренность хижины так, словно был яркий полдень, ярко высвечивая нишу, стоящего в ней святого Себастьяна и жуткий ухмыляющийся череп на аналое отшельника.

Грохотал гром, раскатываясь по холмам оглушительным эхом, в то время как дождь хлестал по холмам и долинам, изливаясь на землю неистощимым потоком. Струи дождя нашли слабое место в крыше, с потолка закапало, и вскоре на полу образовалась лужа.

Гроза бушевала более часа, и все это время мы стояли на коленях возле покойного отшельника. Потом гром начал стихать и постепенно замер вдалеке; дождь перестал, и в долину прокрался рассвет, бледный, как отблеск лунного камня.

Мы вышли наружу, чтобы сделать глоток освеженного грозой воздуха, как раз в тот момент, когда первый луч солнца окрасил роскошным румянцем рассветные сумерки, заливавшие склоны холмов и долины. От земли повсюду поднимался пар, а Баньянца, вздущаяся от дождя, с грохотом катила свои воды по узкому ущелью.

Когда солнце поднялось достаточно высоко, нашли лопату и выкопали могилу под самой площадкой, на которой стояла хижина. Там мы и похоронили отшельника, а над могилой я соорудил крест из самых больших камней, которые мне удалось найти. Священник считал, что его следует похоронить в самой хижине; однако я предположил, что, возможно, найдется еще какой-нибудь человек, который захочет занять место отшельника и посвятить свою жизнь тому, чтобы продолжать дело этого святого человека: охранять святыню и собирать милостыню для бедных и для построения моста.

Тон моего голоса заставил священника обратить на меня пронизательный взор его добрых глаз.

— Может быть, ты думаешь о себе? — спросил он меня.

— Только в том случае, если вы не сочтете меня недостойным этого святого дела, — смиренно ответил я.

— Но ты очень молод, сын мой, — сказал он и ласково положил мне руку на плечо. — Ты, наверное, жестоко страдал в этом мире, — так жестоко, что тебе захотелось

от него отказаться, покинуть все земное и обратиться к покою и одиночеству?

— Я должен был сделаться священником, отец мой, — ответил я. — Готовился к тому, чтобы принять духовный сан. Однако грехи мои сделали меня недостойным. Возможно, что здесь я смогу искупить свою вину, очистить душу от скверны, наполнившей ее в греховном мире.

Он оставил меня час спустя, чтобы вернуться назад в Кази, после того как выслушал от меня достаточно о моем прошлом и понял, в каком я нахожусь состоянии. Этого было довольно, чтобы он одобрил мое решение наложить на себя епитимью и искать душевного покоя в одиночестве. Прежде чем уйти, он просил меня обращаться к нему в Кази в любой момент, когда меня станут одолевать сомнения или когда мне покажется, что ноша, которую я взвалил на свои плечи, слишком тяжела для меня.

Я смотрел, как он спускается вниз по извилистой горной тропинке, видел его согбенную фигуру, облаченную в длинный кафтан из грубого сукна, до тех пор, пока он не скрылся из глаз за поворотом.

Тут я впервые ощутил горький вкус одиночества, на которое обрек себя в это утро. Я почувствовал себя оторванным от всего, в сердце моем проснулась жалость к себе, быстро погасившая пламя восторга, согревавшего меня, когда я думал о том, чтобы занять место скончавшегося отшельника.

Мне еще не было двадцати лет; я был сеньором, владельцем огромного состояния; я еще даже не начал жить — мне довелось выпить всего лишь один опрометчивый, исполненный яда глоток, — и вот я отказываюсь от мира, я добровольно отрекаюсь от него ради того, чтобы искупить свой грех. Это справедливо; но это тяжело и горько. Однако позже я снова почувствовал порыв восторга при мысли о том, что именно горечь, страдание — вот что придает цену моему отречению, что только через все испытания и трудности мой путь может привести меня к благодати.

Некоторое время спустя я занялся осмотром хижины, и первое, на что я обратил внимание, была чудотворная статуя. Я смотрел на нее со священным трепетом, я преклонил колена, чтобы вымолить прощение за то, что я, недостойный, предлагаю себя для служения этой святыне.

Сама по себе статуя была сделана весьма грубо и выглядела достаточно непривлекательно. Она отчетливо

напомнила мне распятие, которое висело на стене в столовой у моей матери и вызывало у меня такое отвращение.

От двух ран на груди, нанесенных стрелой, шли вниз две коричневые полосы — следы последнего чудесного явления. На лице этого юного римского центуриона, который принял мученическую смерть за свое обращение в христианство, была улыбка, взгляд обращен к небу — эта часть произведения скульптору удалась. Все же остальное было просто ужасно: фигура была вырезана грубо и неправильно, тело так непропорционально широко, что напоминало сплющенного карлика.

Громадная книга, стоящая на аналое из простого соснового дерева, оказалась, как я предполагал, служебником*; и у меня вошло в привычку каждое утро справляться по ней, что именно нужно делать во время утренней, обеденной и вечерней службы.

В грубо сколоченном шкафу я обнаружил глиняный кувшин, наполовину наполненный маслом, и другой кувшин, побольше, в котором было несколько кукурузных лепешек и пригоршня каштанов. Был там и коричневый узелок, в котором оказалась монашеская ряса с власяницей внутри.

Я обрадовался этой находке — тут же снял с себя мирское платье и облачился в грубую коричневую рясу, которая по причине моего высокого роста доходила мне только до середины икры. За неимением сандалий я остался босым и, связав в узелок снятое платье, засунул его в шкаф, на место того, что оттуда вынул.

Таким образом, я, который должен был, согласно клятве, сделаться затворником ордена святого Августина, начал жизнь анахоретом, не прошедшим обряда посвящения. Я вынес из хижины ветви акации, на которых мой блаженный предшественник испустил последний вздох, дочиста вымел пол связкой веток орешника — я специально нарезал их для этой цели — и пошел к бурному раздувшемуся потоку, чтобы набрать свежих ветвей и тростника для своей собственной постели.

О моем существовании можно было сказать не только то, что оно было одиноким, оно также было исполнено самых суровых лишений. Люди редко показывались возле моего жилища, если не считать нескольких благочестивых женщин из Кази или Фьори, которые просили помолиться

* Служебник — церковная книга, по которой отправляются службы.

за них, оставляя для меня в качестве платы масло и кукурузные лепешки, и порою проходили многие дни, в течение которых я не видел ни одного человеческого существа. Моим основным пропитанием были кукурузные лепешки да еще орехи — я набирал их в ореховой рощице у самой двери моей хижины и сделал себе небольшой запас — и каштаны, за которыми приходилось отправляться подальше в лес. Иногда мне приносили в качестве подарка кувшинчик с оливами, для меня в то время это было самое роскошное лакомство. Ни к мясу, ни к рыбе я в то время не прикасался, поэтому я сильно исхудал и часто испытывал голод.

Дни мои проходили частично в молитве, частично в размышлениях, и я много раздумывал об «Исповеди» святого Августина — насколько мне удавалось восстановить ее по памяти, — находя большое утешение при мысли о том, что, если этот святой, один из великих отцов Церкви, сумел удостоиться милости после всех грехов, осквернивших его юность, у меня не было оснований отчаиваться. И все-таки я еще не получил отпущения смертных грехов, совершенных мною в Пьяченце. Я исповедался фра Джервазио, и он обещал наложить на меня епитимью, однако это так и не осуществилось. Сейчас я наложил ее на себя сам. И всю свою жизнь я буду ее нести.

Но ведь я могу умереть, прежде чем истечет ее срок, и эта мысль привела меня в ужас, ибо мне нельзя умереть в грехе. И я решил, что буду говеть* в течение года, а потом попрошу кого-нибудь из тех, кто меня посещает, передать священнику в Кази, что прошу его прийти ко мне, дабы я мог получить отпущение из его рук.

Глава шестая

НУРNEROTOMACНIA**

Поначалу мне казалось, что я делаю неплохие успехи на своем пути в поисках милосердия и прощения, что на меня нисходит известное спокойствие духа, благодетельное, словно роса, падающая на истомленную жаждой землю. Однако через какое-то время это мое

* Говеть — готовиться к исповеди и причастию, постясь и посещая церковь.

** Борьба любви и сна (греч.).

состояние изменилось, и я стал ловить себя на том, что мои мысли, дотоле занятые благочестивыми предметами, улетают назад, в прошлое, с сожалением и тоской по той жизни, от которой я был оторван.

Я вздрагивал в благочестивом гневе на себя и пытался отделаться от этих мыслей еще более усердными молитвами и еще более строгим постом. Но если мое тело начинало привыкать к лишениям, которым его подвергали, то дух мой приобретал мятежную свободу, препятствующую делу очищения, к которому я пытался его принудить. В силу того, что мой желудок был постоянно пуст, меня то и дело посещали греховные видения, терзавшие меня по ночам; я тщетно пытался с ними бороться, пока наконец не вспомнил о мерах, которыми, судя по его рассказам, пользовался в аналогичных случаях фра Джервазио. И тут мне пришла в голову благая мысль прибегнуть к помощи власяницы, чего прежде я страшился.

Это было, верно, в конце сентября — дни в эту пору становились холоднее, — когда я впервые надел на себя эту броню, долженствующую защитить меня от сатанинского искушения. Она раздражала меня ужасно, нежная моя кожа горела, каждое движение причиняло невыносимые страдания; но зато ценой страданий моего тела я, по крайней мере, вернул себе душевный покой, и плоть моя, усмиренная и утишенная, не мешала более своими дурными прихотями чистоте, столь необходимой для моих размышлений.

Больше месяца понадобилось для того, чтобы пытка, причиняемая этой тканью из конского волоса, сделала то, что от нее требовалось. Но к началу декабря, по мере того как моя кожа огрубела от постоянного раздражения и привыкла к соседству грубого конского волоса, дух мой снова начал свои мятежные блуждания. Для того чтобы снова его укротить, я снял с себя власяницу и всю другую нижнюю одежду, оставшись в одной только грубой монашеской рясе. Таким образом я решил подвергнуть себя испытанию холодом, так как на той высоте, где находилось мое жилище, климат был достаточно суров и снег подкрадывался, спускаясь по горным склонам.

Я видел, как зеленый цвет сменялся в долинах золотом, а затем багряным пламенем. Я видел, как огненные блики постепенно исчезали с осенней палитры и, по мере того как опадали листья, в мире постепенно

воцарялась серая, лысая старость. А на смену ей пришли холодные зимние ветры, которые выли и свистели в прорехах моей жалкой хижины; прилетая сверху, со стороны скованных морозом вершин, ветер пронизывал меня до костей.

Мои страдания от холода усугублялись еще тем, что я был страшно истощен; с каждым днем я худел все больше и больше, так, что постепенно превратился в мешок костей, и было просто удивительно, что эти кости не стучали, когда я двигался.

Я страдал и в то же время радовался этому страданию, радовался, испытывая боль, и благодарил Бога за то, что он в своей великой милости позволил мне ее испытывать, ибо, чем тяжелее были страдания тела, тем спокойнее становилось у меня на душе и тем дальше удалялись от меня соблазны плотских желаний, с помощью которых сатана все еще старался подловить мою душу. Если другие ищут обычно утешения боли, то я искал утешения своих страданий в самой боли. Физические муки были моим летейским* напитком, лишь они давали мне забвение, которого я так жаждал.

Думаю, что в течение этих месяцев разум мой немного помутился, не выдержав чрезмерных лишений, и мне кажется, что состояние экстаза, во власти которого я подолгу находился, объяснялось лихорадкой, явившейся результатом сильной простуды.

Я проводил долгие часы в коленопреклоненной молитве и размышлениях. И, помня о том, как некоторым счастливым в аналогичных случаях было даровано великое счастье и благодать — им явились небесные видения, — я молился и надеялся на подобный же знак Божьей милости, уверенный в том, что такое видение даст мне силы, поддержит меня, поможет устоять против любого искушения.

И вот однажды ночью, когда год подходил к концу, мне показалось, что мои молитвы не остались без ответа. Я не думаю, что это видение посетило меня во сне. По крайней мере я уверен, что не спал, когда оно появилось. В это время я стоял на коленях возле своего ложа из ветвей акации, и была поздняя ночь. Внезапно дальний конец моей хижины засветился слабым светом; было похоже на то, что из земли стал подниматься фосфоресцирующий туман; он колебался, поднимаясь вверх

* От слова «Лета» — река забвения в греческой мифологии.

раскаленными добела клубами, и потом, в самой сердцевине этого тумана, стала проступать фигура — она была в белой одежде, поверх которой было накинуто темно-синее покрывало, все усыпанное золотыми звездами; в сложенных руках она держала серебряные лилии.

Я не испытывал страха. Сердце мое билось учащенно восторженно, когда я наблюдал, как видение делается все более отчетливым, так что я уже мог разглядеть белое лицо несказанной красоты и опущенные вниз глаза.

Это была Пресвятая Дева, какой изобразил ее мессер Порденоне в церкви святой Клары в Пьяченце; платье, лилии, сладостно-прекрасный лик — все это было мне известно, даже пышное круглое облако, на которое опиралась маленькая босая ножка.

Я испустил крик восторга и страстного желания, простирая руки к волшебному видению. Но стоило мне это сделать, как вид его стал постепенно изменяться. Под синим покрывалом, которое представляло собой нечто вроде вуали, появилась масса золотистых блестящих волос; снежная бледность лица сменилась теплым оттенком слоновой кости; губы потемнели, сделались карминно-красными и сложились в живую мирскую улыбку; в глазах появился томный блеск; лилии исчезли, бледные руки потянулись ко мне.

— Джулиана! — воскликнул я, и мой чистый, радостный восторг сменился жгучим плотским вожделением. — Джулиана! — Я протянул руки, и она медленно поплыла ко мне, не касаясь неровного земляного пола моей хижины.

Я обезумел от страсти. Я попытался подняться с колен, чтобы пойти ей навстречу, чтобы хоть на секунду сократить эту муку ожидания. Однако ноги отказывались мне повиноваться, мне казалось, что весь я сделан из свинца, а она тем временем приближалась все медленнее, ее томная улыбка становилась все более насмешливой.

И тут меня вдруг охватило отвращение, внезапное и непредсказуемое. Я закрыл лицо руками, чтобы отогнать это видение, истинное значение которого вдруг открылось мне со всей ясностью.

— *Retro me, Sathanas!** — загремел я. — Господи! Пресвятая Дева Мария!

Наконец я поднялся с колен, чувствуя, что ноги у меня онемели и затекли. Я снова поднял глаза. Видение

* Отойди от меня, сатана!

исчезло. Я был один в своей келье, а снаружи ровными струями лил и лил дождь. Я застонал в отчаянии. Потом покачнулся, склонился набок и потерял сознание.

Когда я очнулся, было уже совсем светло и бледное зимнее солнце рассылало свои серебристые лучи с зимнего неба. Мне было холодно, я чувствовал страшную слабость, и, когда попытался встать на ноги, все вокруг меня поплыло, и пол моей кельи качался, словно палуба корабля в сильный шторм.

В течение многих дней после этого я находился в некоем трансе, меня мучили попеременно то озноб, то пылающий жар; и, если бы не пастух, который завернул к отшельнику, желая получить его благословение, и который остался возле меня из милосердия и ходил за мной в течение трех или более дней, я скорее всего просто бы умер.

Он поил меня молоком от своих коз — роскошь, от которой ко мне быстро возвращались силы, — и даже после того, как он покинул мою хижину, он приходил каждый день в течение недели и настаивал на том, чтобы я пил принесенное им молоко, не слушая моих возражений, что теперь, когда нужда в этом отпала, у меня нет оснований так себя баловать.

После этого наступил некоторый период покоя.

Я понимал это так, что дьявол, нанеся мне мощный удар искушения и потерпев поражение, прекратил борьбу. Но я тем не менее соблюдал осторожность, стараясь не тешить себя этой мыслью, опасаясь, как бы моя самоуверенность не вызвала дурных последствий. Я благодарил небо за силу, которая была мне дарована, и умолял и дальше не оставить столь слабый сосуд без своего покровительства.

Теперь мой склон холма и долина начали одеваться в наряд очередного нового года. Февраль, как добрая фея, легкой поступью спустился вниз по лугам и речным долинам, лаская спящую землю своим нежным дыханием. И вскоре там, где проходила эта посланница весны, поднимали свои желтые головки крокусы; доставая из подола, она щедро рассыпала по земле алые, голубые и пурпурные анемоны, которые пели славу весне нежной гармонией разнообразных оттенков; скромная фиалка и душистый папоротник возносили свое благоухание к ее алтарю, а вдоль ручьев проклюнулись ростки чемерицы.

А потом, когда березы, дубы, каштаны и буки оделись

в свой нежный светло-зеленый наряд, пришел март, а вслед за ним не замедлила явиться и Пасха.

Однако приближение Пасхи наполнило меня ужасом. Ведь именно в Страстную неделю совершалось чудо святого Себастьяна, статую которого я охранял. А что, если чудо не совершится оттого, что я недостойн быть его хранителем? Меня то и дело охватывал страх, и я начинал молиться еще более ревностно. И это было не лишне, ибо весна, столь благотворно прикоснувшаяся к земле, не обошла и меня. Временами во мне снова вспыхивала тоска по миру, и снова приходили мучительные мысли о Джулиане — а я ведь думал, что с ними покончено навсегда, — и мне снова приходилось прибегать к помощи власяницы; а когда и она оказалась бессильной, я набрал длинных, напоминающих бич, побегов молодой эглантирии*, сделал из них плетъ и стегал себя по голому телу, так что острые шипы разрывали кожу и моя мятежная кровь капала на землю.

Наконец однажды вечером, когда я сидел возле своей хижины, глядя на изумрудные холмы, я был вознагражден. Я чуть было не лишился чувств от бесконечной радости и благодарности, когда это понял. Еле различимо, точно так же, как я впервые это услышал, когда подходил к жилищу отшельника, до моих ушей донеслась таинственная, напоминающая звон колокольчиков, музыка, которая тогда привела меня к хижине. С тех пор я ни разу не слышал этих звуков, хотя частенько прислушивался, надеясь, что они раздадутся опять.

И вот я слышал их снова, они, казалось, прилетели на крыльях весеннего ветерка, эти восхитительные звуки, этот ангельский звон, наполнявший мое сердце таким восторгом веры и счастья, какого я не испытывал с того момента, как поселился здесь.

Это было знамение — знак прощения, знак милости. Иначе быть не могло. Я пал на колени и вознес молитву глубокой радостной благодарности.

И всю последующую неделю эти неземные серебряные звуки были со мною, утешая меня и успокаивая. Даже если я бродил в полях, она все равно не оставляла меня, разве что мне случалось слишком близко подходить к бурным водам Баньянцы, тогда рев потока заглушал божественную музыку. Я перестал испытывать страх, ко мне возвращалась уверенность в себе. Страстная неделя

* Разновидность дикой розы.

приближалась, но она уже не внушала мне такого ужаса. Я почитал себя достойным того, чтобы быть хранителем святыни. Тем временем я молился, особо направляя мои молитвы святому Себастьяну, моля его, чтобы он не подвел меня, помог бы мне сделать то, что от меня требуется.

Наступил апрель, как я узнал от странников, принесших мне милостыню в виде хлеба, а со второго числа этого месяца начиналась Страстная неделя.

Глава седьмая

НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ

Был Страстной четверг, именно в этот день раны на статуе святого Себастьяна начинали кровоточить, что продолжалось до рассвета пасхального воскресенья.

Теперь, когда назначенное время приближалось, я самым внимательным образом наблюдал за статуей, а в среду смотрел на нее со страхом и волнением, которые не мог преодолеть, ибо не замечал ни малейших признаков чуда. Коричневые подтеки, остатки предыдущего потока крови, по-прежнему оставались сухими. Всю эту ночь я усердно молился, терзаемый муками сомнения, которые в какой-то степени успокаивала музыка, не прекращавшаяся ни на минуту.

С первыми проблесками рассвета мне послышался звук шагов возле хижины, однако я не обратил на это внимания. Когда же взошло солнце, вся поляна возле хижины гудела от звука голосов, напоминавшего рокот волн, катящихся на берег. Я встал и еще раз внимательно посмотрел на святого. Это был всего-навсего кусок дерева, бесчувственный и безжизненный, и по-прежнему не было никаких признаков чуда. Снаружи — я это понял — уже собралась толпа пилигримов. Они ждали, бедные глухцы. Но могло ли их ожидание сравниться с моим?

Еще один час провел я на коленях, умоляя небо сжалиться надо мною. Но оно оставалось безответным, и раны святого по-прежнему были сухи.

Наконец я поднялся на ноги, в полном отчаянии, и, подойдя к двери, широко распахнул ее.

Вся площадка перед хижинкой была заполнена крестьянами, а те, что не поместились, стояли на нижних склонах холма или разместились наверху, справа и слева

от хижины. Увидев меня — худого и изможденного до-
нельзя, увидев мои глаза, безумные от отчаяния, воспа-
ленные от постоянного недосыпания, мою спутанную
бороду, покрывающую впалые щеки, толпа застыла.
Единый вздох, выкрик, выражающий ужас и благоговение,
вырвался из недр ее. Вся масса людей качнулась,
заколебалась и в едином порыве, словно склоненная
ветром, опустилась на колени — все, кроме кучки калек,
собравшихся перед самой хижинкой, — эти несчастные
припели сюда в надежде на чудесное исцеление.

Оглядывая толпу собравшихся, я заметил, что на
дороге, ведущей вверх, в сторону Чизанского перевала,
что-то блеснуло. По ней спускался небольшой отряд
вооруженных всадников. Их было человек двадцать; на
верхушках их копий развевались алые вымпелы с изо-
браженным на них девизом, который я не мог разглядеть
за дальностью расстояния.

Отряд приостановился, и один из них, человек, ехавший
на крупной черной лошади, в доспехах, сверкающих, как
само солнце, протянул одетую в перчатку руку, указывая
на что-то внизу. Затем они снова двинулись вперед, и
блеск их доспехов, развевающиеся вымпелы на копьях
на какое-то мгновение наполнили меня странным волне-
нием, прежде чем я снова повернулся к толпе паломников,
ожидających моего слова. Скорбным голосом, повесив
голову и опустив глаза, я сообщил им неприятное известие:

— Дети мои, чудо еще не свершилось.

Слова мои были встречены мертвым молчанием. Затем
раздался ропот, послышались возмущенные выкрики, жа-
лочные стоны. Один из жителей горных мест, оказавшийся
смелее других, протиснулся в первые ряды, не вставая
с колен.

— Отец мой, — вскричал он. — Как это может быть?
За все последние пять лет не было такого случая, чтобы
на заре в Страстной Четверг раны нашего святого не
начинали кровоточить.

— Увы! — застонал я. — Я ничего не знаю. Говорю
только то, что есть. Всю ночь я провел в молитве, на
коленях, у ног святого. Я буду молиться и дальше, и
вы молитесь тоже.

Я не смел высказать им свои подозрения насчет того,
что дело тут, по-видимому, во мне, что это — знак
небесного неодобрения хранителю этого святого места,
который оказался недостаточно чистым и, следовательно,
недостойн.

— Но музыка! — вскричал один из увечных хриплым голосом. — Я же слышу божественную музыку!

Я не знал, что сказать, а толпа молчала, прислушиваясь. Все слышали нежный, умиротворяющий перезвон колокольчиков, исходящий словно из самого лона горы, снова из центра толпы вырвался многоголосый крик — крик надежды на то, что, если происходит одно чудо, непременно должно произойти и другое, что там, где звучит ангельский хор, все должно быть хорошо.

И вдруг раздался стук копыт и лязг металла, и отряд, который я заметил на горе давеча, уже ехал через пастбище по направлению к моему убежищу, свернув с главной дороги. У подножия утеса, к которому прилепилась моя хижина, отряд остановился по знаку своего командира.

Я наблюдал эту картину, испытывая непонятное волнение, и люди в толпе тоже поворачивались посмотреть, что за необычные паломники явились к этому святому месту.

Командир спешил без посторонней помощи, несмотря на тяжелые доспехи, и, подойдя к носилкам, которые находились в хвосте кавалькады, помог даме, которая в них находилась, спуститься на землю.

Все это я наблюдал с неослабным интересом и вскоре разглядел, что символ на вымпелах представляет собой голову белой лошади. По этому символу я узнал, кто они такие. Они принадлежали к дому Кавальканти — этот род, как я слышал, находился в союзе и в большой дружбе с моим отцом. Но ведь не может быть, чтобы их появление здесь имело какое-то отношение ко мне? Это было бы слишком невероятно. Ни одной душе не было известно, где я нахожусь, и никто не подозревал о том, как зовут отшельника с Монте-Орсаро.

Воин вместе с дамой подходили ближе, оставив солдат дожидаться их возвращения внизу, а я старался рассмотреть их, так же, как и все собравшиеся возле хижины паломники.

Мужчина был среднего роста, широкий в плечах и очень подвижный; у него были сильные, длинные руки, на одну из них опиралась его миниатюрная спутница, которой трудно было подниматься по крутой тропинке. Гордое, суровое, чисто выбритое лицо, твердые линии рта и решительный подбородок казались высеченными из камня. Только когда они приблизились, я мог заметить, что общая суровость этого лица смягчалась добрым взглядом глубоко посаженных карих глаз. Что до его

возраста, мне тогда показалось, что ему около сорока лет, хотя в действительности ему было пятьдесят.

Дама, опиравшаяся на его руку, была прелестнейшим созданием, какое только можно себе вообразить. Ее лилейная кожа была лишь слегка тронута румянцем на щеках; личико — правильный овал; ротик — во всем мире не нашлось бы ничего более нежного и изящного; низкий и широкий лоб; и глаза — темно-синие сапфиры, видные только тогда, когда она поднимала свои длинные ресницы, осеняющие их, словно тени. Ее каштановые волосы были убраны в сетку из золотых нитей, унизанных бриллиантами, а на шее поблескивало изумрудное ожерелье. Узкое платье и мантилья были цвета бронзы, и, когда она двигалась, лучи солнца играли на шелке, придавая ему металлический блеск. Талия была стянута поясом чеканного золота, а коричневые бархатные перчатки были вышиты жемчугом.

Только один раз взглянула она на меня, когда они подходили, а потом снова тотчас же опустила глаза, но я был еще так слаб, так полон мирского тщеславия, что в этот момент мне стало стыдно при мысли о том, в каком виде я перед ней стою: грубое одеяние отшельника, лицо покрыто косматой бородой, давно не стриженные волосы длинны и нечесаны. Этот стыд окрасил румянцем мои впалые щеки. Но затем я снова побледнел, потому что мне показалось, что некий голос, неизвестно откуда, вдруг спросил меня:

— И ты еще удивляешься, что кровь не течет из ран святого?

Так ясно и отчетливо прозвучал этот голос, исходящий из уст совести, что мне казалось, будто они были произнесены вслух, и я огляделся вокруг, в страхе, что кто-нибудь еще может их услышать.

Рыцарь стоял передо мной, сдвинув брови, глядя на меня с величайшим изумлением. Несколько мгновений прошло в полном молчании. Когда он наконец заговорил, голос его прозвучал резко, как оклик.

— Как твое имя? — спросил он.

— Мое имя? — повторил я, удивленный не только его вопросом, но и пристальным испытующим взглядом. — Меня зовут Себастьян, — ответил я достаточно правдиво, ибо это было мое новое имя, имя, которое я принял, поселившись на месте покойного отшельника.

— Из какого ты рода, Себастьян, и из каких мест? — допрашивал он.

Он стоял передо мной, спиной к толпе поселян, не обращая на них ни малейшего внимания, словно их там не было вовсе, чувствуя себя полным хозяином положения. А между тем дама, опиравшаяся на его руку, то и дело украдкой посматривала на меня.

— Себастьян, и все тут, — отвечал я. — Себастьян — отшельник, хранитель святыни. Если вы пришли...

— Но как тебя звали в миру? Назови свое прошлое имя, — нетерпеливо перебил он меня, продолжая всматриваться в мое исхудалое лицо.

— Это имя грешника, — ответил я. — Я вычеркнул его, сбросил его с себя.

По его лицу пробежало выражение нетерпеливого раздражения.

— Но как зовут твоего отца? — настаивал он.

— У меня нет отца, — ответил я. — У меня нет родных, ничто не привязывает меня к этому миру. Я Себастьян-отшельник.

Губы его сложились в раздраженную гримасу.

— Тебя нарекли Себастьяном при крещении? — спросил он.

— Нет, — ответил я. — Я принял это имя, когда стал хранителем святыни.

— Когда это случилось?

— В сентябре прошлого года, когда скончался святой отец, бывший здесь хранителем до меня.

Я увидел, как в глазах его зажегся внезапный свет, и слабая улыбка тронула губы.

— Приходилось ли тебе слышать имя Ангвиссола? — спросил он, близко приблизив свое лицо к моему и впиваясь в меня взглядом.

Однако я ничем себя не выдал, поскольку этот вопрос уже не был для меня неожиданностью. Я знал, что сильно похожу на своего отца, и в том, что человек, принадлежащий к дому Кавальканти, с которым был столь тесно связан Джованни д'Ангвиссола, заметил это сходство, не было ничего удивительного. Кроме того, я был убежден, что его присутствие здесь было чисто случайным; что его привлекло сюда обыкновенное любопытство, вызванное толпой паломников.

— Синьор, — сказал я ему, — мне неизвестны ваши намерения, но я нахожусь здесь не для того, чтобы отвечать на вопросы, касающиеся мирских обстоятельств. Мир отказался от меня, а я отказался от мира. Итак, если вы находитесь здесь не для того, чтобы поклониться

этой святыне, я попрошу вас удалиться и не докучать мне более. Вы явились сюда в крайне не благоприятный момент, когда мне нужны все мои силы для того, чтобы забыть мир и мое греховное прошлое во имя того, чтобы через меня свершилась воля Божия.

Я видел, что, в то время как я говорил, нежный взор девы обратился на меня с выражением ласкового сочувствия. Я заметил, как она сделала знак своему спутнику, прижав рукой его локоть. Повиновался ли он этому движению, или на него подействовала твердость моего тона, я сказать не могу. Во всяком случае, он коротко кивнул.

— Ладно, ладно, — сказал он, бросив на меня последний испытующий взгляд, повернулся вместе со своей спутницей и, бряцая доспехами, стал спускаться вниз по проходу, который освобождали ему в толпе.

Ему ясно давали понять, что его присутствие здесь нежелательно, поскольку оно вызвано не благочестивым желанием поклониться святыне, а какими-то иными соображениями. Люди опасались, что вторжение столь явно мирской персоны в такой ответственный момент может создать дополнительные трудности для появления ожидаемого чуда.

Дело нисколько не улучшило то обстоятельство, что, выбравшись из толпы, он остановился и стал расспрашивать, по какому случаю совершается паломничество. Я не слушал, что ему отвечали, но видел, как он внезапно вскинул голову, и уловил его следующий вопрос:

— А когда лилась кровь в последний раз?

Снова неразборчивый ответ, и снова его звенящий голос:

— Значит, до того, как сюда пришел молодой отшельник? А сегодня, вы говорите, раны сухи и кровь не идет?

Он бросил в мою сторону еще один проницательный взгляд своих прищуренных глаз, в которых, казалось, сквозила насмешка. Девушка шепнула что-то ему на ухо, но он только презрительно рассмеялся в ответ.

— Дурацкое лицедейство, — отрезал он и потянул ее за собой, чему она, по моему мнению, повиновалась весьма неохотно.

Однако толпа его услышала, услышала оскорбление, нанесенное святыне. По рядам прокатился угрожающий гул, и кое-кто вскочил на ноги, словно приготовившись напасть на него.

Он остановился и круто обернулся, услышав эти звуки.

— Ну, что вы там? — крикнул он. Голос его был подобен трубному гласу, глаза угрожающе сверкали; и, подобно собакам, которые уползают на свое место при грозном окрике хозяина, толпа испуганно смолкла под взглядом одного-единственного человека, облаченного в стальные доспехи.

Он рассмеялся глубоким грудным смехом и спокойно зашагал вниз по тропинке, ведя под руку свою даму.

Но когда он сел на лошадь и стал отъезжать, толпа почувствовала себя в безопасности и осмелела. По мере того как он удалялся, все более громко раздавались проклятия по его адресу: «Насмешник!» и даже «Богохульник!»

Но он невозмутимо и презрительно продолжал свой путь, лишь один раз обернувшись, чтобы посмеяться над ними.

Вскоре он скрылся из глаз под горой, видны были только алые вымпелы с изображенной на них головой белой лошади. Постепенно и они скрылись из вида, и я снова остался один на один с толпой пилигримов.

Белев им вернуться к прерванным молитвам, я снова пошел в хижину.

Глава восьмая

ВИДЕНИЕ

Как мы ни молились, наступившая ночь не принесла с собой никаких признаков чуда. Толпа разошлась, обещая вернуться с рассветом, — это обещание прозвучало для меня как угроза.

Я снова остался один, наедине со своими мыслями. И думал я не только о святом Себастьяне, о том, что он не слышит наших молитв, не хочет отозваться на мольбы верующих в него: я был не только во власти страха, что его неотзывчивость может быть знаком небесного неодобрения, указанием на то, что я недостойн быть хранителем святыни из-за скверны грехов, в которых я погряз. Мысли мои невольно устремились вниз по склону горы, вслед за доблестным отрядом с его суровым предводителем и ясноокой дамой, которая опиралась на его руку. Снова я видел своим мысленным взором сверкание доспехов, слышал грохот конских копыт, в то

время как образ девушки в платье, отливающим бронзой, не оставлял меня ни на минуту.

Вот жизнь, которая должна была бы быть моей! Такая девушка должна бы быть спутницей моей жизни, родить мне детей. И снова я краснел при воспоминании, так же как покраснел и в тот момент — из-за того, что она видела меня в таком жалком непрезентабельном виде.

Как она, должно быть, сравнивала меня с разряженными придворными кавалерами, которые увиваются за нею, ловят каждое ее ласковое слово. Могу ли я надеяться, что ее посетит хотя бы единая мысль обо мне, тогда как в моей душе навеки поселился ее образ и я думаю о ней неотступно. О, если она и вспомнит обо мне, то только как об отшельнике, который облачился в рубище анахорета и повернулся спиной к миру, ставшему для него пустыней.

Вы, живущие в мире и читающие эти строки, легко можете догадаться, что со мною произошло. Я страстно полюбил. Достаточно было встретиться с нею взглядом, и все было кончено. Вы, конечно, скажете, что в этом нет ничего удивительного, принимая во внимание то, что я вел такую уединенную жизнь, в особенности в последние несколько месяцев, и поэтому первая же красивая девушка, которую я увидел, мгновенно покорила мое сердце, для этого ей было достаточно всего только взмахнуть ресницами.

И все-таки я не могу согласиться с тем, что вы так уж проницательны.

Эта встреча была предопределена. В книге судеб было записано, что она должна явиться и сорвать с моих глаз эту глупую повязку, чтобы я сам мог увидеть то, о чем говорил мне фра Джервазио, а именно: ни хижина отшельника, ни монастырская келья не могут быть моим призванием; меня зовет к себе мир; именно в миру найду я свое спасение, ибо я нужен миру, там есть для меня необходимое дело.

И никто, кроме нее, сделать этого не мог. В этом я убежден, и вы тоже убедитесь, когда прочитаете дальше.

Томление, наполнявшее мою душу, не имело ничего общего с желаниями, вызванными воспоминаниями о Джулиане. Она полностью очистила мою душу от этих греховных желаний, добившись того, что оказалось не под силу молитве, посту, власянице или плетке. Мысль о ней наполняла меня небесным блаженством, я мечтал о ней так же, как истинно святые души жаждут, чтобы

им явились блаженные обитатели небес. Одно лишь созерцание ее прекрасного лица очистило меня от скверны, избавило от мрака плотских вожделений, в котором я пребывал независимо от своей воли; ибо то, что я испытывал по отношению к ней, было благословенным благородным желанием служить, охранять и лелеять.

Она была чиста, подобно белому нарциссу на берегу ручья, и мог ли я не оставаться чистым, служа ей?

Но потом, вдруг, вслед за этими мыслями наступила реакция. Душа моя наполнилась ужасом и отвращением. Все это лишь новая ловушка, которую расставил сатана, дабы уловить и погубить мою душу. Там, где бессильными оказались воспоминания о Джулиане, приведшие меня только к еще более строгому покаянию и усмирению плоти, гнусный враг рода человеческого решил искать окончательной моей гибели с помощью соблазна чистотой. Такого рода искушение испытал Антоний, египетский монах; и то и другое обличие принимала все та же соблазнительница Цирцея*.

Я положу этому конец. Я принес эту клятву в отчаянном порыве раскаяния, испытывая страстное желание сразиться с сатаной, с моей собственной грешной плотью, и приступил к этой ужасной битве с иступленной радостью.

Я скинул свое рубище и, взяв плетку из ветвей акации, стал себя бичевать так, что по всему телу заструились потоки крови. Однако этого мне показалось недостаточно. Как был, обнаженный, я выскочил в синюю темень и помчался к заводи на Баньянце, нарочно продираясь сквозь заросли ежевики и шиповника, шипы которых впивались в мое тело, раздирая его, так что я то кричал от боли, то заливался восторженным смехом, насмехаясь над сатаной за то, что он терпит поражение.

Я мчался вперед — тело мое было истерзано и кровоточило с головы до ног — и наконец добежал до заводи на пути бурного потока. Я бросился в воду и встал, погрузившись по самую шею, дабы изгнать нечистый пламень, сжигающий мое тело. В те поры на вершинах таяли снега, и вода в реке была ненамного теплее только что растаявшего льда. Холод пробрал меня до мозга костей, я чувствовал, что тело мое сжимается, превращаясь

* Цирцея (правильнее — Кирка) — персонаж древнегреческого эпоса «Одиссея», обитавшая на острове Эя, на котором Одиссей провел целый год.

в грубую шкуру какого-то сказочного чудовища, а раны саднило, словно их поливало жидким огнем.

Так продолжалось какое-то время, а потом все исчезло, я перестал чувствовать как холод, так и пламя, сжигающее раны. Все притупилось, каждый нерв погрузился в сон. Наконец-то я победил. Я засмеялся вслух и громким, торжествующим голосом возвестил соседним холмам и безмолвию ночи:

— Ты побежден, сатана!

После этого я выкарабкался на покрытый мохом берег и попытался встать на ноги. Но земля качалась у меня под ногами; синева ночи сгустилась, превратившись в полный мрак, и сознание покинуло меня, словно кто-то дунул на свечу, погасив ее.

Она возникла надо мною в лучезарном сиянии, исходившем от нее, словно она была источником света. Одевание из сверкающей ослепительным блеском ткани мягко облегалo ее гибкую девственную фигуру, и эта целомудренная красота вызвала во мне чистейший восторг благоговения и почитания.

Бледное овальное лицо было неизъяснимо прелестно, чуть раскосые небесно-голубые глаза светились невыразимой нежностью, а каштановые волосы, заплетенные в две длинных косы, спускающиеся с двух сторон по груди, были перевиты золотыми нитями и сверкали драгоценными камнями. Во лбу горел чистым белым огнем огромный бриллиант, а руки призывно тянулись ко мне.

Ее губы раскрылись, произнося мое имя.

— Агостино д'Ангвиссола! — Нежность, прозвучавшая в этих нескольких слогах, была равносильна целым томам ласковых речей, и мне показалось, что, услышав их, я уже знал все, чем было полно ее сердце.

А потом в душе моей родилось и имя — его подсказала мне сверкающая белизна всего ее облика.

— Бьянка*! — воскликнул, в свою очередь, я и простер руки, сделав попытку приблизиться к ней. Но меня цепко держали, не выпуская, ледяные оковы, и мучительный стон вырвался из моей груди.

— Агостино, я жду тебя в Пальяно, — сказала она, и при этих словах из темных глубин моей памяти всплыло воспоминание о том, что Пальяно — это крепость в

* Бьянка (итал. Bianca) — белая.

Ломбардии, цитадель рода Кавальканти. — Приходи ко мне скорее!

— Я, наверное, не смогу, — печально отвечал я. — Я отшельник, хранитель святыни; и моя жизнь, полная грехов, должна быть посвящена покаянию. Такова воля неба.

Она улыбнулась, и в улыбке этой не было и тени тревоги или уныния, напротив, она была исполнена веры и нежности.

— Самонадеянный! — мягко пожурела она меня. — Что ты знаешь о воле неба? Воля неба непостижима. Если ты грешил в этом мире, в нем же должен ты искупить свой грех делами, которые послужат миру — Божьему миру. Уединившись в своей хижине, ты стал бесплодной почвой, на которой ничто не может взрасти ни для тебя самого, ни для других. Вернись, вернись из своей пустыни. Приди ко мне, не медли! Я жду тебя!

С этим чудесное видение растаяло, и крошечная тьма снова сомкнулась надо мною, тьма, сквозь которую продолжали звучать, отдаваясь эхом, слова:

— Приди ко мне, не медли! Я жду тебя!

Я лежал на своем ложе из ветвей акации, сквозь крошечные оконца в комнату вливались потоки света, однако капли на карнизах указывали на то, что недавно шел дождь.

Надо мною склонилось ласковое лицо старика, в котором я узнал доброго священника из Кази.

Я долго лежал не шевелясь, просто глядя на него. Вскоре, однако, независимо от моей воли, заработала память, и я подумал о паломниках, которые, верно, уже собрались и ждут с нетерпением новостей.

Как мог я так надолго заснуть? Я смутно припоминал предыдущую ночь, епитимью, которую я добровольно на себя наложил, но за этим следовал пробел в сознании, пропасть, через которую не было моста. Однако превыше всего было беспокойство, связанное со статуей святого Себастьяна.

Я попытался приподняться и обнаружил, что я страшно ослаб; я был настолько слаб, что с удовольствием снова вытянулся на своем ложе.

— Кровоточат ли его раны? Идет ли кровь? — спросил я, и голос мой был настолько слаб и едва слышен, что я даже испугался.

Старый священник покачал головой, и в его глазах я прочел глубокое сострадание.

— Бедный юноша, бедный юноша, — со вздохом проговорил он.

Снаружи все было тихо. Как я ни прислушивался, я не слышал шороха толпы. Я увидел в своей хижине мальчика-пастуха, который, бывало, приходил ко мне испросить благословения. Что он здесь делает? А потом я увидел еще одну фигуру — это была старуха крестьянка с добрым морщинистым лицом и ласковыми темными глазами, которую я совсем не знал.

По мере того как в голове у меня прояснялось, прошлая ночь стала казаться бесконечно далекой. Я снова посмотрел на священника.

— Отец мой, — пробормотал я. — Что со мною случилось?

Его ответ изумил меня. Он сильно вздрогнул, еще раз внимательно посмотрел на меня и воскликнул:

— Он меня узнает! Он узнал меня! Deo gratias!

Я подумал, что бедный старик сошел с ума.

— А почему я не должен был его узнать? — спросил я.

Старая крестьянка заглянула мне в лицо.

— О, благодарение небу! Он очнулся, он пришел в себя. — Она обернулась к мальчику, который глядел на меня с радостной улыбкой на лице. — Беги и скажи им, Беппо! Да поскорее!

— Сказать им? — вскричал я. — Пилигримам? О, нет, нет — пусть сначала свершится чудо!

— Здесь нет никаких пилигримов, сын мой, — сказал священник.

— Нет? — воскликнул я, и меня охватил ужас. — Но они должны здесь быть. Сегодня же Страстная Пятница, отец мой.

— Нет, сын мой. Страстная Пятница была две недели тому назад.

Я в изумлении смотрел на него, не произнося ни слова. Потом снисходительно улыбнулся.

— Но ведь вчера они все были здесь. Вчера...

— Твое «вчера», сын мой, длится вот уже пятнадцать дней, — отвечал он, — с той самой ночи, когда ты боролся с дьяволом, ты лежишь в изнеможении, измученный этой страшной битвой, находишься между жизнью и смертью. И все это время мы ухаживали за тобой — Леокадия, я и этот мальчик Беппо.

Услышав это, я некоторое время лежал без движения,

* Слава Богу! (лат.).

не произнося ни слова. Мое удивление еще усилилось, но в то же время я постепенно стал понимать, что со мною было, когда посмотрел на свои руки, лежащие на грубом покрывале, которым меня прикрыли. Они и раньше были худыми, вот уже несколько месяцев. Но теперь они были белы как снег и почти столь же прозрачны. К тому же я все более отчетливо начинал ощущать слабость и утомление, владеющие всем моим телом.

— У меня была горячка? — спросил я его.

— Да, сын мой. А как могло быть иначе? Пресвятая Дева! Как можно было не заболеть после того, что тебе пришлось претерпеть?

И он поведал мне удивительнейшую историю, которая уже облетела всю округу. Оказалось, что мой крик — иступленный крик в ночи, которым я извещал сатану, что победил его, — был услышан пастухом, охранявшим своих коз в горах. В безмолвии ночи пастух отчетливо расслышал сказанные мною слова и, дрожа от страха, прибежал к реке, движимый благочестивым любопытством.

И здесь, возле заводи, он меня и нашел; он увидел мое тело, распростертое на камнях, сверкающее мраморной белизной и почти такое же холодное. Узнав во мне отшельника с Монте-Орсаро, он поднял меня своими сильными руками и отнес назад в мою хижину. Там он пытался меня оживить, растирая мое тело и вливая мне в горло вино из тыквенной бутылки, которую всегда носил с собой.

Увидев, что я жив, но что он не может привести меня в чувство и что окоченение сменилось у меня лихорадочным жаром, он укутал меня моей рясой, покрыл сверху своим собственным плащом и отправился вниз, в Кази, чтобы рассказать о случившемся и привести священника.

История, которую он рассказал, заключалась в следующем: отшельник с Монте-Орсаро сражался с дьяволом, и тот выволок его, обнаженного, из его хижины и пытался бросить в пучину бурлящих волн; но что на самом берегу потока отшельник собрался с силами и с помощью Божией одолел своего мучителя, лишил его силы; доказательством правдивости этой истории было мое тело, покрытое ранами, нанесенными когтями столь жестоко терзавшего меня сатаны.

Священник явился немедленно, взяв с собой все необходимые средства для того, чтобы возвратить меня к жизни, — слава Богу, он не захватил с собой пивовок,

а не то я мог бы лишиться последних капель крови, оставшейся в моих жилах.

Тем временем рассказ пастуха быстро распространился по округе. К утру он уже был на устах у всех обитателей этой местности, так что не было недостатка в объяснениях причин, почему святой Себастьян отказался на этот раз совершить чудо, и никто более не ожидал, что оно совершится — оно и не совершилось.

Священник ошибался. Чудо все-таки совершилось. Ведь если бы не случившееся, толпа наутро непременно вернулась бы снова, доверчиво ожидая, что раны святого Себастьяна начнут кровоточить — ведь это неизменно происходило в течение пяти лет. То, что на этот раз кровь из ран не полилась, весьма неблагоприятно отразилось бы на новом отшельнике. В наказание за кощунственное небрежение своими обязанностями со стороны хранителя святыни, из-за которого бедные поселяне были лишены столь страстно ожидаемого чуда, они могли растерзать меня на части.

Старик продолжал свой рассказ, сообщив мне, что три дня тому назад мою хижину посетил небольшой отряд вооруженных всадников под предводительством высокого бородатого рыцаря, девизом которого была черная лента на серебряном поле, в сопровождении монаха ордена святого Франциска — высокого худого человека, который заплакал, увидев меня.

— Это, наверное, фра Джервазио! — воскликнул я. — Как это случилось, что он меня нашел?

— Да, его звали фра Джервазио, — ответил священник.

— Где он сейчас? — спросил я.

— Мне кажется, здесь.

В этот самый момент я услышал звук приближающихся шагов. Дверь отворилась, и передо мною предстала высокая фигура моего дорогого друга — глаза его сверкали, бледное лицо покраснело от волнения.

Я улыбнулся, приветствуя его.

— Агостино! Агостино! — воскликнул он, подбежав ко мне, бросился на колени и схватил меня за руки. — О, слава тебе, Господи!

В дверях стоял еще один человек, пришедший вместе с ним, — его лицо я где-то видел, однако не мог припомнить, где именно. Он был очень высок, настолько, что ему пришлось пригнуться, чтобы не ушибиться о косяк низенькой двери, так же высок, как Джервазио или я сам, — и его загорелое лицо было покрыто густой

каштановой бородой, в которой виднелись седые пряди. Поперек всего лица шел безобразный багровый шрам — удар, оставивший этот след, перебил, должно быть, ему нос. Он начинался под левым глазом и пересекал все лицо, скрываясь в бороде на уровне рта. И тем не менее, несмотря на этот уродливый шрам, его лицо сохранило известную красоту, а его глубоко посаженные серо-голубые глаза были глазами отважного и доброго человека.

Он был одет в камзол, на нем были огромные высокие сапоги из серой кожи, с железного кованого пояса свисал и кинжал, и пустые ножны от шпаги. Остриженная голова его была обнажена, а в руках он держал черную бархатную шляпу.

Некоторое время мы смотрели друг на друга, глаза его были печальны и задумчивы, в них можно было прочесть жалость, вызванную, как я думал, печальным положением, в котором я находился. Потом он подошел ближе — его движения сопровождались скрипом кожи и бряцанием шпор, которые казались мне приятнейшей музыкой.

Он положил руку на плечо стоявшего на коленях Джервазио.

— Теперь он будет жить, Джервазио? — спросил он.

— О, теперь будет, — ответил монах, и в его утешительных словах звучала неистовая радость. — Он будет жить, не пройдет и недели, как мы сможем увезти его отсюда. А пока единственное, что ему нужно, — это настоящая пища. — Он поднялся с колен. — Моя добрая Леокадия, готов ли у тебя бульон? Давай-ка его сюда, нужно подкрепить силы этого молодчика. Да поскорее, добрая душа, нам нельзя терять времени.

Она засуетилась, исполняя его приказание, и вскоре я услышал, как за дверями затрещали ветки и сучки, возвещаая о том, что там разводится огонь. А затем Джервазио познакомил меня со своим спутником.

— Это Галеотто, — сказал он. — Он был другом твоего отца, а теперь будет твоим другом.

— Мессер, — сказал я, — я не желаю ничего лучшего со стороны того, кто был другом моего отца. Не вы ли, случайно, тот человек, которого называют «Великий Галсотто»? — спросил я, вспомнив девиз: черная лента на серебряном фоне, о котором мне говорил священник.

— Да, это я и есть, — отвечал он, и я с любопытством посмотрел на человека, имя которого гремело по всей

Италии в течение последних нескольких лет. А потом я вдруг вспомнил, почему мне знакомо его лицо. Это был тот самый человек в монашеской одежде, который так пристально смотрел на меня тогда в Мондольфо, пять лет тому назад.

Он был чем-то вроде человека, стоящего вне закона, ландскнехтом* — они до сих пор еще сохранились в качестве остатков рыцарских времен, — готовым отдать свою шпагу всякому, кто согласен был за нее заплатить. До сих пор он был предводителем отряда отчаянных вояк, который в свое время собрал Джованни дей Медичи, и которым он командовал до самой своей смерти. Черная полоса, которую они приняли в качестве девиза в знак траура по этому доблестному воину, снискала, ему имя Giovanni delle Bande Nere**.

Его называли также Gran Galeotto***, тогда как того, другого называли Gran Diavolo****, в этой игре слов имя отражало образ жизни, который он вел. Он был в немилости у папы, и, поскольку в свое время он был связан с моим отцом, на него вообще косо смотрели в папских владениях, до тех пор пока он, как мне вскоре стало известно, не наладил в какой-то степени отношения с Пьерлуиджи Фарнезе, который считал, что может наступить такое время, когда ему понадобятся ландскнехты Галеотто.

— Я был лучшим другом твоего отца, — сказал он мне. — Я отвез твоего отца в Перуджу, где он и скончался, — добавил он, указывая на свой ужасный шрам. Потом засмеялся. — Я ношу его с радостью в память о нем.

Он с улыбкой обернулся к Джервазио.

— Я надеюсь, что сын Джованни д'Ангвиссола в память о своем отце окажет мне честь, подарив свое расположение, когда мы с ним поближе познакомимся.

— Синьор, — сказал я, — благодарю вас от всего сердца за это доброе пожелание; я бы искренне хотел оказаться достойным его. Но Агостино д'Ангвиссола, который был на пороге телесной смерти, не существует более для света. Вы видите перед собой бедного отшельника по имени Себастьян, хранителя святыни.

* Ландскнехт (нем.) — наемный солдат.

** Джованни Черная Лента.

*** Великий Галеотто (Галеотто — негодяй, каторжник, висельник, от итал. — галера).

**** Великий Дьявол.

Джервазио стремительно поднялся на ноги.

— Эта святыня... — яростно начал он, покраснев от охватившего его гнева. Но потом внезапно остановился. Священник пристально смотрел на его лицо, а в дверях показалась Леокадия с миской дымящегося бульона в руках. — Мы поговорим об этом позже, — сказал он голосом, в котором слышались раскаты грома.

Глава девятая

ИКОНОБОРЕЦ

Прошла целая неделя, прежде чем мы вернулись к этому разговору.

К тому времени добрый священник из Кази и Леокадия вернулись домой, получив королевское вознаграждение от молчаливого великодушного Галеотто.

Теперь за мною ухаживал только один мальчик Беппо; и после долгих шести месяцев сурового поста наступило время постоянного пиршества, которое начинало меня беспокоить, по мере того как ко мне возвращались силы. И когда наконец по прошествии недели я смог встать на ноги и, опираясь на руку Джервазио, дойти до двери хижины и выглянуть наружу, на благостный вечерний ландшафт и на зеленые шатры, которые сподвижники Галеотто разбили в долине, как раз под тем уступом, на котором стояла моя хижина, я поклялся, что положу конец всем этим бульонам, куриным грудкам, форели, белому хлебу, красному вину и прочим деликатесам.

Но когда я заговорил об этом с Джервазио, он сразу стал серьезным.

— Довольно об этом, Агостино, — сказал он. — Ты едва не умер, и, если бы ты умер, смерть твоя была бы самоубийством, ты был бы проклят благодаря твоей собственной глупости и еще кое-чему другому.

Я посмотрел на него с удивлением и упреком.

— Как же это, фра Джервазио? — спросил я.

— Как же? — переспросил он. — Неужели ты думаешь, что я поверил этим дурацким рассказам о ночной битве с сатаной и о следах, которые оставили его когти на твоем теле? Неужели ты так понимаешь благочестие, что соглашаешься войти в компанию с этими гнусными

мошенниками и позволяешь, чтобы рассказы об этом ходили по всей округе?

— Гнусные мошенники? — в ужасе повторил я. — Фра Джервазио, ты богохульствуешь.

— Богохульствую? — воскликнул он и горько рассмеялся. — Богохульствую? А это что такое? — И суровым обвинительным жестом он вскинул руку по направлению к статуе святого Себастьяна, которая стояла в нише.

— Ты думаешь, оттого, что раны не кровоточили... — начал я.

— Они не кровоточили, — отрезал он, — потому что ты не жулик. Это единственная причина. Человек, который был здесь до тебя, просто нечестивец и негодяй. Он не был священником. Он последователь Симона Мага*, который торговал святынями, наживаясь и жирея за счет предрассудков бедного темного народа. Этот черный негодяй, что недавно умер, предан проклятию, ибо ему не было дано времени, когда пришел его конец, исповедаться в своих мерзких кощунственных грехах, покаяться в том, что он вымогал деньги у бедняков путем святотатства.

— Боже мой, фра Джервазио, что ты говоришь? Как ты только осмеливаешься произносить такие вещи?

— Где деньги, которые он собирал, чтобы построить свой распрекрасный мост? — резко спросил он меня. — Нашел ты что-нибудь, когда пришел сюда? Нет. Я готов поклясться, что не нашел. Еще немного, и этот разбойник окончательно разбогател бы и в один прекрасный день исчез — его утащил бы дьявол, однако несчастные поселяне подумали бы, что это ангелы унесли его в райские кущи.

Удивленный страстностью его речей, я опустил на чурбак, стоявший возле дверей и служивший стулом.

— Но ведь он раздавал милостыню! — воскликнул я в полном смятении.

— Пыль в глаза глупцам. Не более того. Этот идол, — проговорил он с величайшим презрением, — самое настоящее мошенничество, кощунственный обман, Агостино.

Неужели это чудовищное предположение могло быть правдой? Неужели человек может до такой степени забыть

* Симон Маг — самаритянин, живший в I в. н. э.; в Риме появился при императоре Клавдии, объявил себя воплощением божественных сил; в церковной истории известен как родоначальник ересей.

о Боге и совершить такое, не боясь, что гром небесный поразит его на месте?

Я задал Джервазио этот вопрос. Он только улыбнулся.

— Твои понятия о Боге отдают язычеством, — сказал он, немного успокоившись. — Ты путаешь Его с Юпитером-Громовержцем. Он не посылает на землю громы и молнии, как это делал отец Олимпа. И тем не менее... Подумай о том, как этот негодяй встретил свою смерть.

— Но... но... — мямлил я и вдруг замолчал, прислушиваясь. — Чу, фра Джервазио! Ты ничего не слышишь?

— Слышу? Что я должен слышать?

— Музыку — эти ангельские звуки. И ты можешь говорить, что это место — грязный обман, что это святое изображение — мошенничество! И это священник! Прислушайся! Это знамение, дабы ты отказался от своего упрямого неверия.

Он прислушался, нахмутив брови. Но потом лоб его разгладился, и он улыбнулся.

— Ангельские звуки! — повторил он с ласковой насмешкой. — Какие только ловушки не устраивает дьявол, чтобы ввести в заблуждение людей, используя в своих целях то, что они почитают святыней. Эта музыка, мой мальчик, не что иное, как звуки, которые издают капли воды, падая в небольшие колодцы разной глубины, — разная глубина и дает разную высоту звука. Эти колодцы находятся в какой-нибудь пещере в горах, там, где Баньянца вырывается из земли.

Я слушал его, наполовину убежденный и в то же время опасаясь, что слишком покорно принимаю его объяснения.

— Но доказательства! Где доказательства? — вскричал я.

— Доказательство в том, что ты никогда не слышал эти звуки во время сильного дождя, в то время когда вода в реке поднимается.

Я мысленно вернулся назад в те месяцы, которые я здесь провел, припомнил то отчаяние, что охватывало меня, когда я переставал слышать эти звуки, и радость, когда они снова раздавались. Эти минуты я всегда воспринимал как знак особой милости. И все было именно так, как он говорил: вовсе не моя греховность, а самый обыкновенный дождь заставлял смолкнуть эти звуки. Я перебрал в памяти все эти случаи и увидел истину с такой ясностью, что просто не мог понять,

почему эта закономерность не заставила меня задуматься раньше.

Более того, теперь, когда мои иллюзии, связанные с этим делом, несколько рассеялись, я понял, что характер звуков был именно таков, как он говорит. Я узнал их. Человека в здравом рассудке они могли заинтриговать на день-другой. Однако они никогда не обманули бы того, чей разум не был заражен лихорадкой фанатического экстаза.

Потом я еще раз посмотрел на статую, стоящую в нише, и маятник моей веры снова замер, остановившись в своем обратном движении. Что касается святого Себастьяна, здесь не могло быть никаких сомнений. Вся округа была свидетельницей чуда, все видели кровоточащие раны, все наблюдали случаи чудесного исцеления среди верующих. Не может быть, чтобы все обманывались. Кроме того, раны на груди все еще хранили следы чудесного явления, случившегося в прошлый раз.

Но когда я начал об этом говорить, Джервазио вместо ответа взял топор, стоявший у двери, которым пользуются лесорубы. Держа его в руке, он подошел к статуе.

— Фра Джервазио! — вскричал я, вскакивая на ноги и покрываясь холодным потом при мысли о том, что он собирается сделать. — Остановись! — почти что завопил я.

Но было слишком поздно. Ответом мне послужил сокрушительный удар. В следующий момент, когда я снова опустился на свой чурбак и закрыл лицо руками, разрубленная пополам статуя упала к моим ногам, куда ее бросил фра Джервазио.

— Смотри! — загремел он.

Я со страхом открыл лицо и посмотрел. И увидел. И все-таки не мог поверить.

Он быстро подошел ко мне и поднял обе половинки статуи.

— По дерзости и бесстыдству это устройство не уступает Дельфийскому оракулу*, — сказал он. — Взгляни на эту губку, металлические пластинки, которые сдвигаются, сжимая губку, так что жидкость, которой она пропитана, начинает сочиться и капает наружу. — Говоря, он одновременно отрывал одну за другой отдельные части дьявольского механизма. — Только посмотри, как изобре-

* В Дельфах (совр. Кастри) находился знаменитейший в античном мире храм бога Аполлона, при котором существовала особая жрица, дававшая предсказания от имени бога.

тательно она устроена, жидкость начинает капать, стоит только тронуть стрелу у него в боку.

Со стороны двери раздался смех. Вздвигнув, я поднял голову и увидел Галеотто, стоявшего рядом со мной. Я был так погружен в собственные мысли, что не заметил, как он подошел к хижине по мягкой траве.

— Реч Вассо! — воскликнул он. — Я вижу, наш Джервазио зачем-то занялся уничтожением идолов? Ну, как поживает наш чудотворец Себастьян, Агостино?

Моим ответом был жалобный стон утраченных иллюзий, а потом я выругался из самой глубины души, проклиная свою глупость, из-за которой я превратился в посмешище.

Монах положил руку мне на плечо.

— Как видишь, Агостино, твой экскурс в область святости, твое близкое знакомство с ней не принесли тебе особой радости. Прочь отсюда, мой мальчик! Сбрось с себя это лицемерное одеяние, ступай в мир и делай полезное дело — полезное для людей и для Господа Бога. Если бы у тебя действительно была склонность к духовному сану, я с радостью направил бы твои шаги по этому пути, был бы первым человеком, который помог бы тебе. Но твои понятия в этой области были искажены изначально, все твои воззрения ложны; ты путаешь мистицизм с истинной религией, тебе кажется, что гнить в келье отшельника — это и означает служить Богу. Но как ты можешь Ему служить, находясь здесь? Разве мир не принадлежит Богу? Почему ты чуждаешься его, словно он создан не Богом, а самим дьяволом? Я говорю тебе: ступай, и говорю это властью ордена, к которому принадлежу, — ступай и служи людям, ибо так ты лучше всего будешь служить Богу. Все остальное лишь ловушки, силки, с помощью которых улавливаются души, подобные твоей.

Я беспомощно молчал, переводя взгляд с него на Галеотто, который стоял у двери, нахмутив темные брови и глядя на меня так пристально и внимательно, словно от моего ответа зависело нечто чрезвычайно важное. В то же время слова Джервазио затронули какую-то струну в моей памяти. Я слышал их и раньше — может быть, не их, не именно эти слова, но что-то похожее на них, что-то имеющее тот же самый смысл.

Тут я застонал, обхватив голову руками.

— Куда же мне идти? — воскликнул я. — Есть ли на

земле место для меня? Я изгнан отовсюду. Самый мой дом и тот восстает против меня. Куда мне идти?

— Если тебя волнует только это, — сказал Галеотто сладким голосом, как бы посмеиваясь над елейной интонацией некоторых священников, — ну что же, тогда поедем в Пальяно.

Я вскочил при этом слове — буквально вскочил на ноги и уставился на него горящими глазами.

— Что случилось? Что с тобой? — удивленно спросил он.

И было чему удивляться. Это название — Пальяно — возникло в моей памяти так отчетливо, что передо мной, как вспышка света, вдруг снова предстало странное видение, посетившее меня во время бреда: я вновь увидел манящие глаза, простертую ко мне нежную ручку и ласковый голос, зовущий меня:

— Приходи в Пальяно! Приходи скорее!

Кроме того, теперь я вспомнил, где слышал убеждающие меня вернуться в мир слова, столь схожие по своему смыслу с теми, которые в свое время говорил мне Джервазио.

Что это за чудо? Какое здесь действует волшебство? Мне было известно — ибо мне об этом сказали, — что именно рыцарь по имени Этторе де Кавальканти принес весть о человеке, так странно похожем на Джованни д'Ангвиссола в молодости.

— Ты еще так слаб, Агостино! — обеспокоенно воскликнул Джервазио, обнимая меня за плечи, поскольку я пошатнулся.

— Нет, нет, — ответил я. — Это ничего. Скажи мне... — И я замолчал, боясь, как бы ответ на мой вопрос не разрушил вдруг вспыхнувшую надежду. Ибо мне казалось, что в этом месте, полном фальшивых чудес, сотворилось по крайней мере одно истинное чудо; и если оно подтвердится, тогда я приму его как знамение, указание на то, что мое спасение находится в мире. Если же нет...

— Скажи-ка мне, — начал я снова. — У этого Кавальканти есть дочь. Она его сопровождала в тот день, когда он был здесь. Как ее зовут?

Галеотто смотрел на меня, прищулив глаза.

— Почему ты спрашиваешь? Какое это имеет значение?

— Больше, чем ты думаешь. Отвечай же мне. Как ее имя?

— Ее зовут Бьянка, — сказал Галеотто.

Что-то у меня внутри словно бы подалось, и я разразился глупым смехом — так смеются женщины, когда находятся на грани слез. Усилием воли мне удалось совладать с собой.

— Очень хорошо, — сказал я. — В таком случае я поеду с тобой в Пальяно.

Оба они смотрели на меня во все глаза, удивленные внезапностью моего решения, столь внезапно последовавшего за информацией, которая, по их мнению, не могла иметь ни малейшего отношения к делу.

— Не лишился ли он рассудка? — ворчливо спросил Галеотто.

— Мне кажется, рассудок к нему возвращается, — ответил Джервазио после недолгой паузы.

— В таком случае помоги мне Бог, дай мне побольше терпения, — проворчал старый воин, немало удивив меня таким замечанием.

Книга четвертая

В МИРУ

Глава первая

ПАЛЬЯНО



огда мы подъезжали к серым стенам Пальяно, сирень была в полном цвету, и с тех самых пор ее аромат, воскрешая в памяти мое возвращение в мир, всегда символизирует для меня этот мир, во всей его широте и многообразии.

Мое возвращение было безоговорочным — я не колебался и не оглядывался назад. Решившись на этот шаг, я сделал его решительно и бесповоротно. Поскольку Галеотто предоставил в мое распоряжение все необходимые денежные средства с тем, что я верну ему долг впоследствии, как только получу возможность распоряжаться своим имением в Мондольфо, я без излишнего стеснения воспользовался этой его любезностью для удовлетворения самых неотложных своих нужд.

Я принял предложенное им тонкое белье и подходящее платье, достойное моего благородного имени, и теперь, когда борода моя была сбрита, волосы подстрижены до положенной длины, мой нарядный вид доставлял мне огромное удовольствие. Подобным же образом я принял от него оружие, деньги и коня. Экипированный таким образом, я впервые в жизни выглядел так, как подобает выглядеть аристократу столь высокого ранга, как мой, и выехал с Монте-Орсаро вместе с Галеотто и Джервазио в сопровождении эскорта из двадцати вооруженных всадников.

И с того самого момента, как мы выехали оттуда, меня охватило ощущение удивительного покоя, счастья и ожидания. Меня больше не мучил страх оказаться недостойным той жизни, которую я для себя избрал, — как это было в то время, когда я готовился в монахи.

Галеотто радовало мое хорошее настроение, он испытывал горделивое удовольствие, видя, каким молодцом я выгляжу, и клятвенно уверял, что со временем я стану достойным сыном своего отца.

Первым моим самостоятельным поступком в новой жизни было то, что я сделал, когда мы проезжали через Поджетту.

Я велел остановиться перед той жалкой харчевней — над ее дверями была прикреплена, несомненно, та же самая увядшая ветка розмарина, что висела там осенью, когда я в последний раз там проезжал.

Я приказал моей старой знакомой — волоокой и пышногрудой девице, которая стояла, прислонившись к дверному косяку, и дивилась на великолепную кавалькаду, подъехавшую к дому, — позвать мне трактирщика. Он явился, неуклюжий и согбенный, со смиренным видом и робостью в глазах — ничего похожего на то, как он себя вел по отношению ко мне.

— Где мой мул, негодяй? — спросил я его.

— Какой мул, ваше великолепие? — пробормотал он, вопросительно посмотрев на меня.

— Полагаю, что ты меня забыл — забыл юношу в старом черном одеянии, который проезжал здесь прошлой осенью и которого ты ограбил.

Когда он услышал мои слова, его лицо покрыла нездоровая желтизна, он задрожал от страха, бормоча какие-то объяснения и оправдания.

— Довольно! — остановил я его. — Ты не пожелал тогда купить моего мула. Купишь его сейчас и заплатишь с процентами.

— В чем дело, Агостино? — спросил Галеотто, подъехав ко мне.

— Восстановление справедливости, синьор, — коротко ответил я, после чего он больше меня не расспрашивал, а просто наблюдал происходящее с серьезной улыбкой. Я вновь обратился к трактирщику. — Сегодня ты ведешь себя не совсем так, как в прошлый раз, когда мы с тобой виделись. Я пощажу тебя, не отправлю на каторгу, для того чтобы нынешнее счастливое избавление послужило тебе хорошим уроком. А теперь, негодяй, выкладывай десять дукатов за моего мула! — И я протянул руку.

— Десять дукатов! — воскликнул трактирщик, набравшись храбрости при мысли о том, что его не повесят. — Это же вдвое против того, что стоит несчастная скотина! — протестовал он.

— Знаю, — отвечал я. — Значит, пять дукатов за мула и пять — за твою жизнь. Я оказываю тебе милость, назначив такую низкую цену за твою шкуру — впрочем, большего она и не стоит. Шевелись, мошенник, давай

десять дукатов без лишних слов, а не то я спалю твой гнусный вертеп, а тебя повешу на пепелище.

Он съежился и весь сомлел от страха. А потом побежал в дом за деньгами, в то время как Галеотто тихо смеялся, наблюдая эту сцену.

— Ты рассудительный человек, поступаешь вполне благоразумно, — сказал я, когда этот негодяй возвратился и вручил мне деньги. — Я тебя предупреждал, что вернусь назад и предъявлю счет. Пусть это будет тебе предупреждением.

Когда мы отъехали от этого места, продолжая свой путь, Галеотто снова рассмеялся.

— Черт возьми, Агостино! Если ты что-то делаешь, то делаешь основательно. В бытность свою отшельником ты не щадил себя, а теперь, когда сделался властелином, ты, верно, не собираешься щадить других.

— Так принято в роду Ангвиссола, — спокойно заметил Джервазио.

— Вы ошибаетесь, — сказал я. — Я считаю, что вернулся в мир для того, чтобы творить добро. И то, чему вы только что были свидетелями, служит именно этой цели. То, что я сделал, не является актом мести. Если бы это было так, я обошелся бы с ним значительно более сурово. Это был акт справедливости, а справедливость есть добродетель, достойная похвалы.

— В особенности если в результате справедливости у тебя в кармане оказываются десять дукатов, — смеялся Галеотто.

— И снова вы заблуждаетесь на мой счет, — сказал я. — Наказывая вора, я желаю тем самым вознаградить неимущего. — И я снова придержал своего коня.

Вокруг нас собралась небольшая толпа, состоявшая главным образом из оборванных полуголых людей, ибо Поджетта считалась одной из самых нищих деревень в округе. В эту толпу я и бросил десять дукатов, в результате чего она в тот же момент превратилась в рычащую, орущую, дерущуюся массу людей, готовых разорвать друг друга на куски. Не прошло и секунды, как появились разбитые головы, полилась кровь, и, для того чтобы ликвидировать последствия, вызванные моей милостыней, мне пришлось прищпорить коня и заставить их разойтись при помощи угроз.

— Мне кажется, — заметил Галеотто, когда дело было закончено, — что и в этом случае ты поступил столь же безрассудно. На будущее, Агостино, имей в виду, что

когда подаешь милостыню, гораздо благоразумнее дать деньги кому-нибудь одному, с тем чтобы он роздал их остальным.

Я от досады прикусил губу; однако вскоре снова улыбнулся. Неужели такие пустяки могли меня расстроить? Разве мы не ехали в Пальяно, к Бьянке де Кавальканти? При мысли об этом сердце мое учащенно забилося, а душу наполнило сладостное предвкушение, омрачаемое по временам каким-то страхом, которому я не мог найти названия.

Итак, мы прибыли в Пальяно в мае, когда сирень, как я уже говорил, была в полном цвету, после того как фра Джервазио оставил нас, чтобы возвратиться в свой монастырь в Пьяченце.

Во внутреннем двореке этой мощной крепости нас встретил тот самый высокий и крепкий человек с орлиным профилем, который узнал меня на Монте-Орсаро, в жилище отшельника. Теперь, однако, на нем не было доспехов. Он был одет в камзол желтого бархата, и взгляд его глаз был исполнен доброты и приязни, когда он остановился на Галеотто, а потом перешел на меня.

— Так это и есть наш отшельник? — спросил он, причем в его отрывистом голосе прозвучали нотки удивления. — Я бы сказал, что он несколько изменился!

— Причем эти изменения не ограничиваются его красивым камзолом, они проникли гораздо глубже, — отзывался Галеотто.

Мы спешились, и слуги, одетые в ливреи дома Кавальканти — алые, с белой лошадиной головой на груди, — увели наших лошадей. Сенешаль занялся размещением наших людей, в то время как сам Кавальканти повел нас по широкой каменной лестнице с мраморной балюстрадой, богато украшенной резьбой, от которой уходили ввысь колонны, поддерживающие крестовый свод потолка. Последний был расписан фресками в темно-красных тонах, на которых через правильные интервалы помещалась белая лошадиная голова. С правой стороны, на каждой третьей ступеньке, стояло цветущее апельсиновое дерево в кадке, источая дивный аромат.

По этой лестнице мы поднялись на просторную галерею, а затем, пройдя через анфиладу великолепных покоев, оказались в роскошных апартаментах, приготовленных специально для нас.

Два пажа, назначенные мне в услужение, принесли ароматическую воду и размоченные травы для омовения.

Когда с этим было покончено, они помогли мне облачиться в свежую одежду, ожидавшую меня в моих комнатах. Черные чулки из тончайшего шелка и такого же цвета короткие бархатные штаны; для верхней части моего тела предназначался узкий камзол из золотой парчи, схваченный в талии поясом, украшенным драгоценными камнями с прикрепленным к нему крохотным кинжалчиком, который можно было рассматривать лишь как игрушку.

Когда я был готов, меня повели — оба пажа шествовали впереди, указывая мне путь, — в так называемую малую столовую, где нас ожидал ужин. При одном упоминании о «малой столовой» в воображении моем сразу же возникли побеленные стены, высоко расположенные окна, пол, устланный тростником. Вместо этого мы оказались в самой очаровательной комнате, какую мне когда-либо приходилось видеть. Стены от пола до потолка были затянуты шпалерами из алой и золотой парчи, впере-межку; это — с трех сторон. Четвертая же сторона представляла собой окно-эркер, светящееся в сгущающихся сумерках, словно гигантский сапфир.

Пол был застелен ковром, алым, с багряным оттенком, и настолько толстым и мягким, что шум шагов делался совершенно неслышным. С потолка, украшенного фреской, изображающей лучезарного Феба, погоняющего четверку горячих белых коней, запряженных в колесницу, на цепи, представляющей собой сплетенных между собою титанов, свисала огромная люстра, каждая ветвь которой изображала титана, держащего в руках толстую свечу из ароматического воска. Люстра была из позолоченной бронзы, а делал ее, как я вскоре узнал, знаменитый ювелир и великий плут Бенвенуто Челлини. Свет этой люстры освещал мягким золотистым светом стол, заставляя сверкать хрусталь, золото и серебро стоявшей на столе посуды.

Возле буфета, уставленного кушаньями, находился мажордом*, одетый в черный бархат; золотая, богато украшенная резьбой цепь — знак его должности — оканчивалась серебряным медальоном, изображающим лошадиную голову; по обе стороны от него стояли два пажа.

Все это я успел заметить с первого взгляда, однако лишь очень поверхностно. Ибо взор мой тут же обратился к той, что стояла между Кавальканти и Галеотто, ожидая

* Дворецкий (фр.).

моего прихода. И — о, чудо из чудес! — одета она была точно так же, как тогда, когда она явилась мне в моем ночном видении.

Ее гибкая девичья фигурка была заключена в платье из серебряной парчи. Две косы каштановых волос, в которые были вплетены золотые нити с крошечными бриллиантками, лежали у нее на груди. Во лбу ослепительно сверкал крупный камень — чистейшей воды бриллиант.

В ее голубых, чуть удлинненных глазах — она подняла их, чтобы посмотреть на меня, — вдруг появилось выражение испуга, когда она встретила мой взгляд; щеки, покрытые до того легким румянцем, побледнели, и, подходя ко мне, чтобы приветствовать меня в Пальяно от своего имени, она опустила глаза.

Окружающие, вероятно, обратили внимание на ее волнение, так же, как заметили и мое. Однако никто из них не подал вида. Мы разместились за круглым столом: я — слева от Кавальканти, Галеотто — справа, на почетном месте, а Бьянка — напротив отца, так что я оказался справа от нее.

Сенешаль взялся за дело, и два шустрых шелковых пажа засуетились вокруг нас. Стол властителя Пальяно отличался такой же роскошью, как и все остальное в его великолепном дворце. Сначала подали телячий бульон в серебряных чашах, затем рагу из петушиных гребней и каплуных грудок, потом поджаренный окорок вепря, мясо которого было обильно полито соусом из розмарина, потом оленина, мягкая, как бархат, и разные другие яства, которых я теперь и не упомяну. Запивалось все это ломбардским вином, прозрачным и хорошо выдержанным, которое предварительно охлаждалось в снегу.

Галеотто ел с завидным аппетитом, Кавальканти — изящно и умеренно, я ел очень мало, а Бьянка не ела вообще ничего. Ее присутствие разбудило во мне такие сильные чувства, что я не мог думать о еде. Вино, однако, я пил и в конце концов почувствовал некую ложную легкость и свободу, и мне показалось, что я могу принять участие в беседе, которая шла в это время за столом, хотя, по правде говоря, это участие было не слишком значительным, поскольку Кавальканти и Галеотто говорили о вещах, о которых я в то время имел лишь отдаленное представление.

Несколько раз я порывался обратиться к самой Бьянке, однако у меня не хватало храбрости, и я останавливался

на поддороге. Я тут же начинал думать о том, какие воспоминания она хранила обо мне, каким она меня видела тогда, и моя застенчивость, вызванная самим ее присутствием, еще стократ увеличивалась. Что до нее, то она тоже почти все время молчала и только раз или два ответила на вопрос, с которым к ней обратился ее отец. И хотя я время от времени ловил ее взгляд, украдкой обращенный на меня, она тут же отводила взор, стоило нашим глазам встретиться.

Так прошла наша первая встреча, и на какое-то время ей суждено было остаться и последней, поскольку у меня не хватало храбрости искать с ней встречи. В Пальяно у нее были свои собственные апартаменты и свои придворные дамы, как у владетельной принцессы; сад при замке находился почти исключительно в ее распоряжении, и даже отец редко нарушал ее уединение. Он любезно предложил мне гулять там, когда мне захочется, однако за всю неделю, что мы там находились, я ни разу не воспользовался этим предложением. Несколько раз я чуть было не решился туда пойти, но моя непобедимая робость всякий раз мешала мне это сделать.

Было, однако, еще одно обстоятельство, которое меня сдерживало. До той поры воспоминания о Джулиане посещали меня в моем уединенном убежище, вызывая во мне вожделение, которое я пытался побороть молитвой, постом, а также плетью и власяницей. Теперь же эти воспоминания снова начали меня преследовать, однако совсем по-иному. Они напоминали мне о той пучине греха, в которую я был ввергнут из-за нее. И так же, как в моменты просветления в келье отшельника, я чувствовал себя недостойным быть хранителем святыни Монте-Орсаро, так и теперь эти воспоминания заставляли меня чувствовать себя недостойным войти в сад, охраняющий мою новую святыню — мадонну Бьянку де Кавальканти.

Ангельская чистота, окружавшая ее словно сиянием, заставляла меня отпрянуть и взирать на нее издали с благоговейным трепетом, который был сродни религиозному поклонению. Я так и не посмел войти в этот сад, хотя думал о ней непрестанно, несмотря на то, что все мое время было занято ежедневной муштрой — на коне и с разным оружием, — которой я каждый божий день занимался под руководством Галеотто.

Эти занятия велись не только для того, чтобы восполнить серьезные недочеты в моем воспитании. У них

была определенная цель, как сообщил мне Галеотто, известив меня о том, что близилось время, когда я должен буду отомстить за своего отца и сражаться за восстановление своих прав.

И вот однажды, в конце этой недели, во внутренний двор замка Пальяно въехал всадник и свалился со своего коня, требуя, чтобы его немедленно проводили к мессеру Галеотто. В лице и облике этого гонца было что-то такое, что всколыхнуло в моей душе сладкие воспоминания. Я шел по галерее, когда цокот копыт привлек мое внимание, и голос всадника заставил меня задрожать.

Одного взгляда на его лицо было достаточно, и я помчался вниз по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки, а в следующий момент, к изумлению всех присутствующих, уже сжимал в объятиях этого всадника, покрывая поцелуями его морщинистое, покрытое шрамами, обветренное лицо.

— Фальконе! — воскликнул я. — Фальконе, ты узнаешь меня?

Он был слегка ошарашен столь бурным приветствием — я ведь чуть не сбил его с ног, а он проделал долгий путь, и все тело его затекло от долгого пребывания в седле. А потом... как он уставился на меня! Какой поток радостных приветствий вырвался из его грубых солдатских уст, привыкших скорее к проклятьям и ругательствам!

— Мадоннино! — только и мог выговорить старый солдат. — Мадоннино! — И он высвободился из моих объятий и отступил назад, чтобы как следует рассмотреть меня. — Клянусь самым сатаной! Однако ты здорово вырос! Как ты хорош, как похож на своего отца, когда он был таким же молодым, как ты. Так, значит, им не удалось сделать из тебя святошу. Возблагодарим же за это Господа Бога! — Тут он внезапно замолчал, и взгляд его скользнул мимо меня как бы в замешательстве.

Я обернулся и увидел, что на галерее, облокотившись на перила лестницы, стоят рядом Галеотто и мессер Кавальканти. Стоят и улыбаются, глядя на нас.

Я услышал слова Галеотто, обращенные к властителю Пальяно:

— Душа его в порядке, и это настоящее чудо. По-видимому, этой несчастной женщине так и не удалось лишить его человеческого облика. — И он, тяжело ступая, спустился по лестнице, чтобы расспросить Фальконе о принесенных им вестях.

Старый конюший сунул руку за пазуху своей кожаной куртки и достал оттуда письмо.

— От Ферранте? — с живостью спросил владетель Пальяно, заглядывая ему через плечо.

— Да, — ответил Галеотто, сломав печать. Он читал письмо, нахмутив брови. — Отлично, — сказал он наконец, передавая письмо Кавальканти. — Фарнезе уже прибыл в Пьяченцу, а папа уж сумеет убедить коллегия, чтобы его бастард* была пожалована герцогская корона. Пора нам браться за дело.

Он обернулся к Фальконе, в то время как Кавальканти читал письмо.

— Пойди поешь и отдохни, мой добрый Джино, ибо завтра ты снова поедешь со мной. И ты тоже, Агостино.

— Снова ехать? — воскликнул я. У меня упало сердце, и мое огорчение отразилось на моем лице. — Куда?

— Исправить зло, причиненное дому Мондольфо, — коротко ответил он и отвернулся.

Глава вторая

ГУБЕРНАТОР МИЛАНА

Мы тронулись в путь утром, как он и сказал; с нами отправился Фальконе и тот же самый великолепный отряд, который сопровождал меня на пути из Монте Орсаро. Однако я не придавал этому обстоятельству особого значения, не испытывал особой гордости при мысли о таком великолепном эскорте. На сердце у меня было тяжело. Мне не удалось повидаться с Бьянкой перед отъездом, и одному Богу было известно, когда мы сможем вернуться в Пальяно. Так, по крайней мере, мне ответил Галеотто, когда я, набравшись храбрости, задал ему этот вопрос.

Мы ехали два дня, небольшими переходами, и наконец нашему взору представился удивительно прекрасный и величественный город Милан, расположенный в самом сердце обширной Ломбардской долины, в северной части которой вдали виднеются Альпы, ограничивая ее и защищая с этой стороны.

Целью нашего путешествия был замок, в роскошном вестибюле которого и оказались мы с Галеотто, стоя там

* Бастард (фр.) — незаконнорожденный сын.

в толпе шуршащих шелками разодетых придворных, офицеров, бряцающих оружием и доспехами, и красивых женщин. Кое-кто из них бросал в мою сторону дерзкие взоры, напоминавшие мне о Джулиане, однако ни одна не могла сравниться с Бьянкой.

В этой толпе у Галеотто было, по-видимому, много знакомых; к нему то и дело подходили и шептали что-то на ухо. Наконец к нам пробрался, расталкивая придворных, бойкий паж в желтой с черным полосатой ливрее императорского двора.

— Мессер Галеотто, — раздался его резкий мальчишеский голос, — его светлость желают вас видеть.

Галеотто взял меня за руку и потянул за собой. Таким образом мы проследовали по проходу сквозь толпу расступившихся перед нами придворных и оказались перед дверью, завешенной портьерой. Церемониймейстер откинул перед нами эту портьеру по знаку пажа, и последний, открыв дверь, доложил о нашем приходе тому, кто находился в комнате.

За столом, заваленным пергаментными свитками, в золоченом кресле, ручки которого были покрыты причудливой резьбой, изображающей змеиные головы, сидел изысканно любезный господин, который поднялся нам навстречу.

Это был упитанный, цветущий человек среднего роста. У него был решительный рот, высокие скулы, хитрые, навывкате, глаза, которые напомнили мне глаза трактирщика из Поджетты. Он был великолепно одет — на нем была алая шелковая мантия, отороченная мехом рыси, а все пальцы — даже большой — были густо унизаны кольцами с драгоценными камнями.

Это был Ферранте Гонзаго, принц Мольфетта, герцог Ариано, наместник Императора и губернатор провинции Милан.

Любезная улыбка, которой он приготовился приветствовать Галеотто, слегка потускнела при виде меня. Однако, прежде чем он успел задать вопрос, мой спутник поспешил меня представить.

— Вот человек, мессер, на которого, я уверен, мы сможем рассчитывать, когда придет время. Это Агостино д'Ангвиссола — владетель Мондольфо и Кармины.

На лице Гонзаго появилось выражение удивления. Он хотел что-то сказать, но раздумал, переведя внимательный взгляд на Галеотто, лицо которого оставалось спокойным и непроницаемым, словно камень. Затем губернатор по-

смотрел на меня, а потом снова на Галеотто. Наконец он улыбнулся, в то время как я склонился перед ним в глубоком поклоне, плохо представляя, чем все это может для меня обернуться.

— Это время, — сказал он, — наступит, как мне кажется, довольно скоро. Герцог Кастро, этот Пьерлуиджи Фарнезе, настолько уверен в конечном успехе, что уже водворился в Пьяченце, сделав ее своей резиденцией, и его называют, как мне донесли, герцогом Пармы и Пьяченцы.

— У него есть на это свои основания, — заметил Галеотто. — Кто будет противиться его избранию, если Император, подобно Пилату, умыл руки и не желает вмешиваться?

Хитрое лицо Гонзаго расплылось в улыбке.

— Не следует слишком полагаться на желания Императора в этом вопросе. Его ответ папе сводился к тому (заклучался в том), что если Парма и Пьяченца являются ленными владениями империи — то есть составной частью провинции Милан, — Императору не подобает отчуждать эти области от территории, коей он является всего только хранителем; если же найдутся доказательства того, что они принадлежат папскому престолу, ну что же, в этом случае Император не имеет к ним никакого касательства и папа может распоряжаться там по своему усмотрению.

Галеотто пожал плечами, и лицо его омрачилось.

— Это равносильно согласию, — сказал он.

— Не совсем так, — проворковал Гонзаго, снова усаживаясь в свое кресло. — Это ничего не означает. Это Сивиллин* ответ, который ни в коей мере его не связывает, никак не определяя то, что он намерен предпринять в будущем. Мы все еще надеемся, что священная коллегия откажется утвердить инвеституру**. Пьерлуиджи Фарнезе не пользуется особым расположением членов курии.

— Священная коллегия не может противостоять желаниям папы. Он подкупил ее, вернув Церкви провинции Непи и Камерино взамен Пармы и Пьяченцы, которые должны составить владения его сына. Как вы думаете, мессер, сколько времени сможет сопротивляться коллегия?

* Сивилла — прорицательница и жрица Аполлона во времена Тарквиния, которой приписывались так называемые сивиллины книги, хранившиеся в Капитолии и заключающие в себе указания выхода из критического политического положения.

** Введение во владение.

— Все испанские кардиналы готовы блости интересы Императора.

— Испанские кардиналы могут оказывать сопротивление, пока не подавятся собственным энтузиазмом, — не задумываясь возразил Галеотто. — У папы достаточно приспешников, для того чтобы провести любые выборы, а если их не хватит, он поищет и найдет или создаст себе новых, чтобы хватило для достижения его целей. Он уже неоднократно пользовался этой уловкой.

— Ну что же, — улыбаясь сказал Гонзаго, — если вы так в этом уверены, тогда дело за вами, благородные господа, владетельные сеньоры Пьяченцы. Пора начинать действовать. Император рассчитывает на вас. А вы можете рассчитывать на Императора.

Галеотто посмотрел на губернатора, и его глаза на открытом шрамах лице приобрели строгое, серьезное выражение.

— Я надеялся на другое, на большее. Вот почему я медлил, не начинал действовать. Вот почему выжидал и даже совершил вероломный поступок, позволив Пьерлуджи полагать, что я готов, если возникнет надобность, наняться к нему на службу.

— О, ты играешь в опасную игру, — откровенно заявил ему Гонзаго.

— Она будет еще более опасной, прежде чем я закончу дело, — решительно отозвался Галеотто. — Ни папа, ни даже сам дьявол меня не испугают. Я должен исправить причиненное мне зло, а каково оно — вашей светлости известно лучше, чем кому-либо другому, и если ради этого мне придется лишиться жизни, — он пожал плечами и усмехнулся, — ну, что же, это все, что у меня осталось, а для человека, который лишился всего остального, жизнь не имеет особой цены.

— Знаю, знаю, — сказал лукавый губернатор, покачав своей огромной головой. — Иначе я не стал бы тебя предупреждать. Ведь ты нужен нам, мессер Галеотто.

— Да, я вам нужен; вы сделаете меня орудием, вы и ваш Император. Инструмент, с помощью которого вы собираетесь свалить неугодного вам герцога.

Гонзаго нахмурился и встал со своего места.

— Вы заходите слишком далеко, мессер Галеотто, — сказал он.

— Не дальше, чем вы меня вынуждаете.

— Терпение и еще раз терпение, — успокаивал его наместник, снова принимая преувеличенно-любезный вид

и беря елейный тон. — Давайте рассмотрим ситуацию. То, что Император ответил папе, — истинная правда. Совершенно неясно, принадлежат ли провинции Парма и Пьяченца империи или папскому престолу. Но как только они будут дарованы Фарнезе в качестве герцогства, они уже не будут принадлежать престолу, даже если прежде это было так. Как только это произойдет, пусть народ поднимется, заявив, что люди недовольны тем, как ими управляют, пусть они восстанут против Фарнезе, и тогда можно смело рассчитывать на то, что Император вмешается, выступит как освободитель и поддержит ваше восстание.

— Вы нам это обещаете? — спросил Галеотто.

— Совершенно определенно, — последовал незамедлительный ответ. — Заверяю тебя своей честью. Пришлите мне гонца с известием, что вы взялись за оружие, что нанесен первый удар, и я тут же двинусь вам на выручку со всеми силами, которые сумею поднять именем Императора.

— У вашей светлости есть на то полномочия? — спросил Галеотто.

— Разве я стал бы обещать, если бы было иначе? Приступайте, синьор. Вы можете действовать уверенно.

— Может быть, и уверенно, — мрачно отозвался Галеотто, — однако без особой надежды. В результате папского правления половина владетельных сеньоров Вальди-Таро окончательно лишились силы духа. Они так много, так жестоко страдали, столько понесли потерь — у них отбирали их владения, свободу, иногда и самую жизнь, — что теперь у них заячья души и они скорее готовы цепляться за те жалкие остатки свободы, которые им сохранили, чем попытаются нанести удар и вернуть то, что принадлежит им по праву. О, я давно их знаю. Я сделаю все, что в человеческих силах, но... — Он пожал плечами и горестно покачал головой.

— Что, разве совсем не на кого рассчитывать? — очень серьезно спросил Гонзаго, потирая свой гладкий жирный подбородок.

— Я могу рассчитывать на одного человека, сеньора владетеля Пальяно. Он гибеллин до мозга костей, и потому предан нашему делу и мне. Если я его попрошу, он не остановится ни перед чем. Между нами есть один должок, а он человек чести и долги свои платит исправно. На него я могу рассчитывать полностью, а он богат и могуществен. Но дело в том, что он, по существу, не

пьячентинец. Он держит свой лен непосредственно от Императора. Палььяно принадлежит к провинции Милан, и Кавальканти не является подданным Фарнезе. Таким образом, Кавальканти — это исключение, и у него гораздо меньше оснований проявлять чрезмерную покорность. — Он снова пожал плечами. — Все, что я могу сделать, чтобы их поднять, я сделаю. Скоро вы снова обо мне услышите, мессер.

Гонзаго взглянул на меня.

— Мне кажется, вы называли еще одного человека.

Галеотто печально улыбнулся.

— Да, еще один человек есть, но это всего только еще одна шпага, не более. Если наше предприятие не увенчается успехом, ему никогда не властвовать в Мондольфо. На него можно положиться, но он не приведет с собой людей.

— Понятно, — сказал Гонзаго, захватив пальцами нижнюю губу. — Но его имя...

— Это имя, а также зло, причиненное ему, будут использованы, мессер, можете быть уверены — зло, доставшееся ему по наследству.

Я не сказал ни слова. Мне стало немного неприятно, когда я слушал, как мною распоряжаются, не спрашивая моего мнения на этот счет; однако моя вера в Галеотто, доверие к нему заставляли меня мириться с этим обстоятельством — я был уверен, что он не поставит меня в неловкое положение, несовместимое с моей честью.

Гонзаго проводил нас до дверей кабинета.

— Буду ждать от вас вестей, мессер Галеотто, — сказал он. — И если дворян из Валь-ди-Таро трудно сейчас сдвинуть с места, пусть-ка они попробуют, каково им придется под рукой Пьерлуиджи, тогда у них наверняка прибавится храбрости. Я считаю, что дело это не безнадежно, нужно только набраться терпения. А Императору, моему повелителю, все будет доложено.

В следующую минуту мы были уже за пределами кабинета, расставшись с этим хорошо упитанным, великодушным и коварным вельможей. Портьера за нами опустилась, и мы стали пробираться сквозь толпу, наполнявшую приемную, причем Галеотто все время что-то бормотал сквозь зубы. Когда мы вышли на чистый воздух, я разобрал, что это были проклятья, адресованные Императору и его миланскому наместнику.

Когда мы оказались в гостинице возле величественного собора, построенного Висконти, — там над дверью в ка-

честве вывески красовалось изображение солнца — он наконец дал полную волю своему гневу.

— В этом мире одни только трусы, — бушевал он. — Ленивые, своекорыстные трусы и бездельники. Я надеялся, что хотя бы Император окажется человеком, который не задумываясь, смело выступит на защиту своих интересов. На большее я не надеялся, но на это рассчитывал твердо. Однако даже здесь я обманулся. О, этот Карл Пятый! — вскричал он. — Этот монарх, в землях которого никогда не заходит солнце! Фортуна одарила его щедрой рукой, но вот сам он ничего не может для себя сделать. Он коварен, жесток, нерешителен и никому не доверяет. В нем нет никакого величия, а ведь он владеет чуть ли не всем миром! Все за него должны делать другие; другие должны одерживать победы, а он будет только вкушать их плоды. Ах, да ладно, — заключил он с насмешливой улыбкой. — Если смотреть с точки зрения света, то в этом тоже есть известное величие — величие лисы.

Мне, естественно, было понятно далеко не все, что он говорил, и я, набравшись храбрости, прервал его гневные тирады и попросил, чтобы он объяснил мне, в чем дело. Вот что я узнал о том, как обстояло дело.

Провинция Милан была в то время предметом спора между Францией и империей, когда Генрих Второй уступил ее Карлу Пятому. А к Милану относились провинции Парма и Пьяченца, которые папа Юлий Второй отнял у Милана и присоединил к владениям Церкви. Этот акт, однако, являлся незаконным, и, хотя эти провинции с тех пор находились под властью понтификата, по закону они принадлежали Милану, у которого до сих пор не было достаточно сил, для того, чтобы отстаивать свои права. Теперь наконец эта сила появилась, когда было подтверждено право Императора на эти земли. Но именно в этот момент вступила в силу папская политика nepotismo*, и эти земли вновь были отторгнуты, отняты у Милана — из них было образовано герцогство для фарнезского бастарда Пьерлуиджи, который уже был к тому времени герцогом Кастро.

Сеньоры Валь-ди-Таро, в особенности гибеллины, так же как и мелкие дворяне, жестоко страдали под властью папского правления — грабежи, конфискации и вымога-

* Непотизм — раздача титулов и земель по родственному принципу; замещение по протекции доходных или видных должностей.

тельства довели их до самого жалкого состояния. Именно против этих бесчинств — когда они только что начались — и поднял мятежное знамя восстания мой отец, потерпев жестокое поражение из-за лениости своих собратьев-сеньоров, которые не желали его поддержать даже во имя спасения от ненасытной утробы Рима, который готов был поглотить их всех без остатка.

Но то, что им приходилось терпеть до сих пор, не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет, если папе удастся добиться своего и если Пьерлуиджи станет их герцогом — независимым принцем. Он согнет сеньоров в бараний рог, ради того чтобы стать полновластным господином всего края. Это неоспоримо. Однако эти жалкие трусы не желали понимать, какая беда им грозит, и покорно ожидали своей участи.

Возможно, они рассчитывали на Императора, который, как было известно, не поощрял системы инвеституры, и надеялись на то, что он не утвердит этого проекта папы. Кроме того, следовало помнить, что Оттавио Фарнезе, сын Пьерлуиджи, был женат на Маргарите Австрийской, дочери Императора, и если уж в Парме и Пьяченце суждено было установиться владычеству Фарнезе, то Император предпочел бы отдать эти земли собственному зятю, который держал бы этот лен непосредственно от империи. Кроме того, было известно, что Оттавио плетет интриги, вступая в переговоры то с папой, то с Императором, пытаясь получить эту инвеституру вместо своего отца.

— Может ли сын так себя вести? Это противоестественно! — воскликнул я, услышав об этом.

Галеотто взглянул на меня и мрачно улыбнулся, поглаживая свою густую бороду.

— Скорее, это отец ведет себя противоестественно, — отозвался он. — Оттавио Фарнезе только выигрывает, забывая о том, что он сын Пьерлуиджи. Это не то родство, которым может гордиться человек, каким бы отъявленным негодяем он ни был.

— Как это так? — спросил я.

— Да, видно, ты действительно жил вдали от света, если ничего не знаешь о Пьерлуиджи Фарнезе. Мне казалось, что какие-то слухи о его распутной жизни должны были проникнуть даже в твоё уединение, они должны были отпечататься на лице самой природы, которую он осквернял каждым своим шагом, каждый день своей жизни, исполненной скверны и порока. Пьер-

луиджи — это чудовище, сущий антихрист, самый беспощадный, кровожадный и злобный человек, когда-либо ступавший по земле. По правде сказать, немало находится людей, которые считают его колдуном. Ходят слухи, что он занимается черной магией, что он продал душу дьяволу. Впрочем, то же самое говорят и о папе, его родителе, и я не сомневаюсь, в этой его магии есть нечто сатанинское, выходящее за пределы, доступные простому смертному.

Есть один человек, по имени Паоло Джовио, епископ Ночеры, шарлатан и алхимик, который занимается черной магией, так вот он недавно написал историю жизни еще одного сына папы римского — Чезаре Борджа, который жил примерно с полвека тому назад и немало сделал для консолидации папских земель — больше, чем кто бы то ни было, — хотя истинной его целью, так же как и у Пьерлуиджи, было расширение собственных владений. Мне намекнули, что в качестве образца для своего описания он использовал нашего фарнезского негодяя, приписав сыну Александра Шестого грехи и подлости сына Павла Третьего.

Однако эта попытка провести параллель является оскорблением памяти Борджа, ибо тот, по крайней мере, был настоящим властителем: он знал, как управлять своим народом, и умел внушить к себе любовь; так что во времена моей ранней молодости — примерно лет тридцать тому назад — в Романье еще сохранились люди, которые ждали возвращения Борджа и молились об этом так же горячо, как верующие молятся о втором пришествии Мессии, отказываясь верить, что он мертв. Что же до этого Пьерлуиджи! — Галеотто презрительно оттопырил губу. — Он просто вор, убийца, развратник, гнусный похотливый пес!

И он стал рассказывать о похождениях этого человека, страницы жизни которого были залиты кровью и грязью — это был рассказ об убийствах, насилии и прочих, еще худших деяниях. И когда, в качестве кульминации, он рассказал мне о чудовищном надругательстве, учиненном над Козимо Гери, молодым епископом Фано, я попросил его прекратить, ибо это привело меня в такой ужас, что мне едва не сделалось дурно*.

— Этот епископ был святой человек, он вел в высшей

* Инцидент, на который ссылается Агостино, полностью описан Бенедетто Варки в конце XVI тома «Истории Флоренции». (Прим. автора.)

степени добродетельную жизнь, — настойчиво продолжал Галеотто, — и после того, что с ним произошло, германские лютеране стали говорить, что это новая форма мученичества для святых, изобретенная сыном папы. И отец Пьерлуиджи простил сыну и это его деяние — в числе других, столь же отвратительных — при помощи священной буллы*, избавляющей его от адских мук, положенных в качестве кары за неумеренность в плотских наслаждениях, за гнусный разврат.

Мне кажется, что именно рассказ об этих ужасах — он произвел на меня громадное впечатление — возбудил во мне желание действовать, больше даже, чем мысль о необходимости исправить зло, причиненное мне матерью, которое оказалось возможным только при понтификальном правлении, при владычестве Фарнезе.

Я протянул Галеотто свою руку.

— Можете рассчитывать на меня. Буду служить верой и правдой благородному делу, которому вы себя посвятили.

— Вот речь, достойная сына дома Ангвиссола, — сказал он, и в его глазах цвета стали мелькнула искорка неподдельной любви. — Однако не забудь, что нужно не только исправить зло, причиненное многим людям, но и то, которое причинено твоему отцу. Нужно восстановить его в правах, вернуть ему то, что у него отнято. Пьерлуиджи — вот кто виновник его гибели; но те, кто сражался бок о бок с ним у стен Перуджи и был взят в плен живым... — Он замолк, смертельно побледнев; крупные капли пота выступили у него на лбу. — Не могу, — промолвил он дрожащим голосом. — Даже сейчас, когда прошло столько лет, мне невыносимо думать о том, что с ними сделал этот ужасный человек, это чудовище.

Меня странным образом поразило волнение этого человека, которого я привык видеть сдержанным и невозмутимым.

— Я вышел из своего уединения, — сказал я, — в надежде на то, что смогу лучше служить Богу в миру. Мне кажется, что вы, мессер Галеотто, указываете мне путь, по которому я должен идти, объясняете то, что я должен делать.

* Грамота или распоряжение папы римского, скрепленное его печатью.

мы направились дальше, держа путь к твердыне альбарольских Ангвиссола, моих кузенов, которые оказали мне сердечный прием, но которые, несмотря на то, что разделяли наши мысли и в особенности нашу ненависть к общему нашему гвельфскому кузену Козимо, ставшему теперь фаворитом Пьерлуиджи, находились тем не менее в нерешительности, как и все остальные. Столь же неудачными были попытки побудить к действиям Сфорца из Сантафьоре, в чей замок мы отправились из Альбаролы, а также Ланди, Скотти и Конфраньери. Повсюду царила атмосфера трусости, боязни потерять то малое, что осталось, стремление уцепиться за эти жалкие остатки, вместо того чтобы смело поднять голову и сражаться за то, что принадлежит тебе по праву.

Поэтому, когда снова наступила весна и наша миссия была закончена без особого успеха, ибо мы взывали к сердцам, которые не желали, не могли или не хотели воспламениться, мы вновь направили свои стопы в сторону Пальяно. Мы совсем пали духом, хотя если говорить обо мне, то мое уныние несколько скрашивала мысль о том, что я снова увижу Бьянку.

Однако, прежде чем я вернусь к рассказу о ней, позвольте мне покончить с обстоятельствами историческими, в той их части, которая имеет непосредственное касательство к нам.

Как вы знаете, мы оставили владетельных сеньоров в прежней нерешительности и апатии, поскольку наши доводы на них не подействовали. Однако пророчества лукавого Гонзаго не замедлили подтвердиться. Невыносимое тиранство Фарнезе вывело их из сонного состояния. Первыми, кто почувствовал на себе железную руку герцога, были Паллавичини, у которых он отнял их земли Кортемаджоре, захватив в качестве заложников жену и мать Джироламо Паллавичини. Затем он бросил своих головорезов против даль Верме, осадив Романьезе и заставив эту цитадель капитулировать, а потом пытался отобрать у них Боббио, другое их ленное владение. Оттуда, сметая все на своем пути, он направил свой победоносный путь на Кагель, Сан-Джованни, желая выкурить оттуда Сфорца, но в то же время совершил ошибку, пытаясь выгнать из Сораньо сеньоров Гонзаго.

Эта неосмотрительность привела к тому, что на него обрушился гнев самого Ферранте Гонзаго. Встав во главе имперских войск, губернатор Милана не только вступился за свою семью, возвратив им Сораньо, но и отбил у

Пьерлуиджи Боббио и Романьезе, вернув эти владения даль Верме. Кроме того, он заставил Пьерлуиджи снять осаду с Сан-Джованни, доказывая, что эти земли — ленные владения самого Императора.

Получив этот суровый урок, Пьерлуиджи был вынужден спрятать на время свои стальные когти. В качестве утешения он обратил свои помыслы на долину Таро, издав эдикт, предписывающий всем сеньорам разоружиться, распустить свои войска, покинуть крепости и переселиться в главные города своей округи. Тех же, кто отказался подчиниться или медлил с выполнением распоряжения, он сокрушил, отправив в изгнание и конфисковав земли и имущество; но и тех, кто покорно подчинился его воле, он лишил всех привилегий, которыми пользовались феодальные сеньоры.

Даже моя мать, как нам стало известно, была вынуждена распустить свой жалкий гарнизон, получив приказание закрыть цитадель Мондольфо и переселиться в наш дворец в самом городе. Впрочем, она пошла еще дальше, чем ей было предписано: она приняла постриг и ушла в монастырь святой Клары, удалившись от мира навсегда.

Эта жестокая тирания вызвала глухое брожение во всей провинции. Фарнезе вел себя в Пьяченце так же, как в свое время Тарквиний*: тот, гуляя в своем саду, имел обыкновение срезать маковые головки, которые возвышались над остальными. В скором времени, для того чтобы пополнить свою казну, которая, как ему казалось, несмотря на бесконечные поборы, прямой грабеж и конфискации, наполнялась недостаточно быстро, для того чтобы удовлетворять его непомерные аппетиты, он затеял проверку прошлого своих сеньоров и издал законы, имеющие обратную силу, для того чтобы иметь возможность налагать новые штрафы и учинять новые конфискации в наказание за давно минувшие дела и проступки.

В числе прочих акций такого рода, как нам стало известно, была и расправа над нашим семейством: над моим отцом была проделана процедура смертной казни — ему символически отрубили голову — за то, что он поднял восстание против власти папского престола, а мои владения Мондольфо и Кармина были конфискованы — мне вме-

* Один из семи царей Древнего Рима; после свержения последнего из них, Тарквиния Гордого (535—510 до н. э.), в «вечном городе» установилась республиканская форма правления.

нялось в вину то, что я был сыном Джованни д'Ангвиссола. Вскоре мы услышали, что Фарнезе преподнес Мондольфо своему преданному слуге и вассалу сеньору Козимо д'Ангвиссола, с ежегодным жалованьем в тысячу дукатов!

Галеотто скрипел зубами от бешенства, когда эта новость донеслась до нас из Пьяченцы, что же до меня, то я совсем пал духом, и последняя надежда на то, что мне когда-нибудь доведется получить руку Бьянки — тайная надежда, которую я лелеял вопреки всему, — окончательно утасла в моей душе.

Однако вскоре пришли и более отрадные вести. Пьерлуиджи зашел слишком далеко. Ведь даже крыса, оказавшись в безвыходном положении, когда ее загоняют в угол, ощерится и бросится в драку. В таком именно положении очутились и сеньоры.

Скотти, Паллавичини, Ланди и Ангвиссола альбарольские один за другим тайно приезжали в Пальяно и имели долгие беседы с мрачным и хмурым Галеотто. Во время одного из таких тайных свиданий, состоявшихся в замке, он разразился бешеной тирадой, дав волю своему возмущению.

— Теперь вы наконец явились, — говорил он с горечью и презрением, — теперь, когда с вами как следует расправились, теперь, когда вам пустили кровь и вы наполовину лишились сил, теперь, когда у вас вырваны чуть ли не все зубы. Если бы у вас хватило мужества и здравого смысла подняться полгода тому назад, когда я вас призывал, мы бы справились быстро и наверняка. Теперь же борьба будет исполнена риска, ее опасно начинать и неизвестно чем она кончится.

Но теперь уже они, те самые люди, которые в свое время были так трусливы и нерешительны, уговаривали его вести их за собой, клялись, что пойдут за ним, не останавливаясь ни перед чем, не пожалеют жизни, ради того чтобы сохранить для своих детей хотя бы то небольшое, что у них осталось.

— Если у вас такие мысли, я отказываюсь вести вас за собой, — ответил он им. — Если уж мы поднимем наше знамя, мы будем драться за все наши древние права, за все привилегии; мы будем требовать возвращения всего, что у нас отняли, — короче говоря, будем бороться за то, чтобы выгнать Фарнезе с нашей земли. Если вы этого хотите, я подумаю, что можно предпринять, ибо — поверьте мне — открытая борьба в настоящее время нам невыгодна. Нам придется действовать хитростью. Вы

слишком долго ждали, слишком долго не могли решиться. А пока мы слабели, истекали кровью, Фарнезе становился все сильнее, он подлизывался к черни, всячески льстил простому народу и восстанавливал его против сеньоров; он делает вид, будто бы, сокрушая сеньоров, служит народу, и бедняки — несчастные простачки! — до такой степени доверяют ему, что бегом побегут под его знамена, стоит только начаться какой-нибудь драке.

Наконец он их отпустил, пообещав, что в скором времени они получат от него известие, и наутро в сопровождении одного только Фальконе снова выехал из Пальяно, чтобы увидаться с сеньорами даль Верме и Сфорца из Сантафьоре и уговорить их выступить против человека, который так грубо попирает их права.

Это было в начале августа.

По просьбе Галеотто я остался в Пальяно. Он сказал, что в этом деле я ему не понадобится. Но ведь он мог бы попросить меня повидаться с другими сеньорами Валь-ди-Таро, послать меня к ним с каким-либо поручением.

Все это время я мало виделся с Бьянкой. Мы встречались в присутствии ее отца в пурпурной с золотом столовой; и тут я благоговейно, хотя и тайно, исподтишка, любовался ее небесной красотой. Однако я редко с ней говорил, да и то о самых обыденных вещах; и, хотя лето тем временем вступило в самую свою роскошную благоуханную пору, я не осмеливался показаться в ее саду, куда меня приглашали в свое время, ибо слишком сильно тяготели надо мною воспоминания о прошлом.

Столь жгучими порою были эти воспоминания, что я ловил себя на мысли: а не сделал ли я ошибки, послушавшись уговоров фра Джервазио, не ошибся ли сам фра Джервазио, считая, что мое место — в миру, и не лучше ли мне было бы последовать своему первоначальному намерению и удалиться в монастырь, заняв скромное положение бельца?

Между тем властитель Пальяно относился ко мне с поистине отеческой любовью. Однако даже это обстоятельство не придавало мне достаточной смелости в том, что касалось его дочери, и мне казалось, что и Бьянка, если она и не избегала меня явно, то, по крайней мере, никогда не искала моего общества.

Я часто думал, без всякого, впрочем, толка, чем бы

* Человек, живущий в монастыре, не принимая монашеского обета.

все это кончилось, если бы не ужасные изменения, которые вдруг наступили в наших делах.

Случилось так, что примерно через неделю после того, как уехал Галеотто, к воротам замка подъехала блестящая кавалькада, наполнив окрестные поля оглушительными звуками рогов, цоканьем копыт и бряцанием оружия и доспехов.

Мессер Пьерлуиджи Фарнезе, возвращаясь после визита в свой город Парму, решил на обратном пути сделать крюк и посмотреть на земли, расположенные в верховьях реки По, а заодно нанести визит сеньору владельцу Пальяно, которого он, правда, не любил, однако собирался, по-видимому, умиловить, поскольку никоим образом не мог ему навредить.

Он получил достаточно хороший урок за попытку вторгнуться в имперские владения, и было бы безумием с его стороны повторить эту ошибку, рискуя снова вызвать неудолюбствие Императора. Карл Пятый был для Фарнезе «спящей собакой», и всего благоразумнее было его не тревожить, предоставив ему спокойно спать дальше*.

Итак, он приехал в замок Пальяно с дружеским визитом в сопровождении огромной свиты, состоявшей из кавалеров и придворных дам, пажей и лакеев и нескольких десятков вооруженных всадников в качестве эскорта. Вперед был послан гонец, чтобы предупредить Кавальканти о той чести, которой его удостаивает господин герцог, и Кавальканти, ничуть не тронутый этой «честью», решил из благоразумия подчиниться необходимости и встретил его, стоя у подножия мраморной лестницы; по правую руку от него стояла Бьянка, а по левую — я.

Вся роскошная кавалькада с Фарнезе во главе проехала под сводами арочного въезда. Фарнезе ехал верхом на белом парадном скакуне. Грива и хвост благородного животного были выкрашены хной, а богатая пурпурная попона чуть ли не волочилась по земле. Герцог был одет в белый бархат, вплоть до высоких сапог, зашнурованных золотыми шнурами и снабженных золотыми шпорами. Пышное алое перо, прикрепленное застёжкой из великолепного бриллианта, украшало его бархатную шапочку, а на правой руке у него сидел сокол с клубочком на голове.

* В соответствии с английской пословицей «Let sleeping dog lie» — «не трогай спящую собаку, пусть себе спит» (ср. русск.: «не буди лихо, пока оно тихо»).

Пьерлуиджи был высокий, хорошо сложенный мужчина, в возрасте немногим более сорока лет, черноволосый и смуглый; он носил небольшую бородку клинышком, несколько удлинявшую его лицо. У него был орлиный нос и красивые глаза, но под ними лежали глубокие черные тени, а когда он подъехал ближе, стало заметно, что все лицо его обезображено какой-то болезненной сыпью.

За ним ехали придворные — двенадцать человек, целая дюжина — и блистательно-прекрасные дамы — их было в половину меньше. Следом двигалась целая туча пажей в великолепных ливреях и слуг, ведущих в поводу запасных лошадей, а в арьергарде, придавая всей кавалькаде еще более внушительный вид, следовала стальная фаланга вооруженных всадников.

Я описываю его прибытие так, как оно выглядело на первый взгляд, не обращая особого внимания на детали. Мой взор с ужасом остановился на одной даме из свиты — царственной красавице с прелестным бледным лицом и томной дерзкой улыбкой.

Это была Джулиана.

В тот момент я не дал себе труда задуматься над тем, как она оказалась в этой свите. Достаточно того, что она была здесь. Это было настолько ужасно, что я не верил своим глазам: мне даже показалось, что она мне просто грезится, что я снова нахожусь во власти тех, прошлых, видений, что явились плодом слишком долгих размышлений. Я чувствовал, как вся кровь отливает у меня от сердца, а ноги отказываются мне служить. Чтобы не упасть, мне пришлось облокотиться на перила, возле которых мы все стояли.

Она увидела меня. На лице ее мелькнуло удивленное выражение, но потом она снова улыбнулась своей знакомой, томной и зовущей улыбкой. Что до меня, то я плохо соображал, что происходит. Словно сквозь густой туман до моего сознания доходили и суeta, поднявшаяся в замке, и то, что Кавальканти сам держал стремя герцога, пока тот медленно спускался на землю и передавал птицу сокольничему, у которого на шее висел специальный насест — на нем уже сидели три сокола с зачехленными головками. Так же мало я реагировал и на слова Кавальканти, заставившие меня обратиться лицом к герцогу. Он представлял меня Пьерлуиджи.

— Это, мессер, Агостино д'Ангвиссола.

Я видел словно сквозь туман это смуглое, покрытое прыщами лицо, обращенный на меня хмурый взгляд. Я

слышал голос, грубый и в то же время женственный, в высшей степени неблагозвучный, произносящий неприязненным тоном:

— Сын Джованни д'Ангвиссола, не так ли?

— Он самый, мессер, — ответил Кавальканти, добавив великодушно: — Джованни д'Ангвиссола был моим другом.

— Эта дружба не делает вам особой чести, синьор, — последовал резкий ответ. — Не очень-то хорошо иметь друзьями врагов Господа Бога.

Неужели слух не обманул меня и я действительно это слышал? Как смеет человеческая низость говорить о Боге?

— Это вопрос, по поводу которого я бы не хотел вступать в спор с моим гостем, — отозвался Кавальканти учтивым светским тоном, который плохо вязался с гневом, сверкнувшим в его кариx глазах.

В то время я думал, что он ведет себя в высшей степени вызывающе, не подозревая о том, что, предупрежденный о приезде герцога, Кавальканти принял свои меры и что достаточно ему было свистнуть в серебряный свисток, висевший у него на шее, как тут же появится целое полчище вооруженных людей, которые заставят подчиниться мессера Пьерлуиджи вместе со всей его свитой.

Фарнезе оставил эту тему, прекратив разговор небрежной улыбкой. И в этот момент знакомый медлительный голос, некогда ласкавший мой слух сладчайшей музыкой, — теперь он казался мне столь же отвратительным, как кваканье мерзких лягушек, обитающих в Стиксе*, — произнес, обращаясь ко мне:

— Скажите, пожалуйста, как изменился наш господин святой! Мы слышали, что вы стали анахоретом, а вы — смотрите-ка — весь в золотой парче, словно желаете своим сиянием затмить самого Феба.

Я стоял перед ней, бледнея и стараясь, чтобы на моем лице не отражалось отвращение, которое она во мне вызывала; кроме того, я заметил, что Бьянка внезапно обернулась и смотрит на нас серьезно и обеспокоенно.

— Таким вы мне больше нравитесь, — продолжала Джулиана. — Клянусь, вы к тому же еще и подросли, по крайней мере, на целый дюйм. Неужели вы ничего не хотите мне сказать?

* Подземное царство; река в подземном царстве.

Я вынужден был ей ответить.

— Надеюсь, что у вас все благополучно, мадонна, — пробормотал я.

Она улыбнулась еще шире, обнажив ослепительно сверкающие крепкие зубы.

— О, у меня все в порядке, — сказала она, и ее взгляд, брошенный украдкой на герцога, полунасмешливый и полуласковый, придавал, казалось, ее словам какой-то добавочный смысл.

Как он посмел привезти сюда эту женщину, которую он, по всей видимости, отнял у этого негодяя Гамбары, — сюда, в это святилище, где обитала моя чистая, святая Бьянка! За это я готов был убить его на месте, за это я ненавидел его еще в тысячу раз больше, чем за все те гнусности и подлости, что связывали с его ненавистным именем.

А тем временем он, этот папский ублюдок, стоял склонившись перед моей Бьянкой, разговаривая с ней, и всякий раз, когда его взгляд останавливался на ее прекрасном лице — словно гадкая скользкая улитка, которая гложет прекрасную лилию, — в его глазах вспыхивало темное, похотливое пламя. Он, казалось, не думал ни о чем, и меньше всего о том, что все мы стояли вокруг и ждали.

— Вы непременно должны приехать в Пьяченцу, к нашему двору, — ворковал он. — Мы и не знали, что в садах Пальяно расцвел такой восхитительный цветок. Никуда не годится, что такое сокровище находится в столь неприглядном сером окружении. Вы созданы для того, чтобы блистать при дворе, мадонна, а в Пьяченце вы будете царить, как королева.

Он говорил и говорил, преподнося ей все новые грубые и пошлые комплименты, приблизив к ней свое похотливое прыщавое лицо, а она пыталась отстраниться от него, бледная, испуганная, не произнося ни слова. Ее отец взирал на эту картину, сурово нахмутив брови, а Джулиана начала кусать губы, и лицо ее несколько утратило свое прежнее томно-ленивое выражение, в то же время почтительный шепоток придворных, постепенно разрастаясь, превратился в подбострастный хор, вторящий отвратительно лстывым речам герцога.

На помощь дочери пришел наконец Кавальканти, решительно предложив герцогу проследовать в отведенные ему и его свите апартаменты.

МАДОННА БЬЯНКА

В соответствии с первоначальными планами Пьерлуиджи собирался провести в Пальяно всего одну ночь. Однако, когда наступило утро, он не выказал ни малейшего желания отправиться в путь. То же самое было и на следующий день и еще на следующий.

Прошла неделя, а он все еще не двигался с места; он, по-видимому, чувствовал себя все более и более уютно в твердыне замка Кавальканти, предоставив заниматься делами герцогства своему секретарю Филарете и Совету, во главе которого, как мне стало известно, стоял мой старый знакомый Аннибале Каро.

Что касается Кавальканти, то он, проявляя немалое благоразумие, терпел присутствие герцога, предоставляя ему и его спутникам всякого рода благородные развлечения.

Его положение было в высшей степени рискованным и опасным, и ему потребовалась вся сила характера для того, чтобы сдерживать кипящее в душе возмущение при виде того, как бессовестно пользуются его гостеприимством. Однако это было еще не самое скверное. Хуже всего было постоянное внимание, которое Пьерлуиджи оказывал Бьянке, — внимание сатира по отношению к нимфе, — от которого Кавальканти страдал немногим меньше, чем я сам.

Он надеялся, что все обойдется благополучно, и решил терпеливо выжидать, пока не случится что-то, что заставит его принять решительные меры. А между тем толпа прихлебателей-придворных расположилась в Пальяно со всеми удобствами. Сад, находившийся до той поры в исключительном распоряжении Бьянки, был ее святилищем, в которое я так и не осмелился войти, заполнила пестрая веселая толпа кавалеров и дам герцогской свиты, словно туча ядовитых бабочек. Здесь они резвились в тенистых аллеях, порхали в лимонной роще, среди благоуханных розовых кустов, между боскетов и шпалер, увитых пурпурным клематисом.

Все это время Бьянка старалась не выходить к гостям, оставаясь в своей комнате, насколько это было возможно. Однако герцог, с трудом ковыляя по террасе — дурная болезнь подточила его организм, и он уже не мог

выдержать долгого пребывания в седле, — ворчал, жалуясь на ее отсутствие, и настаивал на том, чтобы она вышла, давая понять, что ее нежелание показаться граничило с непочтительностью и неуважением к его особе. И она была вынуждена выходить из своей комнаты и терпеть его неуклюжие любезности и грубую лесть.

А три дня спустя в Пальяно явился еще один сеньор — это был не кто иной, как мой кузен Козимо, который теперь именовал себя владетелем Мондольфо, поскольку, как я уже говорил, ему было пожаловано это поместье.

Наутро после его приезда мы встретились на террасе.

— А-а, мой преподобный кузен! — насмешливо приветствовал он меня. — Какие удивительные изменения, вместо власяницы — бархат и атлас! В святцах ты будешь значиться как святой Хамелеон, а еще лучше — святой Фигляр.

Засим последовала сцена, в которой он был исполнен сарказма, а я непримиримой враждебности. Над моей враждебностью он жестоко издевался.

— Скажи спасибо за то, что дешево отделался, святоша, — говорил он, и в его тоне звучала неприкрытая угроза, — а не то сидеть тебе опять в пустыни*, а то и где-нибудь похуже. Ты уже попал однажды в передрагу, попробовал, что значит путаться в мирские дела. Так вот держись лучше своей святости, это тебе больше подходит. — Он приблизился ко мне вплотную и яростно продолжил: — Не выводи меня из терпения, не то мне придется сделать из тебя святого мученика, отправив прямиком на небо.

— Как бы тебе самому куда-нибудь не отправиться, только, уж конечно, не на небо, а в ад, — сказал я. — Не попробовать ли нам, как это выйдет?

— Клянусь телом Христовым! — зарычал он, забыв согнать улыбку с побелевшего лица. — Так вот какие чувства наполняют твою святую душу! Кроважность и отвага! Знай же, если ты меня тронешь, мне совсем не обязательно самому выступать в роли палача. За тобой достаточно грехов, для того чтобы тобою занялся трибунал руоты. Или ты забыл то маленькое приключение в доме Фифанти?

Я опустил глаза, охваченный на мгновение страхом, но потом снова посмотрел на него и улыбнулся.

* Пустынь — уединенная обитель, одинокое жилище, келья, лачуга отшельника, одинокого богомольца, уклонившегося от суеты мирской.

— Ты жалкий трус, мессер Козимо, — сказал я, — пытаешься спрятаться за тенью. Ты же знаешь, что против меня нет никаких улик — разве что заговорит Джулиана, а она этого сделать не посмеет, иначе она сама пострадает. Есть свидетели, которые покажут, что Гамбара был той ночью в доме Фифанти. И никто не может доказать, что он не убил Фифанти, прежде чем вышел из этого дома; именно так все и думают, поскольку всем известны их отношения с Джулианой. А то, что она бежала вместе с ним сразу же после убийства, само по себе является доказательством. Твой герцог питает слишком добрые чувства к своему народу, — насмешливо продолжил я, — и никогда не осмелится вызвать его гнев в связи с этой историей. А кроме всего прочего, — заключил я, — если обвинят меня, то окажется виноватой и Джулиана, а мессер Пьерлуиджи, как мне кажется, не слишком расположен к тому, чтобы отдать эту даму во власть трибунала, где ей не поздоровится.

— Ты что-то слишком расхрабрился, — сказал он, еще больше бледнея, ибо это последнее замечание по поводу Джулианы, по-видимому, разбредило старую рану, которая по-прежнему причиняла ему боль.

— Расхрабрился? — отозвался я. — Про тебя этого не скажешь, мессер Козимо. Ты осторожен, как все трусы.

Я хотел вывести его из себя. Если бы мне это не удалось, я был готов его ударить, ибо был почти не в состоянии сдерживать охватившую меня ярость. То, что он стоял и нагло издевался надо мной, было для меня непереносимо. Но в этот момент у меня за спиной послышался хриплый голос:

— Что такое, синьоры? Что я слышу?

Там, в великолепном костюме из бархата цвета слоновой кости, стоял герцог. Он тяжело опирался на трость, лицо его было покрыто пятнами еще больше, чем обычно, а глаза запали еще глубже.

— Ты ищешь ссоры с сеньором владельцем Мондольфо? — спросил он, и я понял по его улыбке, что он нарочно назвал моего кузена полным титулом, чтобы меня раздражить.

Позади него стоял Кавальканти, а рядом, опираясь на его руку, — Бьянка, точно так же, как в тот день, когда она приходила с отцом на Монте-Орсаро, только теперь в ее прекрасных голубых глазах застыло выражение страха. Немного поодаль стояла небольшая группа: три

кавалера из свиты герцога и Джулиана еще с одной дамой. Джулиана смотрела на нас, чуть прищулив глаза.

— Мессер, — ответил я, вскинув голову и смело встретив его взгляд, причем в глазах моих невольно отразилось отвращение, которое он во мне вызывал. — Мессер, ваши опасения напрасны. Мессер Козимо слишком осторожный человек для того, чтобы затевать ссоры.

Герцог, хромя, приблизился ко мне. Он тяжело опирался на трость, и мне приятно было видеть, что, несмотря на свой достаточно высокий рост, ему пришлось поднять голову, чтобы посмотреть мне в лицо.

— В тебе слишком много дурной ангвиссольской крови, — сказал он. — Берегись! Как бы нам не пришлось позаботиться о твоём здоровье и прислать к тебе нашего лекаря, чтобы он избавил тебя от этого излишка.

Я рассмеялся, окинув взглядом его прыщавое лицо, хромую ногу и представив себе ядовитые соки, питающие это хилое тело.

— Клянусь честью, ваша светлость, по-моему, это вы, а не я нуждаетесь в услугах лекаря, — сказал я, повергнув своим ответом в ужас всех присутствовавших при этой сцене.

Я видел, как смертельно он побледнел, как дрожит его рука, сжимающая золотой набалдашник трости. Глаза его злобно сверкнули, однако он сдержал свой гнев. Он заставил себя улыбнуться, обнажив темные гнилушки — все, что осталось от его зубов.

— Советую тебе поостеречься, — сказал он. — Было бы досадно, если бы такое великолепное тело стало добычей палача. А ведь есть кое-какие делишки, по поводу которых Святая Инквизиция хотела бы задать тебе несколько вопросов. Остерегитесь, синьор. Не ищите ссоры с моими людьми.

Герцог отвернулся от меня. За ним осталось последнее слово, вызвавшее в моей душе самые мрачные опасения, но в то же время я был доволен, поскольку наша беседа задела его гораздо глубже: стрела попала в самое больное место.

Он склонился в поклоне перед Бьянкой.

— О, прошу меня извинить, — сказал он. — Я и не подозревал, что вы находитесь так близко. Иначе я бы не допустил, чтобы столь неприятные звуки коснулись ваших прекрасных ушек. Что же до мессера д'Ангвиссола... — Он пожал плечами, словно желая сказать: «Ну что возьмешь с этого мужлана!»

Ее ответ, однако, внезапный и решительный, как всякое слово, подсказанное душевным порывом, несколько поколебал его уверенность в себе.

— Ни одно слово, сказанное им, не оскорбило меня, — смело и чуть ли не презрительно ответила она ему.

Он бросил в мою сторону взгляд, исполненный ядовитой злобы, и я заметил, как улыбнулся Козимо, в то время как Кавальканти вздрогнул, удивленный такой смелостью, проявленной его робкой дочерью. Но герцог уже вполне овладел собой и снова поклонился.

— Это меня утешает, значит, я могу не огорчаться, — сказал он и тут же изменил тему разговора. — Не пойти ли нам на лужайку поиграть в шары?

Его приглашение было адресовано непосредственно Бьянке, на ее отца он даже не посмотрел. Не дожидаясь ответа, поскольку его вопрос был равносителен приказу, он резко обернулся к моему кузену.

— Твою руку, Козимо, — сказал он и, тяжело опираясь на своего приближенного, стал спускаться по широким гранитным ступеням, в сопровождении небольшой кучки своих придворных, за которыми следовали Бьянка и ее отец.

Что до меня, то я повернулся и пошел в комнаты. Немного же оставалось во мне от святого в этот момент! Все в душе моей кипело, кипело ненавистью и гневом. Но вскоре на меня снизошло успокоение, стоило мне подумать о сладостных звуках ее речи, когда она встала на мою защиту. Ее слова, наконец, придали мне смелости — если раньше, во все время моего пребывания в Пальяно, я не смел искать ее общества, то теперь понял, что могу это сделать.

Я встретил ее в тот же самый вечер совершенно случайно. Она медленно прогуливалась по галерее, окружающей внутренний двор замка, укрывшись там от ненавистной толпы придворных. Увидев меня, она робко улыбнулась, и эта ее улыбка окончательно придавала мне смелости, которой мне до этого не хватало. Я подошел к ней и горячо поблагодарил за поддержку, которую она мне оказала, выразив одобрение моим словам.

Она опустила глаза, грудь ее взволнованно вздымалась, краска то сбегала с лица, то снова возвращалась на бледные щеки.

— Меня не надо благодарить, — сказала она. — То, что я сделала, было сделано во имя справедливости.

— А я имел дерзость надеяться, что, может быть, вы это сделали ради меня.

— Это тоже верно, — быстро ответила Бьянка, опасаясь, что она меня обидела. — Мне показалось оскорбительным, что герцог пытается вас запугать, и я гордилась вами, видя, с каким достоинством вы держитесь, как смело отвечаете ударом на удар.

— Мне кажется, мне придавало храбрости ваше присутствие, — сказал я. — Я бы умер от горя, если бы оказался низким трусом в ваших глазах.

Снова предательский румянец окрасил ее прелестные щеки. Она медленно двинулась вперед по галерее, а я шел рядом с ней. Вскоре она заговорила снова.

— И все-таки, — сказала она, — я бы хотела, чтобы вы были осторожнее. Не следует без причины оскорблять герцога, ибо он имеет огромную власть.

— Мне уже нечего терять, — сказал я.

— У вас осталась ваша жизнь, — возразила она.

— Жизнь, которой я так дурно пользовался.

Она бросила на меня робкий, трепещущий взгляд и снова отвернулась. В молчании мы дошли до конца галереи, где стояла мраморная скамья с яркими подушками из расписной и позолоченной кожи. С легким вздохом она опустилась на скамью, а я, облокотившись о балюстраду, встал рядом, слегка склонившись к ней. И тут, в этот момент, я вдруг почему-то осмелел.

— Назначьте мне какую-нибудь службу, — воскликнул я, — чтобы, выполнив ее, я стал достойным вас.

— Службу? — спросила она. — Я вас не понимаю.

— Всю мою жизнь, — пытался я объяснить, — я тщетно стремился к чему-то, и это что-то постоянно ускользало от меня. Когда-то я думал, что должен посвятить себя Богу; но потом я совершил преступление, сделавшее меня недостойным грешником, поэтому я и оказался на Монте-Орсаро, где вы меня видели. Я искал искупления, надеясь, что долгое, искреннее покаяние поможет мне искупить мой грех и я смогу вернуться к тому состоянию, из которого меня вырвало сатанинское искушение. Однако святыня обернулась святотатством, и мое покаяние тоже обернулось святотатством, а знамение, которое, как мне казалось, было мне послано, оказалось насмешкой. Не здесь суждено мне было спасти свою душу. Так было сказано однажды ночью: мне было видение.

Она вскрикнула — не могла сдержаться — и посмотрела

на меня с таким страхом, что я невольно замолчал и, в свою очередь, уставился на нее.

— Так вы знали! — вскричал я.

Долгое время ее голубые, чуть раскосые глаза смотрели на меня не мигая, никогда еще она так на меня не смотрела. Она, казалось, рассматривала меня с сомнением и в то же время прямо и открыто.

— Теперь знаю, — сказала, она, как будто выдохнула.

— Что вы знаете? — Мой голос дрожал от волнения.

— Что это было за видение? — спросила она.

— Разве я вам не рассказывал? Мадонна явилась моему взору, когда я был в беспамятстве, и призывала меня вернуться в мир; она уверяла меня, что в миру я с большей пользой сумею служить Богу; дала мне понять, что нуждается во мне. Она обратилась ко мне по имени, назвала место, о котором я до того времени не имел ни малейшего понятия и которое теперь знаю.

— А вы? А вы? — спрашивала она. — Что вы ей ответили?

— Я назвал ее по имени, хотя до того часа оно было мне неизвестно.

Она склонила голову, вся дрожа от глубокого волнения.

— Как часто я об этом думала, не понимая и удивляясь, — призналась она едва слышным голосом. — А оказалось, что это истинная правда — но как странно!

— Истинная правда? — отозвался я. — Это было единственное истинное чудо среди царивших там фальши и обмана, и в этом так ясно чувствовался перст судьбы, что я вернулся в мир, который до того решил покинуть. И все-таки с тех самых пор меня не оставляют сомнения. Я опасаясь, что и здесь мне не место, так же, как и там. Ведь я снова исполнен благоговения, я снова молюсь, однако это благоговение внушено мне самим небом, настолько оно чисто и свято. Оно заслонило собой всю скверну, всю греховность моего прошлого. И все-таки я недостоин... Потому-то я и взываю к вам: назначьте мне службу, наложите на меня епитимью, чтобы, покайся, я снова мог молиться.

Она не понимала меня, да и не могла понять. Мы не были похожи на обычных любовников. На тех мужчину и деву, которые, встретившись и почувствовав влечение друг к другу, затевают очаровательную игру в нападение и защиту, занимаются этими пустяками до тех пор, пока девица не решит, что приличия соблюдены, что она сопротивлялась вполне достаточное время и что теперь

может капитулировать, с честью, под знаменем и с барабанным боем. В нашей любви ничего подобного не было. Когда мы о ней заговорили, оказалось, что все было решено уже тогда, когда мы были еще едва знакомы, когда она явилась ко мне в чудном видении, а я явился к ней.

Отведя глаза, она задала мне вопрос:

— Когда приехала мадонна Джулиана, она обошлась с вами довольно свободно, как со знакомым, и в разговорах между дамами из свиты герцога ее имя обычно соединяется с вашим. Но я их ни о чем не спрашивала. Я знаю, сколь праздны могут быть толки среди придворных. Теперь я задаю этот вопрос вам: чем была — а может быть, и осталась — для вас мадонна Джулиана?

— Была, — с горечью отвечал я. — И да сжалится надо мною Всевышний за то, что я вынужден говорить об этом вам! Она была для меня тем же, чем Цирцея была для спутников Улисса*.

Легкий стон вырвался из ее груди, и я видел, как ее руки, лежавшие на коленях, крепко сжались. Этот звук, весь ее вид наполнили мою душу невыразимой болью и отчаянием. Но она должна знать. Пусть лучше это знание станет барьером между нами, видимым нам обоим, чем только я один буду знать о нем и содрогаться от ужаса всякий раз, как о нем вспомню.

— О, Бьянка, простите меня! — молил я. — Я же не знал! Я не знал! Я был так молод и глуп, я рос в полном уединении, ни о чем не ведая, и стал жертвой первого же соблазна, встретившегося на моем пути. Этот грех я хотел искупить на Монте-Орсаро, чтобы быть достойным хранителем находящейся там святыни. Этот грех я хочу искупить и сейчас, чтобы быть достойным хранителем святыни, к которой я ныне поклоняюсь.

Я низко склонился над ее головкой, где в темных кудрях поблескивали золотые нити сетки для волос.

— Ах, если бы это видение посетило меня раньше! — прошептал я. — Насколько все было бы проще и легче! Найдется ли в вашем сердце достаточно ко мне милосердия? Можете ли вы простить меня, Бьянка?

— О, Агостино, — печально ответила она, и звуки моего имени, слетевшие с ее уст, наполнили меня восторгом, подобно мистической музыке Монте-Орсаро. — Что я могу ответить? Сейчас я ничего не могу сказать.

* Улисс — одно из имен Одиссея.

Дайте мне время подумать. Вы причинили мне такую боль!

— О, горе мне! — стenal я.

— Я думала, что ваш грех был порожден чрезмерной святостью.

— А оказалось, что я обратился к святости из-за чрезмерной тяжести моих грехов.

— А я так в вас верила!.. О, Агостино! — это был горький жалобный стон.

— Назначьте мне покаяние! — умолял я ее.

— Какое же покаяние могу я вам назначить? Может ли раскаяние восстановить мою утраченную веру?

Я застонал и закрыл лицо руками. Мне казалось, что всем моим надеждам наступил конец; что мир обернулся для меня такой же насмешкой, как и пустынь, отказ от него; что первое кончилось для меня тем, что оказалось обманом. То же самое происходит сейчас и с моим пребыванием в мире, с той только разницей, что теперь обман таится во мне самом.

Было похоже на то, что первое же наше настоящее свидание окажется и последним. С того самого момента, как она увидела меня на пороге пурпурной с золотом столовой в Пальяно — живым воплощением ее видения, так же как она была воплощением моего, — она с надеждой ждала этого часа, твердо зная, что он непременно наступит, что это предопределено судьбой. Ничего, кроме горечи и разочарования, не принес ей этот час.

И вдруг, прежде чем мы успели сказать еще хоть слово, из глубокой арки галереи раздался резкий, пронзительный голос, напоминающий звуки рожка.

— Мадонна Бьянка! Как это можно! Прятать свою красоту от наших жадных глаз! Лишать нас света, с помощью которого мы только и можем найти свою дорогу! Лишать нас счастья и радости вашего присутствия! Ах, недобрая, недобрая!

Это был герцог. Белый бархат, в который он по-прежнему был одет, и сгущающиеся сумерки делали его похожим на призрак.

Он, хромя, приблизился к нам — его трость резко постукивала по черным и белым плитам пола — и остановился перед Бьянкой. На ее лице мгновенно появилась привычная светская маска, скрывшая все следы бывшего на нем волнения, и она встала, приветствуя его.

А он пристально смотрел на меня, стараясь, казалось, проникнуть в то, что скрывалось внутри.

— Скажите, пожалуйста! Это же мессер Агостино, владетель несуществующего! — проговорил он с издевкой.

Из глубины галереи тут же послышался смех моего кузена Козимо и голоса других придворных.

Для того ли, чтобы удержать меня от столкновения с этими господами, которые готовы были стереть меня в порошок, или по каким-либо другим соображениям, Бьянка положила свою ручку на белый бархат герцогского рукава и удалилась вместе с ним.

В полном оцепенении я прислонился к балюстраде и смотрел им вслед. Я видел, как с другой стороны к ней подошел Козимо и склонился, высокий и стройный, рядом с ее тоненькой изящной фигуркой. Потом я опустил на подушки скамьи, откуда она только что встала, и сидел там, наедине со своей мукой, пока на землю не спустились сумерки, в которых белые мраморные колонны засверкали призрачным блеском.

Глава пятая

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В тот вечер я молился — впервые так горячо с того момента, как покинул Монте-Орсаро. Словно бы все то, что двигало мною в юности и что слетело с меня в ходе произошедших со мной событий, провозвестников грядущих битв, вновь вернулось в мою душу.

Так же как в прошлый раз меня соблазнила женщина, заставив сойти с предназначенного мне пути, только для того, чтобы я снова на него вернулся, еще более ревностно, чем прежде, так и теперь женщина поманила меня за собой, убеждая, что я *должен вернуться в мир, и снова в результате у меня возникло желание, еще более сильное, чем прежде, от него удалиться. Снова я оказался на грани: готов был отказаться от всех мирских желаний и помышлений и искать спасения в уединении монастырской кельи.

Но тут мне вспомнился Джервазио. Я отправлюсь к нему за советом, так же, как сделал это раньше. Поеду на следующее же утро и отыщу его в монастыре, куда он удалился, — это недалеко от Пьяченцы. В конце концов меня вывело из задумчивости появление пажа, который объявил мне, что мессер уже изволил сесть за стол и начать ужин.

Поначалу я хотел было извиниться и сказать, что не приду, но потом передумал и отправился вслед за пажом.

Ужин, как обычно, был сервирован в банкетном зале замка. За роскошным столом расположилась вся свита Пьерлуиджи в количестве, доходящем чуть ли не до двух десятков. Сам герцог сидел по правую руку от монны Бьянки, тогда как по левую руку находился Козимо.

Не обращая никакого внимания на то, заметили меня или нет, я опустился на первое попавшееся свободное место, примерно в середине стола, рядом со смазливym юным господином, приближенным герцога, и хорошенькой дамой из его пестрой свиты — это была востроглазая уроженка Рима, и звали ее, как мне помнится, Валерия Чезарини, что, впрочем, не имеет никакого касательства к настоящей истории. Почти что напротив меня сидела Джулиана, но я ее не замечал, как не замечал ничего и никого, кроме монны Бьянки.

Раз или два наши взгляды встретились, но Бьянка сразу же опускала глаза. Она была очень бледна, и возле губ ее обозначилась морщинка, выдававшая задумчивость, однако вела она себя необычно. Глаза ее неестественно блестели, она улыбалась тому, что шептали ей на ухо то герцог, то Козимо, а раз или два даже громко рассмеялась. Куда девалась холодная сдержанность, с помощью которой она пыталась себя оградить от ненавистных ухаживаний Пьерлуиджи! Были моменты, когда ей, казалось, даже доставляли удовольствие его дерзкие взгляды и льстивые речи, словно она тоже принадлежала к тем бесстыдным женщинам, которые окружали герцога.

Ее поведение причиняло мне жестокую боль. Мне оно было непонятно — у меня не хватало ума догадаться, что это странное настроение было результатом обиды, которую я ей нанес, внешним проявлением ее собственной боли, вызванной крушением иллюзий, которые она питала в связи с моей особой.

Итак, я сидел мрачный, закусив губу и бросая грозные взгляды на Пьерлуиджи и на моего кузена. Последний был столь же настойчив в своих ухаживаниях, как и его господин, и на его долю выпадало даже большая часть ее милостей, по-видимому, он пользовался большей благосклонностью своей дамы. Одно только утешало меня. Глядя на сеньора Пальяно, который сидел во главе стола, я заметил, что он все больше и больше хмурится,

наблюдая за своей дочерью, этой белой лилией, которая вдруг, неожиданно для всех, стала себя вести вольно и своенравно.

Наблюдая все это, я почувствовал, что во мне закипает гнев и желание сразиться с негодяями. Забыто было намерение встретиться с Джервазио, забыто желание снова удалиться от мира. Здесь надо было действовать. Надо было защитить Бьянку. Может быть, именно сейчас ей понадобится моя помощь.

Один раз Козимо поймал мой мрачный взгляд и прошептал что-то герцогу, наклонившись к нему. Пьерлуиджи бросил в мою сторону томный насмешливый взгляд. Он должен был сквитаться со мной за поражение, которое потерпел от меня утром благодаря помощи Бьянки. По правде говоря, герцог был глуп и отнюдь не отличался тонкостью. Поэтому, уверенный в поддержке Бьянки, за которую он принял преувеличенное дружелюбие, столь неожиданно проявившееся в ее отношении к нему, он решил попробовать меня уязвить.

— Этот твой кузен сидит, словно побитая собака, — сказал он Козимо, однако достаточно громко, для того чтобы слышали и все остальные, сидящие за столом. А потом, обратившись к сидящей рядом со мною даме, добавил: — Простите нас, Валерия, мне очень жаль, что вам пришлось сидеть рядом с этим молокососом.

После этого он обернулся ко мне, чтобы окончательно завершить свое черное дело:

— Когда же ты собираешься обратиться к монашеской жизни, любезный, которая столь явно уготовлена для тебя небом?

В ответ на эти пошлые шутки раздалась подобострастные смешки со стороны лизоблюдов герцога, но потом все притихли, ожидая моего ответа, в то время как Кавальканти грозно нахмурился.

Я вертел в руке кубок с вином, и у меня возникло искушение выплеснуть его содержимое прямо в прыщавую физиономию герцога, а там будь что будет. Но потом мне пришло в голову нечто другое, что могло нанести ему гораздо более ощутимую рану.

— Увы! — отозвался я со вздохом. — Я отказался от этой мысли — вынужден был отказаться.

Он клюнул на эту наживку.

— Вынужден? — спросил он. — Что же тебя заставило? Скажи нам, какой дурак заставил тебя это сделать?

— Не дурак, а обстоятельства, — отвечал я. — Я по-

думал, — объяснил я, — что если даже епископ не может чувствовать себя в безопасности, то какие неисчислимые бедствия могут грозить жизни простого монаха.

Если не считать Бьянки (в своем святом неведении она и не подозревала о существовании таких гнусностей, как та, на которую я намекал, и не знала, каким образом принял смерть этот святой мученик), я уверен, что за столом не было ни одного человека, который не понял бы, какое чудовищное преступление я имею в виду.

Молчание, воцарившееся за столом после моих слов, было похоже на затишье, наступающее в природе всякий раз, когда собирается гроза.

Кровь бросилась в лицо герцогу, он побагровел, но потом краска схлынула и лицо его покрылось смертельной бледностью, вплоть до многочисленных его прыщей. Дрожавшие его пальцы с такой силой сжали тонкую ножку драгоценного венецианского кубка, что она, не выдержав, хрустнула, и по снежно-белой скатерти расплылось красное пятно. Он ощерился, словно собака, готовая вцепиться в горло врагу, обнажив черные испорченные зубы. Однако он не произнес ни слова.

Вместо него заговорил Козимо, приподнявшись из-за стола:

— Это неслыханная дерзость, мессер герцог, она должна быть наказана. Позвольте мне...

Однако Пьерлуиджи, протянув руку через Бьянку, удержал моего кузена, заставив его снова сесть на место и замолчать.

— Оставь его в покое, — сказал он. Затем он посмотрел в ту сторону, где сидел Кавальканти. — Предоставим мессеру властителю Пальяно высказать свое мнение: можно ли наносить такое оскорбление гостю, сидящему за его столом?

Лицо Кавальканти приняло жесткое выражение.

— Вы возлагаете на меня тяжкое бремя, ваша светлость, предлагая мне выступить в вашу защиту против другого моего гостя, за которого некому заступиться и который является сыном лучшего моего друга.

— И моего злейшего врага! — яростно воскликнул Пьерлуиджи.

— Это дело вашей светлости, а не мое, — холодно отвечал Кавальканти. — Но если вы обращаетесь ко мне, я должен сказать, что сказанное мессером д'Ангвиссола неразумно и несвоевременно при данных обстоятельствах. И в то же время я не могу не заметить — ради одной

только справедливости, — что юности несвойственно тщательного взвешивать свои слова; а вы дали ему достаточный повод для дерзкого ответа. Когда человек — какое бы высокое положение он ни занимал — позволяет себе насмехаться над другим, он должен быть готов к тому, чтобы не слишком близко принимать к сердцу и насмешки противника.

Фарнезе поднялся из-за стола, изрыгая ужасные ругательства, и все его приближенные встали вместе с ним.

— Мессер, — сказал он, — это означает, что вы становитесь на сторону моего противника и поддерживаете нанесенное мне оскорбление.

— Если вы так думаете, вы неправильно истолковываете мои намерения, — отвечал Кавальканти с холодным достоинством. — Вы обратились ко мне, желая, чтобы я вас рассудил. Но, когда дело касается моих гостей, мои веса должны сохранять полнейшее равновесие, независимо от ранга каждого из них. Принимая во внимание ваше благородство, мессер герцог, вы должны признать, что я не могу поступить иначе.

Таким простым способом он давал понять Фарнезе, что его нисколько не интересует, какое положение занимает тот или иной из его гостей, и напоминал его светлости, что Пальяно — это ленное владение Императора, где герцог Пармы не имеет никакого права распоряжаться.

Мессер Пьерлуиджи некоторое время молчал в замешательстве, не зная, как реагировать. Но потом он взглянул на Бьянку, и взгляд его заметно смягчился.

— А что скажет мадонна Бьянка? — спросил он, вновь обретая светские манеры. — Неужели и ее суждение будет столь же безжалостно нелюбезным?

Она посмотрела на него испуганно, а потом засмеялась — пожалуй, слишком громко, — почувствовав напряженность атмосферы и не понимая причины этого.

— Что я скажу? — повторила она. — Да только то, что не стоит поднимать шум из-за таких пустяков, все эти споры не стоят выеденного яйца.

— Вот что получается, — воскликнул Пьерлуиджи, — когда говорит не только красота, но и мудрость! Минерва, глаголящая устами Дианы*.

* Минерва — в данном случае упомянута как римский эквивалент греческой Афины, богини мудрости; точно так же римской Диане здесь приписаны функции греческой богини-девушницы и богини охоты Артемиды.

С явным облегчением все общество вторило его искусственному смеху, все снова расселись по своим местам, инцидент был исчерпан; однако мое презрение к герцогу еще усилилось из-за того, что он позволил этому делу так легко закончиться.

Но в эту ночь, когда я удалился в свою комнату, мне нанес визит Кавальканти. Он был очень серьезен.

— Агостино, — сказал он. — Умоляю тебя, будь осторожнее, сдержи свой острый язык. Имей терпение, мой мальчик, бери пример с меня — а ведь мне приходится выносить гораздо больше.

— Я удивляюсь, мессер, как вы все это терпите, — отвечал я в крайнем раздражении.

— Доживи до моих лет, и ты будешь удивляться гораздо меньше — если, конечно, доживешь. Если ты будешь вести себя по-прежнему и отвечать ударом на удар всякий раз, когда такие люди, как Пьерлуиджи, будут тебя задевать, ты вряд ли достигнешь зрелого возраста. Клянусь дьяволом! Как жаль, что здесь нет Галеотто! Ведь если с тобой что-нибудь случится... — Он замолк на полуслове и положил руку мне на плечо. — Я люблю тебя, Агостино, и говорю с тобой как любящий тебя человек.

— Я знаю! Знаю! — воскликнул я в раскаянии, схватив его за руку. — Я неблагодарная свинья и к тому же глуп. И вы так благородно поддерживали меня за столом. Клянусь вам, синьор, больше я никогда не причиню вам таких огорчений, не заставлю вас волноваться и тревожиться.

Он похлопал меня по плечу очень ласково и дружелюбно и улыбнулся, глядя мне в глаза.

— Если ты только обещаешь мне это — исключительно ради себя самого, Агостино, — мне больше нечего тебе сказать. Дай Бог, чтобы этот папский ублюдок поскорее убрался отсюда, здесь он не только незванный, но и нежеланный гость.

— Мерзкая жаба! — воскликнул я. — Видеть его каждый день, чуть ли не каждый час, смотреть, как он склоняется над монной Бьянкой, шепчет ей на ухо, пожирает ее глазами. Бр-р-р!

— Это тебя оскорбляет, да? Вот за это я тебя люблю! Послушай, наберись осторожности и терпения, и все будет хорошо. Во всем доверься Галеотто. Не отвечай на оскорбления, терпи и будь уверен: за все, что тебе

придется вынести, он рассчитается с лихвой, дай только время.

С этим он оставил меня, оставил до некоторой степени успокоенным. И в последующие дни я вел себя так, как он мне советовал, хотя, сказать по правде, у меня не было нужды вести себя иначе. Герцог меня игнорировал, то же самое делали и все остальные синьоры его свиты, включая Козимо. Все они пили, ели и веселились, вовсю пользуясь гостеприимством Пальяно, которого им никто не предлагал.

Прошла еще одна неделя, в течение которой я не осмеливался приблизиться к Бьянке после того, что произошло между нами во время нашего единственного свидания. Да у меня и не было такой возможности. Возле нее непрерывно находились герцог и Козимо, причем создавалось такое впечатление, что герцог уступает место своему вассалу, ибо именно Козимо казался наиболее рьяным из двух претендентов на ее внимание.

Дни проходили за игрой в мяч или в кегли в самом замке или же, когда здоровье Пьерлуиджи наконец настолько поправилось, что он снова мог сесть на лошадь, все общество стало выезжать на охоту с соколами или собаками; по вечерам устраивались пиры, которые должен был обеспечивать Кавальканти, иногда танцевали, хотя в этом развлечении я участия не принимал, не имея к этому ни охоты, ни умения.

Однажды вечером, когда я сидел на галерее над большим залом, наблюдая за танцорами, которые скользили по каменным плитам пола вниз, меня вывел из задумчивости звучный, неторопливый голос Джулианы. Она следила за мной и нашла меня в моем уединении, хотя с тех самых пор, как она тогда, при первой нашей встрече, так бесстыдно заговорила со мной, я не обращался к ней и не давал ей возможности обратиться ко мне.

— Похоже на то, что эта белая лилия, мадонна Бьянка де Кавальканти, захватила герцога в сети своей невинности, — сказала она.

Я обернулся, словно меня ужалили, а она при виде моего побагровевшего лица томно улыбнулась — той же самой ненавистной улыбкой, которая появилась на ее лице в тот день в саду, когда Гамбара торговался за нее с Фифанти.

— Вы ведете себя дерзко, — сказал я.

— Потому что все произношу имя святой невинности? — парировала она с презрительной улыбкой. Но

потом, сделавшись серьезной, добавила: — Послушай, Агостино, мы с тобой когда-то были друзьями. Я и сейчас хочу быть твоим другом.

— Это не такая дружба, мадонна, которую стоило бы выставлять напоказ.

— Ах, до чего мы стали щепетильны, с тех пор как покинули стезю святости и вернулись на грешную землю. Я вижу, мы снова принялись за старое, пялим глаза на эту бледную немочь, чистую и беспорочную дочку Кавальканти, — презрительно говорила она.

— Какое вам до этого дело? — спросил я.

— Никакого, — откровенно ответила она. — Но то, что на нее посматривает кое-кто другой, уже касается меня самым непосредственным образом, говорю тебе честно. Если эта девочка что-нибудь для тебя значит, если ты не хочешь ее потерять, советую тебе позаботиться о ее безопасности. Это мой искренний тебе совет, и надеюсь, что еще не поздно. Вот все, что я хотела тебе сказать.

— Подождите, — позвал я, потому что она уже скользнула прочь, сливаясь с сумраком галереи.

Она рассмеялась, обернувшись ко мне через плечо — воплощение дерзости и оскорбительного высокомерия.

— Ну что, удалось мне вразумить тебя? — спросила она. — Готов ли ты задавать вопросы той, которую презираешь? Ведь ты, разумеется, имеешь на это все права, — язвительно добавила она.

— Объясните, что вы имеете в виду, — попросил я, ибо ее слова наполнили мою душу страхом.

— Боже милостивый! — воскликнула она. — Неужели нужно еще что-то объяснять? Ты так ничего и не понял? Тогда послушай меня, послушай моего совета: мадонна Бьянка не совсем здорова и нуждается в перемене обстановки. Сеньор властитель Пальяно поступит очень благоразумно, если отошлет ее для поправления здоровья в какое-нибудь уединенное местечко подальше отсюда, пусть она побудет там до отъезда герцога. И, уверяю тебя, чем скорее она уедет, тем скорее он покинет Пальяно. Теперь, мне кажется, и святому ясно, что я имею в виду.

Пустив эту последнюю шпильку, она решительно удалилась, и я остался один.

Шпилька не произвела на меня особого впечатления. Важно было ее предупреждение. Я не сомневался, что у нее есть свои основания на то, чтобы меня предупредить. Я с содроганием вспомнил ее давнишнюю привычку

подслушивать у дверей. Вполне вероятно, что именно таким образом она получила информацию, которую нашла необходимым передать мне в качестве совета.

Этому невозможно было поверить! И в то же время я знал, что это правда, и проклинал свою слепоту — свою и Кавальканти. Я не знал, в чем в точности заключались замыслы Фарнезе. Трудно было себе представить, что он осмелится сделать то, на что более чем прозрачно намекала Джулиана. Может быть, она просто опасалась такой возможности, потому что здесь были затронуты ее собственные низкие интересы, и она решила предотвратить грозящую ей опасность.

Во всяком случае, ее совет был достаточно благоразумен; и вполне возможно, что, если Бьянка спокойно удалится из Пальяно, это поможет положить конец затянувшемуся визиту герцога в Пальяно.

Конечно, все дело в этом. Именно Бьянка держала его здесь, это было бы ясно даже слепому.

Сегодня же вечером, прежде чем идти спать, я поговорю об этом с Кавальканти.

Глава шестая

КОГТИ СВЯТОЙ ИНКВИЗИЦИИ

В соответствии с этим решением я после ужина направился в маленькую приемную перед спальней Кавальканти, с тем чтобы дожждаться там его прихода. Мое терпение подверглось серьезному испытанию, поскольку явился он необычайно поздно. Прошло не менее часа после того как в замке затихли все дневные звуки и стало известно, что все отошли ко сну, а его все не было.

Я спросил одного из двух пажей, которые томились в приемной в ожидании своего господина, не мог ли мессер пройти в библиотеку, и мальчик только-только начал перебирать различные обстоятельства, которые могли бы задержать его господина, мешая ему спокойно отойти ко сну, как дверь отворилась и Кавальканти появился наконец в своих апартаментах.

Когда он увидел, что я его ожидаю, взгляд его мгновенно оживился, в глазах мелькнуло удовлетворение. Я тут же понял, что он чем-то сильно взволнован. Он был бледен, под глазами залегли черные тени, он знаком показал своим юным пажам, чтобы они удалились, рука

его дрожала, так же как и голос, когда он сказал, что желает ненадолго остаться наедине со мной.

Когда мальчики вышли, он бессильно опустил в высокое резное кресло возле черного, эбенового дерева, столика на серебряной ножке, стоящего посреди комнаты.

Однако вместо того, чтобы объяснить, как я ожидал, что произошло, он посмотрел на меня и спросил:

— В чем дело, Агостино?

— Мне кажется, я нашел средство, — сказал я после недолгого колебания, — с помощью которого можно положить конец нежелательному пребыванию герцога Фарнезе в Пальяно.

После этого со всей возможной деликатностью я пытался ему объяснить, что, по моему мнению, мадонна Бьянка была тем магнитом, который удерживал его в замке, и что, если ее увезти подальше от гнусных знаков внимания, которыми он ей постоянно докучает, Пальяно потеряет для него всякую привлекательность и он вскорости уедет.

Мои сбивчивые слова и заключенные в них осторожные намеки не вызвали взрыва негодования, к которому я был готов. Он посмотрел на меня серьезно и печально.

— Как жаль, что ты пришел ко мне с этим советом сейчас, а не две недели тому назад, — сказал он. — Но кто мог предположить, что этот папский ублюдок задержится здесь так долго? Что же касается остального, Агостино, то ты ошибаешься. Это не он заглядывается на Бьянку, как ты предполагаешь. Если бы это было так, я убил бы его собственными руками, будь он хоть тридцать раз герцогом Пармы. Нет-нет. Руки моей Бьянки почтительнейше просит твой кузен Козимо.

Я смотрел на него в полном изумлении. Этого не может быть! Я вспомнил то, что говорила Джулиана. Джулиана не испытывает ко мне никаких теплых чувств. Если бы все было так, как он говорит, у нее не было бы оснований вмешиваться. Она скорее испытала бы известное злорадство, глядя на то, как мой кузен, уже отобравший у меня так много, выхватывает у меня из-под носа прелестную девушку, которую я полюбил.

— Не может быть, вы ошибаетесь! — воскликнул я.

— Ошибаюсь? — повторил он, качая головой и улыбаясь горькой улыбкой. — Здесь не может быть никакой ошибки. Только сейчас я разговаривал с герцогом и его распрекрасным вассалом. Они вместе обратились ко мне, прося руки моей дочери для Козимо д'Ангвиссола.

— А что вы? — в отчаянии вскричал я, ибо это окончательно уничтожило всякие сомнения.

— Я отклонил эту честь, — сурово ответил он, в волнении вскакивая с кресла. — Я отклонил эту честь в таких выражениях, что у них не осталось ни малейшего сомнения в непреклонности моего решения. И тогда этот пакостный герцог имел наглость прибегнуть к угрозам, да еще и улыбаясь при этом; он напомнил мне, что у него есть способы заставить человека подчиниться его воле, напомнил, что за ним стоит не только вся мощь понтификального владычества, но и сама Святая палата*. А когда я ответил, что я нахожусь в вассальном подчинении самого Императора, он возразил, что и Император нынче склоняет голову перед судом Святой Инквизиции.

— Боже милосердный! — воскликнул я, охваченный страхом.

— Пустые угрозы, — презрительно отозвался он и принялся мерить шагами комнату, сцепив руки за широкой спиной. — Что мне за дело до Святой Инквизиции? — фыркнул он. — Но они подвергли меня еще худшему унижению, Агостино. Они с издевкой напомнили мне, что Джованни д'Ангвиссола был моим ближайшим другом. Они сказали, что им известно мое намерение сделать мою дочь сеньорой Мондольфо, скрепить эту дружбу, объединив земли Пальяно, Мондольфо и Кармины. И добавили, что наилучшим способом привести этот план в исполнение было бы выдать Бьянку за Козимо д'Ангвиссола, ибо Козимо уже владеет землями Мондольфо, а Кармину получит в качестве свадебного подарка от герцога.

— У вас действительно было такое намерение? — еле слышным голосом осведомился я, как человек, охваченный ужасом при мысли о том, чего он лишился по причине своей глупости и греховности.

Он остановился передо мной и, положив руку мне на плечо, посмотрел мне в лицо.

— Это была моя заветная мечта, Агостино, — сказал он.

Я застонал.

— Это мечта, которой никогда не суждено было осуществиться, — сказал я, терзаемый горем.

— Действительно никогда, если Козимо д'Ангвиссола

*

Официальное название инквизиции.

будет оставаться сеньором Мондольфо, — ответил он, устремив на меня дружелюбный оценивающий взор.

Я то краснел, то бледнел под этим взглядом.

— Не только по этой причине, — сказал я, — монна Бьянка испытывает ко мне презрение, которое я вполне заслужил. Было бы в тысячу раз лучше, если бы я продолжал жить вдали от света, в который вы вынудили меня вернуться, разве что нынешние мои муки можно рассматривать как наложенное на меня наказание во искупление моих грехов.

Он слегка улыбнулся.

— Ты так думаешь? Полно, мой мальчик, ты слишком рано огорчаешься и слишком поспешно судишь. Я ее отец, и для меня моя маленькая Бьянка — открытая книга, которую я глубоко изучил. Я читаю по этой книге лучше, чем ты, Агостино. Но об этом мы еще поговорим.

Метнув в меня эту стрелу восторженной надежды, он тут же отвернулся и снова стал шагать по комнате.

— Сейчас меня больше всего беспокоит этот пес Фарнезе и его прихвостни — эта шайка фаворитов и шлюх, которые превратили мой дом в свинарник. Он грозит, что не уедет, пока я не приму то, что он называет разумным предложением, то есть пока я не подчинюсь его воле и не соглашусь выдать свою дочь за его приспешника. И он ушел, убеждая меня обдумать как следует его предложение. Он к тому же имел наглость заявить, что Козимо д'Ангвиссола — этот гвельфский шакал! — будет достойным супругом для Бьянки де Кавальканти.

Эти слова он проговорил сквозь зубы, и глаза его снова гневно сверкали.

— Единственное средство, мессер, это отослать Бьянку отсюда, — сказал я. — Пусть попросит приюта в каком-нибудь монастыре, до тех пор пока мессер Пьерлуиджи не уберется отсюда. Если она уедет, у Козимо не будет охоты задерживаться в Пальяно.

Он гордо вскинул голову, и на его мужественном лице появилось упрямое, вызывающее выражение.

— Никогда! — отрезал он. — Это можно было сделать две недели тому назад, когда они только что приехали. Тогда можно было сделать вид, что ее отъезд был решен еще до их приезда и что я, при моей независимости, не желал менять свои планы. Но делать это сейчас означало бы показать, что я его боюсь, а это не в моих

правилах. Поди к себе, Агостино. Дай мне время подумать, у меня еще вся ночь впереди. Я пока не знаю, как мне поступить. А утром мы еще поговорим.

Это было правильное решение. Утро вечера мудренее, и за ночь можно что-нибудь придумать. Ведь дело обстояло крайне серьезно, и вполне возможно, что решать наши затруднения придется с помощью оружия. Нетрудно догадаться, что я не мог заснуть в эту ночь. Я размышлял над этой затеей со сватовством Козимо — мне казалось, что я понял истинные его мотивы: отдать Пальяно под власть герцога, сделав властителем этой провинции человека, преданного Фарнезе.

Я думал еще и о том, что сказал мне Кавальканти, о том, что я слишком поспешно судил о чувствах и настроении его дочери. Мои надежды вспыхнули с новой силой и терзали меня своей неопределенностью и эфемерностью. А потом мне пришла в голову ужасная мысль, что это, возможно, некое возмездие, задуманное с целью меня наказать: ведь я в свое время оказался счастливым соперником в моей греховной любви; теперь же, когда я люблю такой чистой и святой любовью, он одерживает верх надо мной.

Ни свет ни заря я был уже на ногах и вышел в сад прежде всех, надеясь, что Бьянка, воспользовавшись ранним часом, тоже будет искать уединения и мы сможем там поговорить.

Однако встретил я там не Бьянку, а Джулиану. Я, должно быть, минут десять прогуливался по верхней террасе, с наслаждением вдыхая благоуханный утренний воздух, купая руки в прохладной росе, покрывавшей кусты самшитовых боскетов, когда увидел ее в дверях лоджии, выходящей в сад.

Увидев ее, я повернул назад, собираясь возвратиться в дом, и прошел бы мимо нее, не говоря ни слова, но она протянула руку, останавливая меня.

— Я искала тебя, Агостино, — сказала она вместо приветствия.

— Вы меня нашли, мадонна, а теперь позвольте мне вас оставить, — сказал я.

Однако она решительно загородила мне дорогу. Губы ее дрогнули и сложились в медленную улыбку, осветив лицо, которое когда-то я считал обворожительным и которое теперь было мне ненавистно.

— Мне вспоминается другая встреча ранним утром в саду, тогда ты не так спешил от меня уйти.

— И у вас хватает смелости это помнить? — воскликнул я, заливаясь краской под ее дерзким взглядом.

— Искусство счастливой жизни наполовину состоит в том, чтобы помнить счастливые мгновения, — ответила она.

— Счастливые? — спросил я.

— Можешь ли ты отрицать, что в то утро мы были счастливы? Это было всего два года назад, примерно в такое же время. Но как ты с тех пор изменился! А еще говорят, что непостоянны женщины! И говорят именно мужчины.

— Я тогда не знал, какая вы, — с горечью ответил я.

— А теперь разве знаешь? Или, с тех пор как ты набрался мудрости в пустыне, женское сердце не имеет для тебя тайн?

Я смотрел на нее, и в глазах моих можно было прочесть отвращение, которое я к ней испытывал. Ее бесстыдство, ее наглое поведение еще раз убедили меня в том, что у нее нет ни совести, ни сердца.

— Это было... это было через день после того, как умер ваш муж, — сказал я. — Я видел вас в лесу, на поляне неподалеку от Кастель-Гвельфо, с мессером Гамбарой. В тот день я и узнал, какая вы на самом деле.

Она прикусила губу, но потом снова улыбнулась.

— А что мне было делать? — оправдывалась она. — По твоей глупости, из-за преступления, которое ты совершил, мне пришлось бежать. Жизни моей угрожала опасность. Ты бросил меня самым бессовестным образом. А мессер Гамбара оказался более великодушным, он дал мне приют и предложил свою защиту. Я не создана для мученичества, для того, чтобы сидеть в темницах, — добавила она и вздохнула с улыбкой, ища моего сочувствия. — Неужели ты будешь меня осуждать?

— Я знаю, что не имею на это права, — ответил я. — И я виню вас ничуть не больше, чем самого себя. Но если я обвиняю себя самым жестоким образом, если я презираю и ненавижу себя за то, что произошло, вы можете себе представить, какие чувства я питаю к вам. Принимая все это во внимание, мне кажется, вы поступите благоразумно, разрешив мне удалиться.

— Я пришла сюда не для того, чтобы говорить о нас с тобой, мессер Агостино, а совсем с другой целью, — отозвалась она, нимало не тронутая моим презрительным тоном — по крайней мере ничем не выдавая своих ис-

тинных чувств. — Я имею в виду эту жеманницу, дочку властителя Пальяно.

— У меня нет ни малейшего желания слушать, что вы о ней скажете, — заявил я.

— Как это похоже на всякого мужчину — отказываться слушать то, что ему уже было сказано.

— То, что вы мне говорили, оказалось неправдой, — сказал я. — Вам это почудилось из страха, что могут пострадать ваши собственные низкие интересы. Обстоятельства показали, что герцог искал руки мадонны Бьянки для Козимо д'Ангвиссола.

— Для Козимо! — воскликнула она с таким серьезным и озабоченным видом, какого мне еще не приходилось наблюдать. — Для Козимо? Ты в этом уверен?

Она была так взволнована, так хотела что-то понять, что я вынужден был пояснить:

— Я это слышал от самого мессера.

Она нахмурила брови и опустила глаза. Затем снова посмотрела на меня все тем же серьезным взглядом.

— Боже мой, какие же темные пути он избирает, чтобы добиться своей цели! — как бы вслух рассуждала она.

Вдруг глаза ее живо блеснули, а на лице появилось хитрое и мстительное выражение.

— Теперь я все поняла, — сказала она. — О, все это ясно как день. Это чисто римская манера использования покорных мужей.

— Мадонна! — гневно прервал я ее, возмущенный тем, что кто-то может даже вообразить такое неслыханное оскорбление, задуманное по отношению к Бьянке.

— Господи Иисусе! — сказала она в ответ, пожимая плечами. — Все достаточно ясно, стоит только внимательно посмотреть. Здесь его светлость не смеет ничего предпринять, опасаясь вызвать неудовольствие непреклонного властителя Пальяно, но, как только она благополучно удалится отсюда в качестве жены Козимо...

— Остановитесь! — вскричал я, протягивая руку, словно для того, чтобы зажать ей рот. Затем, овладев собой, продолжил: — Неужели вы хотите сказать, что Козимо способен пойти на такую чудовищную сделку?

— Пойти на сделку? Этот ненасытный сводник? Ты не знаешь своего кузена. Нет ничего на свете, чего он не сделал бы ради выгоды. Если ты хоть сколько-нибудь интересуешься этой мадонной Бьянкой, ты постарайся немедленно удалить ее отсюда, и смотри, чтобы Пьер-

луиджи не пронюхал, в каком монастыре вы ее спрячете. Он пользуется привилегиями папского отпрыска и не постесняется осквернить любую святыню. Так что действуйте быстро, и так, чтобы никто ничего не знал.

Я смотрел на нее со смешанным чувством сомнения и ужаса.

— Почему ты мне не доверяешь? — спросила она в ответ на мой взгляд. — Я все это делаю не ради тебя и не ради этой белолицой дурочки. Мне до вас нет решительно никакого дела, хотя я тебя любила, Агостино. — Эта внезапная нежность, отразившаяся в ее голосе и в улыбке, казалась просто издевкой. — Нет-нет, любимый мой, если я и вмешиваюсь в это дело, то только потому, что здесь замешаны мои собственные интересы, которым грозит опасность.

Я вздрогнул, услышав, каким холодным тоном она говорит о тех интересах, которые могли связывать ее с Пьерлуиджи.

— Пожалуйста, можешь содрогаться от отвращения, господин святой, — презрительно проговорила она. — Поскольку ты меня бросил и ударился в святость, у тебя, конечно, есть на это полное право. — С этими словами она прошла мимо меня и стала спускаться по ступенькам террасы, даже не посмотрев в мою сторону. Больше я никогда ее не встречал, как вы увидите, хотя в тот момент это трудно было предположить.

Я стоял в нерешительности, думая о том, не броситься ли мне за ней, чтобы расспросить ее как следует и узнать, известно ли ей что-нибудь наверняка или все это только ее предположения. Но потом я подумал, что это не имеет особого значения. Важно было то, что нужно было следовать ее доброму совету, и притом незамедлительно.

Я направился к дому и в лоджии столкнулся лицом к лицу с Козимо.

— Не можешь расстаться с прежней любовью? — проговорил он вместо приветствия и кивнул с улыбкой в сторону удаляющейся Джулианы. — Мы в конце концов всегда к ней возвращаемся, так, по крайней мере, говорят. Однако советую тебе быть осторожным. Не слишком разумно перебегать дорогу герцогу в таких делах. Он может оказаться весьма ревнивым соперником.

Я не мог понять, не было ли в его словах двойного смысла, и сделал попытку пройти мимо, не отвечая на

его насмешки, но он неожиданно заступил мне дорогу и положил руку мне на плечо.

— И еще одно, мой милый кузен. Правда, ты не заслуживаешь моего доброго совета и предупреждения, но я все-таки тебе его дам. Поспешి отряхнуть с ног своих прах Пальяно. Над твоей головой собирается гроза.

Я посмотрел ему прямо в лицо, злобное, но в то же время красивое, и холодно улыбнулся.

— Этот совет и предупреждение я тебе возвращаю, подлый шакал, — сказал я и увидел, что выражение лица его мгновенно изменилось, все черты, казалось, окаменели, он смертельно побледнел.

— Что ты хочешь сказать? — зарычал он, догадавшись, вероятно, что мне кое-что известно, по тому слову, которым я его назвал. — Что эта тварь посмела тебе...

— Просто я вас предупреждаю, синьор, — перебил я его. — Не вынуждайте меня на большее.

Мы были совсем одни. У нас за спиной была пустая длинная комната, а перед нами — сад, в котором никого не было. Козимо был безоружен, я — тоже. Но я был в такой ярости, что он невольно отшатнулся в страхе, опасаясь, по всей вероятности, моих рук.

Я повернулся на каблуках и пошел своей дорогой.

Я направился вверх, желая увидаться с Кавальканти, и обнаружил, что он только что встал. Он сидел, завернувшись в подбитую горностаем мантию, и сразу же сообщил мне, что, обдумав еще раз все обстоятельства, он решил поступиться своей гордостью и увезти Бьянку из замка не позже чем сегодня же утром, как только он сможет уладить все дела, чем и займется безотлагательно.

Я предложил сопровождать его, и он принял мое предложение, после чего я расположился в его приемной, ожидая, пока он оденется, и раздумывая, стоит ли сообщать ему то, что мне сегодня утром сообщила Джулиана. В конце концов я решил этого не делать — я не мог себя заставить произносить все чудовищные мерзости, которые замыслились против Бьянки. Мне казалось, что разговор о них пачкает ее. Даже думать об этом было невыносимо.

Наконец он вышел, полностью одетый, в сапогах и при оружии, и мы вышли по коридору на галерею. Спускаясь по ступеням во внутренний дворик, мы обратили внимание на находящуюся там странную группу.

Группа состояла из шести всадников, одетых в черное,

а рядом с ними, несколько поодаль, стоял возле своего коня седьмой человек в латах из вороненой стали и в стальном шлеме. Он беседовал с Фарнезе. Герцога сопровождали Козимо и другие приближенные.

Мы задержались на ступенях, и я почувствовал, как Кавальканти крепко взял меня за локоть.

— В чем дело? — спросил я простодушно, не думая о том, что мне может грозить опасность.

— Это фамильяры, полицейские Святой Инквизиции, — мрачно сообщил он мне.

В этот момент герцог обернулся и увидел нас. Он пошел нам навстречу и остановился у лестницы. Выражение лица у него было важное и значительное.

Мы спустились во дворик, причем я начал испытывать известное беспокойство, которое, несомненно, разделял и Кавальканти.

— Скверные новости, мессер Пальяно, — сказал Фарнезе. — Священная коллегия прислала своих людей, для того чтобы арестовать человека по имени Агостино д'Ангвиссола, которого разыскивают уже больше года.

— Меня? — воскликнул я, выступив вперед и становясь перед Кавальканти. — Но какое может быть до меня дело у Священной коллегии?

Главный фамильяр приблизился ко мне.

— Если вы Агостино д'Ангвиссола, вам предъявляется обвинение в святотатстве, за которое вы должны держать ответ перед судом Святой Инквизиции в Риме.

— Святотатство? — повторил я в полном недоумении, ибо первой моей мыслью было то, что дело касается смерти Фифанти и что, поскольку этот ужасный трибунал вершит свои дела втайне, можно не бояться, что неприятные разоблачения вызовут чей-нибудь гнев.

Но это предположение было нелепо, потому что смерть Фифанти подлежала ведению руоты и открытых судебных заседаний, а они, как мне было известно, не посмели бы меня судить из-за мессера Гамбары.

— В каком же святотатстве могут меня обвинять? — спросил я.

— Трибунал сообщит вам об этом, — ответил фамильяр, высокий, болезненного вида немолодой человек.

— Трибуналу придется подождать другого случая, — внезапно вмешался Кавальканти. — Мессер д'Ангвиссола мой гость; а моих гостей нельзя хватать и увозить из Пальяно.

Герцог отошел немного в сторону и оперся на руку

Козимо, наблюдая за происходящим. У себя за спиной на галерее я услышал шуршание женского платья, однако не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто это. Глаза мои были прикованы к черной фигуре фамильяра.

— Надеюсь, вы не будете столь неблагоразумны, мессер, — сказал он, — и не заставите нас прибегнуть к силе.

— Я очень надеюсь, что вы не будете столь неблагоразумны и не станете пытаться это сделать, — рассмеялся Кавальканти, тряхнув своей крупной львиной головой. — В стенах моего замка не менее сотни вооруженных людей, господин Черный Камзол.

Фамильяр поклонился.

— В таком случае сила сегодня на вашей стороне, как вы заметили. Но я бы очень вам порекомендовал не использовать эту силу для оказания сопротивления полицейским Святой Инквизиции, для того чтобы препятствовать им в исполнении их долга, ибо в противном случае вы рискуете заслужить их справедливое неудовольствие.

Кавальканти сделал шаг вперед, покраснев от гнева, вызванного тем, что этот служака смеет говорить с ним таким тоном. Но в этот момент я схватил его за руку.

— Это ловушка, — шепнул я ему на ухо. — Берегитесь!

Это было сделано более чем вовремя. По прыщавому лицу Фарнезе скользнула хитрая улыбка — улыбка кошки, которая видит, что мышка высунулась из своей норки. Эта улыбка мгновенно исчезла, подтвердив тем самым мои подозрения, как только он увидел, что при моих словах Кавальканти сдержал свой опрометчивый порыв.

Не отпуская руки Кавальканти, я обернулся к фамильяру.

— Я отдам себя в ваше распоряжение через минуту, синьор, — сказал я. — А пока, господа, дайте нам возможность сказать два слова наедине. — И я увлек удивленного Кавальканти в сторонку, в дальний угол двора, под колоннаду галереи.

— Мессер, будьте благоразумны ради вашей дочери, — умолял я его. — Я уверен, что все это — не более чем ловушка, приготовленная для вас. Но не попадайтесь в нее, не заглатывайте наживку, как того требует ваша честь. Вы можете их победить только осторожностью. Разве вы не понимаете, что, если вы окажете сопротивление Святой Инквизиции, они объявят вас вне закона, наложат церковное проклятие? А против этого вас не

сможет защитить даже сам Император. Подумайте, ведь если Императору доложат, что его вассал, властитель Пальяно, злонамеренно помешал Святой Инквизиции в осуществлении ее целей, этот слепой фанатик Карл Пятый ничтоже сумняшеся отдаст его в руки ее трибунала. Не мне вас учить, мессер, вы и сами отлично все это знаете.

— Боже Всемогущий! — в отчаянии застонал он. — Но что будет с тобой, Агостино?

— Против меня у них ничего нет, — нетерпеливо ответил я. — Какое святотатство я мог совершить? Это просто фальшивка, грубо сфабрикованная для того, чтобы помочь Пьерлуиджи осуществить его гнусные замыслы. Значит, мужество и сдержанность, с их помощью мы сможем разрушить их планы. Пойдемте, мессер, я поеду с ними в Рим, и не сомневайтесь, я очень скоро вернусь.

Он взглянул на меня, и в каждой черточке его лица, обычно такого твердого и решительного, можно было прочесть тревогу и неуверенность. Он понимал, что его приперли к стене.

— Как бы я хотел, чтобы здесь сейчас был Галеотто! — воскликнул этот человек, который привык во всем полагаться на самого себя. — Что я ему скажу, когда он вернется? Я обещал беречь тебя как зеницу ока, мой мальчик.

— Скажите ему, что я скоро приеду назад, — это будет действительно так. Пойдемте же. Именно так вы сейчас можете мне помочь. В противном случае кончится тем, что вы будете арестованы и Бьянка окажется в руках этих негодяев, а ведь именно этого они и добиваются.

Мысль о Бьянке заставила его наконец решиться. Мы повернулись и направились назад, медленно и безмятежно, не спеша, словно ничто не нарушало нашего спокойствия, хотя лицо у Кавальканти заметно осунулось.

— Я в вашем распоряжении, — сказал я фамильяру.

— Мудрое решение, — насмешливо обронил герцог.

— Надеюсь, вы тоже в этом убедитесь, — парировал я не менее насмешливым тоном.

Мне подвели лошадь, и, обняв на прощание Кавальканти, я сел в седло, после чего мои одетые в черное конвоиры окружили меня со всех сторон, так что все это стало походить на траурный кортеж. Мы проехали через двор, сопровождаемые испуганными взглядами дворни,

ибо фамильяров Святой Инквизиции боялись все, они способны были вызвать ужас в душе даже самого храброго человека. Мы уже подъезжали к воротам, как вдруг в утренней тишине раздался пронзительный крик.

— Агостино!

Страх, нежность и боль смешались в этом горестном вопле.

Я резко повернулся в седле и увидел фигуру Бьянки в белом, которая стояла в галерее, провожая меня взглядом широко раскрытых глаз и протягивая ко мне руки. А потом, на моих глазах, она покачнулась и со стоном упала на руки своих дам, стоявших возле нее.

Я посмотрел на Пьерлуиджи и проклял его из самой глубины моей души. Я молил Бога, чтобы пришел наконец тот день — надеясь, что в недалеком будущем, — когда ему придется расплатиться за все грехи его преступной жизни.

Но потом, когда мы выехали в открытое поле, мысли мои приняли более приятное направление и я подумал: ради того, чтобы услышать этот крик, стоило оказаться в когтях Святой Инквизиции.

Глава седьмая

ПАПСКАЯ БУЛЛА

А теперь, для того чтобы вы могли как следует понять, что произошло, необходимо, чтобы все события были изложены в их правильной последовательности, хотя для этого потребуется, чтобы я на время угадался с этих страниц, которые слишком долго занимал своими действиями, мыслями и чувствами.

Я излагаю их так, как мне впоследствии рассказали их те, кому случилось принимать в них участие. Чаще всего это был Фальконе, который, как вы узнаете, оказался свидетелем того, что происходило, и описал мне со всеми подробностями, кто что сказал, что сделал и как при этом выглядел.

Я оказался в Риме на четвертый день после того, как отправился в путь в сопровождении моего мрачного эскорта, и в тот же самый день и почти в тот же час, когда за мной захлопнулись двери темницы Сант-Анджело, во двор замка Пальяно въехал Галеотто, возвратившийся из своей бунтарской экспедиции.

Его сопровождал один только Фальконе, и так случилось, что свидетелем его приезда оказался Фарнезе, который в этот момент прогуливался по галерее в сопровождении дам и кавалеров своей свиты.

Удивление при этой встрече было взаимным. Дело в том, что Галеотто ничего не знал о пребывании герцога в Пальяно, считая, что он находится в Парме, тогда как Пьерлуиджи и не подозревал, что сотня пик, составляющих гарнизон Пальяно, на две трети состоит из ландскнехтов Галеотто.

Тем не менее при виде этого кондотьера, об истинных целях которого он и не подозревал и услугами которого жаждал воспользоваться, герцог тяжело поднялся со скамьи и стал спускаться по ступеням лестницы, шумно приветствуя солдата и шутливо называя его Галеотто, имея в виду первоначальное значение этого слова и расспрашивая его о том, где он так долго пропадал.

Кондотьер соскочил с седла без посторонней помощи — он умел это делать даже тогда, когда был в полном вооружении, — и встал перед Фарнезе — грозный, покрытый пылью, с загадочной улыбкой на покрытом шрамами лице.

— Где? — повторил он и ответил: — Я ездил по делам, которые весьма близко касаются вашего великолепия. — И, в сопровождении Фальконе, Галеотто подошел ближе, представив заботы о лошадях конюхам, которые поспешили их увести.

— По делам, которые касаются меня? — спросил герцог, крайне заинтересованный.

— Ну конечно, — сказал Галеотто, стоявший теперь лицом к лицу с Фарнезе, у подножия лестницы, где толпились его придворные. — Я вербовал людей, набирая себе войско, и, поскольку я был уверен, что настанет день, когда ваше великолепие найдет моим людям применение, вам станет ясно, что дела мои непосредственно касаются вас.

На галерее, облокотясь на перила, стоял Кавальканти, бледный и озабоченный, не в силах оценить злобный юмор Галеотто, способного шутить шутки, понятные только ему одному. Впрочем, рядом с ним стоял Фальконе, который вполне оценил происходящее, прикрыв усмешку своей громадной загорелой рукой.

— Должен ли я понять, что ты одумался и готов прийти к соглашению по поводу размеров вознаграждения, мессер Галеотто? — спросил герцог.

— Я не торгош из Джудекки* и не собираюсь рядиться из-за своего товара, — ответил могучий кондотьер. — И я нисколько не сомневаюсь, что мы с вашим великолепием в конце концов сойдемся в цене.

— Пять тысяч дукатов ежегодно — вот мое предложение, — сказал Фарнезе, — при условии, что ты приводишь с собой триста копий.

— Ну ладно, — негромко сказал Галеотто — Однако настанет когда-нибудь день, ваше высочество, когда ты пожалеешь, что не дал мне ту цену, которую я просил.

— Пожалею? — спросил герцог, нахмурившись, недовольный такой откровенностью кондотьера.

— Когда ты увидишь, что я служу кому-нибудь другому, — пояснил Галеотто. — Тебе нужен кондотьер, мессер; а ведь может наступить такое время, когда он тебе понадобится еще больше, чем сейчас.

— У меня есть еще властитель Мондольфо, — сказал герцог.

Галеотто посмотрел на него, широко раскрыв глаза.

— Властитель Мондольфо? — переспросил он, прикидываясь непонимающим.

— Разве ты не слышал? Так вот же, вот он стоит. — И Фарнезе указал рукой, унизанной кольцами, в сторону Козимо — тот стоял рядом с герцогом, стройный, красивый, роскошно одетый. Галеотто посмотрел на этого Ангвиссолу, и лицо его приобрело мрачное, даже грозное выражение.

— Понятно, — медленно проговорил он. — Значит, ты властитель Мондольфо, не так ли? И ты, я полагаю, очень храбр.

— Я надеюсь, в доблести моей никто не посмеет усомниться, когда придет пора ее испытать, — высокомерно отозвался Козимо, чувствуя неприязнь собеседника и отвечая ему тем же.

— Усомниться в этом трудно, — сказал Галеотто, — поскольку ведь у тебя хватило храбрости присвоить себе титул сеньора Мондольфо, как известно, всем властителям Мондольфо он приносил несчастье, мессер Козимо. Возьми, например, Джованни д'Ангвиссола, ему во всем не везло, и вспомни, как плохо он кончил. Его отца отравил лучший его друг, а что до последнего законного носителя этого титула, — разве может кто-нибудь сказать, что он счастлив?

* Джудекка — южный пригород Венеции; в давние времена был населен преимущественно евреями.

— Последний, его законный носитель? — раздраженно воскликнул Козимо. — Мне кажется, сэр, что вы задались целью рассердить меня.

— Более того, — продолжал кондотьер, словно не услышав ответа Козимо, — властители Мондольфо не только несчастливы сами по себе, они приносят несчастье и тому, кому служат. Стоило отцу Джованни поступить на службу к Чезаре Борджа, как тот погиб от руки папы Юлия Второго. Что стоила дружба Джованни его друзьям — об этом вашему высочеству известно лучше, чем кому-либо другому. Итак, принимая во внимание все сказанное, мне кажется, ваше великолепие, вам следует поискать себе другого кондотьера.

Его высочество стоял, жуя свою бороду и мрачно задумавшись, ибо он был в высшей степени суеверен — постоянно интересовался всякими знамениями, изучал гороскопы, прислушивался к предсказаниям и советовался с разного рода прорицателями. На него произвело впечатление то, что сказал Галеотто. Но Козимо только рассмеялся.

— Стоит ли верить бабьим сказкам? — сказал он. — Я, во всяком случае, не обращаю на них ни малейшего внимания.

— Ну и зря, это только доказывает твою глупость, — оборвал его герцог.

— Верно, верно, — одобрительно захлопал в ладоши Галеотто. — Неверие в приметы происходит исключительно от невежества. Нужно бы тебе заняться их изучением, мессер Козимо. Я это сделал и теперь знаю и могу тебе сообщить, что несчастье роду Мондольфо приносят смуглые мужчины. А когда у такого мужчины под глазом родинка — что само по себе предвещает смерть через повешение, — то лучше всего не подвергать свою жизнь ненужному риску.

— Все это очень странно, — пробормотал герцог, на которого произвели сильное впечатление эти прорицания, столь неблагоприятные для Козимо, в то время как Козимо только пожал плечами и презрительно улыбнулся. — Ты, по-видимому, хорошо разбираешься в этих делах, мессер Галеотто, — добавил Фарнезе.

— Если хочешь добиться успеха в том, что собираешься предпринять, нужно внимательно изучить все знамения, — нравоучительно заметил Галеотто. — Я специально занимался этим предметом.

— А что ты скажешь обо мне? Ты видишь какие-нибудь

знаки, по которым можно прочесть мое будущее? — совершенно серьезно спросил герцог.

Галеотто внимательно посмотрел на Фарнезе, ничем не выдавая гневного презрения, наполнившего его душу.

— Ну что же, — медленно проговорил он, — можно попробовать, только эти знамения не прямые, а косвенные, ваше великолепие — по крайней мере, так сразу я не могу определить более точно. Но, поскольку вы меня спрашиваете, я скажу, что в последнее время мое внимание привлекли новые денежные знаки вашего высочества.

— Да, да, — живо отозвался герцог, в то время как его придворные подошли ближе, тесно столпившись вокруг него, ибо всех интересовали знамения и предсказания. — Что ты в них увидел?

— Мне кажется, они предсказывают вашу судьбу.

— Мою судьбу?

— Есть ли при вас какая-нибудь монета?

Фарнезе достал золотой дукат, новехонький, только что с монетного двора. Кондотьер указал пальцем на четыре буквы: PLAC, долженствующие обозначать сокращенное Placentia* в легенде монеты.

— P-L-A-C, — назвал он эти буквы. — В них скрывается ваша судьба, можете прочесть ее сами. — И он вернул монету герцогу, который уставился бессмысленным взглядом на буквы, а потом на прорицателя.

— Но что же означают буквы PLAC? — спросил он, слегка побледнев от волнения.

— У меня такое чувство, что это предзнаменование. Большого я сказать не могу. Могу лишь обратить на него ваше внимание, мессер, а истолковать его вы должны сами — вы ведь значительно лучше, чем я, разбираетесь в таких вещах. А теперь вы позволите мне пойти и переодеться с дороги, снять с себя это платье, покрытое дорожной пылью и грязью? — сказал он в заключение.

— Да, да, отправляйся, сэр, — рассеянно ответил ему герцог, хмуро и озабоченно глядя на монету со своим изображением.

— Пойдем, Фальконе, — сказал Галеотто и поставил ногу на верхнюю ступеньку лестницы, сопровождаемый своим верным конюшим.

Козимо наклонился к нему — его бледное лицо кривила издевательская усмешка.

* Любезный (лат.).

— Надеюсь, мессер Галеотто, что в роли кондотьера ты будешь выступать успешнее, чем в роли шарлатана, — сказал он.

— А из тебя, мессер, — парировал Галеотто, улыбаясь ему самой лучезарной улыбкой, — я уверен, получится гораздо лучший шарлатан, чем кондотьер.

Сквозь пеструю толпу расступившихся перед ним придворных он двинулся вверх по лестнице, на верхней ступеньке которой его ожидал сильно встревоженный властитель Пальяно. Они молча пожали друг другу руки, и Кавальканти пошел со своим гостем, чтобы лично проводить его в предназначенные для него апартаменты.

— У тебя не очень-то счастливый вид, — сказал Галеотто своему другу. — Клянусь телом Христовым! В этом нет ничего удивительного, принимая во внимание, с кем ты водишь компанию. Давно у тебя гостит этот Фарнезе?

— Его визит продолжается уже третью неделю, — отвечал Кавальканти, произнося слова чисто механически.

— Силы небесные! — воскликнул Галеотто, выражая этим свое крайнее удивление. — Что же заставляет его так долго здесь находиться? Что его держит?

Кавальканти пожал плечами и бессильно опустил руки.

Галеотто показалось, что у этого гордого сурового человека непривычно унылый вид.

— Вижу, что нам необходимо поговорить, — сказал кондотьер. — События развиваются быстро, — добавил он, понизив голос. — Но об этом поговорим немного позже. Мне нужно многое тебе рассказать.

Когда они оказались в покоях, отведенных Галеотто, и когда Фальконе, закрыв двери, начал снимать со своего господина доспехи и отстегивать шпоры, Галеотто начал говорить.

— Итак, мои новости, — сказал он. — Но прежде всего, чтобы мне не пришлось дважды повторять одно и то же, давай позовем Агостино. Где же он?

Галеотто достаточно было одного взгляда на лицо Кавальканти, и он вскинул голову, словно горячий конь, почувавший опасность.

— Где Агостино? — повторил он, а руки Фальконе бессильно упали, отпустив пряжку шпоры, которую он отстегивал.

Вместо ответа Кавальканти застонал. Он воздел руки к потолку, словно призывая на помощь небо; затем эти мощные руки снова упали, бессильные что-либо предпринять.

Галеотто с секунду стоял неподвижно, глядя на него и смертельно побледнев. Потом внезапно сделал шаг вперед, оставив Фальконе стоять на коленях.

— Что случилось? — спросил он громовым голосом. — Где мальчик, спрашиваю я.

Властитель Пальяно не мог выдержать взгляда этих глаз цвета стали.

— О, Боже! — воскликнул он. — Как мне тебе это сказать?

— Он умер? — спросил Галеотто грозно.

— Нет, нет, не умер. Но... Но... — Жалко было смотреть на замешательство этого гордого человека, обычно такого уверенного в себе.

— Но что? — требовал ответа кондотьер. — Клянусь Иисусом! Что я, женщина, или, может быть, мне никогда не приходилось испытывать горе, что ты не решаешься мне сказать? Что бы там ни было, говори, скажи мне, наконец, что случилось.

— Он попал в лапы Святой Инквизиции, — запинаясь пробормотал наконец Кавальканти.

Галеотто посмотрел на него, еще более побледнев. Потом он неожиданно опустился в кресло, поставил локти на колени и, обхватив голову руками, некоторое время не произносил ни слова, в то время как Фальконе, все еще стоя на коленях, смотрел то на одного, то на другого, сгорая от беспокойства и нетерпения услышать какие-нибудь подробности.

Ни один из господ не обратил внимания на присутствие конюшего, но если бы они и заметили его, это не имело бы никакого значения, поскольку верить ему можно было безоглядно и у них не было от него секретов.

Наконец Галеотто удалось справиться со своим волнением, и он попросил своего друга рассказать ему, что случилось, и Кавальканти сообщил ему о происшедшем.

— Что я мог сделать? Что? — воскликнул он, завершив свое повествование.

— И ты допустил, чтобы они его забрали? — проговорил Галеотто, как человек, который твердит какие-то слова, словно не может поверить тому, что они выражают. — Ты допустил, чтобы они его забрали?

— Разве был у меня другой выход? — протянул Кавальканти, мертвенно-бледное лицо которого исказилось от боли.

— То, что существует между нами, Этторе... не

позволяет мне этому поверить, несмотря на то, что ты сам мне это говоришь.

И тут несчастный властитель Пальяно изложил своему другу те самые доводы, с помощью которых уговорил его я. Рассказал о том, что Козимо ищет руки его дочери, о том, как герцог пытался заставить его согласиться на этот союз. Он объяснял, что вся эта затея со Святой Инквизицией — не более чем ловушка, должествующая отдать его, Кавальканти, во власть Фарнезе.

— Ловушка? — зарычал кондотьер, вскочив с места. — Что еще за ловушка? Где она, эта ловушка? В твоём распоряжении сотня вооруженных людей, две трети из них мои воины — каждый из них готов ради меня расстаться с жизнью, — а ты позволил, чтобы его забрали отсюда какие-то шесть негодяев из Святой Инквизиции, убоявшись двух десятков жалких вояк, сопровождающих этого подлого герцога.

— Нет, нет, дело не в этом, — возражал Кавальканти. — Ведь стоило мне хотя бы пошевелить пальцем, как я сам оказался бы во власти Святой Инквизиции, без всякой пользы для Агостино. Это была ловушка, и Агостино ее разгадал. Именно он уговорил меня не вмешиваться и предоставить им увезти его отсюда, поскольку Святая Инквизиция не может предъявить ему никаких обвинений.

— Никаких обвинений! — вскричал Галеотто с уничтожающим презрением. — Неужели у этих негодяев не найдется в запасе какой-нибудь фальшивки? Клянусь телом Христовым, Этторе, неужели после стольких лет нашей дружбы я вынужден прийти к заключению, что ты просто глуп? Что за ловушку могут они тебе расставить в этой ситуации? Ведь именно ты был хозяином положения. Фарнезе был в твоих руках. Можно ли придумать лучшего заложника? Тебе достаточно было свистнуть, твои люди схватили бы его, и ты мог бы потребовать у папы, его родителя, безоговорочного отпущения грехов и, в качестве компенсации, освобождения от всякого преследования со стороны Святой Инквизиции для себя и для Агостино. А если бы они попробовали действовать силой, ты мог бы их остановить, пригрозив, что повесишь герцога, если подписанные бумаги не будут тебе вручены незамедлительно. Боже мой, Этторе, неужели нужно все это объяснять?

Кавальканти опустился в кресло, обхватив голову руками.

— Ты прав, — проговорил он. — Я заслужил все эти упреки. Я поступил как дурак. Более того, как последний трус. — Но затем он снова поднял голову, и глаза его засверкали. — Однако еще не все потеряно! — воскликнул он, вскочив на ноги. — У нас есть еще время. Мы еще можем это сделать.

— Не все потеряно, — насмешливо сказал Галеотто. — Да ведь мальчик находится у них в руках. Теперь совсем другое дело: заложник против заложника. Нет, мальчик погиб, погиб безвозвратно, — закончил он со стоном. — Единственное, что мы можем сделать, — это отомстить за него. Спасти его мы уже не в силах.

— Нет, — сказал Кавальканти, — это неверно. — Я болван и старый осел, и я во всем виноват. Значит, я и заплачу.

— Заплатишь? — спросил кондотьер, глядя на друга глазами, в которых не было и тени надежды.

— Не пройдет и часа, как у тебя в руках будут все бумаги, необходимые для того, чтобы освободить Агостино. Ты сам повезешь их в Рим. Это то, что я обязан сделать, чтобы загладить свою вину. И это будет сделано.

— Но разве это возможно?

— Возможно, и это будет сделано. И после этого можешь рассчитывать на меня. Я буду биться до последней капли крови, ради того чтобы уничтожить этого гнусного выродка Фарнезе.

Он пошел к дверям — шаг его был по-прежнему тверд, а на лице, хотя и бледном, установилось спокойное выражение.

— Сейчас я должен уйти, однако ты можешь быть уверен: свое обещание я выполню.

Он вышел, оставив Галеотто наедине с Фальконе, и кондотьер снова бросился в кресло и сидел там, погруженный в свои мысли, так и не сменив запыхавшейся в дороге одежды и не проявляя желания переодеться. Фальконе стоял у окна, глядя в сад и не смея нарушить размышления своего господина.

Так и застал их Кавальканти час спустя, когда вернулся к ним в комнату. Он принес пергамент, к которому была прикреплена огромная папская печать с изображением папского герба. Он вручил пергамент Галеотто.

— Вот, — сказал он. — Я возвращаю свой долг — он явился результатом моей глупости и слабости, значит, я и обязан был расплатиться.

Галеотто посмотрел на пергамент, потом на Кавальканти, потом снова на пергамент. Это была папская булла, содержащая полное отпущение моих грехов и освобождение от наказания.

— Каким образом тебе удалось это получить? — удивленно спросил он.

— Разве Фарнезе не сын папы? — презрительно осведомился Кавальканти.

— Но на каких условиях она была дана? Если за нее заплачено ценой твоей чести, свободы, а может быть, и самой жизни, то давай сразу же покончим с этим делом. — Он поднял пергамент и, держа его в обеих руках, пристально глядел на властителя Пальяно, словно собираясь разорвать документ.

— Ни жизни моей, ни чести не грозит опасность, — твердо ответил Кавальканти. — Тебе следует поторопиться. Святая Инквизиция медлить не любит.

Глава восьмая

ДОПРОС ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

За мной в темницу явился мой тюремщик в сопровождении двух мужчин, казавшихся очень высокими из-за своего монашеского облачения — рясы с глухим капюшоном, в котором были сделаны прорезы для глаз. В отблесках зловещего красноватого света факела, принесенного в это мрачное подземелье тюремщиком, эти черные безмолвные фигуры — они медленно и торжественно двигались, спрятав руки в широкие рукава своих ряс, — казались призрачными и грозными, словно жуткие посланники смерти.

По холодным темным каменным переходам, в которых глухо отдавались наши шаги, они привели меня в просторное подземное помещение с колоннами и сводчатым потолком, освещенное факелами, укрепленными в железных кронштейнах.

На небольшом возвышении стоял дубовый письменный стол, а на нем — две массивных восковых свечи и распятие. За столом сидел дородный смуглолицый монах в черной рясе ордена святого Доминика. Несколько ниже, по обе стороны от него, сидели двое — безмолвные фигуры в капюшонах, исполняющие должность секретарей.

Справа от них, там, где царил полумрак, почти не

рассеиваемый лучами факелов, находилось какое-то деревянное сооружение, по размерам и форме напоминающее раму кровати, но с крепкими кожаными ремнями, для того чтобы привязывать пациента, и огромные деревянные винты, с помощью которых эту раму можно удлинять и укорачивать. К потолку были прикреплены блоки, с них свисали серые веревки, напоминая некое кровожадное чудовище — воплощение жестокости.

Одного взгляда в этот мрачный угол было для меня достаточно.

подавив дрожь, я посмотрел прямо на инквизитора и с этого момента старался не отрывать от него взгляда, чтобы случайно не взглянуть на прочие ужасы. Сам же он был достаточно ужасен для человека в моем положении.

Это был тучный человек с бритым смуглым лицом и вторым подбородком, толстым и отвислым, словно подгрудок у быка. В этой пухлой плоти утонули его глаза, похожие на маленькие черные пуговицы; они казались зловещими просто от полного отсутствия в них какого бы то ни было выражения. Полуоткрытый рот с отвислой нижней губой придавал лицу выражение жадности и жестокости.

Когда он говорил, его рокочущий бас гулко отдавался под низкими сводами потолка.

— Как твое имя? — спросил он.

— Я — Агостино д'Ангвиссола, властитель Мондольфо, и...

— Титулы можно опустить, — остановил он меня. — Святую Инквизицию не интересует, какое положение человек занимает в мире. Сколько тебе лет?

— Мне пошел двадцать первый год.

— *Benedicamus Domine!** — пробормотал он, хотя я никак не мог понять, к чему относится это замечание. — Ты обвиняешься, Агостино д'Ангвиссола, в святотатстве и осквернении святыни. Что ты можешь сказать по этому поводу? Признаешь ли ты себя виновным?

— Я тем более не могу этого сделать, что мне неизвестно, в чем именно меня обвиняют. Я не знаю за собой такого греха. Не имею ни малейшего...

— Тебе об этом сообщат, — перебил он меня, призывая к молчанию жестом своей пухлой руки и тяжело переваливаясь, чтобы повернуться к одному из секретарей. — Прочитай ему обвинение, — приказал он ему.

* Слава в вышних Богу! (лат.).

Из глубины глухого капюшона раздался резкий, пронзительный голос:

— Святой Инквизиции стало известно, что Агостино д'Ангвиссола на протяжении шести месяцев зимы 1544 года от рождения Христа Господа Бога нашего и весны 1545 года от рождения Христа Господа Бога нашего занимался мошенническими и богопротивными деяниями, фабрикуя корысти ради поддельные святые, кои затем и использовал в своих низменных и гнусных целях. Ему вменяется в вину, что статую святого Себастьяна, находившуюся в уединенном убежище на Монте-Орсаро, он объявил чудодейственной, имеющей силу исцелять хвори и недуги, каковая статуя имела невиданные свойства: всякий год на Страстную неделю раны ее кровоточили, каковое обстоятельство явилось причиной того, что толпы паломников являлись к этой ложной кощунственной святыне, оставляя обильное подаяние, кое вышеозначенный Агостино д'Ангвиссола присваивал в своих собственных корыстных целях. Далее нам стало известно, что в конце концов он бежал из этих мест, опасаясь разоблачения, а после его побега в том месте была оставлена сломанная статуя, и внутри ее — дьявольский механизм, с помощью коего и осуществлялось это чудовищное святотатство.

Все время, пока продолжалось это чтение, заплывшие, непроницаемые глазки инквизитора были устремлены на меня. Когда пронзительный голос чтеца смолк, он провел рукой по жирным складкам подбородка.

— Итак, ты слышал, — сказал он.

— Да, я выслушал много лжи, — ответил я. — Никогда еще события не излагались таким бессовестно-извращенным образом.

Глаза-бусинки совсем исчезли, спрятавшись в складках жира; и тем не менее я знал, что они продолжают меня изучать. Через некоторое время они снова появились.

— Значит, ты отрицаешь, что в статуе было спрятано это мерзкое кощунственное устройство?

— Нет, не отрицаю, — ответил я.

— Запиши его слова, — живо приказал он секретарю. — Он в этом признается. — И затем, обращаясь ко мне: — Ты отрицаешь, что находился в хижине отшельника в названный период времени?

— Нет, не отрицаю.

— Запиши его слова, — снова велел он секретарю. — Что же еще остается? — спросил он меня.

— А остается то, что я ничего не знал об этом

мошенничестве. Обманщиком был лжемонах, который жил там до меня и при смерти которого я присутствовал. Я занял его место, безоговорочно веря в чудотворную сущность статуи святого Себастьяна; когда же мне рассказали, что все это обман, я просто не мог поверить, что кто-то посмел решиться на такое чудовищное святотатство. В конце концов, когда статуя была сломана и я воочию убедился в святотатственном замысле обманщика, я с ужасом и отвращением тут же покинул это прибежище сатаны.

На широком лице инквизитора не отразилось никакого чувства.

— Это естественный способ оправдания, — медленно проговорил он. — Однако он не объясняет, как и почему были присвоены деньги.

— Я не присваивал никаких денег! — гневно вскричал я. — Это самое грязное обвинение из всех.

— Ты отрицаешь, что паломники делали известные приношения?

— Конечно, приношения делались, однако я понятия не имею, в каких размерах. У дверей хижины стоял сосуд из обожженной глины, в который верующие опускали свои приношения. Мой предшественник имел обыкновение раздавать часть этих денег среди бедных в качестве милостыни; другую часть, как говорили, он копил, чтобы истратить их на постройку моста через Баньянцу — это бурный поток, и мост через нее был необходим.

— Ну же, — подсказывал он, — значит, когда ты сбежал оттуда, ты и прихватил с собой эти собранные деньги.

— Я этого не делал, — отвечал я. — У меня не было даже такой мысли. Уезжая, я не взял с собой ничего — только ту одежду, которая была на мне, когда я там находился.

Последовала короткая пауза.

— Святая Инквизиция располагает другими сведениями.

— Какими же сведениями? — вскричал я, перебивая его. — Кто меня обвиняет? Покажите моего обвинителя, я хочу с ним встретиться лицом к лицу.

Он медленно покачал своей огромной головой с нелепым венчиком грязных волос, окружающих тонзуру*, этот символ тернового венца.

* Тонзура — выбритое место на макушке у католического духовного лица.

— Тебе, разумеется, должно быть известно, что в Святой Инквизиции это не принято. В своей великой мудрости наш трибунал считает, что, открывая имя доносчика, мы подвергаем его опасности преследования, и это может привести к тому, что иссякнет источник полезных сведений, которыми мы пользуемся. Следовательно, твоя просьба не может быть удовлетворена, она тщетна, столь же тщетна, как и попытки оправдаться, которые ты предпринимаешь, — все это сплошная ложь, направленная на то, чтобы помешать свершиться правосудию.

— Ложь, господин монах? — вскричал я с такой яростью, что один из стражей положил руку мне на плечо.

Глаза-бусинки исчезли, а потом снова появились, в то время как он внимательно и равнодушно рассматривал меня.

— Твой грех, Агостино д'Ангвиссола — это самый гнусный грех, который только может изобрести и осуществить сатанинская жадность. Больше, чем любой другой грех, он закрывает двери милосердию. Такое же преступление, какое совершил в свое время Симон Маг, и искупить его можно только пройдя через врата смерти. Ты вернешься в свою камеру, и когда дверь за тобою затворится, она затворится навсегда, до конца твоей жизни, и ты никогда уже не увидишь ни единого человека. Голод и жажда будут твоими палачами, медленно и неуклонно они лишат тебя жизни, которой ты не сумел как следует распорядиться. Ты останешься в этой камере без света, пищи и воды, пока не умрешь. Именно такое наказание несет тот, кто совершил подобное преступление.

Я не мог этому поверить. Я стоял перед ним все то время, пока он произносил эти лишенные всякого чувства слова. Наступила недолгая пауза, и снова он сделал этот широкий жест, поглаживая свой рот и обширный подбородок. Затем он продолжил:

— Это то, что касается тела. Но остается еще и душа. В своем бесконечном милосердии Святая Инквизиция желает, чтобы искупление греха наступило еще в этой жизни, дабы спасти тебя от пламени вечного ада. Поэтому Святая Инквизиция призывает тебя очистить свою душу, признавшись в своем грехе и раскаявшись в содеянии оного, прежде чем ты отойдешь в иной мир. Покайся, сын мой, спаси свою душу.

— Покаяться? — повторил я. — Покаяться в том, чего я не совершил, признать правдой ложь? Я изложил тебе

истинную, правдивую историю того, что произошло на самом деле. Говорю тебе: нет во всем свете человека менее способного на святотатство, чем я. По своей натуре, по своему воспитанию я набожный и благочестивый человек. Кто-то возвел на меня напраслину, чтобы мне навредить. Вынося мне приговор, вы осуждаете невинного человека. Да будет так. Не могу сказать, чтобы мир казался мне настолько привлекательным, чтобы я не мог расстаться с ним без особых сожалений. Моя смерть будет на вашей совести, на совести этого несправедливого, чудовищного трибунала. Но избавьте себя по крайней мере от еще большего преступления, требуя, чтобы я признал эти клеветнические обвинения.

Крошечные глазки устремили на меня долгий непроницаемый взгляд. Наконец доминиканец заговорил медленно и торжественно, и в голосе его звучало почти что сожаление.

— Милосердные законы этого трибунала предоставляют тебе двадцать четыре часа на размышление. Я буду молиться, сын мой, чтобы Божественное Провидение смягчило сердце, ожесточенное грехом, склонило бы тебя к раскаянию, к полному и свободному признанию своих преступлений. В противном случае наш долг нам ясен, и у нас есть способы добиться от человека признания. Подумай об этом, сын мой, избавь себя от ненужного страдания. Уведите его.

Я ничего ему не ответил и молча позволил фамильярам увести себя теми же самыми мрачными холодными коридорами назад, в камеру, в которой мне суждено было умереть.

Но прежде, чем это свершится, мне предстояло претерпеть страшные муки, пытки, более мучительные, чем голод и жажда, в том случае если я не соглашусь купить себе избавление, признавшись в возводимой на меня клевете. Меня приводила в ужас эта безумная затея спасти мою душу, осуществляемая тем самым способом, который служил верной ее гибели, — стремясь избавить меня от одного святотатства, меня беззастенчиво ввергали в другое.

Наверное, я в конце концов решил бы по истечении этих двадцати четырех часов на это. Благодарю Бога за то, что это испытание меня миновало. Ибо через три часа после моего возвращения в эту камеру снова явился мой тюремщик, положив конец моему мрачному унынию.

На этот раз его сопровождали не только фамильяры, но и сам инквизитор.

Он вкатился в сумрак этой темницы, в которую никогда не заглядывал солнечный свет, держа в руке пергамент, скрепленный огромной печатью, и знаком позывал меня к себе.

— Ты можешь убедиться в том, — сказал он, — что пути Господни поистине неисповедимы и что правда в конце концов торжествует. Твоя невиновность установлена, поскольку сам Святой Отец нашел нужным вмешаться и спасти тебя. Вот твое освобождение. Ты волен выйти отсюда и направиться, куда тебе заблагорассудится. Эта булла относится к тебе. — И он протянул мне пергамент.

Мой ум метался в поисках объяснения, так же как человек мечется в густом тумане, пытаясь найти дорогу, спотыкаясь и останавливаясь на каждом шагу. Я взял пергамент и долго смотрел на него. Удостоверившись в его подлинности и в то же время недоумевая, каким образом папа оказался замешанным в этом деле, я сложил документ и засунул его себе за пояс.

Затем инквизитор махнул своей огромной рукой, указывая вниз: «Ite!»* — и добавил — его рука, казалось, подавая специально для благословения: — *Rex Domini sit tecum***.

— *Et cum spiritu tuo****, — машинально ответил я, повернувшись прочь из этого ужасного места вслед за фамильярами, которые шли впереди, указывая мне путь.

Глава девятая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Наверху, в блаженном сиянии солнечного света, от которого у меня заболели глаза, ибо я был лишен его целую неделю, я увидел Галеотто, который ожидал меня в пустой, лишенной всякой мебели комнате. Я не успел даже сообразить, что это он, а его огромные руки уже обхватили меня и прижали к себе с такой силой, что его латы едва не впились мне в грудь, вызвав мгновенное, сладостно-горькое воспоминание о другом

* Иди! (*лат.*).

** Да пребудет с тобой мир Господень.

*** И твоей душе тоже.

человеке, таком же высоком, который прижимал меня к себе много лет тому назад и чьи доспехи причинили мне такую же боль, какую я испытывал сейчас, когда меня обнимал Галеотто.

Затем он отстранил меня на расстояние вытянутой руки и долго смотрел на меня. Я заметил предательскую влагу в его затуманенных глазах. Он буркнул что-то фамильярам, взял меня под руку, повлек за собой по длинным коридорам, минуя разные двери, и вывел наконец на оживленные улицы Рима.

Мы шли молча, улицами и переулками, которые, должно быть, были ему хорошо известны, но в которых я, несомненно, заблудился бы, и наконец очутились перед отличной таверной — *Osteria Del Sole*^{*}, что возле башни Ноны.

Там в конюшне находилась его лошадь, и слуга провел нас наверх, в комнату, которую он нанял.

Как я был не прав, думал я, заявляя инквизитору, что не испытываю сожаления, расставаясь с этим миром. Какая это была неблагодарность с моей стороны, принимая во внимание, что был на свете этот преданный мне человек, который любил меня в память о моем отце! А разве не было на свете Бьянки, которая, несомненно, — если только ее последнее восклицание, исторгнутое мукой, заключало в себе правду — любила меня ради меня самого?

Какая сладостная перемена произошла в моей судьбе — теперь, когда я удобно сидел в кресле возле окна, наслаждаясь поистине приятнейшим моментом в моей жизни, и когда мрачные тени смерти, сгустившиеся над моей головой, так внезапно рассеялись.

Вокруг хлопотали слуги, расставляя на столе изысканные яства, заказанные Галеотто, огромные корзины сочных фруктов, кувшины с красным вином из Апулии; и вскоре мы сели за стол. Чтобы воздать всему этому должное.

Но прежде чем приступить к еде, я спросил Галеотто, с помощью какого чуда ему удалось добиться моего спасения; какие магические силы способствовали тому, что даже сама Святая Инквизиция растворила свои двери по его повелению. Взглянув на лакеев, которые нам прислуживали, он велел мне заняться едой, сказав, что поговорим мы потом. При этих словах я почувствовал

* Таверна Солнца.

такой зверский голод, что немедленно и со всей охотой повиновался его приказанию и набросился на еду, так что, начиная с бульона и кончая фруктами, мы были заняты исключительно поглощением пищи и не сказали ни слова.

Наконец, когда наши бокалы были наполнены, а слуги удалились, я повторил свой вопрос.

— Это чудо сотворил не я, — сказал Галеотто. — Этим ты обязан Кавальканти. Буллу получил он.

И он вкратце изложил все те обстоятельства, о которых уже читателю рассказано на предыдущих страницах (мелкие подробности тех событий мне впоследствии, как уже говорилось, удалось выведать у Фальконе). По мере того как разворачивался его рассказ, я чувствовал, как во мне растет дурное предчувствие, от которого все тело покрывается холодным потом, совсем как утром, когда я находился в руках моих палачей. Наконец Галеотто, видя, что я смертельно побледнел, спросил, что со мною.

— Что... какую... чем заплатил за мое спасенье Кавальканти? — ответил я вопросом.

— Он мне не сказал, я не стал задерживаться, для того чтобы дознаться — мне надо было торопиться. Он уверил меня, что дело завершилось без урона для его чести, жизни и свободы, я этим удовольствовался и поспешил в Рим.

— И с тех пор вы не думали о том, какую цену должен был заплатить Кавальканти?

Он тревожно посмотрел на меня.

— Должен признаться, что радость, которую принесла мне мысль о скором твоём освобождении, сделала меня эгоистичным. Я думал только о твоём спасении и больше ни о чём.

Я застонал и в отчаянии опустил руки на стол.

— Он заплатил такую цену, — проговорил я, — что мне в тысячу раз лучше было бы остаться там, откуда вы меня вытащили.

Галеотто наклонился ко мне, сурово нахмутив брови.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил он.

И тут я рассказал ему о том, чего опасался; рассказал, как Фарнезе искал руки Бьянки для Козимо, как гордо и бесповоротно Кавальканти ему отказал; как герцог настаивал и пригрозил, что останется в Пальяно, пока мессер не изменит своего решения; как я узнал от Джулианы о чудовищных замыслах герцога — об истинной

причине, заставляющей его добиваться этого брака. И наконец...

— Вот какую цену согласился он заплатить! — в отчаянии воскликнул я. — Его дочь, эта чистая, святая девушка — вот эта цена! И в эту самую минуту, возможно, они получают выторгованную ими плату — отвратительная сделка осуществляется. О, Галеотто! Галеотто! Почему ты не оставил меня гнить в темнице инквизиции? Как был бы я счастлив умереть там, ничего не зная об этом!

— Клянусь кровью Христовой, мальчик! Не хочешь ли ты сказать, что мне было об этом известно? Неужели ты думаешь, что я согласился бы выкупить такой ценой чью бы то ни было жизнь?

— Нет, нет, — ответил я. — Я знаю, что вам это не было... что вы не могли... — И я внезапно вскочил на ноги. — А мы сидим здесь... пока это... пока это... О, Боже! — зарыдал я. — Может быть, еще есть время. На коней! Едем немедленно!

Он тоже вскочил на ноги.

— Может быть, есть еще способ исправить зло. Отправимся тотчас же. Гнев поможет мне преодолеть усталость. Мы можем доскакать за три дня. Будем мчаться так, как никому на свете не доводилось это делать.

И мы поскакали, и мчались с такой скоростью, что наутро третьего дня, который пришелся на воскресенье, были уже в Форли (перевалив Апеннины у Арканджело) и вечером прискакали в Болонью. Мы не сомкнули глаз и почти не отдыхали с того самого момента, как покинули Рим. Мы буквально валились с ног от усталости.

Если уж я находился в таком состоянии, то что должен был испытывать Галеотто? Он был сделан поистине из железа. Подумайте только, ведь он уже проделал этот путь, и так же поспешно, чтобы вызволить меня из когтей инквизиции; и, не отдохнув, снова двинулся в путь на север. Подумайте об этом, и вы не удивитесь, что усталость наконец сломила его.

В Болонье мы спешили возле гостиницы, где нашли Фальконе, который нас дожидался. Он собирался сопровождать своего господина в Рим, однако был в то время слишком утомлен и не мог долее находиться в седле, так что Галеотто, в своем отчаянном нетерпении, оставил его здесь и продолжал свой путь один.

Здесь, в Болонье, мы и встретили верного конюшего, умирающего от беспокойства. Он бросился ко мне, чтобы

обнять меня, называя меня по-прежнему Мадоннино, что мне приятно было слышать от него, несмотря на мрачные воспоминания, всколыхнувшиеся при звуке этого имени.

В Болонье Галеотто объявил, что он вынужден остановиться на отдых, и мы проспали три часа — пока не наступила ночь. Нас разбудил хозяин, как ему и было приказано, но после того, как он отошел, я продолжал лежать без сил, руки и ноги отказывались мне повиноваться. Но тут внезапно сознание возвратилось ко мне, я вспомнил, что нам предстояло, и эта мысль подействовала на меня как удар хлыста: всю мою усталость как рукой сняло.

Что же касается Галеотто, то он находился в самом плачевном состоянии: он просто не мог пошевелиться. Силы его истощились — он был измучен до крайности усталостью и недостатком сна. Мы с Фальконе вдвоем подняли его на ноги, но он снова свалился, поскольку был не в силах стоять.

— У меня нет сил, я выдохся, — пробормотал он. — Дайте мне поспать двенадцать часов — всего двенадцать часов, Агостино, и я поеду с тобой хоть к самому дьяволу.

Я застонал и выругался — все на одном дыхании.

— Двенадцать часов! — вскричал я. — А она... Я не могу ждать, Галеотто, я должен ехать, я поеду один.

Он откинулся на подушку и лежал, глядя на меня остекленевшими глазами, потом, сделав над собой усилие, очнулся и приподнялся на локте.

— Правильно, мальчик, поезжай один. Возьми с собой Фальконе. Послушай. В Пальяно находятся шесть десятков моих людей, которые пойдут за тобой куда угодно, хоть в самый ад, когда Фальконе передаст им мое приказание. Вперед, мой мальчик, спаси ее. Но... погоди минутку! Постарайся не трогать Фарнезе, не причинять ему вреда, если только это возможно.

— А если невозможно? — спросил я.

— Ну, тогда ничего не поделаешь. Но старайся не трогать его физически, не нанести ему никакого увечья. Предоставь это мне — настанет час, и он свое получит. Сегодня это было бы преждевременно, и мы... нас... нас раздавят его... — Речь его превратилась в нечленораздельное бормотание, глаза закрылись, и он снова заснул мертвым сном.

Десять минут спустя мы уже снова ехали на север, по бесконечной Эмилианской дороге, останавливаясь толь-

ко для того, чтобы промочить горло глотком вина, тогда как хлеб мы жевали по дороге, не слезая с седла.

Мы переправились через По и поехали дальше, меняя коней, где это было возможно, и наконец, когда уже близился закат, на повороте дороги нашему взору открылся Пальяно — серые, покрытые лишайником стены замка, стоящего на вершине невысокого изумрудного холма.

Спускались сумерки, в окнах замка кое-где появлялись огоньки, когда мы приблизились к воротам.

Из караульного помещения неторопливо вышел вооруженный страж и спросил у нас, какое дело привело нас в замок.

— Мадонна Бьянка уже вышла замуж? — задыхаясь спросил я его вместо приветствия.

Он внимательно посмотрел на меня, потом перевел глаза на Фальконе и с удивлением пробормотал какое-то ругательство.

— С возвращением вас, мессер! Мадонна Бьянка? Свадьбу отпраздновали сегодня. Молодые уже уехали.

— Уехали? — зарычал я. — Куда они уехали, отвечай!

— Куда? В Пьяченцу, во дворец мессера Козимо. Вот уже три часа, как они отъехали.

— А где твой хозяин? — спросил я его, соскакивая на землю.

— У себя в покоях, благородный господин.

Как я его отыскал, куда направился в поисках Кавальканти — все эти обстоятельства начисто выветрились из моей памяти. Знаю только, что нашел я его в библиотеке. Он сидел, сторбившись, в огромном кресле, лицо его было мертвенно-бледно, глаза лихорадочно блестели. Когда он увидел меня — причину, хотя и невольную, всех этих бед, — он сурово нахмурился и в глазах его появились гневные искры. Если он собирался накинуться на меня с упреками, я не дал ему этой возможности, обрушив на него мои собственные.

— Что вы наделали, мессер? — потребовал я ответа. — По какому праву вы совершаете такие поступки? По какому праву вы принесли в жертву эту чистую голубку? Неужели вы считаете меня подлецом, который будет рассыпаться перед вами в благодарности, что я буду испытывать какие бы то ни было чувства, кроме ненависти и отвращения, — ненависти ко всякому, кто имеет отношение к этому делу, отвращение к самой жизни, купленной такой ценой?

Он совсем сник перед моим яростным гневом; ибо

вид у меня, наверное, был ужасный — я стоял перед ним, извергая эти обвинения, обезумев от боли, ярости и бессонных ночей.

— Да понимаете ли вы, что вы сделали? — продолжал я. — Знаете, на что ее обрекли? Для какой цели вы ее продали? Или я должен вам объяснить?

И я все ему рассказал, в нескольких жестоких словах, от которых он вскочил на ноги, бешено сверкая глазами, — лев, очнувшийся от спячки.

— Нужно гнаться за ними, — уговаривал его я. — Нужно вырвать ее у этих скотов, даже если для этого пришлось бы сделать ее вдовой. Люди Галеотто находятся внизу, они пойдут за мной. Вы тоже можете поднять своих солдат. Ну же, мессер, на коней!

Он выскочил из библиотеки и бросился вниз по лестнице, не сказав мне ни слова и бормоча вместо ответа молитвы о том, чтобы мы могли поспеть вовремя.

— Мы должны! — бешено прокричал я, выскакивая на галерею, потом вниз по лестнице, не переставая бушевать, в то время как Кавальканти бежал следом за мной.

Через десять минут шестьдесят пик Галеотто и еще двадцать из тех, что составляли гарнизон Пальяно, были уже в седле и мчались во весь опор по направлению к Пьяченце. Впереди, на свежих лошадях, скакали мы с Фальконе, а рядом со мной, то и дело прищипывая своего коня, скакал властитель Пальяно, донимая меня вопросами о том, откуда я получил свои сведения.

Больше всего мы опасались, что ворота Пьяченцы будут закрыты, до того как мы успеем доехать. Однако нам потребовалось меньше часа, чтобы проделать эти десять миль, и авангард нашего небольшого отряда уже входил в ворота Фодесты, когда на колокольне собора раздался первый удар колокола, возвещающий наступление ночи и подающий сигнал привратникам закрывать ворота.

При виде столь многочисленного отряда начальник караула вышел к воротам и приказал нам остановиться. Но я бросил ему в ответ несколько слов, объясняя, что мы — черные воины мессера Галеотто и прибыли в Пьяченцу по приказу герцога, каковой ответ показался ему удовлетворительным, ибо мы не стали задерживаться, а у него не было достаточного количества людей, чтобы воспрепятствовать продвижению нашего отряда.

Мы ехали по темной улице — той самой, по которой я ехал в последний раз, после того как Гамбара открыл

для меня ворота тюрьмы, и таким образом вскоре оказались на площади перед дворцом Козимо.

Всюду царила темнота, и громадные ворота были заперты. Это было очень странно, принимая во внимание, что в дом только что приехала молодая жена.

Я соскочил на землю — с такой легкостью, словно проехал всего только эти десять миль от Пальяно. И действительно, я совсем перестал чувствовать усталость, совершенно забыв о том, что не спал уже три ночи, не считая трех недолгих часов в Болонье.

Я торопливо постучал в ворота, обитые железными гвоздями. Мы стояли перед ними в ожидании — Кавальканти и Фальконе рядом со мною, а воины — верхом, в некотором отдалении — молчаливая и грозная фаланга.

Я отдал приказ Фальконе:

— Десять человек пойдут с нами, остальные остаются здесь, из ворот никого не выпускать.

Конюший отошел назад, чтобы передать приказание солдатам, и десять человек, назначенных им, бесшумно соскользнули с седел и выстроились в тени, которую отбрасывала стена.

Я постучал еще раз, более решительно и властно, и наконец боковая калитка возле ворот открылась и показался престарелый слуга.

— В чем дело? — спросил он и приподнял фонарь, стараясь осветить мое лицо.

— Нам нужен мессер Козимо д'Ангвиссола, — ответил я.

Он смотрел мимо меня, на солдат, выстроившихся вдоль улицы, и лицо его приняло тревожное выражение.

— А что вам нужно? — спросил он.

— Глупец! Я сообщу об этом твоему хозяину. Проводи меня к нему. Дело не терпит отлагательства.

— Да, но... разве вы не слышали? Мой хозяин только что женился. Свадьба состоялась не далее как сегодня. Неужели вы решитесь беспокоить его в такое время? — Он многозначительно ухмыльнулся.

Я ударил его сапогом в живот, отчего он упал, растянувшись во весь рост, а потом покатился по земле и наконец забился в угол, жалобно воя.

— Заткните его, — велел я людям, которые нас сопровождали. — А потом половина останется здесь охранять лестницу, а остальные пойдут с нами.

Дом был огромный, и в нем было тихо, значит, маловероятно, что кто-либо услышал крики этого шута у ворот.

Мы поспешно поднялись по лестнице при свете фонаря, который где-то нашел Фальконе, ибо все вокруг было окутано зловещим мраком. Кавальканти шел рядом со мной, задыхаясь от ярости и беспокойства.

На верхней площадке лестницы мы обнаружили человека, в котором я узнал одного из приближенных герцога. Он, без сомнения, услышал наши шаги. Однако, увидев нас, он пустился бежать. Кавальканти бросился вслед за ним, и ему удалось поймать беглеца, схватив его за лодыжку, отчего тот упал, ударившись лицом оземь.

Не прошло и секунды, как я уже сидел на нем верхом, приставив ему к горлу кинжал.

— Один звук, — прошипел я, — и ты отправишься прямиком в ад.

Он смотрел на меня, выкатив глаза от страха, бледный как полотно.

Это был женоподобный слизняк, из тех, какими любил окружать себя герцог, и я сразу понял, что с ним у меня не будет никаких хлопот.

— Где Козимо? — спросил я у него. — Вставай, приятель, и проводи нас в комнату, которую он занимает, если тебе дорога твоя поганая жизнь.

— Его здесь нет, — проскулил несчастный придворный.

— Лжешь, гнусный пес, — сказал Кавальканти и обернулся ко мне. — Прикончи его, Агостино.

Мой пленник, на котором я сидел верхом, преисполнился ужасом, как и рассчитывал предусмотрительный Кавальканти.

— Клянусь Господом Богом, его здесь нет, — проговорил он, лишившись голоса от страха, ибо в противном случае он вопил бы во весь голос. — Господи! Клянусь, я говорю правду. Его здесь нет.

Я озадаченно посмотрел на Кавальканти, охваченный внезапным страхом. Я видел, что глаза Кавальканти, до этого тусклые и невыразительные, вновь загорелись недобрым огнем. Он склонился над распростертым на земле человеком.

— А невеста здесь? Моя дочь... она здесь, в этом доме?

Человек скулил и ничего не отвечал, пока острие моего кинжала не коснулось его шеи. Тогда он внезапно завизжал:

— Да!

В мгновение ока я схватил его за ворот и снова

поставил на ноги, причем его элегантное платье и тщательно причесанные волосы пришли в полный беспорядок, так что он являл собой самое плачевное зрелище, какое только можно себе вообразить.

— Веди нас в ее комнату, — велел я ему.

И он повиновался, как повинуются человек, когда ему грозит смерть.

Глава десятая

БРАЧНАЯ НОЧЬ БЬЯНКИ

Ужасная мысль терзала меня, пока мы шли по залам и коридорам дворца — она была вызвана присутствием в этом месте одного из приближенных герцога. Страшный вопрос то и дело просился мне на язык, однако я не мог себя заставить произнести его вслух.

Мы продолжали идти; моя рука, лежавшая у него на плече, как клещами сжимала его бархатный камзол, впиваясь в плоть и кости; в другой руке у меня был кинжал.

Мы прошли через приемную, где толстый ковер скрадывал шум наших шагов, и остановились перед тяжелой тканой портьерой, за которой скрывалась дверь. Здесь, сдерживая бешеное нетерпение, я остановился, сделав знак сопровождавшим нас пятерым солдатам, чтобы они оставались на месте, затем я передал провожавшего нас царедворца в руки Фальконе и придержал Кавальканти, который дрожал с головы до ног.

Я приподнял тяжелую портьеру, заглушавшую звук, и, остановившись на секунду у двери, услышал голос моей Бьянки; первые же ее слова заставили меня содрогнуться — кровь застыла у меня в жилах.

— О, мессер, — умоляла она дрожащим голосом. — О, мессер, сжальтесь надо мною!

— Моя прелестная, — послышалось в ответ. — Это я, а не ты достойна жалости, я умоляю тебя о милости. Разве ты не видишь, как я страдаю? Разве ты не видишь, что я сгораю от любви к тебе, что жаркий ее пламень терзает меня, а ты, жестокая, отказываешь мне в своей любви.

Это был голос Фарнезе. Значит, этот негодяй Козимо действительно заключил ужасную сделку, о которой меня

предупреждала Джулиана, причем осуществил ее еще более ужасным способом, чем она предполагала.

Кавальканти готов был броситься в комнату, распахнув настежь дверь, но я крепко взял его за руку и поднес палец — той руки, в которой у меня был кинжал, — к губам.

Я попробовал нажать ручку. Как это ни странно, дверь была не заперта и подалась. И верно, для чего было ее запирать? Нужно ли было герцогу опасаться, что его потревожат в доме, который жених любезно предоставил в его распоряжение, в доме, охраняемом его людьми?

Совершенно бесшумно я открыл дверь, и мы стали на пороге — Кавальканти и я, отец и возлюбленный нежной девы, принесенной в жертву грязному развратнику-герцогу. Мы стояли столько времени, сколько может понадобиться, чтобы сосчитать до двадцати, — молчаливыми свидетелями этой отвратительной сцены.

Брачный покой был сплошь увешан златоткаными гобеленами — только огромная, резного дерева кровать была задрапирована мертвенно-белым бархатом и дамасским шелком цвета слоновой кости, символизируя прелесть и чистоту прекрасной жертвы, для которой было уготовано это ложе.

И все это было сделано ради меня — ради меня согласилась она на этот ужас, согласилась, как я впоследствии узнал, с охотой и без колебаний, с решимостью Ифигении*. Однако согласилась она на брак, а не на то ужасное испытание, которое ей теперь предстояло.

Она опустила на колени на молитвенную скамеечку с высокой спинкой — ее платье не белее смертельно-бледного лица, сжатые руки с мольбой протянуты к этому чудовищу, стоявшему над ней. Его покрытое прыщами лицо покраснело, глаза жадно горели, когда он смотрел на обаятельную ужасом, беззащитную прелестную девушку.

Некоторое время мы за ними наблюдали, не замеченные ими, поскольку молитвенная скамеечка находилась слева, возле каминя с широким козырьком, в котором потрескивали благоухающие поленья какого-то экзотического дерева. Комнату освещали два серебряных канделябра, стоявшие на столике возле завешенного портьерой окна.

* Ифигения — героиня древнегреческого мифа; видимо, автор имеет в виду тот эпизод мифа, в котором Ифигения спасла от смерти на жертвенном алтаре своего брата Ореста.

— О, мессер! — в отчаянии воскликнула Бьянка. — Смилуйтесь, оставьте меня, и ни один человек на свете не узнает о том, чего вы от меня добивались. Я буду молчать, мессер. О, если у вас нет жалости ко мне, пожалуйста, по крайней мере, себя. Вы покроете себя позором, позором, который сделает вас ненавистным для всех на свете.

Подобно ястребу, который долго парит над своей жертвой, а потом складывает крылья и камнем падает на нее, Фарнезе вдруг бросился на девушку, схватил ее, поднял со скамеечки, где она стояла на коленях, и заключил в свои жестокие объятия. Она закричала и стала отбиваться. Пытаясь от него вырваться, она резко повернулась, так что теперь стояла к нам спиной, а Фарнезе, тоже вынужденный повернуться в этой борьбе, оказался лицом к нам и увидел нас.

В мгновение ока его лицо изменилось самым ужасным образом — было полное впечатление, что с него вдруг сдернули маску. Багровый румянец сменился мертвенной бледностью; нездоровый пламень в глазах погас, и взор его сделался тусклым и безжизненным, как у змеи; челюсть отвисла, а чувственные губы приобрели на этом фоне донельзя глупый вид.

Мне казалось, что на какое-то мгновение я ему даже улыбнулся, но потом мы с Кавальканти бросились вперед — оба одновременно. Он пошевелился, руки его при этом разжались, и Бьянка упала бы на пол, если бы я ее не подхватил.

Все еще находясь во власти страха, она подняла глаза...

— Агостино! — воскликнула Бьянка, глаза ее закрылись, и она в изнеможении упала ко мне на грудь.

Герцог же, спасаясь от гнева Кавальканти, метнулся, словно испуганная крыса, через комнату к маленькой дверце в той стене, где находился камин. Он распахнул ее и выскочил в коридор, куда за ним, не думая об опасности, бросился Кавальканти.

Послышался бешеный рык, затем восклицание боли, и властитель Пальяно отпрянул назад, прижимая руку к груди, чтобы остановить кровь, которая сочилась между пальцами. К нему подбежал Фальконе, однако Кавальканти только изрыгал проклятья, словно одержимый.

— Пустяки! — бросил он. — Клянусь когтями сатаны, это пустяки. Даже кость не задета, а я, как дурак, отскочил назад. За ним! Сюда! Смерть ему! Смерть!

Фальконе выхватил шпагу из ножен и с громким криком бросился в темный кабинет позади спальни — Кавальканти мчался за ним по пятам.

Когда за минуту до этого Фарнезе, спасаясь от Кавальканти, очутился в этом кабинете, он, по-видимому, сразу же добежал до стены, обернулся и, встав в оборонительную позицию, нанес своему преследователю удар, заставив его отступить, и выиграл таким образом столь необходимое ему время. Ибо теперь кабинет был пуст. Там была еще одна дверь, ведущая в коридор, которая теперь была заперта. Через нее он, конечно, и ушел. Они ее взломали. Я все это слышал, в то время как пытался успокоить Бьянку, поглаживая ее по голове и по лицу, ласково уговаривая успокоиться, пока она не затихла, продолжая лишь время от времени всхлипывать.

В таком положении застали нас Фальконе и Кавальканти, когда вернулись. Фарнезе скрылся с одним из своих приближенных, который подоспел вовремя и предупредил его, что на улице полно солдат, а дворец окружен. Тогда Фарнезе выскочил из окна в сад в сопровождении этого царедворца, Кавальканти удалось только увидеть, как он скрылся через садовую калитку.

Камзол из буйволово́й кожи, в который был одет Кавальканти, был весь покрыт кровью от ран, нанесенной ему герцогом, но он не желал обращать на это ни малейшего внимания. Он, подобно тигру, выскочил в приемную, и я услышал, как он отдает приказания. Вдруг раздался отчаянный крик, а потом послышался грохот и звон, словно весь дом готов был обрушиться нам на голову.

— В чем дело? — воскликнула Бьянка, вся дрожа и прижимаясь ко мне. — Они... они там сражаются?

— Нет, я не думаю, — ответил я ей. — Во всяком случае, вы не должны бояться, моя голубка. У нас достаточно людей.

В комнату снова вошел Фальконе.

— Сеньор властитель Пальяно совсем обезумел, — сказал он. — Нужно уходить отсюда, иначе нам придется иметь дело с капитаном стражи порядка.

Поддерживая Бьянку, чтобы она не упала, я повел ее прочь из этой комнаты.

— Куда мы направляемся? — спросила она.

— Домой, в Пальяно, — ответил я ей, успокоив этим

ответом бедную девушку, которой столько пришлось претерпеть.

В приемной царил полный разгром. Огромная люстра, сорванная с потолка, валялась на полу, картины были изрезаны, гобелены сорваны со стен и изодраны в клочья, драгоценная мебель изломана — теперь она годилась разве что на дрова, — широкие окна, выходящие на балкон, распахнуты, и в них не осталось ни одного целого стекла — весь пол был усеян осколками.

Надо полагать, Кавальканти дал волю своему гневу, обрушив его, чисто по-детски, на ни в чем не повинные предметы. Можно себе представить, какая участь постигла бы людей герцога, если бы кто-нибудь из них попался ему под руку. Тогда я еще не знал, что несчастный сводник, пособник герцога в его гнусном деле, бывший нашим проводником, был мертв, его повесили на перилах балкона — это его отчаянный крик я слышал минуту тому назад.

На лестнице мы встретили Кавальканти, который никак не мог успокоиться. Он поднимался к нам, держа в руке обломок шпаги.

— Торопитесь, — обратился он к нам. — Я шел за вами. Надо отсюда уходить!

Внизу, у парадной двери, мы увидели огромную кучу из сломанной мебели и соломы.

— Что это такое? — спросил я.

— Сейчас увидишь, — зарычал он. — Быстро на коней!

После недолгого колебания я повиновался ему и сел на свою лошадь, посадив перед собой Бьянку и поддерживая ее, чтобы она не упала.

Кавальканти подозвал одного из своих людей, который стоял неподалеку, держа в руке пылающий факел. Он выхватил факел у него из рук и стал тыкать им в кучу из сломанной мебели и соломы, сваленную у дверей. От каждого его прикосновения сразу же появлялся язычок пламени. Когда же он наконец швырнул факел в самую середину, пламя сразу занялось и вся куча тут же превратилась в ревущее и свистящее море пламени.

Он отступил назад и рассмеялся.

— Если в этом доме остались еще его сподвижники по разврату, пусть спасаются так же, как это сделал он. Может, им повезет больше, чем вот этому. — И он указал на безжизненное тело, свисающее с балкона, и я таким образом узнал о том, что уже вам рассказал.

Я закрыл глаза Бьянки своей рукой.

— Не смотрите туда, — сказал я ей.

Меня бросило в дрожь при виде этого безжизненно висящего тела. Однако, по зрелом размышлении, я решил, что это справедливо. Всякий человек, который оказывает помощь в таком грязном деле, как то, что было задумано здесь сегодня ночью, заслуживает подобной судьбы, если еще не худшей.

Кавальканти вскочил на коня, и мы поскакали по улице. Люди с тревогой высовывались в окна, чтобы посмотреть, что случилось. У нас за спиной, из первого этажа дворца Козимо, стали показываться языки пламени, охватывая все строение.

Доехав до Порто-Фодеста, мы велели стражу открыть ворота. Однако он, как велел ему долг, ответил теми же словами, которые я услышал в этом же самом месте два года тому назад:

— Сегодня велено никого не выпускать.

В одно мгновение наши люди окружили его, другие образовали живой барьер перед караульным помещением, а в это время двое или трое вытащили засов и растворили огромные тяжелые ворота.

Мы продолжали свой путь, переправились через реку и направились напрямик в Пальяно.

В течение какого-то времени это была приятнейшая поездка, которую мне когда-либо приходилось предпринимать, — в этот божественно-прекрасный час я прижимал к своей груди Бьянку, и она отвечала нежным, еле слышным голосом на все те глупости, которые я шептал ей на ухо.

Но потом мне стало казаться, что мы едем не ночью, а в слепящем свете яркого полдня по пыльной дороге, выходящей по иссушенной солнцем равнине Кампани; и, несмотря на сухость, где-то, наверное, должна быть масса воды, потому что я слышу рев потока, похожий на то, как грохочет после дождя Баньянца, и в то же время я знал, что никакой Баньянцы здесь быть не может, ибо она не может находиться в окрестностях Рима.

И вдруг прекрасный голос — я знал, что это голос Бьянки, — назвал меня по имени:

— Агостино!

Видение исчезло. Снова была ночь, и мы ехали в Пальяно по плодородной долине верховьев По; рядом со мною была Бьянка, она вцепилась в меня и звала меня

испуганным голосом, в то время как все остальные всадники придержали своих коней.

— Что случилось? — крикнул Кавальканти. — Ты не ранен?

Я сразу все понял. Я задремал в седле и, вероятно, стал сползать с него и упал бы, если бы Бьянка не вскрикнула и не разбудила меня. Я все объяснил Кавальканти.

— Клянусь сатаной! — сердито воскликнул он. — Нашел время спать!

— Три дня и три ночи я почти не слезал с седла. Эта четвертая, — объяснил я ему. — С тех пор как мы выехали из Рима, мне удалось поспать всего три часа. Я больше никуда не гоюсь, — признался я. — Думаю, будет лучше, мессер, если вы посадите вашу дочь на свою лошадь. На моей сейчас ехать небезопасно.

И это было действительно так. Невероятное напряжение, которое лишало меня сна, пока происходили все эти события, спало, и я начисто лишился сил, так же как Галеотто в Болонье. А ведь Галеотто уговаривал меня остаться и отдохнуть там. Он просил всего двенадцать часов! Я от всей души благодарил небо за то, что оно даровало мне силы и решимость продолжать путь, ибо эти двенадцать часов оказались решающими: если бы я последовал его совету, небесное счастье, которое я испытывал, обратилось бы в адские муки.

Кавальканти не мог взять ее к себе, признавшись, что испытывает сильную слабость. Правда, он всех уверял, что рана его несерьезна, но тем не менее он потерял много крови, потому что в своей ярости не позаботился о том, чтобы остановить кровотечение. И нести эту драгоценную ношу выпало на долю Фальконе. Последнее, что я запомнил, был смех Кавальканти — когда мы поднялись на небольшую возвышенность, он обернулся полюбоваться алым заревом над Пьяченцей, где нена сытное пламя, испуская снопы искр, пожирало великолепный дворец Козимо.

Затем мы снова спустились в долину. По мере того как мы ехали, стук копыт становился все глуше и глуше, и я заснул в седле, продолжая двигаться вперед между двумя всадниками, которым поручили следить за тем, чтобы я не упал, так что я ничего больше не помню о том, что происходило в ту богатую событиями ночь.

РАСПЛАТА

Я проснулся в комнате, которую занимал в Пальяно, перед тем как меня увезли оттуда по приказу Святой Инквизиции, и мне сказали, что я проспал всю ночь и весь следующий день, так что теперь время снова приблизилось к вечеру.

Я встал, умылся, завернулся в просторную мантию из меха, и после этого ко мне пришел Галеотто.

Он прибыл на рассвете и тоже проспал не менее десяти часов после своего приезда. Однако, несмотря на это, вид у него был измученный, а взгляд угрюмый и печальный.

Я приветствовал его с радостью, с сознанием того, что мы сделали хорошее дело. Он, однако, оставался мрачным и никак не отзывался на мою радость.

— Плохие новости, — сказал он наконец. — У Кавальканти жестокая лихорадка, он потерял много крови и совершенно обессилел. Я даже опасюсь, что он отравлен, вполне возможно, что кинжал Фарнезе был смазан ядом.

— О, но он же... он, конечно, поправится! — с трудом выговорил я. Галеотто покачал головой, брови его были сурово нахмурены.

— В ту ночь он, должно быть, совершенно обезумел. Учинить такой разгром, имея рану в груди, а потом еще проехать десять миль! Не иначе как безумие дало ему силы все это совершить. А здесь он мертвым свалился с седла; когда его поднимали, увидели, что он с ног до головы покрыт кровью, с тех самых пор он не приходит в сознание. Я опасюсь... — И он уныло покачал головой.

— Вы хотите сказать... вы думаете, что он может умереть? — прошептал я, с трудом выговаривая слова.

— Произойдет чудо, если он выживет. И это будет еще одно преступление в длинном списке тех, что совершил Пьерлуиджи. — Он проговорил эти слова в неопишемом волнении, воздев к небесам сжатую в кулак руку.

Чуда не произошло. Два дня спустя в присутствии Галеотто, Бьянки, фра Джервазио, которого вызвали из монастыря в Пьяченце, чтобы он причастил и исповедал несчастного барона, и меня Этторе Кавальканти спокойно отошел в лучший мир.

Была ли его смерть результатом отравления или он умер от того, что в его жилах совсем не оставалось крови, я сказать не берусь.

Перед самым концом его сознание на минуту прояснилось.

— Ты будешь защитником моей Бьянки, Агостино, — сказал он мне, и я, стоя возле него на коленях и сжимая его руку, принес ему в этом страшную клятву, в то время как Бьянка, бледная, как мрамор, отчаянно рыдала, стоя возле отца.

Затем умирающий повернул голову к Галеотто.

— А ты позаботишься о том, чтобы праведный суд совершился над этим чудовищем, — завещал ему он. — Это святое дело, угодное Богу.

Затем его сознание снова помутилось, окутанное туманом приближающейся смерти, и он погрузился в сон, от которого больше не проснулся.

Мы похоронили его на следующее утро в часовне замка Пальяно, а на следующий день Галеотто написал меморандум, в котором подробнейшим образом изложил все обстоятельства, при которых этот благородный доблестный сеньор встретил свою смерть. Он представлял собой страшное обвинение против Пьерлуиджи Фарнезе. Галеотто велел изготовить две копии этого документа, и в качестве свидетелей, удостоверяющих правильность изложенных в нем фактов, его подписали Бьянка, Фальконе и я, а к нашим подписям присоединил свою и фра Джервазио. Один из экземпляров меморандума Галеотто отправил папе, а другой — Ферранте Гонзаго в Милан, присовокупив к этому просьбу, чтобы документ был передан Императору.

После того как меморандум был подписан, Галеотто встал и, сжимая руку Бьянки в своей руке, поклялся, что отказывается от всякой надежды на спасение своей души, если по истечении года ее отец не будет отомщен, так же как и все остальные жертвы Пьерлуиджи.

В тот же самый день он снова уехал из замка по своим тайным делам, суть которых заключалась не только в борьбе с Пьерлуиджи, но и в полном освобождении Пармы и Пьяченцы от папского владычества. Несколько дней спустя он прислал мне еще пару десятков копеечников — силы его были разбросаны по всей округе, и количество солдат все время росло.

После этого мы затаились в Пальяно, ожидая дальнейшего развития событий. Мост через ров был поднят,

и ни один человек не мог проникнуть в замок, не предъявив пропуск или не сказав пароль.

Мы ожидали нападения, которое так и не состоялось, ибо Пьерлуиджи не осмеливался вести свою армию против имперского владения на тех шатких основаниях, которыми он располагал. А возможно, и то, что папа, получив меморандум Галеотто, постарался обуздать своего распутного сына.

Что же касается Козимо д'Ангвиссола, то он имел наглость направить своего курьера в Пальяно с требованием возвратить его жену, которая является таковой перед Богом и людьми, и угрожая в случае невыполнения его требования послать протест в Ватикан.

Нет нужды говорить о том, что мы отправили гонца с пустыми руками. Я встал во главе гарнизона Пальяно, заняв должность кастеляна и доверенного лица Бьянки, и поклялся, что мост через ров всегда будет поднят и все силы будут наготове, чтобы не допустить в замок врага.

Однако гонец Козимо заставил нас вспомнить о том, что лежало в те дни глубоко на дне наших душ: я не мог больше искать ее руки. Она была женой другого.

Это открылось нам вдруг, внезапно, словно вспышка молнии темной ночью, и мы были потрясены, когда осознали все значение этого обстоятельства.

— Это моя вина, я одна во всем виновата, — сказала она в тот вечер, когда мы сидели за ужином в алой с золотом столовой.

Именно этими словами она нарушила молчание, которое царило за столом в течение всей трапезы, покуда пажи и сенешаль прислуживали нам за столом, совершенно так же, как это было при жизни Кавальканти.

— О нет, любовь моя! — утешал я ее, протянув к ней руку через стол.

— Но это правда, дорогой, — ответила она, закрывая мою руку своей. — Если бы я была более милосердна и снисходительна, когда ты поведал мне о своих грехах, судьба обошлась бы со мною более милостиво. Знак, поданный мне в моем видении, должен был бы мне сказать, что мы предназначены друг для друга; и ничто содеянное тобой или мною не может этого изменить. Я знала это, и все же... — Она не могла больше говорить, так дрожали ее губы.

— Но ты не могла поступить иначе — твоя чистая

душа содрогнулась, узнав о том, что я такое на самом деле.

— Но ты ведь уже не был таким, — пролепетала она голосом, в котором слышалась мольба.

— Это ты... твой благословенный образ — вот что очистило меня от скверны! — воскликнул я. — Когда во мне проснулась любовь к тебе, только тогда, впервые в жизни, я почувствовал истинную любовь, ибо то, другое, что я почитал любовью, было лишено святости. Твой образ вытеснил из моей души всю греховность. Мир и покой, которых я жаждал и которые были мне недоступны, несмотря на долгие месяцы покаяния, поста и бичевания плоти, снизошли на меня благодаря моей любви к тебе, стоило только ей проснуться. Она была подобна очистительному пламени, которое обратило в пепел все греховные желания, наполнявшие мое сердце.

Ее ручка сжала мою руку. Она тихо плакала.

— Я был отверженным, — продолжал я. — Я был подобен моряку, лишенному компаса, вдаль от спасительного берега, который пытается найти правильный путь с помощью чувств и понятий, заложенных во мне моим воспитанием. В полном отчаянии я искал спасения и нашел его в затворничестве — это была бы монастырская келья, если бы я не чувствовал себя недостойным монашеской рясы. И наконец я нашел его в тебе, в блаженном созерцании твоего прекрасного лица. Именно ты преподала мне урок, научила тому, что мир создан Богом и Бог обитает в мире в такой же степени, как и в монастыре. Вот в чем был смысл знамения, вот что я понял, когда образ твой явился мне на Монте-Орсаро.

— О, Агостино! — воскликнула она. — И, несмотря на все это, ты не винишь себя за то, что случилось? Если бы только у меня достало веры в тебя, веры в знамение, которое мы оба получили, я должна была все это знать; знать, что если ты согрешил, это значит, что ты всего лишь уступил соблазну и что ты уже искупил свой грех.

— Мне кажется, что искупление происходит сейчас, здесь, в том, что с нами происходит, — отвечал я ей очень серьезно. — Та, что увлекла меня в бездну, была женой другого. Ты тоже жена другого, и ты спасаешь меня, поднимая из этой бездны. Она была доступной через свою греховность. Ты же никогда, никогда не можешь быть такой же, в противном случае я охотно расстался бы с жизнью. Но не вини себя, моя любимая, моя святая. Ты поступила так, как тебе подсказала твоя

чистая душа; все было бы хорошо, если бы тебя в то время не увидел Пьерлуиджи.

Она содрогнулась.

— Тебе известно, мой бесценный, что если я согласилась стать женой твоего кузена, то я это сделала исключительно ради твоего спасения? Такова была цена, которую они запросили.

— О, моя святая! — воскликнул я.

— Я говорю об этом только для того, чтобы ты знал, почему я это сделала.

— Мог ли я в этом сомневаться? — уверял ее я.

Я встал и прошел в другой конец комнаты, к окну, за которым сияла ночь, накрывая мир глубокой синью небосвода. Я смотрел в сад, где высокие тополя поднимали к небу свои вершины, и думал о том, что нам теперь делать. Затем я обернулся к ней, найдя, как мне казалось, единственно правильное решение.

— Нам остается только одно, Бьянка, — сказал я.

— Что же? — В глазах ее светилась тревога, которую еще более подчеркивали ее бледность и отпечаток боли на лице, появившиеся в результате тяжких испытаний, постигших ее в последние недели.

— Я должен уничтожить препятствие, которое стоит между нами. Я должен найти Козимо и убить его.

Я произнес эти слова без всякого гнева, без признака горячности — это было спокойное, деловое изложение того, что необходимо было сделать. Это было справедливое, единственно возможное действие, которое могло восстановить справедливость. Мне казалось, что оба мы, и она и я, смотрим на вещи одинаково. Ибо она не вздрогнула, не закричала в ужасе, не выразила ни малейшего удивления. Она просто покачала головой и печально улыбнулась.

— Как это было бы глупо! — сказала она. — Каким же образом это нам поможет? Тебя схватят, тут же предадут суду, и ты понесешь наказание. Каким образом это облегчит мою участь? Я останусь одна в этом мире, одинокой и совершенно незащищенной.

— О, зачем же так спешить? — воскликнул я. — По справедливости, я не должен пострадать. Мне достаточно будет лишь рассказать, как было дело, объяснить, почему я затеял с ним ссору, поведать о том чудовищном замысле по отношению к тебе, который чуть было не осуществился, об этом невероятном браке — и все будут

на моей стороне. Никто не посмеет преследовать и наказывать меня за это.

— Ты слишком великодушен, слишком веришь в людей, — сказала она. — Кто поверит твоим рассказам?

— Суд, — ответил я.

— Суд провинции, где правит Пьерлуиджи?

— Но у меня есть свидетели того, что произошло.

— Этим свидетелям не дадут и рта раскрыть. Твои объяснения никто не будет слушать. Ты подумай, как это будет выглядеть! — воскликнула она. — Всему свету дело представится так, что возлюбленный Бьянки Кавальканти убил ее мужа, чтобы жениться на ней самому. Что ты сможешь сказать в ответ на такое обвинение? К тому же люди, возможно, припомнят и то, другое дело — убийство Фифанти; и даже простой народ, те люди, которые, можно сказать, спасли в то время твою жизнь, могут изменить мнение, которого они тогда придерживались. Они скажут, что если он вообще способен убить, значит, и тогда убил он, что...

— О, ради всего святого, довольно! Сжался надо мною! — вскричал я, протягивая к ней руки. И, слава Богу, она замолчала, понимая, что сказано было достаточно. Она была права. С ее острым умом она мгновенно разобралась в самом существе этого дела. Ведь, если бы я осуществил то, что собирался, это не только послужило бы к моей гибели, но и набросило бы тень на нее; ведь если бы людская молва меня осудила и признала виновным, то это обвинение, несомненно, пало бы и на нее. И что же тогда, как она правильно сказала, было бы с ней? У них появилось бы основание увести ее из Пальяно, из-под защиты родных стен. Она стала бы жертвой гражданского суда. Пьерлуиджи мог подстроить так, что ее обвинили бы как мою сообщницу в подлом убийстве, совершенном с самыми гнусными целями.

Я снова обернулся к ней.

— Ты права, — сказал я. — Я понимаю, что ты права. Так же как я был прав, когда говорил, что мое искупление должно быть совершено здесь и теперь же. Кара, которую я столько времени призывал, настигла меня наконец. Она справедлива и уместна, хотя и жестока.

Я медленно вернулся к столу, возле которого она сидела, и стоял, глядя на нее. Она подняла голову и взглянула на меня глазами, полными муки.

— Бьянка, я должен уехать отсюда, — сказал я ей. — Это тоже совершенно ясно.

Губы ее приоткрылись, зрачки расширились, бледное лицо побледнело еще больше.

— О нет, нет! — жалобно воскликнула она.

— Это необходимо, — настаивал я. — Как я могу остаться? Козимо может обратиться в суд, предъявив мне обвинение в том, что я насильно держу у себя его жену, — и его иск будет удовлетворен.

— Но ты ведь можешь не подчиниться. Пальяно — достаточно хорошо защищенная крепость, и у нас достаточно людей. Черные воины преданы нам, они будут стоять за тебя до последнего.

— А что скажут люди? — воскликнул я. — Что скажет о тебе свет? Ты сама заставила меня над этим задуматься. Можно ли допустить, чтобы твое имя пачкали грязью гнусные сплетники? Жена Козимо д'Ангвиссола сбежала с кузеном своего мужа! Неужели я допущу, чтобы о тебе такое говорили!

Она застонала, спрятав лицо в ладонях. Затем снова взяла себя в руки и посмотрела на меня взглядом, полным отчаяния и решимости.

— Тебя так занимает то, что скажут люди?

— Я думаю только о тебе.

— Тогда подумай о том, что будет для меня лучше, мой Агостино. Так мы поступим или иначе — и то и другое одинаково плохо. Но мы должны выбрать меньшее из двух зол. Если ты уедешь, покинешь меня, я останусь беззащитной, и... и... так или иначе, у сплетников уже есть основание для злоязычия.

Долго смотрел я на нее, испытывая непреодолимое желание заключить ее в свои объятия и утешить. И я твердо знал, что если я останусь, то каждый день, каждый час я буду испытывать это желание и с каждым днем оно будет становиться тем более настоятельным и жестоким, чем больше я буду стараться его подавить. Но затем мне на помощь пришло мое воспитание, насквозь пронизанное превратно понятой святостью; оно заставило меня увидеть в этой ситуации усугубление моей кары, дополнительное бремя, которое я должен возложить на свои плечи, если я хочу добиться полного прощения.

И я согласился остаться в Пальяно. Уходя из комнаты, я ограничился тем, что поцеловал лишь кончики ее пальцев, и пошел молиться о том, чтобы Бог даровал мне силы и терпение, дабы я мог нести свой тяжелый крест и получить в конце концов награду — все равно, в этой жизни или за ее пределами.

На следующее утро к нам прибыл гонец от Галеотто, который принес нам весть о новом гнусном преступлении, которое совершил герцог в ту ужасную ночь, когда мы вырвали Бьянку из его когтей. На следующее утро несчастную Джулиану нашли мертвой. Она была задушена в ее собственной постели, и народная молва приписала это злодеяние герцогу.

Впоследствии я нашел подтверждение этим слухам. Дело, по-видимому, обстояло так: взбешенный тем, что у него вырвали из рук добычу, этот свирепый волк бросился на поиски того, кто мог открыть врагам его намерения и таким образом помешать их осуществлению. Он подумал о Джулиане. Разве Козимо не подсмотрел, как она разговаривала со мной в утро моего ареста, и разве он не сообщил об этом своему господину?

Итак, герцог немедленно направился в роскошный дом, в который он ее поместил и куда имел доступ в любое время дня и ночи. Он, должно быть, предъявил ей это обвинение, и я могу себе представить — ведь мне хорошо был известен ее характер, — что она не только призналась в том, что разрушила его планы, но сделала это с насмешкой, с торжеством, издеваясь над ним, как только может это сделать ревнивая женщина, и довела его тем самым до бешенства, до того, что он бросился ее душить.

Какие жестокие муки, должно быть, испытывала она в эти короткие страшные мгновения, как она жалела о том, что не придержала вовремя язык в те страшные мгновения — ей они, наверное, показались вечностью — пока ее душа не покинула сосуд, который она так любила и холила.

Когда я услышал о том, какой конец постиг эту несчастную, вся моя горечь, вся злость, которые я к ней испытывал, покинули меня и я стал искать в душе своей и в сердце оправдания ей.

Она была хорошо образованна и умна во многих отношениях, в других же не понимала решительно ничего и была бесчувственна, словно животное. В Бога она не верила, так же как и многие другие, ибо религия в той форме, которая ей представлялась, не внушала ей никакого уважения — ведь одним из ее любовников был кардинал, другим — сын самого папы. По натуре она была чувственна, и эта чувственность мешала ей понимать разницу между тем, что хорошо и что дурно.

Мне приятно было думать, что смерть ее явилась

результатом доброго деяния, ведь так легко могло бы случиться, что она погибла бы в результате какого-нибудь дурного поступка. И мне хочется верить, что это ее доброе деяние — какими бы мотивами оно ни было продиктовано — зачтется ей и будет положено на другую чашу весов, противоположную той, где будут находиться ее многочисленные грехи.

Я вспомнил слова фра Джервазио, с которыми он в свое время обратился ко мне: «Можем ли мы осудить грешника, если знаем все то, что привело его ко греху?» Он, помнится, произнес эти слова, говоря обо мне и о Джулиане. Но разве они не относятся и к самой Джулиане? Разве они не относятся к каждому, кто согрешил?

Глава двенадцатая

КРОВЬ

Те слова, которыми обменялись мы с Бьянкой в тот вечер, исчерпывающим образом выражают отношения, установившиеся между нами и продолжавшиеся в течение последующих нескольких месяцев. Мы встречались ежедневно, и то, чего не смели произнести наши уста, можно было прочесть в глазах.

Шли дни, они слагались в недели, и, сменяя одна другую, в свою очередь, образовывали месяцы. Подошла к концу осень, сбросив свой золотой наряд и уступив место унылой серости зимы: земля погрузилась в глубокий сон, от которого ее вновь разбудила весна.

Мы спокойно жили в Пальяно, нас никто не тревожил, и мы, с известной долей уверенности, начали чувствовать себя в безопасности. Записка Галеотто, несомненно, сыграла свою роль: Пьерлуиджи, вероятно, получил приказание от своего отца воздержаться от очередного скандала — их и так было достаточно в его бурной жизни — и не сметь трогать мадонну Бьянку в ее убежище в Пальяно.

Время от времени нас навещал Галеотто. Очень хорошо, что в тот день в Болонье его сломила усталость, помешавшая ему принять вместе с нами участие в событиях той ужасной ночи, в противном случае у него вряд ли была бы возможность так свободно и беспрепятственно передвигаться по стране.

Он рассказал нам о новой цитадели, которую строил герцог в Пьяченце, безжалостно разрушая дома, для того чтобы добыть необходимый материал и расчистить себе территорию, о том, как он укрепляет и расширяет городские стены.

— Однако я сомневаюсь, — сказал он нам однажды весной, — что ему доведется увидеть результаты своих трудов. Мы наконец приняли решение и готовы действовать. Я думаю, у нас не будет нужды в вооруженном восстании. Вполне достаточно будет сотни пик — они у меня уже есть. Мы намерены действовать внезапно, а Ферранте Гонзаго будет стоять наготове и поддержит нас с помощью императорского войска, чтобы потом, когда пробьет час, провинция поступила под его начало — он станет там наместником. А пробьет он скоро, и за это они тоже заплатят, — заключил кондотьер, указывая на черное траурное платье Бьянки.

Он снова уехал в тот же день, направляясь на север, где у него было назначено последнее, заключительное свидание с наместником Императора, однако обещал вернуться, прежде чем начнется дело, чтобы и я тоже мог принять в нем посильное участие.

На смену весне пришло лето, и мы ждали событий, гуляя вместе в саду, читая, играя в шары или в теннис, хотя эта игра считалась не совсем подходящей для женщины. Иногда я проводил учения с солдатами во внутреннем дворе замка, где они располагались. Дважды мы выезжали на соколиную охоту в сопровождении сильного эскорта и благополучно возвращались домой без всяких приключений. Но в третий раз я ехать отказался, опасаясь того, что слухи о наших вылазках разнесутся по округе и наши враги устроят нам ловушку. Я постоянно испытывал страх — боялся потерять ту, которая мне не принадлежала и которую я, может быть, никогда не смогу назвать своей.

И все это время мне все труднее и труднее было нести мою кару искупления, как я это называл. Я давно отказался от счастья целовать кончики ее пальцев. Но даже если я целовал окружающий ее воздух, это все равно нарушало спокойствие моей души. И вот однажды вечером, когда мы гуляли в саду, меня охватило мгновенное безумие — я больше не мог противиться своим чувствам. Не говоря ни слова, я обернулся, схватил ее в свои объятия и крепко прижал к груди.

Я увидел, как дрогнули ее веки, заметил быстрый

взгляд голубых глаз и разглядел в них жажду любви, родственную моей собственной, но в то же время и страх, заставивший меня остановиться.

Я отпустил ее. Потом встал на колени и поднес к губам подол ее траурного платья.

— Прости, любовь моя! — смиренно молил я ее.

— Бедный мой Агостино, — было все, что я услышал в ответ, в то время как ее трепещущие пальцы мягко перебирали мои темные волосы.

После этого я избегал ее общества почти целую неделю и совсем не виделся с ней наедине, а только за обеденным столом во время трапезы, в присутствии наших слуг.

Наконец однажды, в самом начале сентября, в годовщину смерти ее отца — это было, как помнится, восьмого числа, в четверг, — прибыл Галеотто в сопровождении довольно значительного отряда вооруженных всадников; в тот вечер он выглядел счастливым и довольным — за весь предшествующий год мне ни разу не приходилось видеть его таким оживленным.

Когда мы остались одни, мне открылась — впрочем, я и сам об этом подозревал — истинная причина его превосходного настроения.

— Час настал, — сказал он голосом, исполненным значения. — Его конец близок. Завтра, Агостино, ты поедешь со мной в Пьяченцу. Фальконе останется здесь, возьмет на себя команду над здешними людьми, на случай если будет сделана попытка напасть на Пальяно, что, как мне кажется, маловероятно.

И он рассказал мне о веселых развлечениях, которые состоялись в Пьяченце по поводу визита герцогского сына Оттавио — того самого зятя Императора, которого последний всячески пригрозил и обласкал, однако не до такой степени, чтобы отдать ему герцогство его отца, после того как тот отойдет в лучший мир, чтобы ответить за совершенные грехи.

Ежедневно проходили рыцарские поединки и турниры, устраивались самые разнообразные развлечения, ради которых с жителей Пьяченцы снимали последнюю шкуру — да и шкуры-то у них уже не оставалось. В свое время Фарнезе всячески подлизывался к простому люду, прося у крестьян помощи для того, чтобы сокрушить баронов, а когда с баронами было покончено, он принялся за них самих, поскольку их помощь ему больше не требовалась. Разнообразные поборы довели жителей до

полной нищеты, а теперь он рушит их дома, чтобы получить строительный материал для своей новой цитадели, нимало не задумываясь о тех, кто лишился при этом крова над головой.

— Этот Пьерлуиджи окончательно сошел с ума, — сказал Галеотто и рассмеялся. — Впрочем, он отлично играет свою роль: все, что он делает, как нельзя лучше служит нашим целям, все его штучки нам только на руку. Сеньоров он восстановил против себя уже давно, теперь же против него раздражено и население — грабеж и бесконечные вымогательства надоели всем до крайности. Дело дошло до того, что в последнее время он постоянно сидит, запершись в своей цитадели, редко оттуда выезжая, чтобы только не видеть изможденные лица бедняков, не смотреть на руины, в которые он превратил прежде красивый город. Говорят, что он болен. Небольшое кровопускание живо вылечит все его болячки.

Наутро Галеотто отобрал тридцать человек из своего отряда, дав им следующее приказание: они должны снять свои черные камзолы и одеться в крестьянскую одежду — взяв с собой только такое оружие, какое обычно берет крестьянин, отправляясь в далекое путешествие; после этого, поодиночке и пешим порядком, они должны пробираться в Пьяченцу и собраться там в субботу утром в определенном месте и в определенное время, которое им будет указано. Они отправились, и в тот же день мы отправились тоже.

— Ты вернешься ко мне, Агостино? — спросила меня Бьянка, когда мы расставались.

— Я вернусь, — ответил я, ощущая тяжесть на сердце.

Однако по мере того, как мы продвигались вперед, к нашей цели, мысль о том, что нам предстояло сделать, стала занимать меня все более и более и моя меланхолия несколько рассеялась. Вера в лучшее будущее и надежда на счастье окрасили все окружающее в розовые тона.

Ночь мы провели в Пьяченце, в большом доме на улице, которая ведет к церкви Сан-Ладзаро, — там уже собралась целая компания, человек, наверное, двенадцать, главными из которых были братья Паллавичини из Кортемаджоре — именно они первыми почувствовали железную руку Пьерлуиджи; был там и Агостино Ланди, и глава известного дома Конфалоньери.

После ужина мы все сидели за длинным дубовым столом, доски которого были отполированы так гладко, что в них, как в пруду, отражались стоявшие на нем

чаши, кубки и огромные бутылки с вином, как вдруг Галеотто бросил на середину стола серебряную монету. Она легла гербом вверх — это был герб герцога, в легенде же, расположенной по краю монеты, было сокращенное слово PLAC.

Галеотто указал на него пальцем.

— Год тому назад я его предупредил, — сказал он, — что его судьба записана здесь, в этом сокращенном слове. Завтра я напому ему об этой загадке.

Я не понял, на что он намекает, и сказал ему об этом.

— Ну как же, — объяснил он не только мне, но и всем остальным, которые тоже в недоумении нахмурили брови. — Во-первых, PLAC обозначает «Placentia»*, где ему суждено встретить свой конец, а во-вторых, это слово составляют инициалы четырех главных участников нашего предпринятия: Паллавичини, Ланди, Антвиссола и Конфалоньери**.

— Ты называешь меня в числе главных участников этого дела. Не кажется ли тебе, что в этом есть некоторая натяжка, ты, наверное, делаешь это для того, чтобы вернее сбылось предзнаменование.

Он ничего не сказал на это, только улыбнулся и положил монету в карман.

Описание событий, о которых мне предстоит рассказать, можно найти везде, где угодно, ибо о них писали множество людей, и каждый по-своему, в зависимости от своих симпатий или от того, кто нанял писателя для их изложения.

Вскоре после рассвета Галеотто окинул нас, наказав каждому, что ему следует делать.

Позже, уже утром, направляясь к замку, где все мы должны были собраться, я его увидел — он ехал по улице рядом с герцогом. Они выезжали за пределы города, чтобы осмотреть новую крепость, которая в то время строилась. Похоже, между ними снова велись переговоры о том, чтобы Галеотто поступил к герцогу на службу, и последний использовал это обстоятельство в своих целях — для осуществления собственных планов. По моему мнению, не было на свете человека, более подходящего для этого дела, человека, обладающего большей выдержкой и терпением.

* Латинское название города Пьяченцы.

** Итальянское Confalonieri.

Помимо кондотьера, герцога сопровождали два-три всадника из числа его приближенных, а вокруг, охраняя его светлость, шли пешие швейцарские ландскнехты — их было не менее десятка — облаченные в блестящие латы и шлемы с высоким гребнем; каждый нес на плече огромное устрашающее копьё.

Народ расступался перед этим небольшим отрядом; горожане снимали шапки из почтения, порожденного страхом, однако лица у них были угрюмые и мрачные, хотя нашлись плуты, рожденные только для того, чтобы служить все равно кому, которые трусливо и раболепно выкрикивали: «Dusa!»*

Герцог ехал медленно, не быстрее, чем если бы шел пешком, его снова мучила болезнь, и на его лицо, некрасивое само по себе, теперь неприятно было смотреть: оно было сплошь покрыто ярко-красными прыщами, которые резко выделялись на мертвенно-бледной коже, а под глазами залегли темно-коричневые тени, свидетельствующие о глубоком страдании.

Я прижался к стене, укрывшись в тени дверного проема, чтобы он меня не увидел, поскольку из-за моего высокого роста мне было трудно не выделяться в толпе. Но герцог смотрел прямо перед собой, не поворачивая голову ни направо, ни налево. Вообще ходили слухи, что он не может смотреть в глаза людям, которых он так жестоко оскорблял, над которыми в свое время так надругался, — впрочем, об этом уже довольно говорилось, и мне не хочется повторяться, дабы не вызывать отвращения читателя.

Когда они проследовали мимо меня, я медленно поехал за ними, направляясь в сторону замка. Едва я свернул с отличной дороги, построенной Гамбарой, как ко мне присоединились братья Паллавичини. Это были смелые и решительные синьоры с начинающими седеть волосами, один из которых, как вы помните, слегка прихрамывал. Оба они были одеты в черное, что в какой-то мере соответствовало характеру задуманного предприятия. Их сопровождали с полдюжины молодцов из отрядов Галеотто, однако на одежде не было никаких знаков, определяющих их связь с кондотьером. Мы обменялись приветствиями и все вместе выступили на открытое пространство piazza della Citadella**, направляясь к самой крепости.

* Герцог (итал.).

** Крепостная площадь (итал.).

Мы миновали подъемный мост и оказались внутри — никто из стражей не пытался нас остановить. Люди свободно входили и выходили из крепости, строго охранялись только личные апартаменты герцога — для того чтобы пройти к нему, нужно было изложить свое дело офицеру, находившемуся в передней.

Более того, вся охрана состояла из двух-трех швейцарцев, которые лениво бродили в проходе, ведущем от подъемного моста во двор, поскольку солдаты гарнизона отправились обедать — обстоятельство, которое Галеотто учел, выбрав полдень как время для нанесения удара. Мы пересекли широкий квадратный двор и миновали еще одну арку, ведущую во второй внутренний дворик, как нам было приказано. Здесь нас встретил Конфалоньери, которого тоже сопровождали несколько наших людей. Он приветствовал нас и тут же, не теряя времени, стал давать приказания, что кому следует делать.

— Вы, мессер Агостино, пойдете с нами, остальные остаются здесь, дожидаясь прибытия Ланди, который подоспеет с остальными нашими силами. С ним будет два десятка людей, они изолируют стражу, когда она появится. Как только это будет сделано, дайте нам наверх сигнал — это должен быть пистолетный выстрел, — а затем немедленно поднимайте мост и займитесь теми швейцарцами, которые все еще будут сидеть за столом. Ланди получил соответствующие распоряжения, он знает, что нужно делать.

Братья Паллавичини коротко ответили, принимая к сведению приказ, а Конфалоньери взял меня за руку, и мы быстро пошли вверх по лестнице в сопровождении полудюжины его людей. Ни на одном из них не было видно никаких признаков оружия, но у всех под камзолом или курткой была надета кольчуга.

Мы вошли в переднюю — это была великолепная комната, богато обставленная, затянутая драгоценными тканями и гобеленами. Придворных там не было — все отправились обедать вместе с начальником стражи, который в то самое утро женился и давал по этому поводу банкет. Галеотто знал об этом, когда назначал день нанесения удара.

В другой стороне комнаты возле окна находились четыре швейцарца — все, что осталось от стражи; они играли в кости, стоя вокруг стола и поставив свои пики к стене.

Возле них мы увидели высокую широкоплечую фигуру

Галеотто — проводив герцога до этого места, он задержался здесь, чтобы посмотреть, как они играют. Когда мы вошли, он обернулся и смерил нас безразличным взглядом, а затем снова обернулся к игрокам.

Один или два швейцарца посмотрели в нашу сторону, не выказав никакого интереса. Кости весело гремели, и со стороны игроков до нас доносились взрывы смеха и гортанные немецкие ругательства.

В дальнем конце комнаты, у портьеры, за которой скрывалась дверь, ведущая в комнату, где сидел за обедом Фарнезе, стоял церемониймейстер, одетый в черный бархат, с жезлом в руке; он обратил на нас не больше внимания, чем швейцарцы.

Мы не спеша подошли к столу игроков, якобы для того, чтобы получше видеть игру, и встали таким образом, что почти оттеснили их в амбразуру окна, в то время как сам Конфалоньери поместился спиной к их копьям, образовав надежный заслон между солдатами и их оружием.

Так мы стояли довольно продолжительное время. Игра продолжалась, мы смеялись вместе с победителями и раздражались проклятиями вместе с проигравшими, словно во всем свете у нас не было другого дела.

Внезапно внизу раздался пистолетный выстрел — он напугал швейцарцев, которые с удивлением посмотрели друг на друга. Один из них, здоровенный детина, которого товарищи называли Гюбли, остановился, держа в руках стаканчик для костей — он уже было приготовился бросить их на стол, чего ему так никогда и не пришлось сделать.

Внизу по двору бежали люди с обнаженными шпагами в руках, крича на ходу, они бросились к дверям, ведущим в те комнаты, где сидели за обедом швейцарцы. Это увидели через открытое окно игроки в кости и удивленно выругались, наблюдая столь странную сцену.

А затем послышался скрип лебедки и громыхание цепей, известившие нас о том, что мост поднимается.

— Beim Blute des Gottes! — выругался Гюбли. — Was giebt es?*

Наши невозмутимые лица, на которых не было и тени удивления, еще усилили их тревогу — она еще более возросла, когда они вдруг поняли, как плотно мы их окружили.

*

Клянусь кровью Господней! Что здесь происходит? (нем.).

— Продолжайте вашу игру, — спокойно сказал Конфалоньери, — так будет лучше для вас.

Гюбли, этот светловолосый великан, отшвырнул кости и яростно набросился на говорящего, который стоял между ним и копьями. В тот же момент Конфалоньери вонзил ему в грудь клинок, и он с криком повалился на стул; в его голубых глазах отражалось величайшее изумление, настолько неожиданным было нападение.

Галеотто уже не было среди тех, кто находился возле игального стола: мощным ударом он свалил с ног церемониймейстера, который пытался загородить дверь, ведущую в покои герцога. Он сорвал портьеру и закутал в нее упавшего на пол церемониймейстера, когда я поспешил к нему на помощь в сопровождении Конфалоньери, в то время как шестеро его солдат остались сторожить троих здоровых и одного раненого швейцарца.

В это время снизу, со двора, до нас донесся оглушительный шум: бряцание стали о сталь, крики, вопли, проклятья, которые заставили нас поторопиться.

Велев нам следовать за ним, Галеотто распахнул двери. За столом сидел Фарнезе, и с ним двое его приближенных: один из них был маркиз Сфорца-Фольяни, а другой — доктор канонического права по имени Копаллати.

На их лицах уже появилось выражение тревоги. При виде Галеотто Фарнезе воскликнул:

— А-а, ты все еще здесь! Что там происходит во дворе? Наверное, швейцарцы разодрались между собой.

Галеотто ничего ему не ответил, продолжая медленно двигаться по направлению к столу; а взор Фарнезе, тем временем скользя мимо Галеотто, остановился на мне, и я увидел, как глаза его внезапно широко раскрылись; а потом за моей спиной они наткнулись на стальной взгляд Конфалоньери, еще одного человека, с которого он снял последнюю рубашку и лишил всех владений и прав. Солнце, светившее в окно, сверкало на клинке, который он все еще держал в руке, его блеск привлек внимание герцога, и он, должно быть, заметил, что рукав барона запачкан в крови.

Пьерлуиджи поднялся, тяжело опираясь на стол.

— Что все это значит? — дрожащим голосом потребовал он ответа, в то время как лицо его сделалось серым от страха и дурного предчувствия.

— Это означает, — холодно и твердо ответил ему Галеотто, — что твоему владычеству в Пьяченце пришел

конец, что власти папы в этих провинциях больше не существует и что по ту сторону По стоит с армией Ферранте Гонзаго, чтобы занять эти земли именем Императора. И наконец, мессер герцог, это означает, что довольно ты испытывал терпение сатаны — он устал ждать и должен получить наконец того, кто так верно служил ему на земле.

Фарнезе издал какой-то булькающий звук, и его украшенная перстнями рука потянулась к горлу. Он был одет в зеленый бархат, и каждая пуговица на его камзоле представляла собой драгоценный бриллиант; яркие краски и роскошь его одеяния подчеркивали своим несоответствием трагичность момента.

Что же касается его приближенных, то почтенный доктор замер от страха и сидел в своем кресле, сжимая ручки его с такой силой, что костяшки его пальцев побелели и сделались похожими на мрамор. В том же состоянии находились и два лакея, стоявшие возле буфета. Но Сфорца-Фольяни, несмотря на свой изнеженный, женоподобный вид, обладал известной храбростью — он вскочил на ноги и потянулся рукой к своей шпаге.

В ту же секунду в руках Конфалоньери сверкнула шпага. Кинжал он успел переложить в другую руку.

— Если вам дорога жизнь, маркиз, не вмешивайтесь в это дело, — предупредил он его громовым голосом.

Грозный вид барона и блеск обнаженной стали умилили пыл Сфорца-Фольяни, заставив его в страхе замереть на месте.

Я тоже обнажил свой кинжал, твердо решив, что Фарнезе должен пасть от моей руки, — таким образом намеревался я свести старые счеты, которые между нами существовали. Он заметил мое движение, и оно, если это только возможно, еще усилило его страх, ибо он знал, что зло, которое он мне причинил, — дело чисто личное и что я, конечно, никогда его не прощу.

— Прошу пощады! — выдохнул он, протягивая в мольбе руки к Галеотто.

— Пощады? — отозвался я с ужасным смехом. — А какой пощады мог ожидать от тебя я — я, которого ты отдал в руки Святой Инквизиции, с тем чтобы продать после этого мою жизнь, взяв за нее цену, в которой не было места пощаде и милосердию? Могла ли ожидать от тебя пощады несчастная дочь Кавальканти, когда она находилась во власти твоих гнусных помыслов? А ее отец, погибший от твоей руки? Может быть, его ты

пощадил? Не молила ли о пощаде несчастная Джулиана, которую ты задушил в ее собственной постели? Кого из них ты пощадил, ты, который теперь молишь о пощаде?

Он смотрел на меня безумными глазами, а потом перевел взгляд на Галеотто. Все тело его сотрясала дрожь, а лицо так побледнело, что казалось зеленоватым. От страха его не держали ноги, и он бессильно упал в кресло, с которого только что поднялся.

— По крайней мере... по крайней мере... — задыхаясь проговорил он, — приведите мне священника, чтобы я мог исповедаться. Не дайте мне умереть отягощенным всеми грехами, которые я совершил.

В этот момент со стороны передней слышались быстро приближающиеся шаги и лязг металла, сопровождающийся громкими криками. При этих звуках он несколько приободрился. Он решил, что кто-то спешит к нему на выручку.

— Ко мне! Сюда! На помощь! — закричал, вернее, завизжал он — это был настоящий вопль отчаяния.

Этот крик заставил меня броситься вперед, к нему, но тут я почувствовал, что меня останавливает рука Галеотто. Он выбросил ее вперед, и я наткнулся на нее грудью, словно на железную преграду. Я на секунду потерял равновесие, но даже не успел прийти в себя, как он снова меня отстранил.

— Назад! — вскричал Галеотто громовым голосом. — Это мое дело. Мне он причинил еще горшее зло, и оно имеет большую давность.

С этими словами он подошел к герцогу и встал позади его кресла, тогда как Фарнезе в новом приступе страха поднялся на ноги. Галеотто захватил рукой шею герцога и откинул назад его голову. На ухо ему Галеотто прошептал несколько слов, которых я не мог расслышать, но которые оказали неожиданное действие на Пьерлуиджи: сопротивление его было сломлено окончательно. Живыми остались только его глаза, он вращал ими, пытаясь заглянуть в лицо человеку, который с ним разговаривал. И в этот момент Галеотто запрокинул голову своей жертвы еще круче, так что полностью обнажилась длинная темная шея, по которой он быстро полоснул своим кинжалом.

Копаллати завизжал и закрыл лицо руками; Сфорца-Фольяни, белый как мел, смотрел на происходящее как человек, находящийся в трансе.

Фарнезе вскрикнул, в горле у него заклокотало, и

оттуда фонтаном брызнула кровь. Галеотто отпустил его. Герцог опустился в кресло, и голова его упала на стол лицом вниз, заливая скатерть кровью. Потом он встал, сделал несколько шагов, двигаясь боком, и рухнул на пол, где и остался лежать бесформенной грудой — руки и ноги его еще дергались, голова откинулась назад, глаза остекленели... и кровь, кровь — все кругом было залито кровью.

Глава тринадцатая

ПЕРЕВОРОТ

От этого зрелища мне чуть не стало дурно — к горлу подступила тошнота. Я огляделся и выскочил из комнаты в переднюю, где было в полном разгаре сражение. Трое или четверо приближенных герцога вместе с несколькими швейцарцами пытались спастись от внезапного нападения. Они вынудили шестерых солдат Галеотто обнажить оружие и защищаться, и перевес внезапно оказался на их стороне. Я выхватил шпагу и бросился в самую гущу схватки — рубил и колот с бешеной силой, наносил удары и получал их, испытывая радость в пылу борьбы, хватаясь за любое дело, которое помогало мне стереть из памяти ужасную сцену, коей свидетелем я только что был.

Тут на помощь подоспел Конфалоньери, оставив Галеотто на страже, и через несколько минут нам удалось окончательно сломить сопротивление.

Мы не потеряли ни одного человека — несколько царапин и ушибов не в счет, тогда как из сторонников герцога, пытавшихся защитить его в передней, в живых не осталось ни одного человека. В комнате царил полнейший разгром. Портьеры и гобелены, за которые цеплялись люди, стараясь не упасть, были сорваны со стен; огромное зеркало треснуло сверху до самого низа; столы были сломаны и опрокинуты, стулья превратились в щепы; в окнах не осталось ни одного целого стекла. И всюду была кровь, валялись мертвые тела.

К нам наверх поднимались соединенные отряды под командой Ланди и Паллавичини. Внизу все было спокойно. Отряд швейцарцев, застигнутый врасплох за обедом, — как и было задумано — был разоружен, находился под надежной охраной и не мог причинить повстанцам

никакого вреда. Стража у ворот была вся перебита, так что замок полностью находился в наших руках.

Сфорца-Фольяни, Копаллати и обоих лакеев вывели из покоев герцога и препроводили в другую комнату, где и заперли вплоть до окончания дела, ибо все еще только начиналось.

В городе, на башне дворца Совета, зазвонил набатный колокол, и я видел, как при этих звуках глаза Галеотто засверкали. Он взял на себя командование, чему все охотно подчинились, и солдаты быстро направились к крепостной пушке, с приказом повернуть ее дуло в сторону площади перед замком, чтобы можно было отразить атаку, буде она последует. Было сделано три залпа, должествующие предупредить Ферранте Гонзаго, ожидавшего в условленном месте, что замок находится в руках заговорщиков, а Пьерлуиджи убит.

Тем временем мы с Галеотто вернулись в комнату, где умер герцог и где лежало его тело все той же бесформенной грудой. Окна этой комнаты находились на внешней стене крепости, непосредственно над воротами, из них отлично видна была вся площадь. Нас было шестеро: Конфалоньери, Ланди, братья Паллавичини, Галеотто и я, а кроме того, еще незаметный человек по имени Малавичини, который в свое время служил у герцога в качестве офицера в легкой кавалерии, но теперь изменил ему и находился на нашей стороне.

Вся площадь к этому времени была заполнена возбужденной бурлящей толпой, через которую пыталась пробиться небольшая армия — примерно около тысячи солдат — городской милиции со своим капитаном Терни. Они громко выкрикивали «Duca!» и уверяли собравшихся горожан, что крепость захвачена испанцами, подразумевая под этим императорские войска.

Галеотто подтащил к окну стул, и, взгромоздившись на него, показался толпе.

— Разойдитесь! — крикнул он им. — Идите по домам. Герцог мертв.

Однако голос его нельзя было расслышать в шуме и гомоне толпы, над которой то и дело взлетали крики «Duca!», «Duca!».

— Пусть-ка посмотрят на своего любезного «Duca!» — вдруг выкрикнул кто-то. Это был голос Малавичини.

Он сорвал шнур, с помощью которого задерживались портьеры, и один его конец обвязал вокруг ноги мертвого герцога. С помощью этого шнура он подтащил тело к

окну. Другой его конец он крепко привязал к стержню в середине оконной рамы. Затем подхватил тело на руки — Галеотто отступил в сторону, давая ему пройти, — и, шатаясь под тяжестью своей жуткой ноши, Малавичини подошел к окну и перекинул тело через подоконник.

Оно полетело вниз, потом подпрыгнуло, удержанное веревкой, и наконец повисло головой вниз, ярко выделяясь на фоне коричневой стены — бриллиантовые пуговицы и зеленый бархат камзола ярко сверкали в солнечных лучах.

При виде мертвого герцога в толпе воцарилось мертвое молчание, и, воспользовавшись этим, Галеотто снова обратился к пьячентинцам.

— Идите все по домам, — кричал он им, — и вооружайтесь, дабы вы могли защитить свою землю от врага, если возникнет такая необходимость. Вот перед вами висит герцог. Он мертв. Он был убит во имя того, чтобы освободить нашу землю от захватчика.

И все-таки они, по-видимому, его не слышали. Нам казалось, что толпа молчит, но там все время происходило какое-то движение, какие-то шорохи, которые мешали людям слышать то, что им говорят.

Снова послышались крики: «Duca!», «Испанцы!», «К оружию!»

— К дьяволу ваших «испанцев»! — вскричал Малавичини. — Вот! Забирайте себе своего герцога. Любуйтесь на него! Может быть, тогда что-нибудь и поймете. — И он полоснул кинжалом по веревке, так что тело упало вниз, в ров, окружавший замок.

Несколько храбрецов подбежали ко рву и спустились вниз, чтобы рассмотреть как следует тело, и их сообщение, подтверждающее справедливость объявленного ранее, прокатилось по толпе, словно рябь по воде, и в мгновение ока на всей площади — там, по-видимому, собралось все население Пьяченцы — не было ни одного человека, который не знал бы, что Пьерлуиджи больше нет в живых.

Все внезапно смолкло. Никто уже больше не кричал «Duca!». Все стояло молча, и не было сомнения в том, что в груди у многих из стоящих на площади родился вздох облегчения. Даже отряды милиции замерли на месте, прекратив попытки продвинуться вперед. Если герцог мертв, им нечего больше делать.

Галеотто снова обратился к толпе, и на этот раз его слова слышали те, кто находился во рву прямо под

нами, и передали их остальным, так что там и тут слышались торжествующие выкрики, которые слились в один крик — победный клич радости и облегчения. Если Фарнезе мертв — окончательно и бесповоротно — они могут наконец выразить то, что так долго лежало у них на сердце.

В этот момент в дальнем конце площади в лучах солнца засверкала сталь доспехов; отряд закованных в латы всадников стал медленно продвигаться к крепости, осторожно, но решительно раздвигая толпу. Они ехали колонной по три, и было их шесть раз по двадцать, а на кончиках их копий развивались вымпелы — черная полоса на серебряном поле. Это были вольные отряды Галеотто под командой одного из его лейтенантов. Они тоже располагались по ту сторону По, ожидая артиллерийского сигнала к выступлению.

Когда их узнали и когда в толпе поняли, что они направляются на помощь тем, кто находится в крепости, их приветствовали восторженными криками, которые тут же были подхвачены и милицией, ведь ее отряды состояли из самих пьяченцев в отличие от наемной швейцарской гвардии герцога.

Подъемный мост был опущен, и отряды, прогрохотав по доскам моста, построились во дворе перед Галеотто. Он еще раз отдал необходимые распоряжения своим сподвижникам, а потом приказал привести коней для себя и для меня, и разделить двадцать копий — небольшой отряд, который должен был нас сопровождать, после чего мы покинули крепость.

Мы медленно продвигались сквозь возбужденную, кричащую толпу, а когда достигли середины площади, Галеотто остановился, натянул поводья своей лошади и поднял руку, требуя молчания. Он еще раз известил народ о том, что герцог был убит сеньорами Пьяченцы, которые не только отомстили таким образом за обиды, причиненные им и всему народу, но и освободили всех от несправедливых притеснений и жестокой тирании.

Его слова были встречены приветственными криками, и народ теперь выкрикивал: «Пьяченца! Пьяченца!»

Когда крики снова стихли, он продолжал:

— Я хочу, чтобы вы помнили, — говорил он, — что Пьерлуиджи был сыном папы и что его святейшество поспешит отомстить за его смерть и восстановить здесь, в Пьяченце, владычество Фарнезе. И все, чего мы сегодня добились, может пойти прахом, если мы не примем свои меры.

Ответом ему было молчание.

— Но вам помогли люди, для которых интересы нашей провинции — кровное дело; и не думайте, что все ограничивается только убийством Пьерлуиджи. У нас обширные планы, и мы ожидаем лишь подтверждения вашей воли: мы хотим знать, желаете ли вы, чтобы Пьяченца снова, как прежде, стала нераздельной частью Милана, желаете ли вы отдаться под покровительство Императора, который назначит правителей из числа ваших же сеньоров и будет править вами мудро и справедливо, избавив вас от угнетения и непрерывных грабежей?

Ответом ему были громкие одобрительные крики. «Цезарь! Цезарь!»* — кричали они теперь, и в воздух полетели шапки.

— В таком случае вооружайтесь и возвращайтесь к зданию Совета и там сообщите о ваших намерениях старшинам и советникам и позаботьтесь о том, чтобы они как следует это поняли. Наместник Императора стоит у ваших ворот. Я направляюсь к нему, с тем чтобы сдать ему город от вашего имени, и, прежде чем настанет ночь, он будет уже здесь, для того чтобы защитить вас от нападения папских наемников.

С этими словами он тронулся с места, прокладывая себе путь в толпе, а народ двинулся за нами, горя желанием тут же, немедленно исполнить то, что советовал им Галеотто. К этому времени они уже знали его имя и выкрикивали его в знак одобрения. Эти крики вызвали улыбку на его лице, хотя глаза его при этом оставались печальными и задумчивыми.

Он наклонился ко мне и сжал мою руку, которая лежала на луке седла, держа поводья.

— Наконец-то Джованни д'Ангвиссола отомщен, — проговорил он глубоким грудным голосом, который заставил меня задрожать.

— Как бы я хотел, чтобы он был здесь и видел это, — отвечал я. И снова глаза Галеотто приняли задумчивое выражение, и он внимательно посмотрел на меня.

Наконец мы выбрались из города и, поднявшись на высокий холм по другую сторону реки, сразу же увидели боевые порядки пехоты, составляющие огромную армию. Это была императорская армия, которую привел Ферранте Гонзаго.

Галеотто указал рукой на стройные ряды.

* Имеется в виду император Священной Римской империи.

— Вот я и прибыл на место, — сказал он мне. — Я останусь здесь, а ты направляйся в Пальяно, и пусть тебя сопровождают эти солдаты. Они тебе могут понадобиться. Я надеялся, что Козимо будет там, в замке, вместе с Пьерлуиджи. Его отсутствие меня беспокоит. Поезжай немедленно. Я дам о себе знать не позже чем через три дня.

Мы обнялись, не слезая с седел, затем он повернул своего коня, спустился вниз по крутому склону и поскакал во весь опор навстречу армии Ферранте, в то время как мы продолжали свой путь и через два часа без всяких приключений добрались до Пальяно.

Я нашел Бьянку на галерее, окружающей внутренний двор замка, — она ожидала меня там, привлеченная топотом копыт наших лошадей.

— Милый мой Агостино, я так беспокоилась о тебе, — проговорила она вместо приветствия, когда я в несколько прыжков взбежал по ступенькам и взял ее за руку.

Я провел ее к мраморной скамье, на которой она сидела в тот день, два года тому назад, когда мы впервые заговорили о явившихся нам видениях. В кратких словах я рассказал ей о том, что произошло в Пьяченце.

Когда я закончил, она вздохнула и посмотрела на меня.

— Нет, нет, ты ошибаешься, мы станем ближе — ведь теперь будет издан императорский указ, который вернет мне владения Мондольфо и Кармину, отобрав их у узурпатора. И тогда я смогу прийти к моей Бьянке не с пустыми руками.

— Глупый, — сказала он. — Какое значение имеют все эти владения, которые ты можешь мне предложить? Разве этого мы ждем, Агостино? Разве не будет тебе принадлежать Пальяно? Или тебе недостаточно быть господином этих владений?

— Самая убогая хижина в какой-нибудь деревне была бы для меня достаточным владением, если бы я мог разделить ее с тобой, — пылко ответил я, как великое множество влюбленных делали это до и после меня.

— Значит, ты понимаешь, насколько это неразумно — придавать значение такому незначительному обстоятельству, как императорский указ, когда дело касается нас с тобой. Разве императорский указ может аннулировать мой брак?

— Для этого будет достаточно папской буллы.

— А как ты рассчитываешь получить ту папскую буллу?

— Да, нам это не по силам, — грустно признал я.

— У меня были грешные мысли, — сказала она, опустив голову и слегка зардевшись. — Я молилась о том, чтобы узурпатора лишили тех прав, которые он имеет на меня. Я молилась о том, чтобы, когда поднимется восстание и повстанцы нападут на цитадель Пьяченцы, Козимо д'Ангвиссола занимал свой обычный пост, стоял бы возле своего господина-герцога, и чтобы он пал вместе с ним. Разве не требует этого простая справедливость? — воскликнула она. — Божья справедливость, так же как и людская. То, что он женился на мне, — это осквернение одного из самых священных таинств, и за это он должен понести наказание, за это он должен погибнуть.

Я опустил перед ней на колени.

— О, любовь моя! — уговаривал я ее. — Подумай только, я могу быть с тобой, видеть тебя каждый день. Не дай мне оказаться неблагодарным за это счастье!

Она обхватила ладонями мое лицо и смотрела мне в глаза, не говоря ни слова. Потом нагнулась и очень нежно и осторожно коснулась губами моего лба.

— Да сжалится над нами Господь, мой Агостино, — прошептала она — в глазах ее блеснули непролитые слезы.

— Это я виноват — только я один! — каялся я. — Мы оба расплачиваемся за мои грехи. Если я когда-нибудь назову тебя своей — если этот благословенный день когда-нибудь наступит, — я буду знать, что я получил прощение, грех мой смыт, и я наконец достоин тебя.

Она поднялась со скамьи, и я проводил Бьянку в ее покои, а затем направился к себе, чтобы умыться, переодеться и отдохнуть с дороги.

Глава четырнадцатая

ОСАДА ПАЛЬЯНО

На следующее утро мы сидели за завтраком, когда Фальконе прислал ко мне одного из пажей с сообщением, что с юга на нас движется целая небольшая армия.

Я поднялся с места, испытывая некоторое беспокойство. В то же время я подумал, что, возможно, известие о восстании в Пьяченце достигло Пармы и это папские

войска, направляющиеся к мятежному городу. Но что в таком случае они делают здесь, по эту сторону По?

Примерно час спустя с крепостной стены, по которой мы — Бьянка и я — в волнении ходили взад-вперед, глядя на приближающееся войско, мы смогли приблизительно подсчитать количество копий: их было около сотни. Скоро стал виден и девиз на вымпелах — голова вепря, голубая на серебряном поле — мой собственный девиз, девиз Ангвиссола из Мондольфо. И в ту же минуту я понял, что это были солдаты Козимо.

Под руководством Фальконе — он все еще находился у нас, в Пальяно, — на нижний парпет были выкачены шесть кулеврин*.

Несколько солдат, которых я назначил быть пушкарями, зарядили их и стояли наготове.

Подготовившись таким образом, мы стояли и ждали. Тем временем маленькая армия приблизилась к замку на расстояние около четверти мили и остановилась. Вперед выехал герольд — глашатай с белым флагом, а за ним — рыцарь, вооруженный с головы до ног, с опущенным забралом. Герольд поднял рог и протрубил вызов. Со стороны крепости прозвучал ответ, после чего герольд возвестил:

— Именем нашего Святого Отца и владыки, мы вызываем Агостино д'Ангвиссола на переговоры с великим и могущественным Козимо д'Ангвиссола, властителем Мондольфо и Кармины.

Три минуты спустя, к их величайшему изумлению, подъемный мост заскрипел и опустился и я перешел по нему через ров. Рядом со мною шла Бьянка.

— Не угодно ли будет господину Козимо подойти и передать нам свое послание? — спросил я.

Господин Козимо не пожелал, опасаясь ловушки.

— Не угодно ли ему встретиться со мною здесь, на мосту, сняв с себя предварительно всякое оружие? Сам я безоружен.

Герольд передал мое сообщение Козимо, который все еще колебался. Надо сказать, что, когда опускали мост, он резко поворотил своего коня, готовый пуститься наутек при первых признаках вылазки.

Я рассмеялся.

* Длинноствольное артиллерийское орудие, применявшееся для стрельбы на дальние расстояния. Кулеврины различались по длине ствола и калибру ядер (от 200 г до 20 кг).

— Ты жалкий трус, Козимо, ничего другого и не скажешь, — крикнул ему я. — Неужели ты не понимаешь, что, если бы я хотел тебя захватить, мне не к чему было бы прибегать к разным уловкам. У меня, — добавил я, несколько преувеличив, — вдвое против тебя людей, вооруженных и готовых к бою, мост опущен, они в одну минуту могли бы оказаться по ту сторону рва и захватить тебя на глазах твоих людей. Ты поступил неосмотрительно, осмелившись подойти так близко. Но если ты боишься подойти еще ближе, пошли, по крайней мере, своего герольда.

При этих словах он соскочил с коня, передал свою шпагу и кинжал единственному своему сопровождающему, принял от него пергамент и направился в нашу сторону, подняв забрало. Мы встретились на середине моста. Его губы кривила презрительная улыбка.

— Приветствую тебя, мой заблудший святой, — сказал он. — Вижу, что ты, по крайней мере, верен себе: во всех своих блужданиях берешь себе в спутницы жену ближнего своего, чтобы не скучно было.

Меня бросило сначала в жар, а потом в холод. Я то краснел, то покрывался бледностью. Мне пришлось употребить все свои силы, чтобы сдержаться и не ответить на эти насмешки, которые он бросил мне в лицо в присутствии Бьянки.

— Какое у тебя ко мне дело? — в ярости обратился я к нему.

Он протянул мне пергамент, все время глядя прямо на меня, так что его взгляд ни разу не обратился в сторону Бьянки.

— Прочтите, ваша шарлатанская святость, — предложил он мне.

Я взял документ, но, прежде чем начать читать, предупредил:

— Если ты замыслил хоть малейшее предательство, — сказал я Козимо, — ты за это заплатишь. У лебедек сидят мои люди, и им отдано распоряжение поднять мост при первом же подозрительном движении с твоей стороны. Посмотрим, успеешь ли ты добежать до конца, чтобы спасти свою шкуру.

Теперь настала его очередь измениться в лице. Даже под шлемом было видно, как он побледнел.

— Ты что, устроил мне ловушку? — прошипел он сквозь зубы.

— Если бы в тебе было что-нибудь от Ангвиссола,

кроме имени, ты бы знал, что я на это не способен. Однако мне известно, что в тебе нет ни чести, ни совести, присущих нашему роду; я знаю, что ты негодай, мерзавец и трусливый пес, который норовит куснуть исподтишка, и только поэтому я принял необходимые меры предосторожности.

— Хороши твои понятия о чести, если ты оскорбляешь человека, лишенного возможности — все равно что связанного по рукам и по ногам — нанести тебе удар, которого ты заслуживаешь.

Я улыбнулся, глядя прямо в это бледное, искаженное от бешенства лицо.

— Брось свою перчатку на мост, Козимо, если ты считаешь себя оскорбленным, если думаешь, что я солгал, я с удовольствием подниму ее, и мы решим дело поединком, если ты пожелаешь.

На мгновение я подумал, что он поймает меня на слове, чего мне хотелось от всей души. Однако он воздержался от этого.

— Прочти, — снова сказал он мне, делая угрожающий жест.

Считая, что он в достаточной мере предупрежден, я спокойно начал читать.

Это было папское бреве*, в котором мне предлагалось под страхом отлучения от Церкви и смерти передать в распоряжение Козимо д'Ангвиссола его жену мадонну Бьянку и замок Пальяно, который я захватил предательским образом.

— Этот документ недостаточно точен, — сказал я. — Я не захватывал этот замок, тем более предательским образом. Это императорское ленное владение, и я держу его от имени Императора.

Он улыбнулся.

— Можешь настаивать на своем, если тебе надоела жизнь, — сказал он. — Если ты сейчас подчинишься, ты свободен и можешь отправляться на все четыре стороны. Если же будешь упорствовать в своем преступлении, расплата не замедлит тебя настичь, и она будет ужасна. Это владение принадлежит мне, и именно мне надлежит держать его от имени Императора, поскольку я являюсь властителем Пальяно в силу моего брака и смерти прежнего его господина.

* Краткое сообщение или распоряжение, содержащее в себе документ, привилегию и т. п.

— Однако ты можешь не сомневаться, что, если это брове будет предъявлено наместнику Императора в Милане, он немедленно двинет против тебя войска и вышибет тебя отсюда, утвердив меня в моих правах — по всем законам, божеским и человеческим. — Я протянул ему пергамент. — Для того чтобы найти наместника Императора, тебе нет необходимости ехать так далеко, он находится не в Милане, а в Пьяченце.

Он смотрел на меня так, словно не понимал значения моих слов.

— Как это так? — спросил он.

Я ему объяснил:

— Пока ты зря терял время в Ватикане, добиваясь того, чтобы были узаконены твои подлые деяния, в мире кое-что изменилось. Вчера Ферранте Гонзаго именем Императора захватил Пьяченцу. Сегодня Совет Пьяченцы должен принести клятву верности цезарю* через его наместника.

Он долго смотрел на меня широко раскрытыми глазами, лишившись дара речи от крайнего изумления.

— А герцог? — с трудом выговорил он, проглатывая слюну.

— Вот уже двадцать четыре часа, как герцог находится в аду.

— Он умер? — спросил Козимо еле слышно.

— Умер, — ответил я.

Он облокотился о перила моста. Руки его бессильно повисли, в одной он машинально крошил и мял папский пергамент. Однако через некоторое время он слегка приободрился. Он обдумал ситуацию и решил, что его положение не так уж сильно ухудшилось.

— И тем не менее, — настаивал на своем Козимо, — на что ты можешь надеяться? Даже Император должен склонить голову перед этим, — он похлопал рукой по пергаменту. — Я требую, чтобы мне вернули мою жену, и мое требование подтверждается прямым указанием папы. Неужели ты так безумен, думая, что Карл Пятый откажется его подтвердить?

— Возможно, что у Карла Пятого сложился несколько иной взгляд на твою женитьбу, чем тот, который, по всей видимости, имеется на этот предмет у его святейшества. Ведь Император судил на основании некоего

* Цезарь — обычное для европейских монархий обозначение титула государя.

меморандума, в котором изложены все обстоятельства этого дела. Я советую тебе безотлагательно явиться в Пьяченцу, к наместнику Императора. Здесь ты только попусту теряешь время.

Он сложил губы, слегка причмокнув. Наконец взгляд его, скользнув, остановился на Бьянке, которая стояла возле меня, несколько отступив назад.

— Позволь мне обратиться к тебе, монна Бьянка... — начал он.

Но я мгновенно встал между ними.

— Неужели ты совсем уж лишился стыда? — зарычал я. — Настолько, что осмеливаешься обратиться к ней, ты мерзкий сводник, шакал, пожиратель праха? Убирайся вон, а не то я велю поднять мост и разделаюсь здесь с тобой самолично, наплевав на папу, Императора и всех прочих, которых ты вздумал позвать на помощь. Убирайся отсюда, и немедленно!

— Ты мне за это заплатишь! — прорычал он. — Клянись Богом, ты за это заплатишь!

С этими словами он удалился, опасаясь, что я приведу в исполнение свою угрозу.

Однако Бьянка дрожала от страха.

— Он не зря тебе угрожает, он сделает все, чтобы настоять на своем! — воскликнула она, как только мы снова оказались во дворе замка. — Император не сможет отрицать, что его требования справедливы. Не может! Не может! О, Агостино, это конец. Подумать только, в какое ужасное положение я тебя поставила.

Я утешал ее. Говорил ей мужественные слова. Клялся защищать замок до последнего — пусть камня на камне от него не останется, я все равно не сдам его неприятелю! Однако на душе у меня было скверно, меня терзали дурные предчувствия.

Следующий день, который пришелся на воскресенье, мы провели в мире и покое. Удар обрушился на нас в понедельник, в полдень. В Пальяно явился герольд Императора в сопровождении небольшого эскорта.

Мы находились в саду, когда слуга принес нам это известие, и я отдал распоряжение, чтобы герольда впустили в замок и привели ко мне.

Я взглянул на Бьянку и увидел, что она смертельно бледнела и вся дрожит.

Мы не сказали друг другу ни слова, пока дожидались

* Герольд — здесь: глашатай; гонец с особым поручением.

гонца — им оказался расторопный человек в черном с желтым — цвета австрийского дома*. Он вручил мне запечатанный конверт. В нем находилось письмо от Ферранте Гонзаго, в котором мне предписывалось явиться на следующий день в Муниципальный дворец в Пьяченце, с тем чтобы предстать перед судом по обвинению, предъявленному мне Козимо д'Ангвиссола.

В полном замешательстве я смотрел на герольда, не зная, что мне делать. Он протянул мне еще один конверт и сказал:

— Меня попросили, мессер, чтобы я, в виде одолжения, передал вам вот это.

Я взял конверт и стал рассматривать, что на нем написано: *«Высокочитимому и благородному Агостино д'Ангвиссола, в Пальяно. Спешно»*.

Это была рука Галеотто. Я вскрыл конверт. Все письмо состояло из двух строчек:

«Ради святого, не вздумай не подчиниться императорскому приказу. Незамедлительно пошли ко мне Фальконе. Галеотто».

— Хорошо, — сказал я герольду. — Я не замедлю явиться.

Я приказал сенешалю, который стоял возле меня, ожидая распоряжений, чтобы гонца перед отъездом накормили, и отпустил их обоих.

Когда мы остались одни, я обернулся к Бьянке.

— Галеотто велит мне подчиниться, — сказал я. — У нас есть еще надежда.

Она взяла письмо и, проведя рукой по глазам, словно для того, чтобы рассеять туман, мешающий ей видеть, прочла его. Потом она задумалась над этим приказанием, смысла которого не могла понять, и наконец подняла на меня глаза.

— Теперь все кончится, — сказал я. — Так или иначе теперь все кончится. Если бы не письмо Галеотто, я, наверное, отказался бы подчиниться и стал бы настоящим изгнанником, парией, человеком вне закона. А теперь у меня появилась какая-то надежда.

— О, конечно, Агостино! Конечно! — воскликнула она. — Неужели мы еще недостаточно страдали? Неужели не заплатили полной мерой за то счастье, которое

* Карл Пятый был сыном австрийского эрцгерцога Филиппа Красивого и внуком императора Максимилиана Габсбурга.

принадлежит нам по праву? Завтра я поеду с тобой в Пьяченцу.

— Нет, нет! — уговаривал я ее.

— Разве я могу оставаться здесь? — молила она. — Разве могу сидеть дома и ждать? Неужели у тебя хватит жестокости обречь меня на такие мучения, на неопределенности?

— Но если... случится худшее?

— Этого не может быть. Я верю в Господа Бога.

Глава пятнадцатая

ВОЛЯ НЕБА

В зале правосудия Муниципального дворца собрались в этот день не чиновники-заседатели руоты, но советники, облаченные в алые мантии — Совет Десяти города Пьяченцы. А председательствовал над ними не приор руоты, а сам Ферранте Гонзаго в пурпурной судейской тоге, отороченной горностаем.

Они сидели за длинным столом, поставленным в конце зала и покрытым красной скатертью; Гонзаго — чуть повыше всех остальных, на небольшом возвышении под балдахином. Позади него висел золотой щит, на котором были изображены две колонны, увенчанные коронами, а между ними — черный двуглавый австрийский орел; на свитке, обвивающем колонны, был написан девиз: PLUS ULTRA*.

В другом конце зала стояли любопытные, пришедшие сюда, чтобы поглазеть на интересное зрелище, от судей их отделяла, не давая заполнить весь зал, стальная шеренга испанских алебардчиков. Впрочем, в этом не было необходимости, поскольку желающих присутствовать на суде было не так уж много — у жителей Пьяченцы были более важные дела, и они не особенно жаждали смотреть, как будут судить похитителя чужих жен.

Я приехал в Пьяченцу в сопровождении двадцати копейщиков и, оставив их на площади, прошел во дворец и отдался в распоряжение офицера, который меня встретил. Офицер тут же проводил меня в зал правосудия, а два солдата очистили для меня проход сквозь толпу, раздвигая людей своими копьями, так что я очутился в

* Превыше всего (лат.).

свободном пространстве перед моими судьями и приветствовал Гонзаго низким почтительным поклоном.

Он ответил на мое приветствие весьма холодно, обратив в мою сторону цветущую физиономию и смерив меня взглядом хитрых, навывкате глаз.

Слева от меня, но значительно дальше, на одном уровне с судейским столом и справа от него, находились фра Джервазио, который приветствовал меня печальной улыбкой, и Фальконе, сидевший рядом с ним в напряженной позе.

Напротив них, по другую сторону судейского стола, стоял Козимо. Он был красен как рак, и глаза его сверкали, когда он смотрел на меня с высокомерным торжеством. Потом он перевел взгляд на Бьянку, которая вошла вслед за мной в сопровождении своих дам, бледная, но мужественная и спокойная; бледность ее лица еще более подчеркивало черное траурное платье, она все еще носила траур по отцу, и, кто знает, быть может, вскоре это платье станет знаком траура и по мне. Я больше уже не смотрел на нее, а она прошла дальше, в тот конец зала, где сидел Галеотто, который встал, приветствуя ее, и проводил ее к креслу, стоявшему возле его собственного, так что Фальконе пришлось пересечь на соседнее. Ее дамы разместились позади нее.

Судебный пристав принес мне стул, и я тоже сел, прямо напротив наместника Императора. После этого другой пристав громким голосом предложил Козимо выйти вперед и изложить свою жалобу.

Он сделал два-три шага, но тут Гонзаго поднял руку, предлагая ему остановиться и стоять, так чтобы все могли его видеть, когда он будет говорить.

После этого Козимо сразу же начал свою речь, излагая свои обвинения. Говорил он быстро, гладко и понятно, так, словно заранее выучил все это наизусть. Он сообщил, что женился на Бьянке де Кавальканти с согласия ее отца, в замке Пальяно, принадлежащем последнему; рассказал о том, как в ту же самую ночь в его дворец в Пьяченце силой ворвался я с моими сообщниками, как мы увезли из дворца его молодую жену, а дворец разрушили и сожгли до основания; что с того самого дня я держу ее взаперти в Пальяно, не отдавая законному мужу, добавив, что Пальяно принадлежит ему, является его владением, согласно брачному контракту, тогда как я незаконно удерживаю это владение в своих руках, нанося ему таким образом ущерб и поношение.

В заключение он напомнил суду, что он послал жалобу папе и что его святейшество прислал брeve, повелевающее мне, под страхом отлучения и смерти, отказаться от своих притязаний; что я пренебрег распоряжением самого папы и только после его жалобы цезарю, в результате которой был получен императорский мандат, я соизволил подчиниться. В связи со всем вышеизложенным он просит суд поддержать авторитет власти Святого Отца, незамедлительно объявить о моем отлучении от Церкви и о конфискации моих владений; возвратить ему его жену Бьянку и его собственность, Пальяно, которым он обязуется владеть как верный вассал и слуга Императора.

Проговорив все это, он поклонился суду, отступил назад и снова сел в свое кресло.

Все десять советников посмотрели на Гонзаго. Гонзаго посмотрел на меня.

— Что ты можешь сказать по этому поводу? — спросил он.

Я поднялся со своего места, исполненный спокойствия, что немало удивило даже меня самого.

— Мессер Козимо упустил в своем рассказе кое-какие подробности, — сказал я. — Когда он говорил о том, что я насильно ворвался в его дворец, находящийся здесь, в Пьяченце, в ночь его бракосочетания и увез оттуда синьору Бьянку с помощью моих сообщников, неплохо было бы, в интересах правосудия, назвать имена этих моих сообщников.

Козимо снова встал с кресла.

— Разве имеет какое-нибудь значение для суда и для обсуждаемого дела, каких негодяев он нанял себе в помощь? — высокомерно спросил он.

— Никакого, если бы это действительно были негодяи, — отозвался я. — Но все обстояло совершенно иначе. По сути говоря, было бы не совсем верно утверждать, что во дворец ворвался я. Во главе всего этого дела находился отец монны Бьянки. Узнав правду о гнусных замыслах, в которых участвовал мессер Козимо, он поспешил на помощь своей дочери, дабы спасти ее от бесчестья.

Козимо пожал плечами.

— Это только слова, и больше ничего, — заявил он.

— Здесь присутствует сама синьора Бьянка, она может засвидетельствовать суду справедливость моих слов, — воскликнул я.

— Она заинтересованное лицо и не может быть бес-

пристрастным свидетелем, — нагло заявил Козимо; при этом Гонзаго одобрительно кивнул, отчего у меня упало сердце.

— Пусть мессер Агостино назовет имена храбрецов, которые находились во дворце вместе с ним, — потребовал Козимо. — Это, несомненно, поможет правосудию, поскольку эти люди должны стоять сейчас рядом с ним.

Он предупредил меня как нельзя более вовремя. Я был уже готов назвать Фальконе и вдруг сообразил, что тем самым погублю его без всякой пользы для своего дела.

Я посмотрел на своего кузена.

— В таком случае, — сказал я, — я не намерен их называть.

Между тем Фальконе собирался сделать это самолично, ибо он издал какой-то неопределенный звук и стал подниматься со своего места. Однако Галеотто, протянув руку через Бьянку, заставил его снова сесть в кресло.

Козимо увидел все это и улыбнулся. Теперь он был окончательно уверен в себе.

— Единственный свидетель, чье слово может иметь какую-нибудь цену, был бы покойный властитель Пальяно, — заявил он. — И обвиняемый проявляет скорее хитрость, чем честность, призывая в свидетели человека, который давно уже умер. Вашему сиятельству, конечно, понятно все значение этого обстоятельства.

Его сиятельство снова кивнул. Неужели я окончательно запутался? Я больше не мог сохранять спокойствие.

— Не сообщит ли мессер Козимо вашему сиятельству, при каких обстоятельствах скончался властитель Пальяно? — воскликнул я.

— Тебе это лучше знать, именно ты должен сообщить суду о том, каким образом он умер, — быстро парировал Козимо, — поскольку он умер в Пальяно, сразу после того, как ты привез туда его дочь. На сей счет у нас имеются доказательства.

Гонзаго пристально посмотрел на него.

— Вы даете нам понять, синьор, что Агостино д'Ангвиссола повинен еще в одном преступлении и должен понести за него наказание? — осведомился он.

Козимо пожал плечами и поджал губы.

— Я бы не стал заходить так далеко, поскольку обстоятельства смерти Этторе Кавальканти непосредственно меня не касаются. Кроме того, материала для обвинения и без того достаточно.

Намек тем не менее был ужасен и не мог не оказать своего действия на умы советников. Я был в полном отчаянии, поскольку с каждым вопросом волны моей гибели поднимались все выше и выше и уже плескались у самого горла. Я чувствовал, что гибну безвозвратно. Своих свидетелей я призвать на помощь не мог, их все равно что не было.

И все-таки в моем колчане была еще одна, последняя, стрела — вопрос, который, как мне казалось, должен был сразить его наповал, лишить всякой уверенности.

— Не можешь ли ты сообщить его сиятельству, где ты находился в ночь своей свадьбы? — хрипло выкрикнул я, чувствуя, как кровь стучит в висках.

Величественным движением Козимо повернулся и посмотрел в сторону судей; он пожал плечами и покачал головой, всем своим видом выражая жалость и сочувствие ко мне.

— Я предоставляю вашему сиятельству самому решить, где должен находиться человек в ночь своей свадьбы, — сказал он с невыразимой наглостью, и в толпе позади меня раздались понимающие смешки. — Позвольте мне снова просить ваше сиятельство и господ советников вершить суд и прекратить эту глупую комедию.

Гонзаго серьезно кивнул, как бы полностью соглашаясь с предложением, в то время как его пухлая рука, украшенная драгоценными камнями, задумчиво поглаживала необъятный подбородок.

— Я согласен, пора заняться делом, — сказал он, после чего Козимо, с явным вздохом облегчения, приготовился вернуться на свое место, но я предупредил его, выкрикнув последнее, что мне оставалось сказать.

— Мессер, — обратился я к Гонзаго, — истинная правда о событиях той ночи изложена в меморандуме, который существует в двух экземплярах. Один из них предназначен для папы, а другой — для вашего сиятельства в качестве наместника Императора. Позвольте мне изложить его содержание, с тем чтобы мессеру Козимо в связи с этим можно было задать несколько вопросов.

— В этом нет необходимости, — ответил Гонзаго ледяным тоном. — Меморандум находится здесь, передо мною. — И он постучал пальцем по документу, лежащему перед ним на столе. После этого он устремил взгляд своих выпученных глаз на Козимо. — Знакомо ли вам содержание этого документа? — спросил он.

Козимо поклонился, а Галеотто сдвинулся с места — в первый раз с начала судебного разбирательства.

До этого момента он все время сидел неподвижно, словно каменное изваяние, не считая того случая, когда он протянул руку, чтобы удержать Фальконе, и его поведение внушало мне невыразимый ужас. Но тут он подался вперед и повернул голову, так чтобы его ухо было обращено к Козимо, словно он боялся пропустить хоть слово из того, что тот скажет. Однако Козимо при всем том, что был все время настороже, не заметил этого движения.

— Я видел его собрата в Ватикане, — сказал мой кузен, — и, поскольку его святейшество папа, по своей доброте и мудрости, почел этот документ не имеющим никакой цены, принимая во внимание личность того, чья подпись под ним стоит, его святейшество счел нужным издать бреве, в соответствии с которым ваше сиятельство действует в данную минуту, призвав Агостино д'Ангвиссола предстать пред настоящим судом. Таким образом, этот меморандум рассматривается как лживый, обманный документ.

— И тем не менее, — задумчиво проговорил Гонзаго, ухватив пальцами свою толстую губу, — среди других подписей там имеется еще и подпись духовника властителя Пальяно.

— Этот монах, исполнявший должность духовника, не имел права свидетельствовать, ибо он таким образом нарушил тайну исповеди, — последовал ответ. — И Святой Отец не может дать ему на это разрешения. Таким образом, его подпись недействительна.

Последовало минутное молчание. Десять советников шепотом совещались между собой. Что же до Гонзаго, он ни разу не обратился к ним за советом, даже ни разу не посмотрел в их сторону. Вся эта процедура имела чисто декоративное значение, ни один из советников не имел никакого влияния на отправление правосудия, вершить которое единовластно губернатор считал себя в полном праве.

Наконец он заговорил:

— По всей видимости, здесь действительно нечего больше сказать, и курс, которого должен придерживаться суд, ясен и очевиден, поскольку Император не может противодействовать указу, исходящему от папского престола. Суду остается лишь вынести приговор, хотя...

Он сделал паузу и, сложив губы чуть ли не в

комическую гримасу, обратил взгляд своих хитрых глаз в сторону Галеотто.

— Мессер Козимо, — начал он, — объявил данный меморандум лживым и не имеющим никакой цены. Не можете ли вы, мессер Галеотто, поскольку вы являетесь автором этого документа, сказать что-либо суду по этому вопросу?

Кондотьер немедленно поднялся со своего места. Его крупное, обезображенное шрамом лицо хранило торжественное выражение, а глаза смотрели задумчиво. Он подошел почти к самой середине стола, так что теперь стоял почти точно напротив Гонзаго, однако смотрел не на него, а на Козимо, так что я видел его в профиль.

Козимо, по крайней мере, перестал улыбаться. Его красивое бледное лицо несколько утратило выражение высокомерной уверенности. Тут возникло нечто непредвиденное, чего он никак не ожидал и к чему соответственно не был подготовлен.

— Какое отношение имеет к этому мессер Галеотто? — резко спросил он.

— А это он, без всякого сомнения, сообщит вам сам, синьор, — ответил Гонзаго столь приятным и почтительным тоном, что Козимо, должно быть, несколько успокоился.

Я подался вперед, не смея дышать из страха пропустить хоть единое слово из того, что последует дальше. Кровь, которая до этого момента прилиwała к лицу, снова отхлынула; сердце молотом стучало в груди.

Когда заговорил Галеотто, голос его звучал спокойно и ровно:

— Не позволит ли мне ваше сиятельство взглянуть прежде всего на бревне, в соответствии с которым вы действовали, вызвав на суд обвиняемого.

Ни слова не говоря, Гонзаго передал пергамент в руки Галеотто. Кондотьер некоторое время внимательно рассматривал его, нахмутив брови. Затем резким движением смял его в кулаке.

— Этот документ недействителен, в нем есть ошибки, — объявил он.

— В каком это смысле? — спросил Козимо, который уже снова улыбался, вполне успокоенный и уверенный в том, что дело касается каких-то мелких юридических тонкостей.

— Ты здесь значишься как Козимо д'Ангвиссола,

властитель Мондольфо и Кармины. Ты не имеешь права на эти титулы.

Легкая краска появилась на щеках Козимо.

— Эти владения были пожалованы мне нашим покойным господином, герцогом Пьерлуиджи, — ответил он.

Теперь заговорил Гонзаго.

— Конфискации, осуществленные покойным узурпатором Фарнезе, и пожалования за счет этих конфискаций, отменены указом Императора. В соответствии с этим указом все земли, конфискованные таким образом, возвращаются прежним владельцам по принесении ими клятвы в вассальной верности цезарю.

Козимо продолжал улыбаться.

— Дело обстоит не совсем так. Речь идет не о конфискации, осуществленной герцогом Пьерлуиджи, — сказал он. — Конфискация земель и последующее введение меня во владение конфискованными владениями являются следствием измены и отступничества Агостино д'Ангвиссола — по крайней мере, в таких словах выражено мое введение в наследование в папской булле, которая была мне вручена, и в бреве, лежащем в данную минуту перед вашим сиятельством. Впрочем, в таких документах даже нет необходимости, поскольку, принимая во внимание то, что после мессера Агостино я являюсь следующим, кто наследует Мондольфо и Кармину, совершенно естественно, что я и вступаю во владение своим наследством, поскольку Агостино находится вне закона и вообще подлежит лишению жизни.

Вот теперь, подумал я, мне действительно конец. Однако на лице Галеотто нельзя было прочесть никаких признаков того, что он потерпел поражение.

— А где эта булла, о которой ты говоришь? — потребовал он, словно это он сам был судьей.

Козимо устремил свой высокомерный взор на Гонзаго, минуя Галеотто.

— Ваше сиятельство желает ее увидеть?

— Несомненно, — коротко ответил Гонзаго. — Я могу и усомниться в ее наличии, вашего слова мне недостаточно.

Козимо сунул руку за пазуху и достал из-под коричневого атласного колета* пергамент, развернул его и подошел, чтобы передать его Гонзаго, так что теперь он

* Колет — род армейской одежды: короткая суконная куртка, облегająca тело.

стоял совсем близко от Галеотто, не больше, чем на расстоянии вытянутой руки.

Губернатор внимательно рассмотрел документ. После этого он передал его Галеотто.

— По-видимому, здесь все в порядке, — сказал он.

Однако Галеотто тоже понадобилось некоторое время, чтобы как следует ознакомиться с документом. После этого, все еще держа пергамент в руке, он посмотрел на Козимо, и на его лице, до тех пор хранившем мрачное и угрюмое выражение, появилась улыбка.

— Этот документ столь же неверен, как и предыдущий, — заявил он. — Он не имеет никакой цены.

— Не имеет цены? — сказал Козимо с удивлением, которое граничило с презрительным негодованием. — Но разве я уже не объяснил?..

— Здесь говорится, — решительно перебил его Галеотто, — что владения Мондольфо и Кармина конфискованы у Агостино д'Ангвиссола. А я утверждаю перед лицом вашего сиятельства и господ советников, — добавил он, обернувшись в их сторону, — что эта конфискация смехотворна и абсолютно невозможна, поскольку владения Мондольфо и Кармина никогда не являлись собственностью Агостино д'Ангвиссола и их нельзя у него отобрать, так же как нельзя с голого снять рубашку. Разве что, — насмешливо добавил он, — папская булла способна творить чудеса.

Козимо смотрел на него широко открытыми круглыми глазами, и я тоже уставился на Галеотто — ни малейшего намека на невероятную правду не возникло в моем смущенном мозгу. За судейским столом царило полное молчание, которое в конце концов нарушил Гонзаго.

— Вы хотите сказать, что Мондольфо и Кармина не принадлежали... что они никогда не были владениями Агостино д'Ангвиссола? — спросил он.

— Именно это я и говорю, — ответил Галеотто, который стоял там, как скала, огромный и грозный в своих сверкающих доспехах.

— Кому же они в таком случае принадлежали?

— Они принадлежали и принадлежат Джованни д'Ангвиссола, отцу Агостино.

Услышав это, Козимо пожал плечами — страх и тревога на его лице уступили место более спокойному выражению.

— Что это за глупости? — воскликнул он. — Джованни д'Ангвиссола пал в битве при Перудже восемь лет тому назад.

— Так считали все, и Джованни д'Ангвиссола предложил всем оставаться в этом заблуждении — ничего не сказал даже своей жене, находящейся во власти монахов и священников, даже своему сыну, сидящему здесь, в этом зале, опасаясь, как бы конфискация, подобная этой, — пока был жив Пьерлуиджи, — не оказалась возможной на самом деле. Однако в Перудже он не умер. В Перудже, синьор Козимо, он заработал этот шрам, который все это время служил ему в качестве маски. — И он указал на свое лицо.

Я вскочил на ноги, не смея верить тому, что только что услышал. Галеотто — это вовсе не Галеотто, а Джованни д'Ангвиссола, мой собственный отец! А мое сердце до сих пор мне этого не сказало!

В одно мгновение мне вспомнились многочисленные мелочи, значение которых до того времени было мне непонятно, — мелочи, которые должны были подсказать мне правду, стоило мне по-настоящему над ними задуматься.

Почему, например, я решил, что Ангвиссола, которого он назвал в числе руководителей заговора против Пьерлуиджи, это я сам?

Я стоял, еле держась на ногах, в то время как его голос продолжал звучать в зале суда:

— Теперь, когда я поклялся в вассальной верности Императору под моим собственным именем — с помощью и благословения мессера Гонзаго, находящегося сейчас здесь; теперь, когда покровительство Императора защищает меня от папы и его ублюдков; теперь, когда я завершил дело своей жизни — освободил Пьяченцу от папского владычества, я могу наконец перестать скрываться и вернуть себе положение, которое принадлежит мне по праву.

Вот здесь, рядом со мною, стоит мой молочный брат, он может удостоверить, что я — это я; здесь же находится Фальконе, он вот уже тридцать лет состоит при мне конюшим; есть еще братья Паллавичини, которые ходили за мною и скрывали меня, когда я находился на грани смерти от ран, полученных в битве при Перудже, от ран, которые на всю жизнь изменили мою наружность. Итак, мессер Козимо, если ты желаешь упорствовать в своем деле и продолжать преследовать моего сына, тебе следует вернуться в Рим вместе со своими бревне и буллой и исправить допущенные в них ошибки, ибо во всей

Италии нет другого властителя Мондольфо и Кармины, кроме меня.

Козимо бессильно поник и отступил, весь дрожа, сраженный этим сокрушительным ударом.

И снова заговорил Гонзаго, произнеся слова, которые могли бы его ободрить. Однако, уже испытав потрясение — сорвавшись в бездну неудачи с самой, как ему казалось, вершины успеха, — Козимо уже не доверял коварному наместнику, поняв, что этот императорский кот играет с ним, как с мышью, трогая его своей холеной безжалостной лапой.

— Мы могли бы пренебречь формальностями в интересах правосудия, — ворковал наместник. — Ведь здесь у нас находится этот меморандум, — сказал он, глядя на моего отца.

— Поскольку вашему сиятельству угодно, чтобы с этим делом было покончено безотлагательно, мне кажется, это можно сделать, — сказал отец и снова посмотрел на Козимо. — Итак, ты утверждаешь, что этот меморандум не имеет законной силы, поскольку свидетели, имена которых в нем значатся, не имеют права на то, чтобы его подтвердить?

Козимо приободрился, приготовившись сделать последнее усилие.

— Вы смаете оказывать открытое неповиновение папе? — спросил он.

— Если в этом возникает необходимость, — последовал ответ. — Мне уже не раз случалось это делать в течение моей жизни.

Козимо обернулся к Гонзаго.

— Это не я объявил этот документ не имеющим законной силы, это сделал сам Святой Отец.

— У Императора может сложиться мнение, — сказал мой отец, — что в этом деле Святой Отец был введен в заблуждение лжецами. Существуют и другие свидетели. Есть, например, я. В этом меморандуме не содержится ни единого слова, кроме того, что сообщил мне властитель Пальяно на смертном одре, в присутствии своего духовника.

— Мы не можем считать духовника свидетелем, — перебил его Гонзаго.

— Прошу прощения, ваше сиятельство, но фра Джервазио выслушал показания умирающего не в качестве его собственного духовника. Собственно, исповедь Кавальканти состоялась уже после этого. У нас есть еще один

свидетель: сенешаль Пальяно, который присутствует здесь. Этого довольно, чтобы засвидетельствовать достоверность меморандума в имперском, равно как и в понтификальном судах. Я клянусь перед Богом, стоя тут пред лицом его, что каждое слово в этом меморандуме записано со слов Этторе Кавальканти, властителя Пальяно, за несколько часов до его смерти, в чем клянутся и все остальные, присутствовавшие при этом. И я прошу ваше сиятельство в качестве наместника Императора рассматривать этот документ как обвинение против труса и негодяя Козимо д'Ангвиссола, который совершил такое чудовищное святотатственное злодеяние — ведь речь идет об осквернении таинства брака.

— Это ложь! — завизжал Козимо. Он побагровел от ярости, на шее и на лбу у него надулись безобразные жилы, толстые, словно веревки.

Наступило молчание. Мой отец обернулся к Фальконе, вскочил и подал ему тяжелую железную перчатку. Держа эту перчатку за пальцы, мой отец сделал шаг по направлению к Козимо — теперь он снова улыбался, успокоившись после давешней вспышки ярости.

— Да будет так, — сказал он. — Поскольку ты говоришь мне, что я лгу, вызываю тебя на бой, докажи это с помощью силы, в честном поединке.

И он с силой швырнул перчатку прямо в лицо Козимо, так что она поранила щеку и по лицу полилась кровь, заливая рот и подбородок. Все лицо разделилось как бы на две половины: нижняя сделалась красной от крови, в то время как лоб и щеки покрылись смертельной бледностью.

Гонзаго продолжал сидеть, нисколько не тронутый происходящим, и спокойно, безразлично ждал, не обращая внимание на беспокойное движение, возникшее среди судей. Дело в том, что в соответствии с древними рыцарскими законами — как бы они ни устарели, — если Козимо поднимет перчатку, то дело сразу же выйдет из юрисдикции суда и все должны будут подчиниться решению, определенному исходом поединка.

Козимо довольно долго колебался. Но потом понял, что все для него погибло. Он шел на этот суд с такой уверенностью в успехе — и угодил в ловушку. Теперь он отчетливо это видел и понимал, что его единственная надежда — это тот шанс, который давал ему сам поединок. В конце концов он поступил как подобает мужчине. Он нагнулся и поднял перчатку.

— Значит, дело решит поединок, — сказал он. — И да поможет мне Бог!

Не в силах долее сдерживаться, я вскочил на ноги и бросился к отцу.

— Позволь мне, отец! Позволь мне это сделать!

Он посмотрел на меня и улыбнулся. Его серо-стальные глаза, казалось, увлажнились, и взор их сделался удивительно мягким.

— Сын мой! — проговорил он, и голос его был нежен.

— Отец! — ответил я ему, чувствуя, что у меня перехватило горло.

— Увы, я должен отказать тебе в просьбе — в первой просьбе, с которой ты обращаешься ко мне, назвав меня этим именем, — сказал он. — Но вызов брошен и принят. Возьми Бьянку, ступайте в собор и помолитесь вместе, чтобы свершилась воля Божья. Джервазио пойдет вместе с вами.

Но тут к нему обратился Гонзаго.

— Мессер, — сказал он, — вы уже определили время и место, где должен состояться поединок?

— Незамедлительно, — ответил мой отец, — на берегу. По в присутствии двух десятков копейщиков, необходимых для соблюдения ритуала.

Гонзаго посмотрел на Козимо.

— Вы согласны с этими условиями?

— Как нельзя более. По мне, чем скорее, тем лучше, — ответил Козимо, дрожа всем телом и бросая вокруг взгляды, полные черной ненависти.

— Да будет так, — возвестил губернатор, вставая, и члены суда поднялись вслед за ним.

Мой отец снова крепко сжал мою руку.

— Отправляйся в собор, Агостино, и будь там, пока я не приду, — велел он, и на этом мы расстались. Моя шпага была мне возвращена по распоряжению Гонзаго. Итак, поскольку дело касалось меня, суд закончился и я был свободен.

Гонзаго предложил мне принести клятву верности Императору через него, что я и сделал в тот же час, на том же самом месте и с большим удовольствием. После этого, в сопровождении Бьянки и Джервазио, я проложил себе путь через толпу людей, приветствовавших меня радостными криками, и вышел из дворца, на солнечный свет, где мои копейщики, уже оповещенные о происшедшем, увидев меня, разразились настоящей бурей приветствий.

Таким образом мы пересекли площадь и вошли в собор, чтобы принести благодарность Господу. Мы преклонили колена у ограды алтаря, а Джервазио поднялся на одну ступеньку лесенки, ведущей к самому алтарю, и встал на колени чуть повыше нас.

Где-то позади нас молились дамы, сопровождавшие Бьянку, — они тоже прошли вместе с нами в собор.

Там мы ожидали довольно долго, не менее двух часов, которые показались нам целой вечностью.

В то время как я стоял на коленях перед алтарем, перед моим внутренним взором разворачивался свиток моей юной жизни в том виде, как я теперь ее понимал. Я вспоминал ее начало в мрачной серости Мондольфо, под руководством моей бедной, вечно печальной матери, которая так страстно пыталась направить мои стопы на путь святости. Для меня, однако, этот путь оказался путем заблуждений, хотя я и пытался идти так, как мне было указано. Я сбивался с пути, делал страшные ошибки, снова менял направление, — словно в насмешку над тем, что она из меня стремилась сделать, я олицетворял собой просто насмешку над святостью — воистину «заблудший святой», как назвал меня в насмешку Козимо — искал святой жизни, а превратился в какого-то бродячего комедианта.

Но все мои ошибки, все странствия и шатания окончились здесь, у ступеней этого алтаря, и я это прекрасно знал.

Тяжек был мой грех. Но нелегко далось мне и искупление, и самым тяжким наказанием был для меня последний год, проведенный в Пальяно, рядом с моей ненаглядной Бьянкой, которая была женой другого. Этот крест покаяния, столь заслуженного по моим грехам, я нес со всей твердостью и смирением, кои укреплялись во мне от сознания, что именно таким образом могу я заслужить прощение и что это бремя будет милосердно снято с меня, как только искупление будет завершено. В освобождении меня от этого бремени я увижу знак, что прощение мне даровано и что я сделался достойным этой чистой девы, через которую удостоился милости и прощения, через которую познал, что любовь, этот благословенный дар Божий, — великая сила, способная очистить человека от скверны.

В том, что час свершения, столь нетерпеливо ожидаемый, приближается, что он вот-вот должен пробить, я не сомневался ни секунды.

Позади нас отворилась дверь и послышался звук тяжелых шагов по гранитному полу.

Фра Джервазио, мрачный и встревоженный, поднялся во весь свой высокий рост.

Достаточно было одного взгляда, чтобы тревога его рассеялась. Выражение глубокой благодарности разлилось по его лицу. Он тихо улыбнулся, и в его глубоко посаженных глазах сверкнули слезы. Увидев это, я тоже осмелился поднять голову и взглянуть.

По проходу между скамьями шел мой отец, прямой и торжественный, а следом за ним двигался Фальконе, глаза которого на мужественном, загорелом и обветренном лице победно сверкали.

— Да свершится воля Божия, — сказал мой отец.

А фра Джервазио вновь опустился на колени, чтобы произнести слова, благословляющие наше с Бьянкой бракосочетание.

ЭНТОНИ УАЙЛДИНГ

Роман







Глава первая

МОРЕ ПО КОЛЕНУ



лотни-ка, приятель! — выпалил мистер Уэстмакотт и подкрепил свою грубость еще одной дурацкой выходкой: выплеснул содержимое своего бокала прямо в лицо мистера Уайлдинга, предложившего тост за прекрасные глаза его сестры.

В комнате воцарилось напряженное, выжидательное молчание. В неярком свете свечей поверхность овального стола, за которым собралось ровно двенадцать человек, напоминала глубокий, темный водоем, а серебряная и хрустальная утварь словно плыла по поверхности, отражаясь в ней.

Сэр Роланд Блейк прикусил нижнюю губу, его цветущее лицо чуть побледнело, а взгляд пронизательных голубых глаз стал еще пронзительнее. Кривая усмешка искажала черты лица старого Ника Тренчарда, и его смуглые пальцы, длинные и скрюченные, беспокойно забарабанили по столу. Обычно миролюбивый, породный лорд Джервейз Скорсби побагровел от ярости; остальные, в том числе двое затаившихся в темных углах комнаты лакеев, раскрыв рты, глазели кто на мистера Уэстмакотта, кто на мистера Уайлдинга.

Последний же остался невозмутим, и на его меланхоличном, аристократически узком лице, с которого стекали капли вина, блуждала тень.

Мистер Уайлдинг был высок, очень худощав и эле-

гантен. У него хватало вкуса не прятать под париком свои блестящие темно-каштановые волосы, а карие, чуть раскосые глаза под тяжелыми веками придавали ему надменный вид. Ему было слегка за тридцать — и столько же гиней¹ стоили брабантские² кружева, насквозь промокшие и полностью пришедшие в негодность, и теперь на его груди, около сердца, расплывалось темное пятно, окрашивавшее в цвет крови его голубой сатиновый камзол.

Невысокий, коренастый Ричард Уэстмакотт, почти бесцветный блондин, угрюмо смотрел на него своими блеклыми глазами и ждал. Лорд Джервейз первым нарушил молчание — и сорвавшееся с его уст проклятье было столь же неожиданным, как если бы его произнесла женщина.

— Черт побери! — гневно зарычал он, обращаясь к Уэстмакотту. — Как вы могли позволить такое в моем доме! Немедленно просите прощения, молодой человек!

— Куда торопиться — он ведь не на кладбище собрался, — недобро усмехнулся мистер Тренчард, взглянув на него, и тон, которым были произнесены эти слова, привел всех присутствующих в замешательство.

— Я думаю, — подчеркнуто дружелюбно сказал мистер Уайлдинг, — что мистер Уэстмакотт поступил так всего лишь потому, что неправильно понял меня.

— Наверняка, наверняка, — поддакнул мистер Тренчард, за что получил тычок в бок от своего соседа, сэра Роланда.

— Я прекрасно понял вас, сэр, — поспешно, словно в пику мистеру Тренчарду, ответил Ричард, и в его голосе прозвучало презрение.

— Ха! — причмокнул неутомонный мистер Тренчард. — Он и в самом деле хочет умереть. Что ж, не будем ему мешать.

Но мистер Уайлдинг, казалось, собирался продемонстрировать собравшимся, насколько велико его терпение. Он медленно покачал головой.

— Нет-нет, — повторил он. — Мистер Уэстмакотт, вы, вероятно, думаете, что я недостаточно корректно упомянул имя вашей сестры, не так ли?

— С меня довольно того, что вы его упомянули, — охрипшим от выпитого голосом вскричал мистер Уэстмакотт. — А я ни при каких обстоятельствах не намерен позволять вам произносить ее имя.

— Он пьян! — с негодованием воскликнул лорд Джервейз.

— Неудивительно, что теперь ему море по колено, — вставил мистер Тренчард.

Мистер Уайлдинг наконец-то опустил свой бокал, который до сих пор держал в руке, оперся кулаками о крышку стола и, чуть наклонившись вперед, многозначительно произнес:

— Мистер Уэстмакотт, я думаю, вы напрасно ищете ссоры со мной. Вы вели себя вызывающе, однако я дал вам возможность забрать ваши слова обратно, которой вы, увы, до сих пор не воспользовались.

Если бы после этих слов кто-нибудь из присутствующих заподозрил мистера Уайлдинга в беспринципности, то это было бы большой ошибкой. Ничего подобного и в помине не было — просто мистеру Уайлдингу требовалось время, чтобы успеть обдумать происходящее. Поначалу безрассудная храбрость мистера Уэстмакотта, обычно робкого и застенчивого, удивила его. Но вскоре он догадался о причине столь необычного поведения молодого человека: тому было прекрасно известно о чувствах мистера Уайлдинга к его сестре, на которые последняя, однако же, ничем, кроме отвращения, не отвечала. В силу этого Ричард Уэстмакотт, вероятно, считал себя в безопасности, полагая, что из боязни окончательного разрыва с девушкой мистер Уайлдинг не отважится ввязаться с ним в ссору. Прочитав, словно в раскрытой книге, мысли юноши, мистер Уайлдинг подумал, что выбрал правильную линию поведения, и решил сохранять маску наигранного спокойствия, чтобы таким образом дать ему почувствовать себя в еще большей безопасности за бастионом своего родства с Руфью Уэстмакотт. А тот, разгоряченный выпитым вином, продолжал сыпать оскорблениями, на которые в иных обстоятельствах не отважился бы, пожалуй, и в мыслях.

— Кто это тут собирается брать свои слова обратно? — взглянув на мистера Уайлдинга, проговорил он с издевкой в голосе.

— Разве что вы сами!

Он неестественно рассмеялся и огляделся вокруг себя, рассчитывая на одобрение присутствовавших при этой сцене. Но его не последовало.

— Вы слишком неосмотрительны, — строго укорил его лорд Джервейз.

— Он отнюдь не первый трус, который храбрится за столом, — высказал свое мнение мистер Тренчард, вызвав

этими словами негодование сэра Блейка, но их внимание вновь привлек мистер Уайлдинг.

— Так что же я должен сделать? — дружелюбно спросил он, глядя в упор на юношу.

— Почистить то, чем я облил вас, — последовал бесшабашный ответ.

— Приехали, дальше некуда! — воскликнул Ник Тренчард и вопросительно взглянул на мистера Уайлдинга.

Увы, делая ставку на чувства мистера Уайлдинга к Руфи Уэстмакотт, ее брат не учел одного обстоятельства. Он не знал, что Энтони Уайлдинг, уязвленный ее насмешками, значение которых его чувствительная натура влюбленного многократно преувеличивала, дошел до того предела, за которым любовь и ненависть смешиваются настолько, что едва ли становятся различимы. Играя с Ричардом, как кот с мышью, мистер Уайлдинг увидел шанс отомстить Руфи Уэстмакотт за свое разбитое сердце. Если такой поступок и был недостойн джентльмена, то мистер Уайлдинг едва ли задумывался об этом сейчас, заманивая в ловушку ее любимого брата, при последних словах которого лорд Джервейз вскочил на ноги, все еще надеясь спасти ситуацию.

— Ради Бога... — начал он, однако мистер Уайлдинг, по-прежнему невозмутимо улыбающийся, мягким движением руки остановил его.

Но если мистер Уайлдинг был способен, казалось, бесконечно долго сохранять спокойствие, то терпению Ника Тренчарда пришел конец. Научившись за свою бурную жизнь хорошо разбираться в людях, старый пройдоха инстинктивно не доверял Ричарду. Он считал его дураком, слабаком, болтуном и пьяницей, а с таким набором подобных качеств человек рано или поздно становится настоящим негодяем, более того, Ник полагал, что с Ричардом такая метаморфоза уже началась и его надо остановить, прежде чем он зайдет слишком далеко. Мистер Тренчард был кузеном Джона Тренчарда, которому недавно предъявили обвинение в измене и который, хотя и был оправдан за отсутствием улик, спешно покинул страну, опасаясь повторного ареста; как и его знаменитый кузен, а также присутствующие здесь мистер Уайлдинг, мистер Вэлэнси и сам Уэстмакотт, Ник Тренчард был активным приверженцем герцога Монмутского³, лидера протестантского движения, и сейчас у него имелись все основания опасаться предательства со стороны мистера Уэстмакотта, если с тем обойдутся слишком мягко.

Вернувшись домой и проспавшись, осознав всю серьезность своего проступка и не рассчитывая получить прощение, Ричард вполне мог искать спасения в измене, но, предав мистера Уайлдинга, он неизбежно предал бы и других и, что самое главное, — само движение. На карту было поставлено слишком многое, и мистер Тренчард, не в силах более ждать, резко поднялся.

— Я думаю, Энтони, — проговорил он, — что сказанного довольно. Ты сам сведешь счеты с мистером Уэстмакоттом или позволишь сделать это мне?

Ошарашенный его словами, Ричард резко повернулся и удивленно уставился на неожиданно возникшего противника, пытаясь понять, в чем же он просчитался. Но в этот момент он услышал голос мистера Уайлдинга, и произнесенная им фраза действовала на его разгоряченную голову, словно ледяной душ.

— Спасибо, Ник, но я не хотел бы лишать себя удовольствия убить мистера Уэстмакотта.

Ричард оцепенел. Краска сошла с его лица и уступила место смертельной бледности. Потрясение мгновенно отрезвило его, и он наконец-то понял, что натворил. Но еще больше он был изумлен тем, что укрепления, на которые он почти безоговорочно полагался, оказались построенными на песке и рухнули от первого же толчка. Он хотел было заговорить, но не смог найти слов; в любом случае, вряд ли кто услышал бы его в гвалте, который поднялся за столом. Все вскочили на ноги и теперь разговаривали и жестикулировали одновременно. Лишь мистер Уайлдинг молчаливо улыбался и вытирал лицо тонким батистовым платком.

— Нет, вы не посмеете, мистер Уайлдинг, — перекрыл всех голос сэра Роланда Блейка. — Вы навсегда покроете себя бесчестьем. Он всего лишь мальчишка и пьян к тому же.

Мистер Тренчард пристально взглянул на него и неприязненно рассмеялся.

— А вы не боитесь кровопускания, сэр Роланд? — поинтересовался он. — С такой толстой шеей в любой момент может хватить удар.

Однако Блейк, коренастый коротышка с побагровевшим от напряжения лицом, словно не слышал его, не сводя своих голубых, навывкате глаз с мистера Уайлдинга. Последний, однако, невозмутимо выдержал этот взгляд. Сэр Блейк, всегда отчаянно нуждавшийся в деньгах и недавно вынужденный продать свой патент офицера гвар-

дии, чтобы хоть частично поправить свои дела и расплатиться с кредиторами, также был соискателем руки мисс Уэстмакотт, и ее брат поощрял его ухаживания.

— Позвольте мне самому решать, сэр Роланд, — любезно улыбнувшись, проговорил мистер Уайлдинг.

От этих слов и едкого тона, с которым они были произнесены, сэр Блейк густо покраснел.

— Но ведь Ричард пьян, — неуверенно повторил он.

— То, что он сейчас услышал, наверняка уже отрезвило его, — вставил мистер Тренчард.

Лорд Джервейз схватил юношу за плечо и яростно потряс его.

— Ну? — вскричал он. — Язык проглотил после своей болтовни? Извиняйся скорее, пока не поздно!

Напрасные хлопоты — ледяной тон мистера Уайлдинга погасил вспыхнувшую искру надежды в груди юноши.

Отступить было некуда, но еще хуже было прятать голову в песок, и Ричард, пытаясь сохранить остатки самообладания, поднялся из-за стола.

— Прекрасно, этого я и ждал, — хриплым голосом произнес он, но широко раскрытые глаза и смертельная бледность выдавали волнение юноши и свели на нет эффект, который мог бы произвести на присутствующих его отважный ответ.

— Сэр Роланд, — откашлявшись, продолжил он. — Вы будете моим секундантом?

— Только не я! — вскричал сэр Блейк. — Я не собираюсь участвовать в заклании этого неоперившегося юнца.

— Неоперившегося? — откликнулся мистер Тренчард. — Черт побери, мистер Уайлдинг завтра поправит этот недостаток. Не беспокойтесь, уж он-то не только оперит его, но и приладит ему парочку крылышек, чтобы удобнее было лететь к небесам.

Мистер Тренчард не случайно подбросил угольков в жаровню. С его точки зрения, дуэль непременно должна была состояться — ведь если Уэстмакотт уцелеет после всего, что сейчас произошло, жизням многих видных людей будет угрожать смертельная опасность.

Тем временем Ричард повернулся к мистеру Вэлэнси.

— Могу ли я рассчитывать на вас, Нед? — спросил он.

— Да, до самого конца, — высокопарно ответил мистер Вэлэнси.

— Мистер Вэлэнси, — с кривой усмешкой проговорил мистер Тренчард, — вы рискуете оказаться пророком.

СЭР РОЛАНД СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Угрюмый, подавленный и совершенно протрезвевший, Ричард Уэстмакотт уезжал в этот субботний вечер из дома лорда Скорсби в Вестон-Зойланде к своей сестре, в Бриджуотер. Что и говорить, к двадцати пяти годам — возрасту отнюдь не детскому, так что Блейк, называя его мальчишкой, вероятно, имел в виду скорее его внешность — на его счету накопилось немало проделок, но сегодняшняя выходка превзошла все предыдущие и вполне могла стоить ему головы. Некого было винить в произошедшем, и Ричард мог проклинать лишь свою безрассудную горячность, заставившую его ошибиться и выплеснуть давно сдерживаемую ненависть ничтожества к достойному и талантливому человеку. Но его расчеты базировались не только на личном отношении — они имели куда более основательную подоплеку.

Дело в том, что Ричард Уэстмакотт не имел ни гроша за душой, а его богатый набожный дядюшка, сэр Джоффри Люптон, возмущенный его безалаберным поведением, оставил все свое немалое состояние сводной сестре Ричарда — Руфи. До поры до времени все складывалось не так уж плохо для Ричарда, поскольку Руфь обожала его.

Их отец прекрасно понимал, насколько разными выросли его дети, и, умирая, завещал Руфи — более сильной по натуре — заботиться о своем слабохарактерном брате. Однако безмерная любовь к брату порой превращала девушку в кроткое и покорное существо, чем тот с успехом пользовался. Если что и заставляло Ричарда серьезно задуматься, так это только его собственное будущее: богатые девушки не засиживаются в невестах; останься Руфь незамужней, это вполне устроило бы Ричарда, но в таком деле, увы, она имела решающее право голоса, и ему приходилось принимать меры, когда речь заходила о ее потенциальных мужьях. Первым, кто распустил перья ухажера, был Энтони Уайлдинг из Зойланд-Чейза, и Ричард с мрачными предчувствиями наблюдал за его действиями. Несмотря на свою репутацию необузданного человека — а быть может, именно благодаря ей — мистер Уайлдинг мог вскружить голову любой женщине.

Действительно, к нему прилипло прозвище — «повеса Уайлдинг», но Ричард хорошо знал, что столь очевидная игра слов «wild wilding» вовсе не отображала истинного положения дел, а была, скорее всего, примитивной шуткой не отличавшихся тонкостью вкуса окрестных жителей, которые с радостью подхватывали и смаковали любой намек.

Поначалу Руфь, казалось, благоволила к мистеру Уайлдингу, и опасения Ричарда приобрели более определенный характер. Если бы мистер Уайлдинг женился на ней — а он был решительный, уверенный в себе человек, привыкший добиваться поставленной цели, — то ее состояние перестало бы служить Ричарду тем благодатным и изобильным пастбищем, на котором он привычно нагуливал жирок. Сперва юноша хотел было заключить сделку с мистером Уайлдингом — предложить тому свое согласие на брак с сестрой за приличное вознаграждение, но что-то всякий раз мешало ему завести этот разговор, и в конце концов Ричард прибегнул к единственному оставшемуся в его распоряжении средству — клевете. Надо сказать, что он с успехом использовал это оружие в их заочной дуэли. Окрестности были полны слухами о неразборчивости мистера Уайлдинга. Как знать, быть может, при ближайшем рассмотрении они оказались бы и не столь уж безосновательными, но хуже другое — они были сильно преувеличены, поскольку от человека с такой многозначительной кличкой иного поведения никто и не ожидал. Так что Ричарду оставалось лишь добавить к ним некоторые пикантные детали и преподнести их сестре.

Всем известно, что такое клевета для настоящей любви. Чувства девушки к своему избраннику становятся лишь крепче, когда она узнает об отрицательных чертах его характера, потому что она рада возможности доказать ему свою преданность, и с порога отвергает самые хитроумные доводы, умаляющие достоинства ее возлюбленного. Но все обстоит совершенно иначе, когда интерес только-только зародился и не затронул сердца. Клевета убивает это первое волнение, как мороз — нераскрывшийся бутон, и по силе воздействия уступает лишь насмешке.

Руфь Уэстмакотт, однако, весьма долго не обращала внимания на рассказы своего брата — до тех пор, пока совершенно случайно не уловила в них подтверждения некоторым намекам, случайно оброненным самим мистером Уайлдингом. Косвенно эти слухи подкреплялись еще одним

фактом: мистер Уайлдинг находился в тесных дружеских отношениях с Ником Тренчардом, который в свое время, как всем хорошо было известно, пал настолько низко, что присоединился к труппе бродячих актеров. Ее девичья гордость возмутилась при мысли, что она благосклонно принимала ухаживания столь недостойного человека, и девушка постаралась как следует растоптать ростки любви, которые вот-вот могли пустить корни в ее душе.

С тайной улыбкой Ричард наблюдал за резким изменением отношения Руфи к мистеру Уайлдингу, радуясь успеху своей хитрости — качества, которое столь часто достается тупицам как компенсация за отсутствие ума и изобретательности. И, пока смущенный мистер Уайлдинг понапрасну беспокоился и хлопотал, небеса Бриджуотера осветила новая комета — сэр Роланд Блейк, только что прибывший из Лондона и вновь вошедший в доверие у своих кредиторов. Он очаровал сердце Дианы Гортон, кузины Руфи, и мог бы рассчитывать на благосклонный ответ, попросив ее руки, но одно обстоятельство препятствовало этому — Блейк, несмотря на весь свой внешний лоск, был почти нищим, и Диана — отнюдь не богачкой. Поэтому сэру Роланду пришлось обуздать свои чувства к девушке, тем более что на горизонте появился новый объект: Руфь Уэстмакотт, покорившая его своей несравненной красотой, но куда больше — завидным состоянием.

Ричард одобрительно наблюдал за его действиями, наконец решил, что этот завязанный картежник пойдет на любую сделку с остатками совести, лишь бы поправить свое удручающее финансовое положение. Последнее обстоятельство роднило их, и как собратья по несчастью — если иметь в виду не только отсутствие денег, но и определенных моральных качеств — они сумели договориться. Потратив, словно еврейские торговцы, долгие часы на препирательства, они в результате заключили договор, согласно которому сэр Роланд должен был передать Ричарду четверть всего состояния Руфи и сделать это в тот самый день, когда она выйдет за него замуж. Взамен Ричард обещал свое содействие в ускорении их брака, но вот беда — его сестра не обращала ни малейшего внимания на сэра Роланда. Она рассматривала его лишь как друга своего брата и в силу этого иногда выказывала ему дружеское расположение, но о более близких отношениях и речи быть не могло. А тем временем мистер Уайлдинг терпел, одно за другим, поражения на всех

фронтах. До поры до времени он умело маскировал полученные раны, но их было столько, что в конце концов ему даже стало казаться, что его любовь потихоньку превращается в ненависть. Такое положение дел вполне устраивало Ричарда.

Пусть сэр Блейк не мог похвастаться успехами, но и мистер Уайлдинг явно не преуспевал. Этой ночью ему пришлось в голову ускорить падение мистера Уайлдинга; он рассчитывал, что тот не рискнет поднять руку на брата своей возлюбленной, однако винные пары затуманили его проницательность и исказили расчеты, словно бутылочное стекло — дневной свет.

Уже оказавшись дома и лежа в постели, он как будто увидел путь спасения: его мысль заработала именно в том направлении, которого так опасался мистер Тренчард. Ричард вспомнил о движении герцога Монмутского, к которому он сам присоединился все в той же надежде поправить свои дела, и о роли мистера Уайлдинга в нем. Он даже собрался было тут же ехать в Экстер, к герцогу Альбермарльскому и таким образом свести счеты с мистером Уайлдингом.

Однако предательство, как и всякое отчаянное дело, требует известной доли мужества, и тут мистер Тренчард, пожалуй, сильно переоценил характер Ричарда: как только он попытался предугадать, какие вопросы к нему возникнут у генерал-губернатора, ему стало ясно, что ответить на них можно только рискуя собственной шеей. Бормоча бессильные проклятья и стеная, он так и не сомкнул глаз в эту ночь, и утро последнего дня мая застало его бледным, дрожащим и испуганным. Он поднялся едва рассвело и оделся, но не выходил из своей комнаты до тех пор, пока не услышал под окном голосов своей сестры и Дианы Гортон, им, к несказанному удивлению Ричарда, вторил низкий мужской баритон, обладателем которого являлся сэр Роланд Блейк.

Почему баронет оказался здесь так рано? Наверняка его появление связано с предстоящей дуэлью. Он подкрался к окну и прислушался, но голоса удалялись, и ему не удалось разобрать ничего из сказанного; разочарованный, он начал размышлять, когда появится мистер Вэлэнси и на который час была назначена дуэль, детали которой тот остался обсуждать прошлой ночью с мистером Тренчардом, секундантом мистера Уайлдинга.

Случилось так, что у мистера Тренчарда и мистера Уайлдинга этим утром оказались неотложные дела в

Тонтоне. После высадки Аргайла в Шотландии⁴, на западе страны постоянно циркулировали слухи, будто бы в скором времени из Голландии прибудет сам герцог Монмутский. Эти слухи мистер Уайлдинг и его сторонники игнорировали. Им было прекрасно известно, что это лето Монмут собирался провести в Швеции, в компании леди Генриетты Вентворт, а их задачей было подготовить почву для вторжения герцога в Англию будущей весной. Однако в последнее время друзей герцога весьма беспокоило подозрительное отсутствие указаний их предводителя. И когда появились свежие сплетни — которые выглядели почти как очевидный факт — о том, что власти перехватили важнейшее письмо, мистер Уайлдинг и мистер Тренчард решили немедленно отправиться в Тонтон, в гостиницу «Красный Лев», и попытаться раздобыть там более достоверную информацию.

Таким образом, дуэль никак не могла состояться раньше вечера, и мистер Вэлэнс вовсе не спешил пока в Луптон-хаус, в то время как сэр Блейк, не желая терять верного союзника в битве за руку Руфи Уэстмакотт, поторопился объявиться здесь пораньше, в надежде придумать средство предотвратить схватку. Он нашел Руфь в компании Дианы на лужайке за вишневым садом, и беззаботный смех, долетевший до его ушей, когда он шел по тропинке, вьющейся среди деревьев, подсказал ему, что девушкам еще ничего не известно об опасности, угрожавшей Ричарду. При его неожиданном появлении Диана побледнела, а Руфь слегка покраснела, и, будь сэр Роланд более начитанным, он мог бы вспомнить французскую мудрость: «*Amour qui rougit, fleurette, amour qui palit, drame du coeur*»*. Он приподнял свою шляпу и поклонился, и завитки парика целиком скрыли его печально-серьезное лицо.

Руфь дружелюбно заговорила с ним.

— Жители Лондона, похоже, встают куда раньше, чем принято думать, — заметила она.

— Наверное, на сэра Роланда подействовала перемена климата, — сказала Диана, успешно справившись со своим волнением.

— Клянусь, я уже давно был бы здесь, — сказал он, — если бы знал, что вы обе ждете меня.

* *Amour qui rougit, fleurette, amour qui palit, drame du coeur (фр.)* — Кто краснеет — флиртует, кто бледнеет — страдает (буквально: краснеющая любовь — цветок; бледнеющая любовь — сердечная драма).

— Ждем вас? — откликнулась Диана и кокетливо вскинула голову. — Ну-у, сэр Роланд, от скромности вы не умрете!

Кокетство шло этой курносой, светловолосой и пышногрудой особе. Диана была на полголовы ниже своей кузины, и, хотя ей явно не хватало мягкого достоинства Руфи, она успешно компенсировала этот недостаток живостью характера, так что никто из них не проигрывал в сравнении друг с другом.

— Я не шучу, — ответил сэр Блейк, слегка смутившись, — и, чтобы приехать сюда, не собираюсь искать особого повода, когда он уже есть.

Его серьезный вид и необычайно спокойный голос заставил обеих девушек насторожиться. Руфь первая прервала молчание и попросила его объясниться.

— Вы не составите мне компанию? — предложил сэр Блейк и сделал приглашающий жест шляпой, которую держал в руке.

Девушки выразили согласие, и сэр Роланд, устроившись между вчерашней и сегодняшней любовью, не торопясь зашагал по лужайке, полого спускавшейся к реке. И там, на берегу, прикрыв глаза рукой от слепящего солнечного света, отражавшегося от поверхности воды, он начал свое повествование.

— У меня есть новости, касающиеся Ричарда и мистера Уайлдинга. — Он сделал многозначительную паузу. — Ричард еще спит?

— Скорее всего, — ответила Руфь, и ее тонкие брови сошлись на переносице.

— Надо отдать должное его мужеству, если он спит в такой день, — сказал сэр Блейк, довольный тем, как ловко ему удалось преподнести новость. — Вчера ночью он поссорился с Энтони Уайлдингом.

Руфь прижала руку к груди, на лицо девушки словно набежала серая тень и скрыла легкий румянец, а в голубых, как майское небо, глазах отразился страх.

— С мистером Уайлдингом? — вскричала она. — С этим человеком?

Она ничего более не добавила, но ее взгляд умолял сэра Роланда продолжать. Того не пришлось долго упрашивать, и с достойным похвалы усердием он принялся пересказывать события ночи, не щадя мистера Уайлдинга и активно набирая очки в свою пользу, поскольку — и он сам отдавал себе в этом отчет — здесь ему наконец-то представился верный шанс выбить из седла своего не-

уступчивого соперника. И когда он добрался в своем повествовании до того места, где Ричард выплеснул вино в лицо мистеру Уайлдингу, предложившему тост за Руфь Уэстмакотт, ее щеки слегка порозовели.

— Ричард поступил как мужчина, — сказала она. — Я могу им гордиться.

Вряд ли нужно говорить, насколько эти слова пришлись по душе сэру Роланду. Но радоваться было рано. Оставалась еще Диана Гортон, которая, в свете недавних любовных перипетий, сразу поняла, какой капитал намеревался заработать этот глашатай. Она прикинула, что сложившаяся ситуация отнюдь не беззадежна для нее, но первым делом необходимо было воспрепятствовать Блейку окончательно очернить Уайлдинга.

— Послушайте-ка, — сказала она, — вы чрезвычайно несправедливы к мистеру Уайлдингу. Послушать вас, получается, что никогда ни один щеголь до него не предлагал тоста за глаза прекрасной дамы.

— Я не его дама, Диана, — поторопилась напомнить ей Руфь.

— Если ты его не любишь, нельзя же утверждать, что и он не любит тебя, — пожала плечами Диана. — Ты слишком спешишь. Мне, например, кажется, что Ричард вел себя как мужлан.

— Но, позвольте, — вскричал смущенный сэр Роланд, пытаясь сдержать свое раздражение, — в таких делах все зависит от манеры поведения!

— Разумеется, — согласилась она, — и что касается поведения мистера Уайлдинга, то оно вполне достойно уважения.

— Мое представление о достойном поведении никогда не позволяло мне трепать имя дамы в веселой компании, — сказал он.

— Но вы сами только что сказали, что все зависит от манеры, — возразила она.

Однако сэр Роланд вместо ответа лишь пожал плечами и отвернулся в сторону ее внимательно слушающей кухни. Диана прикусила губу. Ее политика явно оборачивалась неблагоприятно для нее самой. Но отступить было поздно.

— Я думаю, мы сможем куда лучше судить о происшедшем, если услышим в точности те слова, которые произнес мистер Уайлдинг, — предположила она.

— При чем тут слова! — вскипел Блейк. — Я не со-

бираюсь повторять их. Все дело в том, как он отозвался о госпоже Уэстмакотт.

— Пусть так, — поправила Диана, — но ведь не кто иной, как Ричард, выплеснул вино в лицо мистеру Уайлдингу. А что было потом? Что сказал мистер Уайлдинг?

Сэр Роланд колебался. Он прекрасно помнил слова мистера Уайлдинга, но предпочел бы не повторять их; и, кроме того, он никак не ожидал такой реакции девушек, у него просто не оставалось времени, чтобы придумать подходящий ответ.

— Не скрывайте ничего от нас, сэр Роланд, — поддержала Диану ее кузина. — Что же сказал мистер Уайлдинг?

Припертому к стене, по природе не способному к изобретательности, сэру Блейку ничего не оставалось, как выложить всю правду.

— Ну, что я говорила? — торжествующе вскричала Диана. — Мистер Уайлдинг, как мог, оттягивал ссору с Ричардом. Он был даже готов проглотить такое оскорбление под предлогом, что Ричард его неправильно понял. Он всем сумел продемонстрировать свое уважение к госпоже Уэстмакотт, а вы, сэр Роланд, смеете утверждать, что он вел себя неуважительно!

— Мадам! — побагровев, воскликнул сэр Блейк. — Это ничего не значит. Не время и не место было упоминать имя вашей кузины.

— Значит, вы думаете, сэр Роланд, — вставила Руфь, — что Ричард поступил достойно?

— Я сам поступил бы так; и будь у меня сын, я гордился бы его поведением, — ответил Блейк. — Но мы попусту препираемся. Я приехал сюда отнюдь не для того, чтобы защищать Ричарда или просто сообщить вам это неприятное известие. Я хотел бы посоветоваться с вами, в надежде, что, быть может, удастся спасти вашего брата от угрожающей ему опасности.

— Вы думаете, это возможно? — бледнея как мел, спросила Руфь. — Я бы не хотела... Не хотела бы, чтобы Ричард оказался трусом.

— Сейчас речь не об этом, — серьезно произнес сэр Блейк. — Прошлой ночью мистер Уайлдинг обещал убить его, а свое слово он держит. Я люблю Ричарда и хочу спасти его. И я пришел к вам, чтобы найти у вас поддержку или предложить свою помощь. Объединив

наши усилия, мы сможем сделать куда больше, чем в одиночку.

Его ловкая речь тут же была вознаграждена. Руфь протянула ему руки.

— Вы настоящий друг, сэра Роланд, — чуть улыбнувшись, произнесла она; с такой же слабой улыбкой Диана наблюдала за ними, и ни одна из девушек не усомнилась в искренности сказанных им слов.

— Я горжусь, что вы так относитесь ко мне, — сказал баронет, на мгновение задержав руки девушки в своих. — И надеюсь, что и в будущем смогу доказать вам, что вы не ошиблись. Поверьте, если мистер Уайлдинг согласится, я с радостью займу место вашего брата.

Это была безопасная похвальба, поскольку мистер Уайлдинг, как прекрасно было известно сэру Блейку, никогда не согласился бы на подобную сделку. Но он заслужил благодарный взгляд Руфи, которая начала думать, что, пожалуй, несправедливо относилась к нему, и восхищенный взгляд Дианы, увидевшей в нем настоящего рыцаря своей мечты.

— Я бы не хотела, чтобы вы рисковали собой, — сказала Руфь.

— Вполне возможно, что на поверку все это окажется не таким уж рискованным, — произнес Блейк, яростно сверкая своими голубыми глазами. И затем, словно ему было неловко выглядеть хвастуном, он оставил эту тему и перешел к обсуждению средств, с помощью которых можно было бы попытаться предотвратить дуэль.

Сэр Блейк рассчитывал, что юноша, проспавшись и обдумав случившееся на трезвую голову, согласится на шаг, сделать который ему вчера помешали вино и опасение выглядеть в глазах других трусом. Однако он ни в малейшей степени не догадывался о настроениях мистера Уайлдинга, и его следующие слова подтвердили это.

— Я считаю, — сказал он, — что, если Ричард отправится сегодня к мистеру Уайлдингу и выскажет ему свои сожаления по поводу случившегося в разгаре застолья, тот будет вынужден принять его извинения, и такой поступок только добавит уважения окружающих Ричарду.

— Вы уверены? — с сомнением спросила Руфь, и в ее глазах вспыхнул беспокойный огонек надежды.

— А что еще можно придумать?

— Однако, — проникательно заметила Диана, — таким образом Ричард расписался бы в своей оплошности.

— Совершенно верно, — согласился он, и у Руфи перехватило дыхание.

— И вы, однако, утверждали, что даже от своего сына не могли бы ожидать более достойного поступка, — напомнила ему Диана.

— Я не отказываюсь от своих слов, — ответил Блейк, еще не догадываясь, к чему она клонит.

— Вы, наверное, не понимаете, — открыла ему глаза Руфь, — что подобное поведение Ричарда было бы насквозь лживым и свидетельствовало бы о его желании избежать дуэли из трусости. В самом деле, сэр Роланд, вы беспокоитесь за его жизнь куда больше, чем за его честь.

Диана, выполнив свою задачу, многозначительно молчала. А сэр Роланд, наголову разгромленный, с ужасом подумал, что он, городской щеголь, может выглядеть дураком в глазах этих деревенских простушек. Он еще раз торжественно заявил о своей любви к Ричарду, перепугал Руфь замечанием о мастерском владении шпагой мистера Уайлдинга и в конце концов решил, что пора спасаться бегством, пока не испорчен положительный эффект, который он поначалу произвел на девушек заботой об их брате. И под предлогом, что ему необходимо посоветоваться с лордом Джервейзом Скорсби, он откланялся, пообещав вновь явиться к полудню.

Глава третья

ДИАНА ИНТРИГУЕТ

Лишь ценой огромного усилия воли Руфи Уэстмакотт удавалось сохранять хорошую мину в присутствии сэра Роланда.

Ее сердце буквально разрывалось от боли и страха за своего брата, но, от природы наделенная сильным характером, она умела терпеть. Диана, едва ли питавшая к Ричарду и десятую долю чувств своей кузины, тоже была не на шутку взволнована.

Кроме того, ее собственные интересы подсказывали ей, что дуэль необходимо предотвратить, и она решила во что бы то ни стало добиться этого. Ее пожелания

полностью совпадали с точкой зрения самого Ричарда, который через несколько минут после ухода Блейка наконец-то решился присоединиться к ним. Вид его был жалким и подавленным. Обе девушки отметили бледность лица и темные круги под бесцветными глазами, а его отнюдь не изысканные манеры — Ричард частенько вел себя как избалованный ребенок — ничуть не улучшились. Он остановился перед ними и, воровато переводя взгляд с сестры на кузину, нервно потер руки.

— Ваш драгоценный друг, сэр Роланд, уже успел навестить вас, — медленно, с долей насмешки, проговорил он, обращаясь как бы к ним обеим, — и я уверен, что все новости вам известны.

Руфь приблизилась к нему и положила руку ему на его рукав.

— Мой бедный Ричард... — начала она с сочувствием в голосе, но он стряхнул ее руку и сердито рассмеялся.

— Э-ка, — раздраженно прокаркал он, прерывая ее, — к чему сейчас такая заботливость?

Руфь отпрянула назад, словно ее ударили. Брови Дианы удивленно поползли вверх, и, слегка пожав плечами, она присела на стоявшую рядом скамью.

— Ричард! — воскликнула Руфь, внимательно вглядываясь в его смертельно-бледное лицо. — Ричард!

Он уловил скрытый вопрос в этом восклицании и ответил на него:

— Если бы ты в самом деле умела заботиться и беспокоиться обо мне, ты никогда не стала бы поводом к такому делу, — брюзгливо упрекнул он ее.

— Что ты говоришь? — вскричала она. «Боже, не трусли ли он?» — промелькнуло в голове у девушки.

— Я хочу сказать, — проговорил он, подняв плечи и нервно поеживаясь, — что из-за тебя мою глотку сегодня вечером вполне могут перерезать.

— Из-за меня? — прошептала она, и ей показалось, что склон лужайки закачался и поплыл на нее. — Из-за меня?

— Из-за твоего легкомыслия, — сурово обвинил ее он, все также избегая ее взгляда. — Ты, наверное, позволяла этому Уайлдингу чересчур многое, если он не погнушался произнести твое имя в моем присутствии. И теперь, чтобы спасти честь семьи, мне придется умереть.

Он мог бы еще продолжать, но ее взгляд остановил его. Наступило молчание. Издалека доносился мелодичный звон церковных колоколов. Высоко в небе заливался

невидимый жаворонок, а за вишневым садом раздавался дробный стук копыт. Диана заговорила первой. Слова Ричарда возмутили ее, а когда Диана была возмущена, она не владела собой.

— Я думаю, — сказала она, — что честь семьи будет спасена только в том случае, если тебя убьют. Пока ты жив, она в опасности. Ты трус, Ричард.

— Диана! — взревел Ричард — с женщинами он мог быть очень смелым.

Руфь вцепилась в руку кузины, пытаясь остановить ее, но та, не смущаясь, продолжала:

— Ты трус, жалкий трус, — бросила она ему в лицо. — Взгляни-ка на себя в зеркало. Оно лучше всего скажет тебе об этом. И как ты смеешь так разговаривать с Руфью?!

— Не надо! — взмолилась Руфь.

— Да, — прорычал Ричард. — Пусть она лучше помолчит.

Диана вскочила со скамейки, не желая сдаваться, и ее щеки покраснели.

— Не всякий храбрец заставит меня слушаться, — кипя от негодования, сообщила она ему. — Ну и ну! Могу поспорить: если бы мистер Уайлдинг узнал, как ты разговариваешь с Руфью, тебе нечего было бы опасаться его шпаги. Он воспользовался бы простой палкой, чтобы свести с тобой счеты.

Блеклые глаза Ричарда злобно сверкнули, и владевший им страх окончательно уступил место гневу — ничто не раздражает мужчину так, как язвительная правда. Руфь опять положила ему руку на рукав, и он опять стряхнул ее. Трудно сказать, что еще могло бы произойти в следующие мгновения, если бы ситуацию не спас слуга, выбежавший к ним из дома.

— Мистер Вэлэнси спрашивает вас, сэр, — объявил он.

Ричард вздрогнул. Приехал Вэлэнси! Известие словно парализовало его, он смертельно побледнел, потом поежился, словно от сквозняка, и, с трудом взяв себя в руки, спросил:

— Где он, Джаспер?

— В библиотеке, сэр, — ответил слуга. — Привести его сюда?

— Не надо, — отозвался Ричард. — Я сам приду к нему.

Он повернулся спиной к девушкам и помедлил некоторое время в нерешительности. Затем, сделав над собой

усилие, зашагал за слугой через лужайку и исчез на крыльце. Как только он скрылся из виду, Диана бросилась к своей кухне.

— О, бедняжка, — жалостливо пробормотала она, обнимая Руфь за талию и усаживая ее на скамейку.

Печально вздохнув, Руфь опустилась рядом с ней и, подперев руками подбородок, уставилась на раскинувшуюся перед ними безмятежную гладь реки.

— Это неправда! — наконец проговорила она. — То, что Ричард сказал обо мне, — неправда.

— Ну конечно же, — с презрением отозвалась Диана. — Верно лишь то, что Ричард сильно трусит.

— О, пожалуйста, — взмолилась Руфь, — не говори так, Диана!

— Дело не в том, что я говорю, — нетерпеливо фыркнула та. — Весь его вид подтверждает это.

— Быть может, он себя плохо чувствует. — Руфь попыталась выгородить своего брата.

— Как ты слепа! — взмолилась Диана. — Да его трясет от страха. Но он должен был сам сказать тебе это.

Руфь покраснела, вспомнив его слова, и волна негодования поднялась в ее благородной душе, но лишь затем, чтобы тут же уступить место невыразимой печали. Что они могли предпринять? Она повернулась за советом к Диане, но та еще не успокоилась.

— Пойми, прошу тебя: его дуэль с мистером Уайлдингом навсегда покроет позором всех носящих фамилию Уэстмакотт, — заключила она.

— Ему нельзя идти, — горячо ответила насмерть перепуганная Руфь, — они не должны драться.

Диана искоса взглянула на нее.

— Разве будет лучше, если мистер Уайлдинг придет сюда и отдубасит Ричарда?

— Неужели он способен на это?

— Конечно, если ты не заступишься за брата, — резко ответила Диана, едва не задохнувшись от неожиданного озарения.

— Диана! — укоряюще воскликнула Руфь и повернулась к кухне.

Но та, ухватившись за свое открытие, принялась усердно развивать его.

— Почему бы и нет? — невинно промолвила она после небольшой паузы. — Почему бы тебе не сделать этого?

Руфь нахмурилась, озадаченная, а Диана, охваченная неожиданным вдохновением, продолжала:

— Руфь! — воскликнула она. — В самом деле, попроси мистера Уайлдинга отказаться от дуэли.

— Но как я смогу добиться этого? — нерешительно проговорила Руфь.

— Он не посмеет отказать тебе, ты сама знаешь.

— Откуда же я знаю? — ответила Руфь. — Я даже не представляю, что могла бы ему сказать.

— Будь Ричард моим братом, я нашла бы подходящие слова. Подумай только: если дуэль состоится, он потеряет не только жизнь, но и честь. Будь я на твоём месте, я немедленно отправилась бы к мистеру Уайлдингу.

— Прямо к нему? — задумчиво произнесла Руфь и выпрямилась. — Но разве это возможно?

— Конечно же, конечно, — настаивала Диана. — Нелзя терять ни минуты.

Руфь поднялась со скамейки, сделала пару шагов в сторону реки и, задумавшись, остановилась. Диана, словно игрок, поставивший все свое состояние на последнюю карту, с трудом скрывала волнение, наблюдая за ней — ведь для нее речь шла об устранении соперницы.

— Я не пойду одна, — нерешительно произнесла Руфь.

— Ну, если дело только в этом, — сказала Диана, — то я готова составить тебе компанию.

— Но как я смогу вынести такое унижение?!

— Вспомни лучше о Ричарде, — был готов ответ у этой белокурой соблазнительницы. — И не сомневайся, мистер Уайлдинг избавит тебя от унижения. Он не откажет тебе, если ты его попросишь; я знаю, что он сделает — он признает себя виновным. Он вполне может позволить себе такое, поскольку его мужество слишком хорошо всем известно, чтобы усомниться в нем.

Она встала, подошла к Руфи и вновь обняла ее за талию.

— Сегодня вечером ты поблаговаришь меня, — заверила она ее. — Почему ты медлишь? Неужели столь ничтожное унижение для тебя значит больше, чем жизнь и честь Ричарда?

— Нет, нет, — слабо запротестовала Руфь.

— Тогда что же? Неужели Ричард, прежде чем погибнуть от руки человека, которого он оскорбил, погубит и свою честь, показав свой страх?

— Я согласна, — сказала Руфь. — Идем же, Диана. — Теперь, когда решение было принято, она заговорила оживленно и нетерпеливо. — Мы немедленно отправляемся в Зойланд-Чейз, и пусть Джерри седлает для нас лошадей.

Не сказав ни слова Ричарду, который заперся с Вэлэнси, они выехали из дома, пересекли мост через реку и поскакали на юг, в сторону Вестон-Зойланда, по дороге, огибающей Седжмурское болото. Но, не доехав примерно милю до Зойланд-Чейза, Диана неожиданно вскрикнула и резко натянула поводья. Руфь тоже придержала лошадь и поинтересовалась, что случилось.

— Это, наверное, солнце, — пробормотала Диана. — Мне нехорошо, у меня кружится голова.

Руфь проворно прыгнула на землю и поспешила к ней. Диана тяжеломерно спешила. Она выглядела бледной и утомленной, но Руфи было невдомек, что ее состояние определялось лишь волнением и неуверенностью в успехе задуманной хитрости.

— Не мешкай, Руфь, — взмолилась Диана. — Я сумею отдохнуть вон там. — И она сделала слабый жест рукой в сторону стоявшего неподалеку небольшого домика, где жила пожилая леди, их добрая знакомая.

— Но я не могу тебя бросить, — твердо сказала Руфь.

— Вспомни о Ричарде, — настаивала Диана, — ведь речь идет о его жизни. Руфь, дорогая, поезжай скорее, поезжай в Зойланд. Мне скоро станет лучше, и я догоню тебя.

— Я останусь здесь, — не уступала Руфь.

При этих словах Диана выпрямилась и, пошатнувшись, схватилась за руку своей кузины.

— Тогда в дорогу, сейчас же! — с усилием, словно ей было трудно говорить, вымолвила она.

— Диана, ты еле стоишь на ногах! — воскликнула Руфь.

— Нельзя терять ни минуты. В любой момент мистер Уайлдинг может уехать, и все будет потеряно. Я не хочу, чтобы кровь Ричарда была на мне.

Руфь в отчаянии заломила руки. Стоявшая перед ней дилемма казалась ей неразрешимой: нельзя было позволить Диане в таком состоянии сопровождать ее, но задержка действительно могла стоить жизни Ричарду. Мысль о том, чтобы появиться в Зойланд-Чейзе одной, казалась ей абсолютно недопустимой, однако, склонная по характеру к героическим поступкам, Руфь решила, что сейчас не время колебаться. Проводив Диану к домику, где жила их общая знакомая, и взяв со своей кузины слово, что она останется там, пока не пройдет ее слабость, Руфь поскакала дальше.

УСЛОВИЯ СДАЧИ

— **М**истер Уайлдинг уехал сегодня утром вместе с мистером Тренчардом, мадам, — объявил Уолтер, дворецкий в Зойланд-Чейзе.

Старый слуга немало повидал на своем веку, но и он с трудом смог скрыть удивление при виде госпожи Уэстмакотт, рискнувшей в одиночку приехать к его господину.

— Уехал... утром? — пробормотала Руфь и на мгновение нерешительно замерла в тени огромного крыльца.

Если он уехал утром, значит, его отъезд никак не был связан с дуэлью — они с Дианой покинули Бриджуотер около одиннадцати, и, следовательно, он непременно должен вернуться домой, прежде чем отправится драться с Ричардом.

— Он сказал, когда вернется? — собравшись с духом, спросила Руфь.

— Он велел ждать его к полудню, мадам, — получила она ответ, будто бы подтверждающий ее предположения.

— Значит, он может появиться в любой момент? — задала она еще один вопрос.

— В любой момент, мадам, — с важностью ответил дворецкий.

— Тогда я подожду его, — решительно заявила она, к величайшему изумлению слуги. — Позаботьтесь о моей лошади.

Он поклонился ей, и Руфь последовала за ним по вымощенному камнем вестибюлю, затем через огромный, сумрачный зал в просторную библиотеку.

— За мной сюда едет госпожа Гортон, — сообщила она дворецкому. — Как только она объявится, будьте добры, приведите и ее сюда.

Еще раз молчаливо поклонившись, седовласый слуга закрыл за собой дверь и оставил ее в одиночестве. Она впервые оказалась в доме мистера Уайлдинга и чувствовала себя взволнованной и испуганной. Его дед в свое время много путешествовал; по возвращении он построил Зойланд-Чейз в соответствии с итальянскими канонами архитектуры, столь поразившими его воображение, и не поскупился украсить апартаменты многочисленными произведениями искусства, которые привез с собой из-за

границы. Она бросила перчатки и хлыст на стол, уселась в стоявшее рядом кресло и стала ждать. Побежали минуты, и тишина, царившая в огромном доме, подействовала на нее успокаивающе. Часы церкви в Вестон-Зойланде пробили двенадцать, и почти сразу же она уловила стук копыт. Может быть, это Диана?

Она поспешила к окну и успела заметить очертания двух фигур — мистера Уайлдинга и мистера Тренчарда. Она почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица, а в груди опять испуганно заколотилось сердце. Ей захотелось вылезти в окно и бежать отсюда без оглядки, и наверняка она так бы и поступила, если бы не вспомнила о Ричарде и грозящей ему опасности.

Она услышала мужские голоса и резкий смех Ника Тренчарда.

— Дама?! — донеслось до нее его восклицание. — Черт возьми, Тони! Разве сейчас время якшаться с красотками?

Она покраснела и сжала зубы, но продолжения не последовало, голоса быстро удалились, и вновь все стихло. Но вскоре за дверью библиотеки послышались быстрые шаги и звяканье шпор, а еще через мгновение мистер Уайлдинг, в ярко-красном костюме для верховой езды и белых от пыли сапогах, поклонился ей с порога.

— Ваш покорный слуга, госпожа Уэстмакотт, — негромко проговорил он. — Какая честь увидеть вас в моем доме!

Не сумев найти подходящего ответа, она молча присела в реверансе и опять побледнела. Он повернулся к следовавшему за ним Уолтеру, чтобы отдать ему шляпу, хлыст и перчатки, закрыл за ним дверь и приблизился к ней.

— Прошу простить мой не совсем подходящий случаю наряд, — сказал он. — Я подумал, что, прождав меня, как сказал Уолтер, почти час, вы, быть может, торопитесь. Не желаете присесть? — И он пододвинул к ней кресло.

Его вытянутое, бледное лицо напоминало маску, однако темные, слегка раскосые глаза пожирали ее. Ему не составляло большого труда догадаться о цели ее визита. Женщина, унижавшая и доведшая его почти до пределов отчаяния, была теперь в его власти, и под личиной безразличия его душа ликовала.

— Мой визит... наверное, удивил вас, — неуверенно начала она, словно не замечая предложенного кресла.

— Вовсе нет, — мягко ответил он. — О его причине,

я думаю, нетрудно догадаться. Вы ведь пришли по просьбе Ричарда?

— Отнюдь, — ответила она. Теперь, когда лед был сломан и неопределенность ожидания осталась позади, она почувствовала, как к ней быстро возвращается мужество. — Эта дуэль не должна состояться, мистер Уайлдинг, — заявила она.

Его брови, такие же тонкие и ровные, как у нее, удивленно поползли вверх, и на губах появилось слабое подобие улыбки.

— Я считаю, что Ричард сам должен предотвратить ее, — сказал он. — Такая возможность была у него прошлой ночью. И она вновь ему представится, когда мы встретимся. Если он выразит свое сожаление...

Он оставил предложение незаконченным. В сущности, он насмеялся над ней, хотя она об этом и не подозревала.

— Вы хотите сказать, что он должен извиниться? — медленно проговорила она.

— А что же еще остается?

Она покачала головой.

— Это невозможно, — решительно сказала она. — Простой ночью он мог бы еще это сделать без ущерба для своей чести. Сегодня уже слишком поздно. Произнести извинения прямо перед дуэлью равносильно признанию себя трусом.

Мистер Уайлдинг надул губы и переступил с ноги на ногу.

— Это непросто, — сказал он, — но вполне возможно.

— Это невозможно, — продолжала настаивать она.

— Не будем спорить из-за слов, — дипломатично ответил он. — Пускай невозможно, если хотите. Но иного я не могу предложить. Вы должны согласиться, мадам, что, даже приняв извинения вашего брата, я поступаю чрезвычайно лояльно по отношению к вам. Но если вы, чьим пожеланиям я с радостью повинуюсь, — при этом он поклонился, а она поморщилась, — интересуетесь моим мнением, то я никогда и никому не прошу такого оскорбления, которое нанес мне ваш брат.

— Вы немилосердны, — сказала она, — предлагая ему выбирать между смертью и бесчестьем.

— Дуэль сама выберет победителя, — ответил Уайлдинг.

— По-моему, вы смеетесь надо мной, — произнесла она, нервно, с негодованием вскинув голову.

Он пристально посмотрел на нее.

— Будьте со мной откровенны, мадам. Чего вы от меня ждете? — спросил он.

Ее щеки зарделись под его взглядом, и мистер Уайлдинг понял, что догадался правильно, — она пришла к нему, питая слабую надежду, что он поведет себя как рыцарь и сам скажет те слова, которые вертелись у нее на языке, но произнести их сейчас ей не хватало мужества. Но, чтобы наказать ее за насмешки, чуть было не превратившие его любовь в ненависть, он отнюдь не собирался делать этого, — хотя в тот момент он еще не знал, удовлетворит ли ее просьбу, если таковая все же будет высказана. Она молча склонила голову, а мистер Уайлдинг, все с той же полунасмешливой-полудружеской улыбкой на устах, не спеша подошел к окну. Спрятав глаза под вуалью длинных ресниц, она украдкой наблюдала за ним, ощущая, как с каждой минутой в ней растет чувство ненависти к нему; он был слишком уверен в себе — уже за одно это его можно было ненавидеть, — но мало того: он заставил ее расписаться в собственном бессилии, ловко сыграв на ее привязанности к брату, и теперь ситуация полностью находилась в его руках. И однако же, помимо своей воли, она не могла не отметить его элегантный вид и аристократичную манеру поведения.

— Вы же видите, мисс Уэстмакотт, — все так же стоя вполоборота к ней, проговорил он, и его голос был ласковым и почти печальным, — что ничего другого не остается.

Ее взгляд рассеянно скользнул по орнаменту паркетного пола. Не дождавшись от нее ответа, он вновь, не меняя позы, заговорил, и на этот раз внимательное ухо могло бы уловить в его словах слабый намек на насмешку:

— Если же вас это не устраивает, то для меня остается загадкой, почему вы, рискуя скомпрометировать себя, все же решились приехать сюда.

Она испуганно взглянула на него.

— Ском... Скомпрометировать себя? — запнувшись, откликнулась она.

— А как вы думали? — спросил он, резко поворачиваясь к ней лицом.

— Со мной... Со мной была госпожа Гортон, — задыхаясь, ответила Руфь, и ее голос задрожал, будто она вот-вот расплачется.

— Как жаль, что вы расстались с ней, — посочувствовал он.

— Но... Но, мистер Уайлдинг, я... я полагаюсь на

вашу честь. Я считала вас джентльменом. Я думала, вы сохраните в тайне, что я... была у вас. Так ведь?

— В тайне? — удивился он. — Мадам, мои слуги уже говорят о вашем визите, а это значит, что завтра весь Бриджоутер будет знать об этом.

Она почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног, и, не в силах произнести хотя бы слово, она лишь неотрывно смотрела на него расширившимися от ужаса глазами. Она выглядела настолько несчастной и потерянной, что сердце Уайлдинга дрогнуло. Он ощутил укол совести за свою жестокость, а затем, совершенно неожиданно для него самого, все его существо захлестнула давно сдерживаемая страсть. Его щеки слегка порозовели, он быстро шагнул к ней и нервным движением схватил ее руку.

— Руфь, Руфь! — вскричал он, и его голос впервые прозвучал нетвердо. — Забудьте обо всем! Я люблю вас, Руфь. Одно ваше слово, и ваше имя останется незапятнанным.

Она с трудом проглотила комок в горле.

— Какое же слово? — машинально спросила она.

Он низко склонился к ее руке, пряча от нее лицо.

— Слово согласия, — если вы окажете мне честь, выйдя за меня замуж... — Он не окончил фразы, поскольку она резко выдернула свою руку.

Щеки девушки горели, а глаза пылали негодованием. Он сделал шаг назад и тоже покраснел. Теперь его душила ярость. Ни о каком снисхождении больше не могло быть и речи.

— О! — воскликнула она. — Это оскорбление. Сейчас не время и не место...

Не дав ей закончить, он стремительно притянул ее к себе и крепко сжал в объятиях.

— Именно сейчас самое подходящее время и место для любви, поскольку жизнь полна неожиданностей и коротка, — проговорил он, приблизив свое лицо к ней, и от неожиданности она даже не попыталась оказать сопротивление. — Я боготворил вас, но вы ответили мне насмешкой. Однако, клянусь, вы полюбите меня — даже вопреки самой себе.

Она откинула голову назад, настолько, насколько позволяла его хватка, и лишь слабо причитала: «Пустите! Пустите!»

— Не волнуйтесь, я отпущу вас, — с глухим смешком ответил он. — Но сперва послушайте меня, не ради меня

или себя — ради Ричарда. Я знаю, как спасти и жизнь и честь Ричарда. Вы тоже знаете, но хотите, чтобы я сам сказал об этом. Вы не учили только одного — моей любви. Одно ваше слово, Руфь, и Ричарду нечего будет бояться, а сегодня вечером, когда мы с ним встретимся, я сам принесу извинения и признаюсь, что его вчерашний поступок был заслуженным наказанием за упоминание вашего имени в неподходящей компании. Все это я исполню, если ответите на мои чувства.

Она взглянула на него со страхом и надеждой одновременно.

— Каким образом? — еле слышно спросила она.

— Обещайте стать моей женой.

— Вашей женой?! — с негодованием воскликнула она и попыталась вырваться из его объятий. — Пустите меня, трус! — с этими словами ей удалось освободить одну руку, которой в следующее мгновение она ударила его по лицу.

Его руки бессильно опустились, и он, бледный и дрожащий, сделал шаг назад. Пламя, сверкавшее в его глазах, потухло, словно задутое ледяным порывом ветра, и они смотрели теперь тупо и безжизненно.

— Пусть будет так, — проговорил он и быстро подошел к висевшему около двери шнурку для колокольчика. — Я не хочу больше оскорблять вас, и ни за что не оскорбил бы, — словно поясняя, продолжал он, и его голос звучал холодно и безразлично, — если бы мне не казалось, что в тот момент, когда я возник в вашей жизни, вы отнеслись ко мне благосклонно.

Его пальцы сомкнулись на шнурке, и она догадалась о его намерении.

— Подождите! — вскричала она, протягивая к нему руки. Он помедлил. — Вы... вы не убьете Ричарда? — спросила она.

Его резко взлетевшие брови были для нее красноречивее любого ответа. Он дернул за шнурок. Где-то в глубине дома мелодично звякнул колокольчик.

— О, подождите, подождите! — взмолилась она, прижимая руки к щекам. — Если... если я соглашусь... то как скоро?..

Уайлдинг понял смысл этого неоконченного вопроса, и его глаза оживились. Он сделал к ней шаг, но вновь остановился, увидев ее смещение.

— Если вы пообещаете выйти за меня замуж на этой

неделе, то Ричард может не беспокоиться ни за свою жизнь, ни за честь.

Она почувствовала, как к ней возвращается ее привычное самообладание.

— Хорошо, — неожиданно твердо произнесла она, — заключим сделку: если вы пощадите жизнь и честь Ричарда — и то, и другое, запомните, то в следующее воскресенье...

На последних словах обретенное было мужество изменило ей и ее голос сорвался. Не в силах добавить ничего больше, она замолчала, так и оставив последние слова висеть в воздухе.

Мистер Уайлдинг судорожно вздохнул и сделал еще один шаг к ней.

— Руфь! — с чувством раскаяния в голосе вскричал он, готовый в эту секунду к безоговорочной капитуляции. Чуть не стора от стыда, он уже собирался сказать ей, что пощадит Ричарда и ничего не потребует от нее взамен, но ее красноречивый, полный презрения жест, которым она как бы запрещала ему подходить ближе, остановил его. Пытаясь справиться с собой, он замер на месте. Дверь отворилась, и на пороге появился Уолтер.

— Госпожа Уэстмакотт уезжает, — сообщил ему Уайлдинг и низко поклонился ей в знак прощания. Она прошла мимо него, не проронив ни слова, и старый слуга последовал за ней. Не сходя с места, мистер Уайлдинг проводил ее взглядом и погрузился в глубокую задумчивость, из которой его вывело только появление Ника Тренчарда.

— К старости мои глаза, Энтони, стали изменять мне, — сказал тот, пристально взглянув на своего друга. — Не обманули ли они меня и на этот раз? Я имею в виду твою посетительницу.

— Леди, которая только что ушла отсюда, — несколько сурово произнес Уайлдинг, — будет через неделю госпожой Уайлдинг.

Мистер Тренчард вынул изо рта длинную глиняную трубку, с которой не расставался ни при каких обстоятельствах, и выпустил огромный клуб дыма.

— Черт побери! — изумился он. — Как можно жениться сейчас, когда вот-вот объявится Монмут?

Уайлдинг с досадой взмахнул рукой.

— Я уже говорил тебе, Ник, что это все вранье, зря ты мне не веришь, — проговорил он, усаживаясь в кресло за своим письменным столом.

Ник подошел к нему и взгромоздился на край стола. — А что ты скажешь насчет перехваченного письма из Лондона к нашим друзьям в Тонтоне? — спросил он.

— Ничего. Но я совершенно уверен, что его светлость тут ни при чем. Пока Баттискомб не вернется в Голландию, он будет лежать тихо, а Баттискомб все еще в Чeshire.

— И все-таки на твоем месте я повременил бы с женитьбой.

— На моем месте, — улыбнулся Уайлдинг, — ты ни за что не женился бы.

— Клянусь, никогда! — воскликнул Тренчард. — Я с большей охотой сыграю в прятки или в жмурки. Это куда веселее и скорей кончается.

Глава пятая

ДУЭЛЬ

Руфь Уэстмакотт ехала домой как во сне, едва ли отдавая себе отчет в том, что происходит вокруг. Она была настолько потрясена случившимся, что не вспомнила о Диане до тех пор, пока не увидела ее у себя дома. Она нашла свою кузину в слезах, в компании ее матери, сурово выговаривавшей ей. Оказалось, Диана прибыла в Люттон-хаус полчаса назад и выразила удивление — искреннее или наигранное — по поводу отсутствия Руфи. Почувствовав беспокойство, которое Диана постаралась не особенно скрывать, леди Гортон с пристрастием допросила дочь и, узнав обо всех деталях поведения своей племянницы, пришла в такое негодование, что пригрозила немедленно забрать Диану отсюда и отвезти ее домой, в Тонтон.

И теперь, когда Руфь наконец появилась, на ее голову посыпались упреки.

— Как я ошиблась в тебе, Руфь! — с пафосом воскликнула эта достойная дама, обычно мягкая и добродушная. — Я не могу поверить своим ушам. Ты всегда была образцом для Дианы — и вот на тебе! Ты одна отправляешься в дом мужчины, и не какого-нибудь, а мистера Уайлдинга!

— Некогда было думать об условностях, — с усталым безразличием ответила Руфь. — Надо было спасать Ричарда.

— А стоило ли губить себя ради этого? — спросила леди Гортон, повышая голос.

— Губить себя? — откликнулась Руфь и слабо улыбнулась. — Я и в самом деле погубила себя, но не так, как вы думаете.

Озадаченные мать и дочь уставились на нее.

— Прежде всего ты погубила свою репутацию, — сказала леди Гортон и, не удержавшись от насмешки, добавила: — Если только он не попросил тебя стать его женой.

— Именно это мистер Уайлдинг имел честь предложить мне, — с горечью проговорила Руфь. — Мы поженимся в следующее воскресенье.

Ее слова были встречены гробовым молчанием, обе женщины лишь остолбенело главели на нее. Затем Диана медленно поднялась. Бледное, искаженное мукой лицо кузины наполнило ее сердце раскаянием и сожалением. Это была ее работа, результат ее интриги. Но она никак не могла предвидеть такой скорой развязки, и, хотя все случившееся как нельзя лучше совпадало с ее самыми сокровенными надеждами, в первый момент она испугалась и почувствовала себя виноватой.

— Руфь! — воскликнула она. — О, если бы я поехала с тобой!

— Но тебе ведь стало плохо, — ответила Руфь, вспоминая хитрость Дианы. — Как ты себя чувствуешь сейчас? — с неподдельной заботой спросила она кузину.

— Со мной все в порядке, — чуть ли не огрызнулась та, но затем, спохватившись, повторила с оттенком сожаления: — О, если бы я поехала с тобой!

— Ничего не изменилось бы, — с усилием проглотив комок в горле, заверила ее Руфь. — Мы заключили с мистером Уайлдингом сделку, и я заплатила за жизнь и честь Ричарда. Кстати, где он?

— Полчаса как ушел с мистером Вэлэнси и сэром Роландом, — ответила леди Гортон.

— Значит, сэр Роланд вернулся? — удивилась Руфь.

— Да, но лорд Джервейз ничем не помог ему, — ответила Диана. — Его светлость не намерены вмешиваться. Он поклялся, что мистер Уайлдинг сдерет со щенка шкуру живьем. Именно так его светлость выразились, и сэр Роланд очень беспокоится за Ричарда.

— Теперь ему не о чем беспокоиться, — с горькой улыбкой сказала мисс Уэстмакотт и, обессиленная, опустилась в кресло.

Леди Гортон, повинаясь неожиданно заговорившим в ней материнским чувствам, поспешила к ней, выросшей без матери, со словами утешения. Она усматривала в поведении Руфи слабость и безрассудство, хотя вряд ли еще какая-нибудь девушка смогла бы поступить в подобной ситуации более мужественно и разумно.

А тем временем Ричард и двое его друзей скакали в сторону лежащих за рекой болот, где должна была состояться дуэль. Но еще прежде, чем они выехали из Люптон-хауса, мистер Вэлэнси успел не раз пожалеть, что согласился ввязаться в эту ссору. Сегодня утром он нашел Ричарда в жалком состоянии, бледного и дрожащего, подавленного мыслью о неизбежной смерти и словно предвкушающего ее.

— Это твой день, Дик, — бодро приветствовал Вэлэнси Ричарда. — Повеса Уайлдинг уехал сегодня в Тонтон и вернется лишь к полудню. Подумать только! Более двадцати миль в седле, прежде чем взяться за оружие. Ты когда-нибудь слышал о подобном безумии? Да он станет как палка после такой гонки, и у тебя не будет с ним проблем.

Ричард рассеянно слушал и, заметив, что его секундант пристально наблюдает за ним, попытался улыбнуться.

— Что с тобой, приятель? — вскричал мистер Вэлэнси, когда увидел жуткую гримасу, искажившую лицо Ричарда, и схватил его за подрагивающее запястье. — Убей меня, но ты в никудышной форме. Какая муха тебя укусила?

— Я нездоров сегодня, — тихо ответил Ричард. — Это все кларет⁵ лорда Джервейза, — добавил он, проводя рукой по лбу.

— Кларет лорда? — в ужасе переспросил Вэлэнси, словно услышав вопиющую ересь. — Его фронтиньяк по десять шиллингов за бутылку?!

— Кларет всегда плохо ложится на мой желудок, — объяснил Ричард, намереваясь свалить ответственность за свое состояние на вино лорда Джервейза.

Мистер Вэлэнси подозрительно взглянул на него.

— Черт возьми, — выругался он, — если ты собираешься драться, тебе надо сперва прийти в чувство.

Он позвонил в колокольчик и, не дожидаясь согласия Ричарда, велел принести им две бутылки канарского⁶ и бутылку бренди. Мистер Вэлэнси очень добросовестно относился к своим обязанностям секунданта и теперь собирался хоть таким образом помочь Ричарду возместить испарившееся за ночь мужество.

Ричарда, никогда не отказывавшегося поднять настроение, не пришлось долго упрашивать отведать коктейль из канарского и доброй порции бренди, а затем, чтобы отвлечь юношу от мрачных мыслей, мистер Вэлэнси завел речь о протестантском герцоге и его правах на корону Англии. Когда сэр Роланд вернулся из Скорсби-Холла с печальным известием о своей неудаче, они все еще сидели за столом и Ричард медленно, но верно пьянел. Ричард шумно приветствовал Блейка и, рассыпая проклятия и угрозы в адрес мистера Уайлдинга, велел тому спросить у слуг еще один стакан. Постепенно теряя рассудок под действием крепкого напитка, которым потчевал его мистер Вэлэнси, он становился свирепым и неистовым, словно подгулявший дровосек.

— Черт возьми! — недовольно выругался Блейк. — Если ты в таком состоянии собираешься драться, я, пожалуй, заранее попрошу у тебя те восемь гиней, что ты проиграл мне вчера.

Опираясь на край стола, Ричард с трудом поднялся и уставился на Блейка, пытаясь поймать его взгляд.

— Проклятье! — взревел он. — Ты хочешь обесчестить меня, но обесчестишь скорее себя. Ты получишь их, когда мы вернемся, и ни секундой раньше.

— Х-мм! — проворчал Блейк, для которого восемь гиней представлялись немалыми деньгами. — А если ты не вернешься, кто мне их отдаст?

Это очевидное предположение, видимо, дошло до затуманенного алкоголем сознания Ричарда, поскольку на его лице отразился испуг.

— Черт побери, Блейк, — выругался мистер Вэлэнси сквозь зубы. — Разве можно так говорить перед дуэлью. Не обращай на него внимания, Дик! Пусть он подождет свои stokлятые гиней.

— Какие там сто! — захихикал Ричард. — Да их всего-то восемь. Но все равно потерпи, пока я не перережу глотку этому Уайлдингу. — Он остановился, будто пораженный внезапной мыслью, и высокопарно произнес: — Я окажу плохую услугу герцогу. Это измена — никак не меньше.

С последними словами он изо всех сил ударил ладонью по столу.

— Что, что? — быстро спросил оживившийся Блейк, и мистер Вэлэнси поспешил загладить промашку, сделанную его братом-заговорщиком.

— Галлюцинации после бренди и канарского, — рас-

смеялся он, поднимаясь из-за стола, и тут же заявил, что им пора ехать.

Сборы отвлекли Ричарда от мыслей о герцоге и лишили Блейка возможности вытянуть из него более подробные сведения. Но слово не воробей, и разбуженные подозрения сэра Роланда не собирались успокаиваться. Он знал о слухах, циркулировавших в окрестностях, а вспомнив о намеках, которыми обменивались в последние дни Ричард и Вэлэнси, подумал, что Ричард, скорее всего, имел в виду не кого иного, как герцога Монмутского. И сама поспешность, с которой мистер Вэлэнси отреагировал на оплошность Ричарда, лишь подтверждала такое предположение. Что ж, если мистер Уэстмакотт действительно замешан в этом деле, размышлял Блейк, то ему может представиться отличная возможность поправить свои расстроенные финансовые дела. Однако в данный момент он счел за лучшее усыпить их бдительность и не проявлять особого любопытства. Они проехали через Бриджуотер и первыми прибыли на место дуэли — большую лужайку, расположенную на краю Седжмурского болота, под защитой Тюльденского холма. Им не пришлось долго ждать мистера Уайлдинга и мистера Тренчарда, и их появление возымело отрезвляющее действие на Ричарда — последнее обстоятельство особенно порадовало мистера Вэлэнси, уже начинавшего испытывать сильные сомнения насчет целесообразности собственного усердия в накачивании Ричарда «заменителем мужества».

Мистер Вэлэнси и мистер Тренчард уже было собирались выбрать место для схватки, когда к ним подошел мистер Уайлдинг.

— Мистер Вэлэнси, — с отсутствующим видом щелкая хлыстом по траве, начал он, — не будете ли вы так любезны позвать сюда мистера Уэстмакотта?

— Но зачем, сэр? — удивленно спросил мистер Вэлэнси.

— Я должен кое-что сказать ему, — все так же безразлично продолжал он. — Я не намерен драться с мистером Уэстмакоттом.

— Энтони! — вскричал Тренчард, изумленный настолько, что даже забыл выругаться.

Мистер Вэлэнси подумал, что такое известие наверняка придется по сердцу Ричарду. Однако он не представлял себе, каким образом можно было бы избежать дуэли, и высказал свои сомнения мистеру Уайлдингу.

— Вы узнаете это, как только исполните мою прось-

бу, — ответил тот, и мистер Вэлэнси, фыркнув и пожав плечами, отправился за Ричардом.

— Ты намерен, — кипя от негодования, спросил мистер Тренчард, — оставить в живых человека, оскорбившего тебя?

Уайлдинг взял своего друга за плечо.

— Это мой каприз, — мягко сказал он. — Как ты считаешь, Ник, я могу позволить его себе?

— Почему бы и нет, — ответил тот, — однако...

— Я так и думал, — проговорил мистер Уайлдинг, прерывая его, — и если кто-нибудь позволит себе в чем-либо усомниться, я всегда готов доказать, что он ошибается.

Он рассмеялся, и мистеру Тренчарду не оставалось ничего иного, как присоединиться к нему. Затем Ник пустился излагать терзавшие его сомнения относительно лояльности Ричарда и посоветовал ему — в интересах их движения и ради собственной безопасности — заставить Ричарда замолчать.

— При чем тут моя безопасность? — возразил Уайлдинг. — Ведь он должен быть благодарен мне.

Мистер Тренчард снисходительно улыбнулся.

— Нет более мстительного чувства, чем злоба пощаженого ничтожества. Умоляю, подумай об этом. — Он понизил голос и прервал свои наставления, поскольку мистер Вэлэнси и мистер Уэстмакотт, в сопровождении сэра Роланда Блейка, приближались к ним.

Ричард, чье мужество убывало до этого с каждой минутой, приближавшей дуэль, теперь шел с высоко поднятой головой и надменной миной на лице. Еще бы! Его вчерашний расчет полностью оправдался: мистер Уайлдинг, обдумав случившееся и поняв свою ошибку, собирается извиниться перед ним, и с его, Ричарда, стороны было глупо предаваться столь необоснованным страхам.

— Мистер Уэстмакотт, — тихо проговорил мистер Уайлдинг, в упор глядя в глаза Ричарду и чуть улыбаясь, — я пришел сюда не для того, чтобы драться, а чтобы принести свои извинения.

Ричард не стал скрывать своей усмешки. Теперь, когда опасность миновала, мужество быстро возвращалось к нему и безудержная дерзость готова была вот-вот перелиться через край.

— Что ж, мистер Уайлдинг, — оскорбительным тоном произнес он, — это ваше личное дело.

— Именно так, — мягко и смиренно, словно монах, ответил мистер Уайлдинг, и мистер Тренчард разразился проклятиями.

— Все дело в том, — продолжал мистер Уайлдинг после небольшой паузы, — что вчера ночью я находился под воздействием выпитого вина и теперь глубоко сожалею об этом. Я признаюсь, что спровоцировал ссору, упомянув имя госпожи Уэстмакотт, чем подал мистеру Уэстмакотту повод оскорбить меня. Я приношу свои искренние извинения и надеюсь, что они будут приняты.

Вэлэнси и Блейк от изумления замерли, не в силах произнести ни слова, мистер Тренчард побледнел от ярости, а мистер Уэстмакотт сделал два шага вперед и, все так же кривя нижнюю губу в презрительной усмешке, произнес:

— Раз мистер Уайлдинг настаивает, придется принять их.

Эти слова были произнесены с таким откровенным оттенком сожаления, что терпению мистера Тренчарда пришел конец.

— Если мистер Уэстмакотт считает себя разочарованным, — выпалил он, — и не прочь поупражняться в занятии, которого лишился сегодня, то я всегда к его услугам.

Мистер Уайлдинг предостерегающе опустил руку на плечо Тренчарда. Ричард резко повернулся к нему, и усмешка исчезла с лица юноши.

— Я не ссорился с вами, сэр, — с трудом сохраняя чувство собственного достоинства, проговорил он.

— Это легко поправить, — огрызнулся мистер Тренчард и уже, как впоследствии сам признавался, готов был швырнуть свою шляпу в лицо Ричарда, если бы мистер Уайлдинг не удержал его.

Положение спас Вэлэнси.

— Мистер Уайлдинг, — в душе проклиная идиотизм Ричарда, сказал он, — вы чрезвычайно великодушны. Немного найдется счастливых, которые способны поступить так же, как вы, и не покрыть себя бесчестьем.

— Вы очень любезны, сэр, — ответил мистер Уайлдинг, сделав поклон.

— Вы дали полное удовлетворение мистеру Уэстмакотту; мое уважение к вам стало еще больше, и я готов признать это от его имени.

— Вы, сэр, воистину сама изысканность, — проговорил

мистер Уайлдинг, оставив Вэлэнси в недоумении, не смеются ли над ним.

Однако дело действительно так и закончилось, несмотря на попытки мистера Тренчарда придать ему иной оборот. Уайлдинг буквально утащил его с места несостоявшегося поединка, но всю дорогу, пока они ехали к Зойланд-Чейзу, старый забияка не переставал удивляться чудачеству своего друга.

— Я молю небеса, — непрестанно повторял он, — чтобы тебе не пришлось дорого заплатить за это.

— Довольно же, в конце концов! — воскликнул мистер Уайлдинг, выведенный из терпения. — Разве я могу жениться на девушке, перед свадьбой зарезав ее брата?

И изумленный мистер Тренчард, не переставая испытывать сожаление, что Ричард остался жив, обозвал себя в душе дураком и тупицей, поскольку должен был догадаться об этом раньше.

Глава шестая

ЗАЩИТНИК

Вряд ли кто из сопровождавших Ричарда Уэстмакотта к месту предполагаемой дуэли мог предположить, что он будет возвращаться оттуда в столь приподнятом расположении духа. Казалось, не будет конца его разглагольствованию, как мистер Уайлдинг находился на волосок от гибели и чем бы завершилась их дуэль, если бы он вовремя не одумался. Его хвастливая речь и уверенные манеры произвели некоторое впечатление на сэра Роланда, но мистер Вэлэнси, который прекрасно помнил, в каком состоянии нашел юношу и каким способом его удалось привести в чувство, испытывал к нему такое отвращение, что сам был готов немедленно затеять с ним ссору. Чтобы не поддаться этому искушению, мистер Вэлэнси, доехав до первого же перекрестка, довольно язвительно поздравил Ричарда с благополучным исходом и затем откланялся, сославшись на неотложные дела, которые ждали его у лорда Джервейза. Блейк, стораая от любопытства поскорее узнать о характере этих дел, попытался задавать Ричарду наводящие вопросы, но тот слушал только самого себя, и сэр Роланд остался разочарован.

Наконец они приехали в Люптон-хаус, и когда Ричард развязной походкой шел к поджидавшим его дамам —

Руфь и леди Гортон сидели на скамейке, а Диана устроилась на сиденье, устроенном вокруг ствола огромного дуба в середине лужайки, — это был совсем не тот бледный, испуганный Ричард, которого они видели несколькими часами раньше. Теперь он выглядел уверенным в себе и был подчеркнуто безразличен к окружающим; и конечно же, от его взгляда ускользнула насмешливо-печальная улыбка, появившаяся на губах его сестры, когда он рассказывал, как мистер Уайлдинг предпочел благоразумие поединку. Трудно сказать, как долго еще распинался бы Ричард, если бы Диана не взяла на себя смелость открыть ему глаза на происходящее, тем более что ее подталкивал к этому собственный интерес — присутствие здесь сэра Роланда.

— Мистер Уайлдинг испугался? — чуть ли не взвизгнула она от негодования. — Ну-у-у, Ричард, мистер Уайлдинг никогда никого не боялся.

— Клянусь честью! — согласился с ней сэр Роланд. — Я совсем недавно знаком с ним, но, по крайней мере, сегодня он не выглядел испуганным.

Ричард почуял неладное, и его обычно бледное лицо порозовело, а глаза лихорадочно заблестели.

— На это могли быть причины, — туманно намекнула Диана, и глаза сэра Роланда настороженно сузились.

Вновь он вспомнил слова, которые вырвались утром из уст Ричарда. Несомненно, и мистер Уэстмакотт, и мистер Уайлдинг были замешаны в каком-то таинственном деле. И если Ричард считал, что их дуэль была бы предательством, то, возможно, и сам мистер Уайлдинг испытывал те же чувства, отказываясь от нее? Увидев, что Ричард с ленивой улыбкой отмахнулся от Дианы, сэр Блейк решил, что настало время вмешаться в разговор.

— Слушая вас, госпожа, — сказал он, — можно предположить, что вам известно, что это за причины.

Диана вопросительно взглянула на Руфь, но та сидела безучастно, словно речь шла не о ней. Леди Гортон тоже молчала и лишь внимательно смотрела на свою дочь.

— Известно, — произнесла Диана после небольшой паузы, не сводя глаз с Руфи.

Будь сэр Блейк более проницателен, он наверняка догадался бы, что ответ на его вопрос находится здесь, перед ним.

Но Ричарду, видимо, надоело играть в кошки-мышки,

и, чтобы положить конец этим недомолвкам, он с грубоватой прямоотой спросил Диану:

— Что ты имеешь в виду?

Однако Диана лишь пожала плечами.

— Спроси лучше Руфь, — ответила она.

Оба приятеля удивленно уставились на девушку, ожидая от нее разъяснений. Щадя самолюбие своего брата, Руфь нежно и жалостливо улыбнулась ему и тихо произнесла:

— Я помолвлена с мистером Уайлдингом.

Сэр Роланд непроизвольно шагнул вперед и замер как вкопанный. Ричард почувствовал, что сходит с ума или бредит.

— Это шутка, — натянуто рассмеявшись, сказал он, но в его голосе отсутствовала былая уверенность.

— Это правда, — все так же тихо заверила его Руфь.

— Правда? — переспросил он, и его лицо потемнело от гнева. — Ах ты...

Руфь поняла, что пора рассказать все.

— Я обещала выйти замуж за мистера Уайлдинга ровно через неделю, если он пощадит твою жизнь и честь, — спокойно произнесла она и добавила: — Мы с ним заключили сделку.

Застыв на месте, Ричард лишь тупо смотрел на нее. Новость оказалась слишком велика для него, чтобы проглотить сразу, и он осмысливал ее по кусочкам.

— Итак, — сказала Диана, — тебе известна цена, которую твоя сестра заплатила за твою жизнь, и теперь, когда ты будешь говорить об извинениях мистера Уайлдинга, пожалуйста, делай это потише.

Однако без сарказма вполне можно было обойтись. Прежнее настроение Ричарда улетучилось, как воздух из проколотого шарика, и он стоял перед ними уничтоженный и робкий. Наконец он начал понимать, чем пожертвовала ради него Руфь.

— Ты не делаешь этого! — внезапно вскричал он. — Руфь, ты не должна поступать так даже ради меня, — почти нежно продолжил он, подойдя к сестре и заботливо опустив руку ей на плечо.

— Клянусь, нет! — выпалил сэр Блейк, прежде чем она успела ответить, и в его восклицании прозвучали и бесконечная тоска и бурные эмоции. — Ты прав, Ричард, госпожа Уэстмакотт не Ифигения⁷ и не козел отпущения, то есть не... коза...

Но Руфь лишь улыбнулась.

— А что еще мне оставалось делать? — спросила она.

Ричард на секунду — всего лишь на секунду — хладнокровно взглянул в лицо опасности, не пугаясь даже угрозы смерти.

— Я возобновлю эту ссору, — объявил он. — Я смогу заставить мистера Уайлдинга драться со мной.

Руфь с гордостью и обожанием взглянула на брата. Ей было приятно слышать, как брат говорит о ней. Она вновь начала обретать уверенность, что он был отнюдь не трус, каковым она в сердцах заклеимила его, что его сегодняшнее состояние было вызвано исключительно плохим самочувствием, что свою дурацкую привычку допоздна засиживаться за бутылкой и за карточным столом он с возрастом сумеет преодолеть, и, самое главное, она получила доказательство, что он оказался достоин ее жертвы. Однако Диана, с удивлением наблюдавшая за происшедшей с ним переменой, ничуть не сомневалась, что он пожалеет о своем рвении, когда остынет.

— Это бесполезно, — наконец произнесла Руфь, не столько веря в то, что говорит, сколько опасаясь вновь подвергнуть жизнь Ричарда опасности. — Мистер Уайлдинг не захочет аннулировать сделку.

— Тогда его придется заставить, — прорычал Блейк и, шагнув к девушке, низко поклонился ей. — Мадам, — продолжил он, — позвольте ли вы защитить вас и убрать с вашей дороги этого назойливого мистера Уайлдинга?

Глаза Дианы сузились, а лицо побледнело. Руфь дружески улыбнулась сэру Роланду и медленно покачала головой.

— Благодарю вас, сэр, — сказала она. — Но это уже семейное дело.

Сэр Роланд никогда не отличался особой деликатностью, однако что-то в ее словах, несмотря на дружелюбность тона, намекало, что ему пора восояси. Попрощавшись со всеми, он поспешил удалиться, мысленно поклявшись, однако, разделаться с мистером Уайлдингом. Другого пути к сердцу Руфи, как он считал, у него быть не могло.

Диана встала и взглянула на свою мать.

— Идем, — сказала она, — Руфь и Ричард, наверное, хотят побыть одни.

Руфь благодарно взглянула на нее. Ричард понурил голову и задумчиво уставился в землю, словно ничего не слыша. Он так и стоял, пока их шаги не затихли

в отдалении, затем тяжело опустился на скамью рядом с сестрой и взял ее руки в свои ладони.

— Руфь... — неуверенно произнес он, — Руфь!

Она погладила его руку и с жалостью посмотрела на него, — жалея брата, она совсем забыла, что сама куда более его нуждается в участии.

— Тебе не стоит так сильно переживать, — успокаивающе, как мать ребенку, сказала она ему. — Рано или поздно я ведь должна была выйти замуж, и, может статься, мистер Уайлдинг окажется не такой уж плохой партией. Я не сомневаюсь, — добавила она исключительно для того, чтобы успокоить Ричарда, — что он любит меня, тем более что он ведь это уже доказывал.

Ричард застонал, будто от нестерпимой боли; лицо его стало бледным как мел, а глаза налились кровью.

— Я не допущу этого, я не выдержу такой пытки! — хрипло восклицал он.

— Ричард, дорогой... — начала было Руфь, но он резко вскочил на ноги.

— Я немедленно еду к мистеру Уайлдингу, — решительно заявил он. — Он должен отменить сделку, на которую не имел никакого права. Мы возобновим нашу ссору, как если бы ничего не случилось.

— Нет-нет, Ричард, так нельзя! — испуганно уговаривала она его, встав рядом с ним и прильнув к нему.

— Можно, — отозвался он. — Пусть я погибну, но тебе не придется жертвовать собой.

— Сядь, Ричард, — уговаривала она его. — Ты не все понимаешь. Если ты умрешь, если мистер Уайлдинг убьет тебя... — она оставила фразу незаконченной.

Он посмотрел на нее, и постепенно смысл ее последних слов возымел свое действие, и недавно обретенное в эйфории самолюбования мужество стало вновь покидать его. На его лице отразился страх. Он с трудом проглотил застрявший комок в горле и хрипло спросил:

— Что тогда? — Руфь решительно взяла его за руку и почти силой заставила сесть рядом с собой на скамью. Серьезно и обстоятельно она начала говорить о том, что он является главой семьи, последним мужчиной в роду Уэстмакоттов, а она всего лишь девушка, и само ее существование не имеет ни малейшего значения там, где речь идет о сохранении фамилии.

Она еще раз повторила, что рано или поздно вышла бы замуж и что нельзя придавать столь большого значения сплетням, распространяемым о мистере Уайлдинге; скорее

всего, он ничуть не хуже других мужчин, у него есть состояние и имя, носить которое не отказалась бы добрая половина женщин Сомерсета⁸.

Ее доводы разбудили его затаившееся на время малодушие, и в конце концов он позволил убедить себя, что его жизнь имеет слишком важное значение, чтобы рисковать ею в мелочной ссоре. Он не стал соглашаться с ней сразу же, сказав, что впереди еще целая неделя, чтобы все обдумать, однако обещал не предпринимать никаких шагов, не посоветовавшись предварительно с ней.

А тем временем Диана прощалась с сэром Роландом у главных ворот поместья.

— Сэр Роланд, — сказала она, — ваша галантность заставляет вас принимать происходящее слишком близко к сердцу. Поэтому вы не допускаете и мысли о том, что у моей кузины могут быть веские основания отказываться от вашей помощи.

Он пристально взглянул на эту невысокую девушку, которой месяц назад чуть было не сделал предложение и которая, как подсказывал ему инстинкт дамского угодника, все еще любила его.

— Что это значит, мадам? — спросил он.

— Я, по-моему, ясно выразилась, — ответила она после секундного замешательства. Диана явно что-то скрывала, и сэр Роланд мысленно похлопал себя по плечу за свою проницательность, не догадываясь, что увидел только то, что ему хотели показать.

— Я вас не понимаю, — сурово сказал он и тут же переменял тон на просительный, чуть ли не умоляющий. — Скажите мне, прошу вас!

— Не могу! Не могу! — в поддельном ужасе вскричала она. — Это было бы предательством.

Он нахмурился. Потом схватил ее руку и сильно сжал ее, а его сердце заныло от ревности.

— О чем вы говорите? Скажите же, скажите, госпожа Гортон! — воскликнул он.

Диана опустила глаза.

— Вы не выдадите меня? — попробовала она поставить условие.

— Ну, конечно же, нет. Говорите.

Она слегка покраснела.

— Я не хочу предавать Руфь, — сказала она, — но еще меньше я хочу видеть вас обманутым.

— Обманутым? — хрипло спросил он. — Обманутым?

— Руфь сегодня была у него в доме, — объяснила она, — и более часа оставалась с ним наедине.

— Невероятно! — воскликнул он.

— А где еще они могли бы договориться? — спросила она и, чтобы рассеять его последние сомнения, добавила: — Вы ведь знаете, что мистер Уайлдинг сегодня отсутствовал.

— Но она ездила ходатайствовать за Ричарда, — за-протестовал он, героически пытаясь сопротивляться.

Мисс Гортон взглянула на него, и под ее взглядом сэр Роланд почувствовал себя наивным мальчишкой. Затем она опустила глаза и выразительно пожала плечами.

— Вы ведь светский человек, сэр Роланд, — сказала она.

— Неужели вы можете всерьез предположить, что найдется девушка, способная безоговорочно пожертвовать своим добрым именем?

Цветущее лицо мистера Блейка потемнело.

— Вы хотите сказать, что она его любит? — полувопросительно-полуутвердительно сказал он.

— Вы сами сделаете выводы, — надув губы, ответила она.

Он тяжело дышал и поднимал свои широкие плечи, словно собирался сразиться с противником сильнее себя.

— А как же ее разговоры о жертве?

Диана рассмеялась, и вновь он почувствовал себя уязвленным, услышав нотку презрения в ее смехе.

— Ричард против их брака, — сказала она. — Это был ее единственный шанс. Неужели вам это не ясно?

Он с сомнением взглянул на нее.

— Но почему вы все это говорите мне?

— Потому что ценю вас, сэр Роланд, — ласково ответила она, — и не хочу, чтобы вы выглядели дураком, вмешиваясь в безнадежное дело.

— Об участии в котором меня даже не просят, — с мрачным сарказмом вымолвил он. — Думаю, вы правы, Диана; у меня теперь нет сомнений, что мистер Уайлдинг ничего, кроме смерти, не заслуживает.

Он торопливо откланялся и ушел, оставив ее напуганной своей же оплошностью.

Но осуществить эти замыслы оказалось не так-то просто. Хотя мистер Уайлдинг и не придавал большого значения слухам о скорой высадке в Англии герцога Монмутского, однако четыре роты пехоты и кавалерийский эскадрон, присланные помощником губернатора в Тонтон, произвели на него впечатление, и сразу же после

объяснения с Ричардом они с мистером Тренчардом отправились в Уайт-Лакингтон, в надежде узнать что-нибудь определенное. Так что сэру Блейку пришлось отложить свой визит к мистеру Уайлдингу, но это, однако, ничуть не уменьшило его решимости.

На другой день он застал мистера Уайлдинга за обедом, в компании мистера Тренчарда. Резко оборвав их приветствия, он грубо швырнул свою черную касторовую шляпу, украшенную черными же перьями, прямо на стол, посреди тарелок.

— Я пришел сюда, мистер Уайлдинг, — проговорил он, — чтобы спросить вас, какого цвета этот колпак.

Мистер Уайлдинг вопросительно поднял бровь и искоса взглянул на остолбеневшего от изумления Тренчарда.

— Мне трудно не ответить на вопрос, заданный с такой изысканной любезностью, — сказал мистер Уайлдинг и с невинной улыбкой посмотрел на побагровевшего, ослабившегося сэра Блейка. — Вы, вероятно, не поверите, но я готов на компромисс — ваша шляпа, сэр, бела, как горный снег.

Такой неожиданный ответ привел сэра Блейка в замешательство.

— Вы ошибаетесь, мистер Уайлдинг, — придя в себя и злобно ухмыльнувшись, сказал он. — Моя шляпа черна как уголь.

Мистер Уайлдинг внимательно оглядел со всех сторон предмет спора. Сегодня он находился не в лучшем расположении духа, а дурацкое упорство этого беглого должника давало ему возможность выместить на нем свое настроение.

— В самом деле, — сказал он, — теперь, когда я внимательно пригляделся, я нахожу, что она и в самом деле черная.

Сэр Блейк вновь на секунду смутился, однако не отступил.

— Вы опять ошиблись, — произнес он. — Эта шляпа — зеленая.

— Неужели? — произнес мистер Уайлдинг и повернулся к Тренчарду. — А как твое мнение, Ник?

— Раз уж ты меня спрашиваешь, — последовал ответ, — то мне кажется, что этой отвратительной вещице вообще не место на столе.

С этими словами он схватил шляпу и выкинул ее в раскрытое окно.

Сэр Роланд совершенно растерялся. Все складывалось

совсем не так, как он задумал. Он понимал, что обязан считать себя оскорбленным действиями мистера Тренчарда, но он пришел сюда вовсе не для того, чтобы ссориться с ним. Он почувствовал, что выходит из себя.

— Дьявольщина! — вскричал он. — Неужели надо сорвать со стола скатерть, чтобы меня поняли?

— Если бы вы позволили себе подобное, мне пришлось бы выпшвырнуть вас из дома, — сказал мистер Уайлдинг. — Но мне не хотелось бы так обращаться с человеком вашего положения и ваших достоинств. Поговорим-ка лучше о вашей шляпе. Мистер Тренчард, правда, убрал ее со стола подальше, но наши воспоминания восполнят ее отсутствие. Так какого цвета, вы говорите, она была?

— Я сказал — зеленая, — ответил сэр Блейк, с готовностью возвращаясь к исходной теме.

— Нет, я думаю, вы ошибаетесь, — с серьезной миной возразил мистер Уайлдинг. — Хотя это ваша шляпа и никто лучше вас не может судить о ее цвете, но, по моему мнению, она абсолютно черная.

— А если я скажу, что белая? — спросил сэр Блейк, чувствуя себя идиотом.

— В таком случае вы подтвердите мое первое впечатление, — ответил мистер Уайлдинг, и мистер Тренчард, не в силах больше сдерживаться, расхохотался прямо в лицо баронету.

— Ну а раз мы пришли к обоюдному согласию, — закончил мистер Уайлдинг, — то, смею надеяться, вы присоединитесь к нам.

— Будь я проклят, — взревел сэр Блейк, — если сяду за один стол с вами, сэр.

— Ну-у, — с сожалением протянул мистер Уайлдинг, — своим отказом вы можете обидеть меня.

— Именно этого я и хочу, — сказал сэр Блейк.

— Да неужели?!

— Вы шут! — с триумфом выпалил сэр Роланд, наконец-то добившись своего.

Мистер Уайлдинг откинулся в кресле и с сожалением взглянул на него.

— Вы по своей воле покинете нас или вас все же отправить по пути, проложенному вашей шляпой? — поинтересовался он.

— Вы хотите сказать, — изумленно спросил сэр Блейк, — что не потребуете от меня удовлетворения?

— Завтра мистер Тренчард встретится с вашими друзь-

ями и, я надеюсь, мы сможем возобновить наш увлекательный диалог.

Сэр Роланд пренебрежительно фыркнул, повернулся на каблуках и, не прощаясь, направился к выходу.

— Спокойной ночи, сэр Роланд, — произнес ему вслед мистер Уайлдинг. — Уолтер, бездельник, посвети сэру Роланду у дверей.

Не удивительно, что бедняга Блейк вернулся домой в отвратительнейшем расположении духа: ведь что может быть унижительней для задиры, когда противник отказывается воспринимать его всерьез. Однако это еще было только начало. Они с мистером Уайлдингом встретились на другое утро, и уже к полудню Бриджуотер наполнился слухами о новых проделках повесы Уайлдинга. Рассказывали, что он сначала дважды обезоружил столичного щеголя, который, впрочем, каждый раз яростно настаивал на продолжении дуэли, — а затем, чтобы унять наконец ненасытного баронета, был вынужден проткнуть ему правую руку.

Ричард дрожал от бессильной ярости, услышав это известие, а Руфь, помимо своей воли, испытала чувство глубокой благодарности к мистеру Уайлдингу за его терпение и выдержку.

Все так бы и закончилось, если бы мелочная натура сэра Роланда не подстегивала его на поиски иных способов расквитаться с мистером Уайлдингом. Он непрестанно размышлял о неосторожных словах, вырвавшихся у Ричарда, и, сопоставляя их с пугающими слухами, которыми обменивались в последнее время местные жители, сделал очевидные выводы. Более того, он предположил, что Ричард может оказать ему неоценимую помощь. В самом деле, обстоятельства сложились так, что эти двое оказались союзниками, чему способствовало и теперешнее настроение обоих джентльменов и, самое главное, крушение их планов на безоблачное будущее. И однажды вечером, сидя за картами с полупьяным Ричардом, сэр Блейк без особого труда выудил у него историю о движении герцога Монмутского и о той роли, которую в нем играл мистер Уайлдинг.

Так что когда Ричард, ближе к полуночи уехал домой, он оставил в руках сэра Роланда разрушительное средство, с помощью которого тот рассчитывал не только отомстить Энтони Уайлдингу, но и поправить свое безвыходное положение.

СВАДЬБА МИСС УЭСТМАКОТТ

Однако сэр Роланд вскоре убедился, что радоваться по поводу обретения столь мощного оружия рано — оно могло оказаться обоюдоострым. Трудно было бы предать мистера Уайлдинга, не предав при этом и Ричарда; и, хотя сэр Роланд при иных обстоятельствах пошел бы на это без малейшего колебания, он отдавал себе отчет, что сейчас такой поступок равносителен отказу от надежды когда-либо завоевать Руфь. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как лечить свою раненую руку и дожидаться возможности воспользоваться добытой информацией.

Надо сказать, мистер Уайлдинг тоже не терял времени даром. Каждый день в Лютон-хаусе появлялись огромные охапки цветов, которые он посылал своей возлюбленной, и каждый раз дело не обходилось без дорогого подарка, сопровождавшего их.

Сегодня это было прекрасное бриллиантовое кольцо, завтра — нитка жемчуга, на другой день — бесценное кольцо, принадлежавшее еще матери мистера Уайлдинга. Руфь не отклоняла знаков внимания, оказываемых ей мистером Уайлдингом, — глупо было бы так поступать, собираясь через несколько дней выйти за него замуж, — однако она чувствовала себя крайне неловко, принимая подарки.

Трижды в течение этой недели ожидания он приезжал в Лютон-хаус, и Руфь, уступая настойчивым уговорам Дианы и ее матери, неожиданно ставших его союзниками, любезно принимала его. Впрочем, стоило ли ей отказываться? Находясь рядом с ней, он держался как нельзя лучше, успев, казалось, начисто забыть о ссоре с Ричардом. Он был галантен, внимателен, почтителен — одним словом, покорный слуга во всем. Будь она менее предубеждена к нему, она, несомненно, восхищалась бы его бесподобным умением сдерживать свои чувства, вместо того чтобы, празднуя одержанную победу, дать им волю. Ничего удивительного, что в эту неделю он переложил большую часть своих обязанностей одного из лидеров протестантского движения на плечи мистера Тренчарда. Этому способствовало еще одно обстоятельство — мистер Уайлдинг, как и большинство сторонников герцога, с недоверием относился к слухам о предстоящей высадке герцога

Монмута в Англии, поскольку, по общему мнению, это граничило с безумием.

Правда, Тренчард испытывал сильные сомнения на этот счет, однако мистер Уайлдинг лишь посмеивался над его предчувствиями. Накануне свадьбы он последний раз посетил Руфь в качестве жениха. Она приняла его, и от его взора не укрылось, что она выглядела бледнее, чем обычно, ее лицо было печально, а во взгляде проступала затаившаяся грусть. Он был тронут до глубины души, и несколько мгновений — пока он в неловком молчании стоял возле старой скамейки, на которой расположилась девушка, — совесть его безнадежно боролась со страстью. Руфь уже привыкла к его ни к чему ее не обязывавшей словоохотливости в ее присутствии, и столь неожиданная и продолжительная пауза удивила и насторожила ее. Она взглянула на него, их глаза встретились, и он наклонился, чтобы поцеловать ее. Она не отпрянула, а лишь осталась сидеть неподвижно, с расширившимися зрачками, словно загипнотизированная его мрачным, задумчивым взглядом. Он замер над ней, словно ястреб, охотящийся за голубкой.

— Дитя мое, — наконец проговорил он, и в его голосе прозвучала неподдельная нежность и печаль, — почему вы боитесь меня?

Его слова лучом света озарили ее смятенную душу.

Она действительно боялась его — его силы и власти, которые прятались под маской безмятежного спокойствия; она опасалась подчиниться его страстной любви, которая могла растворить и преобразовать ее натуру и превратить ее в конце концов в частичку его собственного «я».

Однако теперь, узнав правду, она попыталась бороться с ней.

— Я не боюсь вас, — сказала она, и голос ее в самом деле звучал бесстрашно.

— Значит, вы по-прежнему ненавидите меня? — спросил он.

Она потупилась, а затем перевела взгляд на безмятежную гладь реки, сверкающей золотом в лучах заходящего солнца. Вновь возникла пауза. Уайлдинг тяжело вздохнул и выпрямился.

— Вам не следовало принуждать меня к браку, — наконец нарушила она молчание.

— Наверное, — с некоторой горечью ответил он. — Я согласен с вами, но разве у меня был выбор? Вы же

понимаете, — не получив от нее ответа, пояснил он, — что я никогда не завоевал бы вас иначе как принуждением.

— Может статься, — сказала Руфь, — так было бы лучше для нас обоих.

— Ни для кого из нас! — воскликнул мистер Уайлдинг. — Забудьте об этом! Придет время, и вы полюбите меня, Руфь!

Последние слова он произнес с такой твердой убежденностью, что девушка недоуменно взглянула на него.

— Если мужчина сильно и искренне любит женщину, — ответил он на ее немой вопрос, — и если он сам не заслуживает презрения в ее глазах, то рано или поздно ему ответят взаимностью.

Слабая, недоверчивая улыбка тронула ее уста.

— Будь я неоперившимся юнцом, — неожиданно горячо продолжил он, — слепо боготворящим женщину, вы имели бы основания сомневаться во мне. Но я мужчина, Руфь, — верный и, увы, безгрешный; вы нужны мне, и я добьюсь взаимности любой ценой.

— Любой ценой? — переспросила она, и на ее губах промелькнула ироническая усмешка. — И вы называете свой эгоизм любовью? Тогда вы, конечно, правы, поскольку ваша любовь прежде всего любовь к самому себе.

— А разве любовь к другим не начинается с любви к себе? — поправил он, приоткрывая ее проникательному уму глубины, о существовании которых она даже не подозревала. — Настанет день — молю Бога, чтобы он пришел скорее, — когда вы взглянете на меня более благосклонно, чем сейчас; не будет ли тогда ваша любовь ко мне означать, что я оказался необходим вам и вашему счастью? Разве вы стали бы лишать меня своей любви, если бы я был нужен вам сейчас? Вы сказали, что я люблю вас, потому что я люблю себя. Пусть так. Но вы должны согласиться, что если еще не любите меня, то лишь по той же самой причине, более того, когда вы наконец полюбите меня, причина все равно останется та же.

— Значит, вы не сомневаетесь, что я полюблю вас? — сказала она, уклоняясь от прямого ответа.

— Иначе я не вел бы вас завтра к алтарю, — ответил он со спокойной уверенностью.

Руфь почувствовала, как по всему ее телу пробежала дрожь. Она не на шутку испугалась, что его слова на самом деле могут сбыться.

— Раз вы так уверены в этом, — сказала она, — то куда более благородно и великодушно с вашей стороны было бы сперва завоевать мое сердце, а потом уже жениться на мне.

— Конечно, я предпочел бы этот старинный, проверенный способ, — невозмутимо ответил он. — Но, увы, у меня не было возможности. На меня здесь смотрели слишком недоброжелательно, чуть было не отказали от дома. Какие я имел шансы завоевать вас, если ваш ум был отравлен этими непристойными и потому еще более отвратительными слухами?

— Вы хотите сказать, что все эти истории беспочвенны? — с неожиданной горячностью, которая не укрылась от него, спросила она.

— Бог — свидетель: я хотел бы этого! — вскричал он. — Я вижу, насколько это возвысило бы меня в ваших глазах. Но, будучи, смею надеяться, джентльменом, я не в силах отрицать их целиком. Но чем я хуже других? Или, быть может, вы одна из тех, кто считает, что будущие мужья должны проводить свою юность как монахи? Я не люблю сравнивать себя с другими людьми, но вы вынуждаете меня делать это. Вы пренебрегали мною, что, однако, не мешало вам принимать этого малого, Блейка — лондонского повесу и разорившегося игрока, сбежавшего от кредиторов, который ухаживал за вами исключительно ради того, чтобы избежать долговой тюрьмы с помощью вашего состояния.

— Такие речи недостойны вас, — негодуя воскликнула она, и он впервые ощутил укол ревности.

— Мы с ним не соперники, — спокойно ответил он. — Принуждая вас, как вы считаете, выйти за меня замуж, я просто спас вас от таких хищников, как он.

— Чтобы вместо этого попасть в когти других, — съязвила она.

Секунду он смотрел на нее, грустно улыбаясь.

— Я думаю, — без ложной скромности сказал он, — что лучше оказаться добычей льва, чем шакала.

— Для жертвы это не имеет значения, — ответила она, и в ее глазах сверкнули слезы.

Он почувствовал, как в груди у него шевельнулось сострадание. Он присел рядом с ней на скамью.

— Клянусь, — бесстрастно проговорил он, — что, выйдя за меня замуж, вы никогда не посчитаете себя жертвой. Все мужчины станут оказывать вам почтение, но больше

всех тот, кто всегда будет стараться быть достойным называться вашим мужем.

Он взял ее руку и почтительно поцеловал ее.

— До завтра, — взглянув ей в глаза, сказал он и, низко поклонившись, ушел, оставив ее в состоянии полного смятения, причины которого были ей самой непонятны, и от растерянности и бессилия она разрыдалась.

День бракосочетания выдался солнечным, но Руфь чувствовала себя так, будто ей предстояло взойти на эшафот. Однако она старалась не падать духом, подбадривая себя постоянными напоминаниями о том, что жертва эта необходима ради Ричарда. Она жалела только об одном — что сейчас рядом с ней не было брата. Увы, он уехал еще вчера, и никто не знал, где он задерживается.

В полдень, вместе с леди Гортон и Дианой, она пришла в церковь святой Марии, где их поджидал мистер Уайлдинг со своим двоюродным дядей лордом Джервейзом Скорсби. Станным могло показаться и отсутствие Ника Тренчарда, однако тот наотрез отказался участвовать в церемонии, подкрепив свой отказ некоторыми весьма нелестными замечаниями насчет супружеской жизни. В церкви слонялось несколько зевак, которые всегда находятся в таких случаях, но вряд ли кто-нибудь из них мог предположить, что за трагедия разыгрывается на их глазах. О торжестве напоминали лишь прекрасные цветы, которыми мистер Уайлдинг распорядился убрать неф, хоры и ограждение возле алтаря; они наполняли церковь тяжелым ароматом.

«Кто выдает эту женщину за этого мужчину?» — брюзжал голос священника, будто гудело большое насекомое, и мистер Уайлдинг пренебрежительно улыбнулся, словно отвечая ему: «Никто, я сам беру ее».

Как во сне, Руфь почувствовала на своей руке твердую хватку мистера Уайлдинга. Церемония оказалась недолгой, и в заключение молодые дали обет принадлежать друг другу до тех пор, пока смерть не разлучит их.

Рука об руку они уже спускались по ступеням крыльца: она — бледная и спокойная, с печалью в сердце, он — с безмятежной улыбкой на устах, — как вдруг перед ними неожиданно возник мистер Тренчард, задыхающийся, возбужденный, покрытый пылью с головы до пят. Он шагнул к жениху и ухватился грязной перчаткой за рукав его отливающего серебром небесно-голубого сатинового камзола.

— Одно слово, Энтони! — ломающимся от волнения голосом просипел он.

Мистер Уайлдинг остановился и недовольно взглянул на него.

— Ну, что случилось? — спросил он.

— Измена! — выпалил Тренчард и добавил, переходя на шепот: — Черт подери, сделай же шаг в сторону.

Мистер Уайлдинг повернулся к лорду Джервейзу и попросил его позаботиться о госпоже Уайлдинг.

— Мне очень жаль, — обратился он к ней самой, — что нам придется ненадолго расстаться. Но я скоро присоединюсь к вам, а пока я поручаю вас его светлости.

Удивленному лорду Джервейзу ничего не оставалось, как взять невесту под руку и повести к экипажу, ожидавшему их около церковных ворот.

— Шенке, — сказал Тренчард, когда копыта застучали по камням, — тот самый, что ехал к тебе из Лайма с письмом от герцога, был ограблен прошлой ночью в миле от Тонтона.

— Разбойники? — посуровев, спросил мистер Уайлдинг.

— Если бы! Скорее всего агенты правительства. Их было двое — он сам мне рассказал, они прицепились к нему, когда он ужинал в «Зайце и Гончей». Один из них назвал пароль, но он заподозрил неладное и промолчал. Затем они тайком последовали за ним, нагнали и напали. Его сбили с лошади, проломил голову, обчистили бумажник и, сочтя мертвым, бросили у края дороги. Слава Богу, что он, еще в гостинице, заподозрив неладное, успел избавиться от конверта.

Мистеру Уайлдингу не надо было объяснять, что ему угрожает смертельная опасность. На секунду он подумал о Руфи: вот уж кто обрадуется неожиданной свободе! Но это наблюдение было ему ненавистно, и он пожалел, что может умереть, не успев приучить ее горевать о нем. Затем его мысли вернулись к Тренчарду и тому, что он сообщил.

— Ты сказал — агенты правительства, — медленно произнес он, — но как они узнали пароль?

Мистер Тренчард открыл рот от изумления.

— Я даже не подумал об этом... — начал было он и, прервав сам себя, закончил фразу проклятием: — Дьявольщина! Нас предали!

— Да, — кивнул мистер Уайлдинг, — должно быть, кто-то из тех, с кем мы встречались в Уайт-Лакингтоне третьего дня.

— Нам лучше уйти, — с тревогой в голосе сказал мистер Тренчард, кивнув головой в сторону зевак, с вполне понятным интересом наблюдавших за столь необычным поведением жениха. — А еще лучше убраться из Англии, пока все не стихнет. Фокус раскрыт.

Уайлдинг взял его руку и крепко сжал ее.

— Где ты его оставил? — глядя Нику прямо в глаза, спокойно спросил он.

— Он здесь, в Бриджуотере, в гостинице «Колокол».

— Немедленно едем, — сказал Уайлдинг. — Прежде чем бежать, надо поговорить с ним и разузнать все поподробней. Ты ведь даже не потрудился узнать, кто были эти воры.

— Проклятье! — возмутился мистер Тренчард. — Я торопился сообщить тебе новости. А потом, я узнал от него еще более важное известие — лорд Альбемарль отправился в Экстер, а сэр Эдвард Филипс и полковник Латтрелл получили от короля повеление прибыть в Тонтон.

Мистер Уайлдинг бросил на него беглый взгляд, и в его глазах промелькнул страх.

— Эге, — воскликнул он, — неужели король Яков пугается теней?

Он рассмеялся и пожал плечами.

— Дай Бог, — отозвался мистер Тренчард, — чтобы это была только тень.

— Глупости! — отрезал мистер Уайлдинг. — Монмут известил бы нас заранее. Идем же, — торопливо добавил он, — надо попытаться выяснить, что за парни ограбили посылного.

И он увел мистера Тренчарда с церковного двора, прочь от изумленных зрителей.

Глава восьмая

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Пока мистер Уайлдинг в своем великолепном облачении новобрачного торопился в гостиницу «Колокол», его молодая жена в сопровождении лорда Джервейза направлялась в Зойланд-Чейз, хозяйкой которого она теперь стала. Но судьба не позволила ей даже переступить порог своего нового владения. Едва их экипаж пересек мост через реку, как дорогу им преградил всадник. Лорд

Джервейз высунул голову в окошко и с удивлением узнал в нем Ричарда Уэстмакотта.

— Лорд Джервейз! — выкрикнул он. — Велите кучеру разворачиваться и ехать в Люптон-хаус!

— В Люптон-хаус? — озадаченно переспросил лорд Джервейз, все меньше и меньше понимавший, что же все-таки происходит на этой свадьбе.

— Теперь госпожа Уайлдинг решает, куда ей ехать.

Он убрал голову из окошка и повернулся к Руфи за указаниями, но та, заинтригованная неожиданной заминкой, в свою очередь, высунулась наружу и спросила брата, что он имеет в виду.

— Возвращайся домой, — сказал он. — Мне надо тебе кое-что сказать, а уж потом ты сама будешь решать, куда тебе ехать.

— В чем дело? О чем ты говоришь? — забросала его вопросами Руфь.

— Послушай, — нетерпеливо ответил он, — твое спасение в моих руках. Об остальном сейчас не время и не место говорить. Вели кучеру поворачивать.

Руфь села на свое место в экипаже и вопросительно взглянула на своих спутников. Увы, от них оказалось мало проку. Руфь задумалась, а потом вдруг неожиданно сказала лорду Джервейзу:

— Давайте послушаемся его.

Его светлость только изумленно надул щеки, однако, поколебавшись мгновение, велел кучеру разворачиваться. У самых ворот Люптон-хауса лорд Джервейз откланялся — ему явно не хотелось участвовать в этом деле. Теперь, по его мнению, необходимо было срочно разыскать мистера Уайлдинга и предоставить ему право предпринимать меры, которые он сочтет нужными.

Ричард попросил оставить их с сестрой наедине, и они ушли в библиотеку.

— Ты могла подумать, Руфь, — дрожа от волнения, начал он, — что я опустил руки и согласился на твой брак с этим Уайлдингом. Но ты очень ошиблась. Мы — Блейк и я — не покладая рук трудились всю эту неделю, чтобы спасти тебя, и, слава Богу, наши усилия не пропали даром.

— Но, послушай, я ведь уже замужем, — сказала она.

— Ерунда! — воскликнул он и пренебрежительно махнул рукой.

— Это гораздо серьезнее, чем тебе кажется, — задум-

чиво ответила она. — Ричард, Ричард, где же ты был раньше?

Он нетерпеливо пожал плечами; ее возражения начинали выводить его из себя.

— О-о! — протянул он. — Я пришел, когда было с чем прийти, и, мне кажется, успел как раз вовремя.

Он вытащил из внутреннего кармана листок бумаги и швырнул его на стол.

— Теперь у меня есть все, чтобы его повесить!

— Повесить? — отпрянув, испуганно переспросила она.

— Да, повесить, — повторил Ричард и, гордо выпрямившись, указал ей на бумажку: — Читай.

Она почти автоматически взяла листок и некоторое время изучала каракули, которыми было написано послание.

— Это от герцога Монмутского! — испуганно воскликнула она.

Он только рассмеялся.

— Читай же, — еще раз велел он, но Руфь уже начала расшифровывать безобразный почерк и косноязычные обороты речи, которыми славился его милость. Письмо было отправлено из Гааги и адресовано «Моему доброму другу У., в Бриджуотер». Оно начиналось словом «сэр», в нем сообщалось о скором прибытии герцога на запад страны и давались некоторые инструкции насчет сбора оружия и подготовки людей к восстанию. Письмо заканчивалось клятвенными заверениями в дружбе его милости к адресату.

Руфь дважды прочла текст, прежде чем его смысл дошел до нее. Закончив, она с недоумением взглянула на Ричарда, и он, отвечая на ее немой вопрос, рассказал ей, как они с сэром Блейком перехватили курьера в гостинице «Заяц и Гончая» в Тонтоне — не упомянув, правда, откуда им стало известно о его появлении там, как преследовали, настигли и атаковали его и как затем опустошили его бумажник. Это письмо, по мнению Ричарда, было одним из нескольких посланий, которые Монмут отправил своему другу в Лайм, чтобы тот распространил их среди его главных агентов на западе страны. На письме отсутствовал точный адрес, однако, как заявил Ричард, надписи «Моему доброму другу У.» и их с Блейком показаний будет вполне достаточно, чтобы инкриминировать мистеру Уайлдингу участие в заговоре.

— Я благодарю небо, — закончил он, — что ты еще

не стала его женой; теперь в моей власти сделать тебя вдовой.

— Неужели ты пойдешь на это? — спросила Руфь, не выпуская письма из рук.

— А как же иначе?

— Этому не бывать, Ричард, — покачала она головой. — Я этого не допущу.

Не ожидавший такого ответа, он изумленно посмотрел на нее и, рассмеявшись, воскликнул:

— Что за чертовщина! Разве ты любишь его? Послушай, а может, ты до сих пор водила нас всех за нос?

— Нет, — твердо ответила она. — Но я не стану соучастницей убийства.

— Какого убийства? Кто об этом говорит?

Она многозначительно посмотрела ему в глаза.

— Откуда ты узнал, что к мистеру Уайлдингу едет курьер? — спросила она, и внезапно изменившееся выражение его лица подсказало ей, что она правильно нащупала болевую точку. — Ты знал о заговоре, — продолжила она, отвечая на свой же вопрос, прежде чем он успел раскрыть рот, — потому что сам был одним из заговорщиков.

— По крайней мере, я больше не являюсь им, — проболтался он.

— И слава Богу, Ричард; ты ведь рисковал жизнью. Но ты не имеешь права пользоваться этой информацией; нельзя поступать как Иуда — ты оставишь это письмо мне.

— Черт возьми, никогда... — начал было он.

— Да, Ричард, — властно прервала она его. — Ты оставишь письмо мне, и, не сомневайся, я непременно воспользуюсь им для своего спасения.

— Для этого мне надо поехать в Экстер и положить его перед лордом Альбемарлем, — ответил он и нехорошо рассмеялся.

— Совершенно необязательно, — возразила она. — Я обращу это письмо в оружие защиты, а не нападения. Поверь мне, я знаю, что делать с ним.

— Но остается Блейк, — возразил он, приходя в ярость, — я поклялся ему...

— Интересы сестры должны быть важнее...

— Цыц! — прервал он ее. Блейк считает своим долгом доложить о заговоре губернатору, и я полностью согласен с ним.

— Сэр Роланд не поступит наперекор моему желанию, — сказала она.

— Глупости! — воскликнул он, все больше горячась. — Дай мне письмо!

— Нет, Ричард, — ответила она, отстраняясь от него.

— Отдай немедленно, — настаивал он. — Зачем только я сказал тебе это. Если бы я только знал, что ты окажешься такой душой!

— Послушай, Ричард... — умоляла она его, предусмотрительно пряча руку с письмом за спину, но он уже был глух к увещаниям.

— Отдай письмо! — вскричал он, хватая ее за запястье другой руки.

В этот момент неожиданно отворилась дверь и на пороге появилась Диана.

— Руфь, — объявила она, — приехал мистер Уайлдинг.

Это имя подействовало на Ричарда как раскат грома над головой.

— Уайлдинг?! — воскликнул он, и его хватка ослабла. «Почему он здесь, почему еще не удрал? — спрашивал себя Ричард. — Он что, спятил?»

— Он сейчас войдет сюда, — сказала Диана, и тут же за ее спиной послышались шаги.

— Письмо! — прорывал в бессильной ярости Ричард. — Отдай мне его! Ты слышишь?

— Ш-ш! Ты выдашь себя! Он уже здесь.

С этими словами в дверном проеме возникла высокая фигура мистера Уайлдинга, еще не снявшего свой свадебный камзол. Он был, как всегда, спокоен. Казалось, что ни раскрытие заговора, ни бегство молодой жены к себе домой не нарушили безмятежного состояния его духа. Он поклонился и шагнул к ним, бросив беглый взгляд на запыленные сапоги Ричарда.

— Ты, похоже, далеко ездил, Дик, — улыбаясь, сказал он, и Ричард поежился, уловив насмешливую нотку, прозвучавшую в его словах. — Я видел твоего друга, сэра Роланда, в саду, — добавил он. — Он уже давно ждет тебя.

Затем он резко повернулся к Диане.

— Госпожа Гортон, — сказал он, придерживая дверь, — вы позволите нам побыть вдвоем?

Диана присела в реверансе и вышла из библиотеки, и Ричард, сжав зубы, последовал за ней, хотя в его планы никак не входило оставлять их наедине. Мистер

Уайлдинг закрыл за ними дверь, а Руфь в это время успела спрятать письмо за корсаж платья.

— Руфь, вы поступили нехорошо, — укоризненно проговорил он.

— Плохо или хорошо, — ответила она, — но такова была моя воля.

Он поднял брови.

— Значит, я неверно понял случившееся. Лорд Джервейз сказал мне, что ваш брат заставил вас вернуться.

— Он не заставлял меня, сэр, — возразила она.

— Значит, вынудил, — уточнил он. — А теперь мой черед вынудить — или лучше сказать — попросить вас исправить свою ошибку.

— Я решила остаться здесь, — покачала она головой.

— Прошу извинить мой эгоизм, но я предпочитаю Зойланд-Чейз этому дому. И, несмотря на его многочисленные достоинства, я не намерен жить тут.

— Вас и не просят об этом.

— Вот как?!

Как она ненавидела сейчас его улыбку, уверенный вид и непоколебимое хладнокровие! Он играл с ней, как кот с мышкой, не желая применять свою власть, да и зачем — она и так целиком находилась в его власти.

— Поговорим начистоту, — сказала она. — Я считаю, что выполнила свою часть сделки, которую мы заключили. Я обещала выйти за вас замуж, если вы пощадите моего брата, и сдержала свое обещание. Но на этом я намерена остановиться.

— Неужели? — сказал он. — А мне кажется, что мы еще толком не завязали наших супружеских уз.

Он шагнул к ней, взял за руку, и она едва справилась с собой, чтобы не вырвать ее.

— Такой поступок был бы недостойн вас, — серьезно и почтительно проговорил он. — Наша сделка должна быть выполнена по сути, а не только по форме. Не пытайтесь увильнуть от этого, — мягко улыбнувшись, закончил он. — Экипаж ждет нас. Мы возвращаемся в Зойланд-Чейз, где вы отныне станете хозяйкой.

— Вы ошибаетесь, — сказала она и решительно вырвала свою руку. — Вы сказали, что я поступила недостойно. Возможно. Но с моей стороны это был всего лишь ответный шаг. Неужели вы считаете, что одни вы обошлись со мной благородно?

— Я постараюсь загладить свой проступок, когда вы приедете домой.

— Мой дом здесь. И вам не удастся заставить меня покинуть его.

— Мне будет жаль, если меня к этому вынудят, но, видимо, придется, — вздохнул он.

— У вас ничего не выйдет, — не уступала она.

— Ну как же так? — настаивал он. — Ведь существует закон...

— По закону вас и повесят, если вы рискнете обратиться к нему за помощью, — решительно перебила она его. — Это я вам могу обещать.

Ей не потребовалось разъяснять, что именно она имеет в виду. Мистер Уайлдинг всегда схватывал с полуслова то, для чего другому потребовалась бы целая фраза. И теперь, когда его губы сжались плотнее, а глаза посушевали, она догадалась, что он понял ее.

— Вы предлагаете еще одну сделку? Я начинаю подозревать, что в жилах Уэстмакоттов течет кровь торговцев. Будем откровенны: у вас есть средство уничтожить меня, и вы им воспользуетесь, если я стану настаивать на своих супружеских правах. Так или нет?

Она молча кивнула головой, удивляясь его проницательности.

— Что ж, тогда я попал между молотом и наковальней, — согласился он и отрывисто рассмеялся. — Но все-таки поясните мне: верно ли я понял, что, если оставлю вас в покое — то есть не стану требовать от вас ничего иного, кроме как носить мое имя, — тогда вы не воспользуетесь своим оружием?

— Именно так, — ответила она.

Он задумчиво прошелся по комнате. Сейчас он беспокоился не о себе — о герцоге Монмутском. Сегодня утром Тренчард справедливо упрекнул его, что он в любовном угаре чуть не погубил их движение в самом зачатке. Если это письмо — неважно, что в нем написано, — попадет в Уайтхолл⁹, то все погибло. Он понял, что проиграл, но он умел проигрывать.

— Письмо у вас? — неожиданно повернувшись к ней, поинтересовался он.

— Да, — ответила она.

— Можно взглянуть на него? — спросил он.

Не решаясь обнаружить его местонахождение, чтобы он, в свою очередь, не попытался применить силу, она просто покачала головой.

— Теперь вы знаете, чем я занимаюсь, — после секундной паузы проговорил он. — Но давайте договоримся,

что, если я избавлю вас от своего присутствия, вы сохраните в тайне сведения, которые стали вам известны обо мне и об этом деле.

— Именно такую сделку я и предлагаю, — сказала она.

Секунду он жадно глядел на нее, и она едва смогла вынести этот взгляд — столь сильное желание сквозило в нем.

— Руфь, — наконец сказал он, — может статься, что все вскоре сложится по-вашему и после этого восстания вы окажетесь вдовой, но я хотя бы буду знать, что не рука жены подтолкнула мою голову под топор. И за это я вам неизмеримо благодарен.

Он подошел к ней, взял ее безжизненную руку и, низко склонившись, прижал ее к губам. Затем выпрямился, повернулся на каблуках и элегантной походкой вышел из библиотеки.

Глава девятая

МИСТЕР ТРЕНЧАРД НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Но, как бы ни полагался мистер Уайлдинг на слово Руфи, мистер Тренчард был совсем другого мнения.

— Ты понимаешь, — воскликнул он, — что тебя ждет, если это письмо окажется в Уайтхолле?

— Конечно. Но я спокоен на этот счет. Она дала мне слово.

— Слово женщины! — фыркнул Тренчард и принялся обстоятельно проклинать всех на свете обладательниц юбок.

— Ты напрасно беспокоишься, — заверил его мистер Уайлдинг. — Она человек слова.

— А ее братец? — спросил мистер Тренчард. — Ты подумал об этой птичке? Он наверняка разнюхает, где это письмо, и сейчас у него есть причины опасаться тебя более, чем когда-либо. Ты уверен, что он не захочет расквитаться с тобой?

Но мистер Уайлдинг только рассмеялся над горячностью мистера Тренчарда.

— Она обещала, — сказал он с уверенностью, еще больше рассердившей мистера Тренчарда, — и я полностью доверю ей.

— А я нет, — огрызнулся тот.

— Меня куда больше интересует содержание письма, — сказал мистер Уайлдинг, игнорируя замечание своего друга. — Я не сомневаюсь, что оно успокоило бы нас насчет этих идиотских слухов.

— Ну да, — или подтвердило бы их, — пессимистично отозвался мистер Тренчард и покачал головой. — Говорят, герцог уже вышел в море.

— Глупости! — возразил мистер Уайлдинг.

— Уайтхолл иного мнения. Почему тогда войска в Тонтоне?

— Глупости в квадрате!

— Эх, если бы у нас было письмо.

— По крайней мере, по словам Шенке, в нем не упоминалось мое имя, — сказал мистер Уайлдинг.

— Едва ли это поправит дело, — заметил мистер Тренчард и глубоко задумался; у него в голове возник неожиданный план, и через два дня ему удалось осуществить его.

Как-то раз вечером, в начале недели, Ричард Уэстмакотт в одиночестве вышел из дома и пешком направился в кабак «Голова Сарацина», в котором он провел немало ночей за картами и вином с сэром Роландом — к немалой выгоде последнего, научившегося в городе не только щегольству, но и плутовству.

Проходя по Хай-стрит, Ричард вплотную столкнулся с мистером Тренчардом, который только что вышел, пошатываясь, из дверей гостиницы «Колокол». Ричарду было невдомек, что мистер Тренчард, зная о его привычках, уже два вечера дежурил в гостинице. И, уж конечно, он ничего не подозревал о его выдающихся актерских способностях, о которых высоко отзывался такой видный авторитет театрального искусства, как мистер Пепис, и которые в свое время покоряли и придворных, и простой люд.

Мистер Тренчард с трудом выпрямился, попутно проклиная всех и вся, и высокомерно потребовал:

— Дорогу, сэр!

Ричард поспешил назвать себя, и мистер Тренчард, позабыв свои печали, дружески схватил мистера Уэстмакотта за руку и рассыпался в извинениях. После этого Тренчард — разыгрывая из себя в стельку пьяного — принялся со слезами на глазах объясняться в любви Ричарду и настаивал на том, чтобы вернуться вместе с ним в гостиницу, где он мог бы выпить за его здоровье.

Ричард с удовольствием отделался бы от этого не в

меру назойливого выпивохи — тем более что его поджидал сэр Блейк, — но вдруг вспомнил, что мистер Тренчард был самым близким другом мистера Уайлдинга и, следовательно, мог знать кое-что о его планах насчет письма. Намереваясь выудить из Тренчарда эти сведения, он позволил увести себя в просторную общую комнату гостиницы, где находилось с десятков посетителей, и усадить за свободный столик у окна.

Мистер Тренчард потребовал вина и бренди, и вскоре Ричард позабыл и о сэре Блейке, ждущем его в «Голове Сарацина», и о письме герцога Монмутского.

— Я хочу поговорить с тобой, Ричард, — где-то через час сказал мистер Тренчард, и в его голосе, хриплом от алкоголя, появилась заботливая нотка, отсутствовавшая ранее.

— Ходят слухи... — Он шумно закашлялся, наклонился через стол и, взяв своего собутыльника за локоть, хриплым шепотом начал снова: — Ходят слухи, мой милый, что тобой недовольны.

Ричард вздрогнул и, словно птица, запутавшаяся в сетях, постарался найти точку опоры в клубившемся у него в голове винном тумане, чтобы защититься от столь опасного обвинения.

— Это ложь! — выпалил он.

Мистер Тренчард прикрыл один глаз и по-совиному взглянул на него.

— Говорят, — добавил он, — что ты изменил герцогу.

— Вранье! — запротестовал Ричард. — Я перережу глотку всякому, кто говорит так.

И залпом осушив оловянную кружку, он изо всех сил стукнул ею по столу, подчеркивая серьезность своих намерений.

Мистер Тренчард поспешил наполнить ее, откинулся на спинку стула и неторопливо раскурил очередную трубочку.

— «В твоих глазах, — процитировал он, — я вижу честь и смелость». И все же, будь это правдой, я разделался бы с тобой, не сходя с этого места. — Он коснулся заостренным концом своей трубки жилета Ричарда.

Вдруг его лицо потемнело и глаза яростно засверкали.

— А ты уверен, что ты не предатель? — неожиданно спросил он. — Если не уверен, то...

— Клянусь, нет! — вскричал он. — Клянусь чем угодно, что нет.

— Клянешься? — ухмыльнулся мистер Тренчард, и ли-

цо его еще больше потемнело. — А если ты лжешь? Мне нужны доказательства твоей лояльности. Докажи — иначе тебе несдобровать, — закончил он зловещим шепотом.

— К-как доказать? — запинаясь от страха, произнес Ричард.

Мистер Тренчард глубоко затанулся, размышляя.

— Тост за здоровье герцога, — наконец решил он. — Истина в вине. Тост за герцога, и проклятье этому попугаю — его величеству.

Ричард потянулся к кружке, радуясь легкости испытания.

— Встань, — проворчал мистер Тренчард, — встань, и пусть в твоих словах звучит правда.

Ричард с трудом поднялся на ноги. Его стул с грохотом упал на пол, привлекая всеобщее внимание, но Ричард, сконцентрировавшийся на выполнении своего задания, не обратил на это ни малейшего внимания.

— Смерть папизму! Боже, спаси протестантского герцога! — во весь голос вскричал он. — Смерть папизму!

Сзади него, в комнате, послышался приглушенный гомон голосов, но Ричард, словно ничего не слыша, глядел на мистера Тренчарда, ожидая одобрения. Однако в том, совершенно неожиданно, произошла разительная перемена. Мистер Тренчард, казалось, в одно мгновение протрезвел и теперь смотрел на Ричарда с нескрываемым удивлением. Затем он, неловко ворочая свое грузное тело, с такой яростью хватил своей трубкой по столу, что ее мелкие осколки усеяли весь пол вокруг.

— Проклятье! — взревел он. — Я сижу за одним столом с предателем!

Он легонько — поскольку особой силы тут не требовалось — толкнул Ричарда рукой, и тот растянулся на посыпанном песком полу. Зрители повскакали со своих мест и приблизились к ним. Додли, владелец заведения, поспешил к Ричарду и помог ему подняться.

— Мистер Уэстмакотт, — зашептал он ему на ухо, — вам лучше уйти отсюда.

Ричард, опираясь на его руку, огляделся, не понимая, что с ним случилось и почему все стояли и глазели на него. Словно издалека он услышал голос мистера Тренчарда.

— Джентльмены, — проговорил тот, — я думаю, никто из вас не заподозрит, что я разделяю те же чувства, что и мистер Уэстмакотт, и в этих ножнах находятся

веские аргументы, чтобы убедить всякого, кто усомнится в правдивости моих слов.

Он ударил кулаком по рукоятке своей шпаги, нахлобучил шляпу на свой золотоволосый парик, схватил хлыст и с ленивым достоинством направился к выходу. У дверей он, сардонически улыбаясь, оглянулся, чтобы насладиться картиной смутения, произведенного им, и вышел вон. Через десять минут он уже скакал во весь опор по дороге к Тонтону. Он прибыл туда поздно вечером и, заглянув предварительно в гостиницу «Заяц и Гончая», нанес визит сэру Эдварду Филипсу и полковнику Латтреллу.

Результатом столь необычного поведения мистера Тренчарда было появление на другой день, рано утром, у ворот Лютон-хауса констебля и трех стражников, имевших на руках приказ за подписью губернатора об аресте мистера Уэстмакотта по обвинению в государственной измене. Ричард был еще в постели; пока он одевался, сыщики перевернули все вверх дном и в потайном ящичке секретера в библиотеке нашли письмо за подписью герцога Монмутского.

Они забрали и письмо, и самого Ричарда в Тонтон. Руфь собралась было поехать за братом и дать показания насчет того, каким образом письмо попало в их дом, однако, вспомнив о действительной роли Ричарда в заговоре, сочла за лучшее не спешить с поездкой. Но что ей оставалось делать? На всем белом свете был только один человек, на изобретательность которого она могла бы надеяться, — Энтони Уайлдинг, ее муж. И однако же сама мысль обратиться к нему за помощью после всего произошедшего казалось ей отвратительной. В конце концов, побуждаемая увещеваниями Дианы и чувством долга по отношению к Ричарду, она велела седлать лошадь и в сопровождении конюха отправилась в поместье, хозяйкой которого теперь была. Она нашла мистера Уайлдинга в той же библиотеке, где состоялось их первое свидание полторы недели назад, за работой — он готовил воззвания и памфлеты.

— Руфь, — сказал он, и его лицо странно прояснилось, — вы пришли наконец.

— Мне пришлось, — попробовала она улыбнуться и рассказала ему о случившемся с ее братом. — Можно не сомневаться, — закончила она, — что письмо, надписанное «моему доброму другу У.», сочтут адресованным Ричарду,

поскольку обе наши фамилии начинаются с одной и той же буквы.

Мистер Уайлдинг был готов расхохотаться над иронией столь неожиданного поворота событий — он даже не подозревал о махинациях своего друга Тренчарда.

— Это рука судьбы, — спокойно проговорил он.

— Вы рады? — с негодованием спросила она.

— Ничуть, но я не могу не восхищаться путями божественного провидения. Если же вы пришли ко мне за советом, то я могу только предложить вам поехать в Тонтон и рассказать губернатору все, как есть.

— Вы думаете, мне поверят? — сердито спросила она, удивляясь его черствости.

— Едва ли, — ответил он, — но можно попробовать.

— А если я сообщу, что письмо отправлено вам, — сурово взглянула на него Руфь, — разве вас не вызовут на допрос? И, как джентльмен, вы не станете выгораживать себя ценой жизни моего брата?

— Да, действительно так, — спокойно ответил он. — Но не думаете ли вы, что к тому моменту, когда за мной явятся, я уже буду далеко?

Он рассмеялся, увидев ее смятение, и продолжил:

— Я благодарен вам за предупреждение и велю немедленно седлать коней. Я уже и так изрядно задержался здесь.

— Значит, Ричарда повесят?

Мистер Уайлдинг достал табакерку из черепаховой кости, украшенную золотом, и неторопливо открыл ее.

— Если это и произойдет, то вы должны признать, что его повесят на виселице, которую он сам же и построил. Клянусь, он не первый болван, попадающий в собственные сети, и в настигшем его возмездии есть даже своеобразная поэзия. Знаете ли, Руфь, вот я всегда любил эти две вещи — поэзию и возмездие.

— Вы когда-нибудь бываете серьезным? — спросила она.

— Мистер Тренчард сказал бы, что для меня это явилось бы исключением из правила, — улыбаясь заверил он ее. — Но, чтобы доставить вам удовольствие, я готов на все.

— Тогда спасите его.

— Ценой своей шеи? — спросил он. — Вы думаете, Ричард того стоит?

— А как можно спасти себя ценой его шеи? — ответила она вопросом на вопрос.

Секунду он задумчиво глядел на нее.

— Вам никогда не приходило в голову, — медленно проговорил он, — что речь идет не только о нас с Ричардом? Все личные соображения должны отступать на второй план, когда дело касается нашего движения. Будь жизнь Ричарда более ценной для Монмута, чем моя, я, не колеблясь, поехал бы в Тонтон и занял его место. Но все складывается совсем наоборот, и, честно говоря, его светлость едва ли сочтет потерей даже двадцати таких людей, как Ричард, тем более, что он проявил себя предателем. Только это я могу принимать в расчет.

— А меня вы уже не принимаете в расчет? — спросила она в отчаянии и, повинувшись внезапному импульсу, упала перед ним на колени. — Умоляю вас! — воскликнула она.

— Не надо так, — нахмурившись, сказал он, беря ее под локти и заботливо помогая подняться. — Только на молитве можно вставать на колени.

— Мистер Уайлдинг, — продолжала она упрашивать его, — неужели вы позволите Ричарду погибнуть?

Она стояла сейчас совсем близко от него, и ее руки оставались все в том же положении, в каком они были, когда он поднимал ее, — у него на плечах. Он с нежностью посмотрел на нее и обнял за талию.

— Мне трудно отказывать вам, Руфь, — сказал он, — но мой долг, а не эгоизм диктует мне, как поступать сейчас. Я оказался бы предателем, если бы добровольно подверг свою жизнь опасности.

Она крепче прижалась к нему, используя, почти инстинктивно, свое очарование, чтобы склонить его к своей воле.

— Вы сказали, что любите меня, — перейдя на шепот, произнесла она. — Докажите это, чтобы я могла поверить вам.

— Ох! — вздохнул он. — Предположим, я поверю. И что дальше?

— Я... я буду послушной... вам женой, — с трудом проговорила она, покраснев.

Не в силах больше сдерживаться, он привлек ее к себе, сжал в объятиях и стал целовать. На одно мгновение ее захлестнула волна восторга: она было решила, что победа осталась за ней и ее красота превратила в пар твердость его намерений. Но в следующий момент его хватка разжалась, он отпрянул от нее, стряхнув с плеч ее руки, и чуть презрительно улыбнулся.

— Вы опять хотите пойти на сделку со мной, — сказал

он. — Но вы слишком ловко торгуетесь, чтобы честный джентльмен мог рискнуть заключить ее с вами.

— Вы хотите сказать, — она чуть не задохнулась от страха и смертельно побледнела, — что не спасете его?

— Я хочу сказать, что не намерен больше торговаться, — пояснил он.

В его словах была такая решимость, что ей нечего было возразить. Она поняла, что проиграла, позволив поцеловать себя, и теперь у нее осталось лишь послевкусие стыда и унижения. И, прежде чем повернуться и уйти, она лишь на краткий миг позволила себе взглянуть на него.

Когда дверь захлопнулась, он чуть было не бросился за ней, но сдержался и вернулся к столу, за которым работал.

Сквозь раскрытое окно до него донесся стук копыт. Очень задумчивый и мрачный для человека, ничего в жизни не принимающего всерьез, он вздохнул, тяжело опустился на стул и, подперев подбородок руками, долго глядел невидящим взором на залитую солнцем лужайку около его дома.

А тем временем Руфь спешила с известием о своей неудаче в Люптон-хаус, где ее встретила побледневшая Диана, только что узнавшая об аресте сэра Роланда. Обе девушки решили — хотя каждая исходила из своих соображений, — что для них не остается ничего иного, как немедленно ехать в Тонтон, и через час, несмотря на увещевания леди Гортон, они уже мчались туда в компании того самого конюха, который сопровождал свою хозяйку в Зойланд-Чейз.

Глава десятая

СВОИМ ЖЕ ОРУЖИЕМ

Ввысоком, просторном зале ратуши, за длинным столом, восседали сэр Эдвард Филипс, полковник Латтрелл и Кристофер Монк, герцог Альбемарльский, губернатор Девоншира¹⁰, срочно приехавший из Экстера, чтобы присутствовать при разбирательстве дела первостепенной важности. А перед ними, охраняемые констеблем и стражниками, стояли мистер Уэстмакотт и его друг сэр Роланд; оба безоружные, со связанными за спиной руками. Им предстояло отвечать на обвинения в государственной

измене. Ричард, не подозревая об истинной причине своего ареста, выглядел очень испуганным; он полагал, что каким-то образом стало известно о его участии в протестантском движении. Мистер Блейк, наоборот, держался уверенно, пожалуй, даже заносчиво, сознавая свою невиновность; он только что спросил губернатора, в чем его обвиняют, и приготовился все опровергнуть.

Альбемарль поднял свою крупную голову и зловеще ухмыльнулся, глядя в глаза румяному лондонскому щеголю. Кристофер Монк выглядел весьма грозно: отвисшие, желтоватого оттенка, щеки, черный парик, густые, темные брови, мешки под тусклыми глазами, темно-синяя щетина на массивной челюсти и толстая, выпяченная нижняя губа; одним словом — законченный тупица.

— Мы осведомлены, сэр, о вашем прошлом, — ответил он, неприязненно ослабившись и еще дальше двигая свой массивный подбородок. — Нам известно, почему вы покинули Лондон и ваших кредиторов; не секрет, что разорившиеся игроки охотнее других склоняются к измене, в последней надежде поправить свои расстроенные дела.

— Меня, наверно, оклеветали, — покраснев до самых корней волос, ответил сэр Блейк, дерзко вскинув голову и в упор взглянув на судей: — Могу ли я хотя бы узнать, кто меня обвиняет?

— Не сомневайтесь в справедливости нашего суда, — вкрадчиво вставил сэр Филиппс. — Скоро вы не только узнаете имя вашего обвинителя, но и увидите его. А сейчас ответьте нам, — он перевел взгляд с сердитого раскрасневшегося лица сэра Блейка на робкого и бледного Ричарда, — признаете ли вы обвинения, предъявленные вам?

— Но мне еще ничего не предъявили, — высокомерно ответил сэр Роланд.

Альбемарль повернулся к одному из присутствовавших здесь секретарей.

— Зачитайте обвинительный акт, — сказал он и, пока клерк монотонным голосом читал документ, тупо смотрел на арестованных. Сэр Роланд Блейк и мистер Ричард Уэстмакотт обвинялись в преступной связи с Джеймсом Скоттом, герцогом Монмутским, и в участии в заговоре против жизни и трона его величества. Сэр Блейк едва дождался того момента, когда чтение закончится, презрительно фыркнул, когда клерк наконец замолчал. Альбемарль мрачно взглянул на него.

— Слава Богу, — сказал он, — что благодаря оплош-

нсти мистера Уэстмакотта вовремя открылся этот подлый заговор, это низкое предательство, и теперь мы успеем потушить пламя, пока пожар еще не разгорелся. Что вы скажете на это, сэр?

— Я заявляю, что все обвинение — грязная и безосновательная ложь, — смело ответил сэр Роланд. — Я никогда в жизни не участвовал ни в каком заговоре, кроме как против своего состояния.

Альбемарль холодно улыбнулся своим коллегам и повернулся к мистеру Уэстмакотту.

— А вы, сэр? — обратился к нему он. — Вы так же упрямы, как и ваш друг?

— Я полностью отрицаю обвинения в мой адрес, — ответил Ричард, стараясь, чтобы его голос звучал твердо и решительно.

— Все они сотканы из воздуха, — добавил сэр Блейк, — и рассыплются от первого же толчка. Не позволит ли ваша милость ознакомиться нам с, так сказать, доказательствами нашей вины? Я думаю, мы без особого труда опровергнем их.

— Вы хотите сказать, что заговора не существует? — спросил герцог.

— Откуда я знаю? — пожал плечами, ответил сэр Блейк. — Я сказал только, что не участвую в нем.

— Позовите мистера Тренчарда, — тихо проговорил герцог стоявшему неподалеку от дверей привратнику.

Полковник Латтрелл, худощавый и жилистый, решил тоже принять участие в допросе.

— И все же, — сказал он, обращаясь к сэру Блейку, — вы допускаете, что такой заговор может существовать?

— Почему бы и нет — впрочем, это не мое дело, — неосторожно прибавил он.

— Клянусь честью! — вскричал Альбемарль и ударил кулаком по столу. — Это слова изменника! Вам нет дела до заговоров против жизни и короны! И вы еще хотите убедить меня в своей верноподданности!

— Я ни в чем не собирался убеждать вашу милость, — грубо ответил сэр Блейк, которого ничего не стоило вывести из себя. — Мне это не нужно, и я сомневаюсь, что меня привели сюда только для того, чтобы я ознакомился с убеждениями вашей милости. Я требую доказательств, а ваши мнения и ваши убеждения меня совершенно не интересуют.

— Боже, сэр, какая наглость! — воскликнул Альбемарль.

Глаза сэра Роланда вспыхнули недобрым огнем.

— Ваша милость, когда ваши обвинения рассыплются в пух и прах, я попрошу вас извиниться за эти слова.

Ошарашенный Альбемарль вытаращил глаза, но в этот момент отворилась дверь и в зал вошел мистер Тренчард.

Оставив без ответа угрозу Блейка, герцог обратился к старому щеголю.

— Эти мошенники, — сказал он, — требуют доказательств, отрицая обвинения.

— Доказательства, — ответил мистер Тренчард, — в руках вашей милости.

— Да, но они просят очной ставки с обвинителем.

— Вы желаете, — поклонился мистер Тренчард, — чтобы я повторил им свои обвинения?

— Если вам будет угодно, — сказал Альбемарль.

— Проклятье!.. — взревел сэр Блейк, но герцог помешал ему продолжить.

— Ради Бога, сэр! — вскричал он. — Я не позволю употреблять здесь подобные выражения. Попридержите свой язык, иначе, клянусь, вы ответите за это, наглый мошенник.

— Я попытаюсь изо всех сил, — ответил с притворным смирением сэр Блейк, — следовать стилю вашей речи.

— Сделайте любезность, сэр, — сказал герцог, не уловивший сарказма в словах Блейка.

— Но я протестую, сэр, — не унимался сэр Блейк. — Чудовищно, что меня обвиняет мистер Тренчард — мы с ним едва знакомы.

— Совершенно с вами согласен, сэр, — с поклоном в сторону сэра Блейка проговорил тот. — Мне нечего делать в такой компании.

— С позволения вашей милости, — обратился он уже к Альбемарлю, который затрясся от смеха, услышав его предыдущую реплику, — я начну с выражений, использованных прошлой ночью мистером Ричардом Уэстмакотом в гостинице «Колокол», что в Бриджуотере. Хочу заметить, что при этом присутствовал не только я, но и другие свидетели, которые могут подтвердить мои показания.

— Вы помните эти выражения, сэр? — перебил его полковник Латтрелл, обращаясь к Ричарду.

Тот поежился, услышав вопрос, однако постарался собраться с духом, отвечая на него.

— Я еще не слышал их, а если бы и слышал, то

вряд ли признал бы своими. Действительно, я, пожалуй, перебрал вчера, но... но...

Пока он подбирал подходящие слова, мистер Тренчард разразился хохотом.

— *In vino veritas*,* джентльмены! — воскликнул он, и герцог Альбемарльский и сэр Эдвард важно кивнули в знак согласия.

— Может быть, вы повторите выражения мистера Уэстмакотта? — обратился сэр Эдвард к мистеру Тренчарду.

— Я повторю лишь одно, на мой взгляд, самое серьезное. Мистер Уэстмакотт вскочил на ноги и громко воскликнул: «Боже, спаси протестантского герцога!».

— Вы признаете это, сэр? — громыхнул Альбемарль, и его глаза сверкнули из-под насупленных бровей.

Бледный и дрожащий Ричард не знал, что и ответить.

— Не пытайтесь отрицать это, — вкрадчиво проговорил мистер Тренчард, — у меня есть свидетельства трех джентльменов, слышавших ваши слова в гостинице.

— Клянусь, сэр! — вскричал сэр Блейк. — Где же тут измена? Вот если бы...

— Молчать! — взревел Альбемарль. — Пусть мистер Уэстмакотт отвечает за себя.

— Я признаю, что, выпив лишнего, мог произнести такие слова, — начал Ричард, уловив из восклицания сэра Блейка возможную тактику защиты, — но их нельзя считать изменническими. Масса людей пьет за здоровье сына короля...

— Внебрачного сына, сэр, внебрачного, — поправил его Альбемарль. — Говорить о нем иначе — измена.

— Нельзя вздохнуть, чтобы это не назвали изменой, — усмехнулся сэр Блейк.

— Раз так, то вам недолго осталось быть изменником, — вставил мистер Тренчард.

— Клянусь, вы правы, мистер Тренчард, — со смешком сказал герцог, которому старый щеголь нравился все больше.

— Все равно, — упрямо настаивал Ричард, — есть немало людей, которые каждый день пьют за здоровье внебрачного сына короля.

— Да, сэр, — ответил Альбемарль, — но не за успех его заговоров против жизни нашего возлюбленного государя.

* Истина в вине (лат.).

— Верно, ваша милость, совершенно верно, — промурлыкал сэр Эдвард.

— Я не имел этого в виду, поднимая тост, — заявил Ричард.

Альбемарль сделал нетерпеливый жест и взял со стола листок бумаги.

— Почему же тогда, — спросил он, потрясая им в воздухе, — оказалось у вас это письмо, которое проливает свет как на предательские замыслы герцога Монмутского, так и на ваше участие в них?

Ричард побледнел как полотно; не видя иного выхода, он попытался искать спасения в правде, не подозревая даже, что она будет звучать более фальшиво, чем самая наглая ложь.

— Это письмо адресовано не мне, — пробормотал он, заикаясь.

— «Моему доброму другу У., в Бриджуотере», — прочитал надпись Альбемарль и ухмыльнулся: — Что вы скажете на это? Разве буква «У» не означает фамилию Уэстмакотт?

— Нет.

— Ну конечно, — с сарказмом проговорил Альбемарль, — она означает Уильям, Уилкинс или... или что угодно.

— Я могу подтвердить эти слова! — воскликнул сэр Роланд.

— Замолчите, сэр! — снова рявкнул на него герцог. — Потерпите немного, мы доберемся и до вас. Итак, — подытожил он, обращаясь к Ричарду, — кому же, по вашему мнению, адресовано письмо?

— Мистеру Уайлдингу — Энтони Уайлдингу, — ответил Ричард.

— Смєю заметить, ваша милость, — вставил мистер Тренчард, — что мистер Уайлдинг, строго говоря, не проживает в Бриджуотере.

— Тихо! — вскипел Альбемарль. — Мошенник назвал первое имя, пришедшее ему в голову. И как же, сэр, — спросил он Ричарда, — у вас оказалось письмо, адресованное мистеру Уайлдингу?

— Да, сэр, — поддакнул сэр Эдвард, моргая своими близорукими глазами, — скажите-ка нам, как?

Ричард колебался. Он взглянул на сэра Блейка, но тот, решив, что своим вмешательством только запутает дела друга, ухмыльнулся и задумчиво пожал плечами.

— Смелее, сэр, — подбодрил его полковник Латтрелл. — Отвечайте на вопрос.

— Да, — загремел Альбемарль. — Дайте-ка волю своей фантазии.

И вновь бедный Ричард решил прибегнуть к правде.

— Мы — я и сэр Роланд — давно подозревали, что он получит такое письмо.

— Почему, сэр? На каком основании? — спросил герцог, откровенно издеваясь над ним и совершенно ошеломив Ричарда.

— Мы догадались об этом из некоторых фраз, оброненных мистером Уайлдингом в нашем присутствии, — только и смог ответить он.

— Каких фраз? — настаивал герцог.

— Мне трудно вспомнить, каких именно, ваша милость, но они возбудили наши подозрения.

— И вы хотите заставить меня поверить, что вы начисто забыли те самые слова, которые побудили ваши подозрения? Да вы просто наглый лжец!

— Ваша милость, не тратим ли мы время понапрасну и не лучше ли нам перейти к более важному предмету? — сказал мистер Тренчард, почтительно поклонившись судьям. — Пусть он расскажет, как письмо попало в его руки.

— Да, — кивнул Альбемарль, — пожалуй. Итак, каким образом вы овладели этим письмом?

— Мы вместе с сэром Роландом ограбили курьера, который ехал из Тонтон в Бриджуотер.

— Так вы ограбили его, да? — рассмеялся Альбемарль, а сэр Эдвард улыбнулся. — Отлично. Но откуда вы узнали, что письмо находится у него? Быть может, оно лишь случайно оказалось среди других вещей, которыми вы завладели?

— Нет-нет, сэр, — поспешно ответил Ричард. — Мы искали только письмо.

— А откуда вы знали, что оно у курьера? Тоже из обмолвок мистера Уайлдинга?

— Именно так, ваша милость.

— О, Боже! Какой же вы бессовестный плут! — рассерженно вскричал герцог, считавший его слова сплошным вымыслом. — Мистер Тренчард, вы, похоже, не ошиблись. Мы действительно напрасно тратим время. Будьте так любезны, расскажите сами всю правду.

— Это письмо, — начал Тренчард, — было доставлено в гостиницу «Заяц и Гончая», здесь, в Тонтоне, неким

джентльменом, который встретился там с мистером Уэстмакоттом и сэром Роландом Блейком. Они начали беседу с некоторых жаргонных словечек, очевидно, служивших им паролем. Подсев за стол к курьеру, обвиняемые сказали ему: «Сэр, вы выглядите иностранцем», на что тот ответил: «Да, я прибыл из Голландии». — «Из провинции Оранж?» — спросил один из обвиняемых. «Из тех самых мест, — ответил курьер и добавил: — Там дует ласковый ветер». Затем один из них — по-моему, это был сэр Роланд — сказал: «Да здравствует протестантский герцог, к дьяволу папизм». После этого, как сообщил хозяин гостиницы, было упомянуто о письме, но заговорщики, опасаясь, что их подслушают, отправили его за вином. Через полчаса курьер отбыл из гостиницы, а обвиняемые последовали за ним через несколько минут.

— Вы слышали, что сказал мистер Тренчард, — обратился Альбемарль к арестованным. — Отвечайте, правда это или ложь?

— И не пытайтесь отрицать, — посоветовал им мистер Тренчард, — здесь находится хозяин гостиницы, который клятвою подтвердит мои слова.

— Мы не станем отрицать их, — вставил сэр Блейк, — но у нас есть другое им объяснение.

— Оставьте при себе ваши объяснения, — огрызнулся Альбемарль. — Я слышал более чем достаточно, чтобы отправить вас в тюрьму.

— Но ваша милость! — воскликнул сэр Роланд с такой яростью, что один из стражников на всякий случай взял его за плечо. — Я готов поклясться, что мы сделали это в интересах его величества. Мы хотели раскрыть заговор.

— Наверное, именно по этой причине, — лукаво заметил мистер Тренчард, — ваш друг, мистер Уэстмакотт, запер письмо у себя в столе, вместо того чтобы сообщить о нем властям.

— Да они сами запутались в своем вранье! — воскликнул Альбемарль. — Так всегда бывает с изменниками.

— Я начинаю думать, что именно вы, мистер Тренчард, — подлый изменник... — начал было Блейк, но Альбемарль не дал ему закончить, велел удалить арестованных из зала. Но едва прозвучали последние слова его приказа, как в дальнем углу зала распахнулась дверь и за ней послышались женские голоса.

К судьям подошел дворецкий.

— Ваша милость, — обратился он к Альбемарлю, —

здесь две дамы, которые хотят дать показания по делу мистера Уэстмакотта и сэра Блейка.

Альбемарль на секунду задумался.

— Мне кажется, — сказал он, к великому облегчению мистера Тренчарда, — что я слышал уже достаточно показаний.

Сэр Филипс кивнул в знак согласия. Однако, как оказалось, полковник Латтрелл думал иначе.

— Я считаю, — высказал он свое мнение, — что интересы его величества диктуют нам выслушать новых свидетелей.

Альбемарль хмуро взглянул на Латтрелла и устало пожал плечами.

— Так и быть, — ворчливо согласился он, — пусть войдут.

Диану, очень бледную и дрожащую, и Руфь, тоже бледную, но спокойную и невозмутимую, пропустили в зал. Не щадя ни себя, ни мистера Уайлдинга, Руфь в немногих словах рассказала, как письмо попало в ее руки и почему она молчала о нем. Альбемарль очень внимательно выслушал ее объяснения.

— Все это крайне странно, — проговорил он, когда она закончила. — Однако, если вы сказали правду, — а я не хотел бы усомниться в словах леди — тогда мне понятно, почему ни ваш брат, ни сэр Роланд не сообщили нам о письме. Вы готовы поклясться, что оно было адресовано мистеру Уайлдингу?

— Да, готова, — ответила она.

— Все это очень серьезно, — сказал герцог.

— Чрезвычайно серьезно, — поддакнул сэр Филипс.

— Что вы на это скажете, — обратился Альбемарль к своим коллегам. — Может быть, нам стоит вызвать мистера Уайлдинга?

— Джентльмены, зачем беспокоиться понапрасну? — уверенно сказал мистер Тренчард, и Альбемарль слегка даже растерялся.

— Берегитесь мистера Тренчарда, ваша милость, — заявила Руфь, — он друг мистера Уайлдинга и сам наверняка знает о заговоре.

Измученный Альбемарль уставился на мистера Тренчарда. Произнеси подобное обвинение кто-либо из арестованных, герцог немедленно заставил бы его замолчать, но в устах этой милой молодой женщины оно как будто заслуживало внимания. Но мистер Тренчард легко овладел ситуацией.

— Вашей милости, я думаю, не надо говорить, сколько сил за последние сутки я потратил, чтобы раскрыть этот заговор, — с легким сарказмом ответил он. — Что же касается всего остального, то я действительно друг мистера Уайлдинга, но эта леди состоит с ним в куда более интимных отношениях. Она — его жена.

— Его жена! — ахнул герцог.

Сэр Филипс криво усмехнулся, а полковник Латтрелл побавровел. Злорадная улыбка промелькнула на подвижном лице мистера Тренчарда.

— Ходят слухи, что этот вот сэр Роланд ухаживал за ней. — Он вопросительно поднял брови и поджал губы. — Женщины — странные создания, а мужья иногда вдруг начинают им очень мешать. Пусть ваша милость сам решает, в какой степени можно верить обвинениям этой леди против мистера Уайлдинга.

— О! — воскликнула Руфь, краснея от стыда. — Это ужасно!

— И я так же думаю, — не смущаясь, ответил мистер Тренчард.

Бедной девушке ничего не оставалось, как рассказать целиком историю своего замужества, и ее слова звучали столь искренне и убедительно, что трудно было не поверить им. Мистер Тренчард был в отчаянии: на его глазах рушился его рискованный замысел спасти мистера Уайлдинга для протестантского движения ценой предательства самого движения. Мистер Тренчард никогда не отважился бы на столь отчаянный шаг, не будь он уверен, что, если он сам не сделает его, то это сделает Ричард Уэстмакотт. Ухватив быка за рога, он едва не разгромил Ричарда и Блейка их же собственным оружием, и вот теперь эта девчонка могла свести на нет все его усилия.

— Ложь, ложь, ложь! — воскликнул он, прерывая ее, но герцог неодобрительно взглянул на него.

— Мы желаем выслушать эту леди до конца, мистер Тренчард, — с укором произнес он.

Однако мистер Тренчард не сдавался. Он вспомнил о последней, оставшейся у него карте и теперь решил, что пора выкладывать ее на стол.

— Ваша милость, почему вы позволяете злоупотреблять вашим терпением! — с жаром проговорил он. — Эта леди дурачит вас. Если вы позволите мне задать ей два-три вопроса, обещаю вам, я выведу ее на чистую воду. Вы позволите, ваша милость?

— Ну-ну, — согласился сэр Альбемарль. — Задавайте ваши вопросы.

Его коллеги одобрительно кивнули, и мистер Тренчард победительно взглянул на девушку.

— Это письмо, мадам, — издалека начал он, — которое попало вам в руки столь... столь живописным способом, — оно, как вы говорите, было адресовано мистеру Уайлдингу, не так ли? Вы готовы поклясться в этом?

— Я не желаю отвечать на вопросы этого человека, — с негодованием обратилась Руфь к судьям.

— Я думаю, будет лучше, если вы все же ответите, — со сдержанной учтивостью ответил ей герцог.

Вскинув голову, она повернулась к мистеру Тренчарду и в упор взглянула на него.

— Хорошо, я клянусь, — начала она, но тот великолепным актерским жестом поднял, останавливая ее, свою узловатую руку. — Что и говорить, он знал, как произвести впечатление на публику.

— Нет-нет, — сказал он, — я совсем не хотел бы, чтобы вас обвинили в лжесвидетельстве. Я не прошу вас клясться. Достаточно, если вы будете готовы сделать это.

Она презрительно надула губы.

— Я не боюсь оказаться лжесвидетельницей, — бесстрашно ответила она. — Клянусь, что письмо было адресовано мистеру Уайлдингу.

— Как вам угодно, — сказал мистер Тренчард, избегая вопроса, откуда у нее такая уверенность. — Письмо, несомненно, находилось в конверте, на котором было написано имя адресата? — полувопросительно проговорил он, и Латтрелл, догадавшись, к чему он клонит, понимающе кивнул.

— Несомненно, — сказала Руфь.

— Я уверен, вы согласитесь, мадам, что этот конверт является документом величайшей важности, поскольку с его помощью можно было бы внести ясность в вопрос, по которому мы расходимся?

— Да, конечно, — дрогнувшим голосом ответила она, увидев наконец ловушку, в которую ее заманили.

— Тогда как вы объясните, что этот конверт исчез? — мягко улыбаясь, спросил он. — Как могло случиться, что ваш брат, рискнувший, если верить вашей истории, оставить у себя столь опасное письмо, не сохранил конверт даже ради собственной безопасности?

Руфь потупила взор, Альбемарль вновь осклабился, торжествуя поглядывая на своих коллег и на Ричарда,

бледного и растерянного, словно только что выслушавшего свой приговор.

— Я... я не знаю, — наконец проговорила она, запинаясь.

— Ага! — облегченно вздохнув, сказал мистер Тренчард и повернулся к судьям. — Трудно ли догадаться, почему отсутствует этот конверт? — спросил он. — Надо ли говорить, чье имя было написано на нем? Думаю, нет. Мне кажется, достопочтенные судьи, что наиболее вероятный ответ уже известен вам.

Сэр Роланд сделал шаг вперед.

— Ваша милость, — обратился он к Альбемарлю, — вы позволите мне объяснить?

Вместо ответа герцог изо всех сил ударил кулаком по столу. Он, очевидно, пришел к выводу, что Руфь действительно разыгрывала их, и сейчас его терпению пришел конец.

— Я слышал слишком много объяснений, сэр, — хрипло прорычал он, поворачиваясь к секретарям. — Обвиняемые подлежат суду, — вынес он решение, забыв в гневе справиться о мнении своих коллег.

Мистер Тренчард наконец-то смог перевести дыхание, но ненадолго, поскольку в следующее мгновение он услышал, как чей-то голос потребовал немедленной аудиенции у его милости герцога Альбемарльского, и этот голос принадлежал Энтони Уайлдингу.

Глава одиннадцатая

ПОМЕХА

Появление мистера Уайлдинга вызвало у присутствующих весьма противоречивые чувства. Диана глядела на него с изумлением, Руфь — с надеждой, Ричард уперся взглядом в пол, а сэр Роланд враждебно усмехнулся — они не встречались лицом к лицу с момента их злополучной дуэли. На лицах Альбемарля и его коллег было написано полнейшее удовлетворение, а мистер Тренчард едва смог скрыть страх. Взглянув на своего друга, мистер Уайлдинг сразу догадался о происходящем здесь и о роли, которую тот играл во всем этом. Он был глубоко тронут таким доказательством дружбы с его стороны и некоторое время стоял в замешательстве, не зная, с чего начать.

— Вы очень вовремя прибыли, мистер Уайлдинг, — проговорил наконец Альбемарль. — Вы поможете нам разрешить некоторые сомнения насчет этих изменников.

— Именно поэтому, — ответил мистер Уайлдинг, — я здесь. До меня дошли слухи об арестах, и я прошу, ваша милость, ознакомить меня с фактами, которыми вы располагаете.

Альбемарль повелительно кивнул головой, и один из секретарей вновь зачитал обвинение. Уайлдинг внимательно выслушал все до конца и затем попросил разрешения посоветоваться с мистером Тренчардом.

— Но, мистер Уайлдинг, — удивленно возразил полковник Латтрелл, — мы сперва хотели бы услышать...

— С вашего разрешения, сэр, — перебил его мистер Уайлдинг, — я предпочел бы ничего не отвечать, не переговорив предварительно с мистером Тренчардом. Я прошу об этом в интересах следствия, — поторопился добавить он, увидев недовольные лица судей. — Его милость говорил о сомнениях, остающихся у вас насчет письма: все остальное — пустяки в сравнении с ним. В моих силах разрешить их, но, предупреждаю, я не произнесу ни слова, пока не проконсультируюсь с мистером Тренчардом.

Его заявление было встречено многозначительным молчанием. Латтрелл наклонился к герцогу Альбемарльскому и что-то зашептал ему на ухо, и то же самое, но с другого края, сделал сэр Эдвард.

— Ваша милость, этого нельзя допустить! — нетерпеливо воскликнул сэр Блейк.

— Что? — переспросил, ухмыльнувшись, Альбемарль.

— Если эти два злодея договорятся, мы погибли, — поспешил пояснить баронет.

— Поступайте, как вам угодно, мистер, — сказал Альбемарль, решив, что сэра Роланда замучила его неспокойная совесть. — Я надеюсь, вы не заставите нас долго ждать.

— Я не задержу мистера Тренчарда ни на одно лишнее мгновение, — ответил мистер Уайлдинг, и только очень чуткое ухо могло бы уловить скрытый смысл в его словах.

Уайлдинг и Тренчард покинули зал и молча, словно недруги, пошли по коридору, ведущему во двор. И только оказавшись в дальнем конце его, мистер Уайлдинг отрывисто спросил:

— Где твоя лошадь, Ник?

— При чем здесь моя лошадь? — вскипел мистер Тренчард. — Ты что, спятил? Чума тебя побери, Энтони, зачем ты только сунулся сюда в такое время?

— Я не знал, что это твоих рук дело, — пояснил мистер Уайлдинг и сухо добавил: — Тебе следовало сказать мне. Однако еще не все потеряно. Так где твоя лошадь?

— Пропади она пропадом! — в сердцах воскликнул мистер Тренчард. — Ты все испортил!

— Совсем наоборот, — возразил мистер Уайлдинг. — Пока еще можно все поправить. Я весьма тронут твоим отношением ко мне, но скажи, пожалуйста, как ты мог решиться на предательство?

— А что ты сам предпринял бы на моем месте?

— Оставил все как есть.

— Оставил бы как есть? — откликнулся мистер Тренчард и от раздражения аж топнул ногой. — Черт возьми! Ты что, спятил? Разве можно было оставить все как есть? В любую минуту тебя могли схватить по доносу Ричарда или Блейка. Вот это действительно было бы предательство.

— Не большее, чем твое.

— По крайней мере, ничуть не меньшее, — огрызнулся мистер Тренчард. — Ты что, считаешь, что у меня в голове солома вместо мозгов? Да, я выдал наше движение Альбемарлю, но неужели ты думаешь, что я не позаботился о последствиях?

— О чем, о чем? — удивленно переспросил мистер Уайлдинг.

— О последствиях. Как ты думаешь, что сделает сейчас Альбемарль?

— Не позже чем через час пошлет гонца с письмом в Уайтхолл.

— Именно! А где, черт тебя подери, будет находиться Ник Тренчард, когда этот курьер отправится в путь?

Мистер Уайлдинг наконец понял, о чем идет речь.

— Поздравляю, — сыронизировал по этому поводу мистер Тренчард. — Почему бы еще раз не украсть это письмо? Курьер поедет через Уолфорд. Там, около ручья, есть отличное место, где можно напасть на него и обчистить. Затем мы отведем его к Вэлэнси, который живет неподалеку, и оставим там до тех пор, пока не высадится герцог.

— Когда он еще высадится! — вскричал мистер Уайлдинг. — Ты говоришь так, словно это не за горами.

— Да за какими горами? Очень возможно, что он уже в Англии.

Мистер Уайлдинг рассмеялся.

— Ты всегда торопишься и принимаешь желаемое за действительное, Ник, — сказал он. — Верить каким-то слухам.

— Слухам! — прорычал тот. — Если бы слухам, ха! — Он сам сменил тон. — Извини, я совсем забыл: ты ведь не читал письма.

Мистер Уайлдинг вздрогнул. Никакие слухи и даже военные приготовления правительства не могли убедить его, что действия Аргайла в Шотландии могут оказаться прелюдией преждевременного вторжения в страну герцога Монмутского. Он знал, что Монмут окружен бездарными и безответственными советниками — Греем, Фергюсоном и другими, но не допускал и мысли, что герцог рискнет появиться прежде, чем получит от своих сторонников подтверждение об их полной готовности. Он озабоченно взглянул на мистера Тренчарда.

— А ты видел письмо, Ник? — с тревогой в голосе спросил он.

— Альбемарль показал мне его час назад, — ответил мистер Тренчард.

— Ну, и?..

— То, чего мы боялись. Оно написано рукой герцога, и он сообщает, что через несколько дней — несколько дней, запомни, появится в Англии.

Кулаки мистера Уайлдинга сжались.

— Боже, помоги нам, — мрачно процедил он сквозь стиснутые зубы.

— Но пока что, — продолжал мистер Тренчард, возвращаясь к исходному пункту, — нас ждут здесь не менее важные дела. У меня был заготовлен отличный план, и он почти удался, но ты своим появлением в последний момент свел на нет все мои усилия. Этот жирный дурак Альбемарль проглотил мои показания, как глоток муската. Эй, ты слышишь меня? — перешел он на более громкий тон, заметив, что мистер Уайлдинг погрузился в глубокую задумчивость.

— Нет, — опуская руку на плечо Ника, сказал он, — но это не имеет значения: даже если бы я был посвящен во все твои интриги, мне все равно бы пришлось вмешаться.

— Ради голубых глазок госпожи Уэстмакотт? — усмех-

нулся мистер Тренчард. — Хм-м! Что за потери несут мужчины из-за женщин!

— Ради голубых глаз миссис Уайлдинг, — услышал он в ответ. — Я никому не позволю занять мое место; тем более ее братцу, хотя я приехал затем, чтобы спасти его.

— Интересно, как ты намерен сделать это?

— Сказав Альбемарлю правду.

— Он не поверит.

— Я могу доказать каждое свое слово, — спокойно ответил мистер Уайлдинг.

Не выдержав, мистер Тренчард сорвался с места и торопливо обошел вокруг Уайлдинга.

— Ты не сделаешь этого, — прорычал он, и в его голосе смешались гнев и тревога за своего друга. В такое время это равносильно измене нашему делу и лично герцогу.

— Я надеюсь избежать этого, — уверенно ответил мистер Уайлдинг.

— Избежать этого? Но как?

— Прекратив сейчас эту болтовню. Спектакль окончен; уходи, Тренчард!

— Ни за что! — отозвался тот. — Я не оставлю тебя. Раз я втянул тебя в это дело, то должен и помочь выпутаться из него.

— Ты помнишь о Монмуте? — предупредил его мистер Уайлдинг.

— К черту Монмута! — ожесточенно воскликнул мистер Тренчард. — Я остаюсь здесь.

— Садись на лошадь, идиот, и скачи в Уолфорд, как хотел. Что бы Альбемарль ни узнал от меня, письмо обязательно будет отправлено в Уайтхолл. А если все обойдется, я скоро присоединюсь к тебе у Вэлэнси.

— В таком случае будет лучше для нас обоих, если мы отправимся вместе, — сказал мистер Тренчард.

— Но хуже для тебя.

— Хм-м, тем более я должен остаться.

Неожиданно дверь, ведущая в зал, открылась, и послышался громкий голос Альбемарля, зовущего их.

— В любом случае, — добавил мистер Тренчард, — ничего другого уже не придумать.

В ответ мистер Уайлдинг только пожал плечами, и они вернулись в зал.

— Вы отнюдь не спешили, господа, — криво усмехнувшись, приветствовал их герцог.

— Мы задержались лишь для того, чтобы поскорее покончить с этим делом, — сухо ответил мистер Тренчард, и мистер Уайлдинг не мог не отметить, как легко этот неподражаемый актер вошел в новую роль. Но Альбемарль лишь отмахнулся от него.

— Подойдите сюда, мистер Уайлдинг, — сказал он. — Мы готовы вас выслушать. Надеюсь, вы не считаете, что эти мошенники должны быть оправданы?

— Именно в этом, ваша милость, — заявил Уайлдинг, — я и постараюсь убедить вас.

Блейк и Ричард удивленно взглянули на него, а затем на мистера Тренчарда, но лишь проницательная Руфь уловила перемену в поведении последнего, и это вселило в нее надежду.

— Как я понимаю, сэр, — не дожидаясь реакции Альбемарля, продолжил он, — обвинение основано целиком на предположении, что письмо было адресовано мистеру Уэстмакотту.

— Что ж, — ответил герцог после секундного замешательства, — если мы увидим доказательства — неопровержимые, — что ни один из них не являлся получателем письма, тогда действительно можно будет считать достоверными их слова о том, что они овладели письмом в интересах его величества.

Он повернулся к Латтреллу и Филипсу, и они оба кивнули в знак подтверждения его слов.

— Но, как мне кажется, — продолжал он, — это не так-то просто сделать.

Мистер Уайлдинг достал скомканную бумажку из своего кармана.

— Заподозрив неладное, — подчеркнуто равнодушным тоном начал он, — курьер вынул письмо из конверта и положил их в разные места: письмо, по содержанию которого, как вы уже убедились, не просто установить получателя, он оставил в бумажнике, а конверт, где был указан адресат, спрятал за подкладку шляпы. Он правильно рассчитал, что охотники за письмом, обнаружив его в бумажнике, этим и удовлетворятся. В подтверждение своих полномочий курьер затем доставил конверт мне, и я думаю, такого доказательства вполне достаточно, чтобы эти несправедливо обвиненные джентльмены обрели свободу.

— Курьер доставил конверт вам? — повторил, ничего не понимающий Альбемарль. — Но почему именно вам?

— Потому что, — ответил Уайлдинг, левой рукой по-

ложив конверт перед Альбемарлем и опустив правую в карман, — письмо, как вы сейчас сами убедились, было адресовано мне.

Альбемарль торопливо схватил конверт, а Филипс и Латтрелл вытянули головы в его сторону, чтобы прочесть надпись на нем. Убедившись, что она была сделана той же рукой, что и писала письмо, герцог швырнул обе бумажки на стол перед собой.

— Что за баснями вы нас тут потчевали? — гневно обратился он к мистеру Тренчарду. — Ну я вам покажу. Арестовать этого мошенника, нет, их обоих.

Он приподнялся с кресла и дрожащей от волнения рукой указал на Уайлдинга и Тренчарда. Двое стражников направились к ним, собираясь исполнить приказ, но в то же мгновение мистер Уайлдинг выхватил из кармана пистолет и направил его прямо в лицо оторопевшему герцогу.

— Если хоть один палец коснется меня или мистера Тренчарда, — любезным тоном, словно предлагая судьям табакерку, сказал он, — то, к великому сожалению, мне придется застрелить вашу милость.

Альбемарль побагровел от злобы и страха, сэр Филипс побледнел, но Латтрелл сохранял спокойствие, хотя ситуация его явно озадачила. Руфь с благодарностью смотрела на своего мужа, и ее грудь вздымалась от волнения. Даже сэр Блейк не мог не восхититься смелостью и выдержкой мистера Уайлдинга, и лишь Ричард погрузился в мрачные раздумья о своей судьбе, недоумевая, что может случиться с ним, если Тренчарду и Уайлдингу удастся выбраться отсюда.

— Ваша милость, обещаю вам, что, если вы возвысите голос, чтобы позвать на помощь, это действие окажется последним в вашей жизни. Ник, будь добр, открой дверь и вставь ключ снаружи.

Мистер Тренчард проворно пересек зал под настороженными взорами стражников, но ни один из них даже не пошевелился — им не впервой приходилось иметь дело с отчаянными головами, и сейчас, по поведению мистера Уайлдинга, они видели, что лучше не рисковать.

— Энтони! — позвал мистер Тренчард от двери.

— Мне пора, ваша милость, — учтиво откликнулся тот, — но я не хотел бы оскорблять представителя его августейшего величества, продемонстрировав ему свои пятки.

С этими словами он медленно пошел спиной назад к двери, держа герцога на мушке пистолета. На пороге он поклонился всем присутствующим и со словами: «Ваш покорный слуга» — вышел вон. Мистер Тренчард торопливо запер дверь, вытащил ключ и, встав на цыпочки, засунул его за притолоку.

В зале поднялся шум, но оба друга не слышали его — они устремились во двор, где один из конюших сэра Эдварда держал кобылу мистера Уайлдинга, а конюх Руфи, верхом, выхаживал лошадей Дианы и своей госпожи. Трое вооруженных людей в красно-желтых livreaх сомерсетской милиции скучали у ворот, но ни один из них даже не пошевелился при их появлении.

— Слезай, — велел мистер Уайлдинг конюху своей жены, — мне нужна твоя лошадь. Речь идет о деле государственной важности. Слезай, я сказал, — нетерпеливо закончил он, буквально стащив недоверчивого малого на землю.

— Забирайся, Ник, — сказал он мистеру Тренчарду и затем бросил конюху: — Сейчас появится твоя госпожа.

В два шага мистер Уайлдинг оказался возле своей лошади, и еще через пару мгновений они уже выезжали на узкую улочку за воротами. В ту же секунду во дворе появились судьи, стражники, обвиняемые и свидетели. Руфь первым делом рванулась к своей лошади, опасаясь, что ею могут воспользоваться для погони, и Диана последовала ее примеру.

— Скорее, за ними! — рявкнул Альбемарль за ее спиной, и констебль с двумя стражниками бросились к воротам, где возле которых два милиционера, не трогаясь с места, равнодушно взирали на всю эту суету. Словно перепуганная царившим во дворе смятением, лошадь Руфи неожиданно заржала, встала на дыбы и принялась выделывать караколы прямо перед самыми воротами.

— О, дьявольщина! — выходя из себя, завопил герцог. — Да придержите же свою клячу, леди!

— Вы сами испугали ее своим ревом, — задыхаясь, ответила Руфь, пытаясь удержаться в седле и в то же мгновение сбила с ног констебля, пытавшегося проскользнуть мимо нее к воротам.

Трудно сказать, сколько бы она еще гарцевала, если б не ее конюх, который крепко схватил поводья лошади и этим сразу успокоил животное.

— Дурак! — прошипела она на своего нежданного избавителя и занесла было хлыст, намереваясь его ударить,

но тут же опустила руку, вспомнив, что тот, не зная о ее намерении дать фору Уайлдингу и Тренчарду, совершенно искренне хотел ей помочь.

Глава двенадцатая

У РУЧЬЯ

Слома голову друзья помчались по улицам Тонтона и не обратили внимания на всадника у ворот гостиницы «Красный Лев». Но тот увидел их, узнал и, когда они проскакали мимо него, закричал им во след:

— Эй! Ник Тренчард! Эй! Уайлдинг!

Не получив ответа, он разразился залпом проклятий и, развернув свою лошадь, припустился за ними, сначала по городу, а затем по дороге, ведущей к Уолфорду. Тренчард и Уайлдинг отнюдь не отказались от своих намерений перехватить курьера с письмом в Уайтхолл и, заметив за собой погоню, решили, что подстерегут незадачливого преследователя, когда пересекут вброд ручей. Мистер Тренчард предложил без лишних слов застрелить его, оправдывая свою кровожадность, которая была просто свойством его натуры, тем, что сейчас не время беспокоиться по пустякам. Оказавшись на другом берегу, они придержали лошадей, и в этот момент их преследователь, увидев, что они остановились, вновь закричал во всю силу своих, уже изрядно потрудившихся легких:

— Эй, Уайлдинг! Стой, черт тебя побери!

— Он проклинает тебя, словно старый знакомый, — замстил мистер Тренчард.

— Я как будто слышал где-то этот голос, — повернулся в седле мистер Уайлдинг и прикрыл рукой глаза от солнца, всматриваясь в силуэт всадника, приближающегося к броду.

— Подождите! — закричал тот. — У меня новости для вас!

— Да это же Вэлэнси! — воскликнул Уайлдинг, и теперь уже мистер Тренчард разразился проклятиями.

Вэлэнси наконец поравнялся с ними, раскрасневшийся и чрезвычайно рассерженный из-за того, что они не остановились по его требованию.

— Может, это и невежливо с нашей стороны, — сказал

мистер Уайлдинг, — но мы приняли вас за одного из друзей губернатора.

— Вас преследуют? — испуганно спросил Вэлэнси.

— По всей вероятности, да, — ответил мистер Тренчард. — Если только они нашли своих лошадей.

— Тогда вперед! — воскликнул мистер Вэлэнси, хватая поводья. — По дороге я все расскажу вам.

— Не торопитесь, — возразил мистер Тренчард. — У нас есть еще тут дела.

— Дела? Но какие?

Они вкратце рассказали ему о событиях последних дней, но он, не дослушав, нетерпеливо перебил их:

— Сейчас все это не имеет значения.

— Будет иметь значение, когда письмо дойдет в Уайтхолл, — заметил мистер Уайлдинг.

— О, Боже! — нетерпеливо возразил мистер Вэлэнси. — Да к тому времени Уайтхолл достигнут новости посерьезней.

— Какие же? — спросил мистер Тренчард.

— Герцог высадился, — лаконично ответил мистер Вэлэнси.

— Герцог? — удивился мистер Уайлдинг. — Какой герцог?

— Какой герцог! Боже мой, вы надо мной издеваетесь! Ну какой может быть герцог? Конечно же, Монмутский, и он сегодня утром появился в Лайме.

— Монмут! — ахнули оба друга.

— Неужели это правда? — спросил мистер Уайлдинг. — Или, может быть, слухи?

— Не забывай о письме, которое перехватили эти приятели, — напомнил ему мистер Тренчард.

— Я знаю, — нетерпеливо отмахнулся мистер Уайлдинг.

— Все это не слухи, — заверил их Вэлэнси. — Три часа назад я был в Уайт-Лакингтоне, когда туда дошло известие о высадке герцога, и я немедленно отправился сообщить вам, заехав по пути в Тонтон, чтобы предупредить наших друзей в «Красном Льве».

Мистер Тренчард обреченно вздохнул, но мистер Уайлдинг все еще не мог поверить, что герцог Монмутский оказался настолько сумасшедшим, чтобы своим неожиданным и неподготовленным выступлением погубить все.

— Вы были в Уайт-Лакингтоне? — медленно спросил мистер Уайлдинг. — Как и от кого вы все узнали?

— От Хейвуда Дэя, казначея герцога, и мистера Чемберлена, — ответил мистер Вэлэнси, с трудом сдер-

живая раздражение. — Сегодня рано утром они высадились с фрегата герцога в Ситауне и приехали с новостями прямо к мистеру Спику в Уайт-Лакингтон, а к вечеру должны вернуться в Лайм.

Мистер Уайлдинг изменился в лице. Он схватил мистера Вэлэнси за запястье.

— Вы видели их? — неожиданно охрипшим голосом спросил он. — Сами видели?

— Своими собственными глазами, — ответил тот, — и даже разговаривал с ними.

Значит, это была правда! Больше не могло быть сомнений. Уайлдинг поглядел на мистера Тренчарда, но тот только пожал плечами и кисло скривился.

— Я всегда считал, что мы служим тупицам, — с презрительным смехом выразил он свое мнение.

— Вы узнали, сколько людей было с герцогом? — спросил мистер Уайлдинг у мистера Вэлэнси.

— По словам Дэя, не более сотни.

— Сотни?! Боже милостивый! Можно подумать, он собирается завоевать всю Англию с сотней человек?! Он что, спятил?

— Он рассчитывает, что все истинные протестанты немедленно встанут под его знамена, — вставил мистер Тренчард, и было непонятно, констатирует ли он факт или иронизирует.

— Он привез с собой хотя бы оружие и деньги? — спросил мистер Уайлдинг.

— Похоже, что нет, — ответил мистер Вэлэнси, — но Дэй сообщил, что вскоре придут еще три корабля и с ними, вероятно, необходимое снаряжение.

— Будем надеяться, — скептически отозвался мистер Тренчард и тронул Уайлдинга за руку, указывая на облако пыли, приближавшееся в их направлении со стороны Тонтона.

— Я думаю, нам пора в дорогу, — продолжал он. — По крайней мере, высадка герцога освободила меня от угрызений совести насчет этого проклятого письма. Эй, Энтони! — неожиданно воскликнул он, увидев, что мистер Уайлдинг погрузился в глубокую задумчивость и вновь как будто не слышит его. — Куда теперь?

— Ты еще спрашиваешь? — с горечью, которую мистер Тренчард никогда прежде не замечал в настроении друга, откликнулся тот. — Черт возьми! Нам некуда отступать! Погнем в Лайм и попробуем уговорить этого сумасшедшего юнца вернуться в Голландию и забрать нас с собой.

— Наконец-то ты говоришь дело, — пробрюзжал мистер Тренчард. — Но я сомневаюсь, что, зайдя так далеко, он захочет вернуться. У тебя есть что-нибудь в кошельке?

— Гинея или две. Но я могу раздобыть деньги в Ильминстере.

— А как ты намереваешься попасть туда, если нам отрезали путь?

— Мы спрячемся вон в том лесочке, — указал мистер Уайлдинг рукой на густые заросли деревьев у ручья. — Они наверняка решили, что мы поскачем прямо в Бриджуотер, и не станут шарить по окрестностям.

Они торопливо спешили, пересекли неширокое поле, разделявшее дорогу и лес, и углубились, насколько это оказалось возможно, в чащу. Затем мистер Тренчард вернулся к опушке и, невзирая на угрозу, которую представляли заросли ежевики для его роскошного камзола, притаился там, чтобы взглянуть на преследователей.

Они — шестеро милиционеров и сержант — не заставили себя долго ждать; во главе их скакал сэр Роланд Блейк, а вслед за ним — Ричард Уэстмакотт. Среди всадников находился также и человек в сером, в котором мистер Тренчард угадал курьера, направляющегося в Уайтхолл. Он едва не рассмеялся, представив себе, как туго пришлось бы им с Уайлдингом, если бы они решились перехватить это злосчастное письмо. Но больше всего его обеспокоило, что кавалькаду возглавлял сэр Роланд, — вероятно, ему удалось убедить судей позволить ему доказать свою преданность королю, и он взялся за дело с рвением, которому позавидовала бы любая гончая. Впрочем, неудивительно, что именно он вызвался преследовать своего злейшего врага — ведь только через труп мистера Уайлдинга лежал для него путь к Руфи и ко всем связываемым с ней надеждам.

Мистер Тренчард дождался, пока всадники скроются за гребнем ближайшего холма, и вернулся к своим спутникам с рассказом о том, что увидел. Однако мистер Уайлдинг никак не отреагировал на известие о появлении Блейка и Ричарда во главе погони и, подождав для верности еще несколько минут, предложил вернуться к дороге. Они добрались до самой опушки и вот-вот очутились бы на открытом пространстве, как вдруг мистер Тренчард схватил поводья кобылы мистера Уайлдинга и прошипел:

— Тс-с! Лошади!

Они замерли, и до их слуха долетел близкий топот

копыт, который прежде заглушался треском сучьев и шуршанием листвы, когда они шли через лес. Отступать было поздно: лишь редкие кусты прикрывали их, и можно было надеяться в лучшем случае только на то, что всадники проследуют мимо, не взглянув в их сторону. Увы, этот шанс был слишком ничтожен, и мистер Уайлдинг достал пистолеты, а мистер Тренчард обнажил свой клинок.

— Их всего трое, — прошептал мистер Тренчард, внимательно вслушавшийся в топот копыт, и мистер Уайлдинг кивнул, но ничего не сказал.

В следующую секунду со стороны ручья появились всадники, и при виде их веки мистера Уайлдинга задрожали — он узнал Руфь, рядом с которой ехала Диана, а за ними, шагах в двадцати, торопился Джерри, конюх. Они возвращались в Бриджуотер. Мистер Уайлдинг поспешно вскочил в седло и вонзил шпоры в бока своей лошади.

— Госпожа Уайлдинг, — закричал он, быстро приближаясь к дороге, — подождите минуточку!

— Они упустили вас! — воскликнула Руфь, резко натянув поводья и поворачивая к нему; и прозвучавшая в ее голосе нотка искреннего восторга заставила мистера Уайлдинга на мгновение смутиться. Ее бледное лицо зарделось румянцем, словно от быстрой езды, и только биение сердца и блеск глаз могли бы выдать неподдельную радость, охватившую ее, когда она увидела их целыми и невредимыми.

Действительно, она почти неосознанно восторгалась его хладнокровием в зале суда, когда только он один сохранял выдержку и спокойствие; в самые напряженные моменты он казался чуть ли не единственным мужчиной из всех присутствующих, и, если бы не прошлые обиды, она могла бы гордиться им. Еще бы — он смело явился в самое логово льва, чтобы спасти ее брата, и сделал это либо вследствие ее увещаний, либо, что было более вероятно, повинуясь собственному пониманию справедливости, не позволившему ему укрыться за чужой спиной. На всем пути из Тонтонна Диана поддерживала искорку, теплившуюся в ее груди, превознося его храбрость, рыцарство и благородство и откровенно заявляя подруге, что она очень жалеет, что столь замечательный человек достался в мужа не ей. Руфь почти не отвечала Диане; ей трудно было простить мистера Уайлдинга, но она знала, что обязана ему жизнью брата, и была бы рада

поблагодарить его. И сейчас его появление настолько удивило ее, что своим восклицанием: «Они упустили вас!» — она — неожиданно даже для самой себя — выдала переполнявшие ее чувства.

Он указал рукой в сторону Бриджуотера.

— Они проехали здесь всего несколько минут назад, — сказал он, — и мчались так, что сейчас, наверное, уже подъезжают к Ньютону. Они так спешили, что не оглядывались по сторонам — и я весьма признателен им за это.

Руфь промолчала, но за нее ответила Диана:

— Вперед, Джерри, шагом, — приказала она конюху и сама дернула поводья своей лошади.

— Вы очень добры, мадам, — поклонившись ей, сказал мистер Уайлдинг.

Он молча наблюдал за ними, пока они не отъехали на некоторое расстояние, затем тронул свою лошадь и поравнялся с Руфью.

— Прежде чем я исчезну, — печально глядя на нее, проговорил он, — мне хотелось бы кое-что сказать вам. — Необычная для него неуверенность тона удивила и испугала ее. «Что все это могло значить?» — размышляла она, и вдруг ее сердце сжалось от страха — она вспомнила о письме. Теперь, когда мистер Тренчард своими интригами вынудил ее воспользоваться им, оно более не служило ей защитой; письмом, словно пчелиным жалом, можно было воспользоваться для обороны только однажды, но за этим неизбежно последовала бы гибель. Ее лицо окаменело, в глазах появился лихорадочный блеск, и она бросила через плечо тревожный взгляд в сторону удаляющихся Дианы и конюха. В этот момент ей даже в голову не пришло, что закон теперь стоял отнюдь не на его стороне.

Он догадался, что творится в ее душе, и легкая улыбка тронула его губы.

— Чего вы боитесь? — спросил он.

— Я ничего не боюсь, — охрипшим голосом ответила она, выдавая свое волнение.

Чтобы подбодрить ее и не давать пищу для пересудов своим не слишком уж деликатным товарищам, которые явно не желали оставаться глухими к их беседе, он предложил ей отправиться за кузиной. Она развернула лошадь, и они поехали рядом иноходью по пыльной дороге.

— Я хочу поговорить о себе, — наконец сказал он.

— А это будет касаться меня? — холодно поинтересовалась она, стараясь скрыть за небрежностью тона свои ничуть не успокоившиеся страхи. Он искоса взглянул на нее и задумчиво потербил пальцами прядь своих темно-каштановых волос.

— Мне думается, мадам, — сухо заметил он, — то, что касается мужа, может касаться и его жены.

— Вы правы, — ответила она, потупившись. — Я совсем забыла, что формально я — ваша жена.

Он резко натянул поводья и повернулся к ней, ее лошадь прошла пару шагов и тоже остановилась.

— Я считаю, — заявил он, — что заслужил лучшего отношения с вашей стороны. — Он тронул свою лошадь и, поравнявшись с Руфью, вновь натянул поводья. — Мне кажется, я мог бы рассчитывать хотя бы на небольшую благодарность за свой сегодняшний поступок.

— Я хотела бы быть благодарной, — тщательно выбирая выражения, отозвалась Руфь. — Простите мою недоверчивость.

— Но чем же она вызвана?

— Все дело в вас. Я не знаю, чего вы хотите. Разве вы намеревались спасти Ричарда?

— А вы думаете, я пошел на это ради сэра Блейка? — с иронией спросил он.

Она не ответила, и после небольшой паузы он продолжил:

— Я приехал в Тонтон по двум причинам: во-первых, повинаясь вашей просьбе, а во-вторых, я не мог допустить, чтобы вместо меня пострадали невинные люди — пусть даже они сами угодили в яму, которую рыли для другого. Только поэтому я решился погубить себя.

— Погубить себя? — воскликнула она; он говорил сущую правду, но до сих пор она была чересчур занята другими проблемами, чтобы задуматься над этим.

— А как же иначе? Меня объявили вне закона и вот-вот назначат цену за мою голову. Мои земли и все мое состояние конфискует государство, и я останусь нищим, преследуемым и гонимым. Простите, что я заставил вас выслушать весь список моих неудач. Вы, несомненно, ответите, что я сам навлек их на свою голову, заставив выйти вас за меня замуж.

— Не стану отрицать, что именно так я и думаю, — сказала она, сознательно подавляя проснувшееся в ней сострадание к нему.

Он вздохнул и вновь взглянул на нее, но она опустила глаза.

— Вы считаете, я не проявил великодушия? — с оттенком удивления проговорил он. — Ведь я пожертвовал всем, чтобы согласно вашей воле спасти вашего брата. Неужели вы не понимаете этого?

Он замолчал, ожидая ответа, но она не находила слов.

— Думаю, что нет, иначе у вас нашлось хотя бы одно доброе слово для меня.

Она наконец решилась робко взглянуть на него, словно спрашивая объяснения, и он продолжил:

— Когда вы сегодня утром появились у меня с известием, как обернулись дела с письмом, знаете ли вы, что это значило для меня?

Он сделал небольшую паузу, прежде чем ответить на собственный вопрос.

— А то, что в моей власти стало делать с вами все, что мне заблагорассудится. Пока письмо находилось в ваших руках, оно служило надежным барьером между нами; я был вашим покорным слугой, и вы заказывали музыку, под которую я танцевал. Но все изменилось, когда письмо попало в руки королевских чиновников; я не участвовал в этом деле, и моя честь не была запятнана. Будь я способен на низость, вы сегодня же стали бы моей, а ваш брат и сэр Роланд запутались бы в собственных силках.

Она испуганно, чуть ли не пристыженно взглянула на него. Такая мысль тоже не приходила ей в голову.

— Теперь, я вижу, вы наконец-то поняли, — сказал он и задумчиво улыбнулся. — Только поэтому я так неохотно подчинился вашей просьбе. Вы пришли ко мне, рассчитывая на мое великодушие, упрашивая меня — едва ли сами сознавая это — расстаться со всем, что я имею, даже с самой жизнью! Человек — грешное создание, и я — отнюдь не исключение; я проявил бы сверхчеловеческую добродетель, согласившись на условия сделки, которую вам самой никогда не пришлось бы выполнять.

— Я не подумала об этом! — из ее груди вырвалось восклицание, более похожее на всхлипывание. Она повернулась к нему, и ее глаза увлажнились. — Клянусь, я даже не догадывалась. Я ведь так беспокоилась за Ричарда! О, мистер Уайлдинг! Я всегда буду признательна за вашу... за ваш сегодняшний благородный поступок.

— Да, я поступил благородно, — согласился он, вновь

трогая свою лошадь. — Когда вы оставили меня, — продолжал он, — я много думал о вас и о том, как вы обошлись со мной. Я любил вас, Руфь, вы были мне нужны, а вы отвернулись от меня. Я был рабом своей любви, но ваше безразличие странным образом преобразовало ее.

Он замолчал, пытаясь справиться со своим волнением, которое заставило его голос вибрировать, и продолжал далее уже своим обычным, размеренно-спокойным тоном:

— Едва ли надо повторяться, но, ладно, вспомним, как все было. Я заставил вас подчиниться своей воле, когда имел над вами власть, и вы ответили мне тем же. Это была странная война, но я принял ее условия. Но сейчас, когда сила вновь оказалась на моей стороне, я попросту капитулировал и отказался от всего, чем обладал, — включая вас. Что ж, возможно, я получил по заслугам, женившись на вас прежде, чем получил на то согласие.

И вновь в его голосе появились холодноватые будничные нотки.

— Совсем недавно я скакал по этой дороге с единственной надеждой добраться домой, взять с собой немного денег и драгоценностей, а затем ехать к морю в поисках корабля, направляющегося в Голландию. Вы знаете, что я занимался подготовкой восстания, которое должно было положить конец беззакониям и преследованиям людей в моей любимой Англии. Я не стану вдаваться в подробности, скажу только, что, если бы судьба благоприятствовала нам, виноградник, который я выращивал втайне от всех, со временем мог бы принести плоды. Увы, в самый час своего бегства я узнал, что настала пора сбора урожая. Этим утром герцог Монмутский высадился в Лайме, и сейчас я еду к нему.

— Но зачем? — воскликнула она.

— Послужить ему своей шпагой. Не погуби я себя сегодняшним поступком, мои действия были бы совершенно иными и я постарался бы держаться подальше от этих лезущих в петлю заговорщиков. Но сейчас это моя единственная — пускай и слабая — надежда.

Она положила руку ему на запястье. В ее глазах стояли слезы, а губы дрожали.

— Энтони, простите меня, — тихо проговорила она, и по его телу пробежала дрожь — так подействовало на него ее волнение и первое обращение к нему по имени.

— Что я должен простить? — спросил он.

— То, как я поступила с письмом.

— Бедное дитя, — мягко улыбнувшись, сказал он, — вы всего лишь защищались.

— Скажите, что простили меня, скажите, прежде чем уйдете! — взмолилась она.

Он серьезно взглянул на нее.

— Для чего, вы думаете, — спросил он, — я потратил столько слов сейчас? Только для того, чтобы показать вам, сколько я сделал, пытаюсь загладить свою вину перед вами; и я надеялся, что, когда вы и увидите эти искренние плоды раскаяния, я смог получить от вас прощение, прежде чем мы расстанемся.

— Мы встретились в несчастливый день, — тихо плача, вздохнула она.

— Для вас — несомненно.

— Нет, для вас.

— Хорошо, пускай для нас обоих, — согласился он. — Руфь, ваша кузина наверняка заждалась вас, да и моим товарищам, я уверен, не терпится поскорее отправиться в путь. Не станем их задерживать. Я попытался, как мог, оправдаться перед вами, но зло, с которым можно справиться одним-единственным способом, никуда не делось.

Он замолчал, чтобы взять себя в руки, прежде чем продолжить.

— Вполне вероятно, что это преждевременное восстание не принесет пользы Англии и оставит вас наконец-то вдовой. Когда это случится и меня настигнет достойное возмездие за содеянное мной, я хотел бы надеяться, что вы станете поминать меня добром. Прощайте, моя Руфь! Как я хотел, чтобы вы полюбили меня. Я даже пытался заставить вас это сделать. Но, наверное, вы были правы: всему должно быть свое время.

Он поднял к своим губам ее маленькую руку в перчатке:

— Да хранит вас Господь, Руфь!

Вместо ответа лишь сдавленное всхлипывание вырвалось из ее груди. Но даже в такой момент он отдавал себе отчет, что в ней говорит вовсе не любовь, а скорее жалость — чувство, которое он сам старался избегать. Он уронил ее руку, приподнял шляпу и, тронув шпорами лошадь, поскакал в сторону опушки, к своим друзьям. Она была готова последовать за ним и уже открыла рот, чтобы окликнуть его, но в этот момент до нее донеслись раздраженно-нетерпеливые слова мистера Тренчарда:

— Какого черта ты мешкаешь здесь в такое время?

И мистер Вэлэнси вслед за ним добавил:

— Ради Бога, поехали!

Она остановилась, словно усомнившись в правоте своего порыва, секунду помешкала, а затем, развернувшись, пустила лошадь вверх по склону холма к поджидавшей ее Диане.

Глава тринадцатая

ЗА СВОБОДУ И ЗА ВЕРУ

Приближался вечер, когда мистер Уайлдинг и двое его друзей спустились в Лайм с холмов, откуда открывался изумительный вид на всю долину Экса, окутанную тонкой, молочно-белой пеленой тумана. Новости распространялись быстро, и по дороге из Ильминстера, где они поменяли лошадей, а мистер Уайлдинг занял сотню гиней у одного из своих сообщников, им не раз попадались целые группы всадников, направляющихся в Лайм, и однажды они даже услышали восклицание: «Боже, спаси протестантского герцога!»

— Аминь! — мрачно пробормотал на это мистер Уайлдинг. — Больше надеяться просто не на что.

Они выехали на рыночную площадь, где несколько часов назад была прочитана декларация герцога Монмутского, знаменитое творение, вышедшее из-под пера Фергюсона¹¹, — и там узнали, где остановился герцог. На Кумб-стрит плотной стеной стояли люди, все окна были распахнуты настежь, и из них торчали головы зевак — в основном женщин, поскольку мужчины толпились внизу на улице. Со всех сторон раздавались крики: «Монмут! Монмут! Протестанты! За веру и свободу!» — последние слова украшали знамя, которое этим вечером герцог Монмутский велел водрузить над клиффской церковью. Мистер Уайлдинг был удивлен: он скорее ожидал увидеть восстание уже подавленным к тому времени, когда они доберутся сюда; о чем только думали власти, позволив Монмуту беспрепятственно высадиться, или, быть может, у мистера Вэлэнси оказались неточные сведения о войске, сопровождавшем герцога?

Красный плащ мистера Уайлдинга привлек чье-то внимание, и раздались крики: «Ура капитану милиции герцога!», и это помогло им протиснуться во двор

гостиницы «Святой Георгий». Там тоже толпились люди: портные, конюхи, каменщики, дезертиры — вооруженные и безоружные, а на ступенях стоял ладно скроенный вояка в щегольски заломленной шляпе, которого осаждали нетерпеливые горожане. Мистер Уайлдинг сразу же узнал капитана Веннера — теперь, по прибытии из Голландии, повышенного в чине до полковника. Мистер Тренчард спешил и, схватив за локоть оказавшегося поблизости юнца, велел ему присмотреть за их лошадьми.

— Пустите меня! — яростно завопил тот. — Мне нужен герцог!

— И нам тоже, мой славный бунтовщик, — ответил мистер Тренчард, не ослабляя хватки.

— Пустите же, — не сдавался юноша, — я хочу завербоваться.

— Сначала займись нашими клячами. Эй, Вэлэнси, за этим малым нужен глаз да глаз, похоже, он подцепил воинскую лихорадку.

Бедняга пытался протестовать, но в конце концов ему не осталось ничего другого, как под присмотром мистера Вэлэнси отвести лошадей в стойло, в последний раз исполняя обязанности конюха, перед тем, как стать солдатом протестантской армии. В это время мистер Уайлдинг энергично проталкивался сквозь толпу, и, когда свет фонаря, висевшего возле двери, осветил его лицо, он услышал радостный крик: «Мистер Уайлдинг!» Веннер заметил его и издали протягивал ему руку — еще бы, первый джентльмен прибыл приветствовать герцога!

— Немедленно идите к его милости, — велел ему Веннер и, повернувшись, прокричал за дверь: — Крэгт!

Оттуда появился молодой человек в куртке из толстой бычьей кожи, и мистер Веннер велел сопроводить мистера Уайлдинга и присоединившегося к нему мистера Тренчарда к герцогу. Они нашли Монмута в большой комнате наверху, за столом, хранившим следы только что законченного ужина. Однако сегодня герцог не мог похвастаться хорошим аппетитом. Он был все еще возбужден недавней высадкой на берег, его переполняли надежды, вдохновленные энтузиазмом, с которым местные жители стекались под его знамена, и терзали сомнения, поскольку никто из окрестных дворян не последовал примеру низшего сословия. По правую руку от герцога сидел Фергюсон — архизаговорщик, склонившийся над пером и бумагами, так что его лицо было почти скрыто под огромным париком. Напротив него расположились лорд Грей и

Эндрю Флетчер, а около стола стоял Натаниэль Вэйд, вынужденный после доноса об участии в заговоре бежать в Голландию, где стал майором на службе у герцога.

— Итак, вы поняли, майор Вэйд, — отдавал распоряжения герцог своим приятным, мелодичным голосом. — Решено, что пушки надо немедленно переправить на берег и установить на лафеты.

Вэйд поклонился:

— Я сейчас же займусь этим. Не беспокойтесь, сэр, все будет сделано. Мне можно идти, ваша милость?

Герцог кивнул, и Вэйд — высокий, по-солдатски стройный, с огромной шпагой на перевязи и с пистолетом, торчавшим за поясом, — вышел вон. Трудно было представить себе, что когда-то главным оружием этого человека было красноречие, знание законов и умение лавировать между ними.

Креэнт объявил о мистере Уайлдинге и мистере Тренчарде, и герцог, услышав это известие, вскочил на ноги, и его взгляд просветлел. Флетчер и Грей последовали его примеру; один лишь Фергюсон никак не отреагировал на известие, поглощенный своей работой.

— Наконец-то! — воскликнул герцог. — Немедленно просите их!

Они вошли — впереди мистер Уайлдинг, держа в руках шляпу, и герцог, приветствуя их, шагнул из-за стола навстречу. Он был одет в пурпурного цвета камзол, плотно облегавший его гибкую, словно клинок, фигуру, в которой несмотря на всю ее худошавость, ощущалась недюжинная сила, и на его груди сияла бриллиантовая звезда. У него было очень правильное, овальной формы лицо, яркие глаза, прямой и тонкий нос — наследство, доставшееся ему от матери, «смелой, красивой женщины», как он ее сам называл, однако изящно очерченный чувственный рот выдавал слабость характера его обладателя. Он очень походил на покойного короля, своего отца, несмотря на бородавку на щеке, с помощью которой его дядя, король Яков, сколотил себе немалый политический капитал. Герцог схватил мистера Уайлдинга за руку и энергично потряс ее.

— Вы опоздали, — без тени осуждения сказал он, пока мистер Уайлдинг склонился, чтобы поцеловать руку его милости. — Мы рассчитывали встретить вас здесь, когда высаживались. Вы получили мое письмо?

— Нет, ваша милость, — серьезно ответил мистер Уайлдинг. — Оно было украдено.

— Украдено? — вскричал герцог, и даже Фергюсон бросил писать и прислушался.

— Это уже не имеет значения, — заверил его мистер Уайлдинг. — Только сегодня оно было отправлено в Уайтхолл и едва ли много добавит к тем новостям, которые уже дошли туда.

Герцог негромко рассмеялся, сверкнув белоснежными зубами, и взглянул через плечо мистера Уайлдинга на мистера Тренчарда.

— Мне сказали, что мистер Тренчард... — холодно начал он, но мистер Уайлдинг, повернувшись вполоборота к своему другу, поторопился объяснить:

— Это мистер Николас Тренчард — двоюродный брат Джона Тренчарда.

— Рад видеть вас, сэр, — с оттенком удивления проговорил герцог. — Я надеюсь, ваш брат вскоре последует за вами.

— Увы, — отозвался мистер Тренчард, — он сейчас во Франции.

В нескольких словах он сообщил о злоключениях, выпавших на долю Джона Тренчарда. Герцог молча выслушал его — Джон Тренчард обещал ему, что приведет с собой полторы тысячи вооруженных людей из Тонтона. Глубоко задумавшись, он прошелся по комнате. Наступила пауза, которую Фергюсон хотел было заполнить чтением декларации — предметом его гордости — специально для вновь прибывших, но лорд Грей с кислой миной напомнил ему, что с этим можно подождать. Мистера Уайлдинга и мистера Тренчарда пригласили к столу, появились свежие стаканы и пара бутылок канарского, и, герцог, без всяких околичностей, напрямую спросил, что они думают по поводу его преждевременной высадки.

— Честно говоря, ваша милость, — без тени колебания ответил Уайлдинг, — мне это совсем не нравится.

Флетчер пристально взглянул на мистера Уайлдинга своими ясными, умными глазами, Фергюсон был, казалось, ошарашен, а толстые губы лорда Грея скривились в усмешке.

— Клянусь, — с наигранным сарказмом проговорил последний, — в таком случае нам остается только поднять якорь и уплыть назад в Голландию.

— Именно это я и посоветовал бы сделать вам, — спокойно сказал мистер Уайлдинг, — будь хотя бы малая вероятность, что моему совету последуют.

Усмешка словно застыла на губах лорда Грея, глаза

Флетчера еще больше округлились, а Фергюсон мрачно усмехнулся. На моложавом лице герцога — в свои тридцать шесть он все еще выглядел как мальчишка — отразились удивление и страх. Он озадаченно посмотрел на мистера Уайлдинга, а затем на других, словно ожидая от них реакции. Наконец лорд Грей решился проявить ее.

— Объяснитесь, сэр, иначе мы будем вынуждены считать вас предателем! — воскликнул он.

— Король Яков уже сделал это за вас, — улыбнувшись, сказал мистер Уайлдинг.

— Вы говорите о герцоге Йоркском? — брюзгливо вставил замечание Фергюсон, выдавая акцентом свое шотландское происхождение, и Монмут кивнул, одобряя эту поправку. — Если вы имеете в виду этого проклятого паписта и братоубийцу¹², то лучше называть его так. В декларации написано...

Но вспыхивый Флетчер, не дав ему толком приступить к излюбленной теме, нетерпеливо перебил его.

— Думаю, что мистеру Уайлдингу, — сказал он, неверными ударами в слова объявляя себя соотечественником Фергюсона, — следовало бы изложить возникшие у него сомнения, побудившие его дать совет, едва ли достойный дела, которому он поклялся служить.

— Да, Флетчер, — согласился Монмут, — вы правы. Расскажите нам, мистер Уайлдинг, что вас смущает.

— Меня смущает, ваша милость, что это вторжение преждевременно, неосторожно и необдуманно.

— Черт возьми! — вскричал лорд Грей и резко повернулся к герцогу. — Неужели мы станем слушать этот детский лепет?

Ник Тренчард, до сих пор молчавший, прочистил горло настолько основательно, что привлек внимание всех присутствующих.

— Ваша милость, — невозмутимо продолжал объяснять мистер Уайлдинг, — когда я имел честь встречаться с вами в Гааге два месяца назад, было условлено, что это лето вы проводите в Швейцарии, вдали от политики, оставив всю работу по подготовке восстания вашим доверенным агентам здесь, в Англии. В таком деле нельзя торопиться, и невозможно за один день склонить на свою сторону высокопоставленных людей, которым есть что терять и которым требуются гарантии, что они не зря рискуют своим состоянием и самой жизнью. К следующей весне, как мы и говорили, все было бы готово. Само время работает на вас и укрепляет ваши шансы на

успех: поскольку гнет с каждым днем становится все тяжелее и соответственно растет ненависть людей к королю Якову. Я помогал ей пустить корни и в хижине пахаря, и в усадьбе сквайра¹³, и, если бы ваша милость дали бы мне обещанное вами же время, вы, может статься, промаршировали бы в Уайтхолл, не пролив и капли крови. Вся Англия содрогнулась бы при вашем появлении, так что самый трон вашего дядюшки опрокинулся бы от этого толчка. Но сейчас... — Он пожал плечами и развел руками, оставив фразу незаконченной.

Этот обстоятельный монолог словно отрезвил Монмута, и от его бывлой экзальтации не осталось и следа. Он увидел вещи в их истинном свете, и даже приветственные крики толпы на улице не могли рассеять мрачного настроения, навешенного мистером Уайлдингом. Бедный Монмут! Словно флюгер, он всегда управлялся чужими мнениями, и слова мистера Уайлдинга как будто поколебали его; однако лорд Грей своим презрительным замечанием помог герцогу вновь обрести утраченное было мужество.

— А сейчас мы опрокинем этот трон своими руками, — сказал тот после секундной паузы.

— Верно! — воскликнул герцог. — И да поможет нам Бог!

— Наша опора и надежда — владыка горного мира, во имя которого мы выступаем, — прогудел Фергюсон, цитируя свою драгоценную декларацию. — И да сотворит добро милостивая воля Божья.

— На это трудно возразить, — улыбнулся мистер Уайлдинг, — но Господь Бог, как меня уверяли ваши, так сказать, коллеги, творит добро по своему усмотрению и, что самое важное, в свое время, и я больше всего опасаясь, что оно еще не наступило.

— Вы забываетесь, сэр! — вскричал Фергюсон. — У вас отсутствует благоговение!

— Здравый смысл сейчас пригодится куда больше, — ответил мистер Уайлдинг с оттенком досады в голосе и повернулся к сбитому с толку герцогу, не знавшему, чью же сторону ему принять.

— Ваша милость, — сказал он, — простите мне мои слова; но я велю себе замолчать, если ваше решение окончательно.

— Оно окончательно, — ответил лорд Грей за герцога, но Монмут мягко поправил его:

— Говорите, мистер Уайлдинг. Что бы вы ни сказали,

знайте: мы ни на секунду не усомнимся в ваших добрых намерениях.

— Я благодарен вашей милости, но могу лишь еще раз повторить: даже сейчас я прошу вашу милость вернуться в Голландию.

— Что? Вы сошли с ума! — вырвалось у лорда Грея.

— Боюсь, уже слишком поздно, — медленно проговорил Флетчер.

— Я не уверен, — возразил мистер Уайлдинг. — Но я не сомневаюсь, что это было бы самое надежное и безопасное решение. К сожалению, я нахожусь под подозрением и не смогу остаться в Англии, но здесь есть другие, которые продолжают нашу работу. С помощью писем, отправляемых с континента, мы сможем как следует подготовить почву для возвращения вашей милости, и через год нам наверняка удастся сделать это.

Лорд Грей пожал плечами, но ничего не сказал. Воцарилось молчание. Слова мистера Уайлдинга как будто нашли отклик в сердцах всех присутствующих, особенно у Эндрю Флетчера, который еще две недели назад приводил такие же аргументы, которые были опровергнуты лордом Греем, более других повлиявшим на Монмута; и кто знает, не хотел ли он погубить герцога, подтолкнув его к столь скоропалительному поступку.

Фергюсон первым решил прервать паузу.

— Наше дело правое! — воскликнул он, громыхнув кулаком по столу. — Бог не оставит нас, если мы сами не отвернемся от него.

— Генрих Седьмой¹⁴ высадился с меньшим количеством людей, чем ваша милость, и ему сопутствовал успех, — поддакнул лорд Грей.

— Верно, — вставил Флетчер, — но не забывайте, что Генрих Седьмой был уверен в поддержке дворянства, а в нашем случае на это пока не похоже.

Фергюсон и Грей в неподдельном ужасе уставились на него; Монмут, кусая губы, опустил на стул, — ситуация, казалось, скорее озадачивала его, чем заставляла задуматься.

— О, малодушный! — яростно загремел Фергюсон. — Неужели и ты колеблешься, как тростинка на ветру?

— Я не тростинка, — отвечал ему Флетчер. — Мистер Уайлдинг прав, и вам прекрасно известно, что я говорил то же самое — и капитан Мэттью вместе со мной — еще до нашего отплытия. Своей бессмысленной поспешностью мы можем погубить все. Ну, ну, не смотрите на меня

так! — бросил он лорду Грею. — Я не собираюсь отступать и даже советовать сделать это. Все мы взялись за плуг, и назад пути нет. И все же я согласен с мистером Уайлдингом — через год трон узурпатора сам затрещал бы под ним и мог бы рухнуть при одном нашем появлении.

— Я не сомневаюсь, что мы перевернем его своими руками, — возразил лорд Грей.

— И сколько же у вас их? — с оттенком насмешки поинтересовался Ник Тренчард, вступая в разговор.

— Похоже, у мистера Уайлдинга нашелся еще один сторонник! — воскликнул лорд Грей, поворачиваясь к нему.

— Я всегда был им, — ответил мистер Тренчард.

— У нас хватает людей, — заверил его Фергюсон. — Появились вы пораньше, вас наверняка удивило бы количество новобранцев, записавшихся к нам.

Он поднялся, подошел к окну и распахнул его. Немедленно комната наполнилась гулом голосов, поднимавшихся с улицы вниз. «Монмут! Монмут!» — донеслись до них крики.

Театральным жестом Фергюсон протянул руку в сторону окна.

— Вы слышите, господа, — с триумфом в голосе проговорил он, окинув взглядом присутствующих. — Вот ответ вам, маловеерам, думающим, что Господь оставит тех, кто служит ему.

Герцог пошевелился в своем кресле, взялся за бутылку и наполнил бокал. Его подвижный, словно ртуть, дух вновь стремился ввысь. Он улыбнулся мистеру Уайлдингу.

— Думаю, вы и в самом деле получили ответ, — промолвил он. — И, надеюсь, вы согласитесь, что, раз мы взялись за плуг, отступать некуда.

— Я высказал то, что мучило мою совесть, ваша милость. Быть может, я поспешил дать совет, но, клянусь, когда потребуется, моя шпага окажется не менее проворной.

— О-о! Так-то лучше, — одобрил лорд Грей, любезно улыбнувшись, словно позабыл о недавних разногласиях.

— Я всегда знал это, мистер Уайлдинг, — ответил герцог, — но сейчас мне хотелось бы услышать, что я убедил вас — хотя бы отчасти.

Он помахал рукой в направлении окна, словно умоляя о словах воодушевления, но мистер Уайлдинг никогда не обращал внимания на желания и надежды, когда имел дело с фактами.

— Нет сомнений, что люди последуют за вами, — сказал он. — Притеснения восстановили значительную часть населения против короля. Но все это крестьяне, а не солдаты. Они не умеют обращаться с оружием. Но если к вашему знамени примкнут дворяне, они приведут за собой местную милицию, привезут необходимые нам деньги, оружие и лошадей.

— Они придут, — заверил герцог.

— Кое-кто, — согласился мистер Уайлдинг, — но в будущем году, поверьте, не нашлось бы джентльмена в Девоне и Сомерсете, Дорсете и Гемпшире, Уилтшире и Чешире¹⁵, который не поспешил бы приветствовать вас и встать рядом с вами.

— Они никуда не денутся, — упрямо повторил герцог, пытаясь заставить себя поверить, как это делают женщины, в реальность своих надежд. В этот момент дверь в комнату распахнулась и на пороге появился Крэгг.

— Ваша милость! — объявил он. — Только что прибыл мистер Баттискомб, и он просит немедленно принять его.

— Баттискомб! — вскричал герцог, и его глаза вновь заблестели, а на щеках появился румянец. — Ради Бога, скорее просите его сюда.

— Господи, укрепи нас добрыми известиями, — проговорил Фергюсон.

Монмут повернулся к Уайлдингу:

— Это мой агент, которого я недавно послал из Голландии расшевелить дворян до самого Мерсея¹⁶.

— Я знаю, — сказал Уайлдинг, — мы встречались несколько недель назад.

— Теперь-то вы убедитесь в беспочвенности ваших сомнений, — пообещал ему герцог.

Но мистер Уайлдинг, который был лучше осведомлен на этот счет, промолчал.

Глава четырнадцатая

СОВЕТ

Мистер Кристофер Баттискомб, дорсетский джентльмен, обладатель изысканных манер, был, как и Вэйд, юристом по профессии. Он был одет во все черное, и черты его лица с трудом различались под огромным париком, используемым скорее для предосторожности, чем ради украшения. Держа шляпу в руках, он подошел к

столу и склонился в поклоне, приветствуя собравшихся; мистер Уайлдинг заметил, что на нем были шелковые чулки, совершенно не запачканные грязью. Вероятно, мистер Баттискомб очень любил комфорт, если в такой день решил приехать в экипаже. Он едва успел поцеловать руку герцога, как Грей, Фергюсон и Флетчер засыпали его вопросами.

— Джентльмены, джентльмены, не торопитесь... — мягко укорил их герцог. — Мы рады видеть вас, Баттискомб, — сказал он, когда восстановилось спокойствие, — и надеюсь, вы принесли нам хорошие известия.

Бледное лицо юриста было сейчас необычайно торжественным, а улыбка не выражала ни радости, ни удовлетворения. Слово борясь с волнением, он прочистил горло. Избегая ответа на вопрос герцога, он ответил лишь, что удивлен тем, что встретил его здесь; он был послан с поручением выяснить настроения дворянства, а затем, вернувшись в Голландию, доложить о них герцогу.

— Новости, новости, Баттискомб! — настаивал герцог.

— Да, да, — нетерпеливо вставил лорд Грей, — ради Бога, говорите скорее.

Баттискомб вновь нервно откашлялся.

— Мне едва хватило времени нанести все запланированные визиты, — взмолился он. — Ваша милость застали нас врасплох. Я... я был у сэра Уолтера Янга, когда пришли известия о вашей высадке.

Он запнулся, и его голос словно увял.

— Ну? — вскричал герцог, начиная догадываться, какого сорта новости привез Баттискомб. — Хотя бы сэр Уолтер с нами?

— Мне очень жаль, но боюсь, что нет.

— Нет? — ахнул лорд Грей и разразился проклятиями. — Но почему нет?

— Мы только можем надеяться, господа, — отвечал мистер Баттискомб, умело используя приемы казуистики для драпировки плохих известий, — что через несколько дней, увидев рвение других, он излечится от своего равнодушия.

Монмут ошеломленно взглянул на него.

— Равнодушия? — ошарашенно повторил он. — Сэр Уолтер Янг равнодушен?

— Увы, ваша милость, увы! — вздохнул мистер Баттискомб.

Вновь загромыхал голос Фергюсона, заставив всех вздрогнуть от неожиданности.

— Бык знает своего хозяина, — вскричал он, — осел знает свое стойло, но как Израиль не ведал своего господина, так и мой народ не хочет знать меня.

Лорд Грей нарочито грубо подтолкнул бутылку через стол к пастору.

— Выпей и приди в чувство, — пробрюзжал он и повернулся к Баттискомбу с расспросами.

— А как сэр Фрэнсис Роллс? — поинтересовался он.

— Увы! — обращаясь к герцогу, ответил мистер Баттискомб. — Нет сомнений, что сэр Фрэнсис Роллс сохранил верность вашей милости, но он схвачен и сейчас в тюрьме.

Монмут нахмурился, и его пальцы непроизвольно забарабанили по крышке стола. Лорд Грей же, закинув ногу на ногу, беззаботным тоном продолжал расспросы:

— Ну а мистер Сидней Клиффорд?

— Он колеблется и еще не принял решения, — сказал мистер Баттискомб. — Но я собирался вновь повидаться с ним в конце месяца.

— А лорд Джервейз Скорсби? — менее уверенно спросил лорд Грей.

— Мистер Уайлдинг лучше меня знает дела лорда Джервейза, — ответил Баттискомб, вновь обращаясь к герцогу. Все обернулись к молчаливо сидящему мистеру Уайлдингу, и в глазах Монмута читались тревога и неуверенность.

Мистер Уайлдинг печально покачал головой.

— Нельзя на него рассчитывать, — медленно проговорил он. — Лорд Джервейз еще не созрел. Еще немного, я думаю, и мне удалось бы убедить его принять нашу сторону.

— О, Боже! — раздраженно воскликнул герцог. — Неужели никто не придет к нам?

Нестройный гул голосов был ему ответом, но тут лорд Грей спросил насчет мистера Строу, и все вновь замолчали.

— Я думаю, — сказал мистер Баттискомб, — что мы могли бы рассчитывать на него.

— Могли бы? — задал свой первый вопрос Флетчер.

— Он в тюрьме, как и сэр Роллс, — пояснил Баттискомб.

Монмут наклонился вперед и, подперев подбородок кулаком, пристально посмотрел на него.

— Мистер Баттискомб, — спросил он, — на кого же мы можем положиться?

Тот на секунду задумался.

— Скорее всего, на мистера Легге, мистера Хупера и, вероятно, на полковника Черчилля, хотя я не знаю, сколько людей они приведут с собой.

— А как же Придо из Форда? Он тоже равнодушен? — спросил герцог.

— Мне не удалось заручиться его обещанием, ваша милость, но он расположен к вам.

Герцог сделал нетерпеливый жест рукой, словно вычеркивая Придо из списка своих сторонников.

— Ну а мистер Хакер из Тонтона?

— Мистер Хакер наверняка уже был бы с вами, — явно чувствуя себя не в своей тарелке, отвечал мистер Баттискомб, — но его брат — ярый приверженец тори¹⁷.

— Ну ладно, — вздохнул герцог. — Как я понимаю, мы едва ли можем рассчитывать на мистера Хакера. Но есть ли другие, помимо Легге и Хупера?

— Возможно, лорд Уилтшир, — без энтузиазма ответил мистер Баттискомб.

— К черту все «возможно»! — раздраженно воскликнул Монмут. — Я хочу знать имена людей, безусловно преданных нам.

Мистер Баттискомб вновь задумался. Сейчас он выглядел совсем как школьник, не выучивший урока и не смеющий признаться в этом учителю.

— Неужели вы ни в ком не уверены, мистер Баттискомб?! — воскликнул Флетчер. — Неужели весь цвет английского дворянства будет представлен только Легге и Хупером? Неужели никто больше не поднимется на защиту свободы и религии?

В каждом его слове сквозило презрение, и Баттискомб только молча развел руками.

— Я не зря говорил вашей милости, — продолжил Флетчер, — что нельзя проводить параллелей между высадкой Генриха Седьмого и нашей, в чем вас как будто успел убедить лорд Грей.

— Увидим, — огрызнулся Грей, усмехаясь. — Сотни, нет, тысячи людей приходят к нам, и дворяне последуют за ними.

— О, не обольщайтесь, ваша милость, не обольщайтесь, — взмолился мистер Уайлдинг. — Деревенщине нечего терять, кроме своей жизни.

— А что же еще можно потерять? — презрительно спросил лорд Грей, неприязнь которого к мистеру Уайлдингу росла с каждой минутой.

— Немало, — лаконично ответил тот. — Человек может потерять честь и погубить свою семью. Для джентльмена эти понятия значат куда больше, чем сама жизнь.

— Черт побери! — взорвался лорд Грей, давая выход своим чувствам. — Вы намекаете, что можно потерять честь на службе его милости?

— Ничуть нет, — безмятежно ответил мистер Уайлдинг. — В противном случае меня не было бы здесь. Я думаю, такой ответ удовлетворит вас.

Лорд Грей неприязненно рассмеялся, и мистер Уайлдинг, на щеках которого зарделся слабый румянец, смерил его светлость суровым, неустрашимым взглядом, которого тот не смог выдержать и опустил глаза.

— Вы видите, ваша милость, — обратился мистер Уайлдинг к герцогу, и выражение его лица смягчилось, — насколько обоснованны оказались мои опасения.

— Так что же, по-вашему, я должен делать? — вскричал герцог, и в его голосе прозвучали обида и недовольство.

Мистер Уайлдинг поднялся и прошелся по комнате, не в силах более скрывать волнение под маской спокойствия.

— Я не хочу еще раз давать советы вашей милости, — искренне сказал он. — Вы слышали мое мнение и знаете взгляды джентльменов, собравшихся здесь. Решайте, ваша милость.

— Вы хотите спросить, пойду я вперед или нет? Но есть ли у меня выбор?

— Нет выбора, — отрезал лорд Грей. — И он нам не нужен. Мы доведем до конца наше дело, несмотря на все зловещие предзнаменования, на все карканье, которым пытаются нас запугать.

— Мы служим одному Богу! — вторя ему, вскричал Фергюсон. — И Бог не оставит нас!

— Вы уже говорили это, — едко заметил Флетчер. — Но сейчас нам нужно не божество, а люди, деньги и оружие.

— Мистер Уайлдинг дурно повлиял на вас, — усмехнулся лорд Грей.

— Форд! — обращаясь к лорду Грею по имени, вскричал герцог, заметив огонь, вспыхнувший в глазах Уайлдинга. — Вы слишком невосдержанны. Мистер Уайлдинг, прошу вас, не обращайтесь внимания на его светлость.

— Мне не хотелось бы, ваша милость, — ответил Уайлдинг, усаживаясь на свой стул.

— Что это значит? — возмутился лорд Грей, вскакивая на ноги.

— Объясни ему, Тони, — прошептал мистер Тренчард на ухо мистеру Уайлдингу, но тот в отличие от остальных не потерял чувства уважения к герцогу.

— Мне кажется, вы забываетесь, — спокойно сказал он.

— Забываюсь? — рявкнул лорд Грей.

— Здесь присутствует его милость.

Лорд Грей побагровел. Упрек, казалось, только еще больше раззадорил его.

— Сядьте, — поспешил вмешаться герцог, обращаясь к нему, и лорд Грей с неохотой повиновался.

— Обещайте мне оба, что остановитесь на этом. Вспомните, как мало здесь тех, на кого я могу положиться. Я не желаю потерять кого-либо из своих друзей из-за нескольких запальчивых слов, сказанных, я уверен, из любви ко мне.

Лорд Грей недовольно надул свои пухлые губы и угрюмо уставился в пол. Мистер Уайлдинг дружелюбно улынулся через стол герцогу.

— Что касается меня, то я с радостью повинуюсь вашей милости, — сказал он, стараясь не замечать усмешки, искривившей губы лорда Грея, однако и тому ничего не оставалось, как последовать примеру Уайлдинга и дать такое же обещание.

— Но я заявляю, — не сдавался его светлость, — что те, кто теперь советует отступить, вместо того чтобы смело идти вперед, — плохие советчики. Вернувшись в Голландию, вы оставите за бортом все надежды. Для вас не будет второго пришествия. Ваше влияние здесь испарится, и в другой раз вам никто не поверит. Думаю, что даже мистеру Уайлдингу нечего возразить против этого.

— Ну почему же? — сказал мистер Уайлдинг, и Флетчер с пониманием и симпатией взглянул на него — этот коренастый шотландец, единственный из последователей герцога, достойный называться солдатом, всегда был против преждевременной высадки. Монмут тяжело поднялся из-за стола.

— Мне некуда отступить, джентльмены, — взволнованно начал он. — Пусть немногие из тех, на кого мы рассчитывали, присоединятся к нам, но небеса на нашей стороне, и мы должны сражаться за священное дело

освобождения нации от гнета тирании, папизма и суеверий. Пусть у вас не останется сомнений на этот счет.

Это были смелые слова, но, если вдуматься, они являлись парафразом уже сказанного лордом Греем и Фергюсоном. Судьба не предназначила герцогу иного жребия, кроме как быть рупором идей, рождавшихся в головах других людей, и вот теперь он служил орудием для осуществления замыслов этой парочки, для одного из которых составление заговоров являлось чем-то вроде навязчивой идеи, а другой руководствовался либо амбициями, либо местью, — чем именно, так и осталось невыясненным.

Поздно ночью, уже находясь в комнате, которую предоставили в их распоряжение, Уайлдинг и Тренчард еще раз обменялись мнениями о совещании, в котором последний участвовал лишь как зритель.

— Я не собираюсь отступать, — ворчал мистер Тренчард, — но говорю тебе, Энтони, у меня на сердце беспокойно. Эх-хе-хе, черт побери, — выругался он. — Что за пугалу мы служим — тюфяк, а не мужик.

— Он вряд ли годится для такого дела, за которое взялся, — вздохнул мистер Уайлдинг. — Боюсь, мы сделали неверную ставку.

— Похоже, — согласился мистер Тренчард, стягивая сапоги.

— Наша слепота обманула нас. Но чего еще мы могли ожидать? Наше дело правое, но его лидер — тряпка. Ты можешь представить себе такую куклу на троне Англии?

— Он так высоко не метит.

— Увидишь. Помяни мои слова — вот-вот станет известно о тайном брачном свидетельстве, которое они сфабрикуют, чтобы доказать брак его отца с Люси Уолтерс¹⁸. Энтони, Энтони! Ну и в историю мы влипли!

Мистер Уайлдинг, уже улегшийся в постель, резко повернулся к нему:

— Терпение народа иссякло, и ему нужен был вождь. Пусть наши шансы ничтожны, но они могут вырасти.

— И все этот чертов Форд, лорд Грей, — пробрюзжал мистер Тренчард, управляясь с чулками. — Это его рук дело. Ты слышал, как Флетчер говорил, что всегда возражал против такой спешки. Дьявольщина! — внезапно вскричал он и выпрямился. — Как ты думаешь, а может, его светлость хочет погубить Монмута?

— О чем ты говоришь, Ник?

— Ходят слухи о его милости и леди Грей. Такой человек, как Грей, вполне мог захотеть отомстить.

— Давай спать, Ник, — зевая ответил мистер Уайлдинг. — Тебе, похоже, уже снятся сны. Едва ли милорд мог придумать столь тонкий план, не позаимствовав предварительно твоей злодейской изобретательности.

Мистер Тренчард улегся на кровать и натянул на себя одеяло.

— Может, нет, — протянул он, — а может, и да; знаю лишь одно: не будь этого проклятого письма, которое стащил у нас Ричард Уэстмакотт, наши с герцогом Монмутским тропки уже разошлись бы.

— Н-да, это верно, — согласился мистер Уайлдинг. — Я не самоубийца, но отступать некуда — мы успели по ушам увязнуть.

— Жаль, что сегодня утром ты объявился в Тонтоне, — задумчиво проговорил мистер Тренчард. — И еще более досадно, что тебя потянуло жениться, — добавил он и задул лампу.

Глава пятнадцатая

КОРОЛЬ ЛАЙМА

К вечеру следующего дня, в пятницу, силы Монмута насчитывали уже тысячу пехотинцев и полторы сотни всадников. Новобранцам немедленно выдавали оружие, и каждая улочка и окрестный пустырь содрогались от топота ног, лязганья железа и резких окриков офицеров, превращавших вчерашних крестьян в солдат. К субботе их стало столько, что Вэйд, Холмс, Фоукс и Фокс начали формировать четыре полка — герцогский, зеленый, белый и желтый. От мрачного настроения герцога Монмутского не осталось и следа — особенно после того, как прибыли не только Легге и Хупер, но и полковник Черчилль, а лорд Уилтшир и дворяне Гемпшира обещали присоединиться к нему, если смогут пробиться сквозь заслоны милиции, которые Альбемарль уже расставил вокруг Лайма. Но дело было не только в людях — для них не хватало оружия. Мистер Тренчард, теперь в чине майора прикомандированный к полку герцога, не скрывал своего возмущения по поводу состояния дел, — впрочем, как и многие другие офицеры.

Один Флетчер ратовал, подобно истинному солдату,

за решительные действия; он предлагал совершить бросок армии к Экстеру и захватить имеющиеся там запасы снаряжения, тем более что местная милиция могла, по достоверным слухам, перейти на сторону герцога. Но Монмут, как всегда, колебался, взвешивая шансы за и против. Он решил наконец созвать ночью совещание, но, увы, оно так и не состоялось, поскольку Эндрю Флетчер, единственный толковый военачальник из всех окружавших герцога, той же ночью был вынужден навсегда покинуть герцога и его армию. Вспыльчивый шотландец ввязался в пустяковую ссору с одним из взбудораженных новобранцев, но она приняла такой оборот, что последний оказался убит, а Флетчера, спасая от мести разгневанных товарищей убитого, Монмут велел отправить на борт корабля, как будто под арест, но на самом деле немедленно доставить его в Голландию.

Последствия не заставили долго ждать. Утром состоялась намеченная еще ранее атака на расположенный в восьми милях от Лайма Бриджпорт, куда выдвинулись отряды дорсетской милиции, во время которой постыдное поведение лорда Грея чуть было не поставило повстанцев на грань поражения. Мистер Уайлдинг сообщил Монмуту, что милорд попросту бежал с места схватки, а полковник Мэттью откровенно посоветовал отстранить лорда Грея от руководства войсками. Герцог согласился и отпустил их, пообещав переговорить с лордом Греем наедине. Но когда Уайлдинг, Мэттью, Вэйд и другие явились к его милости на совет — отряды дорсетской милиции приближались к Лайму, и оставаться здесь означало оказаться в ловушке — лорд Грей первым предложил свой план.

— Мы все знаем, что надо покинуть Лайм, — самоуверенно, словно это не он только что проявил себя трусом, сказал лорд Грей. — Я предложил его милости двинуться маршем на север, в Глостер, где мы соединимся с нашими сторонниками из Чешира.

Полковник Мэттью напомнил о предложении Флетчера сделать вылазку в Экстер, и мистер Уайлдинг горячо поддержал его.

— Я уверен, ваша милость, — сказал он, — что большая часть милиции дезертирует при одном нашем появлении.

— Вы гарантируете это? — спросил лорд Грей, выпячивая нижнюю губу.

— В таком деле, — ответил мистер Уайлдинг, — никто не может дать гарантии. Но я осведомлен о настроениях жителей тех мест, из которых составлена милиция: в

своим подавляющим большинством они поддерживают вашу милость.

— Ваша милость, — вмешался Мэттью, — у мистера Уайлдинга наверняка есть веские основания считать так.

— Я не сомневаюсь, — ответил Монмут. — Я и сам подумывал об этом, и ваши мнения только укрепили мое.

— Не забывайте, ваша милость, — нахмурившись, сказал лорд Грей, — что мы еще не можем сражаться.

— О каком сражении вы говорите? — спросил герцог.

— Между нами и Экстером стоит Альбемарль.

— Но у него только милиция, — напомнил мистер Уайлдинг, — и если она дезертирует, то кто у него останется?

— А если нет? Если вы ошибаетесь, сэр? Что тогда? — запетушился лорд Грей.

— Да, верно — что тогда, мистер Уайлдинг? — спросил герцог, подаваясь влиянию милорда.

Мистер Уайлдинг на секунду задумался.

— В любом случае, — наконец ответил он, — я считаю, что бросок к Экстеру чрезвычайно выгоден для нас. Если надо — мы будем драться. У нас уже три тысячи человек...

— Нет, — грубо перебил его лорд Грей, — об этом нечего и думать. Мы еще не готовы. Сейчас самое главное — обучить их и привлечь на свою сторону как можно больше наших друзей.

— Нам уже приходится отказывать людям, поскольку их нечем вооружить, — напомнил мистер Уайлдинг, и его слова были встречены одобрительным шепотом, но это, казалось, только подзадорило лорда Грея.

— Но к нам приходят не с пустыми руками, — вскипел милорд. — В Гемпшире нас поддержат дворяне. У них есть оружие, и за ними пойдут люди. Нам надо только запастись терпением.

— Что ж, потерпим еще и дождемся правительственных войск, — съязвил мистер Уайлдинг. — Не сомневайтесь, ваша светлость, они тоже явятся с оружием.

— О, ради Бога, не начинайте перепалку, — взмолился герцог. — И так трудно выбирать. Ведь если нам удастся пробиться в Экстер...

— Не удастся, — вновь прервал его лорд Грей.

Монмут замолчал и устало взглянул на милорда. Свобода, которую тот позволял себе в разговоре с герцогом, изрядно удивила присутствующих. Наступила пауза. Наконец мистер Уайлдинг попытался продолжить:

— Нет смысла настаивать, ваша милость. С таким настроением ваших советников мы только запутаемся в противоречиях. Я думаю, многие согласятся со мной, что в отчаянном положении неожиданные действия могут повергнуть противника в ужас.

— Это верно, — без энтузиазма согласился Монмут и взглянул на Грея, словно ожидая от него противовеса высказанному мнению. Нерешительность герцога была бы достойна жалости, если бы не обстоятельства, в которых она грозила оказаться трагичной.

— Нам лучше полагаться на факты, — сказал лорд Грей.

— Именно это я и пытаюсь сделать, ваша милость, — возразил мистер Уайлдинг, и в его голосе прозвучала нотка отчаяния. — Быть может, кто-нибудь из присутствующих подаст лучший совет, чем смог это сделать я.

— Н-да! Будем надеяться, — хмыкнул лорд Грей, и Монмут, заметив, как вспыхнули глаза мистера Уайлдинга, положил руку на плечо милорда. Но тот продолжил:

— Когда говорят о том, что неожиданные действия обратят врага вспять, это не более чем плод фантазии.

— Я не ожидал услышать это от вашей светлости, — сказал мистер Уайлдинг, намекая на недавнее поведение милорда во время схватки у Бриджпорта, и его плотно сжатые губы слегка улыбнулись, придав лицу недоброе выражение.

— Почему же? — спросил ничего не заподозривший лорд Грей.

— Мне казалось, сегодня утром вы сделали кое-какие выводы для себя.

Покрасневший от стыда лорд Грей вскочил на ноги, и герцог с Фергюсоном едва смогли успокоить его. Но, может статься, это только подтолкнуло Монмута согласиться с лордом Греем и принять решение двинуться через Тонтон, Бриджуотер и Бристоль в Глостер. Подобно всем слабохарактерным и недалёковидным людям, он часто находился во власти сиюминутных настроений. Прежде чем распустить совет, герцог потребовал от мистера Уайлдинга и лорда Грея пожать друг другу руки и вновь, как и прошлой ночью, велел им не углублять разногласий.

— Если в своем рвении послужить вашей милости я сказал что-то, не устраивающее лорда Грея, — сказал Уайлдинг, — я попросил бы его обратить внимание на смысл сказанного, а не на сами слова.

Но когда все ушли и герцог остался наедине с Фергюсоном, последний предложил удалить мистера Уайлдинга из армии.

— Иначе мы увидим повторение того, что случилось с Флетчером, — пророчил пастор. — Нужно ли это вашей милости?

— Но как я смогу убрать мистера Уайлдинга? — растерянно произнес герцог. — Это произведет плохое впечатление на остальных моих сторонников — вы ведь знаете его влияние.

Фергюсон погладил свой длинный, узкий подбородок.

— Нет, нет, — сказал он, — я предлагаю подыскать ему дело в другом месте.

— В другом? — переспросил герцог. — Но в каком же?

— Я подумал об этом. Пошлите его в Лондон, к Дэнверсу, за помощью, и велите ему, — он перешел на полусшепот, — выяснить настроения Сандерленда¹⁹.

Предложение понравилось Монмуту, да и сам мистер Уайлдинг, когда узнал о нем, несколько не возражал и отбыл в ту же ночь, оставив Ника Тренчарда в отчаянии по поводу их разлуки, которая в таких обстоятельствах грозила оказаться вечной. Возможно, герцог и Фергюсон поступили разумно, подавив в зародыше ссору лорда Грея и мистера Уайлдинга. Зная мастерство последнего во владении шпагой, нетрудно было угадать ее наиболее вероятный исход, а случись так, восстание герцога Монмутского могло бы иметь совсем другой исход.

Глава шестнадцатая

ЗАГОВОР И ЗАГОВОРЩИКИ

Мистер Уайлдинг покинул армию Монмута 14 июня, в воскресенье, чтобы присоединиться к ней ровно через три недели, уже в Бриджуотере. За это время утекло немало воды, и совсем не в ту сторону, в какую предполагал Уайлдинг.

Расставленные на дорогах посты не помешали ему добраться до Лондона — вернуться обратно было бы куда сложнее; впрочем, мистеру Уайлдингу не раз доводилось наблюдать, насколько лениво выполняли свои обязанности констебли и стражники, особенно в Сомерсете и Уилтшире, и это обстоятельство слегка приободрило его.

Однако царившие в Лондоне настроения действовали

на него удручающе: никто из возможных сторонников герцога — хотя их было достаточно — и не думал шевелиться.

По совету полковника Дэнверса мистер Уайлдинг остановился в Ковент-Гардене и с головой погрузился в деятельность. Он узнал о том, как палач сжег декларацию у здания Лондонской биржи и как Палата общин издала указ, объявляющий изменой всякое утверждение о браке Люси Уолтерс и покойного короля. В «Бычьей Голове» в Бишопсгейте он встречался с Дисни, Дэнверсом, Пэйтоном и Локом. Они много говорили, но никто не выразил желания участвовать в столь безответственно организованном предприятии; было условлено ждать, пока не поднимутся чеширцы, и лишь затем принимать решение.

Тем временем правительственные войска под командованием Кирка и лорда Черчилля маршировали на запад, а парламент выделил почти полмиллиона фунтов, чтобы подавить восстание. Советники Монмута считали, что король Яков, опасаясь бунта в столице, будет вынужден держать там значительные войска. Но король поступил как раз наоборот и не оставил в Лондоне ни одного солдата. Ситуация весьма благоприятствовала заговорщикам в столице, и их выступление не только оказало бы огромную помощь повстанцам — поскольку большая часть войск была бы отозвана назад, — но и воодушевило бы тех членов правительства, которые, подобно Сандерленду, готовы были объявить себя сторонниками защитника протестантов, как называл себя Монмут. Мистер Уайлдинг прекрасно понимал все это и потратил немало сил, убеждая полковника Дэнверса, что настало время решительных действий. Но тот предложил ему самому возглавить выступление, и будь Уайлдинг уверен, что за ним, почти совершенно неизвестным в Лондоне, пойдут люди, он непременно поднял бы знамя герцога Монмутского.

Говорили, что в рядах восставших насчитывается более двадцати тысяч человек, и недовольство в народе еще более усилилось после королевского указа, который повелевал перешедшим в католичество лордам набирать новые войска. Затем появились известия о коронации Монмута в Тонтоне. Теперь в Англии правили два человека, называвшие себя король Яков Второй, и Дэнверс ухватился за этот предлог, чтобы окончательно отказаться от участия в деле, для которого ему не хватало ни мужества, ни решительности. Монмут — по словам Дэн-

верса — нарушил собственную клятву, объявив себя королем, и этим, пророчествовал он, неизбежно оттолкнет многочисленных республиканцев, смотревших на герцога как на спасителя страны. Мистер Уайлдинг и сам был ошарашен новостями, поскольку Монмут действительно перешел все разумные границы поведения, но ему ничего не оставалось делать, кроме как поддерживать герцога хотя бы из чувства самосохранения. Они наверняка поссорились бы с сэром Дэнверсом, но неожиданный арест мистера Дисни настолько перепугал полковника, что тот в спешке покинул столицу.

Мистера Уайлдинга ожидало в Лондоне еще одно тонкое и важное дело: попытаться завязать контакты с государственным секретарем лордом Сандерлендом. Понимая, что имеет дело с человеком, пытающимся усидеть на двух стульях, он тщательно выбирал момент, чтобы отправить тому письмо, и сделал это сразу после известия о сражении при Эксминстере, когда превосходящие силы лорда Альбемарля и сомерсетской милиции бежали под натиском войск Монмута. Скоро стало ясно, что причиной этого бесславного отступления была вовсе не трусость, а настроения, царившие среди милиции на западе страны, и что многие из тех, кто сегодня отступал перед протестантами, завтра окажутся в их рядах.

Ответа не последовало, и мистеру Уайлдингу пришлось дожидаться другого благоприятного момента, чтобы повторить попытку, и такой шанс ему представился через две недели, когда герцог Сомерсетский прислал депешу с требованием срочного подкрепления и сообщил о переходе полка лорда Стоуэла — почти в полном составе — на сторону противника. Однако через несколько дней последовало еще более устрашающее известие — поползли упорные слухи, что герцог Альбемарльский убит своими же взбунтовавшимися милиционерами, дезертировавшими затем к Монмуту.

Сандерленд всерьез заволновался и в один из вечеров, когда мистер Уайлдинг уже начал терять всякую надежду, явился к нему переодетый и без всякого сопровождения в Ковент-Гарден. Они оставались наедине более часа, и в конце их беседы Сандерленд вручил Уайлдингу письмо, в котором объявлял себя покорным слугой герцога Монмутского.

— Вы должны правильно понять, сэр, — сказал лорд Сандерленд, прощаясь, — что такое письмо я не могу отправить со случайным человеком.

Мистер Уайлдинг склонился в глубоком поклоне и поблагодарил его светлость за столь высокое доверие.

— И я надеюсь, что вы примете все меры, — добавил милорд, — чтобы оно не попало в руки посторонних.

— Ваша светлость может положиться на меня, — торжественно обещал мистер Уайлдинг. — Не напишете ли вы несколько строк, скрепив их вашей подписью, которые позволят мне надежнее сохранить письмо?

— Я уже подумал об этом, — ответил лорд Сандерленд, подавая пропуск, именем короля разрешавший его подателю беспрепятственно передвигаться в любом районе страны.

Они пожали друг другу руки и расстались. Лорд Сандерленд отправился в Уайтхолл, на службу королю Якову, которого он был готов предать, как только настанет подходящий момент, а мистер Уайлдинг стал готовиться к возвращению в Сомерсет, к другому королю Якову, который не внушал ему доверия, но с которым его судьба оказалась накрепко связана.

Монмут стоял в Бриджуотере, вновь вернувшись туда после сражения при Эксминстере. Нельзя сказать, чтобы возвращение воодушевило жителей города, напротив, многие сочли и так уже изрядно пострадавшего от войск герцога за грозного предвестника грядущей катастрофы. Однако сэр Роланд Блейк, который со времени своей неудавшейся погони за мистером Уайлдингом и мистером Тренчардом считал себя на стороне правительственных войск, усмотрел для себя немалую выгоду, которую мог бы извлечь из недовольства горожан герцогом.

По приглашению своего друга Ричарда Уэстмакотта он жил в Лютон-хаусе и открыто ухаживал за Руфью — к великой досаде мисс Гортон, все расчеты которой пошли прахом — невзирая на то, что Руфь номинально являлась женой мистера Уайлдинга.

В глубине души ему было глубоко наплевать, кто из Яковых, Стюарт или Скотт, займет трон Англии. Однако возмущение на западе страны как нельзя лучше устраивало его, поскольку затрудняло поиски кредиторам, а серьезные матримониальные проекты возбуждали в нем ненависть к мистеру Уайлдингу и, следовательно, превращали его в ревностного сторонника правительства. Во время первой оккупации города Монмутом сэр Роланд не погнушался сообщить Февершэму и Альбемарлю некоторые сведения относительно войск повстанцев, и переданная им информация оказалась настолько точной,

что он заслужил полное доверие обоих. Недовольство, вызванное второй оккупацией города, неожиданно подсаказало Блейку способ, как можно было бы сразу погасить восстание. План был чрезвычайно прост: требовалось лишь захватить герцога Монмутского, за голову которого, впрочем, парламент назначил солидное вознаграждение в пять тысяч фунтов. Но для этого требовались сообщники. Сперва он хотел было использовать Ричарда Уэстмакотта, чуть ли не боготворившего лондонского щеголя и видевшего в нем воплощение всех достоинств, обладать которыми хотел бы и сам, но затем остановил свой выбор на мистере Ньюлингтоне. Он был преуспевающим купцом и, возможно, одним из богатейших людей в Западной Англии; восстание Монмута практически парализовало его деятельность, обернувшись огромными убытками, и сейчас он испытывал серьезные опасения, что вторичное появление герцога может окончательно разорить его, несмотря на нейтралитет, который он соблюдал ради собственной безопасности.

В пятницу, в самую ночь возвращения Монмута, сэр Роланд отправился в дом к этому купцу, и тот, польщенный выпавшей на его долю честью увидеть у себя баронета, принял его, несмотря на поздний час. Предварительно прозондировав настроения своего хозяина и убедившись в справедливости сделанных им ранее предположений, сэр Роланд изложил тому свой план. Мистер Ньюлингтон сначала испугался, но затем проявил такой энтузиазм, что назвал сэра Блейка своим спасителем, несомненно, имея в виду свой кошелек, и пообещал всяческое содействие. Довольный успехом, сэр Роланд вернулся в Люптон-хаус, решив утром познакомить со своим замыслом и Ричарда, причем сделать это, как ему подсказывало его неумное тщеславие, в присутствии Руфи.

Они только что позавтракали и еще не успели разойтись из столовой Люптон-хауса. Это была самая большая и красивая комната поместья, и сейчас в ней царила приятная прохлада, особенно желанная в такой жаркий июльский день, когда солнце немилосердно выпаривало из земли влагу после недавних дождей. Руфь стояла у окна, поправляя розы в старинной бронзовой вазе, сэр Роланд устроился в кресле возле холодного камина, а Ричард, усевшись на край стола, с которого уже убрали скатерть, болтал ногами, подыскивая убед-

тельный повод для того, чтобы потребовать принести кружку выдержанного октябрьского эля.

Руфь закончила заниматься розами и взглянула на брата.

— Ты неважно выглядишь, Ричард, — сказала она, заметив отечность на его лице, и правда — слишком обильные возлияния начинали постепенно сказываться на нем.

— Ну что ты, я в полном порядке, — несколько раздраженно ответил он.

— Ба! — воскликнул сэр Роланд. — Ты должен быть в форме. У меня есть работенка для тебя, Дик.

— Я успел устать от ваших поручений, — без энтузиазма откликнулся Дик.

— Я думаю, на этот раз ты не будешь разочарован, — не моргнув глазом, продолжал настаивать сэр Блейк, — особенно если захочешь наконец-то проявить свою храбрость.

Он мрачно улыбнулся и бросил взгляд на Руфь, которая внимательно слушала и наблюдала за ними.

Ричард ухмыльнулся, но ничего не сказал.

— Мне, наверное, сначала надо обо всем рассказать тебе, — предположил Блейк. — Что ж, слушай, но, — он остановился и выразительно посмотрел в сторону двери, — я не хотел бы, чтобы нас подслушали.

— Здесь нет соглядатеасв, — беззаботно ответил Ричард, и в его тоне чувствовалось пренебрежение — он уже успел хорошо изучить деятельность, которой занимался сэр Роланд. — Вы что-то замышляете? — поинтересовался он.

— Положить конец бунту, — заговорщически понизив голос, ответил Блейк.

Ричард расхохотался.

— Тут вы не одиноки; и его величество, и герцог Альбемарльский, и граф Февершэм с удовольствием составят вам компанию. Но ни одному из них до сих пор почему-то это не удалось.

— Какое мне до этого дело! — самодовольно заявил Блейк. — У меня совсем иной план.

Он повернулся к Руфи, желая втянуть ее в беседу; зная ее роялистские симпатии, он не сомневался, что его замысел будет встречен с одобрением.

— Что вы скажете, Руфь? — теперь он предпочитал называть ее по имени. — Я думаю, это дело, достойное джентльмена.

— Если вам удастся спасти людей, связавших свою судьбу с этим дерзким выскочкой, герцогом Монмутским, вы действительно совершите достойный поступок.

— Мадам, — сказал Блейк, вставая и делая поклон, — ничто иное так не подкрепило бы мои намерения, как ваши слова. Мой замысел таков: надо захватить Монмута и его главных помощников и выдать их королю.

— Всего-то навсего, — хмыкнул Ричард.

— А разве нет? — спросил Блейк. — Ведь, когда армия бунтовщиков лишится своего вождя, она сама по себе рассеется.

— Вы говорите о цели, а не о плане, — напомнила ему Руфь. — И еще неизвестно, насколько хорош последний...

— Насколько хорош? — усмехнувшись, отозвался он. — Судите сами.

И в нескольких словах он обрисовал западню, которую собирался устроить с помощью мистера Ньюлингтона.

— Ньюлингтон богат, а герцогу нужны деньги. Ньюлингтон сегодня должен предложить ему двадцать тысяч фунтов, и завтра вечером герцог — по просьбе мистера Ньюлингтона — нанесет ему визит и отужинает вместе с ним. В саду мистера Ньюлингтона я собираюсь спрятать десятка два хорошо вооруженных людей. О-о! Я не стану рисковать жителями Бриджуотера, я попрошу генерала Февершэма дать мне солдат. За ужином мы схватим герцога и тех, кто будет с ним, свяжем их, заткнем рот и вывезем из города. В Зойланд-Чейзе нас будет ждать другой отряд, который примет у нас пленников и передаст затем Февершэму. Что может быть проще?

Ричард, в восторге от этой идеи, прыгнул со стола и одобрительно хлопнул своего друга по спине.

— Отличный план! — вскричал он. — Верно, Руфь?

— Удача означала бы сотни, если не тысячи спасенных жизней, — отозвалась та. — Дай Бог, чтобы она была на вашей стороне. Но с герцогом могут оказаться его офицеры...

— Их вряд ли будет больше полудюжины, и мы с ними легко справимся; они не успеют даже поднять тревогу. — Он увидел, как ее глаза затуманились. — Да, это самая неприятная часть, — торопливо добавил он с наигранной печалью в голосе, — но, увы, уже ничего не поделаешь. Придется ими пожертвовать, чтобы спасти, как вы сказали, тысячи. А кроме того, — продолжил он, — офицеры Монмута — честолюбивые карьеристы, за-

ботящиеся только о своей выгоде. Они поставили свои жизни в надежде на крупный выигрыш и знают это. Моя цель — освободить не их, а тех несчастных людей, которые были обмануты призывами к свободе.

Речь сэра Роланда звучала горячо, поступок, который он задумал, вполне мог быть назван героическим, и Руфь с удивлением взидала на него, недоумевая, не ошибалась ли она в нем раньше. Затем она вспомнила о мистере Уайлдинге и вздохнула.

Он был на другой стороне, но где? Ходили упорные слухи, что он поссорился с лордом Греем в Лайме и был убит на дуэли, но Диана неустанно внушала ей не прислушиваться к разным сплетням. Перед ее мысленным взором возникла — как уже неоднократно бывало за эти последние недели — сцена их прощания возле Уолфордского ручья: она словно услышала его последние слова, и на глаза у нее навернулись слезы.

Пытаясь скрыть свои эмоции от пристально наблюдавшего за ней сэра Блейка, она встала, собираясь уйти.

— Я думаю, сэр Роланд, вы затеяли прекрасное и благородное дело, достойное увенчаться успехом, — сказала Руфь, и, пока он бормотал слова благодарности, согнувшись в поклоне, она вышла из столовой в залитый солнцем сад.

— Это великое дело, Дик! — вскричал сэр Блейк, когда ее шаги стихли, оценивая по своим меркам замысел, более подходящий для Иуды Искарота и лишь для Руфи облаченный в мантию героических слов. — Я могу рассчитывать на тебя?

— Да, — ответил Дик, находя наконец-то необходимый ему предлог, — можете считать меня своим союзником, и давайте выпьем за успех нашей авантюры.

Глава семнадцатая

МИСТЕР УАЙЛДИНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Молниеносный план, задуманный сэром Роландом, требовал, однако, основательных приготовлений. Следовало еще раз переговорить с мистером Ньюлингтоном и дать ему необходимые указания, надо было пробраться сквозь посты повстанцев в лагерь Февершэма в Сомертоне, заручиться его согласием, а затем вернуться. И все же он не мог заставить себя покинуть Люттон-хаус, не сказав

несколько слов Руфи. Сидя с Ричардом за элем, он видел через окно в столовой, как она гуляла в саду вместе с Дианой, и ждал удобной минуты, чтобы поговорить с Руфью наедине. Он считал, что произвел на нее сегодня благоприятное впечатление, показав себя в героическом свете, но если бы он верно истолковал эмоции, которые та проявила в конце их разговора, его душа не томилась бы сейчас столь сладостными ожиданиями. Он был по натуре осторожен и умел ждать, но присутствие Дианы начинало постепенно раздражать его. В последнее время он буквально возненавидел эту белокурую куклу, за которой когда-то ухаживал. Она постоянно путалась у него под ногами, напоминая Руфи о мистере Уайлдинге всякий раз, когда сэр Роланд желал, чтобы о нем покрепче позабыли. Его неприязнь нашла выход в презрении и насмешках, которые не замедлили посыпаться на голову бедной девушки и окончательно испепелили ее бывшее чувство к баронету. Она прекрасно видела, чего добивается Блейк, и, потерпев неудачу завоевать его для себя, решила отплатить ему той же монетой, встав барьером между ним и Руфью. Зная она, что сэр Роланд сейчас наблюдает за ней, с нетерпением ожидая ее ухода, она непременно нашла бы предлог, чтобы провести с Руфью все утро, а, если потребуется, то и весь день. Но полагая, что он уже уехал из Люптон-хауса, она вскоре распрощалась со своей кухней, и буквально через секунду после ее ухода Блейк появился рядом с объектом своего воздыхания.

— Вы еще здесь, сэр Роланд? — удивленно спросила она, и такой прием наверняка обескуражил бы человека менее самонадеянного, чем он.

— Да, и, я думаю, мою задержку нетрудно оправдать, если вспомнить, что мне, может статься, не суждено вернуться, — с пафосом ответил он, изображая из себя героя, приготовившегося идти на смерть.

Он пристально взглянул на нее, ожидая увидеть признаки волнения, но разве что взгляд ее темно-синих глаз чуть смягчился.

— Значит, вам может угрожать опасность? — полувопросительно произнесла она.

— Мне не хотелось бы преувеличивать, но вы, наверное, сами догадываетесь, чем я рискую.

— Это достойное дело, — сказала она, вспоминая о сбитых с толку людях, собравшихся под знаменем Монмута, которых Блейк мог спасти своей операцией, — и Бог, несомненно, на вашей стороне.

— Мы победим! — с горящими глазами воскликнул Блейк, которого сейчас можно было принять за фанатика, но никак не за обанкротившегося игрока, избравшего грязный способ поправить свои делишки. — Мы победим, пускай дорого заплатив за победу. У меня есть предчувствия... — Он запнулся и вздохнул, словно стряхивая со своей души тяжелый груз.

Сам Ник Тренчард позавидовал бы мастерству, с каким была сыграна эта сцена, и, надо сказать, она произвела свой эффект, добавив к тоге героя, недавно примеренной им, еще и ореол мученика. Это был мастерский ход, и никакой другой — как научил его предыдущий опыт — не тронул бы ее столь глубоко.

— Вы не против маленькой прогулки, госпожа? — предложил он, и она, не желая оказаться бессердечной, согласилась.

Бок о бок они в молчании спустились по лужайке к желтоватой и взбухшей от недавних дождей реке, сверкавшей в лучах солнца, как полоса меди.

— С такими предчувствиями, — проговорил наконец сэр Роланд, — мне трудно было уехать, не повидавшись с вами напоследок.

Он украдкой взглянул на нее из-под густых нависших бровей, и от него не укрылась тень, пробежавшая по ее лицу, словно рябь по поверхности воды от дуновения ветерка. Но она быстро взяла себя в руки и приготовилась отражать атаку, которую, как она догадывалась, он собирался начать.

— Я думаю, вы преувеличиваете, — ответила она. — Ваши опасения вполне могут оказаться беспочвенными, и я надеюсь, что вы вернетесь целым и невредимым.

Он услышал, как ему показалось, намек в этих словах.

— Вы надеетесь? — вскричал он, хватая ее руку. — Надеетесь? О, если вы надеетесь, тогда я непременно вернусь. Но я должен знать, что вы меня будете ждать, иначе... — тут его голос искусно задрожал, — пусть лучше мои предчувствия не обманут меня. Скажите, Руфь...

Она решила, что пора прервать его, и не спеша высвободила свою руку.

— Что вы имеете в виду? — спросила она, и его лицо покраснело, а в глазах появился стальной блеск. — Говорите, сэр Роланд, говорите прямо, чтобы и я могла ответить вам недвусмысленно.

В ее словах звучал вызов, и любой другой мужчина, заметив это, понял бы, насколько безосновательны его

ожидания, и, признавая поражение, постарался бы, не роняя достоинства, отступить. Но сэр Роланд, обуреваемый тщеславием, был неуправим.

— Что ж, раз вы меня спрашиваете, я буду откровенен, — ответил он. — Я хочу... Но разве вы сами не видите, чего я хочу, Руфь?

— Я боюсь поверить своим глазам, — сказала она, — и не хочу давать волю своей фантазии, поэтому прошу вас, не лицемерьте.

— А почему вы не хотите поверить самой себе? — продолжал он, упрямо двигаясь к своей цели. — Неужели вас удивляет, что я люблю вас? Неужели...

— Довольно! — отступила она на шаг, и оба замолчали.

Она словно собирала силы, чтобы уничтожить его, а он покорно склонил голову, ожидая надвигающуюся бурю. Но она передумала. Ее напрягившаяся, словно приготовившаяся к прыжку фигура, расслабилась, и она ограничилась советом:

— Оставьте меня, сэр Роланд.

— Вы ненавидите меня, Руфь? — хрипло спросил он.

— Почему же? — с грустью в голосе ответила она. — Вовсе нет, — перешла она на более дружелюбный тон, словно объясняя ему необычное явление. — Ведь вы друг моего брата. Но я разочарована в вас, сэр Роланд. Я знаю, вы не хотели оскорбить меня и тем не менее сделали это.

— Каким образом? — спросил он.

— Вам ведь известно, что я замужем.

— Соломенное замужество! — взорвался он. — Если только оно стоит между нами...

— Мне кажется, не только, — ответила она. — Простите, но сейчас вы сами вынуждаете меня, как хирурга, причинять вам боль, чтобы излечить вас.

— Напрасное беспокойство, — подавив усмешку, произнес он сквозь зубы, но тут же поспешил вернуться к хорошо послужившей ему позе героя-мученика.

— Мне пора, госпожа, — печально проговорил он, — и если я не вернусь...

— Я помолюсь за вас, — окончила она за него. Наконец-то она стала догадываться о том, что за игру он ведет, и в ней проснулось презрение — слишком уж некрасивым и коварным способом он пытался растрогать ее.

Он отпрянул, словно от удара, и, пытаясь подавить свой гнев, побагровел от макушки до подбородка. Мистер

Тренчард намекал ему, что люди с такой короткой шеей, как у него, подвержены апоплексии, и никогда прежде он не был ближе к припадку, чем в этот момент. Он низко поклонился и, не проронив ни слова, ушел, терзаемый сомнениями. Какую пользу мог он извлечь из своего плана, если Энтони Уайлдинг останется жив? Да, голову Монмута оценили недешево, но разве это единственная награда, о которой он мечтал? На его пути — как и всегда, с тех пор как он появился в Бриджуотере, — стоял Уайлдинг; Руфь оставалась его женой, и тот был хозяином если не ее сердца, то хотя бы ее состояния. Но сейчас этот Уайлдинг был вне закона, и любой мог застрелить его, как бешеного пса, не заботясь о последствиях.

И, поклявшись, что не успокоится, пока не узнает, что Уайлдинг мертв, сэр Роланд отправился к мистеру Ньюлингтону.

Торговец, как оказалось, уже отправил приглашение его величеству и даже получил ответ, в котором мятежный король выражал свое согласие отужинать у него и обещал появиться на другой день в девять вечера в сопровождении ближайших соратников. Сэр Роланд с удовлетворением воспринял такое известие и лишь вздохнул при мысли, что среди свиты Монмута не окажется мистера Уайлдинга. Оставалось договориться с графом Февершэмом, и сэр Роланд, вскочив на лошадь, помчался в Сомертон.

Он вернулся в Бриджуотер на следующий день, в воскресенье, после полудня, успешно завершив все предварительные приготовления, и к восьми часам вечера двадцать человек, которых дал ему граф Февершэм и которые поодиночке просочились в город, стали собираться в саду, разбитом за домом мистера Ньюлингтона.

В этот же самый час в Бриджуотер въезжал мистер Уайлдинг, запыленный с головы до пят и от усталости едва держащийся в седле. Узнав, где находится Монмут, он первым делом отправился туда и потребовал, чтобы его немедленно приняли.

Через несколько минут он уже вошел в просторную, с высоким потолком комнату, где его величество собрал совет. С ним были Грей, Вэйд, Мэттью, Спик, Фергюсон и другие, а у конца длинного дубового стола с расстеленной на нем картой стоял коренастый, деревенского вида малый, незнакомый Уайлдингу. Это был Годфри, который согласился провести ночью их армию через Седжмурское болото. Они только что закончили обсуждать этот вопрос,

который был частью принятого на совете решения неожиданно напасть на лагерь Февершэма взамен отвергнутого плана отступления в Глостер.

Мистера Уайлдинга шокировала перемена, произошедшая в Монмуте за последние несколько недель. Его лицо осунулось, а под глазами обозначились огромные темные круги — следствие бессонницы и постоянной тревоги; даже его голос, казалось, потерял свой характерный мелодичный тембр и стал хриплым и резким. Разочарование за разочарованием преследовали герцога, достигнув кульминации в массовом дезертирстве, происходившем в последние дни, и бегстве его казначея, который прихватил с собой все деньги, предназначенные для ведения войны.

При появлении мистера Уайлдинга в комнате воцарилось молчание, и глаза всех присутствующих устремились на него.

Герцог заговорил первым, и горечь, прозвучавшая в его словах, не укрылась от острого слуха мистера Уайлдинга.

— Мы рады приветствовать вас, сэр, мы никак не ожидали вновь увидеть вас.

— Не ожидали увидеть, ва... ше величество, — с удивлением откликнулся мистер Уайлдинг, заметно споткнувшись на новом титуле Монмута.

— Мы считали, что столичные развлечения целиком захватили вас.

Мистер Уайлдинг перевел взгляд на советников герцога и прочитал явное неудовольствие, написанное на их лицах.

— Столичные развлечения? — нахмурился он. — Какие развлечения? Боюсь, я чего-то не понимаю.

— Разве вы приехали не для того, чтобы сообщить, что лондонцы восстали? — задал вопрос лорд Грей.

— Увы, нет, — печально улыбнувшись, ответил мистер Уайлдинг.

— Что же здесь смешного? — сердито спросил лорд Грей.

— Я всего лишь улыбнулся, ваша светлость, — ответил мистер Уайлдинг, задетый за живое.

— Мистер Уайлдинг, — мрачно произнес Монмут, — мы недовольны вами.

— В таком случае, ваше величество, — возразил мистер Уайлдинг, с каждой секундой все более раздражаясь, — вы ожидали от меня невозможного.

— Вы попусту теряли время в Лондоне, сэр, — объяснил

герцог. — Мы послали вас туда, рассчитывая на вашу преданность движению, а где же результат?

— Я сделал все, что в моих силах... — начал было Уайлдинг, но лорд Грей вновь прервал его.

— Вы ничего не сделали, — отрезал он. — Не будь его величество самым милосердным королем всего христианского мира, наградой за вашу деятельность в Лондоне стала бы виселица.

Мистер Уайлдинг замер, его длинное лицо посуровело, а глаза зло сверкнули. Такого приема, да еще оказанного человеком, который объявил его своим глашатаем и ради которого он пожертвовал всем, что имел, Уайлдинг не ожидал. Если опасность, которой он подвергался в Лондоне, рискуя в любую минуту, подобно бедняге Дисни, быть арестованным и казненным, не заслуживала иной оценки, то с какого сорта людьми он связался? Он твердо взглянул в глаза лорду Грею.

— Мне помнится случай, когда его величеству можно было бы куда с большим основанием предъявить обвинения в милосердии, — с подчеркнутым спокойствием сказал он.

Его светлость побледнел при столь явном намеке на мягкое обращение герцога с ним после трусливого бегства во время схватки при Бриджпорте, и его глаза загорелись недобрым огнем. Но Монмут не дал ему ответить.

— Сэр, — упрекнул он мистера Уайлдинга, — ваша долгая отлучка отрицательно сказалась на ваших манерах.

С учтивостью, граничащей с иронией, мистер Уайлдинг молча поклонился, и щеки Монмута слегка порозовели.

— Возможно, мистер Уайлдинг объяснит нам причины своей неудачи, — вмешался Вэйд, пытаясь восстановить мир.

Неудача! Это было уже слишком — ведь в подкладку его сапога было зашито письмо лорда Сандерленда!

— Благодарю вас, сэр, — сдержанно ответил мистер Уайлдинг, пытаясь придать своему голосу естественное звучание. — У меня действительно есть объяснения.

— Мы выслушаем их, — снисходительно разрешил Монмут, и лорд Грей усмехнулся, выпятив свои толстые губы.

— Все очень просто: в Лондоне сторонниками вашего величества оказались тщеславные и самодовольные трусы, которые только мешали мне, вместо того, чтобы помогать. Особенно это касается полковника Дэнверса.

— Что за бесстыдство, сэр! — прервал его лорд Грей. — Как можно называть Дэнверса трусом?

— Его поступки говорят сами за себя: полковник Дэнверс бежал.

— Бежал? — в ужасе воскликнул Фергюсон.

Мистер Уайлдинг пожал плечами и улыбнулся.

— Дэнверс лишь последовал заразителному примеру прочих верных последователей его величества, — безжалостно закончил он.

Лорд Грей, не выдержав, вскочил на ноги.

— Этот мошенник невыносим! — вскричал он, имея в виду мистера Уайлдинга.

Монмут усталым жестом велел ему сесть, но лорд Грей не повиновался.

— Разве я чем-то задел вашу светлость? — спросил мистер Уайлдинг и сардонически улыбнулся прямо в глаза лорду Грею.

— Да — своими намеками.

— Но зачем же называть меня мошенником?! — в притворном ужасе воскликнул мистер Уайлдинг, с дьявольской ловкостью передавая интонациями скрытый смысл сказанных им слов. И действительно, едва ли кто из присутствующих не догадался, что мистер Уайлдинг считает ниже своего достоинства потребовать от лорда Грея ответа за нанесенное ему оскорбление.

Лорд Грей медленно повернулся к Монмуту.

— Я считаю, — взяв себя наконец-то в руки, сказал он, — что мистера Уайлдинга надо арестовать.

— На каком основании, сэр? — в упор глядя на герцога, резко спросил мистер Уайлдинг, едва сдерживаясь. Не хватало, чтобы в довершение ко всему его еще и посадили под арест! Ну что ж, в таком случае герцог никогда не узнает о письме Сандерленда.

— Нам не нравятся ваши манеры, сэр, — ответил ему герцог, почти повторяя уже сказанные им слова. — Вы вернулись из Лондона с пустыми руками, не выполнив своей задачи, и вместо раскаяния мы слышим от вас одни дерзости. — Он покачал головой. — Мы вами довольны, мистер Уайлдинг.

— Но, ваша милость, — воскликнул мистер Уайлдинг, словно забыв о королевском титуле, — разве я виноват, что ваши сторонники в Лондоне не смогли организовать восстание? Оно произошло бы, если бы ваше величество располагало там более надежными людьми...

— Но вы ведь сами находились там, мистер Уайлдинг, — с сарказмом заметил лорд Грей.

— Не лучше ли нам отложить дело мистера Уайл-

динга? — предложил Фергюсон. — Уже половина девятого, нам еще надо обсудить некоторые детали завтрашней битвы, а в девять ваше величество ждет ужин у мистера Ньюлингтона.

— Верно, — ответил Монмут, как всегда, с готовностью хватаясь за чужое решение. — Мы поговорим с вами в другой раз, мистер Уайлдинг.

В знак согласия мистер Уайлдинг поклонился.

— Но прежде чем я уйду, ваше величество, — начал он, — мне надо кое-что сообщить вам...

— Вы слышали, сэр? — вмешался лорд Грей. — В другой раз. У нас нет времени.

— Да, действительно, сейчас я очень занят, — поддакнул герцог.

— Но у меня важные сведения, ваше величество, — сжав зубы, проговорил мистер Уайлдинг, и Монмут, казалось, заколебался.

— Ваше величество, время не ждет, — напомнил ему Фергюсон.

— Возможно, ваше величество сочтет нужным встретиться с мистером Уайлдингом у мистера Ньюлингтона, — дружелюбно предположил Вэйд.

— Ну зачем же? — спросил лорд Грей.

— Я хочу напомнить, что сегодня свита его величества будет очень невелика, — сказал Вэйд, намекая на необходимость подготовиться к ночной атаке, — и мистер Уайлдинг мог бы ее пополнить.

— Мне думается, вы правы, полковник Вэйд, — отозвался Монмут. — Мистер Уайлдинг, мы ужинаем у мистера Ньюлингтона сегодня в девять. Мы ожидаем увидеть вас там. Лейтенант Крэгг, — обратился герцог к юноше, объявившему о прибытии мистера Уайлдинга и теперь стоящему у дверей, — проводите мистера Уайлдинга.

Стиснув зубы, чтобы не дать вылиться кипевшей в нем ярости, мистер Уайлдинг поклонился и, не сказав ни слова, покинул комнату. Такого обращения он не ожидал. Конечно, даже вскользь брошенное упоминание о письме лорда Сандерленда заставило бы их заговорить по-другому, но он решил оставить выбор за Монмутом; пусть герцог сам захочет узнать об известиях, которые он привез.

— Высокомерный, несносный плут! — прокомментировал уход мистера Уайлдинга лорд Грей.

— Ваша светлость, вернемся лучше к нашим делам, —

постучав по карте, сказал мистер Спик, приглашая всех продолжить обсуждение, прерванное появлением мистера Уайлдинга.

Глава восемнадцатая

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Расстроенный мистер Уайлдинг вышел во двор и чуть было не столкнулся там с нетерпеливо прохаживающимся Ником Тренчардом, успевшим узнать о его возвращении. Но, несмотря на бурные излияния радости, которые, как мальчишка, позволял себе мистер Тренчард, пока они шли по городу к Хай-стрит, мистер Уайлдинг оставался угрюмым и задумчивым. Наконец мистер Тренчард не выдержал. Он резко остановился и внимательно посмотрел на друга.

— Какая муха тебя укусила, Тони? — спросил он, хлопая его по плечу. — Разве ты не видишь, что я буквально сгораю от нетерпения услышать от тебя новости?

Мистер Уайлдинг вкратце рассказал ему о приеме, которого только что удостоился, и как на него свалили вину за отказ лондонцев поддержать Монмута.

— И все этот ублюдок Грей, — зло прорычал мистер Тренчард. — Эх, Энтони, с кем только мы связались! Этот малый все делает наперекосяк. — Он понизил голос и положил свою руку Уайлдингу на локоть. — Я не удивлюсь, если в конце концов он окажется предателем. Неудача везде сопутствует ему, словно он сам прикладывает к этому руку. А Монмут! Фу! Вот что значит служить слабаку. Страна в смятении, и, окажись на его месте другой, мы уже наверняка были бы хозяевами Англии.

В этот момент мимо торопливо прошли две дамы в плащах с накинутыми капюшонами, и одна из них взглянула в сторону Тренчарда, привлечшего ее внимание своей бурной жестикуляцией.

— Мистер Уайлдинг! — воскликнула она, останавливаясь.

Это была леди Гортон.

— Мистер Уайлдинг! — повторила за ней Диана, ее спутница.

Мистер Уайлдинг приподнял шляпу, и мистер Тренчард последовал его примеру.

— Мы уже не надеялись вновь встретить вас в Бриджуотере, — сказала леди Гортон, и по ее тону было ясно, что она рада видеть его целым и невредимым.

— Бывали минуты, — ответил мистер Уайлдинг, — когда я и сам не надеялся вернуться. Но ваше приветствие показало мне, сколь многого я лишился бы в таком случае.

— Вы только что приехали? — спросила Диана.

— Да, час назад, из Лондона.

— Час назад? — окинув взглядом его запыленную одежду, переспросила она. — И вы еще не заглянули в Люттон-хаус?

— Пока нет, — ответил он, и от наблюдательной Дианы не укрылась пробежавшая по его лицу тень.

— Ну и увальень! — рассмеялась она, и он почувствовал, как на сердце у него потеплело. На что она намекала? Быть может, его приезда ждут с радостью? Сцена их последнего прощания около Уолфордского ручья не выходила у него из головы.

— Меня задержали неотложные дела, — объяснил он, и мистер Тренчард фыркнул, вспомнив о приеме, оказанном его другу герцогом.

— Раз они остались позади, может быть, мы вместе поужинаем? — как ни в чем не бывало предложила леди Гортон.

— С удовольствием, но сегодня я ужинаю вместе с его величеством у мистера Ньюлингтона, — ответил мистер Уайлдинг, — и мне придется отложить визит к вам до утра.

— Будем надеяться, что не дольше, — вставил мистер Тренчард, имея в виду ночную атаку на лагерь Февершэма, в которой мистер Уайлдинг, по его мнению, должен был принять участие.

— Так вы идете к мистеру Ньюлингтону? — изумилась Диана, и от мистера Тренчарда не укрылась внезапная бледность девушки, широко раскрытые глаза и прижатые к груди руки. Она словно хотела что-то добавить, но не решилась.

— Мы задерживаем мистера Уайлдинга, мама, — наконец проговорила она, и ее голос дрожал, выдавая с трудом сдерживаемое волнение. Они коротко распрощались и расстались. Однако буквально через секунду Диана догнала их.

— Где вы остановились, мистер Уайлдинг? — спросила она.

— У своего друга мистера Тренчарда — в гостинице «Крест».

Узнав то, что хотела, Диана торопливо вернулась к поджидавшей ее матери, и обе поспешили прочь. Мистер Тренчард задумчиво посмотрел им вслед.

— Странно! — сказал он. — Ты заметил, что девушка словно не в себе?

Но мысли мистера Уайлдинга были далеко.

— Идем, Ник! — отозвался он. — Если я хочу пристойно выглядеть за столом у Монмута, то должен торопиться.

Но, как быстро они ни шли, им едва ли удалось утнаться за Дианой, летевшей, словно на крыльях, и буквально тащившей за собой не поспевающую за ней матушку.

— Где госпожа? — возбужденно спросила она у первого же слуги, встретившегося ей в Люптон-хаусе.

— В своей комнате, мадам, — ответил тот, и Диана стремглав побежала наверх, оставив леди Гортон переводить дыхание и недоумевать.

Руфь в задумчивости сидела у окна, когда Диана бледная, растрепанная, в сумерках похожая на призрак, не постучав, ворвалась к ней.

— Диана! — вскричала она, вскакивая. — Ты испугала меня.

— Сейчас испугаю еще больше, — выдохнула та, откидывая с головы капюшон. — Мистер Уайлдинг в Бриджуотере, — объявила она.

Платье Руфи слабо зашуршало.

— Значит... — ее голос запнулся, — значит, он жив? — полуутвердительно спросила она, чувствуя, что надо как-то отреагировать на известие.

— Пока да, — мрачно произнесла Диана.

— Пока да?

— Сегодня он ужинает у Ньюлингтона! — выпалила мисс Гортон.

— А-ах! — вырвалось у Руфи, и она медленно опустилась на свое сиденье у окна, будто стрелами пораженная словами Дианы; та подошла к своей кухне и положила руку ей на плечо.

— Его надо предупредить, — сказала Диана.

— Но... но как? — пробормотала Руфь. — Это значит предать сэра Роланда.

— Сэра Роланда? — насмешливо-презрительно воскликнула Диана.

— И... и Ричарда, — попыталась продолжить Руфь.

— А заодно мистера Ньюлингтона и прочих кровавых мерзавцев, — закончила за нее Диана. — Итак? Кто из нас сделает это — ты или я?

— Но ты подумала, что это будет значить для бедных обманутых людей, которые погибнут, если герцога не удастся схватить и тем самым положить конец восстанию? — спросила Руфь.

— Подумала! — фыркнула Диана. — Я-то как раз подумала о том, что не позднее, чем через час, мистеру Уайлдингу перережут глотку.

— Почему ты так в этом уверена? — спросила Руфь.

— Твой муж сам кое-что сообщил мне, — ответила Диана и вкратце пересказала о встрече с мистером Уайлдингом.

— Диана! — в отчаянии воскликнула Руфь. — Что же мне делать?

— Что делать? — переспросила Диана. — Тут и ребенку ясно. Надо срочно предупредить мистера Уайлдинга.

— Но как же Ричард?

— Мистер Уайлдинг уже спас однажды Ричарда...

— Я знаю, знаю. Теперь я должна спасти мистера Уайлдинга.

— Что же ты медлишь?

— Я не могу предать Ричарда и всех несчастных, которым грозит гибель, — в отчаянии простонала Руфь.

Диана нетерпеливо топнула ногой:

— Надо было мне самой сказать ему!

— О, что же тебе помешало?

— Я подумала, что ты сама захочешь вернуть ему долг, который остался за тобой.

— Я не в силах, Диана! — голосом, вот-вот готовым сорваться в рыдания, проговорила она. Но Диана и не думала отступать. Для нее не было более надежного способа отомстить Блейку, кроме как сообщив мистеру Уайлдингу об угрожающей ему опасности.

— Ты знаешь, что Ричард не принимает активного участия в заговоре и, следовательно, ничем не рискует, — настаивала она. — Он будет всего лишь стоять на часах.

— Я думаю не о жизни Ричарда, а о его чести и его вере в меня.

— А если его друзья убьют мистера Уайлдинга? — спросила Диана. — Думай, да поскорее — через полчаса может быть уже слишком поздно.

Как знать, не упоминание ли об отсутствии времени подстегнуло Руфь в поисках решения; ей показалось, что

на нее снизошло вдохновение, и среди мрака отчаяния сверкнул луч надежды. Она поняла, как спасти Уайлдинга — одного его — и не предать Ричарда; для этого нужно было всего лишь задержать Уайлдинга до того момента, когда он сам будет в безопасности, но не успеет уже предупредить остальных. Она резко встала, воодушевленная своей идеей.

— Дай мне твой плащ, Диана, — велела она ей. — Где остановился мистер Уайлдинг?

— В гостинице «Крест», вместе с мистером Тренчардом. Хочешь, я пойду с тобой?

— Нет, — решительно сказала Руфь. — Я иду одна.

Она надвинула на голову капюшон и запахнула плащ, совершенно скрывший ее сатиновое платье, усеянное жемчугом по краю глубокого выреза.

Она торопилась по плохо освещенным улицам, не обращая внимания ни на грубые булыжники мостовой, ранящие ее ноги в легких домашних туфлях, ни на толпы людей, собравшихся в эту ночь в Бриджуотере, чтобы попрощаться со своими родными, завтра уходящими вместе с армией — как единодушно считалось — на север, в Глостер.

Часы церкви святой Марии — той самой, где они когда-то венчались, — пробили половину девятого, когда Руфь подошла к гостинице, где остановился ее муж. Она собиралась постучать, как вдруг дверь отворилась, и на пороге возник мистер Уайлдинг собственной персоной, в сопровождении мистера Тренчарда. Он успел сменить свою поношенную дорожную одежду на черный камзол из рубчатого плиса, его темно-каштановые волосы были тщательно уложены, а на белоснежных кружевах вокруг шеи сверкали алмазы. В руках он держал шляпу и, увидев перед собой женщину, автоматически шагнул в сторону, уступая ей дорогу.

— Мистер Уайлдинг, — произнесла она, чувствуя, что ее сердце готово выскочить из груди, — можно... можно поговорить с вами?

Не веря своим ушам, он наклонился вперед, всматриваясь в тени, скрывавшие ее. Она сделала движение головой, и луч света упал на ее бледное лицо.

— Руфь! — воскликнул он и шагнул к ней.

У него за спиной мистер Тренчард недовольно оскалился — флирт мистера Уайлдинга с этой леди никогда не был ему по душе: уж больно многих неприятностей он стоил его другу.

— Мне надо поговорить с вами. Немедленно! — бесстрашно потребовала она.

— Я нужен вам? — заботливо отозвался он.

— Да — и очень, — ответила она.

— Слава Богу, — без тени иронии произнес он. — Ваш покорный слуга. Говорите.

— Нет, не здесь, только не здесь, — умоляюще проговорила она.

— Но где еще? — удивился он. — Может быть, по дороге?

— Нет-нет, — выдавая свое волнение повторами, ответила она. — Нам лучше побеседовать внутри. — Она кивнула головой в сторону двери, из которой он так и не вышел.

— Это едва ли удобно, — сконфуженно сказал он, на секунду забыв об отношениях, в которых они формально состояли. Впрочем, эта оговорка была совсем не случайна, если вспомнить, что мистер Уайлдинг до сих пор считал себя скорее ухажером, чем мужем, ему еще предстояло завоевать сердце возлюбленной.

— Удобно? — откликнулась она. — Но разве я не ваша жена? — после небольшой паузы спросила она, понизив голос, и ее щеки покраснели.

— Ха! Клянусь честью, я почти забыл об этом. — И его слова прозвучали грустно, хотя он постарался придать им насмешливый оттенок.

Около них стали уже останавливаться прохожие, привлеченные их необычной беседой; Руфь, надвинув поглубже капюшон, решительно вошла в гостиницу и, взяв мистера Уайлдинга за рукав, потянула его за собой.

— Закройте дверь, — велела она, и мистер Тренчард, оказавшийся ближе к выходу, поспешил повиноваться.

— А теперь отведите меня к себе, — сказала она, и мистер Уайлдинг в изумлении повернулся к мистеру Тренчарду, словно спрашивая его согласия, — в конце концов, это было его жилище.

— Я подожду здесь, — сказал Ник и указал на дубовую скамейку, стоявшую в коридоре. — Но мы уже опаздываем, и, прошу тебя, потрудись поскорее решить все проблемы, если хочешь попасть к королю Монмуту. Впрочем, Энтони, на твоём месте я не стал бы торопиться, — добавил он себе под нос.

Руфь ожидала от Уайлдинга какого-либо ответа, но тот молча пошел вверх по лестнице в апартаменты, состоящие из крохотной прихожей и спальни. Убедившись,

что окна плотно занавешены, она скинула плащ и в свете свечей, горевших на простом дубовом столе, предстала перед ним во всей своей ослепительной красоте, подчеркнутой ее белоснежным платьем. Мгновение он стоял, не сводя с нее глаз, и слабая улыбка играла у него на устах, затем закрыл дверь в комнату и вновь, уже вопросительно, взглянул на нее.

— Мистер Уайлдинг... — начала она, но он сразу перебил ее.

— Вы только что напомнили мне, что я имею честь быть вашим мужем, — полушутя-полусерьезно проговорил он. — Стоит ли забывать об этом? И, помнится мне, когда мы виделись в последний раз, вы в разговоре со мной использовали другое имя. Но может статься, — добавил он, — вы считаете, что я нарушил свое обещание?

— Обещание? Но какое?

— Увы! — вздохнул он. — Как мало значения придавалось моим словам, раз о них так скоро забыли. Что ж, я позволю себе напомнить. Дело в том, что я обещал тогда — или, возможно, намекал — сделать вас вдовой, раз уж заставил выйти за себя замуж. К сожалению, этого пока не случилось, но не теряйте надежды: восстание еще продолжается.

Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами, сверкавшими, словно сапфиры, и ей в голову пришла мысль, что, если бы она действительно хотела его смерти, ее сейчас не было бы здесь.

— Вы несправедливы ко мне, полагая, что я могу питать подобные надежды, — ровным голосом ответила она. — Нет на свете человека, которому я желала бы умереть, если это не... — Она запнулась, почувствовав, что ее откровенность завела ее чересчур далеко.

— И кто же это? — с вежливым интересом спросил он.

— Герцог Монмутский.

— Надеюсь, вы пришли ко мне не для разговоров о политике? — пристально взглянув на нее, сказал он. — Или, быть может...

У него перехватило дыхание, и все тело содрогнулось от неожиданного приступа ярости. Он знал, что герцог всегда славился, и заслуженно, репутацией распутника. Не посещал ли он Люптон-хаус и не преследовал ли ее своими домогательствами?

— Вы знакомы с его милостью? — спросил он, пытаясь заставить свой голос звучать спокойно.

— Я даже никогда не разговаривала с ним, — не подозревая, что творилось в его мыслях, ответила она.

Он облегченно рассмеялся, вспомнив, что нынешние дела Монмута едва ли оставляли ему время для любовных развлечений.

— Но вы стойте, присядьте, прошу вас, — галантно проговорил он и придвинул ей стул. — Жаль, что я не могу оказать вам лучший прием; и сомневаюсь, что это мне когда-либо удастся. Мне сказали, что Альбемарль оказал мне любезность, разместив в моем доме, словно в стойле, своих кляч.

Она опустилась на стул словно бы нехотя, и это не укрылось от него.

— Зачем же я вам понадобился? — спросил он.

Но она молча сидела, колеблясь и не зная с чего начать, и ее лицо начала заливать краска смущения.

— Как давно вы приехали в Бриджуотер? — спросила она, решив любой ценой тянуть время.

— Не более двух часов назад, — ответил он.

— Два часа! И вы даже не заглянули ко мне. Узнав о вашем появлении, я испугалась, что вы, может быть, станете избегать моего общества.

У него опять перехватило дыхание — на этот раз от изумления, — и его рука опустилась на высокую спинку стула, на котором она сидела.

— Вы так и хотели поступить? — спросила она.

— Я уже говорил вам, — с трудом сохраняя спокойствие, ответил он, — о своем обещании.

— Мне... мне не хотелось бы, чтобы вы сдержали его, — еле слышно произнесла она.

Она почувствовала, что он склоняется к ней, и ее сердце наполнилось безотчетным страхом.

— Вы пришли сюда, чтобы сказать мне это? — почти шепотом произнес он.

— Нет... да, — ответила она, мучительно подыскивая слова, которые помогли бы ей задержать его до тех пор, пока не минует опасность.

— Нет или да? — повторил он и выпрямился. — Что вы имеете в виду?

— Многое.

— Гм-м! — с оттенком разочарования протянул он. — Но что же еще?

— Я хочу, чтобы вы оставили Монмута.

От изумления он замер, затем обошел стул, на котором она сидела, и встал напротив нее. Он заметил, что она

побледнела и ее грудь высоко вздымалась от волнения. Он озадаченно нахмурился. Здесь было все не так просто, как казалось на первый взгляд.

— Почему же? — спросил он.

— Ради вашей собственной безопасности, — ответила она.

— Меня, честно говоря, удивляет ваша неожиданная забота, Руфь.

— Почему неожиданная? — Она на секунду запнулась и, проглотив комок в горле, продолжила: — Я обеспокоена тем, что, встав под его знамена, вы рискуете запятнать свое имя. Он назвал себя королем, чтобы проще было обманывать несчастных людей, привлекая их к себе щедрыми обещаниями, но этим лишь подтвердил свои эгоистические намерения.

— Вы неплохо заучили урок, — сказал он. — Чье же учение вы проповедуете? Не сэра ли Роланда Блейка?

В иных обстоятельствах насмешка наверняка задела бы ее. Но сейчас ее задачей было выиграть время, а для этого годились любые средства.

— Сэр Блейк? — вскричала она, схватившись за предложенную им самим тему. — Разве он что-то значит для меня?

— Об этом я и сам не прочь бы узнать.

— Меньше, чем ничего, — заверила она, и некоторое время, пока маленькие деревянные часы на камине не пробили без четверти девять, они оживленно обсуждали этот вопрос. Неожиданно он запнулся на полужизне, вспомнив о мистере Тренчарде, терпеливо ждавшем его внизу.

— Госпожа, — сказал мистер Уайлдинг, — вы еще не сказали мне о цели вашего визита. Мы говорим о пустяках, но мое время очень ограничено.

— Куда вы собираетесь? — спросила она, украдкой взглянув на часы.

Он перехватил ее взгляд, и у него на губах появилась странная улыбка, — наконец-то он начал кое о чем догадываться.

— Вы проявляете необычный интерес к моим делам, — не спеша произнес он и потянулся за шляпой, которую бросил на стол, когда они вошли. — Говорите же, чего вы хотели. Мне пора уходить.

— Куда вы собираетесь? — повторила она свой вопрос и поднялась со стула, с трудом сдерживая волнение.

— Я ужинаю у мистера Ньюлингтона в компании его величества.

— Его величества?

— Короля Монмута, — нетерпеливо пояснил он. — Смелее, Руфь. Я уже опаздываю.

— Если я попрошу вас ради меня не ходить туда, — медленно произнесла она, — протягивая руки и умоляюще глядя на него, — вы послушаете?

Он пристально взглянул на нее из-под нахмуренных бровей.

— Руфь, — сказал он, беря ее руки в свои, — я чего-то не понимаю. О чем вы говорите?

— Обещайте, что останетесь здесь, и я все расскажу вам.

— Но какое отношение имеет Ньюлингтон к?.. Нет, я уже обещал быть там.

Она сделала шаг к нему и положила руки ему на плечи.

— Но если об этом прошу я, ваша жена? — умоляла она.

Он уже готов был уступить, но неожиданно вспомнил о другом случае, когда она, добиваясь своих целей, вела себя похожим образом. Он притворно рассмеялся:

— Вы как будто соблазняете меня, но, когда я пытаюсь делать то же самое, вы проявили завидную твердость.

Она отпрянула от него, и ее лицо залилось краской.

— Я думаю, мне лучше уйти, — сказала она. — Как всегда, мне достаются от вас одни насмешки. Будь вы более тактичны, тогда... тогда... — она запнулась, словно не считая нужным продолжать. — Спокойной ночи! — закончила она и направилась к выходу.

— Подождите! — воскликнул мистер Уайлдинг, когда Руфь уже взялась за ручку двери. Она остановилась и через плечо посмотрела на него.

— Вы не уйдете, пока не расскажете, почему вы так настаиваете, чтобы я не ходил к Ньюлингтону. А? — запнулся он, пораженный неожиданным озарением. — Готовится предательство, верно? — торопливо выпалил он, метнув взгляд на часы.

— Что вы делаете? — изумленно вскричал он секундой позже, услышав резкий, скрежещущий звук, раздавшийся со стороны двери. — Почему вы заперли замок?

Но она не ответила, дрожащими от возбуждения руками с силой вытащить застрявший в скважине ключ. Одним прыжком он очутился у двери, но мгновением

раньше ключ скользнул в ее ладонь, и она успела повернуться к нему, торжествующая и бесстрашная.

— Что за дьявольщина?! — возмутился Уайлдинг. — Немедленно отдайте ключ.

Ему все стало ясно, и сами ее действия подтверждали его догадки красноречивее любых слов. Он почти не сомневался, что сэр Роланд и Ричард участвуют в заговоре против Монмута. Разве слова самой Руфи не свидетельствовали о ее неприязни к герцогу? Он и сам не симпатизировал ему, но не до такой степени, чтобы позволить перерезать ему глотку. Руфь наверняка знала о заговоре, и ее единственной целью было уберечь его от гибели — здесь ход его мыслей на мгновение остановился, не решаясь выбрать продолжение, — хотя бы из чувства долга за спасенную жизнь брата. Все эти соображения он тут же высказал ей, и она, любой ценой стремясь протянуть время, даже дополнила их некоторыми деталями. Новый страх неожиданно обуял ее — ведь если Монмут останется жив благодаря ее вмешательству, Блейк сможет выместить свою ярость на Ричарде.

— Дайте мне ключ, — холодно потребовал он.

— Нет, нет! — вскричала она, пряча руку за спиной. — Оставайтесь, Энтони, оставайтесь!

— Я должен идти, — настаивал он. — Сейчас это дело моей чести.

— Вы можете найти там смерть, — напомнила она.

Он усмехнулся.

— Не все ли равно где? Давайте же ключ.

— Я люблю вас, Энтони! — побледнев как полотно, воскликнула она.

— Ложь, — презрительно отозвался он. — Ключ!

— Нет, — все так же твердо ответила она, — я не допущу, чтобы вас убили.

— Я не собираюсь пока умирать. Но я должен предупредить других. Боже, неужели мне придется применить силу против женщины! Не вынуждайте меня.

Он решительно шагнул к ней, но она проворно ускользнула от него и оказалась на середине комнаты. Он развернулся, чувствуя, что теряет контроль над собой, и готов был броситься за ней. Но она опередила его. Проворно подбежав к окну, она изо всех сил ударила рукой, державшей ключ, по стеклу. Зазвенели посыпавшиеся осколки, еще через секунду где-то внизу о камни мостовой звякнул легкий металлический предмет, а ее рука залилась кровью.

— О, Господи! — вскричал мистер Уайлдинг, позабыв обо всем на свете. — Вы поранились?

— Зато вы спасены! — смеясь и плача одновременно, воскликнула она, не обращая внимания на обильно струившуюся кровь из раны, пачкающую ее безупречное, сверкающее платье.

Он схватил стул за ножки и одним ударом выбил дверь, оказавшуюся весьма хлипкой.

— Ник! Ник! — заорал он, отшвырнув ненужный теперь стул, и исчез в прихожей.

Через секунду он вновь появился, держа в руках таз, кувшин и рубашку мистера Тренчарда — первый попавшийся ему на глаза кусок материи. Он помог ей сесть на стул, разорвал на полосы тонкую батистовую рубашку — позже, комментируя этот факт, Тренчард никогда не приводил меньше трех драматических цитат из творений знаменитых английских авторов — и быстрыми, точными движениями обмыл, а затем перевязал ее руку. К своему великому облегчению, мистер Уайлдинг убедился, что, несмотря на обильное кровотечение, рана не представляла большой опасности, и, когда Ник, разинув от изумления рот при виде представшей перед ним сцены, замер на пороге комнаты, первая помощь могла считаться уже оказанной.

Появилась испуганная служанка, на чье попечение оставили готовую упасть в обморок Руфь, и мистер Уайлдинг, потащив за собой мистера Тренчарда, заторопился вниз по лестнице. В этот момент пробило девять, и вряд ли стоит говорить, сколь разный отклик вызвал бой часов в сердцах мистера Уайлдинга и его жены.

Глава девятнадцатая

БАНКЕТ

Итак, роковой час, как думал в отчаянии мистер Уайлдинг, настал. И если бы не хладнокровие и рассудительность Ника Тренчарда, вполне вероятно, что его худшие опасения подтвердились бы.

— Что ты собираешься делать? — спросил Ник у своего друга, когда тот в двух словах сообщил ему о готовящемся заговоре.

— Бежать к Ньюлингтону и предупредить герцога, если еще не поздно.

— И этим только ускорить катастрофу? Мне кажется, ты кое о чем забываешь. Неужели ты думаешь, что Монмута должны зарезать ровно в девять?

— А как же иначе? — искренне удивился мистер Уайлдинг.

Мистер Тренчард взял друга под локоть.

— Пусть ужин назначен на девять часов. Но скорее всего герцог чуть задержится, и потом, убийцы наверняка подождут, пока он и его свита не почувствуют себя в полной безопасности за столом. Я вижу, ты забыл об этом. Слушай, Энтони, отправляйся немедленно к полковнику Вэйдю, возьми у него пару десятков солдат и выясни, как пробраться к саду Ньюлингтона. Если ты быстро обернешься, то сможешь перестрелять головорезов сэра Роланда, прежде чем они сообразят, что происходит. Я тем временем прикрою герцога со стороны улицы. Торопись!

Никто и никогда не подумал бы, что мистер Уайлдинг — человек, умеющий хранить собственное достоинство, станет бежать сломя голову в шелковых чулках и сапогах с серебряными застежками под градом проклятий прохожих, которых он чуть не сбивал с ног. Он уже не застал Монмута, но зато наткнулся на капитана Слейпа, командира роты мушкетеров полка, который возглавлял сам герцог. Задыхаясь на каждом слове, он сумел в рекордно короткое время убедить не сразу поверившего ему Слейпа отправить с ним двадцать человек, но, пока солдаты собирались и готовили оружие, часы пробили четверть десятого.

Быстрым шагом они заторопились к саду мистера Ньюлингтона, выбирая путь по окраинным улочкам города, чтобы привлекать как можно меньше внимания. В сотне ярдов от сада мистер Уайлдинг велел остановиться и послал вперед разведчика. Дом мистера Ньюлингтона был ярко освещен, и, хотя никаких подозрительных звуков оттуда не доносилось, опасность оставалась все так же велика — кто знает, быть может, убийцы уже начали проникать внутрь здания, — и мистер Уайлдинг, не мешкая, дал своим солдатам знак окружить сад. Тем временем мистер Тренчард, раскурив очередную трубочку и шеголевато надвинув шляпу на свой золотоволосый парик, не спеша прогуливался по Хай-стрит, помахивая длинной тросточкой с таким видом, словно отправился подышать свежим воздухом и нагулять аппетит перед ужином. Около дома мистера Ньюлингтона — цели его прогулки —

уже собралась небольшая толпа зевак, жаждущих увидеть его величество, и в одном из них мистер Тренчард неожиданно узнал мистера Ричарда Уэстмакотта. Сделав вид, что не заметил юношу, мистер Тренчард прошел было мимо, но после нескольких шагов остановился, повернулся и с отсутствующим видом пошел назад. Чуть было не наступив на носки сапог Ричарда, старый щеголь с наигранным удивлением воскликнул:

— Мистер Уэстмакотт!

Ричард, сознавая, что Тренчард имеет все основания считать его изменником, смущенно покраснел и шагнул в сторону, давая тому пройти. Но это отнюдь не входило в намерения мистера Тренчарда.

— Эй! — с шутивым негодованием воскликнул он, хлопая Ричарда по плечу. — Ты сердисься на меня, мой мальчик?

— Почему я должен сердиться на вас, мистер Тренчард? — спросил застигнутый врасплох Ричард.

Мистер Тренчард расхохотался, да так громко, что ему пришлось придержать свою шляпу, заходившую у него ходуном на голове.

— Я вспомнил нашу последнюю встречу и маленькую шутку, которую тогда сыграл с тобой, — сказал он и взял Ричарда за локоть. — Никогда нельзя сердиться на стариков, мой мальчик.

— Поверьте, этого у меня и в мыслях не было, — с облегчением ответил Ричард, радуясь, что мистер Тренчард не держит на него зла.

— Я не поверю тебе, пока ты это не докажешь, — не отставал мистер Тренчард. — Идем-ка и опорожним бутылочку лучшего канарского, которое найдется в «Белой Корове».

— Может быть, не сейчас? — замаялся Ричард, вспоминая о своих обязанностях часового.

— Ты, я вижу, все не можешь забыть о нашей последней выпивке, — укорил его мистер Тренчард.

— Вовсе нет, я... я просто не хочу пить.

— Не хочешь? — изумился мистер Тренчард. — Ну разве это аргумент? Мальчик мой, одни только звери пьют, когда им захочется: в этом главная разница между животными и человеком. Идем же! — И он тихонько потянул Ричарда за рукав.

Но в этот момент на улице раздался грохот подков и восторженные крики. К дому мистера Ньюлингтона подкатила карета короля-герцога, за которой следовали

сорок всадников его личной охраны. Из кареты появился Монмут, и на его лице, освещенном красноватым светом факелов, отразилось удовлетворение, когда он услышал приветственные крики толпы. Он поднялся вверх по ступенькам навстречу стоявшему у самых дверей Нью-лингтону — толстому, бледному и расфуфыренному, как индюк, — и оба они, а вслед за ним шесть человек свиты, среди которых были Вэйд и лорд Грей, исчезли в глубине дома. Огромная карета развернулась, заставив зеваяк прижаться к самым стенам соседних домов, и с грохотом укатила прочь в сопровождении телохранителей.

Мистеру Тренчарду показалось, что у Ричарда вырвался вздох облегчения, хотя при таком шуме на улице трудно было определить это с уверенностью.

— Идем, — возобновил он свои приглашения, — и хлебом немного молочка «Белой Коровы».

Ричард почти инстинктивно повиновался — трактир «Белая Корова» всегда славился своим хересом. Он сделал несколько шагов, но лишь затем, чтобы резко остановиться, вспомнив, о чем говорил ему сэр Роланд: после приезда герцога он должен был занять наблюдательный пост у задней ограды сада и в случае опасности поднять тревогу.

— Нет-нет, — пробормотал он, — прошу извинить меня...

— Только не я, — возразил мистер Тренчард, догадываясь о причине нерешительности Ричарда. — Пить в одиночку — преступление, а ты подталкиваешь меня к нему.

— Но... — начал было Ричард.

— Никаких «но», иначе мы поссоримся. Идем! — И он двинулся вперед, буквально таща юношу за собой.

Тот недолго сопротивлялся и вскоре уже бодро шагал рядом с мистером Тренчардом, воодушевленно болтавшим о разных пустяках. Он всегда выбирал линию наименьшего сопротивления и сейчас уже успел придумать целый набор оправданий для себя: во-первых, он никогда не относился всерьез к своим обязанностям часового, считая их чуть ли не формальными при той скрытности, с которой был организован заговор; во-вторых, он знал, что от мистера Тренчарда не так-то просто избавиться и, самое последнее, но не менее важное: херес в «Белой Корове» был лучшим во всем Сомерсете.

Не менее четверти часа они провели за столом в переполненном трактире, обсуждая достоинства поданной

им бутылки вина, когда мушкетный залп, раздавшийся неподалеку, заставил всех вздрогнуть и на мгновение замереть от неожиданности. В следующую секунду люди бросились к окнам и двери, и в трактире воцарились хаос и смятение.

Бледный и испуганный, Ричард медленно поднялся из-за стола, но мистер Тренчард схватил его за рукав.

— Садись, садись, — сказал он, — это пустяки.

— Пустяки? — повторил заподозривший неладное Ричард и со страхом взглянул на мистера Тренчарда. В этот момент прогремел второй залп, за которым последовали беспорядочные выстрелы, топот бегущих ног и крики на улице, и вскоре в трактире не осталось никого, кроме Ричарда Уэстмакотта и мистера Тренчарда. Оба они прекрасно понимали, что произошло, и, не испытывая ни малейшей нужды спешить, мистер Тренчард с удовольствием посасывал трубочку, а Ричард словно окаменел от ужаса. Ему было хорошо известно, что люди сэра Роланда имели при себе только пистолеты, которыми собирались воспользоваться лишь в крайнем случае, больше полагаясь на бесшумную сталь. Значит, на отряд Блейка кто-то неожиданно напал и он, Ричард, оказался предателем, на совесть которого, возможно, легла смерть двух десятков человек. Это была его вина — нет, не его, а этого пьяницы, с безмятежным видом сидящего с ним за одним столом и дымящего своей проклятой трубкой.

Резким движением Ричард вырвал трубку изо рта у мистера Тренчарда. Тот изумленно взглянул на него.

— Какого дьявола... — начал было он, но Ричард не дал ему закончить.

— Это вы виноваты! — вскричал Ричард, смертельно бледный, с пылающими, словно раскаленные угли, глазами. — Вы заманили меня сюда!

— О чем, черт побери, ты говоришь? — разыгрывая негодование, свирепо произнес мистер Тренчард.

Он пристально взглянул на юношу, будто пытаясь прочесть, что творится у него в голове, в свою очередь, встал, расплатился за вино и вышел вон.

А тем временем прозвучавший в саду залп произвел немалое смятение за столом, накрытым мистером Ньюлингтоном для высоких гостей. Герцог имел все основания бояться за свою жизнь — в последние дни в него несколько раз стреляли люди, желающие заработать на его гибели, и сразу догадался, какая опасность ему угрожает.

Полковник Вэйд подкрался к выходящему в сад

раскрытому окну — ночь стояла очень теплая, — а герцог повернулся к хозяину за объяснениями. Последний, однако, не смог произнести ни слова; он был очень бледен, и его руки заметно дрожали, но в такой ситуации это выглядело вполне естественно. Отбросив всякие церемонии, в комнате появились жена и дочь мистера Ньюлингтона, жаждущие убедиться, что их гости целы и невредимы.

Из окон комнаты, в которой они находились, было хорошо видно происходящее внизу. Там лихорадочно сновали черные тени, громкий, низкий голос велел им искать укрытие и проклинал предателей. Затем вдоль края стены, окружавшей сад, сверкнула полоса огня и прогремел второй залп, вслед которому раздались проклятия и стоны раненых, смешавшиеся с криками нападающих, устремившихся в сад через стену. Несколько мгновений там продолжалась схватка, гремели пистолетные выстрелы и сталь звенела о сталь, но скоро все стихло, и из-под окна прозвучал голос, спрашивающий, жив ли его величество; против него был организован заговор, однако злодеи сами попали в вырытую для других яму, и ни один из них не уцелел. Впрочем, было одно исключение: под лавровым кустом лежал, притаившись, сэр Роланд Блейк, ни живой ни мертвый от страха, однако не получивший ни одной серьезной раны, за исключением кровоточащей царапины на щеке.

Услышав об очередном посягательстве на его жизнь, Монмут устало опустился в кресло. Глубокая, горькая меланхолия охватила его душу.

— Где мистер Уайлдинг? — внезапно спросил лорд Грей, сразу вспомнив о человеке, которого более всего ненавидел и который — единственный из всех приглашенных — отсутствовал. — Кто знает, почему его нет?

В красивых глазах Монмута промелькнула невыразимая грусть. Вайд повернулся к лорду Грею.

— Ваша светлость предполагает, что он мог быть в числе заговорщиков?

— Факты как будто дают возможность сделать такие выводы, — ответил лорд Грей, в глубине души желая, чтобы именно так все и оказалось.

— Факты скажут сами за себя, — услышал он ясный, звенящий голос.

Все обернулось и увидели стоящего на пороге мистера Уайлдинга — простоволосого, с обнаженной шпагой в руке, который незаметно для всех вошел в комнату. На его шпаге и правом рукаве камзола темнели пятна крови,

но во всем остальном, исключая промокшие сапоги, он выглядел так же безупречно, как и час назад, когда выходил с мистером Тренчардом из гостиницы и встретил Руфь.

При его появлении Монмут встревоженно вскочил на ноги, а лорд Грей выхватил шпагу и встал чуть впереди своего господина, словно готовясь защищать его.

— Вы ошибаетесь, господа, — спокойно произнес мистер Уайлдинг. — Я участвовал в этом деле лишь с целью спасти его величество от врагов. Сегодня вечером, когда я был уже готов присоединиться к вам, я случайно узнал о ловушке, расставленной для вашего величества. Слава Богу, мне хватило времени уговорить Слейпа дать мне двадцать мушкетеров его роты, вернуться сюда и уничтожить заговорщиков. Это знак свыше; совершенно очевидно, что небесам угодно, ваше величество, сохранить вас для лучших дней.

Глаза Монмута увлажнились. С неловкой усмешкой лорд Грей вложил шпагу в ножны и еще более неловко пробормотал слова извинения. Герцог, вдруг устыдившись, обнажил шпагу и сделал шаг вперед.

— Преклоните колени, мистер Уайлдинг, — потребовал он.

— Ваше величество, вас ждут куда более неотложные дела, — холодно проговорил мистер Уайлдинг, приближаясь к столу и беря салфетку, чтобы вытереть клинок, — чем оценка трудов своего недостойного слуги.

Воодушевление Монмута погасло, как свеча, задутая порывом ветра.

— Мистер Ньюлингтон, — после секундной паузы продолжал мистер Уайлдинг, и купец задрожал с ног до головы, словно услышал глас трубы, зовущей на Страшный суд, — его величество прибыл сюда, насколько я знаю, для того, чтобы принять из ваших рук двадцать тысяч фунтов стерлингов для ведения своей дальнейшей кампании. Вы приготовили эти деньги?

Его взгляд, в котором читались насмешка и презрение, уперся в пепельно-бледное лицо торговца.

— Они придут к утру, — запинаясь пробормотал мистер Ньюлингтон.

— Как к утру? — удивленно воскликнул лорд Грей, все еще не догадываясь, к чему клонит мистер Уайлдинг.

— Вам ведь известно, что этой ночью моя армия уходит, — укорил Монмут купца.

— И вы сами просили его величество оказать вам

честь, отужинав у вас, чтобы передать эти деньги, — нахмурившись, напомнил мистер Вэйд.

Но, прежде чем мистер Ньюлингтон успел ответить, вновь заговорил мистер Уайлдинг.

— То обстоятельство, что у него нет денег, могло бы показаться слегка странным, если бы не последние события. Я смею предложить вашему величеству взять у мистера Ньюлингтона не двадцать, а тридцать тысяч, и не как обещанный вам заем, а как штраф за... за халатное отношение к своему саду.

Монмут сурово взглянул на купца.

— Вы слышали, мистер Ньюлингтон. Благодарите Бога, что ваше предательство не наказано строже. Вы заплатите деньги завтра, до десяти часов утра, мистеру Уайлдингу, которому я поручаю забрать их у вас. — Он с отвращением отвернулся от торговца. — Я думаю, господа, нам здесь больше нечего делать. Мистер Уайлдинг, улицы безопасны?

— Да, ваше величество, двадцать человек из роты Слейпа и ваши телохранители готовы сопровождать вас.

— Тогда, ради Бога, идемте, — сказал Монмут, вкладывая в ножны шпагу — он не собирался дважды предлагать рыцарский титул своему спасителю.

Мистер Уайлдинг поспешил к выходу, чтобы отдать необходимые распоряжения, а герцог и его офицеры молча последовали за ним. Они были уже у самых дверей, когда за их спинами, в глубине комнаты, раздался пронзительный женский крик. Герцог остановился и повернулся. Мистер Ньюлингтон, побагровевший, с вытаращенными от ужаса глазами, хватал руками воздух. Затем он пошатнулся и рухнул прямо посреди хрустальной посуды и серебряной утвари, которая стояла на столе, специально накрытом для ничего не подозревающей жертвы. Его жена и дочь бросились к нему, повторяя его имя, но мистер Ньюлингтон был уже мертв.

Глава двадцатая

РАСПЛАТА

Истерзанная душевными муками, Руфь спешила домой по темным улицам, не обращая внимания ни на грубые шутки прохожих, ни на боль в раненой руке. Она вбежала в столовую Люптон-хауса, где ужинали Диана и леди Гортон, и ее вид — бледное, измученное

лицо и испачканное кровью платье — лишил аппетита обеих дам. Они подбежали к ней, наперебой спрашивая, что случилось, но Руфь поспешила успокоить их, объяснив, что лишь слегка поцарапала руку. Затем она вкратце рассказала о том, что произошло между ней и ею мужем.

— Мистер Уайлдинг спешил предупредить герцога, — закончила она с отчаянием в голосе. — Я старалась насколько возможно задержать его, и, кажется, мне это удалось, но... но... О, я так боюсь, Диана!

— Чего ты боишься, чего? — спросила Диана, подойдя к кухне и обняв ее за плечи.

— Боюсь, что мистер Уайлдинг может погибнуть вместе с герцогом, — ответила Руфь.

Леди Гортон, которая ни слова не поняла из ее рассказа, стала умолять объяснить ей, что все-таки происходит, и когда Диана растолковала ей, что к чему, пришла в ужас. Симпатии леди Гортон были целиком на стороне Монмута — ведь он был так красив и ему сопутствовала удача, — и участие ее племянника и столь уважаемого ею сэра Роланда в заговоре против его жизни возмутило ее до глубины души. Она искренне похвалила Руфь — не отдавая себе отчета в том, что в ее цели отнюдь не входило спасение герцога, — и вскоре распрощалась с девушками, объявив, что отправляется к себе помолиться за избавление от бед благородного сына умершего короля.

Оставшись наедине с кухиной, Руфь выплакала ей свои опасения за жизнь Ричарда, но, поскольку время шло, а он все не появлялся, ее страхи постепенно переросли в уверенность. Диана, сама заразившаяся ее настроениями, изо всех сил пыталась успокоить Руфь, но тщетно.

Наконец уже около полуночи у входной двери раздался торопливый стук. Девушки схватились за руки и замерли, готовые к любым, самым неприятным известиям. Дверь в столовую широко распахнулась, и на пороге появился Ричард, бледный и дрожащий, но в остальном выглядевший ничуть не хуже, чем во время их последней встречи. Он захлопнул за собой дверь — прямо перед носом изумленного Джаспера, дворецкого, — и шагнул в комнату. Руфь рванулась навстречу брату и прижалась к нему, обхватив шею руками.

— О, Ричард, Ричард! — всхлипывала она. — Слава Богу! Слава Богу!

Он с явным раздражением освободился из ее объятий.

— Хватит! — грубо оттолкнув от себя сестру, прорычал он и, подойдя к столу, схватил бутылку, налил себе вина, жадно выпил и поежился.

— Где Блейк? — спросил он.

— Блейк? — переспросила Руфь, побледнев.

Испуганная Диана присела в кресло, внимательно наблюдая за ними.

Ричард в отчаянии сцепил руки.

— Так его нет? О, Боже! — простонал он и бессильно рухнул в кресло. — Вы, наверное, уже все знаете, — безразлично добавил он.

— Вовсе нет, — хрипло произнесла Диана. — Расскажи, что произошло.

Ричард облизал губы.

— Нас предали, — дрогнувшим голосом объяснил он. — Предали! Если бы я знал, кто... — Он разразился горьким смехом и кровожадно потер ладони друг о друга. — Люди Блейка попали в засаду. Полурота мушкетеров расстреляла их прямо в саду у старика Ньюлингтона, и их тела сейчас валяются там. Никто из них не ушел. Никто! Говорят, что и сам Ньюлингтон мертв.

Он налил себе еще вина. Руфь слушала его в напряженном молчании, словно окаменевшая, и лишь глаза ее лихорадочно сверкали.

— Но... слава Богу, что ты жив, Дик! — воскликнула она.

— Как тебе удалось спастись? — поинтересовалась Диана.

— Как? — подскочил он, словно его ужалили. Из его груди вновь вырвался хриплый, надтреснутый смех, а глаза налились кровью. — Как? Может быть, и неплохо, что Блейк уже нашел свой конец. Может быть... — Не договорив, он вскочил на ноги, а Диана испуганно закричала, поскольку дверь от сильного удара распахнулась и в комнату ворвался Блейк. Его трудно было узнать: лицо обезображено запекшейся кровью из раны на щеке, а вся одежда измята, разорвана и запачкана грязью. Увидев Ричарда, он выхватил шпагу и устремился прямо на него.

— Подлый предатель! — взревел он. — Сейчас ты умрешь, падаль!

Но в следующую секунду он замер на пути — между ним и Ричардом встала Руфь, бесстрашно закрывая собой своего оцепеневшего от ужаса брата.

— Прочь с дороги, госпожа, или мне придется оттащить вас.

— Вы с ума сошли, сэр Роланд, — твердо проговорила она. Ее тон как будто несколько отрезвил его, и он снизошел до объяснения.

— Двадцать человек, которые были со мной, погибли в саду Ньюлингтона, — повторил он новость, принесенную Ричардом. — Я чудом уцелел, но что толку от этого? Февершэм потребует от меня ответа за их жизни, а в Бриджуотере мое имя у всех на устах, и, если меня схватят здесь, расправа будет короткой. А все почему? — с неожиданной яростью спросил он. — Почему? Да потому, что этот мерзавец предал меня.

— Это не он, — уверенно ответила она, и Ричард, спрятавшийся у нее за спиной, удивленно поднял голову.

Недоверчивая улыбка исказила и без того обезображенное лицо сэра Роланда.

— Я оставил его на страже у нас в тылу, чтобы в случае опасности он мог предупредить нас, — сообщил он ей. — Я всегда знал, что он трус и на него нельзя положиться, поэтому я дал ему простейшую и безопаснейшую задачу, но и тут он подвел меня — подвел, потому что предал и продал!

— Это не он. Клянусь вам, он тут ни при чем.

— Больше некому, — сказал он и грубо велел ей отойти в сторону.

Руфь не двинулась с места, и он резко шагнул вбок, намереваясь обойти ее. Ричард, не имея оружия, чтобы защищаться, бросился было к двери, пытаясь спастись, но слова Руфи, которые он услышал за своей спиной, заставили его замереть, несмотря на смертельную опасность, угрожавшую ему.

— Вы ошибаетесь, сэр Роланд! — воскликнула она. — Вас предал не Ричард, вас предала... я.

— Вы? — ошарашенно спросил он, словно позабыв обо всем на свете. — Вы? Вы хотели спасти Монмута? — пробормотал он и презрительно рассмеялся.

— Думаете, я лгу? — не теряя мужества, спросила она.

Он недоуменно взглянул на нее, провел рукой по лбу и взглянул на Диану, в ужасе наблюдавшую за развязкой своего хитроумного плана.

— Это невероятно! — воскликнул он наконец.

— Судите сами, — ответила она и вкратце рассказала о том, как узнала, что ее муж вернулся в Бриджуотер

и должен был ужинать с герцогом у мистера Ньюлингтона. — Я не собиралась предавать вас или спасать герцога, — пояснила она. — Я никогда не сомневалась в справедливости ваших намерений, но я не могла позволить погибнуть мистеру Уайлдингу. Я пыталась задержать его и сообщила ему о заговоре лишь тогда, когда, как мне казалось, все уже было кончено. Увы, вы слишком долго медлили...

Хриплое, бессвязное восклицание прервало ее речь в этом месте. Она бросила взгляд на сэра Роланда и увидела нацеленное прямо ей в сердце острие его шпаги. Она закрыла глаза, ожидая неминуемой смерти. И, действительно, в тот момент Блейк собирался убить ее. Мало того, что его предали — это уже само по себе было весомым мотивом, — последней каплей явилось то, что его предали ради спасения Уайлдинга; не только тщательно продуманный им план оказался разрушенным, но, как выяснилось, ему еще и помешали убрать с дороги соперника.

Он отвел руку, намереваясь ударить; Диана в своем кресле окаменела от ужаса, не в силах ни пошевелиться, ни закричать, а Ричард — увы — помышлял только о своем спасении.

Но Блейк шагнул назад, резким движением вложил шпагу в ножны, а затем, сделав некое подобие поклона, вышел вон. В его действиях угадывалась какая-то непонятная цель; но сейчас им было не до решения загадок — слава Богу, что они остались живы.

Диана встала и подошла к Руфи.

— Пошли, — сказала она и попыталась увести ее из комнаты. Но она забыла о Ричарде, который теперь, когда опасность миновала, начинал разводить пары.

— Подождите, — сказал он, подходя к двери и широко распахивая ее. — Оставь нас, Диана, — велел он. — Нам с Руфью надо поговорить.

Диана мешкала.

— Тебе лучше уйти, дорогая, — сказала Руфь, и той ничего не оставалось, как подчиниться.

Как только брат и сестра остались наедине, Ричард начал осыпать Руфь упреками, но она храбро выдержала этот шторм, который прекратился столь же неожиданно, как и начался, когда в комнате опять появился сэр Блейк, собранный и полный решимости. Ричард в страхе отпрянул от него, но тот даже не взглянул в его сторону.

— Мадам, — сказал Блейк, — нельзя заботиться о муже

до такой степени, чтобы совершенно забыть о других. Подумайте только, что я скажу лорду Февершэму, когда он спросит о судьбе своего офицера и двадцати солдат, которых он доверил мне?

— И что же? — недоумевая проговорила она. — О, сэр Роланд, я так сожалею об этом! — воскликнула она, вспомнив о своей причастности к смерти этих людей.

— Сожалею! — хмыкнул он и язвительно рассмеялся. — Вы поедете со мной к Февершэму и объясните ему все это.

— Я? — в страхе отпрянула она.

— И немедленно, — добавил он.

— Что... что? — запинаясь, пробормотал Ричард, собирая остатки своего мужества. — О чем вы говорите, Блейк?

— Идемте, госпожа, — не обращая внимания на него, сказал сэр Блейк и, схватив Руфь за запястье, грубо потащил за собой. Она попыталась вырваться, но он только злобно ухмыльнулся и, отпустив запястье, подхватил ее на руки. Легко, как куклу, — он был очень силен — понес девушку к двери, невзирая на ее крики и попытки сопротивления.

— Стойте! — заорал Ричард. — Стой, безумец!

— Заткнись, или я убью тебя, — огрызнулся через плечо сэр Блейк.

— Джаспер! Джаспер! — позвал Ричард в отчаянии от того, что у него нет оружия. Но Блейк уже торопился со своей ношей через лужайку, туда, где была привязана его лошадь, которую он, выйдя из столовой, успел оседлать несколько минут назад. Руфь догадалась о намерениях Блейка и забилась в его объятиях, словно попавшая в силки птица, пытаясь потянуть время, но это только рассердило его. Он грубо усадил ее на землю и, склонившись к ней, прорычал:

— Послушайте, госпожа, живой или мертвой, но я доставлю вас к Февершэму. Выбирайте!

Что-то в его тоне подсказало ей, что он выполнит угрозу, и, чуть не падая в обморок и надеясь, что Февершэм, быть может, окажется джентльменом, она позволила ему усадить себя на холку лошади, к самым поводьям. Они шагом выехали через распахнутые настежь ворота на пустынную улочку, где сэр Роланд пустил лошадь рысью, а когда они пересекли мост и город остался позади, перевел ее в стремительный галоп.

ПРИГОВОР

Итак, мистер Уайлдинг был оставлен в Бриджуотере с единственной целью — взыскать штраф с мистера Ньюлингтона. Можно строить предположения насчет того, понял ли Монмут, что произошло у него перед глазами после их злосчастного ужина, и не принял ли он фатальный для мистера Ньюлингтона апоплексический удар за обморок, но своего приказа он не отменил.

И когда в воскресенье, в одиннадцать вечера, армия герцога выступила из Бриджуотера, направляясь не в Глостер и Чешир, а к Седжмуру, имея целью заставить врасплох королевскую армию, мистер Уайлдинг, в полном одиночестве, сиделся ужинать в комнате, сломанная мебель в которой напоминала ему о странных обстоятельствах их недавнего свидания с Руфью. Это были грустные воспоминания; он ни в грош не ставил искренность ее чувств, когда она призналась ему в любви, и ее неразборчивость в средствах для достижения своих целей еще больше огорчала его. Единственным утешением являлось то, что она захотела сохранить ему жизнь, но и оно было отравлено — Руфь, как прекрасно понимал мистер Уайлдинг, хотела лишь вернуть долг за спасение своего брата из когтей Альбемарля.

Он тяжело вздохнул. Вот до чего довела его слепая страсть, в пылу которой он совершил совершенно недостойный — как он сам теперь это оценивал — поступок. Стоило ли льстить себе, что он без труда заставит ее полюбить себя? И сейчас только смерть, — размышлял он, в который раз возвращаясь к этой теме, — может оставить в ее сердце добрую память о нем или хотя бы чувство благодарности. Да и за что ей было любить его? Куда легче отыскать причины для ненависти! Но эта мысль была невыносима для него.

Он встал и прошелся по комнате. От недавней усталости не осталось и следа, и теперь ему показалось тесно и душно в этой убогой гостинице. Ему хотелось свежего воздуха и действия. Он схватил свои изящные сапоги из испанской кожи, но они были еще мокрые от росы в саду мистера Ньюлингтона, и мистер Уайлдинг швырнул их в сторону, открыл дверцу дубового шкафа и достал оттуда тяжелые, грязные сапоги, в которых

приехал из столицы. Он натянул их на ноги, схватил шляпу и шпагу, спустился по скрипящей лестнице и вышел на улицу. Если бы он знал в тот момент, как ему повезло, что он выбрал именно эти простые ездовые сапоги!

Город затих; армия ушла, и обыватели теперь укладывались спать. Словно повинуясь инстинкту, ноги сами понесли его по Хай-стрит до узенькой улочки, ведущей к Люптон-хаусу. Войдя в ворота, он остановился, словно очнувшись от наваждения, и осмотрелся. Что-то здесь было не так. Почему открыта дверь в дом и внутри горит свет? Зачем чья-то черная фигура беспрестанно снуют в дверном проеме?

До его слуха донесся дрожащий голос: «Мистер Уайлдинг! Мистер Уайлдинг!» Свет упал на лицо человека в черном, и мистер Уайлдинг узнал Джаспера.

— Что случилось, Джаспер? — спросил он.

— Госпожа Руфь! — простонал старый слуга, заламывая руки. — Ее... ее... увезли... — Волнение мешало ему закончить фразу, он ловил широко раскрытым ртом воздух, но был не в силах произнести ни слова.

Мистер Уайлдинг, ничего не понимая, озадаченно глядел на него. Но в этот момент в дверях появилась еще одна фигура, высокая и худощавая. Это был Ричард. Он подбежал к мистеру Уайлдингу и схватил его за руку.

— Блейк увез ее! — прокричал он.

— Блейк? — механически повторил мистер Уайлдинг, почувствовав приступ тошноты при мысли: а не побег ли это? Но следующие слова Ричарда рассеяли его сомнения.

— Он увез ее к Февершэму... за то, что она рассказала о заговоре против герцога.

Мистер Уайлдинг вздрогнул, как от удара. Не тратя лишних слов на расспросы, он схватил Ричарда за плечо.

— Давно? — выпалил он.

— Не прошло и десяти минут... — неуверенно ответил тот.

— А ты стоял и смотрел! — с презрением, усиленным тревогой за Руфь, воскликнул мистер Уайлдинг. — Ты был рядом и не помешал ему!

— Я не смог, но я готов отправиться с вами, если вы решите преследовать их, — захныкал Ричард, чувствуя себя — и совершенно справедливо — полнейшим ничтожеством.

— Я? — возмущенно откликнулся мистер Уайлдинг и потащил Ричарда к дому. — Какие могут быть сомнения? У тебя есть хотя бы лошади?

— Сколько угодно, — ответил Ричард.

Они обогнули дом и оказались около конюшни, дверь которой была распахнута с тех пор, как там побывал Блейк. Они в спешке оседлали лошадей и через пять минут уже мчались по дороге, ведущей в сторону Зойланд-Чейза.

— Каким чудом вы остались в Бриджуотере? — на скаку спросил Ричард.

— Мне надо закончить одно дельце до завтрашнего возвращения герцога, — машинально ответил мистер Уайлдинг, поглощенный мучительными раздумьями о судьбе Руфи.

— Завтрашнего возвращения? — удивленно вскричал Ричард, но затем решил, что мистер Уайлдинг оговорился и переспросил: — Вы сказали — до завтрашнего возвращения?

— Да, именно так.

— Но ведь герцог ушел в Глостер.

— Герцог движется окольным путем в Седжмур, — пояснил мистер Уайлдинг, не подозревая, что говорит лишнее, да и вообще едва ли в такую минуту отдавая себе отчет в том, что именно говорит — сейчас его занимали куда более важные проблемы.

— В Седжмур? — ахнул мистер Уэстмакотт.

— Да, он хочет неожиданно напасть на Февершэма и уничтожить его солдат, пока они спят. Он уже, наверное, готовится к атаке. Но довольно! Давай прищипорим коней и побережем дыхание, если хотим нагнать сэра Роланда.

Они во весь опор неслись сквозь ночную мглу, не сбавляя скорости до тех пор, пока впереди не замаячили тлеющие огоньки мушкетных фитилей передового поста королевской армии. Но Ричард прокричал им: «Альбемарль!» и вновь прищипорил свою лошадь, когда солдаты, услышав пароль, отпрянули в сторону, давая им проехать. Они буквально ворвались в Сомертон, деревушку, где находился штаб Февершэма, и только когда они прыгнули на землю около домика, который занимал генерал королевских войск, и сквозь распахнутое окно до них донесся гневный голос Блейка, Ричард впервые усомнился в правильности своих действий.

Все его надежды основывались на том, чтобы догнать

Блейка прежде, чем тот успеет оказаться у Февершэма. А что они могли сделать сейчас? Перспектива появиться перед Февершэмом в компании столь известного бунтовщика, как мистер Уайлдинг, отнюдь не улыбалась ему. Будь его воля, он, скорее всего, поджал бы хвост и уехал домой спать.

Но мистер Уайлдинг, увидев нерешительность своего спутника, схватил того за руку и подтолкнул сначала вверх по ступенькам, а затем, через открытую дверь, в просторную комнату с низким потолком, где Февершэм и с ним кавалерийский капитан внимательно слушали сэра Блейка, рассказывающего о постигшей его неудаче.

Не тратя времени даром, мистер Уайлдинг быстро подошел к стоявшему к нему спиной и ничего не подозревавшему сэру Блейку, схватил его за воротник плаща и с невероятной силой отшвырнул в угол комнаты, где тот, как куль, рухнул на пол, наполовину оглушенный падением. С гневным восклицанием кавалерийский капитан вскочил из-за стола, за которым они с Февершэмом сидели, но мистер Уайлдинг сделал предостерегающий жест, словно протестуя против дальнейшего применения насилия.

— Поверьте, джентльмены, — без малейших признаков волнения произнес он, — я не намерен никому причинять зла, кроме похитителя этой леди.

С этими словами он взял руку Руфи в свою, и его прикосновение будто вернуло ее к жизни, успокоив смертельные страхи и восстановив уверенность в себе. Рядом с ней вновь появился человек, которому, как научил ее опыт, можно было верить и который мог защитить ее от грубости и посягательств других людей.

Луи Дьюро, маркиз Бланкефор, граф Февершэм, с насмешливой учтивостью кашлянул в кулак. Он был хорош собой, однако прямой нос, выразительные глаза, добродушная улыбка, подчеркнутая мягкой линией подбородка, выдавали в нем слабохарактерного сластолюбца. Сейчас на нем был лишь расшитый золотом голубой сатиновый халат да разноцветный шарф вместо парика на голове — перед самым появлением сэра Блейка он намеревался укладываться спать.

— Смотрите не покалечьте сэра Роланда, — на скверном английском сказал Февершэм. — Кто вы, сэр?

— Я муж этой леди, — ответил мистер Уайлдинг, и брови генерала поползли вверх.

— Ну-у! Неужели? — воскликнул тот, словно получил

исчерпывающие объяснения. — Это меняет акценты в вашем рассказе, сэр Роланд, — усмехнувшись, добавил он, а затем откровенно рассмеялся. — Хо-хо-хо — l'amour!*

— Какое это имеет значение, — проговорил Блейк, поднимаясь с пола. Он, вероятно, добавил бы что-нибудь, но Февершэму хотелось услышать ответ на свой вопрос.

— Parbleu!** — недовольно выругался он. — Еще как имеет.

— Черт возьми! — возмущился побагровевший сэр Блейк и сделал шаг вперед, держась, однако, подальше от мистера Уайлдинга, стоявшего между ним и Руфью. — Неужели вы считаете, что, если бы его жена бежала вместе со мной, я приехал бы с ней к вам?

Февершэм сардонически поклонился.

— Вы неподражаемый льстец, сэр Роланд, — с трудом сдерживая смех, сказал он.

Блейк с презрением взглянул на этого французского генерала английской армии, ломающего, по его мнению, неуместную комедию, когда речь шла о серьезном деле.

— Я уже говорил вашей светлости, — с пеной на губах начал он, — что двадцать ваших солдат и лейтенант Норрис погибли, а весь мой план провалился только из-за предательства этой женщины. Рядом с ней стоит человек, которому она предала нас.

Но Февершэма совершенно не устраивал высокомерный тон, который взял с ним сэр Роланд, и сердитое презрительное выражение его лица. Глаза француза сузились, и усмешка медленно увяла на его губах.

— Да, да, я помню, что эта леди предала вас, — сказал он. — Но вы забыли сообщить нам, кто предал вас этой леди.

У сэра Блейка отвисла челюсть. Вопрос был достаточно логичен, однако оглушил его, как оконное стекло оглушает птицу, не заметившую преграды на своем пути.

— Все ясно! — сказал Февершэм и почесал ямочку на подбородке. — Капитан Вентворт, прошу вас, вызовите стражу.

Вентворт встал из-за стола, собираясь исполнить приказ, но в этот момент сэр Блейк, словно почувствовав за своей спиной чье-то присутствие, оглянулся и заметил Ричарда, притаившегося у двери.

* Любовь (фр.).

** Черт возьми! (фр.).

— Клянусь, ваша светлость, — вскричал он, — я могу исчерпывающе ответить на ваш вопрос.

Вентворт помедлил и взглянул на Февершэма.

— *Vous**, — сказал генерал.

— Вот человек, который виновен в нашей неудаче, — баронет театральным жестом указал на Ричарда.

Февершэм удивленно взглянул на юношу. Сегодняшний вечер — или скорее раннее утро, поскольку только что пробило час — оказался щедрым на загадки.

— А вы кто, сэр? — спросил он.

Собравшись с духом, Ричард смело шагнул вперед. Он только что вспомнил, что у него имеется карта, которой можно при необходимости побить всю крапленую колоду сэра Блейка.

— Я брат этой леди, — твердо ответил он.

— *Tiens!*** — воскликнул Февершэм и с улыбкой повернулся к Вентворту.

— Настоящий семейный визит! — сказал капитан, в свою очередь подобострастно улынувшись.

— *Oh! mais tout a fait****, — рассмеялся генерал, но в этот момент его внимание привлек мистер Уайлдинг, который подвел Руфь к креслу, стоящему около дальнего конца стола.

— А, да, — беззаботно сказал Февершэм, — пусть мадам присядет.

— Вы очень добры, сэр, — сдержанно проговорила Руфь.

— Хотя и несколько забывчивы, — заметил мистер Уайлдинг, и Февершэм нахмурился.

— Прикажете позвать стражу, милорд? — жестко спросил Вентворт.

— Думаю, да, — ответил Февершэм, и капитан вышел на улицу, к солдатам.

— Ваша светлость, — негодуяще воскликнул сэр Блейк, — ради Бога, не верьте ему на слово. — Он кивнул в сторону мистера Уайлдинга.

— Он не так уж много сказал, — заметил Февершэм.

— Вам известно, кто это?

— Вы же слышали — муж этой леди.

— Да, но кто он? — горячился сэр Блейк. — Вы знаете, что его зовут мистер Уайлдинг?

Впечатление, которое произвело это имя на генерала,

* Посмотри (фр.).

** Смотри-ка (фр.).

*** О! Да еще в полном составе (фр.).

могло бы польстить человеку, носящему его. Возвратившийся обратно Вентворт так и застыл на пороге, а Февершэм посуровел, и от его зубоскальства не осталось и следа.

— Это правда? — резко спросил он. — Вы мистер Уайлдинг?

— Покорный слуга вашей светлости, — с учтивым поклоном ответил тот.

— Как вы осмелились прийти сюда, прямо ко мне? — прогремел Февершэм, которого начинало раздражать невозмутимое поведение мистера Уайлдинга.

Тот снисходительно улыбнулся.

— Я пришел за своей женой, милорд, — напомнил он ему. — Мне очень жаль, что пришлось побеспокоить вашу светлость в столь поздний час, и могу заверить вас, это совсем не входило в мои намерения: я надеялся перехватить сэра Роланда по дороге.

— *Not de Dieu!** — воскликнул Февершэм. — Что за наглость! Сэр Роланд, — сердито велел он, повернувшись к Блейку, — расскажите-ка нам по порядку обо всем, что произошло в Бриджуотере.

Но Блейк, с лиловым от волнения лицом, путался в словах и отчаянно пытался перевести дыхание, и мистер Уайлдинг ответил за него.

— Сэр Роланд слишком взволнован, — пояснил он, — и едва ли сейчас способен связно излагать свои мысли. Но я готов помочь ему; прежде всего я могу вас заверить, что он послужил вам самым лучшим образом, и, если бы не случай, ваш изумительный план увенчался бы полным успехом. Но в самую последнюю минуту мне — хотя меня тоже намечали в жертву — удалось застать врасплох и уничтожить ваших головорезов в саду мистера Ньюлингтона. Я даже не подозревал, что сэру Роланду удалось ускользнуть живым, и поверьте, ваша светлость, я искренне сожалею об этом.

— Но эта женщина? — нетерпеливо воскликнул Февершэм. — При чем тут она?

— Она предупредила его, — выпалил сэр Блейк, наконец-то обретший способность говорить.

— Едва ли ее можно обвинять в этом, ваша светлость, — сказал мистер Уайлдинг. — Она лояльная подданная короля Якова, но, помимо этого, она, как вы, наверное, успели заметить, послушная жена. Могу доба-

* Черт возьми! (фр.).

вить, что ей хотелось лишь задержать меня насколько возможно, а сэр Роланд чересчур замешкался...

— Молчать! — вскипел Февершэм. — Теперь я знаю, кто вы, и с меня хватит ваших басен. Где стража, Вентворт?

— Я уже слышу их, — ответил капитан, и действительно, с улицы, в открытое окошко до них долетел топот солдат, идущих строевым шагом.

Февершэм вновь повернулся к Блейку.

— Итак, — словно подводя итог всему, что понял, начал Февершэм, — этот негодяй, — он указал на Ричарда, — выдал ваш план сестре, а та, в свою очередь, выдала его мужу, который и спас Монмута. *N'est-ce pas?**

— Именно так, — ответил Блейк, но Руфь едва ли была в состоянии вспомнить о том, что слышала о заговоре из уст самого Блейка. Правда, генерал вряд ли поверил бы ей, жене известного бунтовщика мистера Уайлдинга.

— Но кто выдал вас этому негодяю? — имея в виду Ричарда, вновь задал вопрос Февершэм.

— Уэстмакотту? — переспросил Блейк. — Да он был одним из нас! Его оставили охранять наш тыл, и, если бы он не сбежал со своего поста, мы выполнили бы свою задачу, несмотря на вмешательство мистера Уайлдинга.

Февершэм мрачно взглянул на Ричарда, и его глаза недобро сверкнули.

— Это правда, сэр? — спросил он его.

— Не совсем, — вставил мистер Уайлдинг. — Мистера Уэстмакотта, насколько мне известно, просто задержали. Он вовсе не собирался...

— *Tais-toi!*** — рявкнул Февершэм. — Кого я спрашиваю: вас или мистера Уэстмакотта? А вы, мистер Уайлдинг, — наклонился генерал в его сторону, — сами ответите за себя, обещаю вам. *Eh bien?**** — Он вновь обратился к Ричарду: — Вы будете говорить?

Ричард, не потерявший, как можно было ожидать, самообладания в столь критической ситуации, сделал шаг вперед.

— В какой-то степени это правда, — сказал он, — но

* Не так ли? (фр.).

** Заткнись! (фр.).

*** Хорошо? (фр.).

то, что сказал мистер Уайлдинг, ближе к истине. Меня действительно задержали, но я даже не предполагал, что наш план станет кому-то известен и мое отсутствие обернется катастрофой.

— Значит, вы ушли, так ведь, *vaugien*?* Ушли, когда надо было исполнять свой долг! И вы же разболтали обо всем своей сестричке.

— Я мог случайно обмолвиться, но не раньше, чем она узнала все от сэра Блейка.

Февершэм усмехнулся и пожал плечами.

— Разве вы скажете правду. Я давно заметил, что предатели всегда лгут.

Ричард неожиданно выпрямился, словно его достоинство было задето этим безапелляционным заявлением.

— Ваша светлость считает меня предателем? — спросил он.

— Да, грязным предателем, — ответил Февершэм.

В этот момент отворилась дверь и сержант, которого сопровождали шестеро солдат, отсалютовал с порога.

— *A la bonne heure*** — приветствовал их милорд. — Сержант, арестуйте этого мошенника и эту даму, — он указал рукой на Ричарда и Руфь, — и посадите их под замок.

Сержант шагнул к Ричарду, и тот отпрянул от него. Вздохнувшая Руфь поднялась на ноги, а мистер Уайлдинг, взявшись за рукоять шпаги, встал между нею и стражей.

— Ваша светлость, — воскликнул он, — неужели во Франции не учат приличным манерам?

— Мы скоро поговорим об этом, сэр, — мрачно улыбаясь, проговорил Февершэм.

— Но, милорд... — начал Ричард. — Я могу доказать, что я не предатель...

— Утром, — отмахнулся от него Февершэм.

Сержант взял Ричарда за плечо. Но тот сбросил с себя его руку.

— Утром будет слишком поздно! — вскричал он. — Вы даже не представляете, какую огромную услугу я могу вам оказать.

— Уведите его, — устало обронил генерал.

— Я могу спасти вас, — выпалил Ричард, — вас и вашу армию.

* Негодяй (фр.).

** Весьма кстати (фр.).

Может статься, если бы не вмешательство мистера Уайлдинга, Февершэм не обратил бы ни малейшего внимания на его слова.

— Молчи, Ричард! — взволнованно закричал тот. — Неужели ты предашь?..

Он запнулся, не решаясь закончить фразу, но Февершэму сразу бросилась в глаза произошедшая в нем перемена.

— Что? — спросил генерал. — Минуточку, сержант. Что все это значит? — перевел он взгляд с мистера Уайлдинга на Ричарда.

— Я скажу, ваша светлость, но мне нужны гарантии.

— Я не торгуюсь с предателями, — чопорно заявил милорд.

— Прекрасно, — ответил Ричард и театрально сложил руки на груди, — но завтра утром вы ни о чем не пожалеете так горько, как о своем отказе — если только останетесь в живых.

Февершэм неловко поднялся из-за стола.

— Что вы имеете в виду? — спросил он.

— Гарантии, и вы обо всем узнаете, — повторил Ричард. — Хорошо, я сам назову их, — видя нерешительность француза, добавил он, — но вы можете не торопиться с выполнением до тех пор, пока мои сведения не подтвердятся.

Февершэм изучающе взглянул на юношу.

— Говорите, — сказал он.

— Только при условии, что ваша светлость обещает сохранить свободу мне и моей сестре.

— Говорите, — повторил Февершэм.

— Вы даете гарантии?

— Хорошо — если дело того стоит.

— Я полагаюсь на ваше слово, — удовлетворенно сказал Ричард, склонив голову. — Ваша светлость, что вы скажете, если узнаете, что армия Монмута сейчас движется на ваш безмятежно спящий лагерь и не позже чем через час нападет на него?

Мистер Уайлдинг простонал и в отчаянии всплеснул руками, но глаза всех были прикованы к Ричарду, и никто не обратил на него внимания.

— Вранье! — ответил Февершэм и рассмеялся. — Друг мой, я сегодня сам был в полночь на болоте и слышал, как армия герцога Монмутского движется к Бристоллю по дороге... Как она называется, Вентворт?

— Восточная дамба, милорд, — ответил капитан.

— Voila! — сказал Февершэм, разводя руками. — Что вы на это скажете?

— В план Монмута входит пересечь болото около Чедзоя, миновав ваш единственный пост, и неожиданно атаковать вас. О Боже! Прошу вас, сэр, поверьте мне; пошлите разведчиков к болоту, и я готов поклясться, что им не придется долго шарить там в поисках противника.

Февершэм взглянул на Вентворта.

— Что вы думаете? — спросил он.

— В самом деле, милорд, это звучит правдоподобно, — ответил Вентворт. — Я... я удивляюсь, как мы не предусмотрели такую возможность.

— Зато я предусмотрел! — самодовольно заявил генерал. — Около болота стоят Огелторп и сэр Френсис Комптон. Как они могли не заметить Монмута? Ну, хорошо, немедленно сообщите милорду Черчиллю, пусть он выяснит обстановку, вы слышите, Вентворт, — немедленно.

Вентворт отсалютовал и вышел из комнаты.

— Если ваши сведения подтверждаются, — продолжал Февершэм, поворачиваясь к Ричарду, — я не только выполню вашу просьбу, но и поблагодарю от имени короля. Но если нет...

— Они подтвердятся, — вставил мистер Уайлдинг, и его голос более походил на стон.

Февершэм посмотрел на него и вновь усмехнулся.

— Я что-то не припомню, чтобы мистер Уэстмакотт потребовал гарантий и для вас.

Но тот только презрительно фыркнул — такая мысль даже не приходила ему в голову. Генерал предложил Ричарду сесть и принялся допрашивать мистера Уайлдинга, стараясь выпытать у него сведения, главным образом, о Монмуте, к которому он питал личную неприязнь: Февершэм некогда добивался руки леди Генриетты Вентворт, но та бежала с герцогом, бросившим ради нее свою жену. Такой поступок только подтвердил правило, что сын частенько пускается по стопам своего отца, и разразившийся впоследствии грандиозный скандал окончательно перечеркнул все надежды Февершэма.

Однако мистер Уайлдинг оказался неразговорчивым собеседником, и его светлость уже подумывал о том, чтобы поподробней расспросить сэра Блейка, недоумевавшего, как столь ценная и хорошо оберегаемая информация о движении армии Монмута могла оказаться у столь

* Вот! (фр.).

ничтожного труса, каким он считал Ричарда, но тут за дверью послышались торопливые шаги и в комнату ворвался взбудораженный капитан Вентворт.

— Милорд! — вскричал он. — Это правда. Нас окружают.

— Окружают? — откликнулся Февершэм. — Уже окружают?

— Они пересекли болото и через десять минут будут здесь. Я разбудил полковника Дугласа, и полк Данбартона готов отразить их атаку.

— А что еще вам надо было сделать? — взорвался Февершэм. — Где милорд Черчилль?

— Лорд Черчилль скрытно выстраивает своих людей в засаде, собираясь неожиданно атаковать врага. Клянусь, сэр, мы чрезвычайно обязаны мистеру Уэстмакотту. Если бы не он, нас перерезали бы, как слепых котят, прямо в постели.

— Позовите Бельмонта, — велел капитану Февершэм, — и пусть он не забудет мои сапоги. Мы вам очень обязаны, мистер Уэстмакотт, — добавил он, обернувшись к Ричарду.

Неожиданно где-то забил барабан. Февершэм прислушался.

— Это Данбартон, — пробормотал он. — Ah, pardieu!* — воскликнул он затем. — Монмут приготовил нам грязный подарочек. Это убийство, а не война.

— Однако это больше похоже на войну, — заметил мистер Уайлдинг, — чем одобренная вами затея в Бриджуотере.

Февершэм надул губы и пристально посмотрел на него. В этот момент в дверях появился Бельмонт в сопровождении Вентворта.

— Капитан Вентворт, — остановил генерал своего офицера на пороге, — немедленно отправляйтесь в свой полк. Но сперва возьмите этих солдат, уведите мистера Уайлдинга и расстреляйте его. Вы поняли? Отлично.

Глава двадцать вторая

КАЗНЬ

Капитан Вентворт щелкнул каблуками и отсалютовал. Сэр Блейк в глубине комнаты удовлетворенно вздохнул и выпрямился. Сдавленный крик вырвался из груди Руфи, и она встала со своего стула, заломив руки.

* Ах, черт возьми! (фр.).

У Ричарда отвисла челюсть, а мистер Уайлдинг, более удивленный, чем испуганный, подошел к столу.

— Сэр, вы слышали? — напомнил ему капитан Вентворт.

— Боюсь, что ослышался, — не смущаясь ответил мистер Уайлдинг. — Одну минуту, сэр, — сделал он повелительный жест рукой, и капитан, несмотря на полученный приказ, замер в нерешительности. Февершэм, только что взявший галстук — целый ярд бесценного голландского шелка — из рук слуги и стоявший теперь перед маленьким овальным зеркалом ко всем спиной, недовольно взглянул через плечо.

— Милорд, — сказал мистер Уайлдинг, и даже сэр Блейк не мог не восхититься мужеством этого человека, не терявшего самообладания даже в столь отчаянном положении, — надеюсь, вы не собираетесь поступить со мной подобным образом?

— Ah, sa!* — откликнулся Февершэм, словно успев забыть, о чем шла речь. — Считайте это шуткой, если вам угодно. Для чего тогда вы вообще появились здесь?

— Безусловно, не для того, чтобы меня расстреляли. — Мистер Уайлдинг слегка улыбнулся и будничным тоном, будто обсуждал серьезный, но никакой не архиважный вопрос, продолжил: — Я вовсе не хочу сказать, что безупречен перед законом, но моя вина должна быть формально доказана перед судом, и мне необходимо предварительно уладить некоторые дела.

— Ну, ну, — отмахнулся Февершэм, — это меня не касается. Вентворт, вы слышали приказ?

Он повернулся к зеркалу и стал возиться с галстуком.

— Но, милорд, — настаивал мистер Уайлдинг, — не в вашей власти поступать так. Человека моего положения не могут расстрелять без суда.

— Если захотите, вас могут повесить, — безразлично отозвался Февершэм, затягивая концы галстука и разглаживая их на груди. — Подайте мне мундир, Бельмонт, — бросил он через плечо слуге. — Его величество наделили меня полномочиями вешать и расстреливать на месте любого, кто примкнет к Монмуту. Мне действительно жаль, что приходится подобным образом поступать с вами, но как мне быть в данной ситуации? Нас атакует враг. Вентворт и все мои офицеры должны находиться

* Ах, да! (фр.).

на своих местах. Думаю, вы понимаете, что у меня сейчас просто нет времени возиться с вами, *n'est-ce-pas?*

Капитан Вентворт тронул мистера Уайлдинга за плечо. От его прикосновения тот на мгновение замер, затем вздохнул и улыбнулся. Февершэм с помощью слуги наконец-то влез в свой мундир и, обращаясь к мистеру Уайлдингу, добавил, словно выражая соболезнование:

— Это *fortune de guegue**, мистер Уайлдинг. Мне очень жаль, но такова судьба.

— Что ж, тогда пусть она окажется более благосклонной к вашей светлости, — сухо ответил мистер Уайлдинг и повернулся, собираясь уйти, но в этот момент он услышал крик Руфи: «Милорд!», в котором прозвучало такое невыносимое отчаяние, что его сердце застучало быстрее. Февершэм, застегивая свой шитый золотом мундир, взглянул на нее.

— Мадам? — проговорил он.

Но ей нечего было сказать. Смертельно бледная, с горящими глазами, она стояла, чуть наклонившись вперед, будто собираясь побежать, и ее грудь высоко вздымалась.

— Гм-м! — промычал Февершэм, пожав плечами и взглянув на Вентворта. — *Finissons!*** — бросил он ему.

Его жест и слова подстегнули Руфь.

— Пять минут, милорд! — взмолилась она. — Дайте ему пять минут — и мне тоже.

Потрясенный, мистер Уайлдинг застыл на месте, со страхом ожидая ответа Февершэма.

— *Bien****, — нерешительно начал он и развел руками, но в этот момент ночную тишину разорвали недалекие выстрелы.

— Ха! — как ужаленный вскричал генерал, отбрасывая всякую нерешительность. — А вот и они.

Он выхватил из рук лакея парик, торопливо нахлобучил его на голову и на секунду вновь взглянул в зеркало, чтобы поправить завитки.

— Быстрее, Вентворт, быстрее! Не теряйте времени. Немедленно расстреляйте мистера Уайлдинга и поспешите в свой полк. — Он окинул взглядом присутствующих и схватил шпагу, протянутую ему слугой. — *Au revoir, messieurs! Serviteur, madam!*****

* Военная удача (фр.).

** Покончим с этим! (фр.).

*** Хорошо (фр.).

**** До свидания, господа! К вашим услугам, мадам! (фр.).

Застегивая на ходу пряжку пояса, он торопливо вышел вон в сопровождении Бельмонта, капитан Вентворт отсалютовал ему, а солдаты взяли на караул.

— Идемте, сэр, — приглушенным голосом сказал Вентворт, стараясь не смотреть на Руфь.

— Я готов, — твердо ответил мистер Уайлдинг и, обернувшись, посмотрел на жену.

Та стояла, в отчаянии протягивая к нему руки и не в силах произнести хотя бы слово.

— Подождите, сэр, одну минуту, не более, — с трудом проглотив комок в горле, попросил мистер Уайлдинг.

Вентворт был незлобивым по натуре человеком и джентльменом. Но он также был солдатом, и в его обязанности входило беспрекословно повиноваться приказам. Трудно сказать, какая из доминант перевесила бы, если бы со двора не донесся стук копыт уезжавшего Февершэма.

— Хорошо, сэр, — согласился капитан, — минуту я могу потерпеть — но это все, что в моих силах.

— Я благодарен вам от всего сердца, — ответил мистер Уайлдинг, и по его тону можно было предположить, что Вентворт даровал ему жизнь.

— Двое наружу, охранять окно, — приказал капитан своим солдатам, — остальные в коридор. Живее!

— Конечно, предосторожности никогда не мешают, сэр, — заметил мистер Уайлдинг, — но я даю вам слово джентльмена, что не попытаюсь бежать.

Капитан Вентворт молча кивнул в знак согласия. В глубине души этот вояка успел проникнуться глубоким уважением к человеку, оказавшемуся столь достойным противником и готовому, не моргнув глазом, встретить свой конец. Затем он взглянул на Блейка и Ричарда, о которых в суматохе успел почти забыть.

— Вам лучше уйти, сэр Роланд, — сказал он. — А вы, мистер Уэстмакотт, подождите в коридоре вместе с моими людьми.

Блейк, однако, осмелился было напомнить о приказе Февершэма, но Вентворт, не тратя лишних слов, велел ему убраться к дьяволу.

Руфь и мистер Уайлдинг остались наконец наедине. Он шагнул к ней, и она, едва сдерживая рыдания, бросилась к нему и обняла его за шею. Он легонько потрепал ее по плечу, сдерживая свои эмоции, чтобы не пробудить в ней излишнее сейчас, как ему казалось, чувство жалости.

— Ну, не надо, дитя мое, — шепнул он ей на ухо. — Стоит ли плакать обо мне, когда я сам во всем виноват?

Вместо ответа она только крепче прижалась к нему своим хрупким телом, сотрясающимся от беззвучных рыданий.

— Не надо меня жалеть, — продолжал он утешать ее. — Меня вполне устраивает такой конец. Я всего лишь исполню данное вам обещание — и перестаньте убиваться.

Она подняла к нему лицо, слепое от заливавших его слез.

— Это не жалость! — вскричала она. — Ты нужен мне, Энтони! Я люблю тебя, Энтони!

Он побледнел как полотно.

— Значит, это правда? — выдохнул он. — Значит, то, что ты сказала вечером, было правдой! А мне казалось, что ты всего лишь хотела задержать меня.

— О, это правда, чистая правда! — ответила она.

Он вздохнул и, высвободив руку, погладил ее по волосам.

— Я счастлив, — проговорил он и попытался улыбнуться. — Останься я в живых, кто знает...

— Нет, нет, нет! — прервала она его и потянула к себе.

Он склонился к ней, и их губы сомкнулись. В дверь постучали, и мистер Уайлдинг мягко отстранил ее.

— Мне пора, любовь моя, — сказал он.

— О, Боже милосердный! — простонала она и попыталась удержать его. — Это я погубила тебя. Ради меня ты приехал сюда, невзирая на смертельную опасность. Как я наказана теперь! Как я могла слушать других и не слушать голоса своего сердца. Если бы только я полюбила тебя раньше, если бы...

— Все равно было бы поздно, — не особенно веря в то, что говорит, сказал он, пытаясь успокоить ее. — Будь храброй, Руфь, хотя бы ради меня; я знаю — ты способна на это. Любовь моя, я счастлив, и не омрачай мою радость своей печалью.

Она подняла к нему свое залитое слезами лицо и попыталась улыбнуться.

— Мы скоро встретимся, — уверенно сказала она ему.

— Да, и не забывай об этом, — велел он ей и в последний раз крепко прижал к себе. — Прощай, любимая; да хранит тебя Бог, пока не окончится наша разлука, — нежно добавил он.

— Мистер Уайлдинг! — окликнул его капитан Вентворт, чуть приоткрыв дверь. — Мистер Уайлдинг!

— Иду, — хладнокровно отозвался он и почувствовал, как ее тело слабеет в его объятиях.

— Ричард! Ричард! — отчаянно закричал он.

Услышав тревогу в его голосе, Вентворт широко распахнул дверь и шагнул внутрь комнаты. Из-за его плеча боязливо выглянул бледный как полотно Ричард, на чье попечение мистер Уайлдинг и оставил свою упавшую в спасительный обморок жену.

— Позаботься о ней, Дик, — велел он и, не доверяя более себе, шагнул к выходу. Однако возле самой двери он вновь остановился — к явному неудовольствию капитана Вентворта — и обернулся.

— Дик, — сказал он, — нам давно следовало подружиться. Я всегда хотел этого, и давай хотя бы сейчас расстанемся друзьями.

Он протянул ему руку, улыбаясь, и Ричард не смог устоять перед таким благородным жестом. Как всякий слабый человек, Ричард чуть ли не боготворил силу, и сейчас, оставив Руфь в кресле с высокой спинкой, в которое ее заботливо усадил мистер Уайлдинг, он со слезами на глазах бросился к нему.

— Позаботься о ней, Дик, — с чувством повторил мистер Уайлдинг и в сопровождении капитана Вентворта вышел вон.

В окружении небольшой команды мушкетеров полка Данбартона мистер Уайлдинг отправился по деревенской улочке навстречу своей судьбе, но все его мысли остались позади, с Руфью.

Слабая улыбка играла у него на устах: наконец-то он завоевал ее. Он вспомнил об их встрече около Уолфордского ручья месяц назад, когда ее сердце впервые оттаяло. Но если тогда лед равнодушия растопила жалость, то сейчас его последние остатки испарило пламя любви. Но и сам Энтони Уайлдинг изменился в этом огне. Его любовь к Руфи очистилась от плотской страсти, некогда заставившей его любой ценой добиваться руки возлюбленной; она стала возвышенной и самоотверженной, словно вера в Бога, ради которой мученики легко и радостно принимали смерть. И Энтони Уайлдинг стал бы одним из таких вдохновенных мучеников, и улыбка на его лице была бы менее задумчивой, будь он уверен, что его кончина принесет Руфи мир и покой. Но он подумал о страданиях, которые ей предстоит вынести, и почти

пожалел, что завоевал ее. Ведь его смерть заставит ее страдать. Его смерть! О Боже! Легко быть мучеником, но разве можно назвать мученической его кончину? Разве он имеет право умереть после всего, что произошло сегодня с ними обоими?

Его лицо посерело, глубокие борозды обозначились на его челе, и, сжав губы, он механически шагал в окружении своего марширующего эскорта, не обращая внимания на смятение, охватившее всех вокруг.

А впереди них и дальше к востоку гремели ружейные выстрелы и орудийные залпы разгоравшегося сражения. Войскам Монмута не удалось захватить королевскую армию врасплох, и виной тому была, как подумал мистер Уайлдинг, его собственная неосторожность. Но он не стал мучиться угрызениями совести — в конце концов только благодаря этому Руфь удалось вызволить из цепких лап Февершэма. Кроме того, армия Монмута, как прекрасно знал мистер Уайлдинг, численно значительно превосходила армию Февершэма, и успех должен быть на стороне герцога, несмотря на упреждение его атаки.

Ночь становилась понемногу все прозрачней — свет близкого утра смешивался с мертвенным отсветом выстрелов; нарастающий хор голосов на какое-то время перекрыл грохот пальбы — это шла в бой, распевая псалмы, пехота Монмута, и капитан Вентворт велел своим солдатам двигаться быстрее.

Наконец путь им преградила наполненная илом глубокая дренажная канава, одно из ответвлений огромного оврага, который славно послужил королевской армии в эту ночь. Не дойдя двадцати шагов до ее края, капитан Вентворт приказал солдатам остановиться и хотел уже связать руки и завязать глаза мистеру Уайлдингу, но тот попросил не делать этого. Вентворт, сгоравший от нетерпения вернуться в свой полк, уступил, и сержант подвел пленника к самому краю обрыва.

Уайлдингу страшно захотелось перепрыгнуть через канаву и броситься куда глаза глядят, но было уже поздно: мушкетеры зажигали фитили, и в случае побега его, как труса, ожидала пуля в спину.

Теряющий надежду, но не покоровившийся судьбе, он остался балансировать на самом краю обрыва, и его пятки висели над пустотой — так поставил его сержант, рассчитывая, что сразу же после залпа он упадет вниз, в трясину, которая избавит их от необходимости хоронить его тело.

Именно эта неустойчивая позиция и подсказала ему в самый последний момент неожиданную мысль.

— Зажечь фитили! — скомандовал капитан Вентворт. Пламя на мгновение осветило мушкетеров, склонившихся над своим оружием, и вновь угасло, когда прозвучала следующая команда: — Ввести курки. — Затем через секунду: — Готовсь!

Лязгнула сталь, и восемь мушкетеров нацелились на темную фигуру, с трудом различимую в клубах густого серого тумана.

— Огонь!

Услышав это слово, мистер Уайлдинг покачнулся на краю обрыва и, потеряв равновесие, полетел вниз, рискуя сломать себе шею. В тот же момент неровная полоса пламени, вырвавшаяся из мушкетных стволов, разорвала тьму, и грохот залпа смешался с оружейной канонадой кипевшей неподалеку баталии.

Глава двадцать третья

САПОГИ МИСТЕРА УАЙЛДИНГА

Мистер Уайлдинг плашмя рухнул в трясину на дне канавы, перевернулся со спины на живот и, вытянув левую руку, положил на нее голову так, чтобы его лицо находилось выше тины. Вокруг него бурлили пузыри болотного газа, вырвавшиеся на поверхность под тяжестью его тела, и ему пришлось задержать дыхание, чтобы не отравиться ими. Его тело наполовину погрузилось в трясину, и когда капитан Вентворт подбежал к краю канавы и осветил фонарем, чтобы убедиться в результате, мистер Уайлдинг выглядел не только мертвым, но и уже наполовину погребенным.

— Не угостить ли его еще унцией свинца для верности, капитан? — предложил сержант, доставая пистолет и вглядываясь с высоты шести футов в распростертую вниз фигуру. Но Вентворт уже торопливо отвернулся от канавы и отвел руку с фонарем, освещавшим мистера Уайлдинга.

— Зачем? Даже если он еще жив, трясина скоро довершит нашу работу. Нам надо спешить. Идем!

Мистер Уайлдинг услышал удаляющиеся шаги и недовольное ворчание сержанта; затем до него донесся голос капитана Вентворта:

— Взять мушкеты! На плечо! Направо кругом! Марш!

Мерный топот солдатских ног еще не стих, когда мистер Уайлдинг, чуть не падая в обморок, с трудом поднялся на ноги, чтобы тут же почти по колени увязнуть в болотной тине. Хватаясь за неровные края канавы, он высунул голову наружу, и первые жадные глотки свежего воздуха показались ему более желанными, чем отборный мускат для выпивохы. Мистер Уайлдинг перевел дыхание и тихо рассмеялся: он был цел и невредим.

Он прислушался к канонаде, полыхавшей теперь во всю силу битвы, и задумался: что же ему делать дальше? Его первым импульсом было присоединиться к баталии, однако он понимал, что от него будет мало проку в царившем там всеобщем смятении, а затем, когда его мысли вернулись к Руфи, он окончательно решил не подвергать свою жизнь новой опасности в такую ночь. Он ступил обратно в канаву и, глубоко увязая в жиже, перешел на другую сторону. Там он с трудом выбрался наверх и в изнеможении лег на землю. Но медлить было нельзя — в любую минуту на него могли наткнуться солдаты королевской армии и исправить ошибку капитана Вентворта и его людей. Он поднялся и побежал в сторону болот, которые никто не знал лучше его: вполне вероятно, что, находишься мистер Уайлдинг сегодня с кавалерией лорда Грея, битва могла бы иметь иной исход.

Сначала он держал направление на Бриджуотер, собираясь первым делом добраться до Люптон-хауса и успокоить Руфь. Но Бриджуотер был далеко, а мистер Уайлдинг с каждым шагом начинал ощущать свинцовую тяжесть во всем теле. Едва не падая с ног от усталости, он вспомнил о Скорсби-холле и лорде Джервейзе, своим дядюшке. Но тот не испытывал симпатий к Монмуту и его сторонникам, и мистер Уайлдинг вряд ли мог рассчитывать там на радужный прием. Наконец он подумал о своем собственном доме, до которого было рукой подать. В Зойланд-Чейзе одно время стоял отряд милиции и там все наверняка было разграблено. Но сейчас мистер Уайлдинг мечтал только о крыше над головой, чтобы немного отдохнуть и набраться сил.

Через полчаса он уже медленно плелся по обсаженной вязами аллее, ведущей к дому, который в неверном свете туманного июльского утра казался занесенным снегом. На всем лежала печать запустения: разбитые окна, выломанные ставни, обезображенные стены. Едва ли солдаты-пуритане Кромвеля в своем иконоборческом рвении поступали хуже с церквями, встречавшимися у них

на пути. Дверь была заперта; он обошел вокруг, обнаружил неплотно прикрытое окно библиотеки, перелез через подоконник и тяжело спрыгнул на пол. В этот момент что-то зашевелилось в углу, раздалось грозное рычание и яростный лай, и поджарая гончая выпрыгнула из темноты и устремилась на неожиданного гостя. Одно слово — и собака сначала остановилась на полпути, а затем радостно завизжала, прижимаясь к ногам хозяина. Но тот отнюдь не разделял ее восторгов.

— Сидеть, Джек, — раз двадцать повторил он, похлопывая гончую по узкой морде. — Сидеть, сидеть!

В доме, казалось, кто-то обитал. На стенах не осталось ни одной картины, ни одного целого гобелена — все было изрублено в куски. Огромная люстра, свисавшая с потолка в самом центре библиотеки, исчезла, а на книжных полках царил беспорядок. И все-таки у него возникло ощущение, что чья-то рука пыталась навести хотя бы маломальский порядок в доме после ухода мародеров.

— Ш-ш, — вдруг зашипел он на собаку.

В холле послышались шаги. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился седовласый старик. Но в руках он держал длинноствольный мушкет, и его дуло было направлено в сторону мистера Уайлдинга.

— Что вам угодно, сэр, в этом опустевшем доме? — услышал мистер Уайлдинг голос своего старого слуги.

— Уолтер!

Мушкет с грохотом выпал из рук дворецкого. Он покачнулся назад и на секунду облокотился о дверной косяк, а затем со всей скоростью, какую позволяли ему развить старые больные ноги, бросился к своему господину и рухнул перед ним на колени, покрывая его руку восторженными поцелуями.

Мистер Уайлдинг почувствовал комок в горле и, не желая выдавать свои чувства словами, потрепал старика по голове точно так же, как чуть раньше приласкал гончую. Трудно было представить себе более печальное возвращение домой, но где еще он испытал бы такую мучительную радость, встретившись с теми, кто любил его, пускай это всего лишь собака да старый слуга!

В следующий момент Уолтер был уже на ногах и изливал сожаления и упреки по поводу изможденного вида своего господина и его грязной, разорванной одежды. Но мистер Уайлдинг прервал не ко времени разговорившегося слугу и поинтересовался, каким образом тому удалось остаться здесь.

— Мой сын, Джон, был сержантом отряда, расквартированного в Зойланд-Чейзе, сэр, — объяснил Уолтер, — потому-то меня и не тронули Они были храбрые ребята и с большой неохотой служили папскому королю. Это офицеры подталкивали их к мародерству, и несколько мерзавцев, получив шанс пограбить, воспользовались им. Я пытался, как мог, навести порядок, но ущерб, увы, слишком велик...

Мистер Уайлдинг вздохнул.

— Это не имеет значения — мне тут уже ничего не принадлежит.

— Ничего... ничего не принадлежит вам, сэр?

— Меня объявили вне закона и лишили всех прав, Уолтер, — объяснил он. — Это имение подарят какому-нибудь папскому временщику, если только удача не окажется на стороне короля Монмута. У тебя в доме есть что-нибудь съестное?

Старый слуга принес ему мяса и вина, чистые полотенца и свежее белье, и через полчаса, умытый, накормленный и переодевшийся, мистер Уайлдинг уже спал на скамейке в библиотеке, а Уолтер и Джек сторожили его сон.

Однако он недолго наслаждался отдыхом. Светало, и восток окрасился золотом. Канонада почти стихла, лишь изредка со стороны поля брани доносились отдельные выстрелы. Вдруг Уолтер поднял голову и прислушался. Совсем близко от дома раздался топот копыт; подъехав ближе, всадник остановился, и через секунду в дверь торопливо постучали. Собака злобно зарычала и оцети-нилась.

— Ш-ш! Сидеть, Джек! — прошептал Уолтер, боясь разбудить мистера Уайлдинга. Он осторожно взял мушкет и, позвав собаку, на цыпочках вышел из комнаты.

С каждым мгновением стук становился все более настойчивым, и Уолтер почти успокоился — враг не стучал бы таким образом. Он открыл дверь и увидел перед собой мистера Тренчарда, изможденного, в разорванной одежде и шляпе без перьев, с руками и лицом, покрытыми пороховой сажей.

— Уолтер! — воскликнул он. — Слава Богу, ты здесь. Молчать, Джек! — прикрикнул он на гончую, радостно залаявшую при виде старого знакомого.

— Чума тебя подери! — рывкнул Уолтер на собаку. — Разбудишь мистера Уайлдинга.

— Мистера Уайлдинга? — словно ослышавшись, переспросил мистер Тренчард.

— Он приехал пару часов назад, сэр...

— Так он здесь? Черт возьми, я не зря спешил. Где он, Уолтер?

— Тише, сэр! Он спит в библиотеке. Не будите его, прошу вас!

Но мистер Тренчард, не обращая внимания на увещевания дворецкого, пересек холл и резко распахнул дверь в библиотеку.

— Энтони! — рявкнул он. — Энтони!

Мистер Уайлдинг вскочил на ноги, заспанный и перепуганный.

— Что такое... Ник!

— Уф-ф! Как мне повезло! Как повезло нам обоим, что я застал тебя, — не унимался Ник. — Собирайся — пора драпать из Бриджуотера.

— Как — драпать? Ты разве не был в сражении?

— А разве я выгляжу иначе?

— Но почему...

— Мы проиграли, и все кончено. Монмут спасается бегством; я сам видел, как он во весь опор неся в сторону Полден-Хилл.

Мистер Тренчард устало опустился в кресло и провел рукой по лбу.

— Проиграли? — ахнул мистер Уайлдинг, почувствовав укол совести при мысли, что атака повстанцев сорвалась из-за его неосторожности. — Но почему проиграли?! — секундой позже вскричал он.

— Спроси Грея, — огрызнулся мистер Тренчард, — спроси этого тупоголового труса. Все делалось наперекосяк, как и шло с самого начала. Грей отослал Годфри, проводника, и попытался сам найти в темноте брод через овраг. Конечно же, он заблудился — чего еще можно было ожидать. А когда мы все же переправились, пушки Данбартона накрыли нас, и мы рванули назад, да так, будто дело происходило не на Седжмурском болоте, а на скачках. О последствиях нетрудно догадаться. Пехота, увидев наш конфуз, залегла, отступила и еще раз пошла в атаку, но было слишком поздно! Противник успел занять боевые порядки, а это проклятое болото мешало нам сблизиться с ним. О, Боже! Если бы Грей объехал болото и ударил им во фланг, все могло бы обернуться иначе. Но когда я предложил ему это, он пригрозил застрелить меня, если я еще раз посмею указывать ему,

как он должен поступать. Жаль, что я сам тогда не пристрелил его на месте.

Мистер Тренчард замолчал, и в библиотеке воцарилась тишина. Новость была слишком серьезной и неожиданной, чтобы сразу воспринять ее. Наконец мистер Уайлдинг, справившись с собой, махнул рукой в сторону стола с едой.

— Выпей и перекуси, Ник, — сказал он. — А потом мы все обсудим.

— Нечего здесь обсуждать, — яростно ответил Ник, вставая и подходя к столу, чтобы налить себе вина. — Надо бежать, и немедленно. Я собирался ехать в Майнхэд, где можно поменять лошадей, а затем на побережье и сесть на любой корабль, который увезет нас из этой проклятой страны.

Мистер Уайлдинг задумчиво склонил голову. Иного выбора у него не было. Но сперва ему необходимо было поспать в Бриджуотер и успокоить свою жену.

— Куда? — вспыхнул мистер Тренчард, услышав столь нелепое предложение. — Ты с ума сошел. Да через час-два вся королевская армия будет в Бриджуотере.

— Это неважно, — ответил мистер Уайлдинг. — Я должен быть там — ведь меня уже считают мертвецом.

И он вкратце рассказал о своих приключениях в лагере Февершэма. Мистер Тренчард изумленно выслушал его: вполне возможно, что проницательный Ник Тренчард и заподозрил существование некой связи между готовностью войск Февершэма к отражению атаки и любовными делами своего друга, однако он никоим образом не выказал своих сомнений, а только покачал головой, когда мистер Уайлдинг закончил:

— Лучше послать записку, Энтони. Тебе в этом поможет Уолтер, нам нельзя терять ни минуты.

В конце концов мнение мистера Тренчарда взяло верх, и они начали собираться в путь. В конюшне, несмотря на разбой милиционеров, оставалась пара лошадей, и у Уолтера нашлась чистая одежда для мистера Тренчарда. Через полчаса все было готово; у крыльца стояли оседланные лошади, и мистер Уайлдинг уже взялся за новые сапоги, подобранные ему заботливым слугой. Вдруг, наполовину обув одну ногу, он замер, словно пораженный внезапной мыслью.

Наблюдавший за ним мистер Тренчард нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Что с тобой? — проворчал он.

Не ответив, мистер Уайлдинг повернулся к Уолтеру.

— Где сапоги, в которых я прибыл сегодня ночью? —

с необычайной суровостью, хотя речь шла о тривиальных вещах, спросил он.

— На кухне, — ответил слуга.

— Принеси их, — велел мистер Уайлдинг и стряхнул так и не надетый до конца сапог.

— Но они запачканы грязью, сэр.

— Почисти их, Уолтер, почисти и дай мне.

Уолтер, однако, попытался объяснить, что сапоги, которые он подал своему господину, лучше и крепче, но мистер Уайлдинг нетерпеливо прервал его:

— Сделай, как я тебе сказал, Уолтер. — И недоумевающий слуга отправился исполнять поручение.

— Чума поberi твои сапоги! — выругался мистер Тренчард. — Что все это значит?

Но мистера Уайлдинга будто подменили, и от его прежнего уныния не осталось и следа.

— Это значит, Ник, — улыбаясь своему другу, ответил он, — что эти великолепные сапоги совсем не годятся для поездки, которую я задумал.

— Может, ты собираешься в Тауэр-хилл²⁰? — фыркнул Ник.

— Примерно в том направлении, — уклончиво ответил мистер Уайлдинг. — Я еду в Лондон, Ник, и ты отправишься вместе со мной.

— Господи помилуй! Ну-ка выкладывай, что у тебя на уме.

Мистер Уайлдинг объяснил, и, когда Уолтер вернулся с его сапогами, мистер Тренчард возбужденно расхаживал по комнате.

— Черт возьми, Тони! — сказал он наконец. — Может, еще не все потеряно.

— Да, Ник, ничего лучшего не придумаешь.

— А раз так, то я... — мистер Тренчард надул щеки и, ударив рука об руку, заявил: — Я еду с тобой.

Глава двадцать четвертая

ПРАВОСУДИЕ

В тот же день королевские войска под командованием Февершэма вошли в Бриджуотер, и в городе воцарились страх и террор. Тюремьы были переполнены бунтовщиками — настоящими и подозреваемыми; королевские распоряжения насчет того, как поступать с ними, были

совершенно недвусмысленны, и дорога от Бриджуотера до Зойланд-Чейза была уставлена виселицами со страшным грузом. Людей вешали по малейшему доносу, без суда и следствия, и едва ли кто из горожан мог не опасаться за свою жизнь в течение недели после поражения герцога Монмутского.

Но именно эти обстоятельства как нельзя лучше устраивали сэра Роланда Блейка, который рассчитывал воспользоваться ими и взять реванш за все свои предыдущие неудачи.

На третий день после Седжмурской битвы он появился в Люптон-хаусе с заранее заготовленными фразами сожаления и раскаяния по поводу своих действий в ту роковую воскресную ночь, однако, получив от Уэстмакоттов отказ принять его, решил прибегнуть к более надежному и привычному средству убеждения — угрозам.

— Передайте мистеру Уэстмакотту, Джаспер, — со злобщей улыбкой на лице сказал сэр Роланд, — что он поступает неосмотрительно, не желая видеть меня, и госпожа Уайлдинг — тоже.

С ночи, проведенной в лагере Фсвершэма, Ричард стал другим человеком. Он сравнивал свое поведение в тот критический час с великодушием Энтони Уайлдинга, и его душу охватывало чувство раскаяния и желание стать лучше, чтобы хоть чем-то быть похожим на своего героя. Он бросил пить, играть в карты и, как следствие, стал выглядеть здоровее. Но он не остановился на этом — взялся за Священное писание, вспомнил о молитвах и даже начал регулярно читать их перед едой. «О, Боже! — десятки раз на дню восклицал он. — Ты восставил меня из могилы, Ты сохранил мне жизнь, чтобы моя душа не погибла в преисподней».

Но столь резкая перемена оказалась возможной только благодаря слабости его характера — хотя он сам едва ли сознавал это, и когда Джаспер передал Ричарду слова Блейка и сообщил о манере, с которой они были произнесены, в его душу закрался страх; он подумал, что разумнее будет выслушать баронета, и велел сообщить сестре о его визите.

За эти дни Руфь почернела и словно окаменела от горя. Мистер Уайлдинг, предвидя величайшие опасности, угрожающие его жизни в Лондоне, в последний момент отказался от первоначального намерения послать ей записку о своем чудесном спасении.

Кто знает, быть может, судьба смеялась над ним,

лишь оттягивая его конец, и тогда ей придется оплакивать его дважды. Лучше уж подождать. Лучше для них обоих — так думал мистер Уайлдинг, который опять начал сомневаться, не владела ли Руфью жалость во время их последней встречи.

Руфь и Ричард приняли сэра Роланда в гостиной; они безучастно выслушали его заверения в дружбе и глубокие раскаяния, и тогда он поторопился перейти к более действенному пункту своей программы — продемонстрировать, какие печальные последствия может иметь их упрямое нежелание иметь с ним дело.

— Я пришел, — опустив глаза, с печалью в голосе произнес он, — не только для того, чтобы выразить свое сожаление и сострадание, но и предложить свои услуги.

— Мы не нуждаемся в них, сэр, — ледяным тоном ответила Руфь.

Сэр Роланд вздохнул и обратился к Ричарду.

— Это было бы неосмотрительно с твоей стороны, — заверил он своего бывшего друга, — тебе ведь известно, какое влияние я имею.

— Правда? — усомнился Ричард.

— Ты думаешь, неудача у Ньюлингтона уменьшила его? — спросил сэр Блейк. — Что ж, если говорить о Февершэме, то, быть может, это и так. Но Альбемарль, запомни, полностью доверяет мне. Ты знаешь, что творится сейчас в городе. Людей вешают, как белье после большой стирки, и на твоём месте я не считал бы себя в абсолютной безопасности. Не торопитесь гнать меня — вполне может статься, что я окажусь вам полезен.

— Вы угрожаете нам, сэр? — возмущенно воскликнула Руфь, а Ричард побледнел.

— Угрожаю? — переспросил сэр Блейк и возвел глаза к небу. — Разве обещание помощи называется угрозой? Позвольте послужить вам — и это будет лучшей наградой для меня. Одно мое слово — и Ричард может ничего не бояться.

— Для этого не требуется вашего слова, — презрительно сказала Руфь. — Вспомните об услуге, которую он оказал Февершэму.

— О ней скоро забудут, — ловко парировал сэр Блейк. — Вы думаете, его светлость обрадуется, если станет известно, что только благодаря случаю ему удалось спасти армию?

Он рассмеялся и тоном, полным всевозможных намеков, добавил:

— Мы живем в опасное время. Никто не знает, что может случиться, если станет известно о поведении Ричарда в ту ночь, когда ему было велено охранять сад мистера Ньюлингтона.

— Вы намерены сообщить об этом? — гневно вскричал Ричард.

Сэр Блейк негодуяюще всплеснул руками.

— Ричард! — укоряюще воскликнул он. — Ричард! — повторил еще раз для верности.

— Кого же еще ему опасаться? — спросила Руфь.

— Разве мне одному известно об этом? — ответил он вопросом на вопрос. — О мадам, почему вы так несправедливы ко мне? Ричард был моим другом — самым дорогим для меня другом. Видит Бог, мне не хотелось бы терять его дружбу, и я готов доказать ему — и вам тоже — свое самое искреннее расположение.

— Я вполне могу обойтись без такого благодеяния, — заверила его Руфь и встала. — Сэр Роланд, вы напрасно тратите время, стараясь заключить с нами сделку.

— О, вы скоро сами убедитесь, как вы несправедливы, — с глубокой печалью в голосе произнес он. — Я знаю, что заслужил ваше нерасположение, но, поверьте мне, вы скоро — очень скоро — станете думать обо мне по-другому. Вы увидите, что я смогу защитить Ричарда и вновь завоевать его доверие.

Он откланялся и ушел, считая цель достигнутой — в душе Ричарда удалось посеять семена страха; в последующие дни они пустили корни и дали ростки, часть которых Ричард, сам того не желая, пересадил в сердце своей сестры. Именно она, опасаясь за жизнь брата, последнего мужчины в их роду, решила, несмотря на упреки Дианы и возражения самого Ричарда, все же принимать сэра Роланда.

Дни бежали, складываясь в недели. Главным объектом роялистской чистки стал Тонтон; жители Бриджуотера наконец-то смогли вздохнуть спокойнее и оплакать своих мертвецов, а Блейк — нежеланный гость — упорно продолжал навещать Люттон-хаус. Ричарду и Руфи было одинаково невыносимо его присутствие. Много раз юноша упрашивал сестру позволить ему прогнать баронета, но из опасения за жизнь брата она велела ему воздержаться от решительных действий до тех пор, пока ненасытная жажда крови, охватившая королевских приспешников, не утихнет.

Сэр Роланд терпеливо ждал, больше полагаясь на

время, которое рано или поздно должно было притупить, если не излечить совершенно горе Руфи; и тогда, думал он, сломить ее сопротивление не составит труда — мнение Ричарда вообще не принималось в расчет. Нет сомнений, он твердо придерживался бы намеченного плана, если бы непредвиденные обстоятельства не заставили его действовать энергичней. Жалкий, ничтожный кредитор пронюхал о его сомерсетском убежище и прислал ему письмо, полное намеков на дочговую тюрьму. Оно было подписано неким мистером Свайни, и это имя заставило сэра Роланда задуматься, поскольку мистер Свайни славился своей железной хваткой и настойчивостью там, где дело касалось преследования несостоятельных должников. Итак, для него оставался лишь один выход — побыстрее жениться на вдове мистера Уайлдинга. Несколько дней он колебался, боясь все испортить своей поспешностью; но он опасался не отказа, нет: его непомерное тщеславие страстно желало получить от Руфи согласие без излишнего давления на нее.

И вот в последнее воскресенье июля, ровно через три недели после Седжмурской битвы, сэр Роланд решил наконец-то поставить все точки над «и».

Цень клонился к вечеру, и с реки повеяло прохладой, особенно приятной после удушающе-жаркого дня. Ричард растянулся прямо на траве газона, рядом со скамейкой, которую занимали леди Гортон и Диана, и смиренно выслушивал леди Гортон, упрекавшую его в том, что он не делает ничего, чтобы помешать частым визитам сэра Роланда в Лютон-хаус. В некотором отдалении от них сэр Роланд прогуливался в компании Руфи, совершенно не подозревая, о чем говорят у него за спиной.

Он первым нарушил молчание.

— Руфь, — задумчиво вздохнув, произнес он, — мне вспомнился тот вечер, когда мы в последний раз говорили наедине.

Она остановилась и со страхом, смешанным с отвращением, взглянула на него. Он заметил, как быстро отлила кровь от ее лица, как участилось ее дыхание, и понял, что задача будет не из легких. Сжав зубы, он начал наступление.

— Неужели ваше сердце никогда не смягчится, Руфь? — вздохнул он.

Она отвернулась и сделала шаг в сторону своих домочадцев, намереваясь присоединиться к ним, но он схватил ее за руку.

— Подождите! — сказал он таким тоном, что она замерла на месте как вкопанная. — Я устал от этого, — резко добавил он.

— И я тоже, — с горечью ответила она.

— Если мы начали соглашаться, не лучше ли продолжать быть последовательными?

— Это все, о чем я прошу.

— Да, но, к сожалению, вы имеете в виду иное. Прошу вас, выслушайте меня.

— Не хочу. Пустите меня.

— Будь вы моим злейшим врагом, чьи невыносимые муки и безутешные страдания радовали бы мое сердце, я так и поступил бы. Ричарда подозревают...

— Вы опять взялись за старое, сэр Роланд? — язвительно сказала она, и этих слов и тона, которым они были произнесены, хватило бы, чтобы остудить пыл любого ухажера, но перед сэром Блейком маячила долговая тюрьма, и отступать ему было некуда.

— Стало известно, — не смущаясь, продолжал он, — об участии Ричарда в заговоре в пользу Монмута; и если еще вспомнят о том случае, когда его халатность стоила жизни двадцати бравым парням короля Якова, то этого будет вполне достаточно, чтобы повесить его.

Ее рука сжалась в кулак.

— Что вам надо? — вырвался из ее груди крик, более похожий на стон. — Чего вы хотите от меня?

— Вас, — ответил он. — Я люблю вас, Руфь, — добавил он и шагнул к ней.

— О, Боже! — в отчаянии воскликнула она. — Если бы рядом был человек, который мог бы отомстить за такое унижение.

И тут — о чудо из чудес! — из зарослей кустарника, возле которых они стояли, раздался голос, словно ответивший на ее мольбу.

— Мадам, этот человек здесь.

Не решаясь оглянуться, она замерла, будто опасаясь разделить судьбу жены Лота²¹. Голос! Это был голос из царства мертвых, который она слышала в последний раз в ту роковую ночь Седжмурской битвы в штабе Февершэма. Ее взгляд упал на сэра Роланда. Его лицо было смертельно бледным от ужаса, а рот приоткрылся, словно ему не хватало воздуха. Что все это значило? Собрав свою волю в кулак, она заставила себя обернуться, и вырвавшийся из ее груди крик заставил ее тетушку, кузину и ее брата поспешить к ним.

Среди ветвей кустарника возникла серая фигура. Слегка улыбаясь, незнакомец поклонился ей. Это был Энтони Уайлдинг собственной персоной. Он шагнул к ней, и, услышав звяканье шпор и шелест раздвигаемых веток, она поняла, что перед ней не призрак.

— Энтони! — выдохнула она и, протянув к нему руки, покачнулась, едва не падая в обморок.

Он проворно подхватил ее и поцеловал в лоб.

— Любовь моя, — сказал он, — прости, если я напугал тебя. Я вошел через ворота в саду, и мое появление оказалось настолько своевременным, что я не мог промолчать, услышав твой крик.

Ее веки затрепетали, она глубоко вздохнула и еще сильнее прильнула к нему.

— Энтони! — прошептала она и провела рукой по его лицу, словно хотела удостовериться, что чувства не обманывают ее.

Сэр Роланд, в свою очередь, убедившийся, что видит не привидение, схватился было за шпагу, но, вспомнив, с каким мастерством мистер Уайлдинг владеет этим оружием, убрал руку. Да и зачем ему было выполнять работу вместо палача?

— Дурак! — прорычал он, приблизившись на шаг. — По вас петля плачет!

— А по вас, сэр Роланд, кредиторы, которых я послал сюда из Лондона, — раздался голос мистера Тренчарда, пробравшегося тем же путем, которым чуть раньше прошел его друг. — Глубокоуважаемый мистер Свайни и с ним еще три джентльмена остановились в гостинице «Булл» и, всякий раз, вспоминая о сумме, которую вы у него заняли, он чуть не падает в обморок. Дорогой мой, долговая тюрьма ждалась вас.

Лицо сэра Блейка искажил приступ ярости.

— Зовите кого угодно! — воскликнул он. — Я думаю, все рады будут узнать, где находится Энтони Уайлдинг; пострадает не только он — каждый, кто присутствует здесь, будет наказан за его укрывательство, — он насмешливо окинул взглядом леди Гортон, Ричарда и Диану, которые, онемев от изумления, стояли в нескольких шагах от них. — Вам известен закон, — продолжал он, — и не пройдет и суток, как вы еще лучше познакомитесь с ним.

— Цыц! — прикрикнул на него мистер Тренчард и процитировал: — «Только Антоний может победить Антония»²².

— Вы, вероятно, принимаете меня за бунтовщика, — сказал мистер Уайлдинг. — Но это большая ошибка, сэр Роланд: перед вами доверенный слуга государственного секретаря.

Сэр Блейк вытарашил глаза и разразился истерическим хохотом.

Но мистер Уайлдинг достал из кармана какой-то документ и протянул его мистеру Тренчарду.

— Покажи ему, Ник, — сказал он, и лицо Блейка побелело, когда он прочитал строки, скрепленные подписью Сандерленда и государственными печатями.

— Так вы шпион? — с сомнением в голосе проговорил он, словно не веря своим глазам. — Грязный шпион?

— Ваша недоверчивость льстит мне, — любезно ответил мистер Уайлдинг, пряча пергамент. — И она вас не обманула — я никогда не был и никогда не стану им.

— Но документ доказывает это! — презрительно воскликнул сэр Блейк, который, сам будучи шпионом, хорошо знал цену словам.

— Побудь с моей женой, Ник, — резко бросил мистер Уайлдинг.

— Нет, — ответил тот, — теперь твое место рядом с ней, а мое — вон с тем мерзавцем.

Он быстро шагнул к сэру Блейку и похлопал его по плечу.

— Я имел в виду вас, сэр Роланд, — сказал он, и тот удивленно уставился на него. — Вы подлец, сэр Роланд; за свое гнусное обращение с дамой вы, возможно, получите прощение на небесах, но никак не на земле.

— Убирайтесь прочь! — хрипло огрызнулся сэр Блейк. — Мне нет до вас никакого дела.

— Сейчас оно появится, — пообещал мистер Тренчард. — И только потом, если вы его уладите, к вашим услугам будут все остальные — в том числе и наш бесценный друг мистер Свайни.

— Не надо, Ник, — неожиданно вмешался мистер Уайлдинг. — Эй, Ричард! Побудь же с ней, — велел он своему шуруну.

— Черт возьми, Энтони, сколько можно увиливать от своих супружеских обязанностей? Займись-ка наконец женой и не лишай меня развлечения. Сэр Роланд, — заявил он баронету, — я испытываю непреодолимое желание смешать вас с грязью не только на словах, и, если вы сомневаетесь в искренности моих намерений, вам следует всего лишь пройти со мною в сад.

Видя колебания сэра Роланда, мистер Тренчард многозначительно поиграл кончиком хлыста для верховой езды.

— Не хотелось бы вынуждать дам становиться свидетелями сцены насилия, — пренебрежительно пробормотал он. — Они навсегда потеряют уважение ко мне, если увидят человека вашего положения безжалостно выпоротым. Но, клянусь, мне придется сделать это, если высию минуту не двинетесь с места.

Сэр Роланд пристально взгляделся в глаза старого щеголя, сверкавшие злобной радостью, и едва не задохнулся от нового приступа ярости: этот человек должен умереть.

— Идемте, — сказал он, — а потом я разберусь с вашим приятелем мистером Уайлдингом.

— Превосходно, — отозвался мистер Тренчард и первым пошел через кустарник в глубь сада.

Они ушли; Руфь открыла глаза, и ее неподвижный взгляд остановился на мистере Уайлдинге.

— Это правда? В самом деле правда? — воскликнула она. — Неужели это не сон?

— Нет, радость моя, это правда, правда; я здесь. Скажи, мне уйти?

Вместо ответа она только крепче прижалась к нему.

— И тебе ничто не угрожает?

— Абсолютно. Я совершенно свободен в своих действиях и поступках.

Он попросил всех остальных ненадолго оставить их наедине и подвел ее к скамье у реки. Они сели, и он рассказал ей, каким образом избежал смерти от пуль мушкетеров Февершэма и как его посетило озарение использовать письмо Сандерленда, которое тот в минуту паники отправил герцогу Монмутскому.

— Это был единственный шанс, — говорил он. — Но мне пришлось почти две недели ждать, чтобы воспользоваться им. Сначала Сандерленд расхохотался и пригрозил мне Тауэром, но, узнав от меня, что письмо в надежных руках и в случае моего ареста оно немедленно окажется перед королем, он призадумался. Честно говоря, ему не следовало так пугаться, поскольку во время нашей беседы драгоценное письмо находилось у меня в сапоге, а сапог, естественно, на ноге. Но он не рискнул проверить это и согласился выдать документ, подтверждающий, что мы с мистером Тренчардом — как можно было не позаботиться о старине Нике — являемся доверенными лицами

его величества на западе Англии. Будь у меня выбор, я никогда не принял бы столь ненавистный мне титул, однако, — он развел руками и улыбнулся, — это лучше, чем оставить тебя вдовой.

Но она ничего не ответила и лишь погладила его по лицу. Они еще долго сидели в радостном молчании, словно погрузившись в транс, пока за их спинами не раздалось сухое покашливание. К ним, не торопясь, шел мистер Тренчард, заложив руки за спину и нахлобучив шляпу на самые глаза.

— Ну и жара сегодня, — сообщил он им.

— Иди, пожалуйста Ричарду, — отозвался мистер Уайлдинг, совершенно не подозревавший о новых привычках своего шурина.

— Думаешь, он рискнет выпить со мной? Я припоминаю, что в последние два раза ему крепко не везло.

— Не сомневайся, Бог любит троицу, — отрывисто бросил мистер Уайлдинг, и мистер Тренчард, уловив намека и пожав плечами, направился через лужайку к дому, где на крылечке сидел Ричард, нетерпеливо ожидавший известий.

— Ну как? — дрогнувшим голосом спросил он, вставая.

— Сидят, — ответил мистер Тренчард, махнув рукой в сторону реки.

— Нет-нет, я о сэре Роланде.

— А-а, сэр Роланд? — воскликнул старый забияка, словно успев забыть о нем. Он вздохнул. — Бедняга Свайни! Боюсь, что я перехитрил его.

— Каким образом?

— Ты тугодум, Дик. Сэр Роланд только что закончил свой нечестивый земной путь.

Ричард нервно сцепил руки и возвел глаза к небу.

— Упокой, Господи, его душу! — проговорил он.

— Да, да! — удивленно воскликнул мистер Тренчард, и меланхолично добавил: — Боюсь, что он и в самом деле ускользнет из преисподней.

Взор Ричарда внезапно загорелся, и он процитировал строки двадцать девятого псалма:

— «Вознесу тя, Господи, яко подъят мя, и не возвеселил еси враги моя о мне».

Мистер Тренчард недоуменно уставился на него. Ошибочно подумав, что его порицают за неуместную радость, Ричард смутился и с трудом выдал из себя вздох:

— Бедный Блейк!

— Да уж, действительно! — отозвался мистер Тренчард

и процитировал более подходящие, по его мнению, строки: — «Да оросят его могилу луковые слезы», впрочем, я, пожалуй, забыл о мистере Свайни. — Затем, уже более буднично, он добавил: — Идем, Ричард, и попробуем твоего муската.

— Я воздерживаюсь от вина, — твердо сказал Ричард.

— Чума тебя подери! — изумился окончательно сбитый с толку мистер Тренчард. — Ты, случаем, не перешел ли в мусульманство?

— Нет, — строго ответил юноша, — я стал христианином.

Мистер Тренчард задумчиво потер нос.

— Хм-м, — наконец произнес он, — в таком случае мир тебе. Можешь сидеть здесь сколько угодно, а я пойду Джаспера: он наверняка знает, чем промыть желудок.

И еще раз подозрительно взглянув на этого бывшего пьяницу, мистер Тренчард направился в дом, испытывая серьезные сомнения в присутствии здравого смысла в семье, в которую вошел его друг Энтони.

Вечерело, и от реки повеяло сыростью.

— Не пора ли нам домой, дорогая? — прошептал мистер Уайлдинг. Сумерки помогли Руфи скрыть смущение, и ее ответ скорее напоминал вздох, хотя Энтони Уайлдингу показалось, что он услышал куда больше.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗАБЛУДШИЙ СВЯТОЙ THE TROLLING SAINT

Роман написан в 1913 году. На русский язык переведен впервые.

Историческая справка

Действие романа происходит в Италии, в середине XVI века (1544—1546), во время так называемых Итальянских войн — тяжелый для апеннинской страны исторический отрезок, который особенно интересовал Р. Сабатини, не раз помещавшего именно в это время действие своих романов и новелл. Открытие морского пути в Индию привело к упадку средиземноморской торговли, благодаря которой процветали итальянские города. В середине XVI века разъединенная феодальными кланами на небольшие государства страна не могла сопротивляться иностранному завоеванию. За господство на Апеннинском полуострове боролись французы и испанцы. После того как испанский король Карлос I был провозглашен императором Священной Римской империи германской нации (под именем Карла Пятого), в эту борьбу вмешались немецкие и австрийские наемники. Италия представлялась лакомым кусочком для иностранных грабителей, которым помогали местные аристократы, враждовавшие между собой и охотно использовавшие чужеземных наемников в соперничестве с ненавистным соседом — правителем крошечного «суверенного государства». Противовесом светским захватчикам выступили феодалы-церковники. Созданное под патронатом духовного главы католической церкви Папское государство протянуло свои щупальца к цветущим городам Центральной и Северной Италии. Формально в папских владениях не было власти иностранцев, но церковный гнет бывал зачастую гораздо хуже хозяйствования светских чужеземцев. Клерикалы высасывали все соки из трудового народа, используя свою власть для личного обогащения, для удовлетворения личных прихотей высшего духовенства, входивших в разительное противоречие с канонами христианского вероучения. Оттого-то антиклерикальной направленностью отличаются и литературные произведения позднего Ренессанса, и политические памфлеты того времени. Сабатини удалось уловить эту характернейшую черту итальянского чинквеченто (итальянское название XVI века) и мастерски воспроизвести ее в своем романе. К сожалению, внутри страны не нашлось общественных сил, способных противостоять экспансии церковного государства. Противники церкви вынуждены были прибегнуть к вооруженной помощи иностранцев, а в результате как север, так и юг Италии надолго оказались в руках чужеземных правителей — Габсбургов.

ЭНТОНИ УАЙЛДИНГ ANTHONY WILDING

Роман написан в 1910 году. На русский язык переводится впервые.

Историческая справка

Историческим фоном для захватывающего сюжета «Энтони Уайлдинг» стали события лета 1685 года, когда побочный сын умершего в начале того же года короля Карла II попытался захватить престол. На этот раз последнему монарху династии Стюартов удалось удержать трон за собой. Но его непопулярное правление продолжилось только на три года: в 1688 году противники Якова II, ведущую роль среди которых играла молодая британская буржуазия, и прежде всего — шотландские протестанты, свергли ненавистного короля-паписта и передали корону голландскому принцу Вильгельму Оранскому. Так свершилась «Славная революция», закончившая начатое в 1642 году великое социальное преобразование и явившаяся компромиссом между старым феодальным классом землевладельцев-помещиков и народившимся новым классом — буржуазией, активным проводником новой мондиалистской политики британского государства. Попытка Стюартов и восстановившей в 1660 году их престол аристократии вернуть страну на дореволюционные рельсы провалилась. Но до упомянутого переворота оставалось еще целых три года. Их еще надо было прожить. И противникам самодура-короля, антагонистам римско-католической церкви приходилось очень нелегко. Многие из них сложили свои непокорные головы. Другим пришлось покинуть родину и заняться поисками счастья на континенте или в заморских колониях.

События этого бурного времени не раз привлекали внимание Р. Сабатини. Достаточно вспомнить его капитана Блада. Однако в «Энтони Уайлдинг» важные политические события остаются на периферии рассказа. И это, пожалуй, не случайно: подобным приемом автор лишний раз подчеркивает несерьезность притязаний Монмута на роль первого плана в жизни своей страны. После Седжмурского поражения мятежный герцог был захвачен в плен и вскоре после этого казнен. На головы его сторонников и сочувствующих им обрушились репрессии. Но и якобитам, сторонникам правившего монарха, как уже говорилось, недолго суждено было наслаждаться плодами победы.

1. Гинейя — английская золотая монета, впервые выпущенная в 1663 году из драгоценного металла, привезенного в Европу из Африки, с побережья Гвинейского залива (откуда и название). В XVI веке вес гиней составлял около 8,5 г, в том числе около 7,8 г чистого золота.

2. Брабант — часть Фландрии, впоследствии разделенная между Нидерландами (провинция Северный Брабант) и Бельгией (провинции Антверпен, Лимбург, Брабант). Со времен средневековья Брабант славился изготовлением своеобразных пышных кружев.

3. Герцог Монмутский, или Монмут, Джеймс Скотт (1649—1685) — побочный сын английского короля Якова II. Воспитывался бабушкой, женой казненного Якова I, королевой Генриеттой-Марией. После Реставрации Карл II признал его законным сыном, поселил в своем дворце и присвоил титулы графа Донкастерского и герцога Монмутского. Впоследствии оказался замешанным в заговоре против родного отца и вынужден был бежать в Нидерланды, где после смерти Карла II составил при участии графа Аргайла новый заговор, теперь уже против короля Якова. Во главе немногочисленного отряда высадился в Англии, но был разбит в сражении при Седжмуре, бросил свои войска и попытался добраться до побережья. Арестованный и доставленный к королю, пытался на коленях вымолить себе прощение, однако Яков приговорил его к смерти. Совершавший казнь палач отсек Монмуту голову только с третьей попытки.

4. Аргайл — Арчибалд Кемпбелл, девятый граф Аргайл (1629—1685) — истинный лидер протестантской оппозиции католическому королю Якову II (вопреки утверждению автора на с. 354). Должен был поднять Шотландию против Якова Стюарта, но высадка его оказалась неудачной: 18 июня 1685 года он был схвачен у реки Клайд и двенадцать дней спустя обезглавлен в Эдинбурге.

5. Кларет — такое название в Англии издавна давали винам желтоватого и светло-красного цвета, но после 1600 года это название стали употреблять по отношению к молодому, неигристому вину розового цвета.

6. Канарское — легкое сладкое вино, происходившее с Канарских островов.

7. Ифигения — героиня одного из древнегреческих мифов Троянского цикла, дочь царя Агамемнона. Автор имеет в виду следующий мифологический сюжет: богиня Артемида разгневалась на греков за оскорбление, нанесенное ей Агамемноном, и потребовала в наказание принести ей в жертву Ифигению. Правда, потом богиня смилостивилась и похитила девушку с жертвенного алтаря, заменив ее, согласно одному варианту, ланью, согласно другим — медведицей или телкой.

8. Сомерсет (Сомерсетшир) — графство на юго-западе Англии, выходящее к побережью Бристольского залива; в этом графстве расположены упоминаемые в романе города Тонтон и Бриджуотер (порт в устье реки Паррет, впадающей в Бристольский залив); центр графства — город Бат-на-Эйвоне.

9. Уайтхолл — улица в Лондоне, на которой с давних пор расположены правительственные учреждения. На ней же, близ Темзы, одно время находился королевский дворец.

10. Девоншир — графство в юго-западной Англии, на полуострове Корнуэлл.

11. Фергюсон, Роберт (1637—1714), прозванный «Заговорщиком» за поддержку оппозиции королям Карлу II и Якову II. Был правой рукой Монмута; еще более видную роль сыграл три года спустя, при высадке Вильгельма III.

12. Герцог Йоркский — имеется в виду тогдашний король Англии Яков II.

13. Сквайр — некогда так называли молодых дворян, готовившихся к посвящению в рыцари, но в момент действия романа это

слово стало обозначать просто помещика, иногда — превышавшего богатством соседей.

14. Генрих VII (1457—1509, английский король с 1485 г.) — первый монарх из династии Тюдоров. Речь идет о высадке претендента на королевский престол в 1485 году в уэльской гавани Мильфорд-Хейвен. Отсюда он двинулся против войск Ричарда III. Благодаря измене отчима, уведшего с собой значительную часть королевских сторонников, Генриху удалось одержать победу в битве при Босуорте 22 августа 1485 года, в которой погиб король Ричард, после чего окончилась тридцатилетняя война Алой и Белой роз.

15. Дорсет (Дорсетшир) — графство в юго-западной Англии, граничащее на северо-западе с Сомерсетширом.

Гемпшир (Гэмпшир) — графство в Южной Англии, расположенное к востоку от Дорсетшира. Уилтшир, Глостер (Глостершир) — графства Южной Англии, выходящие к побережью Ла-Манша.

Чешир — графство в Западной Англии с центром в городе Честере, его северной границей является река Мерсей.

16. Мерсей (Мерси) — река в Англии, впадающая в Ирландское море; длина ее составляет 110 км; в устье реки расположен город Ливерпуль.

17. Тори — одна из двух крупнейших английских политических партий; возникла в конце 1670-х годов, выражала интересы земельной аристократии и высшего духовенства англиканской церкви. В политическом плане были в XVII веке сторонниками династии Стюартов. В середине XIX в. стали ядром современной консервативной партии.

18. «Кукла на троне Англии» — Джеймс Скотт Монмут был сыном короля Карла II и его фаворитки Люси Уолтерс (Уолтер; ок. 1630 — 1658). Вступив на престол, Карл признал свое отцовство, но жениться на своей любовнице никогда не собирался. Впрочем, Люси это не особенно огорчало, она и после разрыва с будущим королем (в 1651 году) продолжала вести беспорядочную разгульную жизнь. В 1656 году ее обвинили было в шпионаже и даже посадили в Тауэр, но из тюрьмы ей удалось быстро освободиться, после чего она уехала в Париж, где через два года умерла.

19. Сандерленд — Роберт Спенсер, второй граф Сандерленд (1641—1702); английский политический деятель; при Якове II был руководителем кабинета министров, поддерживая прокатолическую позицию своего сюзерена.

20. Тауэр — замок в Лондоне, бывший сначала крепостью и королевской резиденцией, потом — государственным казначейством и государственной тюрьмой. Был основан в 1078 году как крепость на северном берегу Темзы.

21. «Разделить судьбу жены Лота» — Как рассказывается в Библии (Бытие, гл. 19), Лот и его семейство были единственными праведниками в грешном городе Содоме. Замыслив уничтожить Содом вместе с его жителями, Бог решил пощадить семью Лота. Однако никто из беглецов не должен был, покинув город, обращаться. Жена Лота не послушалась этой заповеди и была обращена в соляной столп.

22. Антоний — имеется в виду крупный политический деятель и полководец Древнего Рима Марк Антоний (83—30 до н.э.). Осажденный своим противником Октавианом Августом в Александрии, покончил жизнь самоубийством, что и имеет в виду автор.

Примечания А. Москвина

ЗАБЛУДШИЙ СВЯТОЙ

Роман

Перевод В. Салье

5

ЭНТОНИ УАЙЛДИНГ

Роман

Перевод А. и Ю. Кузьменковых

349

Примечания

539

Сабатини Рафаэль

С 12 Собрание сочинений. Том тринадцатый. Заблудший святой. Роман. (Пер. В. Салье). Энтони Уайлдинг. Роман. (Пер. А. и Ю. Кузьменковых). М.: АО «Прибой» — Редакция журнала «Вокруг света», 1995 — 544 с. (Библиотека «Вокруг света»).

ISBN 5-87260-024-0

В тринадцатый том собрания сочинений Р. Сабатини вошли романы «Заблудший святой» и «Энтони Уайлдинг». Действие первого происходит в середине XVI века в Италии, второго — летом 1865 года в Англии. Как всегда у Сабатини, в сюжетах этих произведений тесно переплетены романтическая и политическая интриги.

ИБ № 40

Сабатини Рафаэль

**ЗАБЛУДШИЙ СВЯТОЙ
ЭНТОНИ УАЙЛДИНГ**

Редактор
Л. Костюкова
Художник
Ю. Семенов
Корректор
Е. Дмитриева

В оформлении использованы фрагменты произведений
западноевропейских художников.

Акционерное общество «Прибой». Редакция журнала «Вокруг света».
Лицензия ЛР № 070278 выдана 23.12.91 г.

Сдано в набор 15.07.95. Подписано в печать 20.09.95.

Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага типографская № 2
производства Сыктывкарского ЛПК. Гарнитура «Таймс».

Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 29,1.

Тираж 42 500 экз. Заказ 303.

Отпечатано с оригинал-макета в ордена Трудового Красного Знамени
ГП «Техническая книга» Комитета Российской Федерации по печати.
198052, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.





